ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ XVIII ВЕКА

Французская повесть XVIII века

Франсуа Салиньяк де Ла Мотт Фенелон, Ален-Рене Лесаж, Пьер Карле де Шамблен Мариво, Клод-Проспер Жолио де Кребийон-сын, Антуан-Франсуа Прево, Клод-Филипп де Кейлюс, Шарль-Луи Монтескье, Клод-Анри Вуазенон, Франсуа-Мари Аруэ Вольтер, Жан-Жак Руссо, Жан-Франсуа Мармонтель, Станислас-Жан де Буфлер, Франсуа-Тома-Мари де Бакюлар д'Арно, Дени Дидро, Жак Казот, Никола-Эдм Ретиф де ла Бретон, Жан-Пьер Кларис де Флориан, Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер

Аннотация
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ XVIII ВЕКА
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ. ПОВЕСТЬ. XVIII. ВЕКА
ФЕНЕЛОН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОНОЯ
ЛЕСАЖ. МЩЕНИЕ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ИЗ-ЗА

ЛЮБВИ

МАРИВО. ПИСЬМА, ПОВЕСТВУЮЩИЕ О НЕКОЕМ ПОХОЖДЕНИИ

КРЕБИЙОН-СЫН. СИЛЬФ, ИЛИ СНОВИДЕНИЕ Г-ЖИ ДЕ Р***, ОПИСАННОЕ ЕЮ В ПИСЬМЕ К Г-ЖЕ ДЕ С***

ПРЕВО. ИСТОРИЯ ДОННЫ МАРИИ И ЮНОГО КНЯЗЯ ДЖУСТИНИАНИ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ МУСУЛЬМАНКИ

КЕЙЛЮС. ИСТОРИЯ Г-ЖИ АЛЛЕН И Г-НА АББАТА ЭВРАРА

МОНТЕСКЬЕ. АРЗАС И ИСМЕНИЯ

ВУАЗЕНОН. ЗЮЛЬМИ И ЗЕЛЬМАИДА

ВОЛЬТЕР. МИР, КАКОВ ОН ЕСТЬ, ВИДЕНИЕ БАБУКА, ЗАПИСАННОЕ ИМ САМИМ

ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СКАРМЕНТАДО, НАПИСАННАЯ ИМ САМИМ

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

ЖАННО И КОЛЕН

ПИСЬМА АМАБЕДА И ДР., ПЕРЕВЕДЕННЫЕ АББАТОМ ТАМПОНЕ

РУССО. КОРОЛЕВА ПРИЧУДНИЦА

МАРМОНТЕЛЬ. МУЖ-СИЛЬФ

АННЕТТА И ЛЮБЕН

БУФЛЕР. АЛИНА, КОРОЛЕВА ГОЛКОНДЫ

Д’АРНО. ЛЮСИ И МЕЛАНИ

ДИДРО. ДВА ДРУГА ИЗ БУРБОННЫ
ЭТО НЕ СКАЗКА
ГОСПОЖА ДЕ ЛА КАРЛИЕР
КАЗОТ. КРАСАВИЦА ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
РЕТИФ ДЕ ЛА БРЕТОН. МОНАХИНЯ ПОНЕВОЛЕ
ФЛОРИАН. КЛОДИНА
БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР. ИНДИЙСКАЯ ХИЖИНА
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Французская повесть XVIII века разнообразна по форме и по содержанию, в ней нашли воплощение все литературные направления эпохи — просветительский реализм, сентиментализм, предромантизм.

В сборник вошли произведения великих писателей XVIII века — Монтескье, Вольтера, Руссо и Дидро; таких известных прозаиков, как Лесаж, Мариво, Прево и др., а также писателей менее популярных, но пользовавшихся в свое время известностью и типичных для эпохи — Кейлюс, Вуазенон, Мармонтель, Казот и др.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ XVIII ВЕКА

Переводы с французского

Составление, вступительная статья, комментарии А. Д. Михайлова

© Издательство «Правда», 1989. Составление.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Каждая литературная эпоха, каждое столетие знают свои излюбленные и наиболее характерные жанры и формы, те, которые во многом определяют лицо эпохи и входят затем в сокровищницу мировой культуры. Для французской литературы XVIII века таким жанром оказалась повесть, хотя рядом с ней создавались примечательные произведения и в иных жанрах — от короткой эпиграммы до большого многопланового романа.

Французская повесть XVIII века не только стала самым популярным и репрезентативным жанром; именно она, а не «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный», определила судьбы прозы. А в это столетие художественная проза, беллетристика, впервые выдвинулась на первое место в литературе, чтобы не утратить это место уже никогда. И в этом смысле век оказался переломным: не только решительно менялись литературные оценки и вкусы, менялось само

понимание литературы, в частности понимание ее задач и состава.

Иначе и не могло быть в эпоху Просвещения, когда, по замечанию Ф. Энгельса, «религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике», когда «все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него».[1] Восемнадцатое столетие, «до срока» завершившееся знаменательными событиями Великой французской буржуазной революции 1789–1792 годов, было временем глубочайшего кризиса феодально-религиозного сознания, вообще всего «старого порядка» со всеми его обычаями, воззрениями и установлениями. И одновременно — временем небывалого подъема буржуазно-демократической идеологии, смело вступившей в борьбу с феодализмом. Передовая идеология эпохи проявляла себя во всех сферах, ведя наступление на все отживающее и реакционное, на все тормозящее движение вперед, будь то обветшалые философские или научные взгляды, литературные вкусы или житейские нормы. Просветители ратовали

---

[1] Примечания: 1.1
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 16.

за развитие передовой науки и культуры, за их распространение в широких слоях общества. Уже одно это придавало их деятельности революционный характер; Ф. Энгельс считал, что это были «великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции».[2] Деятели передовой идеологии — писатели, ученые, мыслители (всех их тогда называли философами) — не просто разрушали, борясь со старым и реакционным, но и созидали; они выдвинули немало смелых гипотез во всех областях — от чистой науки до самой прагматической, прикладной философии и политики.

У просветителей были могущественные и коварные враги. Они вели с философами неустанную и ожесточенную борьбу, действуя словом и делом: печатая порой очень хлесткие и остроумные антипросветительские памфлеты, но чаще просто конфискуя и запрещая передовые книги, бросая в тюрьмы их авторов и издателей. Но приостановить или задушить просветительское движение силам старого порядка не удалось. Напротив, оно росло и крепло, став к середине столетия доминирующей идеологией

---

[2] Примечания: 1.2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 16.

как в самой Франции, так и за ее пределами. Просветительское движение было широким; среди вольнодумцев, философов были не только представители передовой интеллигенции, но и многие аристократы или даже деятели церкви. Просветительство было модным; философы стали теперь желанными гостями в столичных салонах, а светские дамы любили, чтобы художники изображали их на портретах с томами знаменитой «Энциклопедии» на туалетном столике. В аристократических и литературных кружках теперь заинтересованно обсуждали уже не изысканный каламбур и не галантно-авантюрный роман, а философский трактат или даже какой-либо труд по физике, астрономии, ботанике. Просветительство приобрело такой размах и пользовалось столь непререкаемым авторитетом не только потому, что все почти написанное философами было отмечено дерзкой смелостью мысли и притягательной новизной, но в еще большей мере благодаря той блестящей литературной форме, в которую просветители умели облекать свои сочинения.

Просветительство нуждалось в литературных жанрах и формах не просто оперативных, но непременно живых, доходчивых и даже веселых.

Остроумие, легкость и краткость почитались первейшими достоинствами любого литературного произведения. И просветительство создало новые жанры, отвечающие этим требованиям. Так появился жанр остроумного язвительного памфлета, стремительного и непринужденного философского диалога, пародийного псевдоученого трактата или сатирического послания. И повести. Она тоже, как правило, бывала увлекательной, ироничной, шутливой. Но развлекательность отнюдь не была ее единственной задачей. Повесть XVIII века, как и все искусство того времени, была идеологична и тенденциозна. Как мы помним, просветительство наложило на духовную жизнь своей эпохи неизгладимый отпечаток. Поэтому философичность, иногда глубокая и органическая, иногда же поверхностная и показная, стала почти обязательным качеством прозы столетия. Ведь повести писали тогда не одни просветители. Да и в просветительстве были разные течения — и умеренное, и радикальное. К тому же оно прошло в своем развитии несколько этапов.

Несколько этапов можно выделить и в эволюции жанра повести.

Родилась она в основном не путем разбухания новеллы, широко представленной во француз-

ской литературе начиная с эпохи Возрождения, а в результате эволюции романа. Старый многотомный (и многогеройный, многособытийный) роман, по самой своей структуре открытый для всевозможных продолжений и дополнений, не то чтобы сходил со сцены, но оттеснялся романом нового типа, по объему в достаточной мере компактным, а по существу очень стремительным и оперативным, острым по сюжету и по своей проблематике. Если старый роман обычно издавался в виде внушительного числа томов (они соответствовали «книгам» или «частям» такого романа), то новый нередко таким томиком и ограничивался. Это сжимание формы преобразовывало, конечно, структуру произведения, но не отражалось на его содержании: становясь небольшим по размеру, роман продолжал обращаться к большим проблемам действительности.

Рядом с этим уже достаточно компактным романом появилась повесть. В отличие от романа она была не просто меньше по объему (а потому повествование в ней было более сжато и сконцентрированно), но использовала и иные приемы разработки сюжета: повесть не знала ретардаций, боковых линий, возвращений вспять, вставных историй, едва связанных с основной

фабулой. Набор персонажей у повести был, естественно, меньше, их характеры, их портреты намечены более лаконично и скупо. Вместе с тем повесть не превращалась в рассказ, в новеллу, посвященную какому-то одному примечательному эпизоду, событию, происшествию. В повести, даже очень небольшой по размеру, временная протяженность действия была достаточно большой: перед читателем проходила чуть ли не вся жизнь героев, по крайней мере ее значительная, самая важная часть.

В рассматриваемую нами эпоху эти небольшие произведения не имели специального жанрового определения, их чаще всего называли все так же — романами. Впрочем, применялись термины «история» и «сказка», а иногда, хотя и редко, — «новелла». Термин «сказка» употреблялся чаще всего. Но он был двусмыслен: он указывал и на «сказочность», фантастичность произведения, и на его «сказовость», то есть повествовательный характер.

«Сказки» писались на всем протяжении столетия. Но их появлялось особенно много в середине и второй половине века, когда просветительское движение приобрело особый размах. К восточным иносказаниям — и как раз в жанре повести

— просветители прибегали весьма охотно. В этом, конечно, была и дань моде, было использование привычного и всем понятного языка. Но не только; обращение писателей-просветителей (Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо и др.) к восточному колориту было достаточно многообразным и открывало перед ними немалые возможности, позволяло рисовать совсем иные нравы и порядки, резко отличные от европейских. Такое сопоставление и противопоставление обычно оборачивалось у просветителей осуждением европейских обычаев и морали. Восточная экзотика служила писателям средством остраненного изображения опять-таки европейской цивилизации, на этот раз увиденной глазами человека иной расы, иной системы взглядов, иного воспитания. Структура восточной сказки дала повести и некоторые приемы разработки сюжета: не только обильное введение феерического, чудесного, но и линейное развертывание интриги — в частности, столь типичный для волшебной сказки и для повести XVIII века мотив путешествия героя, в ходе которого он сталкивается с неожиданными препятствиями, попадает в сложные ситуации, становится жертвой непредвиденных обстоятельств. Наконец, экзотический

колорит бывал часто просто иносказанием, аллегорией — опять-таки заостренным, гротескным изображением современных писателям обычаев и порядков. Облаченная в восточные наряды, европейская действительность представала перед читателями как бы в обнаженном виде: то, что в своей привычной форме не так бросалось в глаза, в маскарадном костюме выглядело вызывающе глупо.

Все эти характерные черты французской повести XVIII столетия сложились не сразу. Тот тип повести, который мы гипотетически описали, наиболее полно представлен во второй трети века, особенно в творчестве Вольтера. Первая же треть столетия отмечена большим разнообразием и пестротой в области этого жанра. Здесь мы можем выделить по крайней мере четыре или даже пять типов повести. Это, например, философская повесть, написанная на псевдоисторический или мифологический сюжет и во многом использующая стилистику классицистической прозы. Это, затем, повесть приключенчески-авантюрная, рассказывающая о всевозможных превратностях судьбы, обрушивающихся на героев, о характерах пылких и увлекающихся, о чувствах необузданных и

горячих. И рядом с этим типом повести — совсем иной: не столько рассказ о событиях, сколько тонкий психологический этюд, анализ чувств изменчивых, прихотливых, капризных. Порой это бывали тоже чувства сильные, но чаще они оказывались продиктованными светским тщеславием либо откровенной скукой. И одновременно появляется повесть бытовая, рисующая события повседневные, чувства — самые обыденные, персонажей — вполне заурядных. И наконец — это повесть-сказка, во многом связанная с эстетикой и стилистикой рококо.

О рококо следует сказать особо, так как его отдельные приметы дают себя знать на всем протяжении столетия, а многие стилистические приемы широко используются и такими писателями, как Вольтер, Монтескье или молодой Дидро.

Стиль рококо — и в живописи, и в прикладном искусстве, и в литературе — характеризуется подчеркнутой легкостью и изяществом. При всей нарочитости и даже акцентированности этих качеств они для рококо глубоко органичны и вытекают из сущности этого стиля. Причем эти легкость и изящество находятся в стиле рококо на грани легковесности и манерности.

Так, красота оборачивается красивостью, а изящество — грациозностью. Для рококо типично эстетическое восприятие жизни, но восприятие неглубокое: не ее значительных проявлений, а беглых, порой даже случайных эпизодов; при этом жизнь предстает не как целостная широкая картина, а как цепь мимолетных впечатлений, не только внешне красивых, но и непременно острых, дразнящих. Все это придало искусству рококо откровенно игровой характер. Отсюда такое пристрастие к всевозможным переодеваниям и маскарадам, к нарочитым галантным утопиям. Свойственный рококо культ внешней красивости, интерес к незначительному и мимолетному, трактовка жизни как своеобразной иллюзии не исключали сатирических мотивов. Гедонизм рококо предполагал как погоню за наслаждениями, так и демонстративный отказ от общепринятых моральных норм. Это оборачивалось не только тонким эротизмом, гривуазностью, но и показной антиклерикальностью. Стиль рококо был самым типичным для первой половины и середины XVIII века, особенно полно он выявил себя в прикладном искусстве и самом образе жизни этой эпохи. В литературе рококо также затронуло лишь стилистику — если, конечно, понимать

ее достаточно широко (и как выбор темы, и как особенности ее трактовки). Но языком рококо, живым, остроумным, полным иронии, полупристойных намеков, пользовались едва ли не все писатели того времени. Лишь во второй половине столетия гривуазная легкость рококо стала уступать место чувствительности и предромантическим фантасмагориям.

Но вернемся к основным этапам эволюции повести. Середина века — это время безраздельного господства той разновидности жанра, которую столь плодотворно разрабатывал Вольтер. Он придал жанру повести философский дух. И все стали тогда сочинять философские повести — впрочем, не всегда так же талантливо и оригинально, как фернейский патриарх.

И наконец, последняя треть века. Здесь вновь перед нами разнообразие и пестрота. Продолжает существовать повесть философская. Появляется повесть сентименталистская и предромантическая. Вновь расцветает повесть бытовая. Наконец, Дидро в своих замечательных повестях создает произведения, не имеющие аналогов в этом столетии и как бы предвещающие будущее.

Таковы три основных этапа эволюции французской повести XVIII столетия. Теперь перейдем

к конкретным произведениям и их создателям.

На пороге XVIII века пишет свою повесть «Приключения Аристоноя» известный церковный деятель, философ и писатель Фенелон. Сторонник классицизма, знаток, переводчик и истолкователь литературных памятников античности, Фенелон создает в этой повести своеобразную поэму в прозе, пронизанную ощущением духа Древней Эллады. Пластичная, сдержанная проза Фенелона скупыми средствами передает и свежесть приморского бриза, и томительный зной южного лета, передает краски, звуки, запахи, типичные для островов, разбросанных в Эгейском море, передает атмосферу тамошней жизни, специфику античного мироощущения. Своей словесной тканью и своими идеями повесть Фенелона еще ориентирована в прошлое. Именно в этом прекрасном историческом далеке ищет писатель созвучные его настроениям идеалы. Это повесть-притча, проповедующая простые, но возвышенные предпосылки прекрасного человеческого существования — справедливость и благородство, великодушие и истинную дружбу. Но также — душевную уравновешенность, довольство малым, уединенную жизнь. И вот что примечательно: сходные мотивы мы встретим

затем и в других повестях XVIII столетия, и у Вольтера, и у Монтескье, и у Буфлера, и у Бернардена де Сен-Пьера. Тем самым Фенелон оказывается предшественником, если не создателем, жанра философской повести. Но у него она еще лишена свойственной ей позже сатиричности, боевого, наступательного духа, язвительной иронии и дерзкого озорства.

Повесть Фенелона довольно одинока на фоне литературы начала столетия. Напротив, повесть авантюрно-приключенческая представлена большим числом произведений. В этой разновидности жанра работали очень многие писатели, в том числе и Лесаж, прославленный автор романа о Жиль Бласе.

Как и темы многих других своих произведений, тему повести-новеллы «Мщение, не осуществленное из-за любви» Лесаж заимствовал у испанцев, в данном случае у писателя XVII века Кастильо-и-Солорсано. В этой повести Лесаж обращается не только к испанской тематике, но и к историческому сюжету, что было типично для французской литературы второй половины XVII века, с традициями которой Лесаж оставался связан на протяжении всего своего творческого пути. Историческая тематика привлекала и

современников Лесажа, но в целом для первой трети XVIII столетия она не была характерна: изображение современной писателям жизни или аллегории в псевдовосточном духе увлекали их в значительно большей мере, чем жизнь прошлых эпох. В повести Лесажа, однако, не очень много исторических реалий (историзм ее условен), но немало остросюжетных положений. Событийная сторона повести достаточно разработана, тогда как характеры персонажей — дона Энрике и доньи Элены — довольно схематичны. В переживаниях героини, полюбившей невольного убийцу своего мужа (ситуация, не раз встречавшаяся в литературе до Лесажа), не столько мало убедительности, сколько мало глубины, мало трагизма, борения страстей.

Напротив, мы находим их в избытке в повестях аббата Прево, который в 30-е годы также увлекся авантюрным жанром. Его повести, небольшие по размеру, но очень насыщенные событиями, созданы вскоре после появления «Манон Леско» и предваряют роман «История одной гречанки» (1740), этих бесспорно лучших произведений писателя.

Немало приключений выпадает на долю героев первой повести Прево, на долю донны Марии и

князя Джустиниани. Характеры их разработаны довольно обстоятельно, а психологические коллизии весьма сложны. Молодая итальянка — существо внешне слабое, потому-то она постоянно и оказывается предметом грубых домогательств увлекающихся ею мужчин. Бесконечно доверчивая и простосердечная, она тем не менее обладает завидной нравственной стойкостью и постоянством. Эти качества ее души во многом преображают князя Джустиниани, юношу избалованного, привыкшего давать волю своим страстям и ни в чем себе не отказывать. Князь Джустиниани жестоко поплатился за свой необузданный характер и былое распутство — он погибает под ударами подстерегших его убийц. Подобная развязка для Прево не случайна: мотив расплаты за свои необдуманные и, главное, эгоистические поступки мы найдем и в других его книгах.

Проще — быть может, даже прямолинейней — переживания героев другой повести Прево. Его «Приключения прекрасной мусульманки» во многом перекликаются с «Историей одной гречанки»: и здесь рассказывается о нравах гарема, о тяжести пребывания в турецком плену. Повесть — бесспорно, подготовительный набросок к ро-

ману, проба пера в области новой для писателя темы. Но в повести еще нет тонкого психологизма романа. Действительно, героям повести — Вердиницу и турчанке Пломби — приходится на пути к счастью преодолевать лишь внешние препятствия, сердца их давно отданы друг другу. Поэтому здесь нет психологических осложнений; после рискованных приключений — переодеваний, побегов, преследований и т. д. — они предаются счастливой жизни в Праге, богатые, свободные и любящие.

В своих повестях, как и в большинстве своих романов, Прево рисует людей, обуреваемых сильными, необузданными страстями. Переживания их психологически убедительны и не противоречат социальным условиям их существования. Что касается обилия событий, почти невероятных стечений обстоятельств, неожиданных развязок, то их, быть может, действительно слишком много на одну повесть и на одну человеческую судьбу. Но этой насыщенностью всевозможными приключениями писатель как бы хотел передать напряженный ритм своей эпохи, ее изменчивость и подвижность, в известной мере — присущую ей авантюрность (ведь и жизнь самого Прево — это увлекательный приключенческий роман).

Всевозможные приключения, связанные с любовными авантюрами, изображал в своих ранних произведениях, созданных до начала 20-х годов, и молодой Мариво. В его творческом наследии жанр короткой повести не занимает большого места. Поэтому весьма примечательным произведением стала маленькая повесть Мариво «Письма, повествующие о некоем похождении», открывающая его книги 20-х годов. Она, бесспорно, знаменует собой переход писателя к новой творческой манере и заставляет предчувствовать будущего автора любовно-психологических комедий и романов. В этой повести, впрочем, почти нет тонкого анализа любовных переживаний, нет изображения своеобразной «метафизики» любви, чем будут отмечены следующие произведения писателя. Здесь Мариво в движениях сердца и в любовных отношениях усматривает лишь нечаянности, «сюрпризы». Сама же повесть анализирует не большое и глубокое любовное чувство, а ту подделку под любовь, ту игру в любовь, которой столь охотно предавались представители светского общества. Все те хитроумные, а по сути дела довольно примитивные, любовные уловки, о которых толкуют в повести две дамы и о которых размышляет подслушива-

ющий их беседу молодой человек, будут затем вскрыты и осуждены как в комедиях и в «Жизни Марианны» Мариво, так и в таких романах, как «Заблуждения сердца и ума» Кребийона-сына и «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Таким образом, в этой повести Мариво подвергает анализу лишь одну разновидность любовного чувства — любовь-тщеславие.

Точно такая же любовь владеет сердцем и героини небольшого рассказа-диалога Кребийона «Сильф». Этот самый талантливый представитель стиля рококо во французской литературе первой половины и середины XVIII века в таких своих романах, как «Танзаи и Неадарне» или «Софа», изображал современное ему общество сатирически-едко, но непременно в псевдовосточном одеянии. Но в романе «Заблуждения сердца и ума», как и в «Сильфе», он нарисовал правдивые портреты представителей высшего света уже без восточной мишуры. Полемизировавший с Мариво, но и учившийся у него психологическому анализу, Кребийон и в романе, и в живом стремительном рассказе-диалоге показал бездушие и холодность тех страстей, которые столь легко находят пристанище в сердцах представителей пресыщенного и скучающего света.

Страсти сильные и порывистые или, напротив, холодные и расчетливые владеют героями Лесажа и аббата Прево или Мариво и Кребийона. Совсем с иными персонажами сталкиваемся мы в цикле маленьких повестей, опубликованных в середине 30-х годов графом де Кейлюсом под общим названием «История кучера Гийома». Здесь перед нами сатирические зарисовки нравов состоятельных парижских буржуа, их слуг, их духовных наставников — сластолюбивых и меркантильных светских аббатов. Важны здесь не только совершенно новый жизненный материал (отметим, что одновременно с книжкой Кейлюса появился роман Мариво «Удачливый крестьянин», сходный с ней своей тематикой), но и принятая автором точка зрения на изображаемое, и связанная с этим манера изложения. Все события, о которых рассказывается в повести, увидены глазами простого, малограмотного, но смышленого и наблюдательного кучера, и повествование ведется от его лица. Так в литературу входит язык парижской улицы, грубоватый, но меткий. В повестях немало забавных бытовых деталей, комичных ситуаций и т. д., но вряд ли можно свести эти произведения Кейлюса к так называемому бытовому реализму, тем более к

бытописательству. В повестях этих немало сатирических мотивов, разоблачения ханжества, причем сила этого разоблачения лишь увеличивается оттого, что обо всем низком и лицемерном рассказывает простой человек из народа.

Интересно отметить, что Кейлюс вслед за Мариво прибегает к приему «двойного регистра»: события в повестях увидены и восприняты простым молодым парнем, который не очень-то давно обосновался в Париже; но одновременно это воспоминания уже немолодого человека, преуспевшего в жизни, научившегося грамоте и описывающего на досуге забавные историйки, приключившиеся с ним в молодости.

В первой половине столетия была очень популярна повесть-сказка, связанная со стилистическими тенденциями рококо. Наиболее яркими представителями этой галантно-эротической разновидности жанра были такие писатели, как Дюкло, Вуазенон, Фромаже, Ла Морльер и многие другие. Все они вслед за Кребийоном отдавали предпочтение прельстительному восточному маскараду.

Как и полагалось галантной сказочке, произведения Вуазенона и других писателей, работавших в этом жанре, были нередко насыщены эроти-

ческими иносказаниями, находились на грани пристойности (например, остроумная озорная повесть Вуазенона «Султан Мизапуф и принцесса Гриземинa»). Нередко комический эффект и строился на близости этой грани, но делалось это с большим изяществом, легкостью и шутливостью. Подобные повести (например, «Зюльми и Зельманда» Вуазенона) несли в себе немало иронии не только по адресу изображаемой иносказательно действительности, но и самого метода повествования. Так, все превращения героев этой повести, все чудесные препятствия, которые они вынуждены преодолеть, все встречаемые на их пути кудесники, феи и т. п. изображены с большой долей иронии и комизма. Стиль рококо предполагал и неприкрытое самопародирование.

В повестях этого типа, в том числе и у Вуазенона, существенным было как отработка ироничного и острого языка иносказаний, так и прямые сатирические выпады, направленные в носителей ретроградной морали — ханжей всяческого рода, псевдоученых и кичливых носителей громких титулов. Можно найти здесь и образ идеального монарха, как его воображали представители умеренного крыла просветительства, — монарха справедливого, доброго и жизнерадостного. Тут

нет ничего неожиданного: такие писатели, как Дюкло или Вуазенон, нередко дружили с просветителями, посещали с ними одни и те же салоны, бесспорно впитывали их идеи. Показательно другое. Стиль этих писателей, их повествовательные приемы, сам разрабатывавшийся ими жанр сатирически-гривуазной сказочки оказался тем материалом, из которого просветителями был создан самый яркий, самый острый жанр их художественной прозы — жанр философской повести. И вот что полезно отметить: когда в середине 40-х годов просветители начали создавать свои первые ироничные и веселые сатирические повести-сказки, жанр сказочки рококо стал стремительно сходить на нет.

Монтескье, Вольтер и Дидро обратились к жанру философской повести, построенной на иносказаниях, на использовании восточного колорита, почти одновременно. Но если в творческом наследии первого и третьего этот жанр не занял большого места, то у Вольтера он получил блистательную разработку и, собственно, вылился в наиболее законченные и совершенные формы жанра. При этом ни одна повесть Вольтера не повторяет другую — напротив, внешне они необычайно пестры. Мы находим

тут и волшебную сказку («Задиг», «Мир, каков он есть»), и короткий репортаж («История путешествий Скарментадо»), и философский диалог («Уши графа Честерфилда»), и притчу («Белый бык»), и псевдопереписку («Письма Амабеда»), и научно-фантастическое повествование («Микромегас»). Но за этим многообразием скрывается объединяющее все эти произведения начало — философская проблематика. Ставя в центр повествования ту или иную этическую, философскую, политическую проблему, Вольтер как бы делает ее основным «героем» повести. При этом подлинные герои обрисовываются нарочито схематично и даже условно; ведь их задача — на собственном опыте проверить истинность или ложность философской системы, суммы взглядов, расхожих представлений. Вне этой проверки они просто не существуют. О них самих рассказывается намеренно бегло и бесстрастно, а то и с большой долей иронии. Схематичность повествования, его нарочито убыстренный ритм, выдвижение на первый план той или иной философской проблемы не исключают, а, напротив, предполагают широкое изображение действительности. Иносказания и аллегории не мешали писателю показать конкретные воплощения

зла, с которыми он вел борьбу. Это определило и сатирическую остроту вольтеровской повести, ее разоблачительный характер. К этому можно добавить, что критицизм повестей Вольтера, конкретность его сатиры усиливались по мере развития жанра философской повести в его творчестве. Им принадлежит не только центральное (хотя бы хронологически) место в развитии этого жанра, но и место вершинное. «Тягаться» с Вольтером могли бы Монтескье, Дидро или Руссо, но в их наследии жанр философской повести-сказки почти случаен.

Монтескье написал свою философскую повесть во второй половине 40-х годов, возможно, еще не будучи знаком с аналогичными произведениями Вольтера. В «Арзасе и Исмении» события отнесены к отдаленным временам Бактрианы и имеют за собой реальную историческую основу. Но на эту канву нанесены увлекательнейшие и неожиданные приключения молодых любовников, которые немало претерпевают ударов судьбы; им приходится скрываться, избегать погони, менять одежду и т. д. Но любовь их столь сильна и чиста, что помогает нм преодолевать все препятствия. Однако все эти захватывающие похождения Арзаса и Исмении мало связаны с

философской основой повести. Лишь в конце ее, когда все случайности и невзгоды оказываются позади, писатель, автор «Духа законов» (1748), излагает свое представление об идеальном монархе. Между тем представления эти во многом прекраснодушны и утопичны; Арзас, став царем, стремится везде устанавливать мир и справедливость, заботится о подданных, свято чтит старые законы, сторонится опасных новшеств и окружает себя мудрыми и бескорыстными советниками, с чьей помощью и управляет государством. Нельзя не отметить, что повесть Монтескье уступает сатирической остроте его же «Персидских писем» или повестей Вольтера.

Повесть молодого Дидро «Белая птица» (1749), как и его роман «Нескромные сокровища» (1748), примечательна как талантливое использование восточных мотивов и форм, сквозь которые начинает пробиваться очень острая политическая сатира: все эти султаны и визири и их окружение — не что иное, как иносказательное изображение французского высшего общества, его нравов, сплетен и скандальных происшествий.

В написанной Руссо сказке «Королева Причудница» больше философичности и, что следует отметить, легкости и живости повествования.

Рядом с остроумной сатирой на придворные порядки в повести присутствует несомненная ирония по поводу столь популярного в то время восточного колорита, вообще самого жанра философской сказки. Показательно, что публикация «Королевы Причудницы» предварялась небольшой заметкой «от издателя» (ее автором, видимо, был сам Руссо), где говорилось, что «эта маленькая сказка была написана давно, как своеобразный вызов. Дело заключалось в том, чтобы попробовать сделать сносную сказку, и даже веселую, без интриги, без любви, без брака, без шалостей». Впрочем, у писателя получилось совсем иное: в его сказке есть и интрига, и любовь, и брак, и шалости. Но главное, в «Королеве Причуднице» отразились политические воззрения Руссо, его глубокий скепсис по поводу монархических иллюзий многих просветителей.

Повесть Руссо написана вполне в традициях иронического скептицизма Вольтера, и можно сказать, что Жан-Жак этот своеобразный «экзамен» выдержал — философская повесть-сказка у него получилась. Но автор «Королевы Причудницы» обратился вскоре к жанру большого многопланового проблемного романа, совершив подлинный переворот в литературе. После

появления «Новой Элоизы» (1761) воздействие идейных и художественных принципов Руссо стало не менее сильным, чем влияние Вольтера. Впрочем, «чувствительность», которую иногда не вполне точно отождествляют с руссоизмом, начала проникать в литературу, и в том числе в жанр повести, так сказать, до Руссо, в чем можно убедиться на примере творчества Буфлера и особенно Мармонтеля.

Так, в очень популярной в свое время повести Буфлера «Алина, королева Голконды» (1761) начало соответствует гривуазно-сатирическим традициям Вольтера, но затем, исподволь, рассеянной и бездушной жизни света, его треволнениям и сомнительным радостям начинают противопоставляться иные и достаточно четко сформулированные идеалы — довольство малым, единение с природой, скромная жизнь трудами своих рук. «Алина, — заключает рассказчик, — научила меня находить отраду в легком труде, в кротких размышлениях, в нежных движениях души». Но в отличие от вольтеровского Кандида герой Буфлера не испытал всей бездны злоключений, его отшельничество почти никак не мотивировано; тем самым философская основа повести довольно слабо связана с ее событийной

стороной.

Попытку создания нового варианта утвержденного Вольтером жанра сделал его ученик Жан-Франсуа Мармонтель. Первые из его «Моральных повестей» появились уже в 1758 году, то есть еще до «Кандида». И в них, и тем паче в более поздних было очень мало от подлинно вольтеровских традиций. Мармонтель умел рассказывать живо и занимательно. Но в еще большей степени — чувствительно. Так, из тонко эротической новеллы Кребийона-сына «Сильф» он сделал не лишенную игривости, но скорее чувствительную, чем чувственную повесть «Муж-сильф», где находчивый супруг прибегает к забавному маскараду, чтобы добиться взаимности у своей жены-сумасбродки. Рискованность ситуации в известнейшей маленькой повести Мармонтеля «Аннетта и Любен» разрешается в финале вполне благопристойно. Вообще для писателя типичны счастливые развязки: его взгляд на мир оптимистичен, ибо он верит в торжество добра в человеческом сердце, полагая, что для того, чтобы быть счастливым, достаточно быть добрым. Наивный руссоизм Мармонтеля, совершенно лишенный социальной остроты автора «Новой Элоизы», не помешал писателю правдиво

изобразить современную ему действительность, особенно нравы общества (как аристократического, так и средней буржуазии). Характеры же его персонажей нередко бывали схематичными, а их переживания — надуманными и неправдоподобными.

Начиная с 60-х годов у многих писателей нравоучительность, подчас оборачивающаяся чувствительностью, нередко вытесняла из повести острую философскую проблематику (этого не избежал и Вольтер в написанной в 1764 году повести «Жанно и Колен»). Жанр философской повести заметно деградировал, распадался (но не у Вольтера!). Произведения Мармонтеля, г-жи де Тансен («Несчастия любви»), г-жи Рикобони («Письма мистрис Фанни Батлер» и др), Лоэзеля де Треогата, Флориана и многих других описывали переживания трогательные, героев легкоранимых, ситуации, казалось бы, острые и неразрешимые. Но конфликты эти были лишены социальной подоплеки, поэтому они в конце концов распутывались; даже если некоторые герои погибали, начала доброты, самопожертвования, великодушия побеждали.

Подобной чувствительностью пронизаны многие произведения популярного во второй

половине века писателя Бакюлара д'Арно. Он, казалось бы, задался целью рассказать, как трогательно переживали и любили чуть ли не на протяжении всей истории человечества — от Древней Греции и Рима, средневековья, эпохи Возрождения до современных писателю десятилетий. Однако этот исторический маскарад был, конечно, лишен подлинного историзма: персонажи д'Арно, рядились ли они в римские тоги, средневековые латы или камзолы времен английской революции, оставались современниками писателя, скромными буржуа середины XVIII столетия. Так, в повести «Люси и Мелани» время действия отнесено к первой трети XVI столетия, но подлинной картины этой своеобразной эпохи в книге, естественно, нет. Это взволнованный и трогательный рассказ о соперничестве двух сестер, страстно полюбивших одного и того же юношу. Причем соперничают они скорее в великодушии и самоотвержении, чем в любви. В результате все герои страдают и, сломленные этими непосильными переживаниями, расстаются с жизнью. Д'Арно, видимо, полагал, что переживания его героев сложны и глубоки, под стать переживаниям героев Прево. Однако кажущаяся сложность этих переживаний лишена психоло-

гических мотивировок и тем более — социальной обусловленности. Все это лишь красивые страсти, о которых мечтают в часы досуга добропорядочные мещаночки. Не приходится удивляться, что последним трогательные повести Бакюлара д'Арно очень нравились, да, наверно, и не только им: таковы были вкусы тех десятилетий.

Трогательная, чувствительная повесть остается популярной практически до конца столетия, но в последнюю треть века мы сталкиваемся во французской литературе и с иными типами повести. Жанр повести бытовой успешно разрабатывал неутомимый Ретиф де Ла Бретон. Он писал многотомные романы, а также огромные циклы новелл и повестей. Об очень разных судьбах рассказывается здесь; Ретиф вводит своего читателя в дома горожан, повествует об их нелегкой жизни, о страстях, бушующих под этими внешне благопристойными кровлями, о преступлениях, там совершаемых. Показательно, что в маленькой повести «Монахиня поневоле» он разрабатывает тему, волновавшую многих в его время, — насильное заточение девушек в монастыри по воле их семей было повсеместным явлением. Страстный монолог Доротеи, обличающей варварский обычай, звучит в повести

очень сильно. Но писатель в значительной степени снижает разоблачительный пафос своего произведения: у него несчастные девушки оказываются жертвами не меркантильных расчетов их близких, не социальных установлений, а лишь парадоксальной ненависти их матерей. Ненависть матери к Элеоноре, героине повести, Ретиф, впрочем, объясняет психологически: девушка была плодом преступной любви — правда, затем прикрытой законным браком, — но страстная и непоследовательная мать так и не смогла простить ребенку пережитых из-за нее унижений.

Задолго до Ретифа к этой же теме, как известно, обратился Дидро, но его роман «Монахиня», значительно более глубокий, смелый и правдивый, чем повесть Ретифа, еще не был известен широкой публике (лишь в 1780 году он появился в рукописном журнале Гримма и Мейстера «Литературная корреспонденция»).

В 70-е годы Дидро вновь обратился к жанру повести, но созданные им произведения уже ничем не напоминали его повесть-сказку «Белая птица». Теперь писатель решительно отказывается от сказочных аллегорий и иносказаний, вообще от литературного вымысла, от условностей, демонстративно назвав одну из своих повестей

«Это не сказка». Не без основания полагают, что в этой повести, как и в двух других («Два друга из Бурбонны» и «Г-жа де Ла Карлиер»), писатель строго следовал жизненным фактам — следовал в значительно большей степени, чем в романе «Монахиня», где реальное событие послужило лишь отправным пунктом для создания книги. Между тем здесь важно не соответствие изображаемого в повести действительно случившемуся в жизни Дидро и его знакомых, а то, как писатель создает иллюзию реальности, то есть те повествовательные приемы, к которым он прибегает.

Стало общим местом утверждение о том, что своими повестями (а также романом «Жак-фаталист») Дидро предвосхищает реалистическое искусство XIX века. И дело здесь не только в жизненности изображаемых писателем ситуаций, а в глубокой правдивости его героев, в верном соотношении в их характерах личностных черт и черт, обусловленных их общественным положением, их средой. Последние черты не только не доминируют в героях Дидро, но, напротив, постоянно приходят в столкновение с врожденными качествами души. Так, Оливье и Феликс, два бедняка из Бурбонны, противопоставляют свою взаимовыручку и бескорыстную дружбу

корыстному и эгоистическому обществу. Лишь этим выходцам из народа свойственны неколебимая преданность и самоотречение.

Тема человеческого эгоизма с особой силой решена Дидро в повести «Это не сказка», недаром восхищавшей Бальзака. Г-жа Реймер — это не новый вариант Манон Леско, в ней нет необъяснимой импульсивности и непоследовательности Манон. Ее характеризует не неодолимое легкомыслие, а бессердечие. Поэтому в своей жажде наживы она ничем не жертвует и ничего не теряет. Поэтому же она лишена и какой бы то ни было рефлексии. Иным предстает во второй части повести Гардейль. Этот бездарный ученый-компилятор безжалостно эксплуатирует мадемуазель де Ла-Шо, которая выполняет для него всю необходимую черновую работу. Но вот связь их возникла не из корыстных расчетов Гардейля; и порывает он с девушкой совсем не тогда, когда перестает нуждаться в ее помощи. Натура не столько расчетливая и эгоистическая, сколько холодная и неблагодарная, Гардейль не ведает сострадания и жалости. Дидро настаивает на жизненности подобных ситуаций, полагая, что в сочиненном романе могло бы быть и иначе, но в правдивой повести, точно воспроизводящей

действительность, бывает именно так.

Не мнениям света, а его неписаным законам противопоставляет себя г-жа де Ла Карлиер, проповедующая жесткую нравственность, которая оказывается не просто чрезмерно жестокой, но и во многом антигуманной. В этой повести погибают все: и легкомысленный Дерош, испорченный привычными шалостями светской жизни, и его принципиальная жена, и их ребенок, отторгнутый от материнской груди. Умирает и мать г-жи де Ла Карлиер, и ее брат, сраженный вражеской пулей в первом же бою. Все это записывается на счет Дероша. Но недаром эта повесть Дидро носит в некоторых публикациях иное, более пространное и, если угодно, концептуальное название: «О непоследовательности общественного мнения о наших частных поступках». Кто же здесь судит непоследовательно? Не Дерош, не г-жа де Ла Карлиер, а общество, конечно. Но и сами герои повести. Дерош — не посчитавшись с данной жене клятвой. Она — слишком однозначно требуя ее выполнения. Собеседники (вся повесть разворачивается как разговор двух друзей, обсуждающих во время прогулки печальную историю Дероша и его жены) находят и другой выход — менее трагичный и куда более привычный для

нравов эпохи. По их мнению, если не подлинное семейное счастье, то хотя бы семейный мир можно было бы сохранить. Этого не получилось. Не получилось прежде всего из-за цельности характера г-жи де Ла Карлиер, не только чуждой спасительной относительности светской морали, но и — как раз из-за этого — не способной ни на снисхождение, ни на компромисс. Совсем не случайно Дидро в своем «Добавлении к „Путешествию“ Бугенвиля» называет шевалье Дероша и г-жу де Ла Карлиер «несчастными из-за пустяков». «Пустяками» же оказываются здесь и мнение света, и собственная прямолинейность; и то, и другое может приносить несчастье и убивать. Образ героини повести выходит за рамки своей эпохи, он предвосхищает многие женские образы литературы следующего столетия (времени романтизма) — цельные в своей страсти, но и в чем-то ограниченные ею.

Повествовательная манера Дидро обнаруживает в писателе смелого новатора и не имеет в его столетие иных прецедентов. Повествование развертывается в повестях Дидро сразу на нескольких уровнях: в нем выделена собственно авторская речь (в одном случае это некая молодая дама рассказывает в письмах историю двух дру-

зей из Бурбонны, в другом сам Дидро обращается к читателю и одновременно к своему собеседнику, обсуждая способ подачи материала и сообщая обстоятельства рассказывания повести, в третьем — опять-таки два собеседника в непринужденном живом разговоре продвигают вперед сюжет); речь некоего слушателя-собеседника писателя, который вступает с ним в спор, соглашается, досказывает за него то, что оказывается ему известным; наконец, речь персонажей, которая представлена в повестях широко и служит средством характеристики героев. Это придает повестям Дидро своеобразную объемность: в звучании разных голосов, а следовательно, и разных оценок событие оказывается увиденным одновременно с нескольких сторон, по крайней мере под несколькими разными углами зрения. Все это сообщает повествованию Дидро полифоничность. Но главное, чего с успехом добивается писатель, — это полнейшая иллюзия жизненной правды. Повести Дидро — это не сказки, это куски жизни; отсюда и их известная фрагментарность, незавершенность, какими обычно бывают подлинные непосредственные человеческие рассказы о действительно случившемся.

Опыты Дидро в жанре повести, как можно было

убедиться, стоят совершенно особняком в общей эволюции этого жанра на протяжении столетия. Никого не повторяя и никому не подражая, Дидро не имел здесь и последователей; влияние его обнаружилось лишь в следующем веке в реалистическом искусстве Стендаля и Бальзака.

В последнюю треть столетия в развитии жанра повести ощущается мощное воздействие двух литературных направлений, во многом определивших лицо этих десятилетий, — сентиментализма и предромантизма. Наиболее яркой фигурой нарождающегося предромантизма по праву считается Казот. Впрочем, помимо небольшого романа «Влюбленный дьявол», где предромантическая фантастика получила бесспорно талантливое и интересное воплощение, Казот писал повести и в ином духе. Его восточные сказки, в том числе и «Красавица по воле случая», лишены сатирической остроты философских повестей Вольтера и других просветителей. Эти произведения Казота можно воспринять просто как пародию на ориентальный жанр, если бы писатель не вкладывал некий мистический смысл в забавное повествование о смешных превращениях отвратительной старухи в ослепительную красавицу и т. д.

Незамысловаты и простодушны, напротив, маленькие повести Флориана, созданные в середине 70-х и в 80-е годы. Каждая из них «привязана» к конкретной стране, что помогает выявить национальные черты характера их героев. Однако это в большей мере обусловливает тип конфликта, чем детерминирует поведение персонажа. Флориан умело концентрирует действие вокруг одного доминирующего события, хотя временная протяженность его повестей достаточно велика. Он стремится избежать навязчивого морализаторства, чем отличались столь многие произведения столь многих его современников. Морализаторство подменяется в повестях Флориана чувствительностью, что неизбежно реализуется в эффектных сценах непредвиденных встреч, неожиданных узнаваний и т. п. Не приходится говорить, что добро в этих повестях, как правило, торжествует, добродетель и долготерпение — вознаграждаются. Все это указывает на приверженность Флориана идеям и стилистике сентиментализма.

Видным представителем этого направления был Бернарден де Сен-Пьер, автор прославленного романа «Павел и Вергиния» (1788). Писатель был не просто последователем сентиментализ-

ма и Руссо, но глубоко впитал идеи последнего, его демократические взгляды, его культ «естественного» состояния человека, далекого от уродующего воздействия цивилизации. Эти идеи легли в основу повести Бернардена де Сен-Пьера «Индийская хижина», типичной философской повести о поисках истины, что полезно отметить, ибо традиции этой разновидности жанра были в последней трети столетия основательно забыты. В «Индийской хижине» ощутима вольтеровская скептическая усмешка, хотя писатель не знает колебаний Вольтера. Истинным знанием обладает у него простой отшельник из касты париев, а не ученые филистеры и буддийские монахи. Ответ отшельника прост и мудр. «Истину, — говорит он, — нужно искать простым сердцем. Ее находишь лишь в природе. Надо сообщать ее только честным людям». Так сошлись в этой повести повествовательная манера Вольтера, стремительная и ироничная, и демократические идеи Руссо.

Пестра, многообразна, причудлива французская повесть XVIII столетия. Она принимала разные формы — притчи, волшебной сказки, диалога, плутовской или авантюрно-приключенческой новеллы, исторического повествования,

нравоучительной истории, переписки, путевых записок и т. д. Она так и не отмежевалась окончательно от романа; более того, она способствовала формированию романа нового типа, каким он сложится в следующем веке.

Кто только в XVIII столетии не писал повестей! Писатели великие — Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо, Мариво, Прево — отдали щедрую дань этому жанру, а сколько повестей вышло из-под пера литераторов менее знаменитых, но нередко рассказчиков не только весьма плодовитых, но и находчивых, остроумных, изобретательных! Писали повести и политические деятели — и революционный трибун Мирабо, и будущий император Наполеон Бонапарт.

При всем разнообразии видов повести, при всем различии в таланте, темпераменте, взглядах, художественных вкусах и стилистической манере писавших в этом жанре авторов наибольшим влиянием и известностью на всем протяжении столетия пользовалась все-таки повесть с философским подтекстом; она не только изображала окружающую действительность, но и стремилась ее осмыслить, дать ей оценку и очень часто — осудить. Тем самым этот популярнейший жанр литературы своего времени не без

основания может быть назван повестью эпохи Просвещения, а не просто французской повестью XVIII столетия.

А. Михайлов

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ XVIII ВЕКА



ФЕНЕЛОН



ФЕНЕЛОН
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОНОЯ{1}

Перевод А. Андрес

Потеряв вследствие кораблекрушения и других бедствий состояние, унаследованное им от предков, Софроним находил себе утешение, ведя добродетельную жизнь на острове Делос.{2} Он играл на золотой лире, воспевая дивные деяния бога, которого здесь чтят,{3} и предавался служению музам, кои были к нему благосклонны; он пытливо исследовал всякие тайны природы, наблюдал небесный свод и ход светил, познавал строение простых тел и устройство вселенной, измеряя их своим циркулем, а также свойства растений и животных. Но более всего изучал

{1} Комментарии: 2.1

Аристоной — То есть благородномыслящий (греч.).

{2} Комментарии: 2.2

Делос — ныне остров Дилос в архипелаге Киклады в Эгейском море.

{3} Комментарии: 2.3

...деяние бога, которого здесь чтят... — В древности на этих островах чтили бога Аполлона и богиню Артемиду. Согласно легенде ревнивая Гера сделала так, что возлюбленной Зевса богине Лето негде было разрешиться от бремени. Тогда по велению Зевса из воды поднялся маленький скалистый островок Делос, где Лето и родила близнецов — Аполлона и Артемиду.

он самого себя и старался украсить свою душу добродетелью. Так, стремясь умалить его, судьба вознесла юношу к подлинному величию — величию мудрости.

Не помышляя об утраченном богатстве, он жил счастливо в своем уединении, когда однажды увидел на берегу моря какого-то незнакомого ему почтенного старца. То был чужеземец, только что высадившийся на этот берег. Старец с любопытством смотрел на омывавшее берег море, в коем, как ему известно было, некогда носился сей остров. Он разглядывал прибрежные пески и скалы, за которыми виднелись невысокие холмы, круглый год покрытые свежей, зеленой муравой, любовался прозрачными родниками и быстрыми ручейками, орошавшими сей чудесный край. Затем повернулся он к священным рощам, которыми окружен был храм Аполлона, дивясь их яркой листве, коей никогда не смеет коснуться холодное дыхание аквилонов, и взору его открылся вид храма, построенного из паросского мрамора{4} и окруженного высокими колоннами

{4} Комментарии: 2.4

…храма, построенного из паросского мрамора… — Храм Аполлона на острове Делос был воздвигнут в VI в. до н. э. При его постройке был использован мрамор, добывавшийся на острове Парос (находится в том же архипелаге); этот мрамор отличался особенно высоким качеством.

из яшмы. Софроним между тем внимательно рассматривал старца; белая борода ниспадала ему на грудь, лицо его, покрытое морщинами, не было безобразным: беспощадная рука дряхлой старости еще не коснулась его — глаза его исполнены были живости и доброты. Ростом он был высок, стан имел величавый; годы только слегка согнули его, и он опирался на палку из слоновой кости.

— О чужеземец, — обратился к нему Софроним, — что ищете вы на сем острове, который, как видно, вам незнаком? Если вы желаете посетить храм, то его видно отсюда, и я готов сопровождать вас, ибо послушен богам и мне известно, что Юпитер повелевает нам приходить на помощь чужеземцам.

— Я принимаю, — ответствовал старец, — услугу, которую вы предлагаете мне и коей является доказательство вашего добросердечия; и я молю богов вознаградить вас за вашу приязнь к чужеземцам. Отправимся же в храм.

Дорогой он поведал Софронию о целях своего путешествия.

— Меня зовут Аристоноем, — сказал он, — а

родом я из Клазомен,{5} города, расположенного в той живописной части Ионии, что выдается мысом в море{6} и словно сливается с островом Хиос, благословенной родиной Гомера.{7} Родился я от бедных, хотя и благородных родителей. Отец мой, по имени Полистрат, уже и до моего рождения обременен был многочисленной семьей и не пожелал воспитывать меня; он поручил одному своему другу, жительствовавшему в Теосе,{8} подкинуть меня. Одна старая женщина из Эритры,{9} у которой была усадьба неподалеку от того места, где я был подкинут, нашла меня, взяла в свой дом и вскормила козьим молоком. Но она и сама едва сводила концы с концами и потому, как только я вышел из младенческого возраста, продала меня торговцу рабами, который увез меня в Ликию.

{5} Комментарии: 2.5

Клазомены — греческий город в Лидии, древней провинции в Малой Азии. *Иония* была западной, прибрежной частью этой провинции.

{6} Комментарии: 2.6

...что выдается мысом в море... — Ныне этот полуостров, принадлежащий Турции, носит название Чешме.

{7} Комментарии: 2.7

...родиной Гомера. — Хотя согласно легендам, семь городов претендовали считаться родиной великого поэта (Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос и Афины), с наибольшей вероятностью эта честь принадлежит Хиосу или Смирне.

{8} Комментарии: 2.8

Теос — город недалеко от Клазомен, родина Анакреонта, знаменитого греческого поэта VI в. до н. э.

{9} Комментарии: 2.9
Эритра — город в Ионии, недалеко от Клазомен.

Там, в Патаре,{10} он продал меня одному богатому и добродетельному мужу по имени Альцин. Сей Альцин принял во мне сердечное участие, когда я стал отроком. Ему понравились мое послушание, скромность, откровенность, добросердечие и усердие во всех тех благородных занятиях, коим ему угодно было меня посвятить; он стал обучать меня искусствам, которым покровительствует Аполлон, — заставил изучать музыку, приемы телесных упражнений и в особенности искусство врачевания человеческих недугов. И вскоре я приобрел в незаменимом этом искусстве изрядную славу и Аполлон открыл мне свои чудодейственные тайны. Альцин, который все более привязывался ко мне и радовался, что его заботы обо мне приносят столь богатые плоды, отпустил меня на волю и послал в Самос к тирану Поликрату,{11} который в неизменном своем благополучии все же опасался, как бы судьба, доселе столь к нему благосклонная, вдруг коварно от него не отвернулась. Он любил жизнь, доставляв-

{10} Комментарии: 2.10

Ликия — область на юге Малой Азии; *Патар* (или Патара) был ее главным городом. В описываемую эпоху там находился храм Аполлона.

{11} Комментарии: 2.11

Поликрат — властитель острова Самос (вторая половина VI в. до н. э.), славившийся своей решительной политикой и роскошным образом жизни. В 522 г. до н. э. был казнен на кресте персами.

шую ему множество радостей; опасаясь утратить ее и желая предотвратить возможные недуги, он приближал к себе людей, прославившихся во врачебной науке. Он весьма был обрадован, узнав, что я согласен оставаться при нем всю жизнь, и, дабы получше удержать меня, щедро меня награждал и окружал почестями. Живя много лет в Самосе, я не уставал удивляться счастью Поликрата — казалось, судьба находила удовольствие в том, чтобы идти навстречу всякому его желанию: стоило ему затеять войну, как она немедленно заканчивалась его победой; самые несбыточные его желания тут же сбывались словно сами собой; огромные его богатства что ни день приумножались, все враги его покорялись ему, здоровье его не только не ухудшалось, а становилось все более цветущим; в течение сорока лет сей тиран жил спокойно и счастливо; казалось, он сам держит в руках свою судьбу, которая словно не осмеливается ни идти наперекор его умыслам, ни обманывать его надежды. Столь небывалое для смертного преуспеяние постепенно стало пугать меня; я искренне его любил и однажды, не удержавшись, признался, что боюсь за него. Слова мои поразили его, ибо хоть и был он изнежен наслаждениями и склонен к гордыне, все же не

оставался бесчувственным, когда напоминали ему о богах и превратностях, коим подвластна человеческая жизнь. Он выслушал мои опасения, и они так смутили его, что он решил прервать счастливое течение своих дней какой-либо утратой по собственному выбору. «Я вижу, — сказал он мне, — что нет такого человека, который не испытал бы в своей жизни немилости судьбы. Чем больше она нас щадит, тем больше у нас оснований опасаться ужасных перемен. Мне, которого она в течение стольких лет осыпала своими милостями, должно ожидать величайших бед, если я заблаговременно не отведу от себя тех, кои могут мне грозить. Вот почему я хочу предварить возможные коварства ныне столь потворствующей мне судьбы». С этими словами он снял с пальца драгоценный перстень, очень им любимый, и, взойдя на высокую башню, бросил его в море, надеясь с помощью сей жертвы избежать суровых испытаний, коим неминуемо, хоть раз в жизни, подвергает судьба всякого человека. Но это было заблуждением, порожденным привычкой к благоденствию. Беды, претерпеваемые по собственной воле, перестают быть бедами; лишь те из них сокрушают нам сердце, кои нежданно обрушивают на нас боги. Поликрату

неведомо было, что лишь тот способен возобладать над судьбой, кто с помощью умеренности и благоразумия отрешится от тех недолговечных благ, которые она нам дарует. Судьба, которую он думал умилостивить, пожертвовав перстнем, не приняла его жертвы. Казалось, более чем когда-либо она ему потворствует. Перстень его проглочен был рыбой, ее поймали, принесли на кухню Поликрата, и, найденный поваром в ее животе, он возвратился к тирану, который побледнел, уразумев, с каким упорством благоприятствует ему судьба. Но близилось время, когда благоденствие должно было обернуться для него величайшими бедствиями. Великий царь Персии Дарий,{12} сын Гистаспа, войной пошел на греков; вскоре он покорил греческие поселения Азиатского побережья и соседние острова в Эгейском море; Самос был взят, Поликрат схвачен, и наместник персидского царя Оройт, велев возвести высокий крест, приказал распять на нем тирана. Так, подвергнувшись жесточайшей и позорнейшей из казней, погиб тот, кто прожил всю жизнь в столь великом благополучии, тот, кому не удалось даже испытать огорчения, которое он

{12} Комментарии: 2.12

Дарий — видимо, Дарий I Гистасп (522–486 гг. до н. э.), древнеперсидский царь, участник войн с Грецией.

сам себе искал. Таким образом, ничто не угрожает большими несчастьями, чем слишком большое благополучие. Судьба, столь жестоко играющая людьми, превыше всех вознесенными, вместе с тем поднимает из пыли самых обездоленных. Она сбросила Поликрата с высоты его могущества, и она же, подняв меня из самой величайшей бедности, наделила богатством. Персы не отняли его у меня. Напротив, они высоко оценили мое искусство врачевания и отдали должное той скромной жизни, какую я вел, будучи приближенным тирана. Те же, кто во зло употреблял его доверие и его имя, подвергнуты были персами различным карам. Поскольку я никому не причинил зла, а, напротив, делал добро всякий раз, как это бывало возможно, я оказался единственным, кого победители пощадили и к кому они относились с почтением. И все радовались этому, ибо меня любили и преуспеянию моему не завидовали, потому что никогда не проявлял я ни жестокости, ни высокомерия, ни алчности. Я прожил в Самосе еще несколько лет довольно спокойно, но в конце концов мною овладело страстное желание вновь увидеть Ликию, где так безмятежно протекали дни моей юности. Я надеялся свидеться там с Альцином, который меня воспитал и кому я обязан

был своими успехами и своим богатством. Но, прибыв в Ликию, я узнал, что Альцин умер, потеряв перед тем все свое состояние и с отменной стойкостью перенося несчастья, кои пришлось ему претерпеть в старости. Я тотчас же отправился на его могилу, дабы возложить на нее цветы и окропить ее своими слезами. Поставив на могиле достойное Альцина надгробие, я стал спрашивать, что сталось с его детьми. Мне ответили, что единственный оставшийся у него сын, по имени Орсилох, не решаясь появляться безо всякого состояния в родном краю, где отец его был столь знаменит, сел на чужеземное судно, намереваясь отправиться на какой-нибудь отдаленный остров, чтобы жить там в полной безвестности. К этому добавили, что это судно спустя некоторое время потерпело крушение где-то у Карпатских островов,{13} и, следовательно, никого уже не осталось в живых из семьи моего благодетеля. И тогда я решил купить тот дом, где он прежде жил, вместе со всеми лежащими окрест плодородными землями. Я рад был узреть места, будившие у меня столь сладостные воспоминания о счастли-

{13} Комментарии: 2.13

Карпатские острова — ныне острова Карпатос и Касос, расположенные на рубеже Критского и Средиземного морей, между островами Крит и Родос.

вых днях юности и о добром моем господине: мне представлялось, будто я вернулся в цветущий тот возраст, когда служил Альцину. Не успел я выкупить у кредиторов его родовое имение, как мне пришлось немедля отправиться в Клазомены: умерли мой отец Полистрат и моя мать Фидила. У меня были братья, которые не ладили между собой. Прибыв в Клазомены, я сразу явился к ним, одетый в скромное платье, какое носят люди неимущие, и показал им отметину, которую, как вы знаете, имеют обыкновение заботливо оставлять на подкинутых младенцах. Они огорчились, ибо с моим появлением увеличилось число наследников Полистрата, меж коими предстояло разделить его скромное имущество; они даже решились оспорить мое происхождение и перед судом отреклись от родства со мной. Тогда, дабы покарать их за жестокосердие, я заявил, что согласен не считать себя отныне их братом, но требую, чтобы и они навсегда были выключены из числа моих наследников. Судьи вынесли о том постановление, и тогда я объявил о сокровищах, кои привез на своем корабле, и открыл им, что я тот самый Аристоной, который накопил столько богатств за время службы у Поликрата, тирана Самоса, и что я никогда не был женат. Мои братья

горько пожалели о том, что так несправедливо со мной обошлись, и, желая все же стать впоследствии моими наследниками, еще сделали последние, но тщетные попытки обрести мою дружбу. Вследствие взаимных распрей им пришлось продать отчие владения, я купил их, и братьям с прискорбием пришлось увидеть, как все имущество нашего отца перешло в руки того, кому они не пожелали выделить ни малейшей его доли. И они впали в полную нищету. Но после того, как они достаточно почувствовали свою вину, я все же решил показать им природное свое добросердечие: я простил их, я принял их в свой дом и каждому из них предоставил средства, дабы они могли заняться морской торговлей. Я собрал их всех вместе — они и дети их живут в моем доме в полном согласии. Я стал для всех этих разных семей общим отцом. И вскоре, благодаря единодушию и усердию в делах, они сумели скопить себе значительное состояние. Между тем в двери мои, как видите, постучалась старость. Она выбелила мои волосы, покрыла морщинами мое лицо. Она предупреждает меня, что мне уже недолго осталось наслаждаться столь невозмутимым счастьем. И мне захотелось перед смертью вновь, в последний раз, увидеть

дорогой моему сердцу край, который милее мне даже собственной отчизны, — увидеть Ликию, где под наставничеством добродетельного Альцина научился я быть добрым и мудрым. Я поплыл туда и по пути повстречал некоего купца с одного из Кикладских островов, который стал уверять меня, будто на острове Делос живет сын Орсилоха, добродетелями своими идущий по стопам своего деда Альцина. Я тотчас же свернул с намеченного пути и поспешил сюда, дабы на сем острове, покровительствуемом Аполлоном, найти бесценного потомка семьи, коей я всем обязан. Мне недолго осталось жить. Злобная парка, не терпящая сладостного покоя, который так редко даруют боги смертным, поторопится обрезать нить моих дней, но я буду рад умереть, если, прежде чем навеки закрыться, глаза мои успеют еще узреть внука моего господина. Скажите же мне теперь, о вы, что обитаете вместе с ним на этом острове, — знаком ли он вам? Укажите, где мне найти его? Помогите мне его увидеть, и да вознаградят вас за это боги, и да даруют они вам счастье увидеть играющими у ваших ног детей и детей детей ваших вплоть до пятого поколения! И да сохранят они дом ваш в мире и благоденствии в награду за вашу доброту!

Так говорил Аристоной, меж тем как Софроним обливался слезами радости, смешивая их со слезами печали. И когда старец кончил, юноша бросился ему на шею, будучи не в силах произнести ни слова. Он обнимал его, прижимал к груди, и наконец из уст его вырвались следующие слова, прерываемые тяжкими вздохами:

— О отец мой, я тот, кого вы ищете. Вы видите перед собою Софронима, внука вашего друга Альцина. Да, это я, и нет сомнений, что боги направили вас сюда, дабы вы облегчили мои горести. Благодарность, казалось, совсем исчезла на земле, вы один сохранили ее. Я слышал в детстве рассказы о некоем богатом, знаменитом муже, живущем в Ликаонии, который воспитан был в доме моего деда; но отец мой Архилох умер молодым, когда я был еще младенцем, я знал об этом лишь понаслышке; и, поскольку сведения эти были недостоверны, я не отважился поехать в Ликаонию и предпочел поселиться на сем острове, где, презрев суетные богатства, утешался в своем злосчастье, предаваясь служению музам в священном храме Аполлона. Мудрость, которая учит людей обходиться малым и сохранять спокойствие духа, досель заменяла мне все иные блага.

Так закончил свою речь Софроним. Тем временем они подошли к святилищу Аполлона, и юноша предложил Аристоною вознести богу молитву и почтить его приношением. В жертву они принесли двух белых словно снег ягнят и быка, у которого на лбу был полумесяц; затем они спели гимны в честь того, кто освещает вселенную, кто ведает сменой времен года, кто направляет науки и воодушевляет хор девяти муз. Выйдя из храма, Софроним и Аристоной провели остаток дня, рассказывая друг другу о своих злоключениях. Софроним принял старца у себя, оказав ему столь же почтительное гостеприимство, какое оказал бы его и самому Альцину, когда бы тот был жив.

На следующий день они вдвоем покинули остров и поплыли по направлению к Ликии. Аристоной привез Софронима в благодатные места, что расположены на берегу реки Ксант,{14} в чьи воды Аполлон, возвращаясь с охоты, столько раз погружался, смывая пыль со своих прекрасных светлых кудрей. Вдоль ее берегов росли ивы и тополя, в нежной молодой листве их свило свои гнезда великое множество птиц, распевавших днем и ночью. С шумом и пеной низвергаясь

{14} Комментарии: 2.14

Ксант — река в Ликии; находившийся на ее берегу одноименный город (Ксантос) был уничтожен Киром.

со скалы, река затем спокойно текла в своем русле по усыпанному камешками дну. Кругом золотились нивы. Окрестные холмы покрыты были виноградниками и плодовыми деревьями. Природа была здесь прекрасна и радовала взоры. Небо было спокойным и ясным, а земля всегда готова извлечь из недр своих все новые и новые богатства, дабы щедро вознаградить труды землепашца.

Они пошли берегом и вскоре очутились перед домом, простым и скромным, но построенным изящно и соразмерно. Софроним не увидел в нем ни золота, ни серебра, ни мрамора, ни слоновой кости, ни мебели, окрашенной пурпуром, — все было здесь опрятным, все исполнено удобства и приятности, но безо всякой роскоши. Посреди двора бил родник, и вытекавшая из него струйка воды, словно по зеленому ковру, бежала по траве, прокладывая себе русло. И сад, и огород были небольшими: росли в них плоды и овощи, могущие служить людям пищей. По обе стороны сада возвышались рощи, деревья в которых были почти столь же древними, как и взрастившая их земля; ветви их так тесно переплелись меж собою, что солнечные лучи не могли пробиться сквозь их густую листву. Они взошли в залу, где

поданы им были яства, приготовленные из тех плодов, коими природа снабжает сады и огороды, и не было тех приправ, кои за столь дорогую цену человеческая изнеженность везет из далеких городов. Им подали молоко, столь же вкусное и сладкое, как то, что выдаивали пальцы Аполлона, когда он служил пастухом у Адмета.{15} Подали им мед, по вкусу превосходящий тот, что привозят из пчельников Гиблы в Сицилии или с горы Гимет в Аттике; подали овощи, только что сорванные с гряд, и плоды, недавно собранные с дерев. Отменное вино слаще нектара наливалось из больших кувшинов в чеканные чаши. Во время этой скромной, но вкусной и приятной трапезы Аристоной, однако, не садился за стол. Сначала под различными предлогами он избегал этого, стараясь утаить свою скромность, однако, когда Софроним стал понуждать его, он заявил, что никогда не решится вкусить пищу за одним столом с внуком своего господина Альцина, которому так долго прислуживал в этой самой зале.

— Вот здесь, — сказал он, — мудрый сей муж вкушал пищу; здесь беседовал он с друзьями; здесь играл в разные игры; здесь он прохаживал-

---

{15} Комментарии: 2.15

…пастухом у Адмета. — Согласно легендам, Аполлон служил у фессалийского героя Адмета пастухом во искупление убийства киклопов.

ся, читая Гесиода и Гомера, а вон там почивал он ночью.

И, вспоминая все эти подробности, он исполнен был умиленья, и слезы катились из его глаз…

Когда трапеза была закончена, он повел Софронима на прекрасные луга, где бродили большие стада овец, только что вернувшиеся с тучных пастбищ. Вокруг блеющих маток прыгали маленькие ягнята. Повсюду встречались им приветливые работники, усердно трудившиеся на благо своего господина, к коему они относились с любовью, ибо он был добр, человечен и смягчал им тяготы рабства.

И после того как Софроним увидел этот дом, и рабов, и стада, и земли, благодаря заботливой обработке достигшие столь большого плодородия, Аристоной сказал ему:

— Я счастлив видеть вас в сем старинном имении ваших предков; и еще рад я тому, что могу ввести вас во владение той землей, где я так долго служил Альцину. Наслаждайтесь же спокойно всем, что принадлежало ему, и неусыпными заботами старайтесь приуготовить себе менее печальный конец жизни, чем тот, который постиг его.

И он поднес ему все это в дар, с соблюдением

всех тех формальностей, кои предписываются законами, и при этом заявил, что лишит наследства любого из законных своих наследников, кто осмелится когда-либо оспорить эту дарственную внуку Альцина. Но и это показалось ему еще недостаточным. Прежде чем передать Софронимy свой дом, он обновил в нем все убранство, обставил его новой мебелью, правда, простой и скромной, но чистой и приятной на вид; он наполнил амбары щедрыми дарами Цереры,{16} а погреба таким вином, что Гере или Ганимеду не зазорно было бы подать его к столу великого Юпитера; к нему он присовокупил еще запас хиосского вина, а также меда от пчел Гиблы и Гимета и еще оливкового масла из Аттики, почти столь же сладкого, что и мед. И он прибавил к этому еще множество рун тончайшей, белой как снег шерсти — сию роскошную оболочку, совлеченную с нежных овец, что пасутся в горах Аркадии и на тучных пастбищах Сицилии. Таким передал он Софрониму свой дом и в придачу

{16} Комментарии: 2.16

Церера — латинское имя Деметры, греческой богини плодородия и земледелия.

еще пятьдесят эвбейских талантов;{17} братьям же своим он оставил богатейшие владения, что расположены на Клазомерском полуострове, в окрестностях Смирны, Лебеда и Колофона.{18}

Совершив сию дарственную, Аристоной вновь сел на свой корабль, чтобы отплыть к себе в Ионию. Ошеломленный и растроганный Софроним провожал его до причала; со слезами на глазах благодарил он его, называя своим отцом и сжимая в объятиях.

Погода благоприятствовала в пути Аристоною, и он вскоре приплыл к себе домой. Никто из его родственников не посмел посетовать на великодушие, только что выказанное им по отношению к Софронию.

— Я, — заявил он им, — в своем завещании изъявляю последнюю волю: все мои владения будут проданы и розданы беднякам Ионии в тот самый час, когда кто-либо из вас посмеет возразить против дара, который я принес Софронию, внуку Альцина, моего благодетеля.

{17} Комментарии: 2.17

Эвбейские таланты — то есть одна из разновидностей аттического таланта, самой крупной денежной единицы Древней Греции; чеканились на острове Эвбея.

{18} Комментарии: 2.18

Смирна, Лебед, Колофон — богатые города в Малой Азии, в провинции Лидия.

Мудрый старец жил в мире и довольствии, наслаждаясь всеми благами, кои богам угодно было ниспослать ему за его добродетель. Несмотря на свою старость, он каждый год совершал путешествие в Ликию, дабы вновь увидеть Софронима и совершить жертвоприношение на могиле Альцина, которую он украсил прекраснейшими творениями зодчества и ваяния. Он распорядился, чтобы после его собственной смерти прах его был бы привезен сюда и погребен в той же могиле, дабы ему покоиться рядом с прахом возлюбленного своего господина. И каждый год, как только наступала весна, Софроним, горя нетерпением вновь увидеться с ним, без конца обращал свои взоры к морю, надеясь различить вдалеке корабль Аристоноя, всегда прибывавший в это время года. И каждый год имел он счастье увидеть в соленых волнах приближающийся к берегу столь дорогой его сердцу корабль. Прибытие его было ему во сто крат милей всех прелестей природы, возрождающейся весной после суровых холодов зимы.

Но наступил такой год, когда долгожданный корабль не пришел. Софроним испускал тяжкие вздохи, сон бежал от его очей, самые изысканные блюда утратили для него вкус: он был в тревоге,

вздрагивал от малейшего шума. Не отрывая глаз своих от причала, он то и дело вопрошал, не видел ли кто какого-либо корабля, прибывшего из Ионии. И он дождался его, но, увы, не Аристоноя привез этот корабль, а лишь заключенный в серебряную урну прах его. Амфиклес, старинный друг покойного, почти сверстник его и верный исполнитель его воли, сошел на берег, печально неся эту урну. Он подошел к Софрониму, оба они не в силах были сказать ни слова и лишь рыданиями выражали свои чувства. Облобызав урну и оросив ее слезами, Софроним наконец сказал так:

— О мудрый старец, ты составил счастье моей жизни, а ныне причиняешь мне самое жестокое из страданий. Я больше не увижу тебя, а я бы за счастье почел умереть, только бы вновь узреть тебя и последовать за тобой в Елисейские поля, где ныне тень твоя вкушает сладостный покой, который справедливые боги уготовливают добродетели. С тобой возвратились на нашу землю справедливость, благочестие и благодарность. В наш железный век ты явил нам доброту и простоту, бывшие уделом золотого века. И за это боги, прежде чем увенчать тебя в жилище праведных, даровали тебе на сей земле долгую, радостную и

счастливую старость. Но, увы, никогда не длится достаточно долго то, чему следовало бы длиться вечно. Как горько будет мне отныне наслаждаться твоими дарами, зная, что нет тебя на земле. О возлюбленная тень! Когда последую я за тобой? О бесценный прах, если способен ты еще что-то испытывать, ты не можешь не возрадоваться тому, что будешь смешан с прахом Альцина. Наступит день, когда и мой пепел смешается с вашим. Пока же единственной отрадой моей будет свято беречь сии бренные останки тех, кого я более всех любил. О Аристоной! О Аристоной! Нет, ты не умрешь. Ты навсегда останешься жить в глубине моего сердца. Скорей забуду я самого себя, чем того, кто так любил меня, кто так любил добродетель и кому я всем обязан!

Произнеся эти слова, кои прерывал он горестными вздохами, Софроним опустил урну в могилу Альцина; вслед за тем он совершил жертвоприношение, и кровь множества закланных животных щедро оросила поросшие травой жертвенники, окружавшие могилу; он произвел возлияние вина и молока, он возжег благовония, привезенные с далекого Востока, и они благоуханным облаком поднялись кверху, наполняя собою воздух.

В память об Альцине и Аристоное Софроним

учредил траурные торжества, которые с того дня происходили каждый год, и всякий раз весной. Съезжались на них отовсюду — и из благоденствующей плодородной Карии,{19} и с пленительных брегов Меандра,{20} который прихотливо образует в течении своем столько излучин и словно нехотя покидает омываемую им страну, и с вечнозеленого побережья Кайстра,{21} и с берегов Пактола,{22} катящего свои воды по золотоносному песку, из Памфилии,{23} столь щедро увенчанной дарами Цереры, Помоны и Флоры;{24} наконец, с обширных равнин Киликии,{25} словно сад орошаемых потоками, бегущими с вершины Тавра,{26} покрытого вечными снегами. Во время этих торжественных празднеств юноши и молодые девушки в длинных одеяниях из белой,

{19} Комментарии: 2.19

Кария — область в Малой Азии, между Лидией и Ликией; от нее зависели такие города-государства, как Милет, Галикарнас, Книд и др.

{20} Комментарии: 2.20

Меандр — современная река Большой Мендерес в Малой Азии; берет свое начало в гористой местности и на всем течении очень извилиста.

{21} Комментарии: 2.21

Кайстр — ныне река Малый Мендерес; протекает севернее Большого, впадает в Эгейское море около Эфеса.

{22} Комментарии: 2.22

Пактол — современный Сарт, река в Лидии.

{23} Комментарии: 2.23

Памфилия — область в современной Анатолии (Малая Азия).

{24} Комментарии: 2.24

Помона и Флора — римская и итальянская богини плодородия, цветов и т. д.

{25} Комментарии: 2.25

Киликия — область в Малой Азии, на южном ее побережье, в непосредственной близости от Кипра.

{26} Комментарии: 2.26

Тавр — горный хребет в Малой Азии.

словно лилия, шерсти пели гимны, восславляя Альцина и Аристоноя; ибо невозможно было прославлять одного, не упоминая тут же другого, ибо невозможно было отделить теперь друг от друга этих двух мужей, столь связанных между собою даже после смерти.

Но самым поразительным было то, что, в то время как Софроним совершал возлияние вина и молока, из могилы вдруг поднялось зеленое, источающее сладостный аромат миртовое дерево и, вознеся вверх густую крону, покрыло своей тенью обе урны. И все воскликнули, что это боги в награду за добродетель обратили Аристоноя в столь прекрасное дерево. Дерево это остается вечно молодым и каждый год обновляет свою листву. Свершая это чудо, боги хотели показать, что добродетель, оставляющая у людей столь благоуханное воспоминание, никогда не умирает.

ЛЕСАЖ

ЛЕСАЖ
МЩЕНИЕ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ

Перевод Н. Рыковой

Когда Кастилия и Арагон еще не были объединены,{27} между кастильцами и арагонцами возник пограничный спор. Оба эти народа, не достигнув согласия по этому поводу, начали горячиться, и дело доходило и с той, и с другой стороны до враждебных действий, предвещавших, по-видимому, неизбежную войну. Дабы предотвратить ее, король Кастилии, монарх благодушный и расположенный к миру, решил отправить в Са-

{27} Комментарии: 2.27

Когда Кастилия и Арагон еще не были объединены... — В средние века на территории Испании существовало несколько королевств, в одиночку боровшихся с арабскими завоевателями. После завершения реконкисты (то есть «обратного завоевания») эти королевства нередко вели между собой борьбу (особенно в XIV и в первой половине XV в.). Объединение Испании было осуществлено в результате династического брака наследников арагонского и кастильского престолов, соответственно Фердинанда и Изабеллы (1469). В 1474 г. Изабелла стала королевой Кастилии, а в 1479 г. Фердинанд — королем Арагона; последняя дата и считается моментом объединения королевств.

рагосу{28} посла. Однако почетное это поручение он возложил на придворного вельможу, наименее способного удачно выполнить его, а именно — на графа де Лару. Этот кастилец, нисколько не походивший на великого Сципиона,{29} который никогда не терял хладнокровия, как бы ему ни возражали, обладал характером совершенно противоположным. Для того, чтобы воспламениться гневом, ему и возражений никаких не требовалось. Его надменность и вспыльчивость проявлялись даже тогда, когда он принуждал себя к учтивости и кротости.

Едва короля арагонского предупредили о прибытии этого посла в Сарагосу, как он сразу же дал ему аудиенцию в присутствии всех грандов своего двора. Среди сеньоров, составлявших это высокое собрание, блистал прославленный дон Энрике, граф де Рибагоре, самый представительный и достойный рыцарь своего времени. Хотя ему не было и двадцати шести лет, он уже пожинал лавры на полях сражений, и народ любил его

{28} Комментарии: 2.28

Сарагоса — столица Арагона до объединения. Столица Кастилии — Толедо.

{29} Комментарии: 2.29

Сципион. — Имеется в виду Сципион Африканский (234–183 гг. до н. э.), римский политический деятель и полководец, победитель Ганнибала во время Второй Пунической войны.

не менее, чем гранды.

Вместо того чтобы изложить данное ему поручение таким образом, чтобы расположить к себе слушателей, наш кастильский посол только раздражил их, ибо речь держал высокомерно и в столь несдержанных выражениях, что казалось, будто он скорее угрожает, чем предлагает прийти к соглашению. Под конец он восстановил против себя все собрание и в особенности молодого графа де Рибагоре, который, не желая выслушивать столь дерзкие речи, спросил его, явился ли он для того, чтобы объявить арагонцам войну, или для того, чтобы договориться с ними о способах разрешить по-доброму их разногласия с кастильцами. Ибо, добавил он, «послушать вас, так покажется, что вы явились сюда лишь для того, чтобы нас оскорблять. Но какие бы цели ни привели вас сюда, вы забываете о почтении, которого требует присутствие здесь короля, и даже не думаете о том, что злоупотребляете уважением его величества к возложенной на вас миссии».

Слова эти, однако же, не сделали посла более сдержанным. Он продолжал говорить весьма свободно, а в отношении графа де Рибагоре даже вызывающе, причем тот ответил ему так, что королю, дабы дело не зашло далеко, пришлось

властно вмешаться в их перепалку. Он повелел и тому, и другому замолчать, перенес на завтра принятие решения по вопросу о границах и покинул собрание. После чего сеньоры разошлись по домам, а взбешенный кастилец возвратился в свою гостиницу.

Только он явился туда, как на ум ему пришло, что, если он не желает прослыть трусом, ему необходимо послать вызов молодому Рибагоре, и вот какую он написал ему записку:

Граф, я не заслуживал бы чести принадлежать к числу кастильских дворян, среди которых — могу похвастать, — я не последний, если бы не показывал дерзновенным, осмеливающимся говорить со мною заносчиво, что умею сбивать с них спесь. Поэтому, выступая уже отнюдь не в качестве посла, я стану дожидаться вас сегодня ночью на берегу Эбро в сопровождении одного слуги и при шпаге. Считая, что вы достаточно строгий блюститель правил чести, рассчитываю увидеть вас на этой встрече вооруженным точно таким же образом.

Граф де Лара

Прочтя эту записку, дон Энрике ощутил и обиду, и величайшее смущение. Он ясно представил себе, что, приняв вызов, неизбежно потеряет и доверие, и милость короля, у которого был любимцем, ибо не сомневался, что государь, чья строгость была ему хорошо известна, никогда не простит такого дерзновенного дела, как поединок с послом, хотя в руках графа и имеется доказательство, что посол этот первым послал ему вызов. Он недоумевал, на что же ему решиться.

Сперва ему захотелось пойти показать записку его величеству. Но, рассудив, что кастилец может на этом основании обвинить его в трусости, он решил по-другому. И, считая, что не может избежать поединка, не запятнав своей чести, он предпочел лучше пойти на риск вызвать гнев своего повелителя, чем допустить, чтобы пострадало его доброе имя.

Поэтому он решил ответить графу де Ларе, что не преминет быть в полночь на берегу Эбро, также в сопровождении одного слуги и вооруженный только своей шпагой. Ответ дона Энрике лишь обострил нетерпение кастильца схватиться поскорее с арагонцем, который, впрочем, чувствовал то же самое. Он явился на место встречи первым, но и посол не заставил себя долго ждать.

Оба учтиво приветствовали друг друга, как два случайно повстречавшихся приятеля.

— Сеньор кавалер, — сказал граф де Лара, — полагаю, что мой вызов вас не удивил. У вас возникло бы весьма худое мнение о моей храбрости, если бы я не потребовал от вас удовлетворения за оскорбление, которое вы мне нанесли, прервав мою речь. Этот невежливый поступок приличествовал вам еще меньше, чем пожилым дворянам

свиты, хотя и их возраст не мог бы послужить им извинением, если бы они его совершили.

— А разве, — возразил дон Энрике, — с вашей стороны было более пристойно заводить такие дерзостные речи, как те, что вы вели в присутствии короля и грандов?

— Я вижу, — ответил кастилец, — что мы явились сюда не для того, чтобы извиняться друг перед другом, и что оба считаем себя правыми. Не будем же терять времени в легкомысленных рассуждениях.

С этими словами он извлек из ножен свою шпагу, и Рибагоре сделал то же самое. Они яростно бросились друг на друга. В то время как они бились с одинаковым неистовством, на берегу реки появилось несколько всадников с факелами, галопом мчавшихся к сражающимся. Это был капитан королевских гвардейцев, который с отрядом из тридцати — сорока верховых явился задержать дона Энрике, так как его величество успели известить о том, что этот сеньор должен был вечером на берегу Эбро сразиться в поединке с кастильским послом. Однако, когда гвардейцы прибыли к месту поединка, он уже закончился: графа де Лару они нашли распростертым на земле и тяжело раненным. Что же до Рибагоре, то он

получил только легкую рану.

— Граф, — обратился к нему гвардейский капитан, — я дружески отношусь к вам и потому весьма огорчен тягостным положением, в которое вы по своей неосторожности попали. Король крайне разгневан на вас и считает, что вы, презрев всякие человеческие права и осмелившись покуситься на жизнь человека, который должен был бы быть для вас неприкосновенным, виновны более, чем кто бы то ни было другой. Я очень удручен этой бедой, а еще более — данным мне приказом. Королю угодно, чтобы я арестовал вас и заключил в башню. Он повелел, чтобы с вас там не спускали глаз и чтобы к вам для услуг приставлен был лишь один из ваших людей. Отдайте мне свою шпагу, — добавил он, — и простите меня за то, что, повинуясь воле моего повелителя, я являюсь орудием постигшей вас кары.

— По этому вызову, — ответил дон Энрике, передавая ему записку кастильца, — вы сами можете убедиться, что нападающим оказался сам посол. Я же, признаюсь вам, считал, что, заботясь о своей доброй славе, вынужден принять вызов. Но, виновен я или нет, — оправдываться не пытаюсь. Исполняйте свой долг. Вот моя шпага. Сообщите королю о полной моей покорности его воле.

Капитан отвел Рибагоре в одну из крепостных башен, а лейтенанту своему поручил доставить посла в его гостиницу, куда король и послал своих врачей, едва только узнал о случившемся. Они осмотрели полученную кастильцем рану и нашли ее весьма опасной. Как только король об этом узнал, он так распалился гневом на графа де Рибагоре, что, заглушив свои дружеские к нему чувства, поклялся предать его смерти, даже если посол останется жить. Гранды, окружавшие короля, видя столь жестокий его гнев, не осмелились ходатайствовать за заключенного, хотя все они были его друзьями. Они рассудили, что выступить на защиту графа можно будет лишь после того, как гнев государя несколько поутихнет, что и случилось на следующий день, когда признали, что полученная послом рана не смертельна. Они заявили об этом на другой же день после поединка, утверждая, что если не произойдет неожиданных осложнений, опасаться нечего. Получив такие заверения, король отправился проведать раненого, который был, видимо, весьма польщен оказанной ему честью и проявил некоторое великодушие, оправдывая дона Энрике и признавшись, что именно он, посол, первым вызвал этого сеньора на поединок.

Признание это смягчило гнев государя, который, с виду продолжая сердиться, удовлетворился тем, что вплоть до нового распоряжения оставил своего любимца в заключении.

Вот уже две недели несчастный жил в своей башне, не имея возможности повидаться с родными и друзьями, когда в Сарагосу прибыл старый, прославленный воин дон Педро де Вильясан. Оказав в свое время государству большие услуги, он удалился на покой в один из своих замков на границе с Кастилией и там целиком посвятил себя воспитанию своей единственной дочери, доньи Элены. Сейчас ей исполнилось уже восемнадцать лет, и он решил представить ее ко двору, рассчитывая, что она будет принята фрейлиной в окружение принцессы Леонор, единственной дочери короля. Дон Педро рассчитывал, что ему не придется испытать огорчение оттого, что из этих планов ничего не выйдет. И действительно, он отнюдь не тешился несбыточной надеждой: как только Элена де Вильясан предстала перед королем и его придворными, она тотчас же очаровала и пленила всех. Сам король восхитился ее красотой, и, когда она приблизилась, чтобы поцеловать ему руку, государь наговорил ей вещей весьма лестных и оказал ей честь самым

милостивым приемом. Принцесса арагонская, не менее, чем король, удивленная появлением столь пленительной особы, обласкала ее и выказала ей всяческое расположение. Дочь дона Педро, со своей стороны, заметив, что имела счастье понравиться принцессе, ощутила такую радость, что попросила ее оказать ей милость и принять в число дам своей свиты. Просьба эта была тотчас же удовлетворена.

И вот донья Элена прочно обосновалась при дворе, ее любит принцесса Леонор, и расположение это усиливается настолько, что Элена становится самым доверенным лицом принцессы и, естественно, приобретает немало завистниц. Думаю, нетрудно поверить, что многие арагонские сеньоры не замедлили влюбиться в прелестную Элену де Вильясан, — и, по правде говоря, упастись от этого было просто невозможно. Куда бы ни устремляла она свои шаги, за ней следовали, чтобы полюбоваться на нее, и все находившиеся тогда в Сарагосе живописцы — как французы, так и фламандцы и итальянцы — торопились изобразить ее на портретах, так что по всему городу вскоре распространились бесчисленные копии этого пленительного оригинала. Находились люди, покупавшие их просто

из любопытства, — им приятно было иметь у себя изображение столь обаятельного существа. Один приятель графа де Рибагоре, желая, чтобы заключенный, лишенный возможности видеть столь редкостную красавицу, получил хотя бы удовольствие от обладания ее портретом, послал ему одну такую миниатюру. Дон Энрике сперва долго созерцал ее, а затем решил, что это скорее работа художника-льстеца, чем верное изображение некоей живой женщины. «Нет, — говорил он сам себе, — не может быть, чтобы в действительности существовало лицо, столь волнующее наши чувства и столь прекрасное. Однако, если верить другу, приславшему мне этот портрет, оригинал обладает такими чертами изящества, каких не в состоянии точно передать кисть художника. Если это так, то дочь дона Педро де Вильясан — просто чудо. Но обладает ли она или не обладает теми прелестями, которые, как утверждают, не смог воплотить живописец, этот портрет сам по себе приводит меня в восторг. Ах, божественная Элена, почему именно сейчас я лишен свободы? Я бы вступил в борьбу с теми сеньорами, которые уже попали к вам в плен и горды славою угождать вам. Хотя я и не наслаждался, подобно им, лицезрением вашей небесной красы, я чувствую

себя их соперником». И, ведя сам с собой такие речи, он пожирал глазами изображение, которое воздействовало на него так, как если бы это был сам изображенный предмет. Под конец он уже неустанно созерцал его, и, новый Пигмалион, по двадцать раз в день обращался к нему с нежными и страстными словами.

Спустя немного времени после прибытия ко двору прекрасной Элены там внезапно появился дон Гаспар де Перальте как человек, посланный самой любовью. Он возвращался из путешествия по всем королевствам Испании в Арагон с многочисленной и блестящей свитой. Король принял его с тем большей благосклонностью, что и отец его пользовался в свое время монаршим благоволением. Впрочем, это был сеньор приблизительно одного возраста с доном Энрике и столь же привлекательной внешности. Облобызав руку его величества, Перальте отправился засвидетельствовать свое почтение принцессе, и там впервые очам его предстала донья Элена. Он разделил судьбу всех, кто когда-либо видел ее, — то есть подпал ее чарам. С того же самого дня принял он решение не отступать от нее и объявил себя ее рыцарем. Граф де Рибагоре не преминул вскорости узнать об этом, ибо тот

самый друг, что прислал ему портрет Элены, ежедневно сообщал ему в письмах обо всем, что происходило при дворе. Известие это огорчило его. Зная дона Гаспара как сеньора весьма привлекательного, он почувствовал, как ревность вонзается в него тысячами жал. «Как я несчастен, — думал он, — что не могу выйти из этой башни! Я бы еще утешился, если бы мне дана была возможность противопоставить мое служение ухаживанью столь опасного соперника. Может быть, мне и удалось бы завоевать предпочтение. Как жестоко заставляет меня король искупить мою вину, держа меня в заключении при таких обстоятельствах!»

Вот так-то донья Элена и смущала душевный покой дона Энрике. Сеньор этот был просто в отчаянье, что ему не дана возможность сделать ей страстное признание, с которым он обращался пока лишь к ее изображению. В довершение несчастья он узнал, что король вынес решение о его участи, что по ходатайству его друзей и настоятельным просьбам графа де Лары, который, оправившись после ранения, ежедневно говорил о нем с государем, монарх этот даровал ему жизнь, но что освобождения его добиться не смогли. Его величество приговорил графа еще к

трем месяцам заключения, а затем — к ссылке на два года в его имение Тортуэра с запрещением удаляться оттуда на расстояние более одной мили. Этим суровым решением король желал показать своим подданным, что правосудие его не щадит даже тех, кого он больше всего любит, если они заслуживают кары.

Столь чрезмерная строгость крайне удручила дона Энрике. Но самым большим горем было для него то, что королевский приговор вынуждал его отказаться от доньи Элены и предоставить полную свободу дону Гаспару. Он не сомневался, что если дама еще и не проявила сострадания ко вздохам столь опасного соперника, она вскоре это неизбежно сделает. И эта мысль причинила ему смертные муки. И страдал он отнюдь не зря: Перальте понравился даме, и дела его пошли так хорошо, что менее чем через месяц он стал счастливейшим супругом прекрасной Элены де Вильясан. Свадьба была ознаменована великолепными празднествами, после чего, с соизволения короля и принцессы арагонской, дон Гаспар увез юную свою супругу в свой замок Бельчите, расположенный всего в семи милях от Сарагосы.

Но вернемся к несчастному Рибагоре. Если

он сумел не поддаться горести, постигшей его, когда он потерял свою Элену, то обязан был этим только своим друзьям. Ибо теперь ему уже не было запрещено видеться с ними, и в тюрьму всегда приходил кто-нибудь из них, чтобы утешать заключенного. Они убеждали его проявить терпение, доказывая, что именно сейчас, может быть, окончатся его страдания и он снова войдет в милость к королю. Ни о чем ином они с ним не заговаривали; о любви его к жене дона Гаспара им не было известно, ибо заключенный и не подумал поведать им о своей химерической страсти. Он не только не признавался в ней, но даже напускал на себя холодность и безразличие, когда разговор заходил о донье Элене и ему приходилось выслушивать прославление ее красоты. Но, не выдавая себя перед друзьями, он зато давал волю своему любовному пылу наедине со своим слугой Мельхиором, единственным человеком, перед которым он открывал душу. Он не спускал глаз с портрета Элены, вздыхал и размечтался до того, что лил слезы.

— Сударь, — говорил ему иногда Мельхиор, — возможно ли, чтобы, несмотря на ваш здравый рассудок, над вами забрало такую власть изображение на портрете? Ради всего святого, призовите

к порядку заблудший разум, дабы исчезла у вас даже память о том, что не может вам принадлежать. Не глядите на этот портрет, только разжигающий несчастную любовь.

— Друг мой, — отвечал ему господин, — я хорошо понимаю, что чувства мои не только смехотворны, но даже тронуты безумием. Но подумай о том, что я же не выдумал их. Мною владеет некая высшая власть, не дающая мне прислушаться к голосу рассудка.

Между тем время текло, и настал день, когда заключенный должен был быть выпущен на волю. Многие надеялись, что король, удовлетворившись тремя месяцами заключения, снимет дополнительную кару и снова призовет его ко двору, однако они ошиблись. Его величество, упорствуя в желании, чтобы граф испытал всю суровость кары, запретил ему появляться в Сарагосе и повелел незамедлительно отправляться к месту изгнания. Пришлось повиноваться, и вскоре граф вместе со своим верным Мельхиором уже находился в замке Тортуэра.

Место это не слишком привлекательное. Оно окружено горами и являет взору одну лишь ужасающую пустыню. Государь потому и отправил графа сюда, чтобы лишить его удовольствия,

которое тот мог испытать в местности более приятной. Тем не менее юный сеньор, беспрекословно покоряясь воле своего государя, безропотно переносил всю суровость обращения, которой его подвергали. Как ни тягостно было ему одиночество, постепенно он к нему привык.

Почти ежедневно охотился он вместе с идальго из Молины, Омбрадо и других соседних селений. По возвращении с охоты он угощал их и веселился в их обществе, как будто оно было ему приятно. Но за учтивостью порою скрывалась скука, которую он испытывал в подобной компании. Мельхиора же, слугу, привязанного к своему господину, радовало, что — как ему представлялось — мысли дона Энрике постепенно отрываются от доньи Элены. Сеньор этот действительно говорил о ней теперь лишь изредка, и если он еще порою поглядывал на ее портрет, то не обращался к нему с нежными речами, что обычно делал раньше. Ревностный слуга имел тем самым основание считать, что граф прямо-таки на глазах остывает к супруге Перальте. Однако вскоре он понял свое заблуждение, и вот как это случилось.

Однажды в замок графа Энрике явился к обеду некий дворянин из Молины, который во время трапезы сказал собравшимся:

— Господа, на днях, возвращаясь из Сарагосы, куда ездил по делам, я задержался в Бельчите, чтобы побывать на весьма занятном деревенском празднике.

При упоминании о Бельчите граф де Рибагоре пришел в некоторое волнение и попросил у дворянина, произнесшего это название, рассказать о празднике.

— Сеньор, — ответил ему идальго, — задав тот же самый вопрос одному из жителей Бельчите, я узнал, что молодые поселяне обоего пола собираются по воскресеньям у замка и заводят пляски, чтобы развлечь своих господ, сеньора и его даму. Любопытствуя увидеть этот праздник, я задержался в Бельчите. Я принялся смотреть на танцующих, но, хоть они и отлично плясали, внимание мое не долго задерживалось на них. Оно полностью перешло на некую даму, внезапно появившуюся в одном из окон замка вместе с кавалером весьма представительной внешности. Я спросил, кто такие эта дама и сеньор, и мне ответили: «Это донья Элена и дон Гаспар де Перальте, ее супруг. Они владетели этого замка». Когда я узнал, что речь идет о той самой Элене де Вильясан, о которой мне пришлось уже столько слышать, я стал разглядывать ее придирчивым

оком, не представляя, что она может быть так прекрасна, как мне говорили. Но чем больше я созерцал ее, тем пленительнее находил. Неудивительно, размышлял я про себя, что эта красавица наделала в Сарагосе такого шуму. В каком месте на земле, где только имеются мужчины, она не вызвала бы восхищения? И вот я не спускал с нее глаз все то время, что она находилась у окна, и, должен признаться вам, господа, уходя, негодница унесла с собой мое сердце.

Рассказавши все это, дворянин не ограничился уже произнесенными им похвалами жене дона Гаспара: он изливался в таких речах, что уже не могло остаться никаких сомнений в его поистине восторженном отношении к даме. Все идальго, сидевшие за столом, не могли, слушая его, удержаться от смеха. Один лишь дон Энрике сохранял невозмутимость или, вернее, погрузился в глубокую задумчивость, из чего Мельхиор сделал вывод, что рассказ дворянина в этот миг снова разжег любовь в сердце его господина. И этот верный наперсник рассудил совершенно правильно.

— Мельхиор, — сказал ему граф, после того как сотрапезники разошлись, — хорошо ли ты слышал то, что этот идальго рассказал нам о донье

Элене? Признаюсь тебе, он вновь разжег во мне любопытство, завладевшее мною еще в башне, и желание увидеть эту губительную красоту. И это желание я намерен удовлетворить.

— Тем хуже, сеньор, — ответил слуга, — вы увидите даму, и пламя вашей любви только распалится. Я за вас просто трепещу.

— Успокойся, приятель, — продолжал граф де Рибагоре, — теперь я не так слаб, как тогда. Скажу тебе по правде, что донья Элена, став замужней женщиной, утратила право пленить меня. Когда я представляю ее себе во власти супруга, одна мысль такая возмущает мою чувствительность, и уж одно это отвечает за мою твердость. Не возражай против затеваемой мною поездки в Бельчите. Мы с тобой оба переоденемся в крестьянское платье и, смешавшись как-нибудь в воскресенье с поселянами Бельчите, сможем безо всякой помехи разглядеть супругу Перальте.

— Вижу, дорогой мой господин, — ответил наперсник, — что зря стал бы я противиться вашему решению. Подобает мне хотеть того, чего вы хотите. Поедем, я готов вас сопровождать.

На следующий же день дон Энрике с Мельхиором стали готовиться в путь. Они переоделись крестьянами, верхом на мулах перевалили через

горы, отделяющие Тортуэру от речонки Хилоа, и, двигаясь все время в сторону Эбро, достигли к концу второго дня Романы, крупного села в одной миле от замка Бельчите. Они переночевали в гостинице, а на следующий день, в воскресенье, после обеда пешком направились к замку дона Гаспара. Там они смешались с опередившими их поселянами, которых становилось все больше и больше. Вскоре раздались звуки бубнов, и праздник начался. Дон Энрике, не слишком заинтересованный крестьянскими плясками, во все глаза уставился на балкон, где должна была занять свое место хозяйка замка. Она и не замедлила появиться, ослепительная, как светило дня.

Мельхиор, наблюдавший за своим господином, заметил, что он взволнован.

— Ну как, сеньор, — шепнул он ему, — что вы думаете об оригинале? Не опровергает ли он изображения?

— Чтобы судить по-настоящему, — ответил дон Энрике, — надо бы мне поглядеть на донью Элену с более близкого расстояния. Но хотя я и подготовился к тому, чтобы лицезрение ее оказалось для меня безопасным, должен тебе честно признаться, что крайне поражен.

— Не сомневаюсь, — сказал наперсник, — и,

будь я на вашем месте, я бы на том и поставил точку. Я бы тотчас же пустился в обратный путь, и дома, в замке, употребил бы все усилия, для того чтобы забыть женщину, чье сердце, по всей видимости, отдано дону Гаспару.

— Сынок, — ответил граф, — я и решил уже все сделать, чтобы она исчезла из моей памяти, и надеюсь достичь этого после того, как утолю свое желание увидеть ее вблизи. А для этого нужно, — продолжал он, — чтобы ты поговорил с ее садовником и уговорил его за соответствующую мзду, чтоб он спрятал нас у себя и устроил нам возможность увидеть его госпожу так, чтобы мы остались ею не замечены.

Заметив, что это предложение не пришлось Мельхиору по вкусу, граф добавил:

— Друг мой, если хочешь мне угодить, не делай никаких возражений. Может быть, я и злоупотребляю твоей дружбой, но все же льщу себя надеждой, что ты еще раз пойдешь мне навстречу.

Наперсник слишком любил своего господина, чтобы отказать ему в повиновении, хотя намерению его не сочувствовал и даже усмотрел в нем некое мрачное предзнаменование.

— Сеньор, — ответил он, — я обязался слепо по-

виноваться вам. Я разузнаю, где живет садовник. Я с ним договорюсь и возвращусь сюда, к вам.

Мельхиор тотчас же исчез, оставив дона Энрике перед замком. Сеньор этот созерцал свою Элену с наслаждением, не лишенным известной горечи. Не все, что он сейчас видел, было ему приятно. Рядом с дамой все время находился счастливец Перальте, который разговаривал с ней с весьма нежным видом, и казалось, молодые супруги были чрезвычайно довольны друг другом. Зрелище это было как острый нож в сердце графа. Не раз собирался он уйти, но сил на это не хватало, и он оставался на месте до самого конца праздника, да только и видел, что проявления нежных чувств, расточаемые сопернику.

Все деревенские жители уже разошлись по домам, и теперь у замка оставался только граф, которому долго пришлось дожидаться Мельхиора, пока тот наконец не появился.

— Ну, какие же у тебя новости? — спросил дон Энрике.

— Самые благоприятные, — ответил наперсник. — Я подкупил садовника, за двести пистолей он согласился принять нас и укрыть в своем доме, пока не представится возможность удовлетворить наше, как я ему сказал, любопытство — на

близком расстоянии хорошенько разглядеть его госпожу.

— Раз так, — сказал граф, — я весьма рад, что вскорости смогу удовлетворить свое желание, после чего — еще раз обещаю тебе — мы с тобой возвратимся в Тортуэру.

Друзья наши, переодетые крестьянами, не замедлили отправиться к садовнику, который сперва ввел их в сад.

Они очутились в миртовой беседке, в которой они увидели несколько высоких клумб зеленого газона, и там он сказал:

— Господа кавалеры, госпожа моя имеет обыкновение ежедневно приходить сюда после обеда отдыхать с Розаурой, своей любимой служанкой, которая чудесно играет на лютне и поет. Обычно они проводят тут два-три часа. Вы сможете не только видеть их, но и слышать, укрывшись за беседку.

И графу, и Мельхиору это показалось делом несложным. Приближалась ночь, садовник привел их к себе и устроил в маленькой комнатке, где дал им отдохнуть, попотчевав сперва весьма скромным ужином.

На другое утро он разбудил их и сказал:

— Отличные новости, господа мои, сегодня же

вы получите то, чего желали. Господин наш, сеньор дон Гаспар, только что отправился на охоту и, говорят, вернется дня через три.

Дон Энрике и Мельхиор с радостью услышали эту новость, полагая, что для них все будет связано с меньшим риском, и, как только садовник сказал им, что уже пора, они безо всяких опасений спрятались за миртовую беседку. Шпаг при них не было — ведь они были в крестьянском платье, — но на всякий случай вооружились пистолетами, спрятанными под крестьянской одеждой.

Казалось, все устраивается к лучшему для графа де Рибагоре: в этот день его прекрасная Элена спустилась в сад ранее, чем обычно, в сопровождении Розауры с лютней в руках. Обе они вошли в беседку и уселись на высокую клумбу так, что обоим нашим зрителям видеть их было очень легко. И таким образом дон Энрике, воспользовавшись этим, смог обстоятельно, со всех сторон, разглядеть жену дона Гаспара. Какой прелестной показалась ему она! «Нет, — сказал он самому себе, — портрет доньи Элены ничем ей не льстит. Да что я говорю? На портрете мы видим лишь слабый отблеск ее красоты. Ничто не сравнится с прелестями, которые я сейчас созерцаю».

Любовь настолько окрылила его, что у него возникло искушение показаться даме. Однако он не осмелился на столь дерзновенный поступок, рассудив, что за чрезмерную смелость его может настичь внезапная кара. Голос дамы поразил его слух, он прислушался, и вот слова, которые до него донеслись:

— Нет, дорогая Розаура, словами не выразить огорчения, которое доставил мне отъезд супруга. Как ни убеждаю я себя, что три дня пролетят незаметно, я с таким нетерпением жду его, что они мне покажутся слишком долгими. Я почти не спала всю эту ночь, а если сон ненадолго нагонял на меня оцепенение, я тотчас же пробуждалась от зловещих снов. Да что говорить! Я погружена в меланхолию, которую может рассеять лишь твое дарование. Спой же мне под лютню какую-нибудь песню, способную отвлечь меня от тягостных мыслей, беспрестанно осаждающих мой разум.

— Сударыня, — ответила Розаура, — хотите, я спою вам куплеты, которых раньше не пела, хотя знаю их уже очень давно: ведь вы, сами того не ведая, подсказали мне тему. Сейчас я объясню, в чем дело. Вам ведь хорошо известно, что многие художники писали с вас портреты. Одно из таких изображений попало — уж не знаю, каким обра-

зом — к графу де Рибагоре, в то время как сеньор этот был заключен в башню по королевскому повелению. И хотя на портрете воплотились не все прелести, дарованные вам природой, он произвел на графа столь сильное впечатление, что тот в вас влюбился. Идет слух, что он говорил с вашим изображением так, как если бы то были вы сами. Такая необычная страсть стала известна одному поэту, который решил позабавиться за счет заключенного.

— Если то, что ты мне рассказываешь, правда, — с улыбкой молвила супруга Перальте, — нельзя не признать, что трудно найти что-либо более изумительное. Но что до графа Рибагоре, — добавила она, — то, на мой взгляд, он очень несчастен. Мне кажется, король поступил с ним слишком сурово. С этого сеньора достаточно было и одного месяца тюрьмы. Хотя я его никогда не видела, мне его жалко. Я слышала о нем столько хорошего у принцессы арагонской, что не могу не сострадать его бедствиям.

Закончив свою речь, прекрасная Элена стала внимать своей наперснице, которая заиграла на лютне и запела. Но едва закончила она первый куплет своей песни, как ее прервал донесшийся до них сильный шум. Вызван он был неожи-

данным возвращением дона Гаспара, который, проникнув в сад со стороны парка, появился в миртовой беседке, где и рассчитывал найти свою супругу вместе с Розаурой.

— Как, сеньор! — вскричала с волнением дама, как только заметила его. — Это вы! Что заставило вас так скоро отказаться от охоты?

— Известие, которое я получил, — ответил муж. — На пути мне попался посланец дяди моего, дона Томаса де Медианоса, сообщивший мне, что дядя сегодня вечером прибудет к нам. Из-за этого-то я и поспешил вернуться. Я рад, что смогу помочь вам принять моего дядю, которого нежно люблю.

— А я, — подхватила донья Элена, — я в восторге от вашего нежданного возвращения, ибо отсутствие ваше повергло меня в печаль, которой не могли рассеять ни лютня, ни голос Розауры.

Перальте уселся рядом со своей милой Эленой, и эти нежные супруги стали беседовать друг с другом, как любовники, чей пламень еще не ослабел от законного брака.

Во время беседы дону Перальте показалось, что за спиной у него раздается какой-то шум. Он тотчас же оглянулся, и сквозь миртовые ветви ему привиделись две мужские фигуры, старавшиеся

получше спрятаться за укрывавшей их густой листвой. Увиденное привело его в ярость, он пбрывйсто выбежал из беседки и набросился на них со шпагой в руке, убежденный, что это могут быть лишь какие-то злонамеренные люди.

— Что вы тут делаете, негодяи? — крикнул он. — Кто мог ввести вас в место, куда запрещено являться посторонним?

С этими словами он подошел к графу, который, протягивая ему свой пистолет, промолвил в ответ:

— Стой, дон Гаспар, и узнай во мне дона Энрике де Рибагоре. Любопытствуя увидеть твою супругу и собственными глазами убедиться, так ли она прекрасна, как все говорят, я прибыл в Бельчите. Я подкупил твоего садовника, который укрыл меня здесь, чтобы я мог удовлетворить свое любопытство. В крестьянское же платье я переоделся лишь потому, что срок моего изгнания еще не кончился и мне приходится проявлять крайнюю осторожность, чтобы не быть узнанным. Таким образом, у меня нет никаких намерений, кроме желания созерцать красоту доньи Элены. Клянусь тебе в этом честью дворянина и призываю небо в свидетели, что сказанное мною — истинная правда.

Человек менее несдержанный и вспыльчивый, чем дон Гаспар, прислушался бы к голосу рассудка и, поверив клятве, только что данной ему доном Энрике, отпустил бы его без шума или, во всяком случае, потребовал бы более подробных объяснений, но горячий Перальте, одержимый бешеной ревностью и не в состоянии будучи поверить, что граф скрылся за беседкой без злого умысла против его чести, продолжал угрожать ему обнаженной шпагой. Граф пригрозил размозжить ему голову пистолетным выстрелом, и, видя, что ревнивый муж, несмотря на сделанное предупреждение, намеревается пронзить его шпагой, выстрелил в него в упор, и тот мертвым рухнул к его ногам. Когда раздался выстрел, донья Элена без чувств упала на руки своей наперсницы, а та подняла крик, на который сбежалось несколько слуг. Пока Розаура сообщала им о приключившейся беде, дон Энрике с Мельхиором добрались до дома садовника, откуда со всей возможной быстротой устремились в гостиницу села Романа. Там, не теряя времени, они оседлали своих мулов и поспешно отправились обратно в Тортуэру, оставив позади себя замок Бельчите в полнейшем смятении.

Донью Элену в беспамятстве отнесли в ее спаль-

ню, где она очнулась лишь после того, как ее в течение четырех часов пытались привести в чувство. Трудно представить себе, даже если это возможно, то горе, которое овладело ею, когда она узнала, что супруга ее нет в живых. Все это не поддается описанию. Затем, то обращаясь к мужу, она заводила такие речи, что окружающие боялись за ее рассудок, то, безудержно предаваясь чрезмерной скорби, вынуждала их трепетать за ее жизнь. Словом, дама эта находилась в состоянии столь достойном жалости, что оно волновало жителей Бельчите не меньше, чем трагическая гибель их сеньора.

Когда известие о кончине Перальте распространилось в Сарагосе, о ней стали говорить по-разному. Его друзья говорили, что он был сражен бесчестным ударом, а сторонники Рибагоре — их было большинство — утверждали противоположное. Король, еще не вполне забывший дело графа де Лары, вновь воспылал гневом на дона Энрике, притом настолько, что даже повелел искать его повсюду и назначил награду за его голову. Нет сомнения, что, если бы тогда сеньор этот был в его власти, он обязательно предал бы его смерти. Однако граф уже позаботился о своей безопасности. По возвращении в замок Тортуэра

он задержался там лишь на столько времени, сколько требовалось, чтобы взять с собой золота и драгоценных камней. Затем в сопровождении верного Мельхиора он поспешно отбыл в Толедо, где тогда пребывал двор короля Кастилии. Он предстал перед государем, который принял его весьма милостиво, потребовав, однако, чтобы дон Энрике удалился в какой-нибудь монастырь на то время, пока ему, королю, не удастся сделать все от него зависящее, чтобы расположить в его пользу арагонского короля. Поэтому дон Энрике укрывался в монастыре отцов-доминиканцев, пока по приказу его повелителя повсюду шли розыски, чтобы поступить с ним по всей строгости законов.

Если его арагонское величество помышляло о том, чтобы отомстить за смерть дона Гаспара, то в не меньшей степени было занято оно заботой об утешении его вдовы. Король поручил одному из сеньоров своего двора отправиться в Бельчите, чтобы выразить ей соболезнование от имени своего и принцессы Леонор, повелев ему также предложить ей возвратиться, если она того пожелает, в Сарагосу и занять место, которое в свое время она занимала. Вдова Перальте заявила, что весьма тронута добротой короля и принцессы,

его дочери, но предложение не приняла, сказав, что решила окончить дни свои в Бельчите, чтобы после смерти прах ее смешался с прахом супруга. Придворный, которому поручено было это дело, учтиво убеждал ее, что в столь юном возрасте ей следует не укрываться от взоров двора, а, напротив, поспешить вновь появиться там, чтобы полностью воспользоваться редкостным даром небес — пленять всех окружающих. Но тщетно расточал он красноречие, чтобы убедить ее принять свое решение, — ему это не удалось, и он вынужден был оставить ее наедине с горем.

Дон Энрике, с другой стороны, вызывал не меньше жалости, чем донья Элена. Он был до крайности угнетен и памятью о том времени, когда был в милости у короля, и своим изгнанием, и вынужденностью жить вдали от друзей. Однако доброе расположение к нему короля Кастилии его все же несколько утешало. Государь этот разрешил графу Рибагоре покинуть назначенное ему местопребывание и явиться ко двору. При дворе Рибагоре повел себя так, что вскорости сумел стать приятным королю и заручился дружеским расположением кастильских грандов. Королю Арагона известно было, что происходит в Толедо, но он делал вид, что ни о чем не осведомлен, то ли

потому, что — основательнее разузнав об обстоятельствах смерти Перальте — уже не так сильно гневался на дона Энрике, то ли потому, что уже договорился с королем Кастилии действовать таким образом.

Как бы то ни было, но граф де Рибагоре находился в Толедо уже почти два года, и вот его кастильское величество решило направить в Сарагосу посла для переговоров о браке наследного принца Кастилии с принцессой арагонской. Дону Энрике захотелось воспользоваться данным случаем, чтобы инкогнито посетить родную страну. Или, точнее, он не в состоянии был противиться судьбе, увлекавшей его, а потому испросил позволения сопровождать посла, пообещав в самом скором времени возвратиться в Толедо. На этом условии позволение ему было дано.

Он и отправился вместе с послом, и так они доехали до города Дарока, где разделились: министр продолжал свой путь в Сарагосу, а граф перешел через речонку Гуэрву и направился в Икар. Там он сказал своему наперснику:

— Друг мой, отсюда недалеко до Бельчите, сверни-ка сейчас на дорогу к этому селу и разузнай что-нибудь о донье Элене.

— Сударь, — ответил ему Мельхиор, — зачем

вам разузнавать о ней? О, боже, как я ошибался! Я-то вообразил, что вы позабыли эту даму.

— Да, я сам так думал, — молвил дон Энрике. — Но рок велит мне обожать ее всю жизнь, несмотря на ненависть, которую она должна ко мне испытывать. Ты, впрочем, не думай, что я намереваюсь явить взору ее гнусный для нее образ. Я только хочу знать, каково сейчас ее состояние. После чего я собираюсь навсегда удалиться отсюда, вернуться в Толедо и посвятить весь остаток своих дней службе его кастильскому величеству. Так поезжай же в Бельчите и, когда ты соберешь нужные мне сведения, возвращайся сюда, ко мне.

— Сделаем лучше, — возразил Мельхиор, — приблизимся вместе к замку Бельчите. Заночуем в Романе, в той же гостинице, где останавливались два года назад. Может быть, там мы получим какие-нибудь положительные сведения о донье Элене.

— Ты прав, — сказал Рибагоре, — я только боюсь, как бы нас не узнал хозяин гостиницы.

— Не узнает, — возразил наперсник. — Он нас видел лишь мельком, в крестьянской одежде. А если бы даже узнал, что может случиться? Завтра же мы исчезнем.

Рибагоре дал себя убедить, так что они с Мельхиором направились в гостиницу Романы, куда и прибыли еще дотемна.

Едва хозяин увидел их, как черты их показались ему знакомыми, и, постепенно углубляясь в смутную мысль, что он уже где-то видел этих людей, в конце концов все припомнил, однако не показал виду, что знает своих новых постояльцев. Пока он готовил им ужин, они задавали ему вопросы. Граф спросил, вышла ли вторично замуж вдова дона Гаспара де Перальте.

— Нет, — ответил хозяин, — добрая эта дама так любила мужа, что, потеряв его, утешиться уже не могла. Она все еще живет взаперти в своем замке, где и дни, и ночи оплакивает своего мужа. Она не хочет видеть никого, кроме своих прислужниц, и, по всей видимости, горюет так, как если бы только вчера овдовела. Такой женщины никто еще никогда не знал.

Основательно порасспросив хозяина, господин и слуга уселись за стол поужинать. Во время трапезы Мельхиор спросил у графа, не достаточно ли сведений, полученных сейчас от хозяина, чтобы он незамедлительно повернул обратно в Толедо.

— Каюсь, — ответил дон Энрике, — большего и впрямь не понадобится. Да, дорогой Мельхиор, ты

больше не станешь корить меня за безрассудную любовь. Я удалюсь и от Элены, и от арагонского двора. Какого горя мне бы это ни стоило, отвечаю тебе за свою твердость.

Эти слова графа привели наперсника в восторг.

— Сударь, — вскричал он, — узнаю вас в столь мужественном решении! Я и сам полагал, что рано или поздно ваш здравый разум одолеет эту сумасбродную страсть. Я счастлив, что вы приняли такое решение, и хотел бы, чтоб уже наступил завтрашний день и вы начали осуществлять свое намерение.

Затем, нуждаясь в отдыхе, они кончили ужинать и разошлись по двум отдельным комнатам, не имея даже малейшего подозрения насчет опасности, подстерегавшей их в этой гостинице.

Едва только они легли, как хозяин — мы уже говорили, что он их узнал, — сказал самому себе: «Тут меня ждет немалая выгода. Надо мне поскорее бежать в Бельчите и предупредить хозяйку замка, что у меня остановились убийцы ее мужа, что они сейчас в гостинице. Я уверен, что она пожелает отомстить и щедро наградит меня за то, что выдам ей ее врагов. Большого дурака я сваляю, если не воспользуюсь таким замечатель-

ным случаем».

Он им и воспользовался, отправившись тотчас же в Бельчите верхом на лошади дона Энрике и сам перед собой похваляясь совершаемым злодеянием. Он прибывает в замок, стучится в ворота и заявляет, что ему надо поговорить с госпожой. Ему отвечают, что она спит.

— Так разбудите ее! — восклицает он. — Узнав, что я намерен ей сообщить, она не посетует на то, что нарушили ее отдых.

Служанки доньи Элены подумали, что и впрямь доставлена, видимо, очень важная весть, раз требуется разбудить госпожу в середине ночи. Они решили разбудить ее и привели к ней прибывшего.

— Сударыня, — сказала Розаура, — это хозяин гостиницы из соседнего села, он прибыл по важному делу, о котором, говорит он, вас надо известить немедленно.

— Что же это за весть, друг мой? — вскричала не без волнения вдова Перальте.

— Сударыня, — ответил хозяин гостиницы, — я приехал предупредить вас, что сегодня у меня остановились два всадника. В них я узнал двух людей, которые попросили у меня ночлега два года назад и убили вашего супруга, дона Гаспара.

— Что вы говорите?! — с волнением перебила его дама. — Можно ли вам поверить? Граф де Рибагоре сейчас у вас?

— Да, госпожа, — ответил хозяин гостиницы. — Он там, и вместе с ним всадник, сопровождавший его тогда и тоже бывший в крестьянском платье.

Новость эта ужасающе разбередила душу доньи Элены.

— Слава господу! — сказала она. — Итак, исполнилось заветнейшее мое желание! Как пламенно хотела я заполучить в полную свою власть убийцу дона Гаспара, и вот он как бы сам предает себя моему мщению. Подожди, супруг мой, — продолжала она, взывая к дону Перальте, — я принесу тебе в жертву врага, предательски лишившего тебя жизни. Поднять живо всех моих слуг! Вооружить их шпагами и пистолетами! Пусть проникнутся они моей яростью и готовы будут служить ей! А вы, друг мой, — обратилась она к владельцу гостиницы, — проводите нас в свой дом и выдайте нам графа де Рибагоре. Не сомневайтесь, что когда кровь его прольется и гнев мой будет утолен, вы будете щедро вознаграждены.

С этими словами она поспешно встала с постели, и, пока две из ее прислужниц торопливо одевали ее, другие побежали будить слуг и воен-

ную охрану замка. Вскоре все уже были на ногах, и, узнав, что дело идет о мщении за смерть их господина, каждый выказал самое пылкое желание нанести первый удар.

Поскольку предприятие это требовало быстроты, вдова Перальте не теряла ни мгновения. Она велела оседлать и взнуздать всех лошадей и мулов, какие только имелись в ее конюшнях, стала во главе своей вооруженной дворни и двинулась по направлению к Романе, ведя при этом речи, которые только разжигали ее ярость, вместо того чтобы умерять.

— Рибагоре, — говорила она, — настолько дерзостен, что осмеливается появляться в окрестностях моего замка. Видно, ни во что ставит он мой гнев, если бросает мне такой вызов.

Вскоре они достигли ворот гостиницы, но, прежде чем войти, дама собрала вокруг себя всех своих людей и так заговорила с ними:

— Друзья мои, вы знаете, что мы явились сюда, чтобы покарать убийцу господина вашего, дона Гаспара. Но пора вам узнать, каким образом, я считаю, должна совершиться эта кара. Только моя рука должна нанести удар. Только я одна должна испытывать блаженство отнять жизнь у предателя, сразившего моего мужа. Я вооружи-

лась этим стальным клинком, — добавила она, доставая из-под платья кинжал, — чтобы самой осуществить свое намерение. Доведите меня до комнаты, где спит граф, я бесшумно зайду в нее и при тусклом свете потайного фонаря, который взяла с собой, вонжу клинок в сердце врага. А вы все, держа оружие наготове, ждите за дверью: если понадобится ваша помощь, я позову. Такова моя воля. И если не хотите рассердить меня, ни слова не возражайте.

Все слуги изумились властному решению госпожи. Трудно было согласовать его с обычной кротостью и прелестной внешностью этой дамы. Тем не менее они не посмели ослушаться. Хозяин провел ее до комнаты, где спал дон Энрике, тихо открыл дверь и удалился, испытывая некоторые угрызения совести оттого, что явился причиной трагического события, которое должно было произойти в его доме. Мстительница Элена проникла в комнату, держа в одной руке потайной фонарь, а в другой — кинжал. Так как она в лицо Рибагоре не знала, а от ненависти к нему представляла его себе ужасным и безобразным, то, подобно Психее,

думала увидеть нечто вроде чудовища.{30} Каково же было ее удивление, когда при свете фонаря взору ее предстал юный кавалер весьма привлекательной наружности. Он спал глубоким сном, а длинные кудри его беспорядочно рассыпались по обнаженной груди. Вместо того чтобы поспешно наброситься на него и вонзить в эту грудь кинжал, она не смогла не задержать взора своего на этом юном сеньоре. И чем дольше глядела на него, тем — как она сама чувствовала — больше слабела ее решимость. Под конец любовь отвергла мщение, и власть того, кого она созерцала, оказалась настолько сильна, что, внезапно утратив всякую жажду мщения, она забыла о смерти супруга. Она превратилась в рабу его убийцы, даже не поразмыслив, что подумают ее слуги, ожидавшие за дверью после проявленного ею мужества какого-нибудь кровавого деяния. Она так длительно созерцала дона Энрике, что он, внезапно пробудившись и увидев рядом с собой свет фонаря, но не видя той, кто держала фонарь,

{30} Комментарии: 2.30

…подобно Психее, думала увидеть нечто вроде чудовища. — Согласно греческим мифам, полюбивший Психею Эрот (Амур) встречался с девушкой только ночью, чтобы она не видела его лица. Подстрекаемая любопытством, она пришла однажды на свидание с фонарем и застала Эрота спящим. По некоторым легендам, за это нарушение запрета он покинул девушку.

сразу подумал о предательстве. Он потянулся за шпагой, но дама, сразу же завладев ею, позвала слуг, велела им схватить графа, доставить в замок Бельчите и запереть в башню. Что и было тотчас же исполнено, притом весьма грубо. Такая же судьба постигла и Мельхиора, подобно своему господину отнюдь не ожидавшего такого неприятного пробуждения.

Завладев таким образом ими обоими, вдова дона Гаспара велела заковать их в цепи, приставила к ним стражу, но отнюдь не покушалась на их жизнь, хотя делала вид, что ничего так не жаждет, как их смерти. Если зародившаяся в ней новая любовь заставляла ее тайно щадить дона Энрике, то забота о своей доброй славе вынуждала ее по крайней мере скрывать свою слабость, после того как она открыто выражала столь неуемное желание заклать графа как искупительную жертву памяти супруга. Перед своими людьми она говорила только о предназначенной ему жестокой каре, а про себя раздумывала лишь о том, как бы спасти его, не повредив своему доброму имени.

Вот уже целую неделю граф Рибагоре, готовый к ожидающей его участи, ждал в своей темнице, что ему объявят приговор, когда он узнал

от одного из своих стражей, что король вместе с принцессой Леонор охотится в окрестностях Бельчите и что нынче вечером они прибудут в замок к ужину, что бывало всякий раз, когда они развлекались в этих местах охотой. Новость эта отнюдь не обрадовала дона Энрике — напротив, он усмотрел в ней дурное предзнаменование. «Если король, — рассуждал он про себя, — узнает о моем самовольном и тайном возвращении в его владения, он усмотрит в этом преступление еще менее простительное, чем смерть Перальте. Донья Элена уже наверное сообщит ему об этом и потребует правосудия. Видимо, таково ее намерение, недаром она все время откладывает мою казнь».

Дама же, со своей стороны, тоже была в немалом смущении. Она недоумевала, надо ли ей скрывать от короля, что она держит в заключении графа де Рибагоре. Зная вспыльчивый нрав государя, она опасалась, как бы он сразу же не повелел отрубить этому сеньору голову, как только узнает, что тот находится в замке. А продолжая держать его под замком, она смогла бы устроить ему возможность побега, как только для этого наступит, по ее мнению, подходящий момент. Ибо, изображая себя его смертной врагиней, она

во что бы то ни стало стремилась сохранить ему жизнь.

Между тем король и принцесса, его дочь, прибыли вечером в замок и без конца проявляли дружескую благосклонность к вдове дона Гаспара, которая, со своей стороны, тоже усердствовала в изъявлениях радости по поводу выпавшей на ее долю чести принять у себя таких высоких гостей. Дабы открыто выказать перед всеми свое особое благоволение к хозяйке замка, король и принцесса Леонор решили провести весь следующий день в Бельчите и возвратиться в Сарагосу лишь послезавтра. В течение всего этого времени Рибагоре, не зная, какова будет его участь, или, вернее, ожидая лишь злосчастного исхода, стенал в своем заключении. И весьма вероятно, его величество даже и не услышал бы ничего о нем, если бы не некое происшествие, которое я подробно изложу.

На следующее утро, присутствуя при пробуждении короля, сопровождавший его коннетабль арагонский сказал:

— Государь, один из слуг доньи Элены открыл одному из моих важную тайну. Граф де Рибагоре содержится в заключении в этом замке.

Король, удивленный этим известием, пожелал

узнать все обстоятельства дела, каковые коннетабль, принадлежавший к числу друзей дона Энрике, изложил ему по-своему, то есть всячески выгораживая этого сеньора и всю вину возлагая на Перальте. К счастью для заключенного, король уже не был в столь сильном раздражении на него. Его величество уже смягчился в отношении дона Энрике благодаря коннетаблю, который не упускал случая оправдывать его перед королем.

Когда государь в точности узнал все, что произошло, он пожелал побеседовать с доньей Эленой наедине.

— Сударыня, — сказал он ей, — могу ли я верить тому, о чем мне сейчас сообщили? Утверждают, что граф де Рибагоре заключен в вашем замке. Что же намереваетесь вы делать с этой несчастной жертвой игры обстоятельств? Я прекрасно понимаю, что, с вашей точки зрения, он должен казаться виновным, но преступление его не из тех, для которых нет прощения. Устремившись на него со шпагой в руке, Перальте вынудил его сделать то, что он сделал, чтобы защитить свою жизнь.

Прекрасная вдовица, радуясь в глубине души речам короля, рассудила, что она вполне может

сыграть роль Химены{31} и потребовать голову дона Энрике в полном убеждении, что не получит ее. Что она и сделала, исходя притворными слезами, да с таким искусством, что вполне можно было подумать, что она и впрямь желает смерти этого сеньора. Однако его величество, хотя и тронут был рыданиями дамы, повелел все же освободить заключенного и незамедлительно привести к нему. Что и было тотчас же исполнено.

Хотя графа и предупредили, что отношение его повелителя к нему изменилось, он все же с трепетом душевным предстал перед ним.

— Успокойтесь, дон Энрике, — сказал ему государь, — король ваш уже перестал гневаться, он готов позабыть прошлое. Я возвращаю вам место, которое вы занимали при мне, купно с доверием моим и благосклонностью.

Рибагоре, в восторге от приема, которого он никогда не мог бы ожидать, бросился к ногам короля, дабы проявить свою благодарность, но тот повелел ему встать и, обратившись к вдове

{31} Комментарии: 2.31

…сыграть роль Химены. — Лесаж имеет в виду знаменитый эпизод из трагедии Корнеля «Сид» (1636): героиня трагедии Химена требовала от короля смерти своего возлюбленного Родриго в наказание за то, что он убил на поединке ее отца, графа Гормаса.

Перальте, промолвил:

— Донья Элена, последуйте моему примеру… Я был разгневан против графа, но, как видите, простил его. Почитайте смерть дона Гаспара лишь несчастным случаем, виновником коего может считаться лишь он сам. Сделайте больше… Довершите победу свою над враждебным чувством и согласитесь на то, чтобы Рибагоре стал вашим счастливым супругом.

При этих его словах юная вдовица сделала вид, что возмущена подобным предложением.

— Как же, государь, — вскричала она, — можете вы предлагать мне руку убийцы моего мужа? О, боже! Да что будут обо мне говорить родичи покойного?

— Сударыня, — с улыбкой ответил король, — все их возможные укоры я принимаю на себя.

В этот момент появилась принцесса Леонор, окончательно убедившая ее согласиться на брак, который и был заключен в замке без излишнего шума. После чего на следующий день его величество возвратился в Сарагосу вместе с новобрачными, которые вновь обрели при дворе места, занимавшиеся ими прежде. Так завершается повесть под названием «Мщение, не осуществленное из-за любви».



МАРИВО

МАРИВО
ПИСЬМА, ПОВЕСТВУЮЩИЕ О НЕКОЕМ ПОХОЖДЕНИИ

Перевод Э. Линецкой

ПЕРВОЕ ПИСЬМО Г-НА ДЕ М., ПОВЕСТВУЮЩЕЕ О НЕКОЕМ ПОХОЖДЕНИИ

Письмо ваше, любезный друг, я получил. История, которую вы мне поведали, поистине примечательна. По вашим словам, вы преисполнены уважения к женщине, умирающей от горя из-за возлюбленного, безвозвратно покинувшего ее ради другой, вы восхищаетесь столь беспредельной любовью. Меня не удивляет ваше восхищение — ведь вы и сами любите. Вам хотелось бы, чтобы ваша избранница любила вас не менее сильно, чем героиня этой печальной повести, но, жестокий, желая этого, задумались ли вы над последствиями? Поверьте, остынь вы к ней, она умерла бы, не протянула бы и недели. Быть может, ваш взор случайно остановится на чьем-то прелестном личике и его обладательница пустит в ход против вас весь свой арсенал

обольщений. У вас есть и глаза, и сердце, и тщеславие; вы не откажете себе в удовольствии любоваться, поддадитесь стремлению нравиться — и ваша возлюбленная окажется на краю могилы. Вы довершите дело, отравив ночь с нею потоком льстивых слов, внушенных признательностью, — и она умрет.

Отыщется ли на свете мужчина или женщина, чья верность устоит против подобных соблазнов, и что сталось бы с любящими сердцами, когда бы ветреность одного означала смертный приговор другому? Мужчины и женщины падали бы бездыханными вкруг нас, как срезанные колосья, смерть грозила бы всем и каждому, и, полагаю, в живых остались бы считанные счастливцы, которым повезло одновременно изменить друг другу. Боже правый, сколько было бы нежданных и скандальных кончин! Сколько разоблаченных ханжей, окруженных при жизни ореолом благолепия лишь потому, что завеса тайны скрывала их пороки! Сколько маменек, которым пришлось бы разувериться в невинности дочерей! Сколько внезапно прозревших супругов! Сколько старух, преданных осмеянию после похорон!

Но, слава создателю, это нам не угрожает. Природа благоразумнее, чем вы, мой друг, она не

дозволяет любви безраздельно править сердцами и дарует ей ровно столько власти, сколько это полезно роду человеческому; если любовь и опасна, то отнюдь не своей смертоносностью. Тот или та, кому изменили, льет слезы, тяжко вздыхает — вот и все горести, которыми чревата обманутая любовь. Да и они удел лишь того, кому природа забыла закалить сердце: оставив ему излишек чувствительности, она допустила досадный изъян в работе. Но обычно она куда осмотрительней: покинутые влюбленные отделываются легкой меланхолией, готовой улетучиться от самого пустячного развлечения и сквозящей разве только у тех, кто не дает себе труда ее скрыть. Иной раз мне кажется, что большинство даже и этого не испытывает.

Как бы там ни было, чтобы не остаться перед вами в долгу, я тоже расскажу историю: подумайте над ней, и вы почти безошибочно предскажете, что станется с вашей возлюбленной, случись вам изменить ей.

Совсем недавно я гостил в загородном поместье одного своего приятеля. Там собралось многолюдное общество — и дамы, и мужчины. Однажды утром мне взбрело в голову отправиться на прогулку в ближнюю рощу. Тенистые тропинки вели

в ее глубь, но вдруг хлынул дождь, и, спасаясь от него, я бросился к видневшейся неподалеку беседке. Я собрался было войти в нее, но тут до меня донеслись голоса. Прислушавшись, я понял, что разговаривают две дамы из нашего общества — должно быть, они укрылись в беседке, опередив меня. Секунду спустя одна из них принялась так тяжело вздыхать, что меня разобрало любопытство. Я молод, эти вздохи, казалось мне, исторгнуты любовью, — как же было устоять против соблазна узнать откровенные суждения о ней женщин в беседке? Я надеялся извлечь из их разговора урок, уяснить себе, насколько следует доверять в известных обстоятельствах трогательным излияниям чувств прекрасного пола.

«Увы, дорогая моя, — воскликнула та, которая, по моему определению, тяжко вздыхала вначале. — Не кори меня за уныние. Ты ведь знаешь, Пирам{32} уехал, я не увижу его целых шесть месяцев». — «Давай биться об заклад, — расхохоталась в ответ другая, — что этот тон ты почерпнула

{32} Комментарии: 2.32

Пирам — герой античного мифа о любви Пирама и Тисбы; это имя стало нарицательным для обозначения верного возлюбленного.

в „Клеопатре“!»{33} — «Твое легкомыслие не ко времени, — возразила ее тоскующая подруга. — Окажись ты на моем месте, тебе было бы не до смеха».

«Не сердись на меня, милочка, — сказала вторая дама. — Поверь, я рассмеялась от неожиданности. Ты не увидишь возлюбленного полгода и, сдается мне, готовишься все шесть месяцев провести в слезах; ты даже голос свой облекла в траур — вот это и привело меня в недоумение. Конечно, я знала о существовании столь томной любви и обо всех ее атрибутах, но, говоря по совести, и помыслить не могла, что она свила гнездо в твоем сердце. До сих пор я полагала — она пребывает только в печатных изданиях, в толстенных томах романов. Но ты — ты, право же, умрешь со скуки, если вздумаешь и впредь играть эту роль, если не откажешься от подражания героиням безмозг-

{33} Комментарии: 2.33

«Клеопатра» — многотомный роман французского писателя Готье де Гост де Ла Кальпренеда (1614–1663), печатавшийся в 1647–1658 гг. Этот роман, который еще находил читателей в первой трети XVIII в., при известной увлекательности интриги отмечен ходульностью и надуманностью ситуаций, выспренностью языка и псевдоизысканностью стиля.

лого Ла Кальпренеда,{34} родившего их на свет с помощью пера и чернил. Что говорить, дорогая моя, романтическое сердце источает больше любовных воздыханий, чем все жители Парижа, вместе взятые.

Не приписывай мои рассуждения недостатку опыта. Мы здесь одни. Я, как и ты, влюблена, мой избранник уехал, но не к отцу, как твой, а на войну. Жизнь его в опасности. Расставаясь со мной, он плакал, плакала и я, слезы и сейчас наворачиваются у меня на глазах, все это в порядке вещей. Но, — добавила она, смеясь, вернее, мешая слезы с беззаботным смехом, — я отнюдь не грущу, хотя и плачу; напротив, плачу от сердечного умиления, и оно мне приятно — значит, и слезы мои можно назвать слезами радости.

Не знаю, понятно ли тебе, как все это вяжется меж собой. Натура у меня на редкость нежная, но, трепеща за жизнь возлюбленного, я не испытываю при этом тревоги, желая его, не испытываю нетерпения, даже стеная, не испытываю горя, и мои чувства мне отнюдь не в тягость. Нередко я даже их подстегиваю, чтобы сердце мое не

{34} Комментарии: 2.34

…героиням безмозглого Ла Кальпренеда… — Этот писатель был автором еще нескольких многотомных галантно-героических романов, в том числе «Кассандры» (1642–1645) и «Фарамона» (1661).

разленилось. Они повсюду меня сопровождают, участвуют во всех моих удовольствиях, сообщая им особенную прелесть, в них как бы скрыт неиссякаемый запас сладостных мыслей, еще больше располагающих меня радоваться жизни. Я твержу себе: „Меня обожает человек, достойный любви!“ — и эта уверенность мне льстит, возвышает в собственных глазах, служит доказательством моих достоинств. Я тогда с особенной охотой принимаю знаки внимания от тех, с кем случается столкнуться на жизненном пути, развлекаюсь ими, ничуть не угрызаясь совестью, проникаюсь убеждением, что я немалого стою; иной раз я даже поощряю своих поклонников то взглядом, то жестом, то улыбкой и, клянусь тебе, тем больше дорожу возлюбленным, чем тверже знаю: стоит мне захотеть, и у него появятся соперники. Ну, а что касается самих соперников, то, судя по всему, я никого из них не люблю. Разумеется, они мне нравятся, льстят моему самолюбию, но при том меня не покидает смутное чувство, что между ними и моим сердцем нет ничего общего. Вот что я могу сказать по этому поводу, дорогая моя, вот как следует любить. Постарайся же взять пример с меня, подумай, что станется с тобой, если твой возлюбленный тебе изменит».

«Что ты такое говоришь! — вскричала ее подруга. — О, господи, меня бросает в дрожь от твоих слов. Он мне изменит! А ты, ты, любящая так сильно, пусть и на свой лад, разве убережешься ты от мучительной боли, даже, быть может, от отчаяния, если с тобой стрясется беда, которой ты так напугала меня сейчас?» — «Мучительная боль, отчаянье — при чем тут они? — возразила вторая. — Досада, это еще куда ни шло». — «Досада? Боже правый, на вероломного изменника досада, и только?» — «А я ни на что другое, видно, не способна; иных чувств я в подобных случаях никогда не испытывала. Ты видишь, я говорю с тобой не таясь. И так как я тебя люблю и понимаю, что ты нуждаешься в наставлениях, то преподам тебе урок, вкратце рассказав о кое-каких своих похождениях.

Когда мне минуло девять лет, меня отдали в монастырь, чтобы со временем я приняла постриг. У меня была старшая сестра, все свое состояние наши родители собирались отказать ей, поэтому и решили сызмальства запереть меня в обители, чтобы, не зная мирских утех, я потом не сокрушалась об их утрате и, войдя в возраст разума, хотя бы не ведала, на какую жертву меня обрекли. Я прожила там мирных три года и получила

благочестивое воспитание; правда, наложив печать на мой облик, оно не коснулось сердца, то есть не внушило склонности к монастырскому уединению, хотя по внешности никто бы этого не заподозрил. Я без ропота обещала принять постриг, но никакой охоты к тому у меня не было — равно, впрочем, как и не было отвращения. Жила я бездумно, питаемая собственным огнем, была сумасбродна, вертлява, радовалась своей расцветающей юности — словом, наслаждалась существованием и не мечтала ни о чем другом. Разумеется, это сердце, вовсе не призванное к жизни, огражденной от суетного света, и глухое к восхвалениям ее сурового распорядка, как бы предугадывало по безрассудному своему трепету, что есть иные, сладостные чувства, для которых оно создано, и, ничего еще не желая, ожидало возможности их испытать. Случай, о котором я сейчас расскажу, в единый миг умудрил меня.

Занемогла одна из монастырских воспитанниц. Ее горячо любящая мать не решилась доверить дочь уходу монахинь и приехала за ней. По просьбе моих родителей, она пожелала увидеться со мной. Я пришла в приемную комнату, и там-то сразу кончилась пора моего неведения. В приемной я увидела молодого человека, сына приезжей

дамы. Глянув ему в глаза, я без труда поняла их немую речь и нисколько не удивилась новым ощущениям, которые испытала при виде юноши. То, что я вложила в ответный взгляд, никак не свидетельствовало о моей неопытности, скорее он грешил излишним красноречием. Теперь я это красноречие несколько умеряю: не научившись речистей изъясняться в любви, я научилась изъясняться менее откровенно.

Приезжая дама, исполняя пожелания моих родителей, принялась расписывать все прелести затворничества, потом опустила руку в карман, собираясь вручить мне письмо моей матери. К счастью, она забыла взять его с собой. Ее сын тут же вызвался принести письмо. Не успел он договорить, как я уже все поняла и, страшно обрадовавшись, поблагодарила его взглядом, чувствуя, что на этот раз в поощрении нуждается он, так и впившийся в меня глазами.

Наконец, исчерпав скучные свои нравоучения, посетительница удалилась, пообещав прислать письмо с сыном, а я поспешила к себе, чтобы без помех дать волю чувствам и насладиться ими, то и дело вызывая в воображении образ моего победителя. Вернулась я к действительности уже не той, какой была прежде, менее живой и

вертлявой, зато более небрежной и рассеянной, не то чтоб утратив былую веселость, но реже ее проявляя. Я втайне вкушала не изведанную до тех пор усладу так самозабвенно, что прежние развлечения отступили в тень, и забывала все на свете, предаваясь мечтам.

И вот, дорогая моя, молодой человек возвращается. Он просит позволения повидать меня. В приемную меня сопровождает монахиня. Как я тогда ее ненавидела! Но случай всегда преданно служил мне. К моей монахине подходит за какими-то разъяснениями послушница, мы с моим новым знакомцем на секунду остаемся без присмотра и торопимся этим воспользоваться — ведь желания наши совпадают. Вместе с письмом он искусно передает мне записку, пожатием руки давая понять, что ее нужно припрятать. Ответным пожатием я сказала ему, что все поняла, но при этом невольно залилась румянцем; желая меня ободрить, плут поцеловал мне руку. Как ни забавно, его поцелуй и впрямь почти рассеял мое смущение, но в самою интересную для нас минуту моя докучливая спутница, монахиня, повернула к нам голову и уловила выражение страсти на лице молодого человека и полную благорасположенность к нему — на моем. И щеки

ее стали багроветь как раз тогда, когда мои почти обрели свой обычный цвет.

„Сударь, — сказала она, отводя меня от решетки, — такого поручения ваша матушка вам не давала“. — „Вы правы, достопочтенная сестра, — ответил он, — зато я получил его от этой прелестной ручки и от собственной юности. Я не думал, что, повинуясь им, совершаю дурной поступок“. — „А что касается меня, святая сестра, — заявила я, — то я попросту не успела остановить этого господина“. — „Ступайте, мадемуазель, — приказала она, — звонят к вечерне, вам полезно пойти и помолиться“.

Я сделала реверанс, но сквозь мой отменно скромный вид проглядывало такое довольство поклонником, что он не мог этого не заметить, и ушла, полная не столько тревоги, сколько любопытства: мне хотелось узнать, чем же кончится мое похождение, и не терпелось прочитать записку. Она мне показалась восхитительной; возможно, так оно и было. Я хранила ее как сокровище и тысячу раз на дню услаждала ею свое тщеславие. К себе я стала относиться как к персоне весьма необыкновенной; стоило мне прикоснуться к записке — и по телу моему пробегал сладостный трепет, я сразу вырастала в

собственных глазах. С того дня я все время была под строгим надзором, но тут умерла моя сестра, и меня взяли из обители, вернули мне свободу. Мой возлюбленный получил возможность встречаться со мною. Новое положение кружило мне голову, самые непримечательные визиты доставляли нешуточную радость, любой пустяк становился если не событием, то по меньшей мере происшествием, даже моя любовь все разгоралась, дня не хватало, чтобы до конца исчерпать переполнявшее меня блаженство.

Будучи в таком расположении духа, я вдруг заметила, что мой избранник оказывает мне все меньше внимания; Наконец до меня дошли слухи, что он обратил его на другой предмет и, должна сознаться, дорогая моя, в тот день, когда эта весть подтвердилась, мир не меньше часа представлялся мне пустыней, где я блуждаю, всеми покинутая. Я погрузилась в уныние, но тут ко мне явились гости, мир снова начал заселяться, горе мое улетучилось, я уже не чувствовала себя одинокой. Двое молодых людей бросали на меня умильные взоры, вполне как будто искренние, и я так воспряла духом, так приободрилась за вечер, что, когда гости разошлись, уже поздравляла себя с двумя новыми победами, забыв о поражении,

которое три часа назад оплакивала…»

Тут я сделал неосторожное движение, и рассказчица, услышав шум, умолкла. «Доскажу в другой раз, — заявила она. — Это тебя развлечет». Я ретировался с твердым намерением узнать конец ее истории и действительно узнал, но послание мое и без того безмерно растянулось, поэтому вы этот конец прочитаете в следующем письме. Будьте здоровы.

ВТОРОЕ ПИСЬМО Г-НА ДЕ М., ПОВЕСТВУЮЩЕЕ О ТОМ ЖЕ ПОХОЖДЕНИИ

Нет, дражайший мой, коль скоро я обещал вам досказать эту историю, слово я свое сдержу. Вы просите изложить все по порядку — извольте.

Я уже докладывал, что неосторожным движением вспугнул рассказчицу и она ушла из беседки вместе со своей чувствительной подругой, пообещав при случае продолжить повествование. Назавтра я не спускал глаз с этих дам и, увидев под вечер, что они, рука об руку, направляются к беседке, занял ту позицию, откуда подслушивал их накануне. Видимо, мне следует пересказать разговор, который предшествовал продолжению начатой истории.

«Как ты провела ночь, дорогая? — обратилась

к подруге кокетка». — «Ох, мне стыдно сказать правду!» — воскликнула та. — «Впрочем, я уже наизусть знаю твою ночь, прочитала о ней на сон грядущий». — «Прочитала? Ты бредишь, должно быть». — «Вовсе нет, — возразила ветреница. — Я читала перед сном „Кассандру“. Сочинитель разлучает героиню с возлюбленным,{35} и я добралась как раз до того места, где он описывает ее терзания в ночные часы, так что, поверь, ничего нового ты мне поведать не можешь: автор, надо думать, ничем не погрешил против правил, установленных для подобных ночей. Хочешь, я в строжайшем порядке изложу начало, середину и конец твоей ночи? Бьюсь об заклад, что сперва ты предалась душераздирающим мыслям, и они исторгли тяжкий вздох из твоей груди — или, напротив, вздох опередил мысли: такие натуры, как ты, частенько вздыхают загодя, еще не разобрав, с чего им вздыхается.

Они похожи на тех поэтов, которые сперва придумают рифму, а уж потом приклеют к ней смысл. Все же обычно вздох бывает рожден мыслью и,

---

{35} Комментарии: 2.35

…разлучает героиню с возлюбленным… — В этом романе Ла Кальпренеда возлюбленным Кассандры выступает идеальный воин Ороондат, покидающий героиню, чтобы отправиться воевать на берегах Евфрата.

в свою очередь, производит на свет обращение к отсутствующему возлюбленному: „О, скоро ли небеса дозволят мне вновь свидеться с тобою, драгоценный Пирам!“ Это зачин. Затем идут сетования на судьбу: „О я, несчастная девушка или женщина!“ и тому подобное. Далее имеет место перемежающаяся речь, то есть паузы, восклицания, взволнованные жесты; все это вызывает к жизни новые вздохи, а те зачинают новые обращения к ночи, к кровати, на которой лежит воздыхающая, к спальне, где стоит кровать, ибо сердце, обремененное такими чувствами, делает опись всего, что его окружает. Признайся, я не совершила ошибок в генеалогическом древе твоей ночи — таков по крайней мере его оригинал в „Кассандре“. На заре, выбившись из сил, ты уснула, но сон твой, опять-таки бьюсь об заклад, был тревожен и пагубен для желудка, сотрясаемого вздохами».

«После таких насмешек, — ответила вторая дама, улыбаясь (я, и не видя ее, понял по звуку голоса, что она улыбается), — ты не заслуживаешь откровенного рассказа о том, что я передумала этой ночью». — «Прошу тебя, милочка, — вскричала подруга, — ничего от меня не скрывай! Если ты терзалась меньше обычного, это моя заслуга.

Признайся, тебе помогли мои средства?»

«Заметила ты, какое настойчивое внимание оказывал мне вчера Алидор?»{36} — «Еще бы, — ответила ее приятельница. — И даже была слегка задета в своем тщеславии, ведь твои чары взяли верх над моими. Сама знаешь, все мы, женщины, таковы. Но потом моей благосклонности стали добиваться сразу двое, их пылкое соревнование примирило меня с тобой, ради этих молодых людей я простила тебе Алидора. И должна признаться, потеряла тебя из виду, занялась своей добычей и забыла о твоей. Так к чему же привела настойчивость Алидора?» — «Она привела… — замялась та. — Но мне совестно тебе признаться».

«Что это значит? — удивилась кокетка. — Ты больше не вспоминаешь Пирама? Любишь теперь одного Алидора? Я похвалила бы тебя за столь стремительный поворот, будь тебе четырнадцать лет. Помнишь, я рассказывала, что как раз так и обошлось в этом возрасте с моей первой сердечной привязанностью, но в двадцать пять нам, дорогая моя, не к лицу подобное ребячество. Будь ветрена, изменяй, если подскажет сердце — в добрый час! Для тебя важно не столько умение

{36} Комментарии: 2.36

Алидор — как и Лизидор, имя любовника, часто встречающееся в комедиографии XVII в., в том числе у Корнеля («Королевская площадь»).

изменять, сколько умение изменять разумно. Ты любила Пирама — он уехал, ты погрузилась в пучину отчаяния — вот это и есть безрассудная любовь. Алидор внезапно вытеснил Пирама из твоего сердца — что ж, ты сделала шаг вперед; значит, тебя можно будет наставить на путь истинный. Но если ты намерена углубиться с Алидором в страну нежности, которую только что прошла вдоль и поперек с Пирамом, если и с ним собираешься повторить „Кассандру“ или „Клеопатру“, тогда на меня не рассчитывай, я умываю руки. К тому же ты, вероятно, жаждешь исполнить в одиночестве долг совести, предаться размышлениям о том, как постыдна твоя зарождающаяся любовь. Скажи мне об этом прямо, я незамедлительно предоставлю тебе возможность стыдиться сколько твоей душеньке угодно. Но если ты соблаговолишь быть здравомыслящей, если пожелаешь разумно обойтись и со своим самолюбием, и с сердцем, если будешь любить Алидора, потому что он тебе нравится, и придержишь при себе Пирама, потому что он тебя любит, вот тогда ты от мира сего, и я целиком в твоем распоряжении и буду по-прежнему своими советами содействовать твоему обращению».

«Ну до чего же ты сумасбродна! — ответила

ей первая дама. — Не даешь мне слова сказать, все время говоришь сама, при том сражаешься не с моими верованиями, а с собственными выдумками». — «Что из того! — воскликнула вертушка. — Все равно я в выигрыше: я ведь женщина, и, значит, мне надо выговориться. А теперь объясни, что ты имела в виду». — «Так вот послушай. Да простит меня бог, вчера вечером мне показалось, что я люблю Пирама, но совсем не печалюсь в разлуке с ним, и что мне нравится Алидор, хотя я вовсе не люблю его. Сначала я ужаснулась, я с горестью подумала — бедняге пришлось разлучиться со мною, а я наношу ему такую обиду; но, насколько помнится, эти мысли только наполнили меня смесью любви и тщеславия; словом, твои поучения не пропали даром. Я не пожалела времени, стараясь разобраться в себе, понять, не грешу ли против отсутствующего, но убедилась, что не причиняю ему ни малейшего ущерба. В самом деле, разве Пираму было бы легче, если бы, любя его, я страдала?» — «Разумеется, нет! — подхватила с улыбкой ее приятельница. — Ты страдала потому, что идеалом твоим была верность до гроба, а меж тем это сущий вздор. Такая верность никому не нужна, она тешит лишь того, кто сам себя дурачит. Но

тобою я очень довольна: не считая твоих страхов, ты прямо исполинскими шагами движешься по правильному пути. Что ж, закрой глаза и не останавливайся».

«Тебе легко говорить, а я все еще терзаюсь угрызениями совести; впрочем, надеюсь, это пройдет, если Алидор и дальше будет оказывать мне знаки внимания». — «Ну и отлично! Если ты надеешься — значит, беспокоиться не о чем, такие надежды всегда сбываются. Виделась ты нынче утром с Алидором?» — «Только что рассталась с ним; он чуть свет уже наведывался и спрашивал, не проснулась ли я». — «Не сомневаюсь, что проснулась». — «А вот и не угадала, — возразила та. — Я всю ночь не смыкала глаз и решила хоть утром поспать: сама ведь знаешь, после бессонной ночи женщина похожа на пугало». — «Ах, ты уже боишься стать похожей на пугало? Ну, знаешь, милочка, сердце твое искушено во всех тонкостях и ни в чем не уступит моему».

«Пусть так, но все же окончи рассказ о своей жизни — он укрепит во мне бодрость духа». — «С удовольствием, — согласилась кокетка. — Тем более что привычка к томной любви наложила печать на твою речь, в ней есть этакий оттенок ханжества, и я постараюсь избавить тебя от него.

Мой рассказ укрепит в тебе бодрость духа, сказала ты: ни дать ни взять богомолка, которая впала в грех… Смеешься? Но умереть мне на месте, если сравнение мое неточно. Кстати, о моей жизни, на чем я остановилась?» — «На победах, одержанных в один прекрасный вечер; они сразу изгладили из твоей памяти неверность первого возлюбленного». — «Так слушай же внимательно, — сказала мастерица по части кокетства. — К концу вечера я пришла в такое состояние, что сердце мое порою готово было выскочить от радости. Я думала об этих молодых людях, не устоявших передо мною, вспоминала все их ухищрения. К тому же я внезапно поняла, сколько блестящих возможностей пококетничать сулит мне их любовь. Какие горизонты для девушки, дорогая моя, тем более для девушки моих лет! Я была просто вне себя, трепетала от блаженства всякий раз, как эта мысль приходила мне в голову. Впрочем, вволю насладиться ею я не могла, меня стесняло присутствие моих родителей, так что я решила отложить это занятие до ночи, когда уже никто не сможет мне помешать.

Пришло время ложиться спать, и я помчалась к себе, мне не терпелось раздеться и рассмотреть себя, да, да, рассмотреть, потому что теперь я

совсем по-новому стала ценить свою внешность и жаждала поскорее убедиться, что ни в чем не ошиблась. Что говорить, зеркало меня не разочаровало: какую бы мину я ни состроила, любая казалась мне неотразимой, прелести мои, даже и без особых прикрас, должны были, на мой взгляд, прикончить обоих вздыхателей.

Стоит ли повествовать обо всех моих ужимках? Мы обе женщины, так что ничего нового я тебе не открою. Выражением бездумной томности мы как бы ненароком придаем особую нежность нашему лицу, одушевлением придаем ему живость, призвав на помощь опыт и вспомнив, чему нас учили, сообщаем благородство; глаза наши отражают любые чувства, они мечут молнии гнева, прощают, притворяются непонимающими, хотя ясно, что мы все понимаем — лицемерные глаза, умеющие красноречиво сказать нежное „да“ тому, кто в нем не уверен, а потом смущением своим подтвердить это признание.

В общем, я минут пятнадцать восхищалась собой, примеряя к лицу все эти выражения. Иные требовали дополнительной отделки — не потому, что были нехороши, а потому, что не достигли совершенства. Потом я легла в постель, уже не тревожась за будущее, но сна у меня не было ни

в одном глазу, так приятно мне было в обществе моих мыслей. Сердечная склонность ко мне двух юношей, мой нынешний и грядущий успех, высокое мнение о собственной персоне сопутствовали моему бдению.

Я принялась мечтать, принялась обдумывать, как мне дальше вести себя: сочиняла речи моих поклонников и свои ответы, придумывала происшествия, которые должны были нарушить покой молодых людей, а потом вернуть его, изобретала прихоти, чтобы помучить их, а самой позабавиться; словом, невзирая на юный возраст, я уже начала постигать, как выгодно для женщины своенравное обхождение с мужчиной. Я уразумела, что оно помогает ей казаться ему всегда новой, всегда не такой, как прежде и, видя эту переменчивость, он старается еще и еще раз утвердиться в ее благорасположении, но, думала я, пусть не знает, удалось ли ему это, пусть ломает голову — а как все-таки она к нему относится? — и к желанному ответу приходит только от противного. Так много, дорогая моя, мне открыла уже тогда моя природная проницательность. Наконец, в разгаре этих размышлений, ко мне подкрался сон и, сама того не заметив, я забылась.

Наступило утро. Я не ошиблась — те двое были

и впрямь ранены мною. А я покамест осталась невредимой, затронуто было только мое тщеславие. Но любовь — как воздух, полный миазмов, и наши поклонники приносят его с собой. Один из обожателей два дня не показывался у меня, и сердце мое со всей откровенностью отозвалось на его отсутствие. Я и не подумала хитрить с собой, делать вид, будто это не так: терпеть не могу затрудняться, громоздить сложности, которые все равно ни к чему не ведут. Я прислушалась к голосу сердца, поняла, что люблю, и не стала спорить с любовью.

Ты, быть может, не поверишь мне, но всего пагубнее для любви слишком легкая победа. Как часто ее питает сопротивление и как быстро она испаряется, если дать ей волю! Знаешь, ведь я немножко философка и пришла вот к какому выводу: осуждая наслаждения, разум тем самым повышает их цену в наших глазах. Отказываясь от них, мы страдаем и, натурально, начинаем думать, что отвергли нечто поистине упоительное; чтобы потерять к ним вкус, надо всего лишь дозволить их себе, ну, разумеется, если они не идут совсем уж вразрез с требованиями благопристойности, которые руководствуют любой порядочной светской женщиной. Имей в виду,

я вовсе не стою за распутство, но позволить себе сердечную склонность не такой великий грех, Больше того, от женщины, которая вздумала бы подавлять в себе сильное чувство, можно ждать в будущем самых пагубных поступков. Если чувство возьмет над ней верх, пусть тогда бережется, оно способно толкнуть ее неведомо на что. Она устала, у нее не хватит сил ставить условия победителю. Как раз те и не знают меры в безумствах, кто прежде был чрезмерно щепетилен: они никогда не зашли бы так далеко, поддайся они искушению с самого начала; во всяком случае, стоит этому искушению шепнуть им хоть словечко — и ему теперь ни в чем нет отказа. Вот тебе образчик моей философии, я развернула его перед тобой в оправдание своих поступков в ту пору, когда обнаружила в себе зарождающуюся любовь.

Тот, кто заронил ее, появился через день. Он вошел в ту самую минуту, когда я мысленно его призывала. Застигнутая врасплох, я не сумела скрыть свои чувства, я хотела его видеть и показала это. Короче говоря, он понял, что нравится мне, и стал еще обходительнее: сделав такое открытие, мужчина, если он не глуп, всегда удваивает любезность. Я, разумеется, заметила его

возросший пыл, мое сердце от этого не охладело, напротив, растрогалось, и я еще снисходительнее начала относиться к страсти, разгоревшейся от милостивого приема.

Но тут пришли визитеры, я уже не могла выказывать ему особого расположения. Не то что бы он услышал от меня прямое объяснение в любви, о нет, но моя сдержанность была вполне красноречива, я все дала понять, облачив признание в форму жалоб на долгое его отсутствие. Итак, нашу беседу с глазу на глаз прервали. Я пошла навстречу гостям, они просидели три часа, вместе с ними простился со мною и он.

Забыла тебе сказать, что среди прочих визитеров был и его соперник. Присутствие второго поклонника если не уничтожило, то притушило мою склонность к первому. Рисковать утратой одного явным предпочтением, проявленным к другому, значило слишком многое поставить на карту, а у меня вовсе не было охоты приносить тщеславные удовольствия в жертву удовольствиям любви. К тому же я немного сердилась на своего избранника за то, что, застав меня врасплох, он похитил мою тайну, а так как в свод составленных мною житейских правил не входило ободрение мужской самонадеянности,

то я, не задумываясь, решила сбить с него спесь, обласкав соперника.

Несколько кокетливых ужимок, два-три многообещающих словечка исцелили первого от избытка уверенности и вернули надежду второму, лицо у одного затуманилось, у другого — прояснилось. Мир в нашем обществе пострадал: обласканный начал насмехаться над обездоленным и дерзко кичился успехом, в ответах обездоленного звучала зависть, но зависть, полная скорби, скорее униженная, нежели вызывающая. Я растрогалась, любовь в моем сердце выступила на защиту обиженного и выиграла тяжбу, да столь искусно, что, хотя я ничего еще как будто не решила, бедняга тем временем уже приободрился. Вот какие сюрпризы преподносит нам любовь.{37} Сознаться ли тебе во всех моих сумасбродствах? Я тогда все повторяла и повторяла этот фокус, попеременно отдавая дань то любви, то тщеславию. Право, в жизни нет ничего более увлекательного, чем такая игра.

Но пришло время разойтись по домам, и мои

{37} Комментарии: 2.37

Вот какие сюрпризы преподносит нам любовь. — Этим «сюрпризам» будет вскоре посвящена одна из первых комедий Мариво («Сюрприз любви», 1722), за которой последует спустя пять лет еще одна («Второй сюрприз любви», 1727). По сути дела, почти вся комедиография Мариво явилась изображением подобных нечаянностей любви.

поклонники ушли, еще более, чем прежде, распаленные и неуверенные в своей судьбе. Когда они были уже у дверей, мне смерть как захотелось потешить под занавес свою любовь: особой хитрости тут не требовалось, достаточно было бы обменяться многозначительными взглядами с моим избранником. Уж не знаю, как мне удалось воздержаться от этого при виде его несчастного лица, и все-таки, во имя будущих своих удовольствий, я отвела глаза в сторону. Я сказала себе, что следует приберечь их на завтра, что, если он уйдет ободренный, у меня уже не будет сладостной возможности продлить смятение, а потом осчастливить нежданной добротой.

Спала я в ту ночь отлично — давно прошла пора бессонных мечтаний до рассвета. Этой забавой я пресытилась, она меня теперь не привлекала. Что говорить, только неискушенные девочки находят в ней интерес. Угадай, кто явился ко мне на следующий день с визитом? Мой изменщик, мой монастырский поклонник. И еще угадай, что я почувствовала, когда мне доложили о его приходе? Поверишь ли, у меня сделалось сердцебиение.

Но, милочка, я вижу, время уже позднее, как бы нам не опоздать к обеду, — вдруг прервала она свое повествование. — Доскажу в другой раз».

А вы, любезный друг, дозволите ли вы сделать перерыв и мне? Обещаю вам продолжение, если мне самому удастся его узнать.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО Г-НА ДЕ М., ПОВЕСТВУЮЩЕЕ О ТОМ ЖЕ ПОХОЖДЕНИИ

Ну вот, я могу наконец пересказать вам последний разговор помянутых дам. Мы только что вышли — они из беседки, а я из укрытия, откуда подслушивал их. Вы, разумеется, помните, как несхожи натуры этих женщин.

Одна — кокетка и вертушка, которая немедля влюбляется в поклонника, если он ей приятен, тут же забывает его, стоит ему охладеть к ней, а если он в отъезде, скрашивает ожидание, играя сердцами других мужчин; время, которое женщина иного склада посвящает нетерпеливому предвкушению встречи с избранником, она отдает излюбленным удовольствиям кокетства. Ее сердце, даже и полюбив, закрыто для всего, что ранит, и распахнуто для всего, чем случаю угодно его потешить; она умеет любые обстоятельства обратить себе во благо; склоняясь к одному, отнюдь не отвергает всех прочих; из тщеславия держит при себе даже того, кто ей не по вкусу, и нередко за один день столько же раз увлекается,

сколько раз увлекает своим кокетством других.

Подруга той, которую я только что живописал, являет собою полную ей противоположность. Сердце этой женщины и менее легковерно, и менее искушено, она, надо думать, отшатывалась от любви, как от чего-то погибельного и тлетворного, но погибель, видно, следовала за ней по пятам и наконец настигла: мы не слишком быстро убегаем от опасности, от которой нам не хочется убежать.

Вы, несомненно, знаете, что чем больше женщина страшилась любви, тем преданней она служит ей потом, когда уже не в состоянии сопротивляться, когда на это не хватает сил. Полюбив всем сердцем, она отдыхает от утомительной борьбы с собою и любит, как другие исполняют долг, то есть с неукоснительностью, которая, не будучи сама по себе недостатком, превращает ее чувство в некий благочестивый обряд. Стоит возлюбленному на несколько часов отлучиться — и она считает себя обязанной, уединившись, мечтать о нем, бежит или уклоняется от всего, что могло бы ее развлечь. При возвращении избранника следует излить на него нежность, более пылкую в своей сдержанности, чем самая неприкрытая радость, следует осыпать упреками за то,

что он нисколько не изменился по внешности и, значит, сердце его недостаточно сокрушалось в пору их кратковременной разлуки, а затем, после восхитительных оправданий, следует торжественно взять все упреки назад и не меньше сотни раз поклясться, что любовь к нему угаснет только вместе с жизнью. Слова в этих клятвах повторяются, но чувство вечно ново. Нежная склонность женщины с такой натурой повинуется множеству правил, и все они выработаны сердцем, которым повелевали благоразумие и робость, прежде чем стала повелевать нежность.

Вот вам портрет той, кому подруга-кокетка поведала часть своих похождений. Итак, обе дамы направились к беседке, а я — в боскет.

«Что у тебя за книга в кармане?» — первой заговорила вертушка. «Фарамон»,{38} — последовал ответ. — «„Фарамон“! — воскликнула та. — Как! Я тружусь над твоим обращением в истинную веру, достигла немалых успехов, а ты все еще читаешь еретические книги! Отдай мне ее, я запрещаю тебе подобные чтения, не то, смотри, навлечешь на себя мой гнев. Отдай, слышишь! В

{38} Комментарии: 2.38

«Фарамон» — Речь идет о романе Ла Кальпренеда, посвященном ранней истории Франции. Впрочем, исторические события и персонажи изображаются в нем все в том же галантном духе

ней опасные миазмы, а ты недостаточно окрепла, чтобы дышать этим тлетворным воздухом». — «Мне кажется, ты ошибаешься, — возразила новообращенная. — Уверяю тебя, когда сегодня утром я читала „Фарамона“, мне уже были не по душе любовники, изображенные в нем, претила их нерешительность, робость, напыщенность, а ведь раньше я была бы в восторге от них. Я думала — эти люди только и делают, что тешатся заботой о своей чести, обидами, жалобами, а меж тем упускают самые благоприятные случаи. Сама понимаешь, если я способна на такую критику, значит, полностью исцелилась». — «Что говорить, твоя критика справедлива, — подхватила другая. — Право, если бы подобные дурачества были в ходу и нынче, если бы влюбленные все время топтались на месте, никто уже не успевал бы вступить в брак: для помолвки и то понадобилось бы лет восемьдесят взаимных истязаний».

«Хватит рассуждений, — прервала ее первая дама, — я не для них пришла сюда, а чтобы ты досказала свою историю. Сперва я приходила в ужас от твоего кокетства, но потом вошла во вкус этой комедии». — «Что ж, сегодня я продолжу представление, но, надеюсь, ты и сама вскоре научишься играть. Итак, доскажу свои похож-

дения, раз ты на этом настаиваешь. Их осталось немного, но я каждый день тружусь, чтобы они приумножились.

Я остановилась, кажется, на том, что мой монастырский возлюбленный решил нанести мне визит, когда я и думать о нем забыла. Вертопрах проведал о моих успехах. В прошедшие дни победа над моим сердцем казалась ему не столь почетной, сколь приятной. Он смаковал нежность этого сердца, но не почел нужным его оценить. А говоря откровенно, пусть женщина любит своего избранника, пусть любима им, и все же, если он не гордится ее любовью, такой возлюбленный мало чего стоит. И он должен гордиться не только тем, что кажется ей достойным любви, но и тем, что кажется достойнее всех прочих поклонников, которые не менее рьяно добиваются этой чести. Взяв верх над соперниками, он вырастает в собственном мнении, тем самым вырастают в его глазах достоинства возлюбленной; а это, в свою очередь, обуздывает его страсть и подстегивает гордость. Он стяжал лавры предпочтения, но этого, мало, нужно еще утвердить их за собой.

Во времена взаимной нашей любви ветреник подобных чувств отнюдь не испытывал, но, про-

слышав о двух новых пленных в моей свите и о славе чаровницы, он почел весьма лестным для собственной славы вновь завладеть моим сердцем. Ему и в голову не пришло, что владел-то он сердцем невозделанным, сердцем девчонки. В монастыре я увидела в его любви потрясающее свидетельство своей неотразимости; возврат нежных чувств к нему также был вызван восхищением собою — оно меня и воспламенило. К этому присоединилось простодушное желание испробовать силу своего обаяния на мужчине и посмотреть, что из этого выйдет; таким образом, в мою склонность к нему всегда входило самое обыкновенное стремление полюбить все равно кого, только бы на опыте узнать, что такое любовь. Две мои последние жертвы и неисчислимые мимолетные победы, которые я одерживала, где бы ни появлялась, исцелили меня от подобного ребячества, я уже не удивлялась тому, что покоряю сердца, зато немало удивлялась бы обратному. Словом, изменщик просчитался и, как можешь догадаться, подобный настрой чувств не сулил ему ничего хорошего.

Тем не менее, повторяю, когда доложили о его приходе, сердце у меня забилось сильнее, но причиной тому была удовлетворенная гордость;

впрочем, и это чувство было связано с ним лишь косвенно. „Он возвращается ко мне, конечно, из-за моего шумного успеха в свете, — сразу подумала я. — Значит, я не льщу себе, полагая, что привлекательнее многих. Так в нашем кругу считают все, а вот и новое доказательство — покаяние моего изменщика“. Как по-твоему, может такая мысль вызвать сердцебиение?

Итак, негодник входит. Скорее всего он ожидал, что если я из самолюбия и воздержусь от напоминания о былой провинности, то, во всяком случае, окачу его холодом и поставлю себя в глупое положение, состроив серьезную мину. Как он, бедняжка, ошибся! „Наконец-то вы явились, драгоценнейший! — вскричала я, пока он отвешивал поклон. — Голову даю на отсечение, вас совсем загрызла совесть, вы боялись, что умрете, не получив от меня отпущения грехов. Но я сама доброта и все вам прощаю. Более того, мое милосердие так велико, что не отказывает вам в чести снова сдаться мне в плен — поверьте, на этот раз вы не соскучитесь, мои рабы — избранные среди избранных“.

Такая выходка ошеломила его: он был слишком высокого мнения о себе, чтобы подготовиться к ней. Ну, что может быть смешнее тщеславца,

который льстил себя мыслью, что согрешил, и вдруг оказался непорочным! Разумеется, я тотчас увидела его замешательство. Другая на моем месте сжалилась бы, но я в таких случаях беспощадна. „Что с вами, дорогой мой? — сказала я. — Вы как будто разочарованы тем, что я на вас не гневаюсь. А ну покайтесь, вы, кажется, повинны в самомнении?“

В ответ на это он начал что-то мычать. Я расхохоталась ему в лицо. Думаю, он умер бы от стыда, вернее, от уязвленного тщеславия, если бы в эту минуту не явились гости. Пока я обменивалась с ними приветствиями, он испарился».

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО Г-НА ДЕ М., ПОВЕСТВУЮЩЕЕ О ТОМ ЖЕ ПОХОЖДЕНИИ

Когда я писал вам предыдущее письмо, кто-то вошел ко мне и помешал закончить. Итак, вот продолжение истории.

Я остановился на том, как рассказчица осыпала насмешками поклонника, который воротился к ней только потому, что в свете она прослыла чаровницей. Воспользовавшись приходом гостей, он поспешил исчезнуть.

«Проделал он это так ловко, — продолжала

она, — что сперва я даже не заметила его ухода, а потом посмеялась и забыла о нем. Какая-то гостья предложила всей компанией отправиться в комедию, что мы и сделали, испросив сперва позволения у моей матушки. Там я сразу обнаружила моего беглеца — он сидел в соседней ложе с двумя дамами; одна из них, брюнетка, отнюдь не красавица, показалась мне на редкость привлекательной. Бывают такие миловидные лица, чья прелестная неправильность стоит любой красоты. Я их называю восхитительными прихотями природы — забавляя, казалось бы, взоры, они наносят удар в самое сердце. Да, у этих физиономий совсем особый отпечаток — их подолгу разглядывают, нисколько не тревожась, ими любуются, не догадываясь, чем это кончится. Есть лица, которые не вводят в заблуждение, они громогласно заявляют, что опасны. Кто в них влюбился, тот пусть на себя и пеняет, он заранее мог предвидеть, что его ждет, но лица, о которых говорю я, ни о чем не предупреждают. Все в них донельзя просто, они чаруют исподтишка, влюбляют в себя украдкой, и тот, кто обнаруживает в своем сердце любовь, не может прийти в себя от удивления, так незаметно она туда пробралась.

Тебе, разумеется, непонятно, почему я так

распространяюсь об этих предательских физиономиях? Дело в том, что мне по собственному опыту известно, какую шутку они могут с нами сыграть. Одна из них встретилась и на моем пути, мне приятно было на нее смотреть, но я считала — подумаешь, что тут особенного? — и в простоте душевной так об этом и говорила. И вот однажды утром ее обладатель пришел проститься со мной — он куда-то ненадолго уезжал. До его прихода я считала, что питаю к нему дружеские чувства, а после ухода обнаружила, что влюблена в него. Но сейчас не время рассказывать о нем.

Прелестная брюнетка в соседней ложе проявляла явный интерес к своему спутнику, и тот лез вон из кожи, стараясь, чтобы я это заметила. Мне сразу стал ясен смысл его ухищрений: „Вы пренебрегли мной, а теперь извольте убедиться, что я чего-нибудь да стою“, — вот что означал их немой язык. И тут я сразу решила, как мне себя вести. Я была бы очень зла на себя, пойми он, что его игра разгадана, еще более зла, если бы он заметил, что притворяюсь, будто не разгадала ее: в этих обстоятельствах нежелание понимать равно признанию, что слишком хорошо понимаешь.

И тогда я пустила в ход все свое искусство, чтобы скрыть, как пристально я слежу за ним, и не

показать, как тщательно это скрываю. Кажется, я справилась со своей задачей отлично: болтала со всеми, кто сидел в моей ложе, рассеянно поглядывала по сторонам, принимала ленивые позы, бросала безразличные взгляды, которые ни на ком не останавливаются и всех охватывают, взгляды то ли невидящие, то ли равнодушно-любопытные. В таких случаях сама правда менее правдоподобна, чем мое притворство; сколько радостей уже доставил мне этот мой талант! Вертопрах решил, очевидно, что зря усердствует — по крайней мере он больше не старался донести до моего слуха каждое свое слово.

А я меж тем обдумывала некую умопомрачительную уловку кокетства и заранее смаковала ее, так я была уверена в успехе. Послушай, что я замыслила. Брюнетка была очаровательна и, несомненно, питала склонность к молодому человеку; может быть, и он ее любил, но, даже если не любил, победа над сердцем прелестницы мнилась ему слишком лестной, чтобы отказаться от завоеванного. И вот, дорогая моя, я решила, что заставлю его пренебречь столь высокой честью, заставлю покинуть нынешнюю возлюбленную во имя надежды — всего лишь надежды — вернуть мою любовь.

В таком торжестве моих чар был бы для меня особый утонченный вкус. Я не сомневалась в своей привлекательности, доказательств тому было сколько угодно, но все каких-то не очень убедительных. До сих пор по мне вздыхали молодые люди или ничем не примечательные, или свободные, то есть не имеющие избранниц, никого не любящие и никем не любимые, — диво ли, что они попадались ко мне в сети? Из этого следовало, что я хотя и обольстительница, но покамест заурядная и, значит, надобно раздобыть из ряда вон выходящее подтверждение моей неотразимости. Тщеславие требовало от меня поклонника, который бежал бы из чужого плена, чтобы сдаться в плен мне, или предпочел бы попытку овладеть моим сердцем лестному владычеству над сердцем, уже покоренным.

Я придумала, как нанести брюнетке сокрушительный удар. Мне сказали, что она в тесной дружбе с одной из моих родственниц, но, будь на ее месте моя родная сестра, я и сестру бы не пощадила. Ведь на карту было поставлено тщеславие кокетки, а когда у нас, у женщин, появляется возможность сорвать банк в такой игре, мы о жертвах не думаем. В этом отношении я была настоящая женщина, вернее сказать, моей жад-

ности к подобным выигрышам хватило бы на пятерых женщин.

Брюнетка по сей день не простила мне — и напрасно. Пусть бы ненавидела в те времена, это еще куда ни шло, но неприязнь такого рода должна быть мимолетной. Говорю тебе, случись со мной этакий конфуз, я заранее порицаю себя, если поддамся злому чувству и позволю ему длиться дольше нескольких дней».

ПЯТОЕ ПИСЬМО Г-НА ДЕ М., СОДЕРЖАЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПОХОЖДЕНИЯ

«Ты, надеюсь, не забыла, — продолжала рассказчица, — что у меня уже было двое вздыхателей; одного я удерживала при себе из кокетства, а к другому питала сердечную склонность. Не пуская в ход хитрости, двух таких поклонников не сохранишь. Кокетке дорого даются радости тщеславия — ведь за них приходится платить радостями сердца. Поэтому она порою даже перестает быть кокеткой. Чтобы приумножить славу, не дать ей померкнуть, приходится идти на уловки, а вот чтобы любить — никаких уловок не нужно, это чувство сладостно само по себе, и его не ищешь, оно само тебя находит.

Короче говоря, утвердить за собой две столь

незаурядные победы, как мои, задача нелегкая, и требуется большая отвага, чтобы замыслить при этом третье завоевание. Но скажу тебе прямо, тут я отличаюсь от большинства женщин. Дело в том, что я выпутываюсь из самых сложных положений отнюдь не с помощью ума или особого искусства, не ломаю себе голову, а просто развлекаюсь и следую своему чутью; вот и все мои таланты — с их помощью я всегда остаюсь в выигрыше. Самые хитроумные ходы, самые невероятные проделки не стоят мне ни малейшего труда; находчивость заложена в моей натуре, я действую безотчетно и всегда попадаю в цель, из всего извлекаю удовольствие, даже из насилия над собой, даже когда отказываю тому, кого люблю, ради того, к кому равнодушна.

Насколько я могу судить, этой гибкостью ума и сердца, этой решимостью одерживать новые победы, не отказываясь притом от уже завоеванных крепостей, сколько бы их ни было, этой способностью справляться с трудностями, которые я не умею предвидеть, зато умею одолевать тем более ловко, что не пытаюсь изловчиться, этим искусством мучить поклонников безудержным кокетством, но так, чтобы они не только не роптали, но и не догадывались о нем, — повторяю,

этими преимуществами над другими женщинами я, видимо, обязана ненасытному желанию чувствовать свою неотразимость и властной потребности постоянно ее подтверждать.

Понимаешь ли, милочка, когда у меня четверо поклонников, я люблю себя как все четверо, вместе взятые. Но запомни, пожалуйста, еще одно: такая горячая любовь к себе рождает, натурально, стремление любить еще горячее, и когда новый поклонник дает мне это право, когда в его глазах я перл творения, тогда в своих собственных я становлюсь такой, что и описать невозможно. Я перебираю свои победы, нынешние и прошлые, вижу, что завлекала самых разных поклонников, и, трепеща от счастья и гордости, прихожу к выводу, что покорила бы всех мужчин на свете, будь у меня возможность им всем строить глазки. Но и тогда я мысленно представляю себе мужчину, который не опустит передо мной глаз, восхищаюсь им, влюбляюсь в него, поддаюсь волнующим чарам, жажду встретить его открытый взгляд. Если меж тем мне случается встретить на жизненном пути кого-то, кто затрагивает мое сердце, — что ж, отлично, я приветствую приятное похождение, радуюсь негаданному подарку, услаждаюсь им, пока могу, но не отказываюсь притом от новых

завоеваний.

Эти мои попутные рассуждения должны многому тебя научить, поэтому я и позволяю себе так щедро уснащать ими рассказ о своей жизни. Твое самолюбие еще совсем неискушенно, оно не умеет распознать, что ему идет на пользу, а что во вред, но я убедилась — задатки у него хорошие, нужно только их развить. Дай себе труд, дочь моя, поразмысли о жадности моего самолюбия и о том, почему удовольствие быть любимой для меня предпочтительней удовольствия любить самой, разожги в себе гордость надеждой властвовать над многими сердцами, и тогда ты поймешь, что искусство утверждать свои победы рождено жаждой побеждать. А теперь продолжим.

Спектакль пришел к концу, молодой человек с прелестной брюнеткой и все их общество направились к выходу из ложи. Мои спутники все еще не трогались с мест, но я встала, чтобы поднялись и они: мне хотелось встретиться на лестнице с моим изменщиком. Так оно и вышло. Его поклон был столь выразителен, что я сразу поняла: он бросает вызов моим якобы неотразимым чарам. Сделав вид, будто не замечаю оскорбления, я решила обратить в свою пользу даже его тщеславие.

Чутье подсказало мне, что в подобных случаях нет лучшего способа взять верх над фанфароном, чем притвориться, будто страдаешь по его милости. Вы поощряете его самомнение, он приходит в восторг и, сам того не замечая, уже готов вас полюбить. Непроизвольная благодарность легко превращается в любовь. Сперва он склоняется к вам из любопытства, из желания поглядеть, как вы обрадуетесь при его возвращении, а потом за горделивое удовольствие подглядеть движения вашего сердца расплачивается утратой своего собственного.

„Сударь, — сказала я, подойдя к нему, и холодность моего обращения глупец не замедлил объяснить обидой, — полгода назад вы взяли у меня „Португальские письма“.{39} Книга не моя, ее пора вернуть, и я очень вас прошу, пришлите ее мне“. — „Я сам принесу, даже рискуя снова быть высмеянным“, — ответил он, тоном своим давая понять, что готов вступить в мирные переговоры. „Нет, — заявила я, — пришлите книгу с лакеем. Я

{39} Комментарии: 2.39

«Португальские письма» — книга французского литератора и дипломата Габриэля-Жозефа де Лаверня де Гийерага (1628–1685), изданная в 1669 г. как перевод с португальского подлинных любовных писем монахини Марианы Алькофорадо к французскому офицеру Ноэлю Бутону де Шамилли. Отличающаяся эмоциональностью и психологической правдивостью, эта книга пользовалась большой популярностью.

не стану издеваться над вами, но встреча со мной все равно не доставит вам удовольствия“.

С этими словами я отошла, даже не взглянув на него. Он, несомненно, счел, что надменностью я пытаюсь скрыть стон души, и промолчал, но его тщеславие попалось на крючок, в этом у меня не было сомнений. Сама я продолжала хранить все тот же ледяной вид. От меня не укрылось, что он искоса поглядывает в мою сторону, смакуя опасную радость созерцания моей холодной мины: в таких обстоятельствах эта холодность вполне могла сойти за печаль.

Тут подали нашу карету. Я с нетерпением ждала утра, уверенная, что молодой человек жаждет поскорей насладиться зрелищем моей скорби или робких надежд. Итак, я ожидала его, как бы укрывшись в засаде, иными словами, собиралась сыграть с ним новую шутку. Он не замедлил явиться и застал меня в неглиже, являвшем собой чудо откровенности. Этот убор говорил о рассеянности, которой, разумеется, не было, но нисколько не вредил моим прелестям, которые я выставила, конечно, в самом выгодном свете. Впрочем, никому и в голову не пришло бы заподозрить меня в расчете: прелести существовали в действительности, были дарованы мне приро-

дой, и я сразу увидела, что никаких ухищрений ветреник не заметил.

Он был приятно удивлен, но равнодушная встреча сразу обескуражила его. Я отлично рассчитала удар. „Я принес вашу книгу, мадемуазель, — сказал он. — Покорно прошу простить меня за то, что так ее задержал“. — „О чем тут говорить, — ответила я, — подобные грехи я легко прощаю“. — „Я был бы в отчаянье, если бы погрешил более серьезно“, — отпарировал он. „Поставим на этом точку, — с живостью возразила я, как бы отклоняя объяснение, а на самом деле вызывая на него. — Поставим точку, я вам все прощаю“. — „Но, мадемуазель, смилуйтесь, скажите мне, в чем мое преступление?“ — воззвал он, донельзя обрадованный тем, что, прощая на словах, тоном своим я его обвиняла. „Прекратим этот разговор, не то мне придется оставить вас в одиночестве“, — нетерпеливо ответила я, поднявшись с кресел и даже сделав шаг к двери.

Этот хорошо разыгранный гнев преисполнил фатишку такого довольства, показавшись признанием его несравненных достоинств, что он тут же бросился передо мной на колени и схватил за руку. У меня словно недостало сил вырвать ее — негодование должно было уступить место

всепрощающей нежности. В подобных случаях эти чувства по самой своей натуре неразрывно связаны между собой. Он покрыл мою руку поцелуями, я молча их сносила, признавая тем самым, что радуюсь возврату его нежности, а это, в свою очередь, подразумевало жалобу на былую неверность возлюбленного. Не знаю, понятно ли тебе, как мне удалось выразить все это лишь тем, что я не отняла у него руки, но ведь давно известно, что в любви даже ничтожный жест содержит иной раз глубокий смысл.

Но всего забавнее в моей истории то, что в разгар описанной сцены во мне, дорогая моя, произошел переворот, вовсе мной не предусмотренный. Я задумала примириться с изменщиком из чистого кокетства, а тут вдруг почувствовала, что и сама отвечаю на призыв любви. Тщеславие замолчало, заговорила нежность. Должно быть, не только его, но и мое сердце захотело вкусить свою долю радости. Плут усадил меня в кресло и, еще больше растрогавшись при виде моего волнения, страстно обнял мои колени; на глазах у него навернулись слезы, настоящие слезы, а не те, которые мы проливаем, когда хотим их пролить.

„Да, да, мадемуазель, я великий преступник, я был вам неверен, — вскричал он, не вставая

с колен. — Но можно ли именовать изменой небрежение к сокровищу, непонимание его бесценности, если это вызвано юношеским легкомыслием и неопытностью? Другие предметы развлекли на короткий срок мое сердце, но вот уже больше четырех месяцев, как оно искупает свою вину, тоскует по вас, боготворит ваш образ. Я не дерзал прийти к вам, считал себя, да и сейчас считаю недостойным прощения. О моя возлюбленная, покарайте меня, отомстите мне, позволив бывать у вас: чем чаще я буду видеть вас, тем горше стану оплакивать утрату вашей приязни“.

Хитрец то и дело прерывал речь, прижимаясь губами к моей руке. Я и хотела бы возмутиться, но не могла. Сознаюсь, у меня кружилась голова, я вся дрожала, так страшно и сладостно было мне от его поцелуев, слез, пеней. Сцена была исполнена пыла, исполнены пыла были мы оба, и он, и я. „Встаньте“, — сказала я, склоняясь к нему. Он сорвал у меня поцелуй, я оттолкнула его, но рассердиться не сумела. Меня пугало обоюдное наше смятение. „Сядьте, — сказала я тоном более твердым, чем того хотело сердце, — сядьте, я этого требую“.

Едва он встал с колен, как в прихожей раз-

дались шаги: пришел мой поклонник — тот, к которому я была благосклонна».

КРЕБИЙОН-СЫН

КРЕБИЙОН-СЫН
СИЛЬФ, ИЛИ СНОВИДЕНИЕ Г-ЖИ ДЕ Р***, ОПИСАННОЕ ЕЮ В ПИСЬМЕ К Г-ЖЕ ДЕ С***

Перевод А. Поляк и Н. Поляк

Напрасно вы жалуетесь на мое молчание, дорогая, и если сами вы однажды написали письмо, это еще не причина, чтобы упрекать других в лености. Как бы вы досадовали, если бы я вам писала аккуратно, вынуждая вас отвечать! Ведь парижанке некогда с мыслями собраться; признайтесь, вам едва ли случалось о чем-нибудь задуматься: нет на свете праздности, более занятой всевозможными делами, чем ваша. Парижская сутолока не дает вам времени отдавать себе в чем-либо ясный отчет; одно удовольствие сменяется другим; вас окружает многочисленное общество, смесь лиц и занимает и смешит вас; чопорность почтенных господ, развязность и банальные приемы светских хлыщей, краса двора{40} и Парижа, — контраст противополож-

{40} Комментарии: 2.40

...двора... — то есть королевского двора, находившегося в Версале.

ностей, неизбежно поражающий наши взоры в больших собраниях; светские скандалы, дающие пищу для злословия; сердечные увлечения, которые развлекают вас, если и не занимают вашего сердца; время, отданное заботам о туалете и столь приятно заполняемое нашими молодыми вельможами; вечно новые радости кокетства; карточная игра, помогающая убить время, когда отлучка возлюбленного или забота о светских приличиях вынуждает вас терять драгоценные минуты счастья — ну разве во всей этой сумятице вы можете помнить обо мне? Вы укоряете меня за любовь к уединению; но если бы вы узнали, как приятно я провожу здесь время, вы приехали бы ко мне и разделили со мной мои новые радости, какими бы странными они вам ни показались. Вы, конечно, рассмеетесь, когда я признаюсь, что эти хваленые радости я вкушаю во сне. Да, сударыня, это не более чем сновидения; но бывают сны, иллюзорность которых дарит нам вполне реальное счастье; они оставляют сладостное воспоминание, дающее больше отрады, чем обычные, приевшиеся удовольствия, тяготящие нас даже тогда, когда мы всей душой жаждем ими насладиться.

Вам небезызвестно, что я всю жизнь мечтала

увидеть какое-нибудь сверхъестественное существо, одного из тех гениев природных стихий, которых мы именуем сильфами.{41}

Я всегда считала, что они не любят являться в шуме и сутолоке больших городов, и отчасти поэтому, — не знаю, захотите ли вы мне поверить, — я так рвалась в деревню и так презрительно отвергала домогательства светских кавалеров: возможно, если бы не надежда заслужить любовь какого-нибудь сильфа, я бы перед ними не устояла; ведь среди них попадаются премилые.

Но я ничуть не сожалею о своей неприступности, ибо она привела меня к цели. То был сон; пусть мое приключение будет в ваших глазах не более чем сном, надо же щадить ваше неверие в

{41} Комментарии: 2.41

...мы именуем сильфами... — О сильфах, воздушных духах, впервые написал Парацельс (1493–1541) в своем трактате «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах». Однако вера в них восходит к представлениям еще не обращенных в христианство галлов. Истории о сильфах, сильфидах, гномах и пр. стали особенно популярны во Франции после выхода в 1670 г. в Париже книги «Граф Габалис, или Разговоры о тайных науках». Ее автором был аббат Никола Пьер Анри Монфокон де Виллар (1635–1673), несомненно талантливый литератор, писавший остроумные памфлеты, увлекавшийся кабалистикой и алхимией, авантюрист и, по-видимому, масон. Его книга пользовалась огромной популярностью, неоднократно переиздавалась, ей охотно подражали, выпуская подложные ее продолжения. Новелла Кребийона во всех сведениях, касающихся «стихийных духов», основывается на книге Монфокона.

чудеса. И все же, если бы я видела все это во сне, я бы сознавала, что засыпаю; я бы почувствовала, что просыпаюсь; и потом, возможно ли, чтобы сон был столь последователен и логичен, как то, что я вам сейчас опишу? Разве могла бы я в таких подробностях запомнить речи сильфа? Совершенно невероятно, чтобы я сама придумала все те мысли, которые сейчас вам изложу; они никогда прежде не приходили мне в голову.

Нет, нет! Конечно, я не спала! Впрочем, можете думать все что вам угодно; я не стану употреблять выражений: «мне казалось», «мне почудилось», а буду прямо говорить: «я была», «я видела». Но довольно предисловий.

Это случилось на прошлой неделе; я была у себя в спальне; ночь выдалась теплая, я уже лежала в постели — в очень скромном дезабилье для женщины, знающей, что она одна, но которое, возможно, показалось бы нескромным нежданному очевидцу. Наскучив обществом провинциальных соседей, донимавших меня целый день своими разговорами, я пыталась вознаградить себя чтением некоего трактата о морали, когда чей-то голос, вздохнув, произнес тихо, но отчетливо:

— О боже! Как она прелестна!

Я удивилась и, отложив книгу, стала прислушиваться, превозмогая невольный страх.

В комнате было тихо; я решила, что мне почудилось и что утомленный чтением мозг превратил в реальность прочитанное; впрочем, едва ли в услышанных мною словах можно было уловить связь с моралью; да я в тот миг и не думала ни о чем подобном. Пока я размышляла о случившемся, голос зазвучал снова, еще отчетливее, чем в первый раз:

— О смертные! Достойны ли вы обладать ею!

Несмотря на лестный смысл этого восклицания, я совсем перепугалась, забилась под одеяло и укрылась с головой, едва дыша и помертвев от страха, как свойственно пугливой женщине.

— Ах, жестокая! — вскричал голос, — зачем вы прячетесь от моего взора? Какой опасаетесь обиды от того, кто вас боготворит и, себе на горе, из уважения к вашей воле не смеет употребить силу, чтобы видеть вас? Ответьте же, по крайней мере не казните меня за мою любовь!

— Увы! — произнесла я дрожащим голосом, — как я могу отвечать, оказавшись в столь необычайном положении?

— Но каких посягательств с моей стороны вы боитесь? — возразил голос, — я же сказал, что

боготворю вас. Не тревожьтесь, я не стану вам показываться, и хотя вид мой окончательно рассеял бы ваш испуг, я не хочу повергать вас в слишком сильное изумление.

Немного успокоенная этими словами, я тихонько отодвинула уголок простыни: ведь дело шло всего лишь об объяснении в любви, и я вспомнила, что уже не раз храбро выдерживала подобные испытания. Я не так уж малодушна; к тому же мне казалось, что начавшаяся таким образом беседа ничем мне не угрожает.

И все же со мной, видимо, говорил влюбленный, я была одна и в таком положении, что могла опасаться чего угодно от существа мало-мальски предприимчивого и, судя по всему, более могущественного, нежели обыкновенный мужчина.

Это соображение встревожило меня, я вдруг почувствовала, какой опасности подвергаюсь; мне стало еще страшнее при мысли, что я ничем не могу себя защитить. То было одно из тех неприятных положений, когда добродетель ни от чего не спасает.

Правда, я тут же сообразила, что со мною говорил не человек, а дух и что он, по всей вероятности, бесплотен; но все же он обладал чувствами, он любил меня; что помешает ему

обзавестись телом?

Под наплывом этих противоречивых мыслей я впала в нерешительность, которой не предвиделось конца; но голос снова заговорил:

— Я знаю все, что делается в вашей душе, прелестная графиня, и буду вполне почтителен: мы отваживаемся на действия только тогда, когда любимы.

«Прекрасно, — подумала я про себя, — в таком случае я ни за что не воодушевлю тебя необходимой отвагой, чтобы забыть о почтительности».

— Не ручайтесь за себя, — заметил голос, — мы не так уж безобидны в любви, ведь мы знаем все, что творится в сердце женщины; стоит ей чего-либо пожелать, и мы спешим исполнить ее желание; мы сочувствуем всякому ее капризу, мы способны придать новый блеск ее красоте, мы можем вдруг состарить ее соперниц, и лишь только с уст ее слетает вздох любви — ибо природа в иную минуту одерживает верх в ее сердце — мы ловим этот единственный миг; одним словом, чуть приметный намек на искушение мы превращаем в неодолимый соблазн и тотчас же его удовлетворяем. Согласитесь, что если бы мужчины все это умели, ни одна женщина не могла бы им противиться. Примите в расчет и то, что

мы невидимы, а это неоценимое преимущество в борьбе с ревнивыми мужьями и старомодными мамашами. Благодаря своей невидимости мы избавлены от утомительных предосторожностей против их бдительной охраны, избавлены от их недремлющих глаз. Но, умоляю вас, перестаньте прятаться от моего взора; снисхождение к этой мольбе ни к чему вас не обязывает: ведь вы не увидите меня, пока сами не пожелаете, а чувства ваши ко мне зависят от вас одной.

После этих слов я отбросила простыню, и дух — ибо это был дух — слегка вскрикнул, увидя меня, так что я чуть не закрылась снова; но я переборола свое смущение.

— О боже! — воскликнул он, — как вы прекрасны! И какая жалость, что ваша красота назначена в удел низкому смертному; нет, я не допущу, чтобы она ускользнула от меня.

— Вот как! — сказала ему я. — Вы полагаете, что я от вас не ускользну?

— Да, полагаю, что так.

— Вы самоуверенны, как я вижу, — заметила я.

— Вы ошибаетесь; я не самоуверен, просто я знаю ваше сердце. Все женщины одинаково думают, одинаково чувствуют, испытывают одни и те же желания, подвержены одному и тому же

тщеславию, рассуждают примерно одинаково, и рассудок их одинаково бессилен, когда должен бороться с сердечной склонностью.

— А добродетель? — спросила я. — Ее вы не ставите ни во что?

— Ее, конечно, следовало бы принимать в расчет; но, сдается мне, вы редко пользуетесь ее услугами, — ответил он.

— Вы слишком дурного мнения о нас, — ответила я, — если считаете, что мы вовсе неспособны рассуждать.

— Нет, — возразил он, — вы умеете рассуждать, но ваше сердце деятельнее и живее разума, оно не слушает никаких доводов и скорее склоняет вас к чувству, чем к благоразумию. Я не утверждаю, что вы не в состоянии понять, чего надо избегать и чему следовать; однако в сердце вашем начинается борьба, вы отдаете этой борьбе известное время, но в конце концов признаете себя побежденными, утешаясь тем, что будь ваше сердце слабее вас, вы одержали бы над ним победу.

— Вы действительно думаете, — заметила я, — что мы никогда не можем побороть свою склонность? Неужели мы так рабски покоряемся страстям, что никак не можем их подавить?

— Этот вопрос потребовал бы слишком долгого

рассмотрения, — ответил он. — Думаю, добродетельные женщины существуют и их можно встретить: однако насколько я мог судить по личным наблюдениям, добродетель не очень им импонирует: вы знаете, что добродетель — вещь необходимая, но уступаете этой необходимости без большой охоты. Подтверждение своей правоты я вижу в том унылом и кислом выражении лица, какое свойственно добродетельным женщинам, а также тем, кто играет в добродетель, кто кичливо выставляет на показ ради удовольствия презирать слабости других. Приходит время, и они расплачиваются очень дорогой ценой за это удовольствие и рады были бы от него отказаться. Но что поделаешь? Показную добродетель нельзя отбросить, и они в глубине души стонут под ее бременем; они подвержены тысячам соблазнов и охотно сменили бы мучительное искушение на радость удовлетворенной любви, если бы могли быть уверены, что никто не узнает об их слабости. Их постоянное негодование против счастливых любовников свидетельствует не столько о ненависти к чужому счастью, сколько о горьких сожалениях о том, что они лишили себя любви из-за ложно понятого тщеславия; к тому же, заметьте, красивая женщина редко ударяется

в добродетель, а ходячая добродетель редко бывает красивой женщиной; значит, неблагодарная внешность больше, чем что-либо иное обрекает женщину следовать путем добродетели, на которую ни один мужчина не смеет покуситься; и потому добродетельная женщина испытывает постоянное раздражение из-за того, что никто не нарушает ее постылый покой.

— Значит, вы думаете, что все женщины склонны к ханжеству?

— Мужчины были бы слишком несчастливы, если бы это было так, — ответил он.

— И все же, — возразила я, — они требуют, чтобы мы были добродетельны.

— Это происходит от утонченности их вкусов: им приятно приписывать исключительно своим обольстительным качествам победу над силой, которую они с таким трудом утвердили в ваших душах и которая, что там ни говори, очень вам к лицу. Я имею в виду не ту свирепую неприступность, которая является лишь карикатурой истинной добродетели, но нечто совсем иное, что живет в моем воображении, но что я не берусь описать, ибо ни разу его не встречал.

— Что же такое это свойство, которое мужчины именуют добродетелью? — спросила я.

— Это ваше сопротивление их домогательствам, корень которого в сознании долга.

— А в чем же наш долг?

— Сначала вам вменялась в обязанность тьма трудных испытаний, — ответил он; — но вы их урезаете день ото дня, и я полагаю, скоро отмените совсем; в настоящее время от вас ждут одной лишь благопристойности, да и ту вы не всегда соблюдаете.

— И долго будет длиться такая разнузданность? — спросила я его.

— До тех пор, — ответил он, — пока женщины будут считать добродетель чем-то идеальным, а наслаждения — чем-то реальным; и я не вижу, чтобы они собирались переменить свой образ мыслей. К тому же у каждой женщины есть какое-нибудь слабое место, и, как его ни скрывай, оно не ускользнет от настойчивого взора влюбленного. Женщина чувственная не может устоять против жажды наслаждения; чувствительная уступает радости сознавать, что сердце ее занято; любопытная не в силах удержаться от желания узнать неизвестное; беспечная не хочет утруждать себя отказом; суетная не желает, чтобы прелести ее оставались никому не известными: по неистовству любовника она угадывает силу

своей власти над мужчинами; жадная уступает низменной любви к подношениям; честолюбивая готова все отдать за блистательную победу; кокетка привыкла сдаваться.

— Вы глубоко изучили женщин, — сказала я.

— Дело в том, что мне с юных лет довелось немало пространствовать по свету, — ответил он. — Но я, наверно, нагнал на вас сон? Охота философствовать совсем неуместна при нашей встрече; конечно, вы уже подумали, что для сильфа я слишком наивен; и вы правы: неумение использовать в полной мере чудные минуты, какими я наслаждаюсь подле вас, заслуживает наказания; я недостоин такого дара. Влюбленный сильф не находит ничего лучшего, как рассуждать о морали! Скажите честно: простите ли вы мне, что я так глупо употребил дорогое время?

— Не знаю, какое иное употребление вы могли ему дать, — отвечала я, — но вы меня задели; я хотела бы доказать вам, что добродетель существует.

— Иными словами, — рассмеялся он, — вы будете добродетельны из духа противоречия. Но я нисколько не сомневаюсь, что добродетель вам свойственна, и если я мало о ней говорил, причина тому ваша красота: вы так богато ода-

рены прелестями, что не знаешь, какую хвалить раньше, и я не успел сказать, как ценю вашу добродетель.

— И все же я не прощу, что вы о ней забыли, — возразила я, — вы меня любите, и я заставлю вас пожалеть об этом.

— Прекрасная моя графиня, — ответил он, — мы постоянно твердим красивой женщине о ее прелестях для того, чтобы в учтивой форме побудить ее дать им надлежащее употребление; зачем мы станем напоминать ей о добродетели, если наша задача — заставить забыть о ней? И еще: не надо мне угрожать; эти ухищрения хороши с мужчинами; меня же вам провести не удастся. Это, конечно, портит все дело, и я не удивляюсь, что вы призадумались: поклонник, который знает все ваши мысли, который отгадывает все, от которого ничего не скроешь — не правда ли, иметь с ним дело весьма затруднительно?

— Что ж, — ответила я, — я могу не навлекать на себя столь утомительных хлопот: я не стану вас любить.

— Ничего не выйдет, — сказал он; если вы хотите уклониться от любви ко мне, вы должны сказать вполне серьезно, чтобы я больше не приходил; более того, вы должны этого пожелать; а

вы никогда этого не пожелаете. Вы любопытны, вам интересно узнать, чем все это кончится. Вы сейчас чувствуете то же, что всякая женщина в начале большой любви: они знают, что единственный путь спасения — бегство; но любовь вас влечет, она согревает сердце и помрачает рассудок; искушение вас не покидает, а проблески разума мгновенно гаснут; радость все сильнее, добродетель исчезает со сцены, любовник остается. Какое уж тут бегство? Нет, вы не убежите.

— На мой взгляд, вы немного слишком уверены в победе, — возразила я; — мой возлюбленный должен быть почтительней, а притязания его не так смелы; он должен был бы больше щадить меня.

— Иными словами, — прервал он, — вы хотите, чтобы я напрасно потерял время, которое мне очень дорого. Это не годится.

— Я вижу, женщины не приучили вас к скромности.

— Совершенно верно, — согласился он.

— И вы покоряли всех, на кого устремляли взор?

— Всех? Нет, — ответил он; — мне часто приходилось менять обличье, чтобы заставить себя любить. Первая моя возлюбленная оказалась

совсем глупенькой и боялась духов. Я был так опрометчив, что заговорил с ней ночью; еще немного, и она бы у меня умерла от страха. Тщетно я объяснял ей, что я дух воздушной стихии, что мы красивы, хорошо сложены; чем подробнее я перечислял ей наши достоинства, тем больше она пугалась, и я бы совсем пропал, если бы не догадался принять облик ее учителя музыки. После нее я обратил свои взоры на одну знатную даму; она была весьма невежественна и тоже не поняла моих разъяснений насчет субстанции воздушной стихии, а главное, не могла поверить, что я представляю собой твердое тело;{42} это сильно повредило мне в ее мнении. Не зная, как ее переубедить, я вообразил, что сломлю ее недоверчивость, приняв облик одного очень красивого и любезного кавалера, влюбленного в нее. И что же? Все мои усилия были напрасны. Я потерял терпение, поступил к ней в лакеи,

---

{42} Комментарии: 2.42

…не могла поверить, что я представляю… твердое тело… — По учению Парацельса, «стихийные духи» наделены плотью, состоящей из крови, костей и т. д., но так как все это сотворено из первоэлементов, то плоть их более летуча и легка, чем плоть обыкновенных людей. Сильфы были лишены бессмертной души. Монфокон де Виллар сообщает, что они, желая приобрести бессмертие, стремятся войти в любовную связь с людьми, и от этих «мистических браков» якобы родились многие великие люди, например, легендарный маг Аполлоний Тианский (ум. в 97 г.).

замаскировавшись так искусно, что она ни за что не угадала бы во мне воздушного гения, и — не странно ли? — я преуспел! В Испании я знал одну женщину, которая, увидев меня, отвергла мои притязания и предпочла мне своего любовника. Во Франции со мной таких конфузов не случалось.

Подробный перечень моих любовных приключений занял бы слишком много места; впрочем, не могу не помянуть одну ученую даму, посвятившую себя исследованиям в области астрономии и физики. Я сказал ей, кто я; она не испугалась, но, несмотря на все мои усилия, я не смог ее убедить в правдивости моих слов.

«Как же так? — говорила она, — если в стихии эфира ваша концентрация представляет собой телесную массу, то мог ли здешний воздух не раздавить вас своею тяжестью, когда вы спустились к нам на землю? А если вы состоите из тончайших испарений, которые не выдерживают ни малейшего давления воздушной струи и самый легкий ветер может вас развеять, то на что вы годитесь?»

Даже не пытаясь опровергнуть этот довод словесным путем, я предложил ей провести опыт. Она согласилась, так как была вполне уверена,

что не подвергнется никакой опасности; а если и допускала возможность известного риска, то охотно шла на него ради удовольствия открыть в физике газообразных тел нечто такое, что еще никому не известно. Я приступил к доказательствам; но в момент, когда у меня были все основания считать, что мои действия ее убедили, она вскричала: «О боже! Какой странный сон!» Видели вы когда-нибудь такую упрямую недоверчивость? Сначала я не отступался; но потом, видя, что в какое бы время и каким бы способом я ее ни убеждал, она упорно продолжает называть меня сном и химерой — боюсь, вы поступите так же, — мне надоело ей сниться, и я ее покинул, хотя заметил по некоторым признакам, что она почти готова отказаться от своих заблуждений. Но вы, — прибавил он, — ведь вы не будете столь же недоверчивой?

— Я, во всяком случае, не буду столь же любознательной, — ответила я. — Я не сомневаюсь, что вижу вас во сне; но этот сон так приятен, что я даже не хочу знать, может ли он оказаться явью.

— А я, — возразил он, — чувствую, что подле вас все становится самой настоящей земной явью; не хочу более подвергать себя опасности увлечься вашей красотой и удаляюсь; я очень несчастлив,

что не сумел внушить вам любовь, и постараюсь уберечь себя от огорчений, которые готовит мне ваша жестокость.

— Как вы нетерпеливы! Могу ли я вас полюбить? Ведь я даже не знаю, кто вы такой!

— А разве вы хоть раз полюбопытствовали это узнать? — сказал он с упреком.

— Увы! — ответила я, — я боялась обидеть вас таким вопросом; я втайне подозревала, что вы — нечто худшее, чем гений воздуха. Но раз вы позволяете спрашивать, кто, же вы?

— А вы как думаете: кто я?

— Думаю, вы дух, демон или маг, — ответила я; — но кем бы вы ни были, вы мне кажетесь очень милым и необыкновенным.

— Хотите меня видеть? — спросил дух.

— Нет, — ответила я, — пока нет; но умоляю вас, ответьте на мой вопрос. Кто вы?

— Я сильф.

— Сильф! — воскликнула я в восхищении, — вы сильф!

— Да, прелестная графиня. Вам нравятся сильфы?

— О боже, что за вопрос! Но нет, вы меня обманываете, этого не может быть; а если и так, на что вам смертные и зачем детищу эфира снисходить

до общения с людьми?

— Небесное блаженство нагоняет на нас скуку, если мы не разделяем его с кем-нибудь, — ответил он. — Мы постоянно ищем милую подругу, которая заслуживала бы нашей привязанности.

— Но в книгах написано, что сильфиды так прекрасны, — прервала его я, — почему же…

— Понимаю вас. Почему бы нам не отдавать свою привязанность им? Мы не производим на них особого впечатления, они слишком часто нас видят и дарят нас своими милостями обычно по велению разума, чтобы не допустить исчезновения всего рода сильфов; то же чувствуем и мы, и, как вы сами понимаете, это не способствует созданию слишком нежных уз; наши взаимоотношения несколько напоминают то, что бывает у людей в законном браке. Мы ищем любви женщин, чтобы стряхнуть с себя сонную дрему, а сильфиды, со своей стороны, ищут мужчин, которые вознаградили бы их за скуку, которую мы на них наводим. Все это давно между нами улажено, и мы даем друг другу свободу следовать своим влечениям — без ревности и досады. Вы задумались; признайтесь, ведь это не лишено известной прелести: быть возлюбленной сильфы? Я вам уже говорил: нет каприза, который мы бы не

удовлетворили; нет радости, которой мы бы не доставили нашей любимой; мы не любовники, а рабы, готовые исполнить всякое ваше желание; лишь в одном мы опасны.

— В чем? — быстро спросила я.

— Мы требуем постоянства; считаю долгом вас предупредить, что малейшая неверность карается у нас жестокой смертью.

— Пощадите! — вскричала я; — я решительно отказываюсь любить вас!

При этих словах дух расхохотался, и я почувствовала, как наивен был мой испуг.

— Вы смеетесь, мой милый сильф? — спросила я.

— Смеюсь, — ответил он. — Нет ни одной женщины, которая примирилась бы с этим требованием. Они предпочитают отказаться от всех преимуществ нашей любви, но не от своей природной склонности к измене.

— Вы ошибаетесь, — сказала я, — я люблю постоянство и не боюсь вашего гнева; но сама мысль, что непостоянство грозит карой, отвращает меня: вы все время будете думать, что я верна лишь потому, что боюсь наказания; вы не сможете любить меня всем сердцем.

— Можно ли так заблуждаться? — возразил

он. — Если мы неудобны в этом смысле для женщин коварных, ибо знаем все их мысли, то те из вас, кто обладает добрым и честным сердцем, должны быть рады, что от нас ничего нельзя скрыть; зато мы ценим ту душевную чистоту, те нежные чувства, которых даже не замечает бесшабашная тупость мужчин, и чем лучше мы узнаем вашу любовь, тем безоблачнее ваше счастье. И не думайте, что поставленное мною условие уж так устрашающе. Сильфы во всех отношениях намного выше людей, и любить их преданно — вовсе не пытка. Я полагаю, единственное, что побуждает женщину к измене, — это скука и однообразие, от которых чахнет сердце. Она уже не видит у возлюбленного той бурной страсти, которая занимала ее чувства, независимо от того, отвергала она его домогательства или соглашалась их удовлетворить. Теперь же подле нее скучающий спутник, который принуждает себя к нежности из чувства приличия, говорит о любви по привычке, доказывает свою любовь через силу, его немое и холодное лицо поминутно опровергает то, что произносят уста. Что остается делать женщине? Неужто из пустого и ложного представления о женской чести она должна всю свою молодость отдать союзу, который уже не

дарит ей счастья? Она изменяет, и совершенно права. Ей вменяют в преступление то, что она изменила первая; но причина в том, что она чувствует сильнее, чем мужчина, и ей нельзя терять время. К тому же она часто делает первый шаг к разлуке из добрых чувств к прежнему возлюбленному: она видит, что он томится подле нее, не решаясь с нею расстаться из опасения запятнать свою честь; она сама дает ему удобный повод и берет вину на себя. Вот великодушие, какого мужчины вовсе не заслуживают, если позволяют себе на это сердиться.

— Значит, сильфы не подвластны скуке и охлаждению чувств? — спросила я. — Надо полагать, сами они умеют хранить постоянство, какого требуют от нас?

— Во всяком случае, если они и изменяют, то это совершается мгновенно, — ответил он. — Вы даже не успеете ничего заподозрить. Четверть часа назад он был влюблен — и вот, он исчез.

— А если какая-нибудь из женщин все-таки заподозрит измену и изменит первая?

— Не забывайте, что…

— А, да, в самом деле! Однако вы беспощадный народ и лишаете нас всех средств самозащиты.

— Даже не опасаясь наказания смертью, вы

сами не захотите изменить. Лучший способ сохранить привязанность женщины — не давать ей напрасно чего-нибудь желать. Для смертных мужчин это невыполнимо, и лишь сильфам дано делать сладостным для нее всякий миг жизни и предупреждать любое мимолетное желание, рождающееся в ее сердце.

— Боюсь, — сказала я, — что даже при всех чудных дарованиях, свойственных сильфам, их все-таки можно разлюбить. Пусть нам позволят иногда желать напрасно. Бывает, что размышления о возможных удовольствиях даже приятнее, чем услужливые хлопоты поклонника; согласитесь, чрезмерная заботливость утомляет; я перестану желать вашей любви, если никогда не смогу желать ее тщетно.

— Странная мысль — сказал он, — не думаю, чтобы она была справедлива. Поверьте, в нашем обществе вы даже не успеете ни о чем подобном подумать. Вы сами станете сильфидой и, приобщившись к нашей эфирной сущности, будете так же мало тяготиться назойливой услужливостью любовника, как они.

— Как вы умеете отвести любое возражение, — сказала я; — но когда вы расстаетесь с женщиной, вы оставляете ей эту эфирную сущность?

— Иногда, из добрых побуждений, мы часть ее отнимаем; но частенько, из коварства, оставляем ей все.

— Это не очень-то честно с вашей стороны, — заметила я.

— Согласен, — ответил он, — конечно, мы могли бы не оставлять позади себя желаний, которых никто, кроме нас, не может утолить; но у нас нет другого средства заставить о себе сожалеть, а мы к этому чувствительны. Но вы опять задумались?

— Вы угадали, — сказала я, — мне пришло в голову, что я видела в парижском высшем свете немало женщин-сильфид.

— Вполне вероятно, — согласился он. — Мы по большей части находим себе возлюбленных при дворе: неудивительно, что именно там сохраняются следы нашего пребывания; но, как я вижу, такого рода опасность пугает вас меньше, чем смерть; а между тем в нашем коварном даре тоже есть свои неудобства.

— Они меня пугают, хотя меньше: ведь их можно избежать.

— Понимаю: отказавшись любить меня, — подхватил сильф, — но вы ничего этим не выиграете: та же кара ждет тех, кто противится нашей любви.

— Боже милосердный! — вскричала я, — где же искать спасения?

— Довольно шуток! — сказал сильф.

— Ах, разумеется, мы больше не будем шутить, — проговорила я в испуге, — не надо никакого общения, господин Демон. Если вы желаете, чтобы я даровала вам бессмертие, вы должны были скрыть от меня свою склонность к коварству и умолчать об опасностях, подстерегающих женщин, которые решились вступить в общение с вами.

— Разберемся в этом, — ответил он. — Я вижу, вы напичканы вздорными выдумками графа де Габалиса{43} и полагаете, что способны даровать нам бессмертие, — то есть сделать нечто такое, что не сочла нужным сделать природа. Чего доброго, вы воображаете, начитавшись этих умных книг, что мы подвластны убогим познаниям ваших магов и являемся на их зов? Но как же может быть, чтобы существа высшего порядка нуждались в руководстве обыкновенных людей

{43} Комментарии: 2.43

...вы напичканы вздорными выдумками графа де Габалиса... — Новелла Кребийона дает вере в сильфов откровенно ироническую трактовку, что было подхвачено его продолжателями, у которых, как и у Кребийона, мотив общения сильфа с молодой прекрасной аристократкой служит поводом к изображению лицемерия и порочности светского общества.

и были бы обязаны им повиноваться? Что до бессмертия, которое вы якобы можете нам дать, то это уж и вовсе нелепость; каждому ясно, что частое общение с существами низшего порядка может лишь низвести нас с высот, где мы парим, но никак не даровать нам новые силы.

— Я вижу, что была слишком легковерна; но полюбить вас я все равно не смогу: теперь я вас боюсь, — сказала я.

— Не надо бояться, — ответил он. — Хотя я и говорил вам об угрозе смерти, но мы не всегда прибегаем к таким крайним мерам; нередко мы первые изменяем и возвращаем вам свободу; но мы, как и вы, не любим, когда нас в этом опережают: ведь вы не прощаете таких оскорблений, а наше самолюбие не менее чувствительно, чем ваше. Что до второго наказания, я не подвергну ему вас, если вы сами не захотите. Подумайте, спросите свое сердце и либо прикажите мне исчезнуть навсегда, либо примите мои условия.

— Но как же я могу обещать любовь тому, кого не знаю, кого ни разу не видела? — воскликнула я; — не буду скрывать, вы уже мне немножко нравитесь; но что, если вы на беду окажетесь

гномом…[3]

— Не браните гномов, — прервал меня сильф. — Они, правда, не могут похвалиться красивой наружностью, но тем не менее им случалось, и не раз, отнимать у нас победу. Они играют среди нас ту же роль, что финансисты среди людей,{44} а богатство — это такое качество, которым женский пол отнюдь не пренебрегает; чуть ли не каждый день они уводят у нас сильфид.

— Возможно ли? — удивилась я. — Неужели эти небесные создания неравнодушны к подаркам?

— Да, — ответил он, — они берут золото у гномов и отдают своим любовникам; но если бы даже подобные меркантильные заботы не побуждали их иногда принимать ухаживания этих безобразных созданий, они все-таки принадлежат к слабому полу, и, следовательно, им свойственны причуды; всякая перемена их веселит; прихотями вкуса они дорожат особенно из-за того, что в них есть что-то предосудительное. Одна-

---

[3] Примечания: 1.3

Духи, обитающие в земле, хранители сокровищ. *(Прим. автора).*

{44} Комментарии: 2.44

Они играют среди нас ту же роль, что финансисты среди людей… — Соперничество богатого откупщика-финансиста с представителем дворянства стало во времена Кребийона частой темой романов и комедий; на этом, например, построен конфликт знаменитой пьесы Лесажа «Тюркаре» (1709).

ко, прелестная моя графиня, не угодно ли вам задать какой-нибудь более интересный вопрос? Или ваша любознательность так и не выйдет за пределы мелочей, о каких вы до сих пор меня спрашивали? Неужели вы мне так и не позволите показаться вам?

— Ах, милый сильф, я боюсь вас увидеть! — воскликнула я.

— Как жаль, что вы этого не желаете! — сказал он со вздохом.

В ответ я тоже только вздохнула. В тот же миг ослепительный свет залил мою комнату, и я увидела в изголовье кровати самого прекрасного собой мужчину, какого только можно вообразить, с величественной осанкой, одетого изящно и благородно. Это зрелище изумило, но ничуть не испугало меня.

— Что же, прелестная графиня, — сказал он, опускаясь передо мной на колени с выражением искренней и скромной любви, — что же, прелестная графиня, готовы вы поклясться мне в верности?

— Да, мой дорогой, мой прекрасный сильф! — вскричала я. — Клянусь вам в вечной любви; я не боюсь ничего, кроме вашего непостоянства. Но чем я могла заслужить?..

— Ваше пренебрежение к мужчинам и тайное влечение к нам определили мой выбор, — сказал он; — нежность моя глубже, чем вы думаете. Я мог бы наслать на вас сон и насладиться счастьем помимо вашей воли; но эти грубые приемы претят мне, я хочу быть всем обязанным только вашему сердцу.

Увы! Возможно, я проявила излишнюю слабость по отношению к моему сильфу, но я так любила его!

— Как вы милы! — сказала я ему, — и как я была бы несчастна, если бы вы оказались только игрой воображения! Но правда ли, что… О, да вы осязаемы!

Вот, дорогая, как обстояло дело у нас с сильфом. Не знаю, до чего дошло бы мое самозабвение и его восторги, если бы горничная не вошла в спальню и не спугнула его. Он улетел; с тех пор я напрасно его призываю. Его равнодушие ко мне наводит на мысль, что он был не более чем прекрасным видением, игрой фантазии; какая жалость, не правда ли, что то был всего лишь сон?



ПРЕВО



ПРЕВО
ИСТОРИЯ ДОННЫ МАРИИ И ЮНОГО КНЯЗЯ ДЖУСТИНИАНИ{45}

Перевод Е. Гунста

Донна Мария, хоть и не происходила из особо знатного рода, все же была дворянкой. Родителей она лишилась в младенчестве, и ее несколько лет тщательно и любовно воспитывала еще довольно молодая тетка. Лет до четырнадцати-пятнадцати ничто не возмущало покоя и невинности девушки в уединенном поместье, где она безвыездно жила, пока любовь не явилась, чтобы отравить ее существование. Девушку увидел князь Джустиниани, и она показалась ему весьма привлекательной. Он стал бывать в их доме, очень привязался к ней. Этому способствовало и то обстоятельство, что одно из его имений находилось по соседству. Она привыкла принимать знаки его внимания и даже благоволить к нему еще прежде, чем узнала, что такое любовь.

{45} Комментарии: 2.45

Джустиниани. — Прево делает своего героя отпрыском известного итальянского рода, многие члены которого прославились в XV–XVII вв. как политические деятели, мыслители, поэты и т. д.

Девушка не знала намерений князя и думает ли он жениться на ней. Хотя она по знатности и не могла равняться с ним, все же она была дочерью благородных родителей, а приданое ее не было ничтожным. Но она отдавалась влечению сердца, не углубляясь в такие размышления, как вдруг жизнь ее омрачилась множеством весьма удивительных огорчений.

Тетка ее, жившая так же уединенно, как и она, с удовольствием принимала частые посещения князя. Отнюдь не помышляя о донне Марии, она своим обращением с князем поощряла его частые появления в их доме. Быть может, сначала ей просто приятно было его общество, но любезное обращение с нею князя, который в своих интересах считал полезным быть к ней внимательным, зародило у нее подозрение, что он питает к ней самой склонность, а внимание, уделяемое им ее племяннице, — лишь вуаль, прикрывающая его истинные чувства. Она была еще довольно молода, недурна собою и бесконечно самолюбива. Этого достаточно для того, чтобы женщина была уверена, что в нее можно влюбиться. Самолюбие и любовь крепко овладели ею и заняли почти одинаковое место и в уме ее, и в сердце.

Князь и донна Мария не сразу заметили про-

исходящее. А при первых догадках они не сочли это обстоятельство за нечто опасное для них. Наоборот, следствием его могла явиться лишь возможность чаще видеться друг с другом. Некоторое время они радовались этому, пока, немного досадуя на постоянное присутствие тетки, он, в согласии с возлюбленной, не решил обращаться с тетушкой сдержаннее, чтобы освободиться от ее назойливости. Это явилось началом их бедствий.

Тетя сразу почувствовала перемену и, представив себе, что племянница может быть ее соперницей, люто ее возненавидела. Однако она предусмотрительно постаралась первоначально ничего не менять в своем поведении. Боязнь обидеть князя побудила ее действовать с такой осторожностью, на какую не всегда способна ревность. Она решила выдать донну Марию за молодого человека, жившего по соседству и уже проявившего к ней склонность; она тайком подготовила все условия этого брака и сказала о нем племяннице лишь накануне свадьбы.

Донна Мария была проникнута глубоким уважением к своей тетушке, заменившей ей мать и отца, и потому оказалась в крайне затруднительном положении. К несчастью, князь в это время уехал на несколько дней в Рим. Она не могла уве-

домить его о своем горе, а тетя нарочно выбрала это время, чтобы обеспечить успех задуманного. Однако любовь нарушила ее расчеты и придала донне Марии достаточно силы для сопротивления. Девушка сослалась на свою крайнюю юность и на отвращение, которое питает она к браку. Ревность ее соперницы, для которой теперь стало все ясно, обернулась яростью. Первыми плодами ее стали брань и дурное обращение, и в неистовстве своего коварства недостойная тетя сама ввела ночью в спальню племянницы молодого человека, за которого она силою хотела ее выдать.

Цель ее заключалась в том, чтобы поставить племянницу в такое положение, при котором она вынуждена была бы вступить в этот брак, дабы приглушить шум, вызванный столь скандальным приключением; кроме того, она хотела опозорить ее в глазах князя. Она сама постаралась распустить слухи о происшествии, причем с коварной жестокостью умалчивала о том, что племяннице удалось счастливо ускользнуть из рук злодея. Когда князь возвратился из Рима, ему достаточно было поговорить с возлюбленной, чтобы убедиться в ее верности и невинности. Он продолжал видеться с нею, а тем временем ярость ее тети все разгоралась. Чтобы отомстить

за оскорбление, нанесенное девушке, он приказал своим людям избить молодого человека, который осмелился нарушить ночью ее покой. После этого происшествия она стала ему еще дороже. Он признался ей, что хочет на ней жениться, но не надеется получить согласия отца на этот брак, а потому у него нет иной возможности посвятить ей свою жизнь, как только вступить с нею в тайный брак до той поры, пока время или какая-либо другая перемена не принесут им обоим полной свободы. Она с радостью согласилась на это предложение. Они занялись подготовкой к осуществлению своих намерений, посвятив в дело лишь самых преданных друзей, и, казалось, ничто не угрожало им помешать.

Между тем их общая врагиня так зорко следила за их речами и поступками, что проникла в их тайну. Ненависть ее к племяннице теперь стала беспредельной, и она поклялась погубить ее — пусть даже придется погибнуть самой.

Прежде всего она склонила молодого человека, за которого хотела выдать племянницу, к тому, чтобы он беспрекословно исполнил все ее пожелания. А у него было теперь уже не один, а два повода слушаться ее: злоба на князя, который оскорбил его, и страсть к донне Марии,

которую он все еще надеялся покорить своим постоянством; ему, разумеется, не говорили, что намерены повредить его возлюбленной. Он позволил убедить себя в том, что заботятся лишь о его счастье и что добиться его можно только такими путями, какие ему предлагают. Как было ему усомниться в искренности женщины, оказавшей ему услугу, о которой было рассказано выше? Он стал исполнять все ее пожелания. Она посоветовала ему съездить в Рим в тот самый день, когда решила отвезти туда племянницу. Она действительно взяла ее с собою под предлогом, что хочет купить ей кое-какие украшения. Она повела ее к нескольким торговцам, чтобы протянуть время, а с наступлением темноты отправилась с нею домой в своей карете.

В глухой местности трое мужчин, поставленных ею на дороге, задержали экипаж; притворно угрожая путницам, они обобрали их, потом, схватив донну Марию, которая, как они сказали, являлась самой ценной частью добычей, грубо приказали тетке одной следовать дальше.

Можно себе представить, каковы были испуг и растерянность девушки, когда она оказалась в окружении троих воров, в ночной тьме, не рассчитывая даже на то, что ее крики — единствен-

ная ее надежда — будут кем-либо услышаны. Ей казалось, что утрата чести и жизни теперь неотвратимы. В то время как она страшилась самых ужасных крайностей, ей послышалось, будто к ним приближается какой-то всадник. Она подумала, что его привлекли ее вопли.

Но это был молодой человек, действовавший в согласии с ее теткой; он сделал вид, будто не узнает донну Марию, но, обращаясь к мужчинам, завладевшим ею, стал заклинать их обращаться с нею человечнее из уважения к ее полу. Он добавил, что если они занимаются грабежами, так он охотно отдаст им свой кошель при условии, что они отпустят барышню. В этом они решительно отказали. Она же, узнав его по голосу, бросилась ему в ноги, моля его о помощи, и несколько раз при том повторила, что она — донна Мария.

— Вы? — воскликнул он в притворном восторге. — О небо, как отблагодарить тебя за такую милость?

Затем, обращаясь к грабителям, сказал:

— Господа, вы будете щедро вознаграждены, если позволите мне спокойно переговорить с барышней.

Ему позволили подойти к ней.

Подтвердив ей, что честь ее, а быть может, и

жизнь погублены безвозвратно, он добавил:

— Встреча моя с вашими похитителями — чудо, проявленное небесами ради вашей чести и моей любви. Я пожертвую ради вас всем своим достоянием, но с условием, что вы станете моей женой, а чтобы устранить все мои сомнения, вы тут же подарите мне то, что эти три негодяя у вас, несомненно, похитили бы.

Как ни отвратительно должно было показаться это предложение донне Марии, колебаться ей нельзя было ни минуты. Она была уверена, что погибнет, если останется в руках грабителей, и надеялась, что ей легче будет защищаться от одного мужчины, чем от троих, а потому дала ему обещание, в котором воля ее не участвовала. Ее спаситель, казавшийся ей не менее отвратительным, чем трое других, стал при ней торговаться с ними, чтобы показать ей, какую важную услугу он ей оказывает, затем прогнал их, исполнив свою роль весьма искусно.

Она осталась с ним наедине. Он стал торопить ее исполнить обещанное; эта опасность была еще страшнее той, которой, казалось ей, она избежала. Действительно, только небо могло прийти ей на помощь, и небо позаботилось о ней.

Оказавшись беззащитной лицом к лицу с

влюбленным, который так мало оказывал ей уважения, донна Мария понимала, что ей не остается иного выбора, как только пожертвовать либо честью своей, либо жизнью. Как бы ни было для девушки отвратительно преступление, можно поручиться, что в таких случаях предпочтение будет отдано жизни — не потому, что добродетели не хватает сил для торжества, а потому, что силы подрываются страхом, который овладевает сердцем и являет уму весь ужас смерти. Таким образом, добродетель, не будучи слабее, просто перестает действовать, ибо голоса ее уже не слышно.

Не знаю, чем завершилась бы эта сцена, если бы донна Мария не отнеслась к смерти так же, как относятся к ней девушки ее возраста; но она уже столько испытала горестей, столько предвидела их в будущем, а главное, ей казалось, что, купив жизнь ценою преступления, она станет недостойной князя и лишится права на его любовь. Этих трех соображений было достаточно, чтобы жизнь стала ей ненавистной и чтобы восторжествовала добродетель.

Она успела обдумать все это, пока молодой человек из благопристойности дожидался, когда грабители уйдут. Едва они скрылись, он стал то-

ропить ее исполнить обещание, но, к удивлению его, она бросилась ему в ноги и стала трогательно просить лишить ее жизни, которая ей горше всех мук. Мольба эта, разумеется, сопровождалась слезами и всем тем, что в силах тронуть сердце, которое не может быть чуждо сочувствию, раз оно столь способно на любовь. Произведенное на юношу впечатление превозошло все ожидания. Он не был ни негодяем, ни варваром. Тетя донны Марии одурманила его своими советами. Он находился во власти неистовой любви, ревность терзала его, и неудивительно, что он без труда внял этим коварным советам.

Но любовь, способная последовательно на все крайности, сразу увела его от самых постыдных желаний к самым благородным, добродетельным чувствам. Он с трудом подбирал выражения, чтобы выразить свое раскаяние; готовность к преступлению, владевшая сердцем влюбленного и делавшая его таким дерзким, сразу исчезла, и теперь, он, казалось, трепетал перед девушкой даже больше, чем она перед ним.

Он попросил ее подняться с колен и от стыда, что заставил ее принять эту унизительную позу, сам опустился на колени. Он стал говорить о том, что, казалось ему, могло ее успокоить: о безгра-

ничности своей любви, об отчаянии, в которое повергло его ее презрение. Он молил облегчить его существование или лишить его жизни; сцена повторялась, только роли переменились. Донна Мария, не имевшая опыта в обращении с человеческими страстями, собственным умом доходила до того, в чем у нее не было навыка; ей казалось, что в данном случае нужно поощрить и тем самым обезвредить страсть.

— Ваши слова, — сказала она, — убеждают меня в вашей любви, и теперь я чувствительнее к ней, чем раньше была ко всем вашим стараниям.

Затем она попросила его как можно скорее доставить ее к тетушке и уверяла, что он будет доволен тем, как она его отблагодарит.

Бедный влюбленный поцеловал следы ее ног и был счастлив ее милостью, — он, так надеявшийся на милости иного рода! На радостях он почел долгом открыть своей возлюбленной, что огорчения, испытанные ею, он причинил ей по наущению ее тетушки, и рассказал, как они были задуманы. Тем самым он действительно услужил девушке, обнажив перед нею коварство соперницы и, следовательно, насторожив ее против новых козней этой фурии.

Донна Мария тотчас же решила воспользо-

ваться его признанием и искать убежища в каком-нибудь другом доме. Она сообщила юноше о своем намерении, и он вполне одобрил его, сообразив, что если он сам подыщет ей убежище, то получит возможность не только видеться с возлюбленной и оказывать ей услуги, но получит над нею и некоторую власть. Он предложил донне Марии дом своей родственницы, которая жила в соседней деревне, и донна Мария, думавшая только о грозившей ей опасности, охотно приняла предложение. Она села на лошадь позади него. Ночь стояла темная, и ехать было очень трудно. Некоторое время они ехали, по-видимому, вполне довольные друг другом. Но Мария была грустна, сознавая всю жестокость своей судьбы. Признание, услышанное ею, не позволяло ей вполне довериться своему проводнику. Раскаяние его казалось вполне искренним, но оно последовало за столь отвратительным намерением, что она не могла без ужаса думать о нем. Перемена в его поведении была не столько его собственной заслугой, сколько чудом, ниспосланным ей небом и пресекшим его преступные планы. Могла ли она быть уверенной, что они не возродятся? К тому же она предчувствовала, что в убежище, куда она согласилась поехать, свобода ее всегда будет

стеснена или будет ей обходиться весьма дорого.

В то время как она была погружена в эти размышления, послышался шум экипажа, приближавшегося по большой дороге в сопровождении нескольких всадников. Ее вожатый решил было свернуть в сторону, чтобы избежать этой встречи. Но она спокойно возразила ему, что с попутчиками им можно будет не опасаться дурной встречи. Карета уже почти нагнала их, а большое число лакеев и факелов свидетельствовало о том, что едет важная особа. Донна Мария сразу приняла весьма странное решение.

Она соскользнула с крупа лошади и, устремившись навстречу карете, протянула руки, умоляя кучера остановиться.

Зрелище это привлекло внимание всех путников. Кардинал К***, владелец кареты, возвращавшийся в Рим, хотя и была уже глубокая ночь, высунулся из окошка. Он был поражен, увидев хорошо одетую, прелестную девушку, которая бросилась перед ним на колени и стала умолять спасти ее жизнь и честь. Он, не колеблясь, предложил ей место в своей карете. Донна Мария приняла приглашение, вожатый же ее, или, вернее, ее похититель, боясь, что эта сцена обернется против него, поспешил скрыться, пустив лошадь

во весь опор.

Слезы и волнение порою только подчеркивают очарование женщины, поэтому донна Мария показалась кардиналу прелестнейшим существом. Он любезно осведомился у нее, в силу каких обстоятельств ему выпало счастье услужить ей. Вопрос этот, хоть она и предвидела его, все же поставил ее в затруднительное положение. Ей хотелось бы умолчать о своих отношениях с князем Джустиниани, но это было невозможно, поскольку приходилось говорить о ненависти ее тетки и о причинах ее невзгод.

Затрудняло донну Марию и другое, а именно то, что она не знала, куда просить кардинала отвезти ее. В Риме у нее не было знакомых, а возвратиться к тетке не могло ее заставить ничто в мире. Однако надо было как-то объясниться, и она решила рассказать, что в ту же ночь один молодой человек, желавший жениться на ней вопреки ее воле, вздумал похитить ее. Она молила кардинала подыскать ей убежище в каком-нибудь монастыре.

Прелату нетрудно было понять, что она о чем-то умалчивает. Но скромность девушки и благородство ее манер так красноречиво свидетельствовали в ее пользу, что он только повторил

свои уверения в готовности защитить ее. Его расположение к ней дошло до того, что, не имея возможности в столь неурочное время отвезти ее в какую-нибудь обитель и опасаясь кривотолков в случае, если она проведет остаток ночи в его дворце в Риме, он решил вернуться в свой загородный домик, находившийся не очень далеко.

Там к ней отнеслись весьма заботливо и почтительно.

Кардиналу надо было ехать на другой день в Рим, поэтому он оставил ее одну, попросив ее спокойно подождать его возвращения и пообещав исполнить ее желание и подыскать ей убежище в каком-нибудь монастыре.

Челяди кардинала было, конечно, очень любопытно узнать, кому хозяин оказал услугу. Домоуправитель кардинала, человек состоятельный и сластолюбивый, выслушав рассказ о приключении, случившемся в пути, оказался не столь легковерным, как сам кардинал. Он не мог представить себе, чтобы девушка благонравная, из хорошей семьи, могла, если сама того не желала, оказаться глубокой ночью в лесу. Дав на этом основании волю своему воображению, он пришел к самым жестоким подозрениям насчет ее добродетели и чести. К тому же он был очаро-

ван ее красотой. А потому, едва только кардинал направился в Рим, домоуправитель поспешил повидаться с ней в ее покоях, рассчитывая без труда воспользоваться ее милостями. Она встретила его ласково, что, как мы уже видели, было ей свойственно. Столь любезное обращение подкрепило надежды и желания домоуправителя. Выслушав рассказ о постигших ее невзгодах, причем с ним она была не менее сдержанна, чем с кардиналом, домоуправитель предложил ей убежище более приятное, чем монастырь, к которому она, как видно, стремилась, и тут он дал ей ясно понять, что лишь от нее самой зависит стать счастливой и богатой, приняв его предложения.

Донна Мария, все еще не догадываясь о его истинных намерениях, учтиво и просто поблагодарила его как действительно благородная девушка. Если после такого отказа он и стал лучшего мнения о ее добронравии, то все же из их разговора он понял, что она настолько неопытна, что ее нетрудно обмануть, и у него тут же зародился план, который удался ему лучше.

Он удалился, чтобы подготовить его осуществление. К вечеру он опять пришел к ней и, притворившись, будто получил от кардинала известие, доставленное ему гонцом, показал ей поддельное

письмо, в котором кардинал приказывал ему доставить девушку в определенный монастырь, и все это сопровождалось подробностями, придававшими обману полную достоверность. А в планы домоуправителя входило повезти ее совсем в другом направлении. Неподалеку отсюда у него был прелестный домик, служивший ему местом любовных утех. Он льстил себя надеждой сломить сопротивление донны Марии, когда она окажется в его власти; зная мягкий характер своего хозяина, он рассчитывал, что ему нетрудно будет убедить кардинала, будто она сама сбежала, боясь, что ее разоблачат как авантюристку.

И она оказалась жертвой этого негодяя. Напускное уважение, с каким он относился к ней, вполне могло отвлечь ее от подозрений, а беда этой прекрасной девушки как раз и заключалась в том, что она была, пожалуй, совсем чужда подозрительности. Она села вместе с ним в экипаж, который их уже ждал, но по дороге в Рим они следовали лишь столько, сколько требовалось, чтобы ввести ее в заблуждение.

Новый ее похититель достаточно владел собою, чтобы сдерживать себя в пути, зато, оказавшись дома, он сразу заговорил иначе, и донна Мария слишком поздно поняла, что напрасно стала

считать себя вне опасности. От горя и страха она опять разрыдалась. Слабое оружие против закоренелого негодяя, который помышлял лишь о собственном удовлетворении, не думая о том, доставит ли он и ей удовольствие! Мольбы, уговоры и все маленькие уловки, выручившие ее в предыдущую ночь, вызывали у этого животного только смех. Она уже жалела о том, что показалось ей страшнее смерти в минувшую ночь, ибо молодой влюбленный просил лишь о счастье стать ее супругом или получить право на это.

Храня донну Марию, небо сотворило второе чудо. В тот миг, когда старый сатир повел себя особенно настойчиво и непристойно, на пороге комнаты появляется князь Джустиниани, видит свою возлюбленную, по ее слезам и униженной позе понимает, чего она страшится и отчего страдает. Гнев овладевает им. Он пронзает домоуправителя шпагой, и тот падает без чувств.

— Любезная Мария! Вы ли это? Вы ли это? — восклицает он, неистово обнимая ее. — И по какому страшному попущению неба оказались вы во власти какого-то негодяя и подлеца?

И, не помня себя от ярости, он стал осыпать домоуправителя ударами и прикончил его, нанеся ему бесчисленные раны.

Столь счастливо освобожденная донна Мария согласилась вместе со своим князем отправиться в Рим. Он рассказал ей, какими путями воспользовалось небо, чтобы помочь ему напасть на ее след и какая поспешность требовалась от него самого, чтобы отыскать ее в то время, как столь необходимо было его присутствие.

Накануне он отправился в их дом, где узнал, что тетя вместе с донной Марией уехала в Рим, но в тот же день должна вернуться. Он с радостью стал ждать их возвращения, но тетя приехала одна, прикидываясь ошеломленной и расстроенной. Она поспешила рассказать ему 9 якобы случившемся с нею несчастье и о несчастье племянницы.

В порыве любви он немедленно вскочил на коня и в сопровождении нескольких слуг помчался на место, где якобы произошло нападение. Насчет местности его не обманули, но тетка понимала, что расстояние значительно и помощь придет слишком поздно. И действительно, воры ускользнули от него, а он, не зная, по какой дороге направиться, весь остаток ночи прорыскал по округе, руководствуясь не столько разумом, сколько яростью и отчаянием. В конце концов он разыскал юношу, который скрылся при появле-

нии кареты и которого любовь, как и его самого, опять привела на место происшествия в надежде найти донну Марию. От него князь узнал некоторые подробности, рассказанные нами, и после тщательных расспросов о малейших особенностях кареты, о ливреях челяди и о направлении, в котором ехал кардинал, ему удалось выяснить, кто был этот прелат. Остальное было уже проще, хоть о направлении, в каком поехал домоуправитель, он узнал не без труда. Во время этих поисков он загнал три-четыре лошади, но возлюбленная его, как мы видели, настолько нуждалась в его помощи, что им как бы руководило особое благоволение неба.

Влюбленным предстояло подумать о двух делах, почти одинаково важных. Как бы ни полагался князь на влияние своей семьи и на свое собственное, необходимо было сообщить правосудию о смерти домоуправителя. Выбор убежища для донны Марии был задачей не менее настоятельной, и любовь заставила его позаботиться об этом прежде всего.

Князь всегда относился с большим доверием и теплотой к жене одного богатого торговца, которая до замужества служила у его матери горничной. То была горожанка, не лишенная

некоторого лоска; женщина умная и привлекательная, она сохранила манеру держать себя, почерпнутую в годы юности в одном из самых блестящих римских семейств. К тому же она жила в хорошем доме и без труда могла предоставить донне Марии чистое и удобное помещение. Именно о ней и о ее доме и подумал князь. Он сам отвез туда свою возлюбленную. А так как по счастливой случайности самого торговца в это время не было дома, то решили из предосторожности не посвящать его в этот секрет как можно дольше. Жена его была в восторге оттого, что может услужить князю, которого все еще считала как бы своим хозяином; она так сердечно обещала служить беглянке, что влюбленные совсем успокоились.

Оставался только вопрос о том, как утихомирить правосудие насчет домоуправителя, а затем можно было надеяться на то, что любовь ради донны Марии совершит новое чудо, дабы счастливым браком сочетать ее с возлюбленным. Князь не мог не рассказать отцу о совершенном им жестоком поступке и о том, что ему необходима его влиятельная поддержка. Он не вдавался в подробности, а ограничился только тем, что было в интересах его любви, донна Мария же,

предчувствуя препятствия, которые грозили ей со стороны столь могущественной семьи, заклинала его соблюдать осторожность. Но хотя преследования правосудия были легко пресечены, все же, как и опасалась донна Мария, несколько любопытных проведали о сути приключения, и слухи о нем поползли по городу. Подробности событий дошли и до отца князя; старик содрогнулся, узнав о неистовой страсти сына и о том, что неравный брак грозит погубить его благосостояние.

Он не замедлил поделиться с сыном своими опасениями и планами. Влюбленный мог бы при помощи притворства и покорности хотя бы несколько успокоить родителя и не лишать его надежды. Но любовь в сердце искреннем и благородном не способна на утайку. Признавшись в своей любви, юноша лишь пытался оправдать ее, ссылаясь на редкостные достоинства возлюбленной, а такая настойчивость только распалила властный нрав отца. Гнев его дошел до того, что он обратился к папе с просьбой обнародовать послание о том, что всем священникам Папской области{46} под страхом отлучения от Церкви запрещается благословить брак его сына, если не

{46} Комментарии: 2.46

Папская область — теократическое государство в Центральной Италии со столицей в Риме. Существовало с 736 по 1870 г.

будет на то особого разрешения папы и его собственного. В то же время он причислил к свите сына еще несколько человек, дабы выведать местонахождение его возлюбленной, по-видимому, с намерением окончательно лишить их возможности встречаться. Молодой князь убедился, что за ним следят. Это вынудило его реже видеться с донной Марией, а при встречах взор его говорил о страхе и озабоченности, которые не могли не встревожить ласковую девушку. Она еще не знала об их общей беде, но сама стала допытываться и узнала мрачную истину.

Ей стало известно то, чего она постоянно опасалась и чего не могла избежать по своей безграничной доверчивости, а именно, что она находится в самом ужасном положении, в каком только может оказаться девушка ее возраста и ее происхождения, что она обречена всю жизнь нести позор добродетельной любви и кару за безупречное поведение, что после того неистовства, до которого дошел старый князь, ей остается только считать как свое счастье, так и свое доброе имя поруганными одновременно и что сама любовь и постоянство ее возлюбленного не могут утешить ее, не превратившись в истинное преступление. Она узнала, говорю я, часть этих

истин, а об остальном стала догадываться. Выдержать этого она не могла. Тут требовалась большая твердость, чем та, какую она могла почерпнуть в столь чувствительном сердце, каким она была наделена, и больше сил, чем те, на которые могло рассчитывать столь нежное существо. Донна Мария тяжело заболела. Некоторое время опасались за ее жизнь. Князь, смертельно огорченный грозившей ей опасностью, приводил ей все доводы, которые могли утешить ее или по крайней мере поддержать в ней надежду, но он не находил ничего убедительного, что мог бы обещать ей. Наконец, когда смерть ее казалась уже неизбежной из-за невозможности предоставить ей такое лекарство, ему пришла мысль уехать вместе с нею из Италии, и он надеялся, что это обещание вернет ее к жизни. Действительно, то было единственное средство спасти ее. Ее душу, уже готовую отлететь, удалось удержать предложением, которое оживляло все ее надежды, — особенно когда князь, обдумав план, сказал ей, что решил увезти ее в Англию и там обвенчаться с нею.

Она ни минуты не сомневалась в его искренности. Она была в нем уверена, как и он — в ней. Два нежных, благородных сердца легко познают друг друга!

Здоровье ее стало поправляться, и, как только она совсем выздоровела, они всецело занялись подготовкой к отъезду. Но жена торговца, пользовавшаяся их полным доверием, несколько охладила их пыл соображением, весьма их встревожившим.

Она обратила их внимание на то, что князю, за которым по распоряжению его отца тщательно следят, трудно будет обмануть своих стражей и скрыться и что если, к несчастью, его задержат вместе с возлюбленной, то для нее это будет непоправимой бедой. Совет ее сводился к тому, чтобы они уехали из Папской области один за другим и таким образом не попали бы по крайней мере в одну и ту же сеть. Она добавила, что если речь идет лишь о том, чтобы подыскать для донны Марии преданных проводников, то она предлагает в качестве таковых своих родителей, людей достаточно рассудительных, чтобы князь мог довериться им, и столь готовых услужить ему, что они согласятся на все, лишь бы ему угодить.

Мать предполагалось выдавать за кормилицу донны Марии. Этот новый план показался влюбленным самым надежным. Они легко согласились на недолгую разлуку, которая должна была предшествовать их счастью. Донна Мария

уехала из Рима и направилась в Чивита-Векию,{47} куда вскоре и прибыла. Оттуда она на английском корабле отплыла в Лондон и наконец достигла Темзы без иных событий, кроме смерти доброго старика, сопровождавшего ее.

Когда она оказалась в порту, у нее не оставалось иного общества, кроме старухи, которую выдавали за ее кормилицу.

Капитан корабля, относившийся к ним в пути весьма учтиво, предложил им свои услуги. Они, поблагодарив, отказались от них и, хотя и не знали ни слова по-английски, поспешили направиться в город. Тщетно капитан кричал им: «Куда вы? Вас никто не поймет, позвольте мне послужить вам проводником». А они только еще больше заторопились, словно боялись чего-то со стороны человека, которому было известно, откуда они прибыли, и который мог так или иначе знать их.

Случаю угодно было, чтобы лакей одного знатного англичанина, побывавший в Италии, оказался в порту в то время, когда капитан громко обращался к ним. Он понял, что приключение это не из заурядных, и, уже пораженный красо-

---

{47} Комментарии: 2.47

Чивита-Веккия — небольшой город и порт на Средиземном море, поблизости от Рима.

той девушки, решил скромно последовать вслед за нею. Когда они дошли до Тауэрхилла,{48} он заметил, что она затрудняется, по какой улице ей направиться далее, и понял, что она будет рада, если ей немного помогут. Он сделал вид, будто по внешности ее догадался, что она итальянка, и обратился к ней на ее родном языке так учтиво, что она ответила ему. Она приняла его предложение проводить ее. А проводить ее надо было не к родственникам или друзьям, ибо она никого не знала в Лондоне, ей просто нужна была квартира, и проводник без труда подыскал ей подходящую. Он поместил ее у своего двоюродного брата, местного обойщика. Он заботился о ней с большим рвением, в котором немалую роль играла его увлеченность девушкой. Вечером он поужинал с нею, затем, поручив ее заботам родственника, удалился, весьма довольный этим приключением.

Он был так весел, что господин его заметил его приподнятое настроение. Раздевая хозяина, он рассказал ему о приключении и не преминул описать красоту юной итальянки. Болтливому лакею пришлось тут же сказать, где он оставил

{48} Комментарии: 2.48

Тауэрхилл — место в Лондоне (первоначально холм), где расположена старинная крепость и тюрьма Тауэр.

иностранку, а когда он стал отнекиваться, хозяин его разгневался. За время службы он накопил немного денег, поэтому решил сразу уволиться. Но на другой день молодой лорд, еще пуще распалившись, приказал разузнать, куда он скрылся. А лакей нашел убежище опять-таки в доме обойщика. Милорд *** приказал немедленно отвезти себя туда. Ему сказали, что лакей находится в комнате итальянки; лорд порывисто вошел к ней и сразу же упрекнул барышню за то, что она сдружилась с лакеем. От неожиданности донна Мария так напугалась, что подумала — не стало ли известно, кто она такая. Она бросилась лорду в ноги, моля его сжалиться над нею. Хоть он и очень удивился, увидя ее в таком состоянии, у него все же хватило сообразительности, чтобы отчасти уловить истину, и он ловко воспользовался заблуждением девушки, предложив ей сесть в его карету и довериться его покровительству. У лорда не было иного намерения, как только увезти ее в свой особняк, где он рассчитывал объясниться с нею.

В то самое время, когда он подъехал к своему особняку, туда прибыла и карета миледи, его матери.

Миледи увидела возле сына незнакомую девушку. Она пожелала узнать, кто это такая.

Смущение сына и лакеев позабавило ее. Наконец, настойчиво расспросив их, она узнала суть приключения. К счастью, она владела итальянским языком. Из любопытства она заговорила с юной иностранкой, которую все же еще принимала за девушку легкого поведения. Но, поговорив с нею несколько минут, она заметила у нее такой ум, такую воспитанность и прелесть, такую скромность и непорочность, что совсем изменила о ней мнение. Все ее старания узнать у девушки тайну ее происхождения и ее невзгод оказались тщетными, что не помешало, однако, миледи немедленно принять меры к тому, чтобы поместить ее в порядочное убежище в ожидании, пока не выяснятся все обстоятельства ее судьбы. И действительно, ее устроили вместе с ее преданной компаньонкой.

Утрата проводника, умершего в дороге, обернулась для донны Марии в Лондоне тяжелыми последствиями. Старик обещал князю немедленно сообщить ему об их прибытии в Лондон, а также о том, в каком районе города они остановились. Князь собирался выехать из Италии, как только получит письмо, и можно себе представить, с каким нетерпением ждал он этой вести. Между тем затруднительное положение,

в котором оказались эти две робкие женщины, и их первые невзгоды не дали им возможности написать в Рим так скоро, как рассчитывал князь. Он уже получил из Чивита-Веккии известие о том, что корабль благополучно достиг Англии и что капитан сам сообщил об этом родственникам пассажиров. И князь никак не мог понять, чем же объясняется задержка письма от возлюбленной. Его тревога вскоре сравнялась с его любовью, причем давала себя знать и присущая ему горячность.

Истина требует добавить здесь несколько черточек к обрисованному нами нраву молодого князя. Его воспитала бабушка, для которой он был самым драгоценным существом, и на характере его сказались ее слепая любовь и крайняя снисходительность. Подверженный бурным страстям, он, едва возмужав и почувствовав свободу, дал им волю. Его нельзя было упрекнуть в каких-либо преступлениях, хотя распутство, совместимое с добрым нравом, прославило его на весь Рим, и он так привык жить, пользуясь полной свободой, что уже не оставалось никакой надежды на то, что он переменится. Но любовь к донне Марии, переполнявшая его сердце, положила конец его распутству. Невинность и скромность этой милой

девушки покоряли его не меньше, чем ее красота, а когда человек ценит такого рода достоинства, то рано или поздно его прекрасное чувство скажется в его добронравии и благоразумии. Он стал совсем другим человеком. Но слухи об его исправлении еще не разошлись столь широко, как рассказы об его распущенности, а поскольку речь шла не о покаянии какого-нибудь капуцина, то с первого взгляда и нельзя было заметить эту перемену.

Огорченный отсутствием вестей от своей возлюбленной, он большую часть дня проводил у жены торговца, которую он посвятил в свои дела; он рассказывал ей о своих опасениях, выслушивал ее советы. Зачастую дня не хватало для столь серьезных обсуждений и по ночам он продолжал обдумывать, как ему поступить, а так как любовь, по выражению графа де Бюсси,{49} постоянно все начинает сызнова, то и дни, и ночи казались ему слишком короткими. Столь частые посещения и столь долгие беседы, да еще прежние слухи о князе, внушавшие страх всем римским мужьям, породили у торговца множество подозрений.

{49} Комментарии: 2.49

…по выражению графа де Бюсси… — Речь идет о французском писателе-мемуаристе и острослове Роже де Бюсси-Рабютене (1618–1693), авторе своеобразного сочинения «Любовная история галлов».

Этот достойный человек был ревнив не более прочих римских мужей, однако достаточно для того, чтобы встревожиться. Он стал внимательнее следить за поведением жены, и многое, что другому могло бы показаться только подозрительным, в его глазах превращалось в истину, оскорбительную для его чести.

Однако, как уверяли, нрава он был слишком застенчивого, чтобы позволить себе какую-нибудь резкость. Некоторое время он таил обиду, зародившуюся в его сердце, и не решался даже намекнуть об этом своей жене. Его уважение к ней доходило до слабоволия. Он считал великой для себя честью, что женился на девушке, связанной с одним из знатнейших в Риме домов, где она долго жила и откуда получила значительное приданое. Он боялся ее. Но, к несчастью, он встретился с одним из своих приятелей, у которого имелись более обоснованные жалобы на князя и который давно уже искал случая отомстить за себя; ненависть к князю понемногу побудила их открыться друг другу, намерения у них оказались одни и те же, а винные пары привели к тому, что они поклялись объединиться и сообща отомстить. Быть может, у них не хватило бы мужества для осуществления их плана, если бы они тайно не

познакомились с двумя братьями домоуправителя, заколотого князем. Они поделились с братьями своим намерением прикончить князя, а это означало обеспечить себя сообщниками. День, час, место и орудие убийства — все было обусловлено заранее соответственно их общей ненависти.

Какие-либо меры предосторожности были излишни, ибо им не стоило труда осуществить задуманное. Князь ничего не подозревал, потому что ему не в чем было упрекнуть себя. Он постоянно приходил к жене торговца, и сопровождал его всегда только один лакей. Князь удалялся с нею в комнату, которую раньше занимала донна Мария. Продолжительность их бесед зависела от его умонастроения и от умения собеседницы умерить его тревогу. Иногда он поговаривал о том, чтобы больше не дожидаться и уехать из Рима, она же всячески отговаривала его от этого, а так как князь бывал более взволнован, чем его советчица, то ревнивец, подслушивавший за дверью, мог толковать его слова только в дурном смысле.

Он был убежден, что речь идет о похищении его супруги, и мысль эта доводила его до бешенства. Он даже решил ускорить осуществление заговора на несколько дней.

Излишне было бы распространяться об обстоятельствах этой сцены. Молодой князь пал под ударами четверых подлецов, которые убили его, предварительно явив перед ним все ужасы смерти. Наперсницу его постигла та же участь. Напрасно призывала она небо в свидетели своей невиновности. Речи и мольбы оказались столь же тщетными, как и сопротивление. Между тем из показаний мужа стало известно, что, после того как они зверски истерзали ее, торговец, уже полуубежденный клятвами жены, а главное — слыша, как князь беспрестанно нежно повторяет имя донны Марии, решил сохранить обоим жизнь и предложил это своим сообщникам. Но уговорить этих варваров ему не удалось. У них были иные основания ненавидеть князя. Они, наоборот, торопились довести дело до конца, потому что боялись, как бы их жертва не ускользнула из их рук, а чтобы успокоить угрызения совести торговца, они напомнили ему о том, что, поскольку дело зашло уже так далеко, нельзя не довести его до конца, потому что иначе им грозит неминуемая гибель.

В то время как эта зверская расправа творилась в Риме, донна Мария довольно спокойно жила в убежище, которое подыскала ей миледи ***. Жи-

лось ей там привольно в обществе ее спутницы. Молодой лорд продолжал навещать ее. Каковы бы ни были его намерения насчет девушки, когда он решил отвезти ее к себе домой, он не позволил себе никакого оскорбительного предложения, а она по своему простодушию принимала его любезность и услужливость за благородное великодушие по отношению к чужестранке. Ей не приходилось менять мнение на этот счет. Но слухи о ее приключении вскоре распространились по городу, и ей пришлось снова прибегнуть к услугам молодого лорда и при таких условиях, что ему легче стало поддаться соблазну.

Как только бесчисленные праздные юноши, которыми кишит Лондон, узнали из газет о приезде прекрасной итальянки и о ее приключениях, они стали всячески стараться увидеть ее. Об ее очаровании отзывались с восторгом, да красота ее и в самом деле вполне этого заслуживала. Она так прославилась, что и при дворе стали говорить о ней не меньше, чем в городе. Беззастенчивость в любовных делах обычна среди придворных, а потому донна Мария сразу же стала жертвой их назойливости. Мы умолчим о нескольких историях, которые излишне затянули бы наш рассказ, и остановимся лишь на следующей.

Один из главных королевских телохранителей увидел ее и влюбился. То был пылкий молодой человек; он страстно полюбил ее. Между тем никому не удавалось часто видеться с нею. Она жила в таком глухом уединении, что многие любопытные, которым хотелось хотя бы только взглянуть на нее, решили прибегнуть к старинному средству — перерядиться и проникнуть к ней под разными личинами. У сапожников, портных, всяких мастеров, которые могли бы понадобиться ей, стали просить позволения воспользоваться их именами; одним обещали награду, других запугивали угрозами. Молодые люди переряжались в женское платье и таким путем порою отлично достигали цели.

Офицер, о котором я говорю, поначалу оказался одним из самых удачливых. Он переоделся белошвейкой и взял с собою соответствующие принадлежности. Лицо у него было приятное, и это способствовало успеху затеи. Он очень понравился донне Марии; кроме того, она была вполне удовлетворена несколькими предметами, купленными у него, притом — как легко себе представить — совсем дешево; поэтому она попросила его приносить ей все английские новинки. Несколько встреч, для которых всегда

находился предлог, настолько воспламенили его, что, будучи человеком самостоятельным и несметно богатым, он решил осчастливить чужестранку и самого себя, открыто предложив ей свою руку и сердце. Он не скрыл этого и от своих друзей. Пытавшиеся отговаривать его встретили с его стороны непоколебимую решимость. Он ссылался на книгу, которая была встречена весьма благосклонно как в Лондоне, так и в Париже. То были «Записки знатного человека».{50}

«Разве эта чужестранка будет первой женщиной, облагодетельствованной своим поклонником? Разве мы не наблюдаем этого изо дня в день? К тому же разве между этой прекрасной девушкой и мною зияет столь глубокая пропасть? Если у нее и нет состояния, все говорит о том, что она благородного происхождения, и неужели чары юности и красоты — пустяк? Будь она столь же богата, как я, у нее оказалось бы сравнительно со мною слишком много преимуществ. Должен же я как-то расплатиться за счастье, быть любимым ею? Поверьте, — добавлял он тоном донны Эли-

---

{50} Комментарии: 2.50

«Записки знатного человека». — Здесь Прево ссылается на свое собственное произведение.

зы,{51} — богатый влюбленный особенно радуется своему богатству, если оно способствует ему стать обладателем прекрасной женщины, а если он человек порядочный, то должен сознавать, что то, что *он* дает, меньше того, что *он* получает».

Ни у кого не было достаточной охоты уговаривать его изменить свое решение, и ему перестали возражать. Он не замедлил просить у донны Марии повидаться с нею, однако не был уверен в благосклонном ответе, а потому избрал для исполнения этого важного поручения одного почтенного священника, который пользовался таким уважением, что ему не могли отказать в приеме; но принять самого влюбленного учтиво отказались, а предложение со стороны человека, которого никогда не видели, было принято за шутку. Тщетно заставил он священника еще раз отправиться к красавице и повторить предложение. Посланцу ответили все в том же духе, и эти шутливые ответы причиняли влюбленному больше горя и больше выводили его из терпения, чем если бы ему отказали напрямик, ибо он не знал причин равнодушия донны Марии и объяснял его только неверием в его искренность.

{51} Комментарии: 2.51

…тоном донны Элизы… — Возможно, имеется в виду какой-то персонаж как раз этого многотомного сочинения Прево.

Все это очень забавляло людей, которых он посвятил в свои намерения. Его спрашивали, как он может жаловаться на девушку, которой неизвестны его достоинства, и говорили, что он, следовательно, может негодовать только на своего посланца. И действительно, величественная внешность этого человека могла повредить делу, ибо не соответствовала характеру данного ему поручения, а потому молодой офицер, уже ни с кем не советуясь, решил снова предстать перед донной Марией в облике белошвейки, самому объясниться в своих чувствах и таким образом загладить нанесенную ей обиду. Его так же легко, как и прежде, впустили в дом. Но по непредвиденному стечению обстоятельств у нее как раз в это время находился милорд ***. Этот молодой аристократ, первый, с кем донна Мария познакомилась в Лондоне, оказал ей немало услуг и был достоин особого к себе отношения. Вдобавок она была немало обязана и его матери. Когда мнимая белошвейка вошла, донна Мария и лорд непринужденно беседовали. Донна Мария, никак не ожидавшая, что под девичьим нарядом скрывается гвардейский офицер, нежно обняла вошедшую, ибо внешность ее очень ей нравилась. Офицер был заметно смущен ее ласками.

Милорд *** сразу же узнал человека, с которым виделся изо дня в день, и от неожиданности не мог удержаться, чтобы не назвать его своим другом и не поцеловать его, посмеявшись над таким маскарадом.

Офицер был без оружия. Стыд и ревность сразу толкнули бы его на кровопролитие, не сдержи он своего порыва. В руках у него оказался только веер, и он ограничился тем, что ударил им соперника по лицу, присовокупив к этому несколько оскорбительных слов, и молодой лорд сразу понял, чем вызван столь неистовый гнев. Поведение лорда лучше всего доказывало, сколь непредосудительны были его встречи с донной Марией. Некоторые злые языки не преминули истолковать это в дурном смысле, зато все благоразумные люди одобрили его поведение. Он только посмеялся над запальчивостью своего друга и, называя его «мисс»,[4] пожалел, что прекрасная девушка относится к нему столь сурово.

Сначала на этом ссора и кончилась. Офицер удалился в крайнем смущении, так и не объяснившись с возлюбленной. Но досада вкупе с любовью внушила ему ночью мысль, которая

---

[4] Примечания: 1.4
Так называют англичане девушек. *(Прим. автора.)*

наверняка погубила бы его, если бы его знатность и влияние не приостановили обычных действий правосудия. Дом, служивший донне Марии убежищем, выходил задним фасадом к Сент-Джеймскому парку. При поддержке нескольких слуг офицер перелез через стенку и, проникнув в комнаты донны Марии, уже готов был силою овладеть тем, чего не мог добиться при помощи хитрости. Он намеревался похитить свою возлюбленную и жениться на ней, не считаясь с ее волей, если ему не удастся уговорить ее. Но небо оберегало невинность. Хозяин дома проснулся от шума и с перепугу позвал на помощь. Сторожа, охраняющие парк, вызвали гвардейцев. Офицер был тотчас же схвачен, а так как вокруг королевского дворца царит строжайший порядок, то ни громкое имя, ни чин не избавили офицера от весьма строгого заключения. Он вышел из темницы много времени спустя, и прохлада, царившая в камере, понемногу охладила его пыл.

Донна Мария, испуганная поднявшимся переполохом, тотчас же попросила хозяина дома проводить ее к миледи ***. Она относилась к этой даме как к родной матери, а дом ее считала верным убежищем. Между тем новая опасность, грозившая ей, значительно превосходила ту,

которой ей удалось избежать. Миледи за два дня до того уехала в имение, и сын ее воспользовался этим, чтобы повеселиться с друзьями. Когда доложили о приезде донны Марии, молодежь сидела за десертом; другими словами, веселье было в самом разгаре, и многие находились под винными парами.

Разговору только и было что о ней. Им с трудом верилось, что она приехала, пришлось несколько раз повторить им это. Они замерли от изумления и радости. Наконец они бросились встречать ее, ибо каждый надеялся воспользоваться этим удивительным приключением. Она же была крайне удивлена, не видя миледи и оказавшись в таком разгульном обществе. Уехать не было никакой возможности. Куда деваться без провожатого среди ночи? Она оказалась как бы жертвой этой веселой ватаги. Смущение ее только оттеняло ее прелесть. Мы отмечаем это обстоятельство лишь для того, чтобы подчеркнуть могущество непорочности и добронравия, которые, по-видимому, сильнее красоты, раз они могут сдерживать бурные желания, порождаемые красотой. Несмотря на предложения десяти — двенадцати юношей, опьяненных любовью и вином, к донне Марии отнеслись почтительно, как к богине. Она прове-

ла с ними часть ночи, и ее не обидели ни речами, ни поведением.

Юноши расстались с нею, все так же боготворя ее. За этим знаменитым ужином последовали события, о которых пришлось бы долго рассказывать. Что касается молодого лорда, то он, по-прежнему почтительный и готовый услужить, предложил прекрасной Марии располагать его домом и старался только угодить ей. Однако правила приличия побудили его на другой же день подыскать ей новое убежище. Его рвение убеждало окружающих и даже его мать, что он без памяти увлечен ею. И действительно, его заботы казались проявлениями любви, а люди, судящие только по видимости, могли так же толковать и ее признательность. Однако молодых людей связывали иные узы. Нежная дружба — единственное чувство, на которое оба они в то время были способны, — привела к тому, что они взаимно поделились своими самыми заветными мечтами. Кумир молодого лорда находился в Италии. Юноша обретал утешение в беседах с милой девушкой, напоминавшей ему черты его возлюбленной. Мысли же донны Марии были всецело заняты князем, однако общество ласкового, скромного молодого человека, которому

она поведала о своих горестях, умеряло ее печаль и радовало ее. Так, по крайней мере, пока не выяснились истинные чувства донны Марии и молодого лорда, объясняли окружающие радость, которую они находили в беседах друг с другом.

Донна Мария написала в Рим, как только явилась к тому возможность. Хотя она и скрыла от лорда имя своего возлюбленного, она все же призналась, что, надеется увидеть его в Лондоне. Он вполне понимал ее нетерпение и, в свою очередь, рассказывал ей обо всем, что узнавал из газет об Италии. У англичан принято подробно сообщать в газетах обо всем, что случилось в других странах, и лорд, не зная определенно, что именно может прийтись донне Марии по вкусу, решил принести ей несколько статей. Так от избытка усердия и дружеского чувства он принес несчастной влюбленной сведения, которые только врагу впору бы было сообщить ей. Прочитав, как и все в Лондоне, прискорбное сообщение о смерти князя Джустиниани, он поспешил к ней с этой вестью. Смущение ее при имени князя должно бы предупредить его о том, какое он собирается причинить ей горе. Но когда человек действует чистосердечно, он забывает о предосторожности. Лорд никак не предполагал, что между донной

Марией и князем Джустиниани может быть какая-либо связь, а потому, нанеся ей смертельный удар сообщением о гибели князя, он недоумевал, почему она без сознания упала у его ног.

Действительно, несчастная Мария была так потрясена этой вестью, что даже не могла криком выразить свою скорбь. Долгое время она находилась между жизнью и смертью. Лорд, узнав правду от кормилицы, был в таком отчаянии от своей неосторожности, что хотел было тут же наложить на себя руки. Но, подумав, что еще может быть полезен своей удрученной подруге, он решил служить ей как в Англии, так и в Италии. Когда она очнулась, единственным ее желанием было немедленно отправиться в Рим. У нее еще оставались какие-то проблески надежды. Не всегда можно доверять английской газете. Правдоподобно ли, чтобы знатный человек был так подло убит? Если она действительно лишилась его, то она не хотела жить, но решила отомстить, а потом умереть на его могиле.

Лорд, сам глубоко взволнованный, не мог не сочувствовать неистовству любящей девушки; он предложил сопровождать ее в Рим и служить ей защитой от всех врагов. Они так торопились, что взяли с собою лишь самое необходимое в дороге;

их сопровождали только лакей и кормилица. В Риме их появление должно было бы кое-кого сильно встревожить, но до стен города они не доехали. Когда слух об их отъезде распространился, за ними погнались и задержали их в гавани Рай,{52} а оттуда насильно вернули в Лондон.

Последствия этого побега оказались менее пагубными, чем можно было ожидать, судя по отчаянию донны Марии. Миледи ***, распорядившаяся о погоне за сыном, оказалась не столь разгневанной; узнав, чем вызван побег сына, она даже похвалила его за великодушие. Однако она считала, что путешествие в Италию не так уж необходимо ни донне Марии, ни ее сыну, и поэтому ласковым обращением старалась отвлечь их от этой мысли и все время держала обоих возле себя. Сначала все средства, применяемые для смягчения страданий, были бессильны помочь донне Марии, но со временем они стали оказывать обычное действие. Она продолжала жить в Лондоне, пользуясь все тем же покровительством. По ее грустному взгляду можно было опасаться, что сердце ее будет еще долго находиться во власти любви и печали. Но когда стало

{52} Комментарии: 2.52

Рай — торговый город и порт в Юго-Восточной Англии (Восточный Сассекс); расположен на реке Ротер близ ее впадения в Ла-Манш.

известно, что любовь к ней гвардейского офицера разгорелась с новой силой, появилась надежда, что она примет его предложение и тогда заживут все раны, нанесенные ее сердцу.



ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ МУСУЛЬМАНКИ

Перевод Е. Гунста

Молодой человек из Богемии, по имени Вердиниц, уже несколько лет томился в рабстве, и единственной его отрадой было то, что он нравился дочери своего хозяина, сердце которой завоевал без особого труда. Жили они в болгарском городе Храдише.{53} Утешаясь своей любовью и надеждой, что со временем ему удастся уговорить возлюбленную бежать вместе с ним, Вердиниц всячески старался заслужить доверие хозяина. Он знал, что главной чертой характера старика является скупость, и поэтому особенно старался показать, как он бережлив. Ему это удалось до такой степени, что турок, предварительно всячески испытав его, решил, что раб столь же предан ему,

{53} Комментарии: 2.53

Храдиш. — Видимо, речь идет об одном из болгарских или югославских городов, носящих название Градец (в настоящее время существует по меньшей мере шесть таких городов, три в Болгарии и три в Югославии). Не исключено также, что Прево имеет в виду и город Градиште (с таким названием известны три болгарских города и один югославский). В описываемый у Прево период вся та территория, на которой находятся указанные города, была под турецким владычеством.

сколь и благонравен, и однажды, беседуя с ним с глазу на глаз, дал ему такое доказательство своего доверия, что оно покажется весьма странным для скупца.

— Я столь высокого мнения о твоей честности, — сказал он ему, — какого у меня нет ни об одном турке. К тому же здесь у тебя нет ни друзей, ни родных, которым ты мог бы желать большего добра, чем мне. Эти два соображения побуждают меня выбрать тебя для исполнения дела, от которого всецело зависит мой покой. Скажи мне откровенно, не заблуждаюсь ли я насчет твоей честности и усердия?

Ответ Вердиница только укрепил скупца в его мнении. Старик тут же расцеловал его, обращаясь к нему с самыми ласковыми словами, потом взял его за руку и, несколько раз оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто их не видит, повел его через несколько комнат в кладовую, Находившуюся в самой глубине дома, и внушительным ключом отпер дверь.

Комната была темная, а единственное окно в ней было забрано железной решеткой, так что она напоминала тюрьму.

— Здесь, — пояснил скупец, — я держу под замком мое золото и серебро. У меня великое

множество сокровищ, это плоды моих трудов и мои сбережения.

И, продолжая открывать все новые и новые шкафы, он показывал Вердиницу бесчисленные сокровища.

— Сказать ли тебе, чего недостает для моего счастья? Меня терзает боязнь лишиться всего этого. Мне нужен человек, на которого я мог бы возложить охрану моих сокровищ, человек, который беспрестанно следил бы за их сохранностью, предупреждал бы меня о малейшем подозрительном шуме — словом, человек, преданность которого избавила бы меня от постоянной тревоги, не дающей мне покоя. Можешь ли ты обещать мне такую услугу? Будь уверен, что тебе ни в чем не придется нуждаться и что, кроме моих денег, сам ты станешь для меня самым дорогим, что есть у меня на свете.

Вердиниц, не подозревая того, к чему обязывает его обещание, которое он дает, ни минуты не колеблясь, связал себя самыми страшными клятвами. Старик был очень доволен, снова посулил вознаградить его, как он того и не ожидает, и, тщательно заперев все шкафы, еще раз обнял своего раба, наказал ему хранить тайну и быть неизменно усердным, затем вышел из комнаты,

тотчас же захлопнув за собою дверь.

Такой неожиданный поступок, пожалуй, самый странный из всех когда-либо порожденных скупостью, мог бы оказаться для Вердиница роковым, если бы не свойственная ему твердость духа, ибо, поняв, как жестоко его обманули, он на первых порах впал в такое отчаяние, что готов был размозжить себе голову об дверь, которую он не в силах был отворить.

Разговор их состоялся в такое время дня, когда Вердиниц уже давным-давно вышел из-за стола, хозяин же стал выжидать подходящую минуту, чтобы незамеченным отнести ему еду, вследствие чего несчастный чуть не умер от голода. Любовь, ужас перед одиночеством, страх, что его ждет что-то еще худшее, от чего он не может защитить себя, — все это вкупе угнетало его.

Правда, через два дня хозяин пришел к нему и принес кушанья, которые, однако, были переданы ему с великими предосторожностями через приоткрытую дверь. Вместе с тем ему вновь напомнили о бдительности, осторожности, терпении и многих других добродетелях, которые и без того были ему свойственны. Он мог бы воспользоваться случаем, чтобы возразить против насилия, на которое никогда не давал согласия.

Но отлично понимал, что теперь возражать уже поздно и что даже жаловаться нельзя, ибо это встревожит скупца и, следовательно, может вызвать его месть. Поэтому он решил дожидаться освобождения по милости неба или в силу какого-либо обстоятельства, которое может со временем обнаружиться.

И действительно, после двухнедельных, страданий он услышал какой-то шорох в окне; обратив взор в сторону этой неожиданной помощи, он заметил свет фонарика, который кто-то старался просунуть сквозь решетку как бы для того, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь в кладовой. Хотя и трудно было услышать, что пытаются ему сказать, он понял, что кто-то хочет ему помочь, а подойдя к решетке, он с великой радостью и с не меньшим удивлением узнал свою возлюбленную, которая стояла на ступеньке лестницы и упорно старалась разглядеть его.

Ей легко было говорить, и он слышал ее, но решетка разделяла их. Пломби — так звали девушку — поведала возлюбленному о тревоге, в которую ее повергло его исчезновение. Сначала она оказалась во власти множества мрачных подозрений, причем ей легче удавалось придумывать различные поводы для беспокойства,

чем находить основания для успокоения. Поэтому она несколько дней провела в смертельной тревоге, пока наконец отец, за поступками которого она внимательно следила, не направился с великими предосторожностями к кладовой, прихватив несколько кушаний, которыми он тайком запасся. Тут она поняла, что по тем или иным причинам он держит Вердиница взаперти.

Ей понадобилась помощь другого раба, чтобы раздобыть лестницу и некоторые необходимые приспособления. Раб этот был при ней и, хотя она и не вполне была в нем уверена, она предпочла пойти на риск, чем упустить возможность разгадать эту тайну.

Вердиниц, со своей стороны, рассказал нежной Пломби обо всех муках, которые он претерпел, и как с ним обошлись. На радостях, что они вновь увиделись, они прониклись надеждой, что любовь завершит их счастье и так или иначе они одолеют решетку. Несколько ночей только этим они и занимались, но, когда работа уже сильно подвинулась и узник ждал, что его возлюбленная вот-вот завершит ее, он был крайне удивлен, увидав на лестнице вместо нее раба, услугами коего она пользовалась.

От раба Вердиниц узнал, что возлюбленную его

в тот самый день выдали замуж по турецкому обычаю, то есть не предупредив ее, и отправили к ее мужу, губернатору Храдиша. Покидая отчий дом, она велела передать Вердиницу, что она в смертельной тоске от необходимости уступить насилию, что она по-прежнему любит его, что она долго будет отказывать губернатору в супружеских правах и что она заклинает любимого поскорее вырваться с помощью раба из темницы, чтобы помочь и ей обрести свободу, что теперь это будет, пожалуй, легче сделать, чем в доме ее отца, и что, во всяком случае, сейчас это еще важнее и неотложнее.

Рассказа раба было достаточно, чтобы побудить Вердиница напрячь все силы. Решетка недолго сопротивлялась усилиям, внушенным любовью и ревностью. Но когда узник оказался свободным и готов был выйти на волю, у него зародилось сомнение. Он находился среди несметного скопища золота и серебра, которое, правда, ему не принадлежало, но часть которого должна была перейти к его возлюбленной по праву наследства. Она поручила ему освободить ее, а без денег в таких предприятиях трудно преуспеть. Словом, старается он ради нее; так разве непозволительно ему захватить с собою некоторую сумму в возме-

щение того, от чего ей придется отказаться, когда она бежит вместе с ним?

Эти мысли долго волновали его. Но взломать замок было не легче, чем взломать решетку. Нужные инструменты находились в его руках. Однако врожденное благородство оказалось единственным законом, которому он подчинился. Что бы ни готовили ему судьба и любовь, он хотел заслужить их благоволение, руководствуясь честью и добродетелью, а потому решил поскорее спуститься вниз, чтобы выйти из дома еще до рассвета, и приказал рабу, который останется после его исчезновения, так тщательно поставить на место решетку и спрятать лестницу, чтобы по крайней мере побег его обнаружили бы не сразу.

К несчастью, раб не был столь же щепетилен. Он помнил слухи, неизбежно возникающие в доме скупца, и понял, что помещение, в котором он находится, служит кладовой сокровищ его хозяина. Оставшись один, он не мог удержаться от соблазна обогатиться путем кражи, в которой его никак нельзя будет обвинить. Он вскрыл несколько шкафов. Действуй он попроворнее, его, пожалуй, и не накрыли бы; но ему так хотелось увидеть все сокровища и унести побольше, выбрав наиболее ценное, что он настолько за-

держался, что турок застал его. Скупец, страсть которого никогда не давала ему спокойно поспать, проснулся среди ночи и без всякого иного повода, кроме обычной своей подозрительности, вздумал пройтись до двери кладовой. Прислушиваясь к малейшему шороху, он вскоре расслышал позвякивание монет. Он резко распахнул дверь, и при виде хозяина несчастный раб оледенел от ужаса.

Турок без особого труда схватил его. В порыве бешенства у него хватило бы сил задушить злодея собственными руками, но старик хотел узнать, кто его сообщники. Он подумал, что его ограбили дочиста, и, хотя тут и не оказалось Вердиница, он поначалу вообразил, что Вердиниц, действуя заодно с тем, кого он держит в руках, успел скрыться с большей частью добычи. Однако после взрывов дикого бешенства и беспорядочных вопросов, заданных рабу, старик из ответов его понял, что уж не так несчастлив, как воображал, и что все его сокровища целы. Успокоившись, он заставил раба подробно рассказать ему, как происходило дело, а поскольку у раба не было иной возможности сохранить жизнь, как только откровенно все рассказав, то он не только признался, что вознамерился обокрасть, но рассказал также и о

побеге Вердиница, и об его отношениях с Пломби, и о том, что она поручила Вердиницу похитить ее, если удастся, у мужа. Признание это не подействовало так, как рассчитывал раб. На другой же день он был посажен на кол.

Вердиниц вскоре узнал о печальной участи своего помощника и о том, что хозяин разыскивает его самого. Снова возник повод для тревоги, которая в рядовой душе убила бы сразу и отвагу, и любовь. Однако, чтобы не создалось впечатление, будто на его пути встретились особые трудности, поспешим сказать о двух обстоятельствах, весьма для него благоприятных.

Одно из них — то, что он мог полагаться на дружбу богатого купца из Храдиша, бежавшего из Богемии. Купец всегда относился к нему не как к рабу, а как к человеку, пользовавшемуся уважением на их общей родине; он-то и приютил Вердиница после его побега из кладовой хозяина.

В таком надежном доме Вердиниц не только мог спокойно жить, но было у него и то преимущество, что здесь он имел возможность получать сведения обо всем, что предпринимает его бывший хозяин, и сообразовывать с этим свои собственные поступки.

Вторым благоприятным обстоятельством было то, что каких бы признаний ни добился хозяин от казненного раба, ни одно из них не могло ни обесчестить Вердиница, ни изобличить его в ином преступлении, кроме побега. А что касается его любви к Пломби и его намерений в отношении ее, то, если они и стали известны ее отцу, он был уверен в том, что ни одна жена не станет сообщать об этом мужу, и, следовательно, ему нечего опасаться со стороны губернатора и нет особых трудностей осуществить задуманное.

Жены турок, живущих в Болгарии, благодаря соседству с христианами не так угнетены, как в Турции, и жилища турок не столь недоступны, чтобы любознательный путешественник, заслуживающий некоторого уважения, не мог иной раз проникнуть в дом.

Правда, такая милость оказывается редко, притом всегда в присутствии хозяина. Но многие богатые турки подчеркивают, что им чужда мусульманская строгость, а стараются показать, что воспитанность и общительность — добродетели, не чуждые и им. Отсюда следует, что во всех пограничных провинциях с рабами-христианами обращаются не так сурово, как в провинциях отдаленных. Есть к этому и другая причина, а

именно опасение, что христиане в таких случаях будут вести себя так же.

Как бы то ни было, губернатор Храдиша отнюдь не слыл свирепым и нелюдимым, а создал себе репутацию человека, обращающегося с иностранцами весьма любезно.

Основываясь на этих слухах, и построил Вердиниц свой план освобождения возлюбленной. Он поделился им со своим другом, без содействия которого не мог бы его осуществить. Надо заметить, что продолжительность его пребывания в рабстве объяснялась не столько невозможностью освободиться, сколько любовью, ибо он попал в плен во время войны, а первый его хозяин продал его в Храдиш, и, следовательно, жил он в местности не столь отдаленной, чтобы нельзя было дать знать о себе своим родным и получить от них деньги для выкупа. Но чары Пломби и любовь удерживали его от этого.

Он рассказал о своем происхождении и о своем богатстве другу, приютившему его, и признание это еще больше укрепило хозяина в его расположении и в желании содействовать соотечественнику. Вердиниц продолжал делиться с ним своими планами и просил его помощи в их осуществлении. А именно, он просил тайно под-

готовить для него экипаж, достойный человека его происхождения, и послать экипаж на определенное расстояние, в глухую местность, куда Вердиниц отправится и сам, а оттуда приедет в город столь торжественно, что никто не узнает в нем раба. Единственное затруднение заключалось в том, чтобы подыскать слуг-богемцев, которые содействовали бы такой маскировке.

Но найти таких людей было невозможно, и это препятствие могло помешать осуществлению затеи. Тогда купец, желавший любой ценой услужить Вердиницу и сохранить его дружбу, решился на единственное средство, которое помогло бы Вердиницу возвратиться на родину: он смело предложил другу, что он перерядится в слугу, перерядит также жену, сына и одну из дочерей, то есть тех детей, которые по возрасту своему подходят для такой затеи, и проводит его, пренебрегая всеми опасностями. Он поставил только два условия: что он поселится в квартале, самом отдаленном от его собственного дома, и что маскарад этот продлится не дольше десяти дней, ибо он рассчитывал объяснить свое отсутствие на этот срок загородной прогулкой, которую он вздумал совершить с несколькими своими домочадцами.

Вердиниц, не столь осторожный, сколь храбрый и честный, принял это предложение с восторгом и горячей благодарностью, а чтобы губернатор, когда он предстанет перед ним, не сомневался, что имеет дело с путешественником-богемцем, он сочинил несколько рекомендательных писем от имени известных в Храдише лиц. Письма были адресованы людям, с деятельностью которых купец был знаком, а так как в них просили всего лишь благосклонного отношения к знатному человеку, совершающему путешествие из любопытства и уважения к их стране, то купец и Вердиниц считали, что столь невинный обман не может вызвать нежелательных последствий. Поклажа должна была заключаться только в одежде, да еще надо было набрать хороших лошадей; и купец с сыном легко добыли и то, и другое.

Когда все это было готово, Вердиниц приехал днем к воротам Храдиша одетый, как принято в Богемии, вместе с четырьмя наперсниками, которых он выдал за сопровождающих его слуг. Хотя мир был заключен еще несколько месяцев тому назад, ему долго пришлось ждать распоряжений губернатора, которому доложили о его прибытии. Опасения, возникшие у Вердиница из-за этой задержки, вскоре рассеялись, потому что

губернатор обошелся с ним весьма дружелюбно и ласково и даже вышел ему навстречу. Вердиниц свободно говорил по-турецки, а путешествие свое объяснял исключительно лишь искренним расположением к Турции, поэтому в первый же день его почтили своим вниманием многие уважаемые горожане. Особенно желал беседовать с ним хозяин дома; Вердиниц стойко и удачно выдержал все эти визиты, а купец тоже превосходно сыграл свою роль. Губернатор, польщенный похвалами путешественника, обещал на другой же день показать ему все, что могло интересовать иностранца. И действительно, он познакомил его с самыми красивыми кварталами города и со множеством других достопримечательностей, которые Вердиниц уже знал не хуже самого губернатора. О женщинах своих губернатор умалчивал. Но Вердиницу не терпелось, и в тот же вечер он решил на следующий день увидеть Пломби и, быть может, похитить ее.

Он согласился взять с собою жену и дочь купца под видом служанок лишь для того, чтобы произвести впечатление знатного путешественника; потом он, с согласия купца, решил сразу же сказать, будто женщины очень устали от поездки и чувствуют себя так плохо, что остались в ка-

раван-сарае, где он остановился; он предложил купцу отправить их домой, но позволить сначала показать дочь губернатору.

Предложение странное. Но купцу уже некуда было отступать, и ему пришлось удовлетвориться объяснением Вердиница, что ***о*** именно он затеял. А затея состояла в том, чтобы сказать губернатору якобы доверительно, что у него есть обожаемая любовница, которую он берет с собою во все путешествия, но теперь трудности, связанные с поездками, пугают его и ему хочется оставить ее в Храдише, откуда возьмет ее на обратном пути. А так как ей невозможно остаться одной в караван-сарае, он просит губернатора приютить ее в своем серале; он был уверен, что если губернатор человек благородный, то охотно окажет ему эту услугу, просто чтобы угодить; если же у него недостанет благородства, то он все-таки согласится в надежде кое-чего добиться от девушки, которую охотно отдают ему в руки. Вердиниц надеялся также принять такие меры предосторожности, что губернатор не разглядит черты лица девушки, которую он собирался представить ему в мужском наряде; сам же он рассчитывал облачиться в женское платье и попасть в сераль вместо нее. Он надеялся так

ловко провести эту затею, прибегнув и к другим хитростям, что ни ему, ни купцу, ни семье купца не придется ничего опасаться.

И действительно, сказав, что он уезжает на другой день, он предложил губернатору, гуляя с ним по городу, зайти в караван-сарай, где он остановился; подходя к дому, он рассказал ему все, что задумал. Губернатора не пришлось упрашивать, он с радостью согласился на предложения гостя; он увидел девушку в плохо освещенной комнате и, хотя она не совсем перерядилась, по ее позе и некоторым другим признакам можно было определить ее пол. К тому же посещение длилось лишь несколько минут. Вердиниц, поручая ее губернатору как самое для него дорогое существо, добавил, что велит ей одеться, как положено в Турции, а чтобы избежать любопытных, прикажет перевезти ее ночью. Они тотчас же распрощались.

Купец подготовил все, что требовалось для дальнейшего. Вердиниц, переодетый в женское платье, с мусульманским покрывалом на голове, сел в портшез, который несли двое носильщиков, в то время как девушка, которую ему предстояло изображать, старалась изобразить его, заняла место в экипаже и направилась за город. Она лег-

ко добралась до своего дома, где на другой день появилась в кругу семьи.

Так легкомысленный богемец остался в одиночестве для исполнения своей затеи. Он приехал к парадному подъезду, где был встречен соответственно распоряжениям губернатора. Его поджидали несколько пожилых женщин, которые проводили его в комнату, пообещав заботливо ухаживать за ним. Он сделал вид, что немного грустит и скучает. Чтобы утешить его, ему сказали, что скоро пожалует сам губернатор. Этого-то он больше всего и боялся, но, заранее подготовившись к такой возможности, непринужденно заявил, что решил не видеть ни одного мужчины и что, как он ни благодарен губернатору, он не примет его, пока не возвратится тот, кто устроил его в этот дом.

Такой ответ, тотчас же переданный губернатору, и удивил его, и привел в восторг.

Вскоре оказалось, что принял он мнимую девушку в надежде, что она доставит ему удовольствие; однако притворная скромность, которую он никак не ожидал, побудила его сдержать свои желания, чтобы сначала выяснить, насколько девушка искренна. Вместе с тем он приказал всем женщинам обращаться с чужестранкой ласково,

как с особой, которая на некоторое время станет их подругой. Любопытство, привычка к послушанию, желание позабавиться побудило почти всех женщин неуклонно исполнять это повеление. Одна только Пломби не сочла нужным повидаться с приезжей.

Любезная и гордая Пломби причиняла губернатору после свадьбы немало огорчений. Он еще не добился того, в чем жена обычно не отказывает супругу, и особенно отчаивался он оттого, что никак не мог понять, чем это объяснить.

Он был стар — может быть, это и являлось причиною, но у нее были причины куда значительнее, а именно склонность к Вердиницу и неотступное воспоминание о его любви. Временами она так возмущала супруга своим отказом, что он не раз собирался отослать ее к отцу и грозил ей так и поступить.

А ей больше всего хотелось вернуться домой, и, чтобы внушить мужу неприязнь, она постоянно выказывала ему ненависть и презрение. Достаточно было одного приказания обращаться с чужестранкой ласково, чтобы она решила не оказывать ей ни малейшего внимания, и только это и помешало ей увидеться с Вердиницем, когда он приехал. Но потом она подумала, что приез-

жая, пожалуй, какая-нибудь красавица рабыня, которая может, к счастью, отвлечь от нее самой внимание мужа, и этой мысли было достаточно, чтобы ей захотелось познакомиться с вновь прибывшей. Она одна вошла в комнату Вердиница, не думая о супружеской верности. Они с первого же взгляда узнали друг друга и были так счастливы, что она тут же позволила своему возлюбленному то, чего еще не разрешала мужу.

Они сразу же стали обсуждать, как поскорее выйти на свободу. Но все действия, намеченные Вердиницем вместе с купцом, встретили препятствия, связанные с внутренним распорядком сераля. Вердиниц ошибся, думая, что жены губернатора могут свободно гулять в саду, чтобы подышать свежим ночным воздухом; он рассчитывал также, что, поскольку купец будет находиться по ту сторону стены, ему с помощью двух лестниц и при содействии сына купца нетрудно будет под покровом ночи осуществить задуманное. Он должен был тотчас же переодеться в мужское платье и перерядить в такое же свою соучастницу, чтобы вместе с нею возвратиться в дом купца, где они спокойно прожили бы, пока им не удастся уехать в Богемию.

К несчастью, та часть сада, где женщины могли

свободно гулять, была отделена частой решеткой от той, которая примыкала к стене. Заграждение нельзя было разбить одним ударом, да и вообще трудно было его одолеть. Если бы требовалось только терпение, чтобы дождаться удобного случая и раздобыть нужный инструмент, то из-за такой задержки можно было бы особенно не огорчаться, но оставались еще две причины для опасений, преодолеть которые не могли ни отвага, ни ловкость. Одна из них заключалась в том, что невозможно было сообщить купцу, какое именно препятствие задерживает их и когда удастся его преодолеть. Другой причиной, куда более страшной, была борода Вердиница, которая росла день ото дня и скрыть которую не было никакой возможности.

Эта опасность представлялась столь грозной, что ею надо было заняться прежде всего, и Вердиниц уже подумывал о том, как лучше ободрать себе лицо, чтобы его не выдал такой пустяк. Но так как у турчанок принято брить себе часть головы, Пломби надеялась украсть несколько бритв у рабынь, которые ими пользовались. Она так горячо принялась за дело, что в тот же день преуспела в нем. Таким образом опасность для ее возлюбленного миновала, тем более что он отрас-

тил себе длинные волосы под предлогом, что тоска по любимому человеку сделала его совершенно равнодушным к опрятности и к нарядам; вдобавок борода его, как у человека молодого, была не так уж густа, да к тому же была еще не столь заметна, как если бы он обрил и голову.

Несколько дней у любовников не было повода для жалоб, если не считать того, что часто им докучали другие жены губернатора, которым хотелось, так же как и Пломби, развлечься в обществе чужестранки. Вечерами любовники спешили в сад и, всегда находя какой-нибудь предлог для уединения, они подыскивали в кустарнике место, через которое рано или поздно могли бы пробраться. Вердиниц наконец нашел такое место; к счастью, оно было скрыто густой листвой деревца, ствол которого сильно прогнил, так что куски его можно было отламывать рукой. Каждую ночь Вердиниц понемногу ломал ствол, и вскоре образовалась лазейка, достаточная для того, чтобы ползком пробраться через нее.

Но зачем им добираться до стены, если они не будут уверены, что по другую сторону их ждет купец с приспособлениями, необходимыми для их освобождения? Однако и тут о них позаботилась судьба.

Однажды, когда они находились наедине и делились своими опасениями, им сказали, что пришел иностранный торговец, которого ввели в сераль, потому что он хотел предложить губернатору и его женам разные украшения. Хотя купец и тщательно перерядился, Вердиниц все же узнал его. Он выкроил минутку, чтобы переговорить с ним и условиться, в какую ночь, в котором часу лестницы и прочие приспособления должны быть наготове у стены. В рвении купца нет ничего удивительного, если вспомнить, что, помимо дружбы, он действовал также и в своих интересах. Он пообещал быть неукоснительно точным. Теперь, казалось, ничто не могло уже обмануть надежд влюбленных.

Между тем надежды не оправдывались из-за препятствия худшего, чем все те, о которых здесь говорилось. Днем перед той ночью, когда был назначен побег, Вердиниц и Пломби приятно беседовали в ожидании освобождения, причем им удалось избавиться от остальных женщин; и вдруг раб, преданный им, хоть и не пользовавшийся их полным доверием, явился потихоньку и предупредил их о том, что губернатор в передней с величайшим вниманием подслушивает их. Они подумали, что окончательно погибли.

Не будучи уверены, что у них не вырвались какие-то слова, выдавшие их тайну и намерения, они не сомневались в том, что любопытство губернатора вызвано подозрением, для которого действительно были кое-какие основания, и что, следовательно, малейший намек мог погубить их. В первые минуты замешательства, не предвидя ничего, что могло бы быть страшнее смерти, они решили наложить на себя руки или по крайней мере обеспечить себе эту возможность, а потому запаслись бритвами, которыми пользовался Вердиниц.

К счастью, не произошло ничего такого, что подтвердило бы их подозрения и страхи. На самом деле губернатор, которому донесли о том, как настойчиво они стремятся друг к другу и с какой радостью они встречаются и беседуют без соглядатаев, захотел узнать, о чем они говорят во время столь продолжительных и столь интимных встреч. Он стал подслушивать у двери, но, как ни старался, ничего не услышал. А поскольку ему до сего времени не удавалось увидеть чужестранку, он на этот раз решил пренебречь соображениями, которые удерживали его. Он распахнул дверь и вежливо вошел в комнату. Он отнюдь не казался разгневанным, и это успокои-

ло влюбленных. Но в выражениях лица у них еще оставались следы волнения; кроме того, одна из них все время отвертывалась, притворяясь, будто плачет, тоскуя по любимому, а другая видом своим, как всегда, выказывала неудовольствие и гордыню. Доверчивый же губернатор, увидев две бритвы, сообразил, что они собираются покончить с собой, и испугался за них больше, чем они сами. Он умолчал о своих подозрениях, но решил, что такие тяжкие переживания требуют самых нежных утешений, и тут же предложил им всякого рода развлечения, которые могли бы развеять их грусть. Были созваны все женщины. Он удалился, наказав им веселиться, а самым верным рабам приказал не спускать глаз с Пломби и с чужестранки.

Нежные влюбленные горячо возблагодарили небо за то, что опасения их не оправдались, и стали ждать наступления темноты в надежде, что ночь положит конец их мукам. Едва только закатилось солнце, они направились в сад. Как и в другие дни, им довольно легко удалось отделиться от сопровождавших их женщин, чтобы подойти к лазейке. Она была ими уже совсем подготовлена, и пролезть через нее ничего не стоило. Вердиниц заставил возлюбленную пробраться

первою. Но рабы, исполняя приказание хозяина, находились в нескольких шагах от лазейки, причем их не было видно: они заметили, что Пломби исчезла, и поспешили подойти к Вердиницу в ту самую минуту, когда он лег на землю и стал подтягиваться, чтобы последовать за нею. В этой позе рабы без труда задержали его. У них имелся ключ от дверцы в стене, разделяющей два сада, поэтому им также легко было схватить и Пломби.

К счастью для влюбленных, Пломби не успела подойти к стене и тем самым не навела рабов на мысль, что они собирались бежать. Губернатор, которому было доложено о случившемся, тоже не подумал об этом; у него только возродились первоначальные его опасения, и теперь он был убежден, что женщины снова впали в отчаяние или просто у них помутился рассудок, что и толкнуло их на поступок, кажущийся бессмысленным. Опасность представлялась ему весьма значительной, и, уже не разбираясь в подробностях, он приказал отвести их в комнаты и не спускать с них глаз. Кроме того, он распорядился следить, чтобы в руках у них не оказалось ничего такого, что могло бы послужить для выполнения пагубного намерения, которое он им приписывал.

Эта неудача показалась Вердиницу столь ужас-

ной, что он, несомненно, воспользовался бы бритвами для страшного дела, если бы не поспешили их у него отнять. Он впал в безутешное, безнадежное состояние и даже больше тревожился за будущее, чем горевал о неудаче предприятия, успех которого казался ему обеспеченным. Ведь у него не оставалось ни малейшей возможности поправить дело, и теперь, лишившись содействия Пломби, которая помогала ему скрыть его пол, он предвидел, что рано или поздно ему не избежать объяснений, столь же опасных как для нее, так и для него.

Три-четыре раба, находившиеся с ним в комнате и не скрывавшие, что им велено быть при нем и днем, и ночью, не дали бы ему ни совершить над собою насилие, ни бежать. Наконец, положившись в дальнейшем на судьбу, он решил притвориться тяжело больным, намереваясь не вставать с постели и принимать столь мало пищи, чтобы совсем ослабеть и ему было бы легче расстаться с жизнью. Никто и не подумал ему в этом препятствовать, так что он провел в постели пять-шесть недель, не подпуская к себе никого днем и соглашаясь лишь по вечерам, в темноте, принимать немного пищи.

За все это время у него не было никаких изве-

стий о Пломби, а за нею следили также зорко. Но губернатор, крайне удивленный столь необычным поведением Вердиница, решил наконец навестить его и заставить обратиться к помощи врачей. Он вошел в комнату Вердиница, не предупредив его; он застал его в постели и был несказанно удивлен, увидев его пышную бороду, благодаря которой больной был похож скорее на дикого зверя, чем на женщину. То ли с перепугу, то ли по другой, так и не выясненной причине его тут же хватил апоплексический удар. А рабы, всецело поглощенные тем, что случилось, не стали задумываться о причине несчастья, а поспешили унести умирающего, даже не заметив роковой бороды, которую Вердиницу всегда удавалось от них ловко скрывать.

Губернатор умер, не успев высказать свою последнюю волю, а потому Пломби, единственная его жена, брак с которой был заключен в соответствии с законом, оказалась вполне свободной, тем более что дети ее мужа жили далеко от Храдиша и некому было оспаривать ее власть. Она воспользовалась свободой прежде всего для того, чтобы пойти к Вердиницу; она собственноручно побрила его и велела снова нарядиться в женское платье, к которому он уже привык, так что ни у

одного турка не могло возникнуть подозрения относительно его пола и какого-либо приключения. Потом они вместе решили послать за купцом, чтобы он взял Вердиница из сераля под тем предлогом, что, сам происходя из Богемии, он обязан позаботиться о своей соотечественнице.

Единственно, что сдерживало Пломби, был страх перед отцом, под власть которого ей предстояло подпасть по выходе из сераля. Она могла бы попытаться сразу же вместе с возлюбленным уехать в Богемию, но столь значительное наследство, какое ей предстояло получить, вполне заслуживало того, чтобы его дождаться, и Вердиниц не мог не согласиться с этим убедительным доводом. К тому же было весьма безрассудно и опасно отправиться в Венгрию, ближайшую от них христианскую страну. А купец, человек пожилой и опытный, мог служить им проводником и помочь преодолеть все трудности. Но надо было дать ему возможность закончить свои дела, а главное — дать Вердиницу время написать в Прагу, чтобы предупредить о прибытии человека, которому он был столь многим обязан. Поэтому решено было повременить, а Пломби, устроив все дела в серале, спокойно вернулась к отцу.

Но предварительно она обсудила с возлюблен-

ным, как им устраивать свидания. Это оказалось проще, чем она надеялась, ибо выяснилось, что отец склонен простить Вердиница и даже хочет увидеться с ним. Бегство раба не так уж разгневало старика, он не забыл его верности и привязанности и все еще любил его. Он постоянно восхищался рабом, который бежал из кладовой, не тронув его сокровищ. Однажды в порыве уважения и благодарности он спросил у дочери, правда ли, что она чувствует склонность к Вердиницу, и признался ей, что если бы он убедился, что юноша порядочного происхождения и что он сочувствует вере Магометовой, то он охотно выбрал бы его в зятья. Пломби рассказала отцу о происхождении Вердиница то, что узнала от него самого и от купца. Что же касается веры, то, ни за что не ручаясь, она пообещала только, что постарается привести его к магометанству, и сказала, что великой заслугой отца будет, если ему удастся обратить в свою веру человека, которого он так уважает.

Итак, Вердиниц был приглашен в дом своего хозяина и приняли его скорее как сына, чем как раба. Между тем старик, у которого крайняя скупость сочеталась с необыкновенной добротой, почувствовал, что с годами слабеет, и, не

будучи уже в силах зорко следить за своими сокровищами, решил переселиться в кладовую, где хранились его богатства, и уже ни в коем случае не выходить оттуда. Вердиниц оказался единственным хозяином всего остального дома и, чтобы окончательно покорить старика, стал приносить ему мешки с золотом и серебром, которые тот ежегодно получал как доход с его капитала. Это значило работать на самого себя.

Смерть наконец избавила старика от мучивших его тревог, а весь дом — от длительной скованности. Перед смертью он отдал Вердиницу дочь и все свое достояние с единственным условием перейти в магометанство.

Возник вопрос, как обойти это условие, выраженное во всеуслышание и достаточно ясно, чтобы нельзя было безнаказанно пренебречь им. Уважение, которым еще пользовалась Пломби в связи с ее первым браком, а также щедрость Вердиница давали им еще некоторое время для надежд на то, что удастся склонить на свою сторону высшее мусульманское духовенство.

А Вердиниц, уже успевший написать в Прагу и устроить там дела купца, решил отправить его туда со всеми своими сокровищами или по крайней мере с тем, что могло вызвать жадность

турок. Все это было подготовлено столь тайно, что даже самые любопытные были введены в заблуждение. При отъезде купца были приняты такие меры предосторожности, что все думали, будто он отправляется в небольшое путешествие с членами своей семьи. Он оставил в доме всю обстановку, о которой во время его отсутствия должен был заботиться его сын, а на самом деле он вместе с сокровищами Вердиница увозил и все то, что удалось собрать ему самому.

Когда они наконец прибыли в Прагу и Вердиниц мог бы опасаться только за то, чего и так готов был лишиться, ему удалось осуществить пришедшую ему в голову легкомысленную затею. Он попросил нового губернатора разрешить ему несколько месяцев поездить по стране с сыном купца, который остался в родительском доме. В этом ему было отказано, как он того и ожидал. Но чтобы устранить все препятствия, он предложил оставить на время своего отсутствия в виде залога свой дом и дом купца, который должен был сопровождать его, а также все наследство его хозяина турка. Это предложение было охотно принято, и теперь людям, которые рьяно препятствовали ему, стало выгодно не торопить его с возвращением.

Оставалась одна только трудная задача — это отъезд Пломби, предлог для которого трудно было придумать. Снова прибегли к хитрости. Пломби перерядили в мужчину и в день отъезда представили как раба. Этот романтический побег вполне мог бы удасться, так как Вердиниц запасся легкой каретой и шестеркой очень быстрых коней, с помощью которых он рассчитывал оказаться в безопасном месте, прежде чем заметят исчезновение его возлюбленной.

Но некий молодой турок, давно уже влюбленный в Пломби и сначала радовавшийся отъезду Вердиница, а потом с ужасом узнавший, что она согласилась последовать за ним, стал так отчаянно сокрушаться, что кади пришлось ради благопристойности и в ущерб собственной выгоде отправить нескольких всадников вдогонку за похитителем с приказом вернуть его живым или мертвым. Во главе преследователей поехал сам Дельмет. Он нагнал беглецов за два дня езды до границы. Вердиниц по стуку копыт сразу понял, что за ним гонятся. Единственное, что оставалось ему сделать в этом столь опасном положении, это высадить Пломби из кареты. Она все еще была в мужском платье. Чуточку изменив свои черты с помощью дорожной грязи, она пересела

на запятки кареты, рядом с единственным рабом, которого взял с собой Вердиниц, и под влиянием страха решила неуклонно играть свою роль.

Почти в ту же минуту появился Дельмет, и невозможно было помешать ему резко остановить карету и спросить, где Пломби. Вердиниц и купец сделали вид, будто такой вопрос крайне удивляет их, и ответили, что не могут знать, что сталось с особой, которую они оставили в Храдише. Обстоятельства как будто подтверждали этот ответ, а число рабов не превышало того, что требуется для обслуживания двух путешественников; поэтому у всадника не возникло никаких подозрений на этот счет. Однако Дельмет не мог допустить мысли, что он ошибся, разузнавая о бегстве своего кумира. Между тем он заметил, что карета Вердиница остановилась (пока Пломби перемещалась на заднюю скамеечку), и вообразил, что она, действуя заодно с похитителями, спряталась где-нибудь в кустах или около ближайшего дома и что там можно ее обнаружить.

Поэтому он оставил часть своего отряда сторожить карету, а с остальными стал рыскать по окрестностям, где, по его предположениям, могла спрятаться Пломби. На это потребовалось несколько часов. Наконец, устав от поисков,

думая, что он и в самом деле ошибся, вообразив, будто Пломби уехала из Храдиша, он принял решение, которое окончательно поставило его в глупое положение. Он решил проводить Вердиница до самой границы, рассчитывая таким образом не только убедиться в отъезде опасного соперника, но и воспрепятствовать Пломби присоединиться к нему, если она, как он предполагал, вышла из кареты и где-то так спряталась, что ее не удалось найти.

Таким образом, два дня влюбленные спокойно ехали под охраной всадников. Пломби приходилось терпеть множество неудобств, но любовь сулила ей великую награду в Праге, и это поддерживало ее. В этом довольно серьезном приключении смешно то, что Дельмет провел несколько дней на границе, боясь, как бы Вердиницу не захотелось возвратиться в Храдиш и чтобы в таком случае воспрепятствовать ему.

Наши любовники счастливо зажили в лоне богатой и влиятельной семьи, которая встретила их с восторгом. Старик купец горячо поздравил их и вручил им все сокровища, которые он благополучно доставил в Прагу.

Но когда все, казалось, объединилось, чтобы вознаградить их за пережитые невзгоды, слу-

чилось событие, сильно встревожившее их; оно заслуживает быть упомянутым как венец их истории.

Однажды, когда они уединились в деревне и при них была только их челядь, как-то вечером они с изумлением увидели у себя в доме человек восемнадцать — двадцать турок, которые тотчас же обнажили сабли и рассеялись по комнатам.

Вердиниц, не имея возможности защититься, только поспешил спрятать Пломби и детей. Помня о своих давних опасениях, он был уверен, что либо кади из Храдиша, либо Дельмет осмелились преследовать его даже в Праге, и, хоть предположение это и было маловероятно, оно смертельно мучило его целый час, пока турки осуществляли свое намерение.

А намеревались они устроить прекрасное празднество и занялись его подготовкой. Вслед за ними прибыло не только множество повозок с необходимыми декорациями, но и многочисленное общество, состоявшее из самых знатных дам. Взялись гости за дело горячо, рабочие были проворные, и вскоре дом преобразился. Когда все было готово, молодежи оставалось только позабавиться испугом и удивлением Вердиница.

Задумала все это самая изысканная пражская

молодежь, основываясь на рассказах Вердиница и Пломби, причем весьма искусно были изображены нравы Храдиша. А содержание комедии, сыгранной лучшими пражскими актерами, представляло собою не что иное, как историю рабства Вердиница и его приключений в серале.

В довершение празднества, чтобы ярче отметить конец выпавших на его долю страданий, все декорации и наряды как турок, так и рабов, послужившие для представления, были сожжены на костре, нарочно для этой цели сложенном около дома.

КЕЙЛЮС

КЕЙЛЮС
ИСТОРИЯ Г-ЖИ АЛЛЕН И Г-НА АББАТА ЭВРАРА

Перевод Н. Рыковой

Я поступил на службу к этой даме самым простым образом, вследствие случайно сложившихся обстоятельств. Как-то она проезжала по Новому мосту, а тут вдруг наемный экипаж сцепляется с ее каретой, да так здорово резко, что кучер ее падает с козел и встать не может. Я в то время самолично там находился, предлагаю, что могу сесть на козлы, — она соглашается. Кучер ее уже не в состоянии был лазать на козлы после своего падения, она его поставила привратником, а я занял его место.

Очень она была славная дама, бездетная вдова лет сорока двух, в свое время красавица, да и теперь кое-что от былых прелестей оставалось.

В доме у нее всем заправлял г-н аббат Эврар. Толстый он был, словно монах, а ел-то ведь не ахти как много. Лицо у него было свеженькое и румяное, как роза, по причине доброго бургундского вина, которое он пил, чтобы от тепла в

желудке легче читался требник. Ни на его платье, ни на его касторовой шляпе никогда не бывало ни малейшего пятнышка. Да уж, содержал он себя в чистоте.

Как я его увидел, сразу он пришелся мне по сердцу — по всей видимости, был он разбитной малый. Однако впоследствии я в нем лучше разобрался.

Когда входишь новичком в какой-нибудь дом, так, разумеется, не знаешь, на какой лад там поется. Так что в один прекрасный день я поставил бутылочку привратнику, у которого забрал лошадей, чтобы он мне разъяснил, что там и как, что к чему.

Так вот он мне сказал, что г-жа Аллен — это и есть наша хозяйка — самая превосходная женщина на свете, когда ей не перечишь. Потому что г-н аббат внушил ей, что непорядок, если слуга говорит «нет», когда хозяин говорит «да», даже если хозяин-то не прав, потому что со стороны слуги нахальство иметь больше рассудку, чем у господина.

Что же касается до г-на аббата, то он, как я это видел своими глазами, толстый куманек, у которого в голове столько ума, что в речах его может разобраться только наша госпожа. А речи он

держал всему дому, проповеди да наставления по воскресным дням и по праздникам, вместо того чтобы нам ходить в приходскую церковь. Ибо г-н Эврар считал, что тамошние священники святую религию разумеют не так, как следует.

Говорил привратник, что г-жа Барб, былая домоуправительница г-жи Аллен, теперь уже в доме почти ничего не делала по причине своей старости, только носила каждое утро г-ну Эврару бульон да варила ему шоколад, когда он вставал, и послеобеденный кофе. Потому что наша хозяйка не хотела, чтобы она к чему-либо прикладывала руки — только лишь к услугам г-ну аббату.

Говорил он, что мадемуазель Дусэр, камеристка, делала все, что положено для обслуживания г-жи хозяйки, а кроме того, только обогревала постель г-на аббата зимой, в холодную пору, прикладывала ему грелки к ляжкам и оловянный шар с горячей водой к ступням ног, когда он уже лежал в кровати.

Говорил он, что повару, г-ну Кули, велено было как можно лучше готовить жареное мясо, а особенно супы, так как г-н аббат утверждал при всяком удобном случае, что для желудка самое лучшее — хорошая похлебка.

Говорил также, что в настоящее время в до-

ме нет кондитера по причине, что последнего уволили: он, дескать, работал не так, как считал нужным г-н аббат, который в его ремесле понимал лучше, чем он сам. Выписали одного из Тура, другого из Руана, чтобы испытать, который из двух окажется лучше.

А в конце концов он сказал, что всем надо слушаться г-на аббата, который делает все на свою мерку, как шляпочник, в этом доме, где он полновластный хозяин настолько, что и денег баронессы черпает безо всякого счета.

Как только все это мне стало известно, я намотал себе на ус, что здесь надо угождать не столько барыне, сколько барину.

Несмотря, однако же, на мои благие намерения, случилась у меня пруруха. Как-то раз, чуть-чуть выпивши, я повез г-на Эврара в Венсеннские аллеи{54} подышать воздухом. На обратном пути захотелось мне объехать другую коляску у ворот Сент-Антуан, и тут мы зацепились друг за друга, не очень крепко, но все же так, что г-н аббат, дремавший в карете, проснулся.

И не успел он вернуться домой, как пошел к

{54} Комментарии: 2.54

Венсеннские аллеи. — В XVIII в. Венсеннский лес (на восточной окраине Парижа), окружающий одноименный замок, уже стал излюбленным местом прогулок парижан.

хозяйке и нажаловался, что возница я неумелый и что надо взять другого, половчее.

Сам я, ничегошеньки не подозревавший, до крайности удивился, когда хозяйка велела позвать меня и сказала, чтоб я завтра же убирался с вещами, — она, мол, возьмет нового кучера.

Я просто не мог не спросить, а почему, собственно, меня не хотят. Тут г-н аббат ответил: чтоб я научился не сцепляться с другими экипажами, рискуя жизнью людей, потому что я пьяница и от меня за милю разит спиртным.

Жалко мне было терять место из-за такого пустяка, да что поделаешь: не оставаться же у людей вопреки их воле. На следующий день я уже собираюсь идти наверх получить свой расчет у г-на аббата, как вдруг является моя жена с чистой переменой белья для меня, и я ей рассказываю свою историю во дворе. А г-н Эврар-то видел нас из окна. Г-жа Гийом всплакнула, что я остаюсь без заработка, я ее утешаю как могу и иду к г-ну Эврару за своими деньжатами.

Расчет уже был готов. Я засовывал в карман полученные грошики, когда г-н аббат изъявил милость обратиться ко мне с вопросом:

— Кто та молодая женщина, с которой вы разговаривали во дворе?

— Да моя жена, сударь, — отвечаю я.

— Вы, значит, женаты? — говорит он.

— Да, сударь, вам-то откуда было об этом знать?

— О, так это меняет дело. К людям женатым, обремененным семьей, надо иметь жалость. А сколько у вас детей?

— Тот или та, что скоро родится, будет первым.

— Вот и дополнительная причина для меня проявить к вам сострадание и замолвить за вас словечко. Положение вашей жены и нищета, в которой вы, может быть, скоро очутитесь, настолько очевидны, что я готов позабыть ваши глупости. Возвращайтесь к своей работе, я уж добьюсь, чтобы вас простили. А жена ваша живет в нашем квартале?

— Никак нет, сударь, — ответил я, — живет она далеко отсюда.

— Значит, — продолжает он, — она, наверно, устала с дальней дороги? Кажется, у нас тут наверху найдется комнатка для нее, там ей легче будет оказать помощь, когда потребуется. Г-жа Аллен благодетельствует и направо, и налево. Но естественно, чтобы слугам ее выходило предпочтение. Я попрошу у нее поселить здесь вашу женушку, а пока можете переносить ее

пожитки.

От такой доброты я до того обалдел, что стоял ровно статуй и даже поблагодарить не мог. Когда я стал пересказывать все это г-же Гийом, хозяйка наша позвала нас обоих к себе.

Пошли тут всякие расспросы, и да, и нет, по той причине, что г-жа Аллен не любила, чтоб у нее жили супружеские пары, но под конец решено было, что моя жена будет спать в той маленькой комнате, а я, как обычно, в моей, над конюшней.

Показалось мне на основании нескольких слов, сказанных мамзелью Дусэр, что она не очень-то в восторге от появления в доме г-жи Гийом. Однако ее мнения не спрашивали, и пришлось ей умолкнуть. Женушка наша через несколько дней переехала к нам, а камеристка еще больше огорчилась оттого, что г-н аббат велел, чтобы г-жа Гийом питалась на кухне. А после, когда она уже была на сносях, еду стали посылать ей в комнату, а не то ведь она могла и упасть, поднимаясь и спускаясь по лестнице. Так что заботы о ней было много.

Я-то был до того рад от такого хорошего обращения, что, кажется, бросился бы в ледяную воду ради хозяйки и в огонь ради г-на аббата, который так хлопотал вокруг моей жены и ее новорож-

денного, каковой оказался девочкой, родившейся немного раньше, чем г-жа Гийом ожидала, так что г-жа Аллен подарила ей совсем скромненькое приданое вместо хорошего, которое еще не было готово. Но г-н аббат сказал г-же Аллен, что беда это небольшая: новое приданое пойдет первому же ребенку, который опять появится у нашей женушки.

Так все и шло наилучшим образом в доме, где каждый был доволен, за исключением мамзели Дусэр, которая походя отпускала мне всякие язвительные замечания насчет г-жи Гийом и г-на аббата. Под конец все же она до того намолотила мне голову, что я принялся за ними шпионить, но, хоть и делал это долго, а ничего такого не заметил, на что намекала мамзель Дусэр, так что я убедился, что она зря языком треплет.

В один прекрасный день ей показалось, что дело у нее в шляпе: принесла она мне любовное письмо г-на аббата — так она говорила, — которое выпало у моей жены из кармана. Она мне прочитала его не один раз от начала до конца, только я не усмотрел в нем ничего такого против моей чести, что она хотела там выискать. Да вы сами увидите, что ничего подобного в нем нет, вот оно, можете прочитать сами:

Дорогая моя сестрица.

С величайшим упоением вкушаю я плод новой жизни, которой имел счастье вас научить. И вы вскоре достигнете в ней совершенства, неизъяснимую сладость коего я вам так расхваливал. С удовольствием замечаю также, что вы перестали страдать некоторой сухостью — недостатком, не дававшим вам проявить полную сердечную пылкость, — сухостью, приводившей к тому, что мы оба даже отчаивались достичь того состояния блаженства, которое есть награда жизни в единении, столь прекрасно изображенной величайшими и наиболее глубокими из наших мыслителей. Однако я убежден, да знаю это и по собственному опыту, что порою весьма полезно отдаляться от общих основных начал бытия, и не устану повторять вам, что для прекращения внутренних борений, причиняющих вам столь жестокие судорожные терзания, необходимо иногда отходить от принципа созерцания — однако не упуская его из виду, — и уделить больше внимания действенности. И потому отныне, любез-

нейшая моя сестрица, содействуйте же мне в усилении и обострении сладостных восторгов, которых до настоящего времени лишала вас некоторая ваша холодность, несмотря на все старания, кои я прилагал к тому, чтобы вы полностью могли их вкушать.

— Ну и что же вы в этом усматриваете? — спросил я у мамзели Дусэр, когда она закончила чтение. — Да тут нет ни единого слова насчет того, что вы стараетесь мне внушить. Это очень хорошая и красиво изложенная проповедь. Что же, по-вашему, я должен быть недоволен тем, что господин аббат сочиняет нравственные поучения для нашей женушки? Ей-богу же, и не подумаю! Напротив, буду ему обязан до гробовой доски.

— Ах, раз уж вы это так одобряете, — ответила она, — надо бы вам передать целую пачку таких поучений. Похоже, что и они вам так же понравятся, бедный мой мосье Гийом! Разумение ваше словно пробкой заткнуло! Неужто вы не смыслите, что именно все эти выражения означают для вашей супружеской чести?

— Для моей чести? — переспросил я. — Да вы что, белены объелись? Ладно, ладно, мамзель

Дусэр, пока с моей женушкой будут говорить только так, мне не грозит поселиться под вывеской с рогами.

— Тем лучше и для жены вашей, и для вашего душевного покоя, мосье Гийом, — молвила она. — Но если вы не разумеете этих слов, ей-то аббат их хорошо растолкует. Негодяй! Удушить бы его! Как это я только сдерживаюсь! После всего, что он мне обещал…

И тут же она ушла, смахнув несколько слезинок, что и навело меня на мысль, — уж не пообещал ли ей г-н аббат больше масла, чем хлеба?

Мысль эта засела мне в голову на целую неделю. Но к концу этого срока заметил я одну вещь, которая навела меня на другие соображения как насчет нее, так и насчет г-жи Гийом.

Как-то утром на чердаке я перелопачивал овес, как это делают все кучера, чтобы он не разогревался, а с того места, где находился, увидел я в окно г-на Эврара: он был в халате около кровати хозяйкиной и говорил с самой, нагнувшись близехонько к ее уху, но рук их — ни его, ни ее — мне не было видно. С этого стал я кое-что подозревать, да было еще как-то, другим разом, другое дело, когда хозяйка лежала на кушетке, а он ей поправлял подвязку.

Разобрало меня любопытство разглядеть их получше, — да как это сделаешь? Тут припомнил я, что госпожа велела мне каждое утро являться узнавать, не понадобятся ли ей лошади. Это был хороший предлог, чтобы к ней проскользнуть, что я и сделал превосходнейшим образом. Ни души мне не встретилось до самой двери ее спальни, а дверь-то была полуоткрыта, так что я мог видеть в зеркале, висевшем напротив, да и то одним глазом, лишь половину того, что происходило на кровати. Однако я зато слышал все, что там говорилось, а говорила-то г-жа Аллен, обращаясь к г-ну Эврару:

— Чему надобно приписывать, господин аббат, холодность или даже попросту равнодушие, которое вы с некоторых пор ко мне проявляете?

— Это я-то холоден? Я равнодушен?! — воскликнул он. — Да никогда еще не был я так влюблен, так очарован вами и никогда не пребывал в такой охоте отвечать на благодеяния, которые вы мне оказываете даже с чрезмерной щедростью.

И, видимо, так и было, как он говорил, ибо произносили они теперь — и тот, и другая — только отдельные слова, прерываемые вздохами — ах! ах! — которых я и разобрать не мог. Почему я и намеревался уж удалиться, но тут появляется

мамзель Дусэр и спрашивает, чего мне здесь надо.

— Узнать, намеревается ли госпожа нынче утром выезжать, — отвечаю я. — Только зайти я не посмел, они с господином аббатом, и у них важный разговор, до которого, кроме них, никому дела нет.

— Ну, она-то куда ни шло, — проворчала камеристка, — но за другую он мне заплатит, я не я. Идите себе, мосье Гийом, я вас предупрежу, если вы понадобитесь госпоже. Но, между прочим, разрешите вам сказать, что не стоит особенно доверять аббатским воротничкам.

Из этих слов я отлично уразумел, что именно мамзель Дусэр хотела довести до моего понимания относительно самой себя и нашей госпожи. Но никак не мог я уместить в свою башку, чтобы аббат способен был вести себя так и с хозяйкой, и со служанкой: для одного человека уж как-нибудь достаточно одной из них. А уж окончательной бессмыслицей казалось мне то, что этот змеиный язычок хотел уверить меня, словно болвана какого-нибудь, что г-жа Гийом тоже отведала этого пирога. Тем более я-то по собственному опыту знал, что не так уж она падка на такие пироги, да, впрочем, и в письме, которое он написал,

все излагалось совсем не так, как он говорил с хозяйкой.

Дни текли себе и текли, и в конце концов оказалось, что мамзель Дусэр лучше меня разобралась в тех делах г-на аббата, которые лично ее касались и в которых он по отношению к ней вел себя неблаговидно. Она, конечно, все нашептала хозяйке, но та даже и виду не подавала некоторое время, чтобы лучше разыграть свою игру, как вы увидите из дальнейшего.

Что касается мамзель Дусэр, то хозяйка, со своей стороны, всем объясняла, что та поехала повидаться с родными в свои края, но в доме были люди, отлично знавшие, что ей предстоит стать голубочком в голубятне у одной повивальной бабки.

Г-жа Гийом заняла должность камеристки при нашей хозяйке, которая поместила ее в комнату по соседству со своей спальней — да еще так, чтобы дверь между ними была всегда открыта по той причине, что с некоторых пор ей ночью являются духи, и она боится и хочет, чтоб кто-нибудь был рядом, а г-н аббат тут не помощник, он говорит, что привидения бывают только в воображении простоватых баб. Мне это не очень-то понравилось, я уже не мог ходить к жене, как по-

рою делал, когда она жила в маленькой комнате. Думал я, как быть, и додумался: иногда по ночам, когда она уже лежала в постели, я стал к ней приходить по боковой лесенке. А на раннем рассвете убирался восвояси — как раз время подходило чистить лошадей.

Но однажды — уж не знаю, как это получилось, — я так крепко заснул, что проспал время вставать, — а рассвет меня обычно будил, потому что я не задвигал шторы. А ночь была жаркая, я и лег с краю кровати, как люди делают, когда им кажется, что их не увидят.

Вот я просыпаюсь и слышу в хозяйкиной спальне шум — словно шаги какие-то. Гляжу — это г-жа Аллен в одной рубашке входит в комнату, где я нахожусь. Видя, что попался, как лиса в пшенице, делаю вид, что сплю, даже похрапываю, стараясь не шевельнуться, пока она сидела на своем горшке, находившемся в углу комнаты прямо против меня. Всякий понимает, что женщина, раз она вдова, была замужем и всякие виды видывала. Потому-то я и лежал, не двигаясь, не меняя положения и не делая вида, что просыпаюсь, чтоб не пришлось мне перед ней извиняться: в конце-то концов, разве это грех, что я пришел ночью к своей жене?

Как только она ушла, я тоже двинулся на свою работу, как обычно, и в тот день все шло, как всегда.

На следующую ночь, подавшись к г-же Гийом, вижу, что дверца-то заперта. Я сразу подумал, что так велела госпожа, чтоб я не приходил спать к жене. И не очень-то мне это было приятно. Стучу тихонечко в дверь, но жена не открывает. Думаю, что с вечера она крепко уснула и потому ретируюсь, можно сказать, безо всякого улова.

На следующий день, часов в пять утра, чистил я своих коней и вижу: хозяйка из окна делает мне знаки, чтобы я поднимался к ней по главной лестнице. Она сама открывает мне все двери, а как я был в своих конюшенных сапогах, она велит мне сбросить их в передней, чтоб не наделать шуму.

Ума я не мог приложить — что все это означает, ибо хозяйка была в одной коротенькой нижней юбке, но она мне говорит:

— Если ты пообещаешь ничего не рассказывать о том, что я тебе покажу, у тебя будут все основания быть мною довольным.

Я ей пообещал все, чего она только хотела, и она повела меня через всю свою спальню в комнату моей жены, а та лежала в постели, а рядышком растянулся г-н аббат, и оба они спали.

Зрелище это до того меня изумило, что даже если бы я и не пообещал г-же Аллен держать язык за зубами, я бы и то ни слова не смог бы вымолвить. Хозяйка потащила меня обратно в переднюю, закрыла за нами все двери и говорит мне:

— Ну как, Гийом, что ты обо всем этом думаешь?

— Ах, сударыня, — ответил я, — уж чего не ожидал, того не ожидал. Очень это некрасиво для человека духовного сана. Может, ему я и слова не дохну, как он все же такая персона, но что до моей жены, у которой сана никакого нет, так, будьте уверены, я ей такую трепку задам, что она у меня зачирикает!

— Ничего подобного не случится, бедняга Гийом, — говорит она. — Ты наделаешь такого шуму, что весь свет узнает о том, чего ему лучше не знать и ради твоей чести, и ради чести моего дома. Но ты ни о чем не беспокойся, у меня есть средство отомстить, и ты уже сегодня увидишь, как я за это возьмусь. Кончай себе чистить коней, а в девять часов пойдешь к досточтимому отцу Симону и пригласишь его от моего имени на сегодня к обеду.

— А какая, сударыня, во всем этом деле, — говорю я, — помощь от отца Симона? Что он, вернет

мою честь на то место, куда вместо нее этот кобель аббат черт знает что сунул? Теперь, видите ли, я уж ни священнику, ни монаху не поверю.

— И правильно сделаешь, — отвечала госпожа. — С меня тоже хватит и тех, и других. Но ты все же сделай, как я велю. Слово тебе даю, милый Гийом, что в скором времени мы избавимся от этого негодяя аббата. Ты уж порадуешься, увидев, как я его выставлю за дверь.

— Вы бы уж заодно выставили стерву эту, мою супружницу, — ответил я.

— Это, может быть, и было бы не так уж плохо, — подхватила она, — но потерпи, все пойдет хорошо. Надеюсь, найдется у меня средство в скором времени излечить тебя от удара, который я нанесла тебе, раскрыв перед тобой поведение твоей жены. Увидишь, что из худа получится добро. Служи мне верно, и счастье тебе улыбнется: я возьму тебя из конюшни, и ты станешь моим личным слугой. Я буду не первая женщина, взявшая себе в слуги такого высокого брюнета, как ты. Никому ни о чем не говори и предоставь мне действовать.

На том она меня выставила и вернулась к себе.

Правильно говорят, что лучшее лекарство от худа — добро. Ибо одна мысль о фортуне, которую

мне посулила г-жа Аллен, почти что изгладила из моей памяти то, что я сейчас увидел. Да и к тому же, раз ваша супруга оказалась способной на такие делишки, это в сильной степени ухудшает хорошее мнение, которое вам надлежит всегда о ней иметь, да и вам самому так лучше: многие считают, что не слишком важно, изменила она долгу или нет, так как ее и уважать нечего, когда она перестала того заслуживать. Становишься безразличным к тому, о чем, по справедливости, незачем волноваться.

Потому я решил примириться со случившимся, в чем быстро преуспел, ибо шел на это весьма охотно. Теперь хотелось мне только знать, что предпримет отец Симон, когда придет к обеду, что он обещал сделать в ответ на мое приглашение.

Когда он появился, у г-на аббата Эврара физиономия вытянулась на целый локоть, он его терпеть не мог. Все садятся за стол, и госпожа даже бровью не поводит при виде состроенной аббатом мины, а он тут же начал придираться к монаху по любому поводу, тот же смело возражал на все то, что аббат выставлял в качестве предмета для спора; тем более что госпожа, вопреки обыкновению, все время соглашалась с его преподобием, так что Эврара здорово припекло, и

вот он швыряет салфетку и, как сумасшедший, убегает, надувшись, к себе в комнату.

Все сидевшие за столом просто оторопели, никто не знал, что и думать. Но госпожа-то подхватила мяч на лету и говорит мне:

— Гийом, подите передайте господину Эврару: раз он так мало ценит честь, которую я ему оказываю, приглашая за свой стол, и неуважительно ведет себя с почтенными для меня людьми, пусть он отныне вообще избавит меня от своего присутствия за моим столом.

Никакими деньгами хозяйка меня так не обрадовала бы, как таким вот поручением, и пирожок этот я ему понес горяченьким.

— А не поручила ли она, — ответил он мне, — сказать, чтоб я вообще убирался из дому?

— Нет, — говорю я, — но никакого чуда не произойдет, если так оно и случится: раз тебя выставили из-за стола, до этого уже недалеко.

Эти последние слова, добавленные мною от себя ради моих дружеских чувств к нему, привели его в такой гнев, что я был в восторге. Я думал, он кинется на меня с кулаками, и мне бы этого очень хотелось, уж я бы от всего сердца огрел его по спине дубиной, которой он хватил меня по башке.

Вечером аббат обратился к хозяйке через слугу с запросом, не соблаговолит ли она подождать до завтра, чтобы он мог отдать ей отчет во всех делах, которые вел. И г-жа Аллен ответила, что согласна. Так что на следующий день он отдал ей — худо ли, хорошо — отчет во всем. Но хозяйка очень уж рада была, что избавляется от него, и не стала особенно приглядываться к мелочам, которые, впрочем, значение свое имели.

Обстановку его быстро вынесли, ибо ее у него и не было: то, что находилось в его комнате, принадлежало дому. Под конец он убрался, и все — от мала до велика — ликовали, кроме г-жи Гийом, которая, однако, и виду не показывала, хотя на самом деле все обдумывала, ибо дня через два испекла мне хорошего рака: забрала у меня все самое лучшее и красивое и подалась за своим аббатом. Они, наверное, отправились оба довольно-таки далеко, потому как с того дня о них ни слуху ни духу, да мне-то на это наплевать с высокой колокольни.

Г-жа Аллен вернула мне по меньшей мере вдвойне все добро, забранное моей женой, а с этого я еще быстрей утешился. Получил я также поручение подыскать ей горничную и кучера, что и было сделано без промедления.

Хоть я не умел ни читать, ни писать, ни выводить цифры, а все же взялся за все дела по управлению хозяйством, так что стал важный, и все в доме величали меня «мосье Гийом».

Как-то утром, когда она лежала в постели, а я ей в чем-то давал ответ, она мне и говорит:

— Видишь, Гийом, у меня к тебе очень большое доверие. Надеюсь, ты меня не продашь, как этот мошенник Эврар.

— Ох нет, нет, сударыня, — отвечаю, — не такой уж я негодяй.

И тут я поцеловал ручку, которая лежала на одеяле.

— Смотри-ка, — говорит она, — ты, оказывается, у нас галантный?

— Ох, сударыня, — отвечаю, — хотел бы я быть таким же галантным, как вы прекрасны, чтоб вам как можно лучше угождать.

— Но послушай, — возражает она, — ты же объясняешься мне в любви, и я бы должна рассердиться!

— А зачем это вам нужно? — говорю я тогда. — Я какой есть влюбленный, такой и останусь, а вам лучше быть довольной, чем сердиться. Я-то хорошо знаю, что по своему званию недостоин, чтоб вы ответили на эти мои смелые речи, но

если бы сошла на вас такая доброта, то вы бы в дальнейшем не раскаялись.

— Хочу в это верить, — ответила она. — Или я уж очень ошибаюсь в людях, или ты и впрямь порядочный человек. Но этого недостаточно, надо еще уметь держать язык за зубами.

— Ну, уж на этот счет не беспокойтесь, сударыня, — говорю я, — когда нужно, я немой как рыба.

Тут она как-то задумалась, а я взял ее за руку, потом потянулся выше, а потом стянул одеяло с груди — грудь-то у нее белая, как снег. Решаюсь положить палец на одну грудку, потом всю руку, потом обе руки на обе грудки. Поскольку она продолжала думать про свое и не шевелилась, я совсем осмелел и поцеловал ее. Ну, тут-то она очнулась.

— Уходи, Гийом, — сказала она, садясь на кровати. — Ты уж очень смел, или я слишком слаба.

— Ну и что ж, сударыня, — возразил я, — пусть уж они себе и действуют — моя дерзость и ваша слабость. От этого нам обоим получится полное удовлетворение.

— Нет, — говорит она, — я слышу, идет горничная. Уходи и подумай, что угодить ты мне можешь, только если сумеешь молчать.

А так как горничная действительно к ней шла, я сказал госпоже, уходя, что если только за этим стало, так уж, наверное, дело мое в шляпе.

Я с ней на этот счет заговорил и делал то, о чем сейчас рассказал, лишь потому что заметил, какое у нее ко мне с некоторых пор доброе расположение… На другой день это яснее определилось, флейты наши заиграли в полный лад, и мы зажили в совершенной взаимной дружбе, с самыми лучшими и приятнейшими ее проявлениями, и вовсе без того, чтобы насчет этого кто-нибудь что-нибудь самомалейшее подумал.

Так продолжалось в течение более чем десяти лет, и она делала мне столько добра, что теперь я в полном довольстве. А после того дама эта скончалась, оставив мне еще кое-что по завещанию, так же, как и другим своим слугам.

После смерти ее живу я в деревне под Парижем, где научился у школьного учителя писать и читать книжки, а с того и мне самому захотелось писать, как я вижу, что все в это дело впутываются.

Ежели эти четыре историйки{55} придутся по вкусу публике, то уж, наверно, найдется у них еще много читателей. А что мне после того помешает прослыть светочем ума? И вообще-то, кто знает, что на свете может случиться? Я ведь по размерам не толще других, а дверь Академии разве не высокая и не широкая? И, во всяком случае, кто меня в чем упрекнет? Что пишу я, как извозчик? Многие пишут точно так же, даже и не бывши извозчиками.

МОНТЕСКЬЕ

{55} Комментарии: 2.55

Ежели эти четыре историйки… — В книжку Кейлюса входили еще три повести — «История и приключения мамзель Годиш, парикмахерши», «История, случившаяся у г-на Бордеро с г-жой Минютен» и «История о том, как разбогател кавалер Брийантен».

МОНТЕСКЬЕ
АРЗАС И ИСМЕНИЯ

Восточная повесть

Перевод А. Косс

К концу царствования Артамена{56} Бактриану{57} стали волновать междоусобные распри. По смерти сего властителя, воспоследовавшей от избытка забот, престол перешел к дочери его Исмении. Управлять всеми делами стал Аспар,{58} главный придворный евнух. Он горячо алкал блага государства и очень мало — личной власти, знал людей и разбирался в событиях. Нрав

{56} Комментарии: 2.56

Артамен. — Это имя Монтескье явно заимствовал из популярного в свое время романа г-жи де Скюдери (1607–1701) «Артамен, или Великий Кир» (1649–1653). Выведенный в романе исторический персонаж персидский царь Кир (VI в. до н. э.) принимает имя Артамена, чтобы поступить в услужение к лидийскому царю, в дочь которого, царевну Мандану, он пылко влюблен. Эпизод этот совершенно не соответствует исторической действительности.

{57} Комментарии: 2.57

Бактриана (или Бактрия) — древняя область Средней Азии; когда-то могущественное государство с развитой культурой, Бактриана уже в VI в. до н. э. потеряла независимость и подпала под власть Мидии (см. ниже).

{58} Комментарии: 2.58

Аспар. — Имя этого персонажа Монтескье также не придумал; с таким именем известен византийский военачальник и политический деятель, живший в V в. Интересно отметить, что ему посвятил трагедию Фонтенель (1657–1757), философ и писатель, соратник Монтескье по Французской академии. Эта трагедия с успехом была поставлена в 1680 г., но не была тогда же напечатана.

его был от природы миролюбив, а душа как бы стремилась приблизиться к душам всех людей. Мир, на который не смели более уповать, был восстановлен. Такова была сила воздействия Аспара: всяк вернулся к исполнению своего долга, почти не сведав, что преступил оный. Аспар умел вершить великие дела без усилий и без шума.

Мир был нарушен царем Гиркании.{59} Он отправил послов просить руки Исмении и, получив отказ, вторгся в пределы Бактрианы. Странное то было вторжение. Порою царь представал взорам в полном вооружении и готовый к бою, порою на нем видели одежды влюбленного, любовью влекомого к подруге. Он вел с собою всю челядь, потребную для свадебного празднества: плясунов, игрецов, шутов, поваров, евнухов, женщин; и еще вел он огромную рать. Он писал царице нежнейшие письма; и в то же время он разорял весь край: один день уходил на пиршества, другой — на военные действия. Никогда доселе война и мир не представали в образе совершеннее, и никогда не видывали соединения такой строгости с такою распущенностью. Жители од-

---

{59} Комментарии: 2.59

Гиркания — страна на юго-восточном побережье Каспийского моря; большой политической роли не играла, входя обычно составной частью в другие, более могущественные державы.

ного селения бежали от жестокости победителя, жители другого предавались веселью, пляскам и пиршествам; и по странной причуде сей царь домогался двух несовместимых крайностей: чтобы его любили и чтобы его страшились; его не любили и не страшились. Против его рати выставили бактрианскую, и первая же битва решила исход войны. Один воин, недавно вступивший в ряды бактриан, вершил чудеса храбрости; он пробился туда, где отважно сражался гирканский царь, и захватил его в плен. Передав сего властителя одному военачальнику, он смешался с толпою; но под гул приветственных возгласов был приведен к шатру главнокомандующего. Он предстал пред ним с благородной непринужденностью; о деянии своем говорил скромно. Главнокомандующий предложил ему награды — воин проявил бесстрастие; главнокомандующий хотел осыпать его почестями — воин, казалось, к ним привык.

Аспар рассудил, что подобный человек не может быть заурядного происхождения. Он призвал его ко двору и при виде его еще более утвердился в сей мысли. Манера держаться, свойственная этому человеку, восхитила Аспара; даже грусть, читавшаяся у него на лице, внушала уважение; Аспар превознес его храбрость и сказал ему са-

мые лестные слова.

— Повелитель, — промолвил чужеземец, — прости несчастному, коего злополучие почти лишает способности ощутить твои щедроты и еще того более — на них ответствовать.

Глаза его наполнились слезами, и евнух был растроган.

— Если ты несчастен, — сказал он чужеземцу, — будь мне другом. Мгновение назад я восхищался тобою, теперь я люблю тебя; я хотел бы утешить тебя и призвать тебе в помощь и мой разум, и твой собственный. Соблаговоли занять покои у меня во дворце; живущий в нем любит добродетель, и ты не окажешься там чужаком.

На следующий день в Бактриане был всеобщий праздник. Царица вышла из дворца в сопровождении всех своих придворных. На колеснице предстала она перед огромной толпою народа. Покрывало, прятавшее лицо ее, позволяло видеть прелестный стан; любовь подданных, казалось, являла их взорам невидимые под покрывалом черты ее лица.

Она сошла с колесницы и вступила в храм. Бактрианские вельможи проследовали за нею. Царица простерлась ниц и вознесла безмолвную молитву; затем приподняла покрывало, собра-

лась с мыслями и промолвила вслух:

— Бессмертные боги! Царица Бактрианы благодарит вас за победу, которую вы ей даровали. Довершите ваши благодеяния, не допустив, чтобы она когда-либо употребила ее во зло. Сделайте так, чтобы не ведала она ни страстей, ни слабостей, ни прихотей; пусть опасается лишь того, чтобы творить зло, и уповает лишь на то, чтобы творить добро; и уж коль сама она не может быть счастлива, — присовокупила царица голосом, прерывающимся от рыданий, — сделайте хотя бы так, чтобы счастлив был ее народ.

Жрецы свершили богослужение по установленному обряду; царица вышла из храма, взошла на колесницу, и народ проводил ее до самого дворца.

Несколько мгновений спустя Аспар прошел к себе в покои; он искал чужеземца и застал его в глубочайшей печали. Он сел подле него и, удалив всех, кто там был, промолвил:

— Откройся мне, заклинаю тебя. Разве тебе неведомо, что встревоженному сердцу сладостно излить свои муки? Это приносит такое же умиротворение, какое приносит отдохновение в покойном месте.

— Мне пришлось бы, — отвечал чужеземец, —

поведать тебе обо всех событиях моей жизни.

— Этого я и хочу, — подхватил Аспар. — Ты будешь говорить с человеком чувствительным: не таи от меня ничего, для дружбы все важно.

Любопытство Аспара было вызвано не одними только дружескими побуждениями и человеколюбием. Он хотел удержать этого необыкновенного человека при бактрианском дворе; он стремился узнать поглубже того, кому уже отвел место в своих замыслах и кого прочил в уме для самых великих деяний.

Чужеземец призадумался на мгновение и начал так:

— Любовь составила все счастие и все несчастие моей жизни. Начало ее она усеяла горестями и наслаждениями; а затем оставила в ней только слезы, стенания и сожаления.

Я рожден в Мидии,{60} и в роду моем немало славных предков. Мой отец одержал славные победы во главе мидийских ратей. Я утратил его в детстве, и мои воспитатели внушили мне, что его доблести — прекраснейшая часть моего наследства.

{60} Комментарии: 2.60

Мидия — древнее государство, расположенное на Иранском нагорье; одно время пользовалось независимостью, достигло определенного могущества и вело войны с Персией.

Когда мне минуло пятнадцать лет, меня женили. Мне не дали того непомерного множества жен, коим обременяют в Мидии людей моего происхождения. Мои воспитатели желали следовать природе и внушить мне, что коль скоро ограничены потребности чувств, то еще того более ограничены потребности сердца.

Средь прочих моих жен Ардазиру выделяло не только ее положение, но и моя любовь. Ей была свойственна гордость, на диво смягченная кротостью; чувства ее были на диво благородны, несходны с теми, кои вечное угождение вселяет в сердца азиаток; к тому же она была так хороша собою, что глаза мои видели лишь ее одну, и сердцу моему были неведомы остальные женщины.

Лицо ее было прелестно, стан, выражение, изящество, звук голоса, очарование речей — все в ней меня пленяло. Я готов был внимать ей без конца, никогда не уставал любоваться ею. Для меня ничто в природе не могло сравняться с нею совершенством, мое воображение питалось лишь тем, что находил я в ней; и когда я думал о счастии, доступном людскому племени, мне виделось неизменно мое собственное.

Мое происхождение, богатства, юность и некоторые личные достоинства побудили царя

предложить мне в жены свою дочь. Среди мидян принят нерушимый обычай: тот, кто удостаивается подобной чести, расстается со всеми остальными своими женами. В этом почетном союзе я видел лишь утрату того, чем дорожил больше всего на свете; но принужден был глотать слезы и выказывать веселость. В то время как весь двор поздравлял меня с милостью, всегда опьяняющей придворных, Ардазира не домогалась свидания со мною; я же и страшился встречи с нею, и искал ее. Я пришел к ней в покои; я был в отчаянии. «Ардазира, — молвил я, — я тебя теряю». Но она хранила глубокое молчание; ни ласки, ни укоризны; ни слезинки в опущенных глазах; смертельная бледность покрывала лицо ее, на коем читалось мне негодование вперемежку с отчаянием.

Я хотел поцеловать ее; она, казалось, была ледяною, и я почувствовал, что шевельнулась она затем лишь, чтобы уклониться от моих объятий.

Вовсе не трусость понудила меня согласиться на брак с царевною, и, если б не страх за Ардазиру, я, верно, пошел бы на самые жестокие муки. Но при мысли о том, что мой отказ неминуемо приведет к ее гибели, мой разум помрачался и я покорно отдавался во власть своего несчастия.

Меня препроводили в царский дворец и лишили права выхода оттуда. Я узрел это место, созданное всем в уныние и в утеху одному; место, где при всей тишине вздохи любви едва слышны; место, где властвуют печаль и великолепие, где все неодушевленное приветливо, а все, в чем есть жизнь, сумрачно; где все приходит в движение или впадает в оцепенение только по воле властителя.

В тот же день меня привели пред очи царевны; она могла жечь меня взглядами, мне не дозволялось поднимать очей. Странное действие величия! Если ее глаза могли говорить, мои не могли отвечать. Два евнуха с кинжалами в руках готовы были смыть моей кровью оскорбление, которое нанес бы я ей одним своим взглядом.

Какое испытание для сердца, подобного моему, — перенести на брачное ложе рабскую преданность царедворца, постоянно зависящего от монарших прихотей или знаков презрения; из всех чувств иметь лишь право на благоговение и утратить навсегда то, что может составить утешение даже в неволе: сладость любить и быть любимым!

Но что испытал я, когда один из евнухов царевны потребовал моей подписи под приказом об

удалении всех моих жен! «Подписывай, — молвил он, — и восчувствуй кротость сего повеления. Я доложу царевне о том, сколь незамедлительно исполнил ты приказ». Слезы брызнули у меня из очей; я стал было писать, но остановился. «Во имя богов, — сказал я евнуху, — погоди, я изнемогаю…» — «Господин, — отвечал он, — ты рискуешь и своей головой, и моею; мы того и гляди превратимся в преступников; там считают мгновения; я уже должен был вернуться с твоею подписью». Рука моя, торопясь или дрожа (ибо разум был занят другим), вывела знаки, самые пагубные из всех, кои мне довелось начертать.

Жен моих увели накануне моего вступления в брак; но Ардазире удалось подкупить одного из моих евнухов, она нарядила в свои одежды и покрывала рабыню, схожую с нею ростом и осанкой, а сама укрылась в тайном покое. Евнуха она убедила, что собирается посвятить себя служению богам, став жрицею.

Ардазира была слишком возвышенна душою для того, чтобы покориться повелению, произвольно лишавшему законных жен их положения. Злоупотребление властью отнюдь не внушало ей почтения к власти. Сие тиранство побуждало ее искать помощи у природы, а собственное бесси-

лие — у отчаяния.

Брачный обряд свершился в царском дворце. Я ввел царевну в мой дом. Там все: песнопения, пляски, пиршества — должно было знаменовать ликование, коего сердце мое вовсе не испытывало.

Когда настала ночь, все придворные нас покинули. Евнухи отвели царевну в ее покои: увы! сколько раз клялся я там в любви Ардазире. Я удалился к себе, объятый бешенством и отчаянием.

Наступил час Гименея. Я пошел тем же неведомым почти никому в доме переходом, по которому столько раз вела меня любовь. Одинокий, печальный, погруженный в думы, шел я во мраке, как вдруг завидел пламя факела. Предо мною предстала Ардазира с кинжалом в руке. «Арзас, — молвила она, — ступай и скажи своей новой супруге, что я умираю на этом месте; скажи ей, что я оспаривала твое сердце до последнего вздоха». Она собиралась нанести себе удар, я удержал ее руку. «Ардазира, — вскричал я, — какое ужасное зрелище хочешь ты явить моим очам! — И, раскинув руки, добавил: — Прежде порази того, кто первым уступил варварскому закону». Она побледнела и выронила кинжал. Я поцеловал ее, и душа моя каким-то чудом словно

бы успокоилась. Я сжимал в объятиях ту, кто была мне так дорога, всем существом предаваясь блаженству любви. Я гнал прочь все мысли, даже мысль о своем несчастии. Мне казалось, что Ардазира — моя, мнилось, что отныне ее у меня не отнимут. Странное действие любви! Сердце мое пылало, а душа оставалась покойна.

К сознанию моего положения меня вернули слова Ардазиры. «Арзас, — сказала она, — покинем эти роковые места, бежим. Чего нам страшиться? Мы умеем любить, сумеем умереть...» — «Ардазира, — отвечал я, — клянусь, ты всегда будешь моею, будет так, как если бы объятиям этим никогда не разомкнуться; никогда не расстанусь я с тобою... Призываю в свидетели богов, что одна лишь ты составишь счастие моей жизни. Ты предлагаешь мне великодушный замысел; еще того прежде внушила его мне любовь; теперь она вложила его тебе в уста; ты увидишь, люблю ли я».

Я расстался с нею и, кипя любовью и нетерпением, ринулся отдать все необходимые распоряжения. Двери, ведущие в покои царевны, по моему приказу заперли. Я взял столько золота и драгоценностей, сколько мог унести. Рабов я направил по разным дорогам, а сам пустился в путь вдвоем

с Ардазирой под покровом наводящей ужас ночи; все внушало мне надежды, все внушало страх; временами мое природное мужество отказывало мне; меня донимали все страсти, порою даже угрызения совести, и я не знал, долгу я повинуюсь или любви, понуждающей нас забывать о нем.

Умолчу о бесконечных опасностях, подстерегавших нас. При всей слабости, присущей ее полу, Ардазира воодушевляла меня: она изнемогала, но следовала за мною повсюду. Я бежал общества людей, ибо все люди стали мне врагами; я искал лишь пустынь. Мы добрались до неприступных гор, где водились во множестве тигры и львы. Близость диких зверей служила мне залогом безопасности. «Уж сюда-то, — говорил я Ардазире, — не доберутся евнухи царевны и стражники мидийского царя». Но в конце концов хищники стали появляться столь часто, что я узнал страх. Тех, которые подходили слишком близко, я поражал из лука; ибо, не обременив себя средствами, необходимыми для поддержания жизни, я запасся оружием, с помощью которого повсюду мог эти средства раздобыть. Когда хищники подступили к нам со всех сторон, я высек искры из кремней и поджег хворост; ночи я проводил близ огня, бряцая оружием. Иногда я поджигал лес и гнал

перед собою напуганных зверей. Мы вступили в местность более равнинную, и меня восхитило бесконечное безмолвие природы. Оно говорило мне о временах, когда родились боги и первой явилась в мир красота; любовь воспламенила ее, и все ожило.

Наконец мы покинули пределы Мидии. Властелином мира я возомнил себя в пастушьей хижине, где мог сказать, что я принадлежу Ардазире, а Ардазира — мне.

Мы прибыли в Маргиану,{61} там нашли нас наши рабы. Мы поселились за городом, вдали от шумного мира. Всецело занятые друг другом, мы упивались нашими нынешними радостями и минувшими горестями.

Ардазира рассказывала мне о том, каковы были ее чувства в ту пору, когда нас оторвали друг от друга; о том, как ревновала она меня, думая, что я разлюбил ее; о муках, кои она изведала, убедившись, что я люблю ее; о том, какую ярость вызвал у нее варварский закон и какой гнев — я сам, когда ему подчинился. Вначале она замыслила лишить жизни царевну, но отказалась от этого намерения: ей было сладостнее умереть самой

{61} Комментарии: 2.61

Маргиана — область в Средней Азии; в VI в. до н. э. была завоевана Персией, позднее вошла в состав государства Александра Македонского.

у меня на глазах, она не сомневалась, что это зрелище не оставит меня равнодушным. Когда я заключил ее в объятия, говорила она, и когда она предложила мне бегство, она уже не сомневалась во мне.

Никогда Ардазира не была столь счастлива; она была зачарована. Мы не жили более с мидийской роскошью, но нравы наши смягчились. Все наши потери представлялись ей великими жертвами, которые я ей принес. Кроме нее у меня никого не было. Сераль, этот приют наслаждений, всегда наводит на мысль о сопернице, а коль скоро наслаждение сочетается с любовью, чем сильнее любовь — тем сильнее тревога.

Но Ардазире чужды были опасения, — сердце уверилось в сердце. Кажется, что такого рода любовь обладает свойством придавать приветливость всему, что нас окружает, и лишь потому, что нам по сердцу предмет любви, ее велением все в природе становится нам по сердцу; кажется, что такого рода любовь — та милая пора ребячества, когда все служит забавам и все вызывает веселье.

Мне сладостно рассказывать об этой счастливой поре нашей жизни. Иногда в лесу я терял Ардазиру из виду и находил по звукам ее пре-

лестного голоса. Она украшала себя цветами, собранными мной; я украшал себя цветами, собранными ею. Пение птиц, журчанье источников, пляски и песнопения наших юных рабов, нега, разлитая повсюду, были неизменными свидетелями нашего счастия.

То Ардазира была пастушкою и являлась мне без украшений и уборов в своем природном простодушии, то я снова видел ее такою, какой чаровала она меня в мидийском серале.

Ардазира занимала своих женщин восхитительными трудами: они пряли гирканскую шерсть, окрашивали ткани тирским пурпуром. Весь дом вкушал простодушную радость. Мы с наслаждением снисходили до равенства с природою; мы были счастливы и хотели жить среди счастливцев. В поддельном счастии люди становятся черствы и надменны, и счастие это не передается другим; истинное счастие делает их мягкими и чувствительными, и это счастие всегда разделено с окружающими.

Помню, Ардазира выдала одну из своих любимых служанок замуж за моего вольноотпущенника. Любовь и юность образовали сей союз. Любимая служанка молвила Ардазире: «Ведь нынешний день — первый брачный день гос-

пожи». — «Все дни моей жизни, — отвечала Ардазира, — будут этим первым днем».

Тебя удивит, быть мажет, что я, изгнанник, утративший право вернуться в Мидию, готовившийся к бегству не долее мгновения и захвативший с собою лишь те деньги и драгоценности, что оказались под рукою, располагал в Маргиане состоянием, достаточным для того, чтобы обзавестись дворцом, множеством слуг и всяческими приятностями жизни. Я и сам дивился тому, дивлюсь и поныне. По необъяснимой причуде судьбы я не видел никакого способа найти средства к жизни и находил их повсюду. Золото, самоцветы, драгоценности словно бы сами текли ко мне в руки. Случайности, скажешь ты. Но случайности, столь часто повторявшиеся и столь неизменно одни и те же, не могли быть случайностями. Ардазира думала вначале, что я хочу доставить ей приятное удивление и захватил с собою богатства, о коих она не ведала. Я, в свой черед, мнил, что она располагает сокровищами, о коих мне неизвестно. Но вскоре и она, и я убедились, что заблуждаемся. Не раз случалось мне найти в своей опочивальне свертки, заклю-

чавшие в себе по нескольку сотен дариков;{62} Ардазира находила у себя шкатулки с самоцветами. Однажды, когда я гулял в саду, мне на глаза попался ларчик, набитый золотыми монетами, а другой такой же я нашел в дупле дуба, под коим обыкновенно отдыхал. Не буду говорить о других находках. Я был уверен, что ни один человек в Мидии не знает моего местопребывания; да, впрочем, я знал, что оттуда мне нечего ждать помощи. Я ломал себе голову, пытаясь понять, откуда текут ко мне эти вспомоществования, но все приходившие мне на ум догадки сводили на нет одна другую.

— В сказках говорится, — сказал Аспар, прерывая Арзаса, — о могущественных гениях, которые испытывают приязнь к людям и делают им много добра. Из всего, что слышал я об этом предмете, ничто не убеждало мой разум; но тем более дивит меня то, что слышу я от тебя. Ты рассказываешь то, что знаешь из опыта, а не понаслышке.

— От кого бы ни шла эта помощь, — продолжал Арзас, — от человека или от сверхъестественного

{62} Комментарии: 2.62

Дарик — персидская золотая монета с изображением на лицевой стороне царя Дария. Это была основная денежная единица на Ближнем Востоке и в Средней Азии до середины IV в. до н. э. (то есть до завоеваний Александра Македонского).

существа, истинно то, что она приходила всегда; подобно тому, как бессчетное множество людей находит повсюду нищету, я находил повсюду богатства, и, что удивит тебя еще более, богатства эти всегда появлялись в определенный миг: стоило мне заметить, что сокровища мои на исходе, как я обретал новые, столь бдителен был охранявший нас разум. Более того, предупреждались не только наши потребности, но и наши прихоти. Мне совсем не по вкусу, — добавил чужеземец, — рассказывать небылицы; я говорю лишь то, во что принужден верить, а не то, во что мне хочется заставить поверить тебя.

Накануне свадьбы служанки некий юноша, прелестный, как Амур, принес мне корзину прекраснейших плодов. Я дал ему несколько монет; он взял их, оставил корзину и не появлялся более. Я отнес Ардазире корзину, оказавшуюся тяжелей, чем я думал. Когда плоды были съедены, мы обнаружили на дне груду дариков. «Это гений, — толковали домашние, — он принес сокровище на свадебные расходы».

«Я убеждена, — говорила Ардазира, — что действительно есть некий гений, творящий нам на благо эти чудеса. Для разумных существ, стоящих над нами, нет, должно быть, ничего приятнее

любви: одной только любви присуще совершенство, могущее возвысить нас до них. Арзас, то воистину гений, читающий у меня в сердце и знающий, сколь нежно я люблю тебя. Хотела бы я узнать его, и пусть бы поведал он мне, сколь нежно меня любишь ты».

Но возвращаюсь к повествованию.

Страсть Ардазиры и моя обрели каждая свой особый отпечаток, вызванный различием в воспитании и в характерах. Ардазира дышала для одной лишь любви; страсть была ей всей жизнию; душа ее вся полнилась любовью. Ей не дано было любить меня слабее; равным образом, она не могла любить сильнее. Я, мнилось, превосходил ее пылкостью, ибо любовь моя могла показаться не всегда единообразною. Владычествовать над всеми моими помыслами было дано одной лишь Ардазире; но существовали вещи, которые могли развлечь меня. Я травил в лесах оленей, подстерегал хищников.

Вскоре мне вообразилось, что я веду жизнь слишком безвестную. Я поселился, говорил я, во владениях царя Маргианы; почему бы мне не явиться ко двору? Слава отца моего пришла мне на память. Нелегкое это бремя — громкое имя, коего блеск надобно поддерживать, в то время

как доблести людей обыкновенных — не столько предел, на коем нужно остановиться, сколько предел, откуда должно двигаться вперед! Право, сдается мне, что обязательства, возлагаемые на нас другими, сильнее тех, которые возлагаем на себя мы сами. Когда я жил в Мидии, говорил я, мне приходилось принижать себя и прятать добродетели тщательнее, нежели пороки. Но ныне, когда я сам себе хозяин, когда я независим, ибо лишен родины, свободен средь лесов, как дикий лев, коль я пребуду в заурядности, заурядность передастся и душе моей.

Мало-помалу мысли эти сделались мне привычными. Когда мы счастливы, мы хотим быть еще счастливее, — такова наша природа. Даже в блаженстве нам ведомы порывы нетерпения. Ибо, подобно тому как разум наш — череда мыслей, сердце наше — череда желаний. Когда мы чувствуем, что наше счастье уже не может возрасти, мы хотим обновить его образ. Порою сама любовь подстегивала мое честолюбие: я надеялся стать более достойным Ардазиры и, невзирая на ее мольбы и слезы, расстался с нею.

Не буду говорить, какое жестокое насилие мне пришлось совершить над собою. Сотни раз готов был я повернуть вспять. Мне хотелось пасть на

колени пред Ардазирою; но чувство стыда при мысли о том, что я изменю себе, уверенность, что у меня не хватит более духу расстаться с нею, привычка принуждать сердце к трудным деяниям — все это побудило меня продолжать путь.

Царь принял меня со всяческими почестями. Мне почти не дали почувствовать, что я чужеземец. Я участвовал во всех увеселениях; он оказывал мне предпочтение перед всеми моими сверстниками, и не было в Маргиане ни сана, ни должности, на каковые я не смел бы уповать.

Вскоре мне представился случай оправдать царские милости. Маргианский двор давно уже ведать не ведал о войнах. Вдруг стало известно, что на границе появилось несметное полчище варваров, что они начисто разгромили выдвинутое против них войско и теперь спешно подходят к столице. Будь город взят приступом, смятение, его охватившее, не было бы безнадежнее. Этим людям знакомо было лишь благоденствие, им не под силу было отличить одну степень несчастия от другой и поправимое от непоправимого. Второпях созвали совет, и, поскольку я состоял при особе царя, я принял в нем участие. Царь был в отчаянии, а советники его обезумели. Очевидно было, что их не спасти, если не вернуть им му-

жество. Главный сановник говорил первым. Он предложил увезти царя из столицы и сдать ключи от города неприятельскому главнокомандующему. Он собирался изложить свои доводы, и все члены совета готовы были их принять. Я встал, когда он еще держал речь, и сказал ему: «Еще одно слово, и я убью тебя. Нельзя, чтобы великодушный государь и эти добрые люди расточали время и слух на советы труса». И, оборотившись к царю, я добавил: «Государь, могучая держава не рушится от одного толчка. У тебя есть несметные силы; вот когда с ними будет покончено, тогда ваше величество сможет потолковать с этим человеком о том, что надлежит делать — умереть или последовать трусливым советам. Друзья, поклянемся все вместе защищать государя до последнего вздоха. Двинемся же на врага во главе с государем, вооружим народ и поделимся с ним нашим мужеством».

Город подготовился к обороне, а я занял позицию за крепостной стеной с отрядом из отборных воинов, частью маргианцев, частью верных людей, которых я привел с собою. Мы отбили несколько неприятельских вылазок. Конное войско отрезало варварам пути подвоза съестных припасов. Осадных машин у них не было. Наше

войско приумножалось день ото дня. Варвары отступили, и Маргиана от них избавилась.

В шуме и суматохе придворной жизни я вкушал одни лишь ложные радости. Где бы я ни был, мне повсюду не хватало Ардазиры, и сердце мое неизменно стремилось к ней. Я познал истинное счастие и бежал от него; я покинул истинные утехи в поисках заблуждений.

Со времени моего отбытия Ардазира не ведала чувства, которому с самого начала не противоборствовало бы какое-нибудь другое. Она изведала все страсти — ни одна не приносила утешения. Она хотела хранить молчание; хотела слать жалобы; бралась за перо, чтобы написать мне; в досаде отказывалась от этого намерения; не решалась выказать чувствительность, безразличие — еще того менее; наконец душевная боль придала ей решимости, и она написала мне следующее письмо:

> Когда б у тебя в сердце сохранилось хоть немного сострадания, ты никогда не покинул бы меня; ты бы ответил на столь нежную любовь и не забыл бы о перенесенных нами вместе несчастиях; ты принес бы мне в жертву суетные мысли:

да, жестокосердый, ты ощутил бы горечь утраты в тот час, когда утратил ту, чье сердце живо тобой одним. Как знать, быть может, вдали от тебя у меня недостанет мужества влачить существование? А если я умру, варвар, усомнишься ли ты, что я умерла из-за тебя? Боги свидетели, из-за тебя, Арзас! Любовь моя, столь искусно выискивавшая поводы для опасений, никогда не побуждала меня страшиться сей муки. Я полагала, что мне придется оплакивать лишь горести Арзаса, а к своим собственным я пребуду всю жизнь нечувствительна…

Я не мог читать без слез это письмо. Сердце мое было охвачено скорбью; и к чувству сострадания примешивались мучительные угрызения совести, оттого что я сделал несчастливой ту, кого люблю пуще жизни.

Мне пришло на ум уговорить Ардазиру явиться ко двору; но я тотчас отказался от этой мысли.

Маргианский двор — чуть ли не единственный в Азии, где женщинам открыт доступ в общество мужчин. Царь был молод, и я подумал о его всемогуществе и о том, что он может полюбить.

Ардазира могла ему приглянуться, и мысль эта была для меня ужаснее тысячи смертей.

Мне осталось одно — вернуться к ней. Ты будешь удивлен, когда узнаешь, что остановило меня.

Я ждал, что в любой миг царь окажет мне блистательные знаки благодарности. Мне представлялось, что, когда я предстану пред Ардазирою в новом блеске, мне легче будет оправдаться перед нею. Мне думалось, что любовь ее оттого возрастет, и я предвкушал, с каким упоением повергну к стопам ее мою новообретенную фортуну.

Я сообщил ей, по каким причинам приезд мой откладывается; это-то и повергло ее в отчаяние.

Я столь быстро оказался в милости у царя, что ее стали приписывать склонности, которую якобы питала ко мне сестра его, царевна. Подобные вещи всегда принимаются на веру, стоит лишь однажды пустить слух. Раб, приставленный ко мне Ардазирою, известил о нем свою госпожу. Сама мысль о сопернице повергла ее в отчаяние. Оно усугубилось, когда ей сделалось известно о деяниях, недавно мною совершенных. Она не сомневалась, что столь великая слава еще усилила любовь.

— Я не царевна, — говорила она в негодова-

нии, — но уверена, что нет на земле царевны, достойной того, чтобы я уступила ей сердце, по праву принадлежащее лишь мне одной; и если я доказала это в Мидии, то докажу и в Маргиане.

Перебрав тысячу замыслов, она остановилась на одном, и вот что она задумала.

Избавившись от большинства своих рабов, она обзавелась новыми, распорядилась обставить дворец в согдийских землях и, переодетая, в сопровождении неизвестных мне евнухов явилась ко двору. Договорившись со своим доверенным рабом, она вместе с ним подготовила все для того, чтобы похитить меня на следующий же день. Я должен был пойти на реку искупаться. Раб привел меня на ту часть берега, где меня ждала Ардазира. Едва успел я раздеться, как был схвачен; на меня накинули женское одеяние; меня посадили в закрытый со всех сторон паланкин; путешествие длилось несколько дней и ночей подряд. Скоро мы оставили пределы Маргианы и прибыли в согдийские пределы. Здесь меня поместили затворником в огромном дворце и дали мне понять, что меня похитили по велению той самой царевны, которая, по слухам, питала ко мне склонность; в ее-то удельное владение меня и доставили тайно.

Ардазира желала, чтобы и сама она, и я остались неузнанны: ей хотелось насладиться моим заблуждением. Все непосвященные принимали ее за царевну. Но пребывание мужчины у нее во дворце было бы ей не к чести. Поэтому мне оставили мои женские одежды, и все полагали, что я новоприобретенная рабыня, предназначенная царевне в услужение.

Мне шел семнадцатый год. Говорили, что мне присуща вся свежесть молодости, и красоту мою расхваливали, точно я был одной из дев повелительницы.

Ардазира, памятуя, что я покинул ее ради славы, замыслила всеми возможными способами изнежить мое мужество. Ко мне приставили двух евнухов. Целыми днями меня наряжали; освежали мой цвет лица притираньями; меня купали и умащали восхитительнейшими благовониями. Я никогда не покидал пределов дворца; меня приучали убирать самого себя, а пуще всего старались, чтобы я свыкся с повиновением, гнетущим женщин в огромных сералях Востока.

Такое обхождение приводило меня в ярость. Чтобы избавиться от уз, я был готов на все, но, будучи безоружен и окружен людьми, ни на миг не спускавшими с меня глаз, я страшился не столько

самого предприятия, сколько неудачи, которую мог бы потерпеть. Я надеялся, что в дальнейшем меня будут стеречь не так тщательно, что мне удастся подкупить кого-либо из рабов и выбраться отсюда либо умереть.

Признаюсь даже: развязки всего этого я ждал не без любопытства, от коего мысль моя становилась как-то медлительнее. Я испытывал стыд, скорбь, смятение, но, к собственному удивлению, не в столь сильной степени, как можно было ожидать. В уме моем рождались замыслы; все они выливались в какое-то замешательство; тайное очарование, неведомая сила удерживали меня в этом дворце.

Поддельная царевна показывалась лишь под покрывалом, и я никогда не слышал ее голоса. Целыми днями она глядела на меня в решетчатое оконце, проделанное в стене моей опочивальни. Иногда она призывала меня к себе в покои. Там ее рабыни напевали сладкозвучнейшие гимны, и все вокруг словно говорило о ее любви. Я всегда должен был быть как можно ближе к ней, она занималась лишь мною; ей вечно приходилось что-то поправлять в моем наряде, она расчесывала мне волосы, пробуя убрать их по-другому, и никогда не бывала довольна сделанным.

Однажды меня позвали к ней. Она лежала на ложе, крытом пурпуром, окутанная, как и прежде, покрывалами; голова томно клонилась; казалось, она пребывает в сладостной неге. Я приблизился, и одна из рабынь сказала мне так: «Любовь благоприятствует тебе, ты был приведен сюда в этом наряде по ее наущению. Царевна любит тебя; ей покорились бы все сердца, но надобно ей лишь твое». — «Как мог бы я, — сказал я со вздохом, — отдать сердце, мне не принадлежащее? Любезная моя Ардазира владеет им и будет владеть вечно».

Я не заметил, чтобы, услышав эти слова, Ардазира выказала волнение, но позже она говорила мне, что никогда дотоле не испытывала столь великой радости.

«Дерзновенный! — вскричала рабыня. — Царевна, должно быть, разгневана, подобно тому как боги гневаются на несчастных, посмевших отвергнуть их любовь!» — «Я изъявлю ей свою преданность всеми способами, — отвечал я, — мое благоговение, моя признательность умрут со мною, но судьба, жестокая судьба не позволяет мне любить ее. Могущественная царевна, — добавил я, бросаясь к ее ногам, — заклинаю тебя твоим венцом, забудь того, кто никогда не сможет быть

достоин тебя, ибо вечно будет любить другую».

Мне послышался глубокий вздох и показалось, что по лицу ее струятся слезы. Я корил себя за бесчувственность; мне хотелось бы (хотя я и понимал, что это несбыточно) не отнимать надежду у ее любви и сохранить верность моей.

Меня отвели в мои покои: несколько дней спустя я получил следующее письмецо, писанное незнакомой мне рукой:

> Любви царевны присуща пылкость, но не тиранство; она не будет сетовать на твое нежелание разделить ее чувство, если ты докажешь, что нежелание это — не пустая прихоть. Приди же и поведай царевне, какие причины побуждают тебя хранить верность этой Ардазире.

Меня снова привели к царевне. Я поведал ей всю историю своей жизни. Когда я рассказывал о своей любви, слышались ее вздохи. Она держала мою руку в своей и в те мгновения, когда моя повесть трогала сердца, невольно сжимала мне руку.

«Начни сначала, — молвила мне одна из рабынь, — с того места, когда мидийский царь предлагает тебе в жены свою дочь. Расскажи нам

снова про то, как страшился ты за Ардазиру во время вашего бегства. Поведай царевне об утехах, коим предавались вы, когда вдали от света жили в маргианских землях».

Мне так и не удалось все пересказать: я повторял, и она, казалось, запоминала; я кончал рассказ, а ей представлялось, что сейчас я начну сначала.

На следующий день я получил такую записку:

> Мне понятна твоя любовь, и я не требую, чтобы ты принес ее мне в жертву. Но уверен ли ты, что эта Ардазира все еще любит тебя? Что, если ты отвергаешь сердце боготворящей тебя царевны ради неблагодарной?

Я написал в ответ:

> Ардазира любит меня такой любовью, что я не вправе молить богов о том, чтобы любовь эта стала еще сильнее. Увы! Быть может, она слишком любила меня. Я вспоминаю письмо, которое она написала некоторое время спустя после того, как я ее покинул. Если бы ты прочла его, о царевна, тебя растрогали бы изъявле-

ния ее скорби, нежные и яростные сразу. Покуда я, помимо воли, пребываю здесь, страшусь, как бы отчаяние, вызванное разлукой со мною, и отвращение к жизни не натолкнули ее на решение, которое будет стоить жизни мне.

Она отвечала:

Будь счастлив, Арзас, и отдай всю свою любовь любящей тебя красавице; что до меня, то я домогаюсь лишь твоей дружбы.

На другой день меня провели к ней в покои. Там все влекло к сладострастию. По всей опочивальне разливался нежный аромат приятнейших благовоний. Она явилась моим взорам томно возлежащею на ложе, коему завесою были лишь гирлянды цветов. Протянув мне руку, она усадила меня возле себя. Все вплоть до покрывала, прятавшего от меня ее лик, было исполнено прелести. Я видел очертания прекрасного тела. Оно было задрапировано лишь простым полотном, которое, повторяя ее движения, то приоткрывало восхитительные прелести, то вновь их скрывало. Она заметила, что глаза мои заняты, и, когда

увидела, что они загорелись, ткань распахнулась сама собой; я увидел сокровища божественной красоты. В это мгновение она сжала мою руку, глазам моим была дана полная воля. «Одна лишь любезная Ардазира может быть столь прекрасна, — вскричал я, — но призываю в свидетели богов, что моя верность…» Она бросилась мне на шею и сжала меня в объятиях. Внезапно в опочивальне сделалось темно, ткань, прикрывавшая ее, упала; она подарила мне поцелуй. Я был вне себя. Внезапный огонь пробежал по моим жилам, воспламенив все чувства. Мысли об Ардазире меня покинули. Разве что слабое воспоминание… Но оно казалось далеким, как сон… Я собирался… собирался предпочесть ее ей же самой. Руки мои уже легли ей на перси, они торопились коснуться всех ее прелестей, любовь являла уже свое неистовство, стремясь к победе; еще мгновение, и Ардазира не могла бы защищаться долее; но она вдруг сделала над собой усилие, затрепетав, высвободилась из моих объятий, и я утратил ее.

Я возвратился к себе в покои, сам дивясь собственному непостоянству. На другой день ко мне в опочивальню явились слуги, они вернули мне приличествующие моему полу одежды, и вечером меня отвели к той, образ которой все еще

пленял меня. Я приблизился к ней, стал пред нею на колени и, вне себя от любви, стал говорить о своем счастии, сетовать на собственные отказы, молить, обещать, требовать; я решился все сказать, хотел все узреть, намерен был всего достичь. Но я нашел странную перемену: она казалась ледяною; и, насладившись моей растерянностью и замешательством, она заговорила со мною, и я услышал ее голос в первый раз: «Не хочешь ли ты видеть лицо той, кого любишь?» Звук этого голоса поразил меня: я замер в неподвижности; я надеялся, что передо мною Ардазира, и страшился этого. «Подними это покрывало», — проговорила она. Я повиновался и увидел лицо Ардазиры. Я хотел заговорить, но голос мой пресекся. Любовь, изумление, радость, стыд — все страсти поочередно владели мною. «Ты Ардазира?» — сказал я ей. «Да, коварный, — отвечала она, — это я». — «Ардазира, — проговорил я прерывающимся голосом, — почему ты так тешишься над несчастным влюбленным?» Я хотел поцеловать ее. «Господин мой, — молвила она, — я твоя. Увы! Я надеялась, что ты выкажешь мне больше верности. Довольствуйся тем, что ты здесь повелеваешь. Если будет на то твоя воля, покарай меня за то, что я содеяла. Арзас, — добавила она,

рыдая, — ты этого не заслуживаешь».

«Любезная моя Ардазира, — сказал я, — почему ты приводишь меня в отчаяние? Ужели тебе хотелось бы, чтобы я остался нечувствителен к прелестям, всегда мною боготворимым? Заметь, что ты сама с собою не в ладу. Не тебя ли я любил? Не эти ли прелести неизменно меня чаровали?»

«Ах, — сказала она, — ты и другую любил бы».

«Никогда не любил бы я никого, кроме тебя, — отвечал я. — Никто, кроме тебя, не мог бы пленить меня. Что было бы, когда бы я не увидел этих восхитительных черт, не услышал этого голоса, не встретил этого взора? Но пощади, не приводи меня в отчаяние, подумай, что из всех возможных измен я совершил самомалейшую».

По томности в ее очах я понял, что она не гневается более, и то же понял я по слабеющему ее голосу. Я сжал ее в объятиях. Какое счастие сжимать в объятиях предмет любви! Как выразить это счастие, коего безмерность дано познать лишь истинным любовникам, когда любовь возрождается из самой себя, когда все сулит, все требует, все повинуется; когда чувствам все дано и всего мало; когда душа словно обретает волю, словно устремляется за пределы естества!

Придя в себя, Ардазира промолвила: «Любезный

мой Арзас, любовь, что я к тебе питаю, толкнула меня на странные поступки. Но истинно пылкая любовь не ведает ни правил, ни закона. Тот ее не знает, кто не включает причуд в число величайших ее утех. Во имя богов не покидай меня более. Чего недостает тебе? Ты счастлив, когда любишь меня, ты уверен, что никто из смертных не был так любим. Скажи, обещай, клянись мне, что ты останешься здесь».

Я принес ей тысячу клятв, прерываемых лишь объятиями, и она мне поверила.

Счастлива любовь, уже утоленная, когда, найдя способ выказать себя в ощущениях, она стремится явить себя разумению, когда, насладясь прелестями, она упивается одними только приятностями!

В Согдиане жизнь наша потекла в таком блаженстве, что мне не передать словами. В Маргиане я пробыл всего несколько месяцев, и этого времени мне было довольно, чтобы излечиться от честолюбия. Я успел снискать царскую милость, но вскоре заметил, что царь не может простить мне ни моей храбрости, ни собственного малодушия. Мое присутствие приводило его в замешательство — стало быть, он не мог любить меня. Его придворные, лишь только заметили

это, стали остерегаться, дабы не изъявить мне излишнего почтения; и для того чтобы я не вменил себе в заслугу спасение государства от опасности, все при дворе сошлись на том, что никакой опасности никогда не было.

Таким образом, проникшись отвращением и к рабству, и к рабам, я не ведал более страсти, кроме любви к Ардазире; я полагал, что буду стократ счастливее, сохранив лишь те узы, которые мне по сердцу, и не променяю их на другие, которые возненавижу.

Нам казалось, что гений наш за нами последовал: мы вновь обрели прежнее изобилие, и чудеса возобновились.

Незнакомый рыбарь продал нам рыбу — мне принесли драгоценнейший перстень, найденный у нее в глотке.

Однажды, когда нам понадобились деньги, я отправил на продажу в ближайший город кое-какие драгоценности; мне принесли вырученную за них цену, а несколько дней спустя я увидел драгоценности у себя на столе.

«Великие боги, — вскричал я мысленно, — мне, видно, не обеднеть!»

Мы захотели испытать гения и потребовали у него непомерную сумму. Он тотчас дал нам знать,

что желания наши безрассудны. Несколько дней спустя мы нашли на столе самую крохотную сумму, какую нам случилось получить. При виде нее мы не могли удержаться от смеха. «Гений подшучивает над нами», — молвила Ардазира. «Ах, — вскричал я, — боги — мудрые податели: золотая середина, сужденная нам их щедротами, превыше сокровищ, в коих они нам отказывают».

Нами не владела ни одна из страстей, повергающих в скорбь тех, кто ими одержим. Слепое честолюбие, жажда наживы, стремление к власти были бесконечно далеки от нас, словно принадлежали другой вселенной. Такого рода блага созданы лишь для того, чтобы заполнить пустоту в душах, обделенных природою. Они порождены были воображением людей, неспособных чувствовать иные страсти.

Я уже говорил, что малый народец, составлявший челядь нашего дома, боготворил нас. Мы с Ардазирою любили друг друга; и, разумеется, естественное следствие любви состоит в том, что она дарит счастие любящим. Но всеобщее благорасположение со стороны людей, нас окружающих, может подарить больше счастия, чем сама любовь. Люди, здравые сердцем, не могут не

чувствовать себя привольно среди всеобщего благорасположения такого рода. Странное действие природы! Человек всего менее принадлежит себе тогда, когда, казалось бы, принадлежит себе более всего. Сердце лишь тогда сердце, когда приносит в дар себя, ибо услады его — вне его самого.

Вот почему все эти помыслы о величии, неизменно замыкающие сердце в нем самом, обманывают тех, кто ими опьяняется; вот почему люди эти дивятся тому, что не чувствуют себя счастливыми, достигнув того, что мнится им счастием; и вот почему, не находя счастия в величии, они домогаются еще большего величия. Когда они не могут его достичь, они полагают себя еще несчастнее; достигнув же, счастия все же не обретают.

Стоит гордости завладеть нами, и она уже не дает нам принадлежать самим себе, она побуждает нас сосредоточить все помыслы на себе и тем самым неизменно обрекает печали. Печаль эта проистекает оттого, что сердцу одиноко, ибо сердце непрестанно ощущает потребность в наслаждении, но наслаждения не находит; ощущает, что создано для других, и не обретает их.

Таким образом, мы с Ардазирою могли бы вкусить утехи, которые природа дарует всем тем, кто

не бежит ее; могли бы провести жизнь в радости, невинности и мире; могли бы вести счет годам по цветению цветов и созреванию плодов; и годы эти исчезали бы в быстротечности счастливой жизни; каждый день я видел бы Ардазиру и твердил ей о своей любви; и души наши возвратились бы в одну и ту же обитель. Но вдруг счастие мое развеялось, и я познал жесточайшую из превратностей судьбы.

Владыка той страны был тиран, способный на любое преступление; но более всего мерзок он был из-за постоянных оскорблений, чинимых тому полу, на который не дозволено поднимать и очей. От одной из Ардазириных рабынь он проведал, что госпожа ее — прекраснейшая из женщин Востока. Этого было довольно, чтобы он решился отнять ее у меня. Однажды ночью многочисленнейший вооруженный отряд оцепил наш дом, и поутру мне передали повеление тирана отослать к нему Ардазиру. Я увидел, что спасти ее невозможно. Первым моим побуждением было пойти к ней и предать ее смерти, покуда она еще не пробудилась. Я схватил меч, вбежал к ней в опочивальню, отдернул занавеси — и отступил в ужасе, все чувства мои оледенели. Новый приступ ярости овладел мною. Я собрался

было ринуться в гущу наемников, истребляя всех, кого встречу на пути. Но тут мне в голову пришел замысел более разумный, и я успокоился. Я решил облечься в те самые одеяния, которые носил несколько месяцев назад, назваться Ардазирою, сесть в паланкин, присланный за нею тираном, и отправиться к нему. Другого выхода я не видел; к тому же мне было по душе совершить мужественное деяние в тех же одеждах, коими слепая любовь опозорила некогда мой пол.

Все это я исполнил с полнейшим хладнокровием. Я распорядился, чтобы от Ардазиры скрыли, какой опасности я подвергаюсь, и чтобы тотчас после моего отбытия ее переправили в другую страну. Взяв с собою раба, в мужестве которого убедился, я вверился женщинам и евнухам, присланным за мною тираном. Путь длился всего два дня; когда мы прибыли, было за полночь. Тиран давал пир своим женщинам и придворным в одном из садовых павильонов. Он пребывал в состоянии той бессмысленной веселости, которую порождают излишества кутежа. По его приказу меня ввели в пиршественный чертог: он усадил меня подле себя, и я сумел скрыть свою ярость и душевное смятение. Желания мои были не вполне ясны мне самому. Мне хотелось

привлечь взоры тирана; когда же он бросал их на меня, я чувствовал, что гнев мой нарастает. «Он осмеливается вожделеть ко мне, — говорил я себе, — ибо мнит меня Ардазирою». Мне казалось, что обиды, наносимые им, множатся, что он на тысячу ладов оскорбил мое чувство. Меж тем я был готов насладиться жесточайшим мщением. Страсти его разгорались, и я видел, как, сам того не зная, он идет навстречу своей погибели. Покинув пиршественный чертог, он отвел меня в более укромный из садовых павильонов; с нами были один только евнух и мой раб. В своем грубом неистовстве он уж близился к тому, чтобы узнать, какого я пола. «Эта сталь, — воскликнул я, — покажет тебе яснее, что я мужчина. Умри, и пусть скажут в преисподней, что супруг Ардазиры покарал твои злодеяния!»

Он рухнул к моим ногам, и тотчас дверь отворилась, ибо раб мой, едва заслышав мой голос, прикончил евнуха, сторожившего вход, и прошел в покой, где я находился. Мы бежали; долгое время проблуждав в царских садах, мы наткнулись на какого-то человека. Я схватил его так, что он не мог шевельнуться, и воскликнул: «Если ты не выведешь меня отсюда, я всажу этот кинжал тебе в сердце». То был садовник; дрожа от страха, он

довел меня до какой-то калитки и отворил ее; я приказал ему снова запереть калитку и следовать за мною.

Скинув свои одеяния, я закутался в плащ, какие носят рабы. Некоторое время мы бродили по лесам, но волей неожиданного счастия, когда мы уже изнемогали от усталости, нам попался один купец, устроившийся на привал; тут же паслись его верблюды, и мы принудили его помочь нам выбраться из этой роковой страны.

Чем дальше в прошлое отодвигались все многочисленные опасности, тем неспокойнее становилось у меня на сердце. Мне предстояло свидание с Ардазирою, но все побуждало меня страшиться за нее. Ее женщины и евнухи скрыли от нее нависшую было над нами угрозу; но, не видя меня более подле себя, она мнила меня виновным и воображала, что я нарушил все свои бесчисленные клятвы. Будучи увезена без всякого предупреждения, она не могла постичь, что означает сие варварство. Любовь видит то, чего страшится. Жизнь сделалась ей невыносима, она приняла яд — он подействовал не сразу. По прибытии я застал ее при смерти. «Ардазира, — молвил я, — я теряю тебя, ты умираешь, жестокая! Увы! Что сделал я…» Она уронила несколько

слезинок. «Арзас, — молвила она, — мгновение назад смерть казалась мне упоительной, но едва я увидела тебя, как она представилась мне ужасною. Чувствую, что хотела бы вернуться к жизни ради тебя, и пусть бы душа моя рассталась с телом по воле любви, а не смерти. Храни мой образ в памяти; если в царстве теней я узнаю, что он дорог тебе, это избавит меня от мучений. У меня есть хоть то утешение, любезный мой Арзас, что я умираю у тебя в объятиях».

Она рассталась с жизнью. Я не мог бы объяснить, почему и я не расстался с жизнью в тот же миг. Ардазиру вырвали у меня из объятий, и мне почудилось, что меня разлучают с самим собою. Я вперил взгляд в ее тело и замер, словно утратив все чувства. Меня захотели избавить от этого ужасного зрелища, и я ощутил, что душа моя снова обрела всю свою чувствительность. Меня попытались увести — взгляд мой все стремился к роковому предмету моей скорби, я отдал бы тысячу жизней за то, чтобы видеть его еще хоть миг. Ярость меня обуяла, я схватился за меч, собираясь пронзить себе грудь; меня удержали. Я выбежал из этого рокового дворца, чтобы не вернуться более. Рассудок мой помутился; я метался по лесам, оглашая воздух стенаниями. Когда я немного

успокаивался, душа моя всеми силами отдавалась скорби. Мне стало казаться, что в мире не существует ничего, кроме моей печали и имени Ардазиры. Я произносил это имя громовым голосом, а затем погружался в безмолвие. Потом я решил покончить с жизнью, но внезапно впал в неистовство. «Ты хочешь умереть, — сказал я себе, — а Ардазира не отмщена! Ты хочешь умереть, а сын тирана царит в Гиркании, где предается наслаждениям! Он живет, а ты хочешь умереть!»

Я ринулся на его поиски. Узнав, что он объявил войну Бактриане, я поспешил в ваши края. Подоспев за три дня до сражения, я свершил то, о чем тебе ведомо. Мне захотелось пронзить грудь сыну тирана, я предпочел взять его в плен. Да будет жизнь его жалкою, как моя, да влачит он ее в оковах и позоре. Надеюсь, когда-нибудь он узнает, что я предал смерти последнего из его сородичей. Признаюсь, однако же, что не чувствую себя счастливее оттого, что отмщен, и сознаю вполне, что мстительные замыслы приятнее самой мести. Я утолил свой гнев, свершил известное тебе деяние, народ чествовал меня, ты же, господин, подарил своей дружбою, но ничто не возместит мне утраты.

Аспар испытал первый приступ изумления

почти в тот самый миг, когда услышал начало рассказа. При имени Арзаса он тотчас признал супруга царицы. В попечениях о благе государства он вынужден был отправить в страну мидийцев Исмению, младшую из двух дочерей последнего царя, и тайно взрастил ее там под именем Ардазиры. Он выдал ее замуж за Арзаса; в серале Арзаса у него всегда были доверенные лица; он и был тем гением, который через посредство этих самых людей ниспослал такие богатства дому Арзаса и самыми простыми способами заставил уверовать в такое множество чудес.

У него были весьма веские причины скрывать от Арзаса происхождение Ардазиры. Арзас с его мужеством мог бы предъявить права своей супруги на престол Бактрианы и посеять в стране смуту.

Но все эти причины отошли в прошлое, и, когда он внимал повести Арзаса, ему тысячу раз хотелось прервать его; однако евнух подумал, что еще не настало время открыть Арзасу его участь. Правитель, привыкший повелевать своими порывами, Аспар неизменно возвращался к осторожности; он стремился подготовить великое событие, а не ускорить его.

Два дня спустя разнесся слух, что евнух возвел

на престол Лжеисмению. Ропот перешел в бунт. Разъяренный народ окружил дворец, открыто требуя голову Аспара. Евнух приказал отворить одни из дворцовых ворот и, восседая на слоне, выехал навстречу толпе.

— Бактриане, — возгласил он, — внемлите мне.

Ропот не унимался, но Аспар продолжал:

— Повторяю, внемлите мне. Уж коли вы можете лишить меня жизни сейчас, вы так же сможете лишить меня жизни через мгновение. Вот свиток, писанный и запечатанный рукою царя; падите ниц, поклонитесь ему. Я вам его прочту.

И он прочел:

— «Небо подарило мне двух дочерей, столь схожих меж собой, что никто не в состоянии отличить одну от другой. Я страшусь, как бы это не привело к величайшим смутам и погибельнейшим войнам. Аспар, светоч моего царства, тебе вверяю младшую; отошли ее тайно в Мидию и пекись о ней. Да пребудет она там под вымышленным именем столько времени, сколько требует благо государства».

Аспар вознес свиток над головою, которую низко склонил; затем продолжал:

— Исмения умерла, это верно: но на престо-

ле сестра ее, Исмения младшая. Станете ли вы сетовать, что в предвидении близкой смерти государыни я приказал привезти сюда сестру ее, пребывавшую в глубине Азии? Укорите ли меня за то, что мне посчастливилось возвратить вам Исмению младшую и возвести на трон, который по смерти сестры ее царицы принадлежит ей по праву? Если я умолчал о смерти царицы, разве не требовало того положение дел? Станете ли вы порицать меня за то, что я поступил так, как велели мне верность долгу и осторожность? Сложите же оружие. До сих пор за вами не было вины, с этого мига она появится.

Затем Аспар объяснил, как Исмения младшая, вверенная попечениям двух престарелых евнухов, была увезена в Мидию под вымышленным именем; как ее выдали замуж за знатного вельможу из тех краев; как верные люди следовали за нею всюду, куда вели ее превратности судьбы; как, встревожась недугом царицы, он распорядился похитить Исмению младшую и скрывать ее в серале; как по смерти царицы он возвел ее на престол.

Подобно тому как волны бушующего моря стихают от веяния зефиров, так волнение народа улеглось от слов Аспара. Повсюду слышались од-

ни лишь крики радости, по всем храмам гремело имя Исмении младшей.

Аспар надоумил Исмению принять чужеземца, так много свершившего для Бактрианы, и обставить прием с величайшею пышностью. Было решено созвать вельмож и людей из всех сословий и провозгласить его главнокомандующим всего бактрианского войска; царица должна была вручить ему меч. Главнейшие в царстве сановники расположились вдоль стен огромной палаты, меж тем как народ толпился посреди нее и при входе. Царица восседала на троне в пышнейшем одеянии. Над челом ее сияли самоцветы; по обычаю, принятому на таких торжествах, она была без покрывала, и лик ее был ликом самой красоты. При появлении Арзаса народ разразился приветственными криками. Мгновение Арзас молчал, почтительно опустив глаза, затем проговорил глухим и срывающимся голосом:

— Государыня, если есть в мире что-то, что могло бы возвратить душе моей толику покоя и утешить меня в моих горестях…

Царица не дала ему договорить; вначале лицо его показалось ей лицом Арзаса, затем она узнала и голос супруга. Сама не своя и обо всем позабыв, она порывисто встала с трона и пала к ногам его.

— Мои несчастия были горше твоих, любезнейший мой Арзас, — молвила она. — Увы! С того рокового мгновения, что разлучило нас, я полагала, что никогда более мне не видеть тебя. Муки мои были ужасны.

Затем, то ли желая выразить любовь свою на другой лад, то ли смутясь пылкостью своего порыва, она поднялась с живостью, и лик ее зарделся румянцем скромности.

— Бактриане, — молвила она, — тот, пред кем зрели вы меня сейчас коленопреклоненною, мой супруг. Я счастлива, что смогла явить вашим взорам свою любовь. Я сошла с трона, ибо не делила его с супругом, и призываю в свидетели богов, что без него на престол более не воссяду. Я упиваюсь блаженством при мысли, что величайший подвиг, озаривший мое царствование, был свершен им и свершен ради меня. Вельможи и простолюдины, граждане моего государства, полагаете ли вы, что тот, кто царит над моей душой, достоин царить над вами? Одобряете ли вы мой выбор? Признаете ли Арзаса государем? Ответьте мне, говорите.

Едва царица вымолвила последние слова, как весь дворец огласился приветственными кликами: повсюду раздавались имена Арзаса и

Исмении.

Все это время Арзас пребывал словно в бесчувствии. Он хотел было заговорить, но голос отказал ему; хотел пошевельнуться, но остался недвижим; он не видел толпы и почти не слышал приветственных кликов: радость повергла его в такое смятение, что душа не смогла ощутить сразу всю полноту блаженства.

Но когда по велению Аспара народ удалился, Арзас припал к руке царицы:

— Ардазира, ты жива! Ты жива, любезная моя Ардазира! Скорбь день ото дня приближала меня к смерти. Как боги вернули тебя к жизни?

Она поспешила поведать ему, как одна из рабынь подменила яд снотворным зельем. Три дня она лежала без движения, затем ее вернули к жизни: первое произнесенное ею слово было имя Арзаса; глаза ее открылись для того лишь, чтобы зреть его; она велела искать его, искала сама. Затем ее привезли к Аспару, и по смерти сестры он возвел ее на престол.

Аспар недаром подготовил все таким образом, чтобы встреча Арзаса и Исмении всех поразила. Недавний бунт не изгладился у него из памяти. Он рассудил, что взял на себя немало, возведя на престол Исмению, а потому было бы неуместно

создавать впечатление, что он же способствует возведению на престол и Арзаса. Он положил себе за правило никогда не делать самому то, что могут сделать другие, и любить добро независимо от того, кто творит оное. Впрочем, зная, сколь возвышенны характеры Арзаса и Исмении, он желал, чтобы они проявились во всей красоте своей. Он хотел, чтобы супруги снискали себе то преклонение, которое приносится в дань величию души всегда, когда величие это очевидно. Он стремился привлечь к ним любовь, которую питают к тем, кто познал великие несчастия. Он хотел, чтобы им в удел досталось восхищение, которое обыкновенно вызывают те, кто способен на высокие страсти. Наконец, он полагал, что ничто другое не могло бы в большей мере способствовать тому, чтобы в сердцах всего бактрианского народа Арзас утратил звание чужеземца и обрел звание бактрианина.

Арзас упивался счастием, казавшимся ему несбыточным. Ардазира, которую мнил он умершею, была ему возвращена: Ардазира была Исменией, Ардазира была царицей Бактрианы. Ардазира сделала его царем. От восхищения ее величием он переходил к восхищению ее любовью. Ему был мил царский венец, ибо венец

сей не только не означал для Арзаса свободы от уз, но непрестанно напоминал ему, что он принадлежит своей Исмении; ему был мил царский престол, ибо перед глазами у него была рука, возведшая его на оный.

Исмения впервые изведала радость оттого, что она великая царица. До возвращения Арзаса она обладала огромным могуществом, но ей не хватало сердца, способного понять ее: средь толпы придворных она была одинока; десять миллионов человек лежали у ног ее, а она полагала себя покинутой.

Прежде всего Арзас призвал к себе гирканского царевича.

— Ты предстал предо мною, — молвил он, — и оковы пали с рук твоих; в царстве счастливейшего из смертных не должно быть несчастливцев.

Хотя я победил тебя, но думаю, что в мужестве ты мне не уступил; согласись, однако же, прошу тебя, что ты уступаешь мне в великодушии.

Царица нравом была сама кротость, и природная ее гордость исчезала всегда, когда ей надлежало исчезнуть.

— Прости меня, — молвила она гирканскому царевичу, — если я отвергла пыл, который не мог быть законным. Супруга Арзаса не могла быть

твоею: тебе должно сетовать лишь на судьбу.

Хоть Гиркания и Бактриана не образуют единого государства, сии царства созданы для обоюдного союза. Пусть Исмения не смогла пообещать любовь, но дружбу она обещает.

— Я удручен таким множеством несчастий и осыпан таким множеством благодеяний, — отвечал царевич, — что сам не знаю, взыскан я судьбою или обойден.

Я двинулся на Бактриану с оружием в руках, дабы отмстить за презрение, хоть презрен не был. Небеса не могли благоприятствовать моим замыслам, ибо ни ты, о царица, ни сам я того не заслуживали. Я возвращаюсь в Гирканию; и там я вскоре позабыл бы о своих горестях, если бы одною из них не была та, что мне довелось узреть царицу и не суждено будет зреть ее более.

О государыня, весь Восток будет воспевать твою красоту, она прославит наш век меж всеми другими, и для грядущих племен имена Арзаса и Исмении станут самыми лестными обозначениями для красавиц и влюбленных.

Неожиданное событие потребовало присутствия Арзаса в одной из провинций; он должен был покинуть Исмению. Какие нежные прощания, какие сладостные слезы! То был повод не

столько для огорчения, сколько для того, чтобы дать волю чувству. Горечь разлуки сливалась с мыслью о сладостной встрече.

Покуда царь был в отсутствии, его попечениями все в жизни Исмении: любой миг, любое место, люди, события — все обрело свойство напоминать ей о супруге. Он был далеко, а дела его говорили о том, что он подле нее; все наводило ее на думы об Арзасе: самого Арзаса при ней не было, но тот, кого она любила, был при ней неотлучно.

Арзас беспрестанно писал Исмении. Она читала:

> Я видел великолепные города, стоящие близ границ твоих владений; я видел у ног своих бессчетные толпы коленопреклоненных людей; все говорило мне, что я царствую в Бактриане; но я не видел той, кто сделала меня царем, и не был им более.
>
> Когда бы небо ниспослало мне напиток, дарующий бессмертие, ты испила бы из того же кубка, или мои уста не коснулись бы его; ты обрела бы бессмертие вместе со мной, или я умер бы с тобою.

Он сообщал ей:

> Я нарек твоим именем город, заложенный по моему приказу; мне кажется, жители этого города будут счастливейшими из наших подданных.

В другом письме, где Арзас говорил о прелестях ее все, что может найти любовь самого нежного, он присовокуплял:

> Я говорю об этом не из стремления угодить тебе, но для того лишь, чтобы развеять докучные думы, и чувствую, что, когда беседую с тобою о тебе, на душе у меня становится покойнее.

Наконец она получила следующее письмо:

> Прежде считал я дни, теперь считаю мгновения, и мгновения кажутся мне длиннее, чем дни. Прекрасная царица, чем меньше становится расстояние меж нами, тем тревожней у меня на сердце.

После возвращения Арзаса к нему отовсюду пожаловали послы — иные показались необычны. Арзас восседал на троне, установленном в парадном дворе царского дворца. Первым предстал

перед ним посланник парфян{63} на великолепном скакуне; не спешиваясь, он сказал так:

— Некий гирканский тигр терзал целый край, но слон растоптал его в прах. Остался тигренок, жестокостью уже не уступавший родителю; слон и от него избавил те места. Все звери, страшившиеся свирепых хищников, пришли к слону, дабы пастись поблизости. Слону было по нраву, что он защитою слабейшим, и он думал: «Говорят, что тигр — царь зверей; но он лишь тиран их, а царь — я».

Посланник персов сказал так:

— При сотворении мира луна сочеталась браком с солнцем. Все светила небесные предлагали себя ей в супруги, она молвила им: «Взгляните на солнце и взгляните на себя: все вы вместе не дарите столько света, сколько оно одно».

Затем появился египетский посланник, он сказал так:

— Когда Изида вступила в брак с великим Ози-

{63} Комментарии: 2.63

Парфяне — то есть жители Парфии, древнего государства в северо-восточной части современного Ирана; это государство существовало о 250 г. до н. э. до 226 г. н. э.; оно вело активную внешнюю политику, в частности успешно отражало римское нашествие (I в. до н. э.).

рисом,{64} сей брак стал причиною процветания Египта и прообразом плодородия земли его. Таков же удел Бактрианы: брак меж ее божествами ниспошлет ей счастие.

На стенах всех дворцов своих Арзас повелел выбить свое имя купно с именем Исмении. Повсюду можно было увидеть их переплетенные инициалы. Арзас разрешал изображать себя лишь купно с Исменией.

Он стремился к тому, чтобы все действия, несущие отпечаток строгости, приписывались только ему одному; но милости он стремился оказывать от имени и своего, и Исмении.

— Я люблю тебя, — говорил он ей, — за божественную красоту и за прелести твои, что всегда мне внове. Я люблю тебя еще и потому, что, когда свершаю нечто достойное великого царя, мне кажется, что твоя любовь ко мне возрастает.

Ты пожелала, чтобы я разделил с тобой царство, когда я помышлял лишь о блаженстве быть твоим супругом; я пьянел от наслаждения в твоих объятиях, и ты научила меня бежать наслажде-

---

{64} Комментарии: 2.64

Когда Изида вступила в брак с великим Озирисом… — Речь идет об одном из древнеегипетских мифов, согласно которому богиня Изида, покровительница власти фараонов, сестра Озириса, бога растительности и загробного мира, вступила в ритуальный брак со своим братом.

ний, когда нужно было помышлять о славе.

Ты приучила меня к милосердию, и, когда случалось тебе просить меня о том, чего исполнить не дозволено, ты всегда умела заставить меня чтить твое великодушие.

Твои приближенные женщины никогда не вмешивались в придворные интриги; они всегда стремились к скромности и к забвению всего, чем им не должно прельщаться.

Должно быть, небесам угодно было сделать меня великим властителем, ибо волею небес те самые соблазны, что обыкновенно подстерегают царей, вывели меня на стезю добродетели.

Никогда не знали бактриане поры счастливее. Арзас и Исмения говорили, что правят лучшим народом в мире; бактриане говорили, что ими правят лучшие в мире властители.

Арзас говаривал, что сам он, рожденный подданным, тысячу раз желал, чтобы правил им добрый властитель, и, надо полагать, подданные его желают того же.

Он присовокуплял, что тот, кому принесено в дар сердце Исмении, должен принести ей в ответный дар все сердца в мире: он не может предложить ей престол, но может предложить добродетели, достойные престола.

Он полагал, что любовь его должна сохраниться в памяти потомков, и лучше всего поможет ей в том его слава. Он хотел, чтобы на его надгробии было начертано: *Супругом Исмении был царь, любимый смертными*.

Он говорил, что любит Аспара, своего первого министра, за то, что тот всегда говорит о подданных, изредка — о царе и никогда — о себе самом.

— Аспар наделен, — говорил Арзас, — тремя величайшими достоинствами: у него справедливый ум, чувствительное сердце и искренняя душа.

Арзас часто говорил о том, что правление его должно быть беспорочным. Он говорил, что хранит чистоту рук, ибо, соверши он хоть одно преступление, оно было бы первым звеном в цепи бессчетных последующих, и вся жизнь его пошла бы по-иному.

— Предположим, — говорил он, — я покарал бы кого-то, основываясь на одних лишь подозрениях. Я полагал бы, что на том дело и кончено, но нет: друзья и родичи казненного внушили бы мне новый сонм подозрений. Вот зародыш второго преступления. Сии насильственные действия побудили бы меня думать, что я ненавистен подданным: я стал бы страшиться их. Это повело бы

к новым казням, а те вызвали бы новые страхи.

Сознавая, что жизнь моя запятнана, я впал бы в отчаяние от невозможности обрести добрую славу, и, видя, что я не в состоянии изгладить из людской памяти прошлое, я не стал бы помышлять о будущем.

Арзас так стремился сохранить законы и старинные обычаи бактриан, что неизменно трепетал, когда заходила речь об искоренении злоупотреблений посредством реформ, ибо ему не раз случалось заметить, что всякий зовет законом то, что отвечает его намерениям, и зовет злоупотреблением то, что противно его выгодам; а потому многочисленные поправки не улучшили бы дело, а уничтожили бы то, что было.

Он был убежден, что в государстве добро должно проистекать лишь из одного источника, коему имя законы; что способ постоянно творить добро состоит в том, чтобы следовать законам, творя добро; а способ постоянно творить зло состоит в том, чтобы попирать их, творя зло; что долг властителей состоит в том, чтобы защищать законы не только от чужих страстей, но еще пуще — от своих собственных;

что властителям должно быть присуще естественное желание добиться всеобщего счастия;

но желание это ни к чему не приведет, если властители не будут искать беспрерывно частных путей для его достижения;

что, к великому счастию, великое искусство управлять людьми требует скорее здравомыслия, нежели гениальности, скорее стремления просветиться, нежели великой просвещенности, скорее знаний практических, нежели отвлеченных, скорее умения разбираться в людях, нежели способности влиять на них;

что научиться познавать людей можно, лишь имея с ними дело, как учишься всему другому; что, когда недостатки и пороки прячутся, один только вред; что большая часть людей прикрывает суть свою оболочкою, но держится эта оболочка так слабо и так непрочна, что по большей части где-нибудь да прорвется.

Арзас никогда не говорил о делах, которые были у него с чужеземцами; но он любил беседовать о внутренних делах своего царства, дабы узнать их получше, и он говорил по этому поводу, что хороший властитель должен быть скрытным, но скрытность порой может быть чрезмерной.

Он говорил, что сам ощущает себя хорошим царем, что мягок, учтив, человечен; что любит славу, любит своих подданных; но что, если

бы при всех этих превосходных качествах он не запечатлел бы в уме своем великих правил управления государством, произошла бы самая печальная вещь в мире: у его подданных был бы хороший царь, но им было бы от того мало радости, и этот прекрасный дар провидения не сослужил бы им, по сути, никакой службы.

— Обманывается тот, кто мнит обрести счастие на престоле, — говаривал Арзас, — там есть лишь то счастие, которое приносишь с собою, да и этим подчас рискуешь. И если боги не даровали счастия тем, кто повелевает, — присовокуплял он, — то им следовало даровать счастие тем, кто повинуется.

Арзас умел давать, ибо умел отказывать.

— Нередко и четырех селений не хватит, — говорил он, — на подарок знатному господину, готовому впасть в ничтожество, или ничтожеству, готовому вылезти в знатные господа. Мне под силу обогатить того, кто беден волею своего положения, но я не в состоянии обогатить того, кто беден от избытка роскоши.

Арзаса влекло более в хижины, чем во дворцы вельмож.

— Там нахожу я истинных советников. Там вспоминаю обо всем, что забывается в царском

дворце. Они говорят мне о своих нуждах. Ведь всеобщее несчастие складывается из малых несчастий отдельных лиц. Я узнаю обо всех этих несчастиях, ибо все они вместе могли бы составить мое собственное.

В этих хижинах я сталкиваюсь с теми горестями, которые приносят столько услад тем, кто властен покончить с ними, и напоминают мне о том, что как властитель я могу достичь еще большего величия. Там я вижу, как слезы сменяются радостью, меж тем как у себя во дворце я могу видеть лишь, как радость сменяется слезами.

Однажды ему поведали, что во время каких-то народных увеселений шуты пели ему хвалы.

— Знаете ли вы, — молвил он, — для чего я дозволяю этим людям хвалить себя? Для того чтобы внушить себе презрение к лести и сделать ее низкою в глазах всех добрых людей. Мне дана столь великая власть, что, естественно, всегда найдутся охотники мне угождать. Надеюсь, боги не допустят, чтобы когда-нибудь лесть пришлась мне по вкусу. Что же до вас, друзья мои, говорите мне правду, правда — единственная вещь в мире, которой я желаю, ибо она единственная вещь в мире, которой мне может недоставать.

Смуты, омрачившие конец царствования Арта-

мена, были вызваны тем, что в молодые годы он завоевал несколько малых соседних царств, расположенных меж Мидией и Бактрианою. Народы их были его союзниками; он пожелал сделать их своими подданными, и они стали его врагами; но поскольку обитали они в горах, подчинить их полностью так и не удалось, — напротив, мидяне пользовались ими, чтобы сеять смуту в Бактриане; таким образом, завоеватель намного ослабил самого себя как монарха, и, когда Арзас взошел на престол, народы эти были мало к нему расположены. Вскоре, подстрекаемые мидянами, они подняли бунт. Арзас ринулся в те края и подчинил их своей власти. Приказав созвать весь народ, он держал такую речь:

— Мне ведомо, что вы страждете под властью бактриан и терпение ваше на исходе; ничуть не дивлюсь тому. Вы любите прежних ваших царей, ибо они осыпали вас благодеяниями. Стало быть, я должен поступить так, чтобы за справедливость мою и умеренность вы сочли меня истинным преемником тех, кого так любили.

Он велел привести самых опасных главарей бунтовщиков и молвил народу:

— Я велел привести их к вам, дабы вы судили их сами.

Все стали требовать для них кары, дабы оправдать самих себя.

— Узнайте же, — молвил Арзас, — сколь счастливы вы, что живете под властью царя, который не ведает страсти, ни карая, ни жалуя, и полагает, что слава победителя дается ему лишь судьбою, в то время как слава великодушного зависит лишь от него самого.

Вы будете жить счастливо под моей властью и сохраните свои законы и обычаи. Забудьте, что победа была мне дарована силой оружия, и даруйте мне ее сами за незлобивость.

Весь народ собрался, дабы возблагодарить Арзаса за милосердие его и миролюбие. Старейшие держали речь. Первый старец молвил:

— Очам моим представляется могучее древо из тех, что украшают наш край. Ты ствол его, мы же листья; листья укроют тенью корни от палящего солнца.

Второй старец молвил:

— Тебе пришлось просить богов опустить наши горы пониже, дабы они не могли защитить нас от тебя. Ныне проси богов вознести их до самых туч, дабы служили они тебе лучшей защитою от врагов твоих.

Затем говорил третий:

— Взгляни на реку, текущую по нашей земле: там, где течение ее стремительно и бурно, оно, сметая все на пути своем, разливается на множество рукавов, столь мелких, что женщины переходят их вброд. Но взгляни на нее там, где течет она плавно и тихо: медленно полнятся ее воды, но внушают благоговение народам и останавливают войска.

С того времени народы эти стали вернейшими подданными Бактрианы.

Меж тем мидийский царь проведал, что Арзас правит в Бактриане. В сердце у него проснулось воспоминание об оскорблении, которое тот нанес ему. Он решил пойти на Арзаса войной и обратился за помощью к гирканскому царю.

«Присоединись ко мне, — писал он ему, — будем мстить сообща. Небо предназначало бактрианскую царицу тебе; мой поданный отнял ее у тебя: отвоюй же ее».

Гирканский царь ответил так:

«Я влачил бы в Бактриане цепи рабства, не пошли мне судьба великодушных противников. Возношу благодарения небу за то, что по воле его мое царствование началось несчастливо. Злоключение — мать нам, благоденствие — только мачеха. Ты подстрекаешь меня на распри,

недостойные царей. Оставим же в покое царя и царицу Бактрианы, пусть наслаждаются счастием, которое находят во взаимной склонности и любви».



ВУАЗЕНОН
ЗЮЛЬМИ И ЗЕЛЬМАИДА

Перевод Н. Фарфель

Когда бы мы неуклонно следовали законам природы и справедливости, на земле все жили бы счастливо: не было бы ни непреклонных матерей, ни ворчливых мужей, ни неверных жен.

Однако мы исповедуем совсем иные взгляды, и лживая дочь, глядишь, обернется недоверчивой и обманутой матерью; супруги покупают, а не выбирают друг друга, и узы брака теряют красоту, будучи отторгнуты от любви.

Назидание сие необходимо, дабы оправдать Зельмаиду.

Она была дочерью королевы (как вы могли легко догадаться), носившей имя Цвет Розы, невзирая на возраст; и по волосам ее можно было судить, что белый цвет подарен ей годами, а розовый — пристрастием души.

Когда-то (а иначе говоря — давным-давно) вышла она замуж за Бесцветника, о котором мне не многое известно. Должно только предполагать, что крепостей он никогда не осаждал. Жена его

овдовела — и правильно поступила. Зельмаида была единственной дочерью, а посему весьма богатой, и ее, по особым соображениям, предназначили в жены удивительному глупцу. Это был дух-сосед, звавшийся Тугодумом и вполне оправдывавший сие имя. Говорил он мало, думал еще меньше, а всего более предавался сонным грезам. Не довелось мне слышать, сочинял он что-либо или нет, но уж наверное мог сочинить оду на манер тех, что в прошлом году были написаны.

Словом, таков был муж, которого Зельмаиде надлежало осчастливить. Земли их соседствовали, сердца же были далеки друг от друга. Нынче это зовется браком по расчету. Вы, конечно, не сомневаетесь, что принцесса Зельмаида обладала всеми совершенствами; в моей власти придать ей кое-какие недостатки, но я не воспользуюсь этой возможностью и, дабы написать ее портрет в нескольких словах, скажу, что была она настолько же пленительной, насколько ханжа мнит себя почтенной.

Королева Цвет Розы, не одаренная талантом воспитывать детей, поручила воспитание принцессы фее Разумнице. То была старая, дряхлая фея и, подобно всем женщинам такого возраста, некогда блистала, говорят, небесной красотой.

Дворец ее находился далеко отсюда (Тавернье и Поль Люка,{65} два известных враля, должно быть, упоминали о нем в своих путевых заметках). Торговцы новостями из Пале-Рояля{66} после безуспешных стараний отыскать его по карте на берегах Эско, Ли{67} и Рейна обнаружили его наконец в царстве фей.

Фее Разумнице отдавали на воспитание всех детей; тех, кто постарше, — из чванства и без каких-либо особых последствий; младших — из принципа, что тоже ни к чему не приводило.

Сия фея с превеликим умением наделяла воспитанников справедливым умом и честным сердцем, учила их чувствовать и думать; в то же время она объясняла им, как сдерживаться в разговоре, как поверять уроки живыми приме-

---

{65} Комментарии: 2.65

Тавернье, Жан-Батист (1605–1689) — французский путешественник, объездивший Ближний Восток, Персию и Индию. Были опубликованы многочисленные описания его путешествий.

Поль Люка (1664–1737) — французский путешественник по Ближнему Востоку и Северной Африке; оставил описание своих путешествий.

{66} Комментарии: 2.66

Торговцы новостями из Пале-Рояля… — В галереях этого дворца, расположенного недалеко от Лувра, были открыты лавки, торговавшие всякой всячиной, в том числе и так называемыми «альманахами» — листками и брошюрами с последними новостями.

{67} Комментарии: 2.67

Эско — небольшая река на севере Франции.

Ли — река, приток реки Эско.

рами, а правила — поступками. Отсюда можно заключить, что современные наши историки, сочинители и прежде всего я сам не проходили у нее обучения. Во дворце ее можно было чаще встретить людей большого ума, чем остроумцев, — таким званием никто не хвалился, и все почитали, что остроумцем прослыть куда легче, нежели умником.

Поелику ей поручено было множество детей, а к тому же она не напрасно была феей, она различала их между собой по волшебной свече, подаренной ею каждому; свеча сия горела, пока обладатель ее оставался верен учениям феи, и угасала, едва он от них отступался, что и вынуждало ослушника покинуть дворец. Эту свечу и прозвали впоследствии светочем разума.

По огоньку свечи фея судила о вкусах, склонностях и занятиях своих учеников. Будущие кокетки носили свечу в потайном фонарике; ханжа зажигала свою, стоило ей кого-нибудь увидеть, и задувала, находясь в одиночестве. Философы всегда держали при себе незажженную свечу, но искренне верили, что горит она ярче, чем у других. Таких учеников фея отправляла домой, к родителям. Тем не менее они почитали, что весьма многим ей обязаны. Самолюбие представ-

лялось им особым достоинством, а рассуждения — рассудительностью. У поэтов же, напротив, свеча вспыхивала столь ярко, что либо истекала воском, либо выгорала за один день.

Вот уже пятьдесят лет, по меньшей мере, как фее не удавалось довести ни одного ученика до окончания курса наук. Юношей ей полагалось держать у себя до восемнадцати лет, девиц же — до шестнадцати, но ни разу первые не оставались даже до семнадцати, а вторые — до пятнадцати. Стоило им дойти до этих лет, как свеча угасала. Именно последний год и приносил неудачу — по вине феи Обманщицы, заклятого врага Разумницы.

Обманщица была вовсе не из тех фей, что запугивают людей змеевидными кудрями, зубами, источенными ржавчиной, очами, пылающими будто раскаленные угли, и повозкой, запряженной крылатыми драконами. Она была куда опасней; не отпугивала, а завлекала, обладала даром принимать любое обличье, наделенное всяческими прелестями, дабы вернее принести вред и половчее сотворить зло.

Фея Разумница не имела права запретить ей вход в свой дворец — напротив того, приход ее был испытанием, необходимым для совершен-

ствования юных созданий, но почти всегда они оставались несовершенными.

Кое-кому из них она представала под видом феи Честолюбия и вовсю расписывала красоты жизненных вершин; напрасно фея Разумница тщилась показать их в истинном свете, то есть во всей неприглядности; ее слушали, но не верили, ибо картины, представляемые феей Обманщицей, льстили тщеславию, а большего и не надо было; честолюбие тех, к кому она обращалась, уже тешилось почтением, которое воздают высокому положению в свете, и дыхание гордыни вскоре задувало свечу.

Обманщица старательно изучала характер девиц; тех, у кого его вовсе не было (что случалось нередко), она учила, как прельстить двадцать любовников на радость и славу себе, не полюбив и одного из них, именовала умом искусство завлекать воздыхателей, звала любезностью коварные козни ума, а мудростью — умение наслаждаться, потешаясь над влюбленными.

Ежели, по воле случая, встречались ей девицы добросердечные, она обманывала их, как дурочек; внушала им жажду любви, превознося радости долговременной привязанности и искреннего чувства. Тщетно фея Разумница, добродетельная

без суровости, любезная без притворства, доказывала им, что счастье сие слишком зависит от того, к кому прилепишься сердцем: никто ей не верил. Самолюбие, вредное наше самолюбие, могущее породить столько добрых свойств, а на деле губящее чуть ли не все, твердило им, что фея не права и вовсе невозможно, чтобы их когда-либо разлюбили.

Все свои помыслы направила фея Обманщица на Зельмаиду; она даже пренебрегла обольщением остальных, и фея Разумница воспользовалась этим и завершила воспитание двух или трех юношей, не нашедших себе впоследствии места в жизни, ибо они всем казались чересчур странными, и двух девиц, которых убедили доводами рассудка пойти в монахини, дабы избавиться от рассудка.

Зельмаиде было пятнадцать лет, и до сей поры свечечка ее горела, будто перед святым образом; но нашелся некий Зюльми, помешавший ей догореть до конца. Он был сыном короля Кохинхины{68} и к тому же весьма приятным молодым человеком, владевшим испанским языком как индиец, английским — как турок и французским

{68} Комментарии: 2.68

Кохинхина — в то время французская колония в Индокитае, в дельте реки Меконг.

— как Памела.{69}

Он придумывал новые моды, носил байонские часы,{70} сочинял логогрифы{71} и знал на память весь «Страсбургский бал».{72} Он распорядился, чтобы ему выслали с лионской почтовой каретой новейшие суждения, буржуазную комедию, переделанную Мине,{73} и орденскую ленту святого Михаила; но все это было обнаружено и отнято на границе государства феи Разумницы. Отнюдь не скучая наедине с самим собой, он тем не менее искал общества Зельмаиды, виделся с ней нередко, и беседа с этой принцессой занимала его не меньше, чем чтение «Меркурия».{74}

Фея Обманщица, дабы укрепить зародившееся в нем чувство к юной принцессе, часто принимала обличье феи Разумницы и расхваливала ей

{69} Комментарии: 2.69

…французским — как Памела. — Намек на героиню только что появившегося одноименного романа английского писателя Ричардсона (1689–1761); перевод этого романа, выполненный аббатом Прево, был напечатан в 1742 г. Возможно, Вуазенон подсмеивался над языком этого перевода.

{70} Комментарии: 2.70

…носил байонские часы… — Здесь какая-то игра слов: дело в том, что «байон» — это кляп. Либо часы имели такую странную форму, либо они не звонили (обычно все тогдашние часы звонили).

{71} Комментарии: 2.71

Логогрифы — то есть слова, составленные из букв других слов.

{72} Комментарии: 2.72

«Страсбургский бал» — одноактная комическая опера Шарля-Симона

Фавара (1710–1792), исполненная с большим успехом в 1744 г. во время сен-жерменской ярмарки в Париже.

{73} Комментарии: 2.73

...буржуазную комедию, переделанную Мине... — Этот намек на театральную жизнь эпохи в настоящее время непонятен.

{74} Комментарии: 2.74

«Меркурий» — периодическое издание, выходившее в Париже с 1672 по 1791 г. Издание это неоднократно меняло свое название; оно называлось «Галантным Меркурием», «Новым Меркурием», «Французским Меркурием» и т. д.

достоинства Зюльми. Принцессе очень нравилась фея в такие минуты, и она находила ее особо разумной именно тогда, когда внимала ее неразумным речам. Когда же возвращалась истинная фея Разумница, принцесса вновь наводила разговор на Зюльми; фея советовала остерегаться его, а принцессу ставило в тупик подобное противоречие, и она наконец приходила к мысли, что фея Разумница стареет и разум ее мутится.

Однажды, гуляя в дворцовой рощице, она повстречала там Зюльми, погруженного в мечтания; это взволновало ее, она не сдержалась и окликнула его. Случайность эта была подстроена феей Обманщицей, ибо, помогая юной паре, она намеревалась обмануть кой-кого другого, а там, в свое время, посмеяться и над ними.

— Я полагала, здесь никого нет, — смущенно сказала Зельмаида, крепко держа свечу, чем-то уже мешавшую ей.

— Я тоже не ждал встречи с вами, — сказал Зюльми, — я только грезил об этом; но коль скоро случай свел нас, а оба мы — ученики феи Разумницы, попробуем разумно порассуждать друг с другом, дабы испытать, хорошо ли мы усвоили ее уроки.

— Охотно, — ответила Зельмаида, — разумные

беседы мне по душе. Вы только что сказали, что грезили о встрече со мной, но каковы же были эти грезы? Мне любопытно знать, сходны ли они с моими.

— Как! Вы грезили обо мне, Зельмаида? — воскликнул Зюльми.

— Да, разумеется, — ответила она простодушно, ибо свеча ее еще горела, — но грезы эти посещают меня только ночью, ведь фея запретила мне мечтать о вас днем.

— Ах, это не то, что со мной, — сказал принц, — во всякое время, во всякое мгновение, во сне ли, наяву ли, вы составляете предмет моих снов и мыслей; вы пробудили во мне волнение, ранее мне незнакомое; меня обуяли мысли и чувства, которые терзают и радуют меня; я ищу причину и не могу ее постичь; но еще менее понятно мне, каким образом ум мой и сердце, которые, по словам феи, не зависят от тела, в эти мгновения бывают с ним тесно связаны и воздействуют на него каждым своим движением. Да, прелестная Зельмаида, едва я подумаю о вас, едва увижу вас в сонной грезе, я тотчас же теряю естественное мое состояние, но обретаю иное, в тысячу раз более приятное. Я только что вкушал всю его сладость, когда явились вы…

— И в самом деле, — сказала Зельмаида, — глаза ваши не таковы, как обычно; но, прошу вас, не сочтите это за обиду. Они мне нравятся не менее, чем прежде.

— А ваше состояние, Зельмаида, сходно ли оно в какой-то степени с моим?

— Но… — ответила она, — да… возможно… впрочем, я не уверена. Но раз уж мы с вами пустились в разумные рассуждения, я вам опишу то, что происходит со мной. Я чаще вижу вас во сне, нежели думаю о вас наяву; видимо, это так надобно по велению феи. Когда я не сплю, я не ищу встречи с вами, хоть и желаю вас видеть. Мне нравится ваш разговор, он занимает меня, пусть даже и не смешит; это меня радует, ибо разум мой не страдает. Возможно, у вас ума не более, чем у любого другого; однако речь ваша мне приятнее, нежели речь других, и, должно быть, это зависит от того, как вы говорите. Когда вы уходите, я грущу; мне чудится, будто отрада покинула меня и ушла с вами, а я томлюсь тоской и стыжусь этого, сама не зная почему. Вот вам рассказ о том, как идут мои дни.

— А ночи? — спросил Зюльми, с нежностью глядя на нее.

— Ах, Зюльми, я не смею об этом говорить вам.

— Да кто может вам это запретить? — молвил Зюльми, целуя ей руку. — Или вы боитесь чересчур порадовать меня?

— Осторожней, — сказала принцесса, — вы уроните мою свечу. По вашей вине я уже не раз боялась за нее.

— Почему же? — спросил Зюльми.

— Стало быть, вы все хотите знать? — возразила Зельмаида. — О, право, Зюльми, вы испытываете мое терпение…

— Я не хотел бы сердить вас, — продолжал принц, — но вы меня очень огорчили.

— Ну что же, — ответила она, — я исполню вашу просьбу. Вам известно, что фея Разумница перво-наперво наказывает юным девицам следить за тем, чтобы их свеча никогда не гасла; по ее словам, от этого зависит их доброе имя, чистота и дальнейшее семейное счастье. Самое главное, говорит она всегда, испытывать серьезное влечение только к тому, кто предназначен в мужья. Если же, по несчастью, испытаешь его к другому, прощай, свеча, она погаснет, а вместе с ее пламенем — девичья честь.

— Но ваша свеча, — сказал Зюльми, — горит ярким светом; трудно поверить, будто ей грозила опасность.

— Но… да, конечно, — ответила Зельмаида, — она горит, это правда; однако мне кажется, что свет ее побледнел с тех пор, как я подошла к вам, и это меня тревожит.

— К чему, — воскликнул Зюльми, — эта тревога без всяких к тому оснований? Но мы отвлеклись на самом интересном месте нашей беседы.

— Я, кажется, позабыла… — сказала Зельмаида. — О чем был наш разговор?

— О том, что вы чувствуете по ночам, — ответил Зюльми.

— Верно; вы мне напомнили, — молвила Зельмаида. — Поистине, Зюльми, я полагаю, что поверять вам все это нехорошо. Но ведь это всего лишь сонные грезы; и коль скоро вы предмет сих грез, пожалуй, вы можете о них узнать.

— Ну вот наконец разумные речи, — сказал Зюльми.

— Не знаю, почему, — продолжала Зельмаида, — но свеча моя громко потрескивает, будто на нее брызнули водой.

— Вернемся к вашим снам, умоляю, — сказал Зюльми.

— Итак, мой сон… Мне его никак не понять. Фея часто говаривала мне, будто сны — это всего лишь отпечатавшиеся в душах наших следы мыслей,

занимавших нас днем... Но природа моего сна была иной, ибо он принес мне такое состояние, такое смятение, такую отраду, каких я никогда не испытывала и о каких вовсе и не помышляла за все время, пока бодрствовала. Вы нередко слышали, что мне предназначено выйти замуж за духа Тугодума; я видела его дважды, когда он приходил сюда с моей матерью; мне сказали, что он находит меня красивой; не знаю, передали ли ему, что я нахожу его преглупым.

— Это доказывает, — сказал Зюльми, — что вы оба обладаете верностью суждений.

— Мне твердили, — продолжала Зельмаида, — что ему суждено стать моим супругом. Я спрашивала у феи, что такое супруг; она отвечала, что это тот, кого надлежит любить всем сердцем; это меня смущало, и мне думалось, что ежели супруга надлежит любить, он должен быть таким, чтобы любовь была удовольствием, а не долгом. На это фея возражала, что о подобных предметах нечего рассуждать; вот такие ответы феи Разумницы всего более раздражают меня; она, видно, пользуется разумом, чтобы избегать разумных суждений. После этих бесед я уходила весьма недовольной. Однажды увидела вас, вы подошли ко мне; мы начали разговор, и так завязалось

наше знакомство; знакомство это вскоре обрело подобие дружбы; и наконец мы стали друзьями. Вы оказались таким, каким я представляла себе мужа; я сказала об этом фее, и она сурово выбранила меня и принялась уверять, что свеча моя угаснет навеки, если я проявлю склонность к кому-либо другому, нежели к духу Тугодуму. Речи эти раздосадовали меня, и я ушла спать ранее обычного. Не успела я уснуть, как мне почудилось, что я уже пробудилась; я увидела, как вы входите в мою спальню, а ведь никогда прежде я не почитала вас образцом супруга. Волосы ваши были в беспорядке; живой взгляд стал теперь томным. Вы бросились на колени передо мной… поцеловали мою руку; я отняла ее, вы стали вновь ее искать… и я… была вам за это признательна… Ах, Зюльми, не смею продолжать. Нет сомнения, я совершаю проступок, рассказывая вам об этом; я краснею, а ведь краснеешь только тогда, когда поступаешь дурно.

— Стало быть, я дурно поступаю, слушая вас, — сказал Зюльми прерывающимся голосом, — ибо я тоже чувствую, как лицо мое опалило огнем, но меня это вовсе не тревожит. Продолжайте, милая Зельмаида, пусть счастье мое будет полным.

— Я не в силах спорить с вами, — ответила

принцесса. (Да будет известно читателю, что свеча Зельмаиды горела все более слабым огнем, но она этого не замечала.) — На чем же я остановилась? — сказала она. — Я все теряю нить моего рассказа, и виноваты в этом вы сами.

— Но ведь я не прерывал вас, — возразил Зюльми, — вы говорили, как мне кажется, о том, как вы почувствовали признательность за то, что я искал вашу руку; теперь остается узнать, где я ее нашел.

— Ах, да, то правда, ибо, держа мою руку в своей, вы слишком смущали мой покой… Но я ничего этим не достигла (это доказывает, что на все есть своя счастливая звезда). Не знаю, как это случилось; но упорство, с которым я отказывала вам в этой милости, позволило вам добиться других; о них я раньше и не догадывалась, но не могла отказать вам. Вы становились все настойчивее, я — все смущенней. Тщетно я отталкивала вас, тщетно восклицала, что вас ненавижу, лицо мое, видимо, плохо мне повиновалось; тем не менее я собрала все силы, дабы выказать вам свой гнев, как вдруг увидела фею Разумницу; появление ее меня испугало, но кроткое выражение лица успокоило. Куда лучше видеть ее во сне, нежели наяву. «К чему, Зельмаида, — сказала мне

она, — столь упорно противиться принцу? Он любит вас, он вам по душе; стало быть, именно его боги предназначили вам в мужья. Они были бы не правы, отдавая вас другому и требуя от вас чувств, обратных тем, кои сами вам внушили».

— Поистине я с вами согласен, — сказал Зюльми, — фея эта разумнее судит ночью, нежели днем. Итак, что же вы ей ответили?

— Увы, Зюльми, я не отвечала ей, я только вздохнула, посмотрела на вас, почувствовала ваши объятия… феи я более не видела; хотела позвать ее, но могла только вымолвить: «Ах, Зюльми… Дорогой мой Зюльми, что вы делаете?» Меня охватили чувства, описать которые я не в силах. Я пробудилась, мне думалось, что я погибла; быстро взглянула я на свечу мою, но, к моему удивлению, она горела ярче, нежели перед сном.

— Прочь сомнения, Зельмаида! — воскликнул Зюльми. — Ваш сон — это веление богов, все мое сердце заполнено им, никогда не испытывал я подобного восторга. Да, рассказ ваш лишил меня покоя; должно быть, во мне вспыхнуло божественное пламя… и по глазам вашим вижу, что оно вдохновляет вас, как и меня.

— Зюльми, Зюльми! — ответствовала принцесса. — Как можно мне верить этому, если

намерения моей матери устремлены в противную сторону? Мне думается, что матери надлежит хотеть только того, что угодно богам, или же боги обманывают нас, заставляя желать того, что запрещает мать.[5]

Сие превосходное рассуждение не озадачило принца, и он принялся добиваться своего, как во сне Зельмаиды. Она хотела спастись бегством; но на пути ее встала фея Обманщица в обличии феи Разумницы, задержала ее и дала Зюльми время схватить ее в объятия. В тот же миг фея исчезла. Принц с удвоенным жаром стал тогда настаивать на том, чего желал; Зельмаида все еще пыталась ускользнуть от него, как вдруг свеча выпала из руки ее и, ударившись об пол, угасла.

— Ах, конец всему! — вскричала Зельмаида. — Совершилось то, чего я боялась. Жестокий! Вы стали причиной того, что свеча моя угасла, я никогда уже не посмею предстать пред лицом феи Разумницы.

— Что ж, тогда бежим от нее прочь, — сказал Зюльми. — Ужели мы не можем быть счастливы

---

[5] Примечания: 1.5

Иной критик, пожалуй, возомнит, что эта страница заимствована мной из «Pastor fido»; он заблуждается: я только подражаю его доводам. *(Прим. автора.)*

«Pastor fido» («Верный пастух») — пасторальная драма итальянского писателя Джанбатисты Гварини (1538–1612), написанная в 1590 г.

без нее?

— Увы! — ответствовала Зельмаида, плача. — Вы покинете меня. Я не могу довериться вам… Нет, я хочу поискать мою свечу.

С этими словами она и впрямь попыталась нагнуться и поискать свечу впотьмах, на ощупь, но оступилась, и Зюльми этим воспользовался.

— Ах, Зюльми! — вскричала она. — Вы предательски поступаете со мной; ваш поступок ужасен… Зюльми… Зюльми… перестаньте тотчас же… или я вас убью… я вам не прощу никогда… Да, я знаю, вы когда-нибудь будете мне неверны.

Зюльми, не отвечая ни слова, осыпал ее поцелуями.

— Ужель? — сказал он дрожащим от счастья голосом. — Ужель такие прелести принесены будут в жертву духу Тугодуму? Зельмаида! Пленительная Зельмаида!

На этом оба лишились речи, и на смену словам пришли молчанье и поцелуй, поцелуй и молчанье. Зельмаида опомнилась и хотела вновь повторить: «Я вас убью», — но уста изменили ей, и она со вздохом вымолвила:

— Ах, Зюльми, я вас люблю!

Читатель, полагаю, не надеется, что Зельмаида отыщет свою свечу; она даже не потрудилась

более искать ее; но когда миновало опьянение, когда она отдала себе отчет в том, какую победу одержал над ней Зюльми, душу ее охватили стыд и печаль. Ведь только тогда и понимаешь, что такое целомудрие, когда его лишишься. Она осыпала принца упреками; она не решалась предстать перед феей. А фея Обманщица, тщеславясь тем, что совратила их, тотчас же сообщила об этом фее Разумнице. Наконец красноречивые доводы Зюльми рассеяли опасения Зельмаиды. Они в тот же миг покинули дворец Разумницы. Не знаю, так ли порадовались они, как я сам, уйдя из этого дворца Разума; я долго боялся, что вовек не выберусь оттуда, и вряд ли меня еще когда-нибудь туда заманят.

И вот они пустились в путь, обретя любовь, потеряв разум; ушли они недалеко, ибо наслаждение нередко заступало им дорогу. Но это препятствие не бывает долговременным. Зюльми, неоднократно доказав Зельмаиде на деле, какого он мнения о ней, перешел затем к уверениям на словах. Он клялся Зельмаиде в вечной любви и проявил чудеса красноречия; но Зельмаиде еще не было известно, что словами любви пользуются только как средством, а истинность клятв подтверждается делами и ничем иным.

В лесу (ибо такое случается непременно в лесу) встретилась им черепаха и весьма неторопливо повела речь о том, что она фея, что они ей знакомы и находятся под ее защитой. Эта манера произносить слова с промежутком в четверть часа между ними показалась столь приятной нашим любовникам, что они принялись следовать ее примеру; это даже стало — ненадолго — хорошим тоном при дворе; но всякому искусству суждено совершенствоваться, а потому нынче медленно текут не слова, а мысли.

Зельмаиде поначалу было совестно, что черепаха ее знает, но она быстро к этому привыкла.

— Я знаю, — сказала эта фея, — что вы устали, а потому и дотащилась сюда с целью предоставить вам мой экипаж.

И в самом деле они увидели колесницу, запряженную шестью черепахами.

Принц и принцесса уселись, и черепаха-покровительница отправила их в дорогу. Вы, конечно, догадались, что это фея Обманщица явилась им в таком обличье — и это было не последнее из ее превращений.

Колесница тащилась так медленно, что Зюльми почувствовал досаду, а Зельмаида — дурноту; зевая, они то и дело повторяли: «Ах, как мы счаст-

ливы!» Разговор их мало-помалу стал замирать, и принц наконец уснул, что весьма возмутило принцессу; немало горьких слов наговорили они друг другу; принц вышел из экипажа, и внезапно все шесть черепах превратились в шесть бабочек, подхватили Зельмаиду и унесли ее к фее Кокетке.

Зюльми был очень удивлен, потеряв вдруг Зельмаиду, и испытал немалый стыд, оказавшись на дороге пешим, как деревенский фокусник, но еще в более глупом положении был дух Тугодум, явившийся к фее Разумнице вместе с королевой Цвет Розы, дабы повидать Зельмаиду и обвенчаться с ней. Он был ошеломлен, когда ему сказали, что ее уже нет во дворце. Королева, покинувшая сей дворец четырнадцати лет от роду и примерно по такой же причине, громко негодовала, но втайне восхищалась терпением и добродетелью дочери; не ей одной приходили такие мысли в подобных обстоятельствах.

Дух не внимал ни единому слову из всех, что говорились вокруг, но отвечал на все. Лицо его было точным подобием его ума; мелкие черты тонули в складках жира; он походил на младенца, увиденного через увеличительное стекло. Был у него братец, еще отстававший от него по уму; его

называли дух Тупица, чтобы отличать от брата; несмотря на это, их часто путали друг с другом.

Ярость его была беспредельна, и он все повторял:

— Я не возьму в толк ваши рассуждения, сударыня (так оно и было), мне нужна моя жена; я на нее рассчитывал; если вы меня держите за дурака, вы жестоко ошибаетесь; одним словом, я не желаю слушать никаких оправданий. Ежели принцессу отдали другому, я требую, чтобы мне ее вернули, если же она сама отдалась, ее надо привести к матери и поместить в тюрьму Сен-Лазар.{75}

Ему сказали, дабы его утихомирить, что он рассуждает весьма разумно, и уговорились начать поиски, чтобы узнать, где Зельмаида. Это решение успокоило его; он пошел с королевой и, будучи человечком хитроумным, спрашивал каждого путника, не подавая особого вида, не видел ли тот девицу, которую, с ее согласия, увез какой-нибудь вертопрах. Ежели кому из них и впрямь доводилось встретить мужчину с женщиной, он тотчас докладывал об этом духу.

— Так-то! — отвечал он с живостью. — А не

{75} Комментарии: 2.75

Сен-Лазар — первоначально монастырь, а затем тюрьма в Париже.

звали ли эту женщину или девицу Зельмаидой?

— Не знаю, как ее звать, — отвечал тот.

— Как же, черт возьми, я в таком случае ее узнаю? — говорил дух.

Он был в восторге от самого себя и говорил королеве:

— Видите, как следует хитрить: прежде всего надобно спрашивать имя; это куда более верный способ найти кого-либо, нежели расспрашивать о чертах лица.

В таких примечательных беседах прошло путешествие, и королева была весьма довольна побегом дочери. Однако она оставалась покорной духу Тугодуму и рассчитывать на другого зятя могла только с его разрешения. Таково было веление судьбы, а сказка без велений судьбы встречается столь же редко, как новая опера без тамбуринов и пантомим.

Теперь вернемся к Зельмаиде, а Зюльми пусть себе гуляет, пока я соберусь рассказать о его приключениях. Принцессе не пришелся по вкусу новый дворец; она была слишком умна, чтобы с приятностью проводить время в обществе женщин, чей ум проявляется только в пантомиме, и она слишком хорошо начала жить с Зюльми, чтобы привыкнуть к стране, где сердце и нрав

подчинены единственно уму.

Она встретила нескольких девиц, которым не посчастливилось выйти замуж, — они и впрямь были девицами, но внешность их говорила обратное, а это как раз тот случай, когда видимость вернее сущности. Повидала она немало женщин, расставшихся с мужьями, но повинных только в собственном легкомыслии; что касается мужей, их не в чем было упрекать, ибо, если почитать их бесчестье за предрассудок, выходило, что жена виновна только в сложившемся о ней мнении общества, а не в измене.

Королева Цвет Розы, хорошо знавшая родную кровь, догадывалась, по какому пути направилась Зельмаида. Невзирая на возраст, она сама время от времени совершала подобное же путешествие; она была кокеткой в молодости, она оставалась ею и в старости; этот недостаток живет дольше, нежели прелести, делающие его терпимым; когда же он становится смешным, о нем и думать не желают.

Она нарядилась в шарф цвета розы, в платье, усеянное зелеными цветочками, и в белые туфельки, расшитые серебром. Не пожалела она и двойного слоя румян. Тщательно было продумано, какую мушку куда налепить; она еще

взглянула на себя в зеркало, покрасовалась перед ним и ушла.

Все дворцовые врата распахнулись перед ней — ведь славное царство кокетства держится всего более на похвалах и прихотях старух. Она увидела дочь, испугала ее своим появлением и успокоила своими ласками.

— Приди в мои объятия, — сказала она, — приди, бедняжка Зельмаида, не бойся родной матери; ты видишь меня здесь и знаешь, что я ходила к фее Разумнице единственно ради того, чтобы забрать тебя оттуда. Открой мне душу: пришла ли ты сюда по склонности или от скуки?

— Увы, матушка, — со вздохом отвечала Зельмаида, — как я несчастна!

— В чем же причина? — спросила королева добродушно. — Признайся в своих проступках, дорогая доченька, и я тебе их прощу с такой готовностью, будто сама их никогда не совершала.

— Вы меня успокоили, великая королева, — сказала Зельмаида.

С этими словами она провела рукой по лбу, собралась с мыслями и, помолчав мгновение, сказала так:

— Ах, матушка, какой это долгий срок — ждать замужества до шестнадцати лет!

— Теперь мне все ясно, — ответила королева, — я испытала те же чувства. Четырнадцати лет от роду я стала замечать, как долго тянутся вечера у феи Разумницы; мне открылась тайна, как сделать, чтобы они пробегали куда быстрей; я ушла от нее, как и вы; я доверилась ветренику, который обманул меня. Моя рука была обещана принцу Бесцветнику; пришлось мне прибегнуть к хитрости, чтобы ввести его в заблуждение. Прикинувшись набожной, я удалилась в обитель девственниц, посвятивших себя богине Изиде;{76} когда принцу Бесцветнику это стало известно, он подумал, что я ушла от феи Разумницы лишь потому, что благочестие вскружило мне голову. От этой мысли любовь его ко мне еще возросла; он по многу раз приходил ко мне и был весьма настойчив; я противилась его домогательствам; наконец я уступила, доведя игру до конца, и с тех пор всегда живу счастливой и почитаемой в семье.

— Ах, сударыня! — вскричала Зельмаида. — Вы рассказали точь-в-точь мою историю!

— Я так и думала, — ответила королева. — Тебя склонил к любви какой-то юноша, что говорит

{76} Комментарии: 2.76
Изида — см. прим. к стр. 183.

о твоей доверчивости; ты снизошла к нему, что говорит о твоем добром сердце; сейчас ты хочешь вернуть свое доброе имя и обмануть мужа, это говорит о твоем здравом уме.

— Я бы охотно осталась в девицах, — возразила Зельмаида, — каковой и была вот уже целый год; но мне думается, что с возрастом теряешь осмотрительность, а ведь это единственное, чем мы возмещаем утрату наслаждения; поэтому я приму то же решение, что и вы; отведите меня, прошу вас, в эту обитель девственниц.

— Охотно, дочь моя, — ответила королева, — но я должна предупредить вас об одной довольно затруднительной подробности. Вы, несомненно, уступили домогательствам этого юноши, чье имя вы не назвали?

— Его зовут Зюльми, — сказала Зельмаида, — и, право же, он принц.

— Стало быть, он обманул вас? — спросила королева. — Ведь такие господа в вопросах любви далеко не так щепетильны, как в вопросах чести. Вернемся к затруднительной подробности. В эту обитель Изиды входишь через одни врата, выходишь через другие; они называются вратами испытания: тот, кому предстоит стать вашим мужем, ведет вас за руку; он имеет право

вывести вас через входные врата; но если в нем зародилось какое-то недоверие к вам, что нередко случается, он поведет вас к другому выходу. Если девица удалилась в сей храм по чрезмерной набожности, она пройдет беспрепятственно; но если поведение ее не было безупречным, притолока опускается, выйти невозможно, и девица обречена остаться в обители умерщвления плоти на всю свою жизнь.

— Поистине, матушка, — сказала Зельмаида, — подробность сия весьма затруднительна; как же вам-то удалось выйти?

— Принц Бесцветник был так уверен в моем целомудрии, — отвечала королева, — что он счел бы оскорбительным вывести меня через врата испытания; но такие доверчивые мужчины встречаются редко. А дух Тугодум слишком глуп и потому подозрителен.

— Все равно, — сказала Зельмаида, — у меня нет иного средства, и придется сделать эту попытку; впрочем, признаюсь вам, я сейчас люблю Зюльми более прежнего, я тревожусь за него; рассеянная жизнь света не под стать моим волнениям; они еще сильнее станут терзать меня, если я попытаюсь их побороть. Коль Зюльми навеки потерян для меня, я без принуждения соглашусь

остаться на всю жизнь в обители девственниц. Если же он в разлуке призадумается над своей неблагодарностью, если раскаяние приведет его ко мне, если он вернется — любовь его вспыхнет с новой силой, ибо он узнает, что я покинула его лишь для того, чтобы бежать других мужчин и мечтать о нем в глубоком одиночестве.

Королева, столь же обрадованная, сколь удивленная тем, что произвела на свет дочь, наделенную такими чувствами, тотчас же отвела ее в храм Изиды; она призвала главную жрицу и представила ей Зельмаиду как образец целомудрия. Жрица обратила на нее благостный взор и медоточивым голосом ответила, что это не удивительно, коль скоро у принцессы такая мать.

— Я с радостью приму ее, великая королева, — продолжала она, — но я обязана соблюсти учтивость к нашему Вершителю; я не сомневаюсь, что он согласится принять принцессу; с вашего разрешения я велю позвать его.

Несколько мгновений спустя явился Вершитель; сей первосвященник храма Изиды так и просился на картинку: было в нем росту пять вершков да шесть пядей; брови черные, ноздри широкие; по лицу его было видно, что нет никакой надежды пройти через врата испытаний.

— Вашему внимательному взору предстал высокочтимый луч пресвятой богини, — обратилась жрица к королеве. — Он дарит благословение свое нашей обители; никогда у нас не было стольких девственниц, как ныне, с той счастливой поры, когда мы обрели его.

— Вы правы, — отвечала королева, — в мое время у вас тут был такой уродец священник, мы все его ненавидели.

— Это я помню, — сказала жрица, — нам его прислала богиня, разгневанная на нас. Итак, Досточтимый, — продолжала она, — что скажете вы о принцессе?

— Я нахожу, что она вполне способна, — ответил он, — привлечь к нам благоволение богини, и, если не ошибаюсь, ее привела сюда добродетель, точно так же, как добродетель удерживает меня здесь.

— Вы чрезвычайно любезны, — сказала Зельмаида, покраснев.

— О, Досточтимый у нас знаток, — сказала настоятельница, — вы это узнаете на опыте.

После этих любезностей королева оставила принцессу на попечение жрицы и Досточтимого и вернулась в свой дворец, решив сообщить духу Тугодуму о беспримерном благочестии своей

дочери.

Воспользуемся этим, дабы читатель узнал о том, что сталось с Зюльми.

Разлука с Зельмаидой разожгла его страсть; он растерялся, то взывал к Любви, то проклинал фею Черепаху, весьма нелестно отзывался о богах и судьбе и даже произносил все это вслух. Это и явилось первым в истории монологом; а ведь как послушаешь нынешние монологи, не захочется и благодарить того, кто их придумал. Он не метался туда и сюда, а шел все вперед своей дорогой; наконец усталость принесла ему утешение, и он уснул… (Читателю, должно быть, ясно, что я не упущу такой прекрасной возможности вставить сон в свое повествование.) И в самом деле, через час после того, как он погрузился в сон, на заре, когда приходят вещие сны, ему пригрезилось, что он перенесся во дворец, где обитали две феи. Одна из них собирала частицы воздушного, неуловимого вещества, и из-под рук ее выходил некий дух. Дух мог быть таким и сяким, добрым или злым, легким или тяжеловесным, прочным или ненадежным, кротким или насмешливым, — в зависимости от вещества, из коего состоял; ибо нередко к этому веществу примешивались частицы грубой материи, что порождало глупцов,

а еще чаще — немалая толика селитры, отчего появляется на свет дух сатирический и озлобленный; одним словом, от разнообразия всех этих смесей зависело и различие характеров — то ли благородных и возвышенных, то ли льстивых и раболепных; пороки и добродетели замешивались в вещество, образующее дух, и развивались по мере того, как росли части тела, где помещался этот дух.

Создав известное количество таких духов, первая фея передавала их в руки второй, чьей обязанностью было лепить тела из земной материи. Фея сия была особой лукавой и даже подчас злонравной, а потому забавлялась, создавая самые разные личины. Тщательно потрудившись над обликом красавца, она для отдыха и развлечения изготовляла десять кривых и горбатых тел. Так же поступала она и с чертами лица; на дюжину красивых лиц она делала тридцать смехотворных; одни были косоглазыми, у других нос картошкой; иной был бы и недурен собой, да без изюминки, а у другого был преподлый вид. Таковы были причуды этой феи, но еще приятнее было ей обходиться подобным же манером с женщинами: она, казалось, с самыми лучшими намерениями наделяла иное тело всевозможны-

ми совершенствами и, ко всеобщему удивлению, приставляла к нему безобразнейшую голову. Другой же раз она создавала тело как бы назло грациям, плоское, тощее, смуглое, и соединяла его с прелестным лицом; первым суждены были любовные утехи, а вторым — случайные потехи.

То были еще невинные шалости феи; к несчастью, она имела право вселять в тело любой дух по своему выбору; и, зная наперед, какое место в жизни и какая участь суждены каждому из ее созданий, она почти всегда наделяла тело совсем не тем духом, коему надлежало там находиться.

Столь необычное зрелище вызвало у Зюльми непременное желание узнать, каков же дух живет в теле Зельмаиды. Он задал вопрос этой коварной фее, и та дала ему такой ответ:

— Зельмаида — совершеннейшая из принцесс: я без дурных помыслов создавала ее с головы до ног, что далеко не скоро повторится; но я наделила ее чересчур чувствительной душой и каюсь в этом, ибо она всем сердцем прилепилась к некоему Зюльми, довольно приятному, впрочем, хотя и несколько самовлюбленному юноше; вот потому-то ему в наказание будет дано вновь увидеть принцессу; она обойдется с ним как с собакой, и он проведет тридцать ночей с другими красави-

цами, но счастья ему от этого не прибудет.

Это предсказание так огорчило его, что он пробудился; оказалось, что он находится на сыром лугу и чувствует себя не столь напуганным своим сном, сколь усталым от пройденного пути. Тем не менее он вновь пустился в дорогу без определенной цели, тревожась мыслями о том, как с ним обойдется принцесса и как ему самому предстоит обойтись с остальными красавицами. По глупости ему представлялось (ибо самолюбие всегда сводит все к себе), что именно Зельмаида подвергнет его тридцати испытаниям, а он тридцать раз принесет ей жертву.

В такой уверенности он и продолжал путь, как вдруг очутился на широкой аллее, ведущей к замку. Его охватила надежда встретить там Зельмаиду; итак, первым поводом, толкнувшим его в ту аллею, была любовь, хотя были у него нужды и более настоятельные — голод и усталость. У решетки ближайшего двора завидел он двух карликов, стоявших там, будто великаны. Он учтиво спросил, не живет ли принцесса Зельмаида в этом замке; они кичливо ответили, что такой не знают.

— Тогда, господа, по крайности, — продолжал он еще более смиренно, — будьте столь любезны

назвать мне имя господина и госпожи ваших.

— Не Знаю Что Сказать, — ответили они, повысив голос.

— Да что вы, господа, — сказал Зюльми, — пожалейте же бедного принца, который просит назвать имя…

— Какого черта! — закричал один из карликов, прерывая его. — Мы же тут из последних сил стараемся втолковать вам, что это дворец феи Не Знаю Что Сказать.

— Ах, прошу прощения, — сказал Зюльми, — стало быть, имя госпожи вашей — Не Знаю Что Сказать?

— Наконец-то, дружище, — подхватил второй карлик. — Или вы вовсе по-французскому не знаете?

За этим разговором застала их фея Не Знаю Что Сказать, воротясь с прогулки, и спросила у карликов, что за человек. Они отвечали, что это-де принц Не Знаю Кто Такой. Зюльми представился фее с величественным видом, отвесил ей легкий поклон и лестный комплимент. Такое начало пришлось по нраву фее, и она сочла Зюльми достойным юношей. Она велела ему следовать за ней; пока они шли через двор в ее покои, она забросала его вопросами, но не давала ему тол-

ком ответить, то похваливая его, то споря с ним. Принц вовсе не знал, как на это смотреть, но ему стало ясно, что именем принцесса обязана своему нраву и даже лицу, ибо она была ни на кого не похожа; волосы у нее были светлые, а кожа черная, один глаз был большой и прекрасный, второй — маленький и кривенький; то же относилось к остальным ее чертам: щеки у нее были дряблые, ибо надлежит им быть гладкими, а ум суровым, ибо ему должно быть кротким. Вот и все, что было покуда известно о ней принцу.

Фея велела подать обед, и это весьма обрадовало Зюльми. Ей доложили, что кушать подано; она сказала, что ей тошно и она отложит еду до вечера, чем Зюльми весьма был огорчен. Нрав ее был столь же пылким, сколь раздражительным, и это ее так раздражало, что она подчас становилась любезной против воли; но сладить с ней было нелегко, и она умела даже в наслаждении найти повод, чтобы оправдать вспышку злости.

Зюльми еще не был ей известен, и, дабы остаться также неизвестной ему, она доложилась женщиной серьезного склада ума. Он вдался в рассуждения — она принялась зевать; он свернул разговор на нежные чувства — она его высмеяла; он позволил себе двусмысленные намеки — она

оскорбилась. Принц был в полном замешательстве. Она молвила, что в покоях чересчур жарко, и вышла в сад. Едва зайдя туда, сказала, что слишком сыро; вернулась в дом, все в обществе Зюльми, и ему уже не было нужды спрашивать, как ее зовут.

Наконец-то пробил час ужина; она перешла в столовый зал, усадила принца напротив себя, оперлась локтями о стол, выбранилась сквозь зубы и обратилась к принцу с любезностями таким сдавленным и хриплым голосом, что он решил, будто она его попрекает. Ответы его не были неверными, ибо он не понимал вопросов; кроме того, ел он очень много и потому был сочтен за дурака. После ужина она спросила, умеет ли он читать вслух комедии.

— Нет, сударыня, — отвечал он. — Этот талант я забросил после того, как мне сказали, что он никому не нужен.

— Весьма плоский ответ, — сказала фея. — С кем же это вы жили? Знаете ли вы хотя бы какую-либо игру?

— Только триктрак, сударыня.

— Прекрасную игру вы избрали, — ответила она язвительно, — не иначе как вы были священником в какой-то молельне.

— Сударыня, — ответствовал он смиренно, — я всего-навсего принц.

— Дорогой мой друг, — возразила она, — для такой работы вам, на мой взгляд, недостает здоровья.

— Сударыня, — продолжал Зюльми, — если вы не сочтете это неуместным, я бы рассказал вам о себе.

— Ну, нет! Говоря по совести, — молвила она, — я уж лучше прочитаю «Паршивого Волка».{77} По всему видно, что вы только на одно способны — улечься спать, тем более что час поздний.

После этих слов феи принц почтительно откланялся и осведомился у одной из прислужниц, где ему разрешат переночевать. Та расхохоталась ему в лицо и ответила, что во всем дворце есть только одна кровать, и спит на ней фея; что порой гостям случается провести, с ее разрешения, ночь во дворе; но если она оказывает им честь отужинать вместе с ними, она оставляет их на ночлег; с этими словами она повела принца в покои феи, которая тем временем уже причесалась на ночь и стерла румяна, что отнюдь не вдохновило Зюльми.

{77} Комментарии: 2.77

«Паршивый волк» — очевидно, какое-то популярное в свое время произведение, возможно, предназначенное для массового читателя.

— Я полагаю, — сказала она, — вы настолько глупы, что воображаете, будто у меня во дворце есть несколько кроватей; я довольствуюсь самым необходимым, и коль скоро можно спать вдвоем, одна из двух кроватей остается, разумеется, лишней; следует быть бережливой и достойно блюсти себя. Первого я достигаю, не обзаводясь лишними предметами обстановки, второго же — разрешая вам лечь со мной.

На этом все придворные дамы вышли из спальни и оставили принца наедине с феей.

— Сударыня… — сказал он, дрожа, — поверьте… я весьма чувствителен…

— Этого от вас не требуется, — сказала фея, — все, что мне нужно, это ваша благодарность.

— Великая фея, — продолжал Зюльми, расхрабрившись, — я бы с радостью принял оказываемую мне милость, но я связан обязательством.

— Связаны! — возразила фея. — Скажите-ка, прошу вас, что значит быть связанным, это что-то новое.

— Возможно ль? — воскликнул Зюльми. — Ужели вам незнакомо следствие, коему, должно быть, вы не раз были причиной?

— Ну что ж! — ответила фея. — Возможно, вы говорите довольно красиво, хотя я вас и не

понимаю, но до смерти боюсь, как бы это не оказалось чересчур скучным. Вернемся к вопросу, что я задала вам. Итак, честный человек, связанный обязательством, должен не спать всю свою жизнь?

— Да, сударыня, — ответил принц, — если он не спит с той, с кем связан.

— До крайности удивительное дело, — сказала фея, — не иначе как бедный юноша вырос в какой-то медвежьей глуши! Вот что значит запустить воспитание детей! Послушайте, дорогой друг, — продолжала она, — приведите-ка доводы получше, ибо вам самому должно быть ясно, что все высказанное вовсе не приемлемо.

— Итак, сударыня, — ответствовал он, — коль скоро вы велите мне быть откровенным, я дал клятву спать только с девственницами; это веление оракула.

— А я кто такая, по-вашему? — воскликнула фея. — Престранный же вы, однако, ведете разговор!

— Сударыня, мне сказали, — продолжал Зюльми, — что вы имеете обыкновение спать с каждым, кто имел честь разделить с вами трапезу, а я полагаю, что не с нынешнего вечера вы стали приглашать гостей к ужину!

— То правда, — ответила она, — но все это ничего не значит; я бы хотела посмотреть, как со мной посмеют своевольничать или не погрузятся в глубокий сон до утра!

— Что я слышу! — вскричал принц. — Стало быть, вы требуете всего лишь, чтобы с вами рядом спали?

— Разумеется, — отвечала она. — Я вам покажу вольности! Я хочу, чтобы со мной спали только затем, чтобы услышать, как хвалят мою постель: это делает честь дому.

— Ах, сударыня, — сказал Зюльми, — в таком случае я согласен!

Засим он разделся, а фея, сняв обувь, показала принцу ножки, уж не знаю какие, но действующие своим видом как сильнейшее снотворное средство.

Наконец, после учтивых споров о том, кто ляжет первым, они улеглись рядышком. Фея сказала:

— Кстати, я забыла предупредить вас перед сном, что мне случается грезить вслух и рассказывать во сне всякие небылицы.

— Это не так уж важно, сударыня, — ответил принц, — лишь бы вы мне разрешили их не слушать.

В течение четверти часа оба строго хранили

молчание. Потом Зюльми почудилось, что фея время от времени роняет какие-то слова. Он прислушался, и вот как фея заговорила во сне:

— Месяц тому назад со мной лег спать один принц и был так глуп, что не потревожил меня; я его наказала и превратила в барсука.

Бедный Зюльми, услыхав такие слова, задрожал с головы до ног; тем не менее, отнюдь не желая стать барсуком, он потихоньку придвинулся к фее, чтобы испытать самого себя. Через мгновение она изрекла следующее:

— Две недели тому назад один брамин{78} провел ночь возле меня и был так дерзок, что пытался меня совратить; я превратила его в оборотня.

Зюльми тотчас откатился в сторону, дабы не стать оборотнем, одолеваемый тревожными сомнениями, не лучше ли уж доля барсука.

Фея сделала вид, будто он разбудил ее этим движением.

— Неужто! — сказала она. — Вы еще не спите?

— Сударыня, — пробормотал он, — к тому шло…

— Быть может, — продолжала фея, — это я по-

{78} Комментарии: 2.78

Брамин (брахман). — В литературе XVIII в. (у Монтескье, Кребийона-сына, Вольтера) под именем браминов изображались обычно католические священники.

мешала вам уснуть?

— Ничуть, сударыня, — поспешил он заверить ее.

— Уж не рассказывала ли я какие-либо басни? — спросила она. — Надо было мне тотчас сказать.

— Ах, вы чересчур добры, — сказал принц, дрожа по-прежнему.

Молчание на полчаса восстановилось. Зюльми понемногу стал приходить в себя, как вдруг фея изрекла ужасные слова:

— Если принц, лежащий сейчас в моей кровати, еще не спит, я превращу его в серого кота.

Принц тотчас же притворился, будто спит и храпит, но что с ним сталось, когда он услыхал, как фея продолжает:

— А если этот самый принц столь невежлив, что уснул, я превращу его в комнатную собачку.

Он тут же лишился чувств. Фея пощупала его и нашла, что он холоден как мрамор; благодаря ее стараниям и спиртовым настоям он пришел в себя.

— Что с вами? — спросила она.

— О, ничего, сударыня, — ответил он угасшим голосом.

— Как так — ничего? — сказала фея. — Быть

того не может; разве таково ваше естественное состояние?

— Простите меня, сударыня, — сказал он.

— Вот этого-то я вам и не прощу, — сказала фея. — Вы глядите живым мертвецом, и, коли выйдете отсюда в таком виде, мне это поставят в укор. Ради того, чтобы вы пришли в себя, я согласна нарушить закон, по коему поклялась самой себе вечно оставаться бесчувственной; мне вас жаль, подойдите ближе, я хочу обрадовать вас.

Этого Зюльми и опасался; однако он послушался; фея прижала его к себе; но Зюльми, нечаянно отведя ее руку, коснулся вдруг рыбьей чешуи. Он и без того был перепуган, а тут подскочил как ужаленный. Тогда фея взяла волшебную палочку, дотронулась до него, и несчастный Зюльми обратился в прехорошенькую шавку и забегал по комнате, заливаясь лаем. Придворные служанки сбежались на шум, и фея велела им прогнать его, хотя погода была такая, что собаку из дому не выгонишь.

А фея долго смеялась этому происшествию. Ведь то опять была фея Обманщица, изменившая облик, дабы оказать услугу Зюльми, что и будет видно из последующего.

Зюльми, весьма огорченный новым своим

положением, примирился с ним все же, как добрый пес. Он призадумался, быть ли ему злым или ласковым, и решил, что лучше быть очень кротким, пока не найдется ему хозяин, и залаять только в том случае, когда его возьмет к себе какая-нибудь дама. Он отлично знал, что первый долг комнатной собачки — тявкать на гостей. Это дает возможность хозяйке проявить себя прелестнейшим образом, например: «Это что у меня за гадкий песик, не узнавший близких друзей?»

Кабы заслужить сие счастье, Зюльми научился, живя в разных обстоятельствах, исполнять провансальскую пляску между двух цепей, прыгать через обруч, бить хвостом, скакать через трость, отдавать честь, ходить на трех лапах и кланяться на каждое чиханье; но все эти таланты быстро его утомили, ибо хозяйка заставляла его хвастать ими слишком часто. Наконец он удрал и, пробегав восемь дней и восемь ночей, наскучив едой, добытой от случая к случаю, и ночевками под открытым небом, решил пристать к первому встречному. По счастью, это оказался садовник, возвращавшийся домой с рынка, где продавал овощи. Зюльми подбежал к нему, приласкался и пошел вслед. Садовнику он приглянулся; и вот с этого мгновения Зюльми стал собакой

садовника.

Вскоре Зюльми завоевал любовь всего садовничьего семейства. Его сочли столь приятным и исполненным всяческих прелестей, что надумали поднести принцессе. Зюльми не был расстроен таким решением, хотя и не знал сей принцессы; однако он был уверен, что положение его улучшится. На следующий день его собрались представить принцессе; она уже заранее была согласна взять его, и он с большим успехом репетировал поклоны; но каково же было его изумление, когда в принцессе он узнал свою дорогую Зельмаиду! Он поспешил отвесить поклон, похвастал удивительнейшими прыжками и бросился к Зельмаиде, осыпая ее ласками и виляя хвостом, как собака, нашедшая хозяйку.

Зельмаиде он сразу понравился до безумия, и этот миг был первым, когда скорбь, охватившая ее после потери возлюбленного, слегка утихла. Она спросила, как зовут песика; никто не знал; любовь подсказала ей истинное имя; она назвала его Зюльми. Услыхав это, Зюльми принялся ластиться вдвое больше, пытался заговорить, но мог лишь залаять. Этот новый талант его растрогал принцессу до слез, кои Зюльми поспешил вылизать.

— Увы, — нередко повторяла нежная Зельмаида, вздыхая и целуя свою собачку, — увы, бедный мой Зюльми, тот, чье имя ты носишь, изменил мне, обманул и забыл меня, а я все еще его люблю.

Зюльми прервал эти речи жалобным повизгиванием, от которого у Зельмаиды разрывалось сердце.

— Я вижу, — продолжала она, — что ты мне сострадаешь в моих горестях. Ах! Какую жестокую душу не взволнуют они, если даже тебя растрогали!

Зюльми скулил все громче, он видел страдания и верность своей возлюбленной и не мог открыть ей правды; он обожал ее и проклинал фею Не Знаю Что Сказать.

В это мгновение к дочери явилась королева Цвет Розы; заговорили перво-наперво о собачке; сказали о ней все, что полагается. Затем королева обратилась к принцессе:

— Итак, дорогая моя дочь, что вы решили? Дух знает, какой удел вы избрали; он не только не подозревает вас, но восхищен и любит вас более, чем прежде, он хочет вас видеть.

— Ах, матушка, — отвечала Зельмаида, — признаюсь вам в моей слабости: Зюльми по-прежне-

му царит в моем сердце. Должно быть, я никогда уже его не увижу, но все же я отдалась ему; любой другой невыносим для меня, и я предпочту вступить в сонм жриц Изиды и посвятить дни мои этой богине (ибо сердца я посвятить ей не могу), нежели предать Зюльми и обмануть духа, приняв его предложение.

Тут собачонка вновь заскулила, и появился дух Тугодум в сопровождении Досточтимого.

Увидев соперника, Зюльми не стерпел и вцепился зубами ему в ногу, что весьма того разозлило, и он даже сказал, что возбраняется держать собак в обителях юных дев. Но Вершитель вступился и сказал:

— Ваша светлость, воспитанницам мы это разрешаем.

— А девственным жрицам? — спросил дух.

— О, что касается девственных жриц, — скромно заметил Досточтимый, — это уж мое дело.

— Вернемся к моему, — сказал гений. — Что такое? Зельмаида, мне сказали, что вы ребячитесь и хотите остаться здесь; я не могу воспрепятствовать вам, но, говоря по правде, вы сами не знаете, чего лишаетесь.

— Я догадываюсь об этом, ваша светлость, — ответила принцесса, — но мое решение принято

твердо.

— О, поистине, сударыня, — обратился дух Тугодум к королеве, — никогда я не встречал подобной добродетели! Немало я на этом потерял, но, возможно, встречу еще какую-нибудь прелестную принцессу, которая опять сыграет со мной скверную шутку. Это вполне возможно, а ведь я отнюдь не глупец… Словом, все равно, не со мной первым это случается; однако я попытаюсь еще уговорить Зельмаиду.

И засим продолжал:

— Кстати, принцесса, известно ли вам, что, когда вы станете девственной жрицей, вам запретят держать собаку?

— Я ее отдам какой-нибудь воспитаннице, — сказала принцесса, — таким образом, я всегда смогу ее видеть.

Зюльми тотчас же лизнул Зельмаиду; королева чихнула — он отвесил поклон; Досточтимый уронил платок — Зюльми принес его; дух хотел его погладить — он ощерился.

— Вы правы, — сказал он, — прехорошенькая собачка, и похоже, вот-вот заговорит.

Он еще час пробыл у Зельмаиды, но не уговорил ее; было даже решено, что она через месяц даст святой обет. То было важным известием для

всей обители, но собачка оставалась куда более важным событием. Каждая девственница дарила ей конфеты, бисквиты и бублики, и все только и говорили, что о собачке.

Ах! Сколько хорошего видишь в жизни, когда ты собака! Ужели я не превращусь в нее на старости лет?

Зюльми настолько завоевал расположение святой обители, что каждая девственная жрица просила Зельмаиду дать его на денек. Потом дошло до того, что стали просить его на ночь. У Зельмаиды недоставало сил отказать. Таким образом, Зюльми побывал по очереди в постели у всех девственниц. И премного удивился, обнаружив, что всегда оказывался там втроем!

Наконец Зюльми понял, что все девственницы старше пятнадцати лет присваивают себе это звание точно так же, как иной мужлан зовет себя господином маркизом. Возможно, он поделился своим открытием с другими собаками обители, и новость пошла передаваться из поколения в поколение; только с тех пор ни одна собака не согласится прыгать в честь пятнадцатилетней девственницы.

Зюльми вспоминал пригрезившийся ему сон и понимал, что он сбылся: возлюбленная обошлась

с ним как с собакой, и он спал с несколькими красавицами, не чувствуя себя осчастливленным. Меж тем наступал канун того дня, когда Зельмаида собиралась принести торжественный обет; Зюльми решил любой ценой помешать свершиться церемонии. И вот наступило печальное мгновение. Все девственные жрицы сошлись во храм, королева тоже явилась, вся в слезах, взглянуть, как дорогая ее Зельмаида принесет себя в жертву. Прелестная принцесса и нарядилась как жертва; она надела самый роскошный свой наряд, чтобы снять его мгновение спустя и облачиться в вечный траур. Выйдя из опочивальни с матерью и любимой собачкой, она заплакала и молвила, прерывая речь вздохами и рыданиями:

— Матушка, вы свидетельница моей верности; Зюльми, если бы ты знал, что я приношу себя в жертву тебе!

Она не знала, что разбивает ему сердце.

Зельмаида явилась туда, где надлежало ей дать клятву себе на горе. Досточтимый ждал ее в одеждах первосвященника: это он должен был принять ее клятву. Зельмаида уже готова была произнести роковые слова; в храме царило гробовое молчание. Зельмаида стояла, потупив очи; ее мать держала у глаз платок; внезапно

Зюльми прыгнул прямо в лицо Досточтимому и так точно рассчитал, что оторвал ему нос зубами. Досточтимый лишился чувств; девственницы отчаянно завопили; Зельмаида стояла недвижимо, а королева смеялась, прикрываясь тем же платком, которым собиралась отирать слезы; Зюльми был схвачен, жизни его угрожала опасность; но королева взяла его, увела и поручилась за него. Однако собрался весь капитул, девственницы требовали смерти собаки и велели привести ее к ним на суд.

Принцесса очень сожалела, но не смела противиться приговору.

Вскоре ей было суждено узнать всю меру постигшего ее горя. В конце дня, когда девственницы удалились, Зельмаида увидела напротив окна своего фею Обманщицу в той же колеснице, которая привезла ее к фее Кокетке. Из учтивости Зельмаида осведомилась о здоровье феи.

— О Зельмаида, Зельмаида! — ответила фея. — Я хочу вас предупредить, что готовится страшное злодеяние, и вы одна можете помешать ему свершиться.

— Что за злодеяние? — спросила принцесса.

— Я знаю, — продолжала фея, — что вам по-прежнему мил Зюльми, и хочу сказать вам, что

он вас страстно любит.

— Зюльми любит меня? — вскричала принцесса. — Где же он? В каких краях? Ах, фея, спасительница моя, отвезите меня туда на вашей колеснице.

— В том нет нужды, — возразила та. — Ваша собачка, прозванная вами Зюльми, это и впрямь сам Зюльми; это ваш возлюбленный, превращенный мною в собаку, чтобы он смог добраться до вас, и вот его-то завтра и зарежут у вас на глазах; он примет человеческий облик, испуская последний вздох, и речь к нему вернется лишь затем, чтобы он мог сказать вам: «Зельмаида, я люблю вас и умираю».

Принцесса залилась слезами, услыхав это, и чуть было не упала без чувств (но тем не менее не упала, это все бы испортило).

— Вы можете спасти ему жизнь, — продолжала фея, — достаточно сказать, что вы согласны выйти за духа Тугодума.

— Увы! — сказала принцесса. — Вы знаете, что средство это ничему не поможет. Если я возьму в мужья духа Тугодума, он захочет вывести меня отсюда через врата испытаний, а я боюсь, что мне не удастся там пройти и я останусь здесь навеки и не сумею спасти жизнь Зюльми.

— Дайте только ваше согласие, — сказала фея, — остальное я беру на себя.

— Смею ли я довериться вам? — спросила Зельмаида.

— Да, — отвечала фея, — я помогаю вам лишь для того, чтобы кое-кого обмануть.

С этими словами, куда более ценными, нежели ее честное слово, она исчезла, а Зельмаида назавтра же дала знать своей матери, что сменила решение и хочет выйти за духа Тугодума.

Дух на радостях тотчас же к ней явился и повел такие речи:

— Итак, я вижу, вы одумались? Что ж, вы поступили благоразумно; я-то хорошо понимал, что в глубине души вам этого до смерти хочется, но вы не решались сказать; вот видите, что такое застенчивость. Поистине добродетель ваша меня радует. Сударыня, — обратился он к жрице, — да будет вам известно, что завтра я женюсь на принцессе, она вам более не принадлежит, а следовательно, собачка ее вам уже не подвластна, я ее помиловал, и она никогда не расстанется с хозяйкой, ибо мне вовсе безразлично, есть ли нос у вашего Досточтимого или нету.

Жрица была разгневана сей переменою, а Зюльми пришел в отчаяние, возомнив, что принцесса

позабыла о нем, коль скоро выходит за духа Тугодума; так рассуждают собаки.

Королева отвела духа в сторону и сказала:

— Ваша светлость, надеюсь, вы не вздумаете выводить отсюда дочь мою через врата испытаний? Вы только заслужите ее недовольство, давая ей понять, что сомневаетесь в ее добродетели, и будете, разумеется, не правы, ибо бедная девочка так простодушна и невинна…

— Известно ли вам, сударыня, — возразил дух, — что вы сами не знаете, что говорите? И не будь вы королевой, я бы решительно утверждал, что рассуждаете вы как ослица. Дочь ваша то ли соблюдала себя, то ли нет; если она невинна, как я полагаю, то она должна сама просить меня вывести ее через врата испытаний; а если же… вы меня понимаете! Ну, тогда уж не посетуйте; поелику жила она здесь, я сожгу сию обитель, а Досточтимый одним своим носом не отделается.

Итак, решено было, что назавтра дух Тугодум в присутствии всех девственных жриц выйдет с Зельмаидой через врата испытаний. Королева провела ночь без сна, принцесса была в тревоге, но ее успокаивала вера в фею Обманщицу.

Не бывало дня прекраснее того, что был предназначен свадьбе принцессы. Казалось, само солнце

тоже надело свадебный наряд и светит еще ярче, дабы получше разглядеть, как выдержит Зельмаида роковое испытание.

Дух, одетый с превеликой роскошью, но безо всякого вкуса, явился за принцессой в сопровождении многочисленной свиты и повел ее к сим опасным вратам, столь высоким, но нередко способным опускаться столь низко. Жрицы стояли по обе стороны, королева шествовала следом за Зельмаидой, держа на руках Зюльми, сильно встревоженного тем, что могло случиться.

Принцесса трепетала; страх ее еще возрос, когда она увидела по ту сторону врат старую и безобразную фею, носившую имя феи Привратницы. Дух Тугодум, чувствуя, что у Зельмаиды подкашиваются ноги и ему приходится чуть ли не тащить ее, начал сомневаться в счастливом исходе. Каков же был его гнев, когда притолока опустилась и врата преградили им путь! Уважение мое к прекрасному полу, столь любимому мною, не позволяет повторить непристойные упреки, коими он осыпал Зельмаиду. Она была в смятении и хранила молчание, как вдруг фея Привратница раскрыла свои страшные уста и произнесла утешительные слова:

— Ваша светлость, может статься, не Зельмаи-

да, а вы являетесь причиной сего события.

— Ха-ха! Только этого не хватало, — сказал дух, — сейчас еще скажут, будто я виновен в том, что принцесса не такова, какой ей следует быть.

— Отнюдь, — возразила фея, — но я полагаю, что это вы не такой, каким вам следовало быть. Узнайте же удивительный закон, придуманный волшебником, заколдовавшим эти врата. Он повелел, чтобы притолока опускалась перед девицами, потерявшими невинность, а также и перед мужчинами, сохранившими свою. Разрешите спросить, не относится ли подобное к вам?

— Какова наглость! — вскричал дух. — Она полагает, что я до женитьбы позволил себе… Проклятие! Тут еще из-за вас наговоришь лишнего.

— Ага, вы и есть виновник, — сказала фея.

— Как, разрази меня гром, — возмутился дух, — вы считаете меня виновным, потому что я всегда был добродетелен?

Тут все собравшиеся и даже сама принцесса не сумели сдержать смех, что еще более разгневало духа.

— Есть средство, — молвила фея Привратница, — нарушить это заклятие, надо только подарить мне то, что вам не следовало столь долго хранить.

— Вам, сударыня? — спросил дух.

— Да, ваша светлость, — отвечала она, — это мои сторонние доходы.

— Да пусть меня лучше… — вскричал дух. — Видали дрянную обезьяну? Если можно получить принцессу только такой ценой, оставьте ее себе, а я от нее отказываюсь.

Тогда фея призвала собравшихся в свидетели того, что дух Тугодум неспособен быть супругом, и освободила принцессу от обязательства выйти за него.

— Ах, как вы меня обрадовали! — вскричала принцесса.

— Ну, ну, красавица моя, — сказал дух, задыхаясь от бешенства, — вот вы как заговорили, но и на вас у меня найдется управа; я согласен отказаться от супружества, но ваша судьба все же в моих руках. Слушайте же свой приговор: вы не останетесь в сей обители, здесь чересчур легко найти утешение.

— По крайности, — сказала принцесса, — мою собачку у меня не отнимут, вы это сами сказали.

— Это правда, — ответил он, — и я в том раскаиваюсь, но отступаться от слов своих не могу.

— Признаете ли вы, — сказала фея, — что лишитесь всякой власти над принцессой, если

отдадите ее в руки возлюбленного?

— Еще бы! Разумеется! Но к чему это здесь? Право, она сама не знает, что говорит! — проворчал он в негодовании.

В тот же миг фея Привратница предстала в облике феи Обманщицы.

— Дух Тугодум, глупец, — сказала она громким голосом, — узнай своего соперника.

Она тронула песика волшебной палочкой, тот вновь обрел прекрасные черты принца и бросился к ногам Зельмаиды. Дух убежал, закричав: «Ах ты собака!»

Тотчас же отпраздновали свадьбу наших любовников, и ходят слухи, что ночью Зельмаида тоже повторяла: «Ах ты собака!» — но совсем иначе, чем то произнес дух, а посему можно поверить старой сказке, где говорится, что Зюльми и Зельмаида жили долго и счастливо и народили много детей.

ВОЛЬТЕР

ВОЛЬТЕР
МИР, КАКОВ ОН ЕСТЬ, ВИДЕНИЕ БАБУКА, ЗАПИСАННОЕ ИМ САМИМ

Перевод Е. Гунста

Среди духов, управляющих государствами, Итуриэль занимает одно из первых мест; в его ведении северная часть Азии. Как-то утром он снизошел в дом скифа Бабука, на берегу Окса,{79} и сказал ему:

— Бабук, безумства и бесчинства персов вызвали наш гнев; вчера состоялось совещание духов Северной Азии, чтобы решить вопрос, подвергнуть ли Персеполис{80} каре ему же в назидание или вовсе разрушить его. Отправляйся в этот город, все разузнай; привезешь мне подробный отчет, и на его основании я решу, наказать ли город или вовсе стереть его с лица земли.

— Но, повелитель, я никогда не бывал в Персии, — скромно отвечал Бабук, — я никого там

{79} Комментарии: 2.79

Окс (или Оксус) — древнее название реки Амударьи.

{80} Комментарии: 2.80

Персеполис. — Хотя такой город и существовал в древности в Малой Азии, здесь Вольтер изображает современный ему Париж.

не знаю.

— Тем лучше, — возразил ангел, — значит, ты будешь беспристрастен. Небо наделило тебя здравомыслием, а я добавлю к этому дар внушать людям доверие; ступай, смотри, слушай, наблюдай и ничего не опасайся, повсюду ждет тебя радушный прием.

Бабук взобрался на своего верблюда и в сопровождении слуг отправился в дорогу. Спустя несколько дней он повстречал в Сеннарской равнине{81} персидскую армию, готовившуюся к бою с индийской. Сначала он обратился к солдату, стоявшему в сторонке. Он заговорил с ним и спросил, из-за чего началась война.

— Клянусь всеми богами, — отвечал солдат, — понятия не имею. Это меня не касается: мое ремесло — убивать или быть убитым, этим я зарабатываю себе на жизнь; кому я служу — не имеет ни малейшего значения. Я даже мог бы хоть завтра перейти на сторону индийцев, ведь говорят, что они платят воинам почти на полдрахмы медной больше, чем платят нам на проклятой персидской службе. Если желаете знать, из-за чего дерутся, обратитесь к моему командиру.

{81} Комментарии: 2.81

Сеннарская равнина — местность между Тигром и Евфратом, согласно библейской топографии.

Бабук сделал солдату небольшой подарок, затем вошел в лагерь. Вскоре он познакомился с командиром и спросил у него, из-за чего началась война.

— Откуда же мне знать? — ответил командир. — Да и зачем мне это? Я живу в двухстах лье от Персеполиса; до меня доходит слух, что объявлена война; я тотчас покидаю семью и отправляюсь, как водится у нас, на поиски богатства или смерти, поскольку ничего другого мне не остается.

— Ну, а товарищи ваши, — продолжал Бабук, — может быть, они знают немного больше вашего?

— Нет, — возразил офицер, — одним только нашим главным сатрапам доподлинно известно, из-за чего началась драка.

Бабук, крайне удивленный, отправился к генералам, сблизился с ними. Один из них сказал наконец Бабуку:

— Поводом к войне, которая уже двадцать лет раздирает Азию, послужила ссора евнуха одной из жен великого короля Персии с чиновником из канцелярии великого короля Индии. Речь шла о праве собирать подать, приносившую около тридцатой части дарика. Наш премьер-министр и премьер-министр Индии достойно отстаивали

права своих повелителей. Распря разгоралась. С той и другой стороны были выставлены армии численностью в миллион штыков. Ежегодно приходится рекрутировать еще по четыреста тысяч солдат. Нет конца убийствам, разбою, пожарам, опустошениям, весь мир страдает, а неистовство продолжается. Наш премьер-министр и индийский постоянно уверяют, что они действуют, только руководствуясь благом рода человеческого, и каждое их уверение сопровождается разгромом какого-нибудь города и разорением нескольких провинций.

На другой день, когда разнесся слух, что скоро будет заключен мир, персидский военачальник и индийский поспешили сразиться; битва была кровопролитной. Бабук лицезрел все сопутствующие ей бесчинства и мерзости; он стал свидетелем происков главных сатрапов, которые делали все возможное, чтобы погубить своего начальника. Он видел командиров, убитых их собственными солдатами; он видел солдат, которые приканчивали своих смертельно раненных товарищей, дабы вырвать у них какие-нибудь окровавленные, рваные, грязные лохмотья. Он заглянул в госпитали, куда свозили раненых, большинство коих погибало из-за преступного

нерадения тех, кому персидский король платил довольно щедро за то, чтобы они помогали пострадавшим…

— Люди это или дикие звери? — вскричал Бабук. — Да, я убеждаюсь: Персеполис будет стерт с лица земли.

Размышляя таким образом, он отправился в лагерь индийцев; как и было ему предсказано, его приняли там не менее радушно, чем у персов, но у индийцев он увидел те же мерзости, которые привели его в ужас у персов. «Что ж, — подумал он, — если ангел Итуриэль намерен уничтожать персов, так и ангелу Индии придется уничтожать индийцев». Затем, подробнее расспросив обо всем, что происходило в той или другой армии, он узнал о поступках, говоривших о благородстве, величии души, человеколюбии, и это и удивило его, и привело в восторг.

— Непостижимые существа, — воскликнул он, — как можете вы сочетать в себе столько низости и величия, столько добродетелей и пороков?

Между тем был заключен мир. Начальники обеих армий, из коих ни один не одержал победы, а оба лишь из своекорыстия пролили столько крови себе подобных, теперь отправлялись во дворцы своих монархов домогаться наград. В

печати прославляли мир, возвещая, что на земле отныне воцаряются добродетель и счастье.

— Да будет благословен бог! — сказал Бабук. — Персеполис станет приютом невинности; он не будет разрушен, как того хотели озлобленные духи; поспешим же в эту азиатскую столицу!

Он въехал в огромный город через древние ворота, совсем варварские с виду и оскорблявшие взор своей отвратительной грубостью. На всей этой части города лежал отпечаток того времени, когда она была построена, ибо, несмотря на упорство, с каким люди восхваляют старину в ущерб новизне, следует признать, что в любой области первым опытам всегда свойственна неуклюжесть.

Бабук смешался с толпой, состоявшей из самых грязных, самых безобразных мужчин и женщин. Толпа ошалело устремлялась к обширному, темному огороженному участку. По беспрерывному гулу, по сутолоке, которую Бабук видел здесь, по тому, как одни давали деньги другим, чтобы получить право сесть, он подумал, что находится на базаре, где торгуют стульями с соломенными сиденьями; но вскоре, заметив, что многие женщины опускаются на колени, делая вид, будто пристально смотрят перед собою, а на деле

искоса посматривая на мужчин, он убедился, что находится в храме. Купол отражал звуки хриплых, пронзительных, диких, неблагозвучных голосов, произносивших невнятные слова и напоминавших мычанье диких ослов из Пиктавской долины,{82} когда они отвечают на зов пастушьего рожка. Он заткнул себе уши, но, когда он увидел рабочих, вошедших в храм с лопатами и ломами, ему захотелось также зажмуриться и заткнуть нос. Рабочие приподняли широкую плиту и разбросали по сторонам землю, издававшую зловоние, затем в яму опустили покойника и положили плиту на место.

— Как же так, — вскричал Бабук, — этот народ хоронит своих покойников в тех же местах, где поклоняется божеству! Как же так? Их храмы вымощены трупами! Теперь я не удивлюсь, что Персеполис так часто страдает от заразных болезней. Гниющие мертвецы и орда живых, собравшихся и сгрудившихся в одном и том же месте, может отравить весь земной шар. Ах, что за мерзкий город Персеполис! Видно, ангелы хотят разрушить его, чтобы построить лучший город и населить его жителями почистоплотнее

{82} Комментарии: 2.82

…из Пиктавской долины… — В данном случае Вольтер имеет в виду старинную французскую провинцию Пуату.

и поющими получше. У провидения могут быть свои доводы; предоставим ему действовать.

Тем временем солнце подходило к вершине своего пути. Бабуку предстояло отправиться на обед в другой конец города, к даме, муж которой, состоявший на военной службе, дал ему рекомендательное письмо. Сначала Бабук погулял по городу; он увидел другие храмы, удачнее построенные и удачнее украшенные, где виден был народ почище и слышалось благозвучное пение; он увидел общественные фонтаны,{83} хоть и нелепо расположенные, зато радовавшие взор своей красотой; площади, где казались живыми бронзовые короли,{84} лучшие из числа тех, что правили Персией; увидел и другие площади, где слышались возгласы горожан: «Когда же увидим мы здесь нашего возлюбленного повелителя?»{85} Он полюбовался прекрасными мостами, перебро-

---

{83} Комментарии: 2.83

…общественные фонтаны… — Вольтер имеет в виду первенцев парижского водопровода — устроенные в нескольких местах столицы фонтаны, из которых население брало воду.

{84} Комментарии: 2.84

…бронзовые короли… — Речь идет об установленных в Париже бронзовых статуях Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV.

{85} Комментарии: 2.85

…нашего возлюбленного повелителя? — Это сказано в царствование Людовика XV.

шенными через реку, прелестными и удобными набережными, великолепными, благоустроенными кварталами, дворцами, высящимися тут и там, огромным домом,{86} где тысячи престарелых раненых солдат, некогда одержавших победу, воздавали хвалу покровителю армий. Наконец он появился у дамы, которая ждала его к обеду в обществе благовоспитанных людей. Дом был опрятный, хорошо обставленный, обед превосходный, дама молодая, миловидная, остроумная, привлекательная, гости казались достойными ее. И Бабук то и дело говорил себе: «Ангел Итуриэль насмехается над людьми, желая разрушить столь очаровательный город».

Тем временем он заметил, что хозяйка, сначала ласково расспросившая его о своем муже, под конец обеда заговорила еще ласковее с молодым магом.{87} Он обратил также внимание на чиновника, который в присутствии собственной жены самозабвенно обнимал некую вдову, а снисходительная вдова обвила рукою шею

{86} Комментарии: 2.86

…огромным домом… — Вольтер имеет в виду Дом инвалидов, основанный в 1670 г. как приют для ветеранов войны.

{87} Комментарии: 2.87

…с молодым магом… — Имеется в виду светский аббат, очень характерная фигура в светской жизни эпохи.

чиновника, другую же протянула юному горожанину, весьма красивому и весьма скромному. Супруга чиновника прежде всех встала из-за стола и направилась в соседнюю гостиную, чтобы поговорить со своим духовником, опоздавшим к обеду; духовник, мужчина красноречивый, побеседовал с нею в этой гостиной столь пылко и столь умилительно, что у дамы, когда она вернулась, глаза были влажные, щеки пылали, походка стала шаткой и голос дрожал.

Тут у Бабука возникло сомнение — не прав ли дух Итуриэль. Обладая даром внушать окружающим доверие к себе, он в тот же день узнал все секреты этой дамы: она ему призналась в слабости к молодому магу и заверила, что во всех персепольских домах он встретит то же, что видит в ее доме. Бабук пришел к убеждению, что такое общество существовать не может; что ревность, раздоры, жажда мести должны подрывать тут все семьи; что слезы и кровь должны литься непрерывно; что мужья, разумеется, перебьют возлюбленных своих жен или сами будут ими перебиты и, наконец, что Итуриэль поступит прекрасно, если одним взмахом уничтожит город, погрязший в нескончаемых бесчинствах.

Он был погружен в эти мрачные мысли, когда

в дверях показался степенный человек в черном одеянии и смиренно попросил позволения переговорить с молодым чиновником. Тот, не вставая с места, не удостаивая вошедшего взглядом, надменно, с рассеянным видом протянул ему несколько бумаг и отпустил его. Бабук спросил, что это за человек. Хозяйка дома шепотом ответила:

— Это один из лучших адвокатов в городе; уже пятьдесят лет он изучает законы. А этому господину только двадцать пять лет, два дня как он сатрап законов,{88} и вот он поручил адвокату составить конспект тяжбы, которую ему предстоит судить и с которой он еще не успел ознакомиться.

— Молодой повеса правильно поступает, прося совета у старика, — заметил Бабук, — но почему судьей будет не сам старик?

— Шутите, — ответили ему, — никогда чиновники, состарившиеся на низших трудных должностях, не достигают высокого положения. Этот молодой человек занимает ответственный пост потому, что его отец — богач, а у нас право

{88} Комментарии: 2.88

Сатрап законов. — Так Вольтер именует советника парижского парламента, основного судебного учреждения тогдашней французской столицы.

отправлять правосудие покупается точно так же, как участок земли.

— О, нравы! О, злосчастный город! — воскликнул Бабук. — Дальше идти некуда. Купившие право судить, несомненно, торгуют своими приговорами. Я вижу здесь только бездны несправедливостей.

В то время как Бабук изливался так в своем изумлении и скорби, юный воин, в тот самый день возвратившийся из армии, сказал ему:

— Почему вы против того, чтобы чиновничьи должности продавались? Купил же я право встретиться со смертью во главе двух тысяч солдат, которыми я командую; за то, чтобы лежать на земле тридцать ночей подряд в красном мундире, а затем получить две раны от стрел, которые я чувствую и по сей день, мною уплачено в этом году сорок тысяч золотых дариков. Если я разорюсь на том, чтобы служить персидскому императору, которого никогда в глаза не видел, то господин судейский сатрап вполне может кое-что заплатить за удовольствие судить тяжущихся.

Возмущенный Бабук не мог не порицать в душе страну, где с торгов продаются военные и цивильные должности; он сразу же пришел к заключению, что тут, по-видимому, совершенно

не знакомы ни с требованиями войны, ни с законами и что даже если Итуриэль не уничтожит эти племена, они сами погибнут от своих отвратительных порядков.

Его мнение о них стало еще хуже, когда появился толстый мужчина, который, весьма бойко поклонившись всей компании, подошел к молодому офицеру и сказал ему:

— Я мог одолжить вам не более пятидесяти тысяч золотых дариков, ибо, уверяю, таможни империи принесли мне в этом году всего лишь триста тысяч.

Бабук осведомился, кто этот человек, жалующийся, что заработал так мало; ему разъяснили, что в Персеполисе живет сорок плебейских царьков, они арендуют Персидскую империю и кое-что платят за это монарху.{89}

После обеда Бабук отправился в один из прекраснейших храмов города; он занял место среди многочисленных женщин и мужчин, пришедших сюда провести время. На высоком помосте появился маг и долго разглагольствовал насчет

{89} Комментарии: 2.89

...сорок плебейских царьков... — Имеются в виду так называемые генеральные откупщики, которые покупали у государства право собирать налоги. В момент написания вольтеровской повести их действительно было сорок.

пороков и добродетели. Он подробно уточнял то, что вовсе не требовало уточнений, он последовательно разъяснял то, что и так было ясно; он учил тому, что всем было известно. Он деланно воодушевлялся и наконец спустился с помоста, запыхавшись и весь в поту. Тут все собравшиеся очнулись; они считали, что выслушали поучение. Бабук сказал:

— Этот человек старался изо всех сил, чтобы его сограждане скучали; но делал он это из лучших побуждений, и тут нет повода для разрушения Персеполиса.

По выходе из этого собрания его повели на общественное празднество, которое дается каждодневно круглый год; происходило оно в своего рода базилике,{90} в глубине коей виднелся дворец. Самые красивые персеполисские горожанки, самые влиятельные сатрапы, разместившись рядами, являли столь чарующую картину, что Бабук поначалу решил, что в этом и заключается все зрелище. Вскоре в вестибюле дворца появились две-три особы, казавшиеся королями и королевами; речь их сильно отличалась от народной; они говорили размеренно, сладкозвуч-

{90} Комментарии: 2.90

…в своего рода базилике… — Далее идет описание одного из парижских театров.

но и возвышенно. Никто не спал, все слушали в глубокой тишине, которая нарушалась только изъявлениями восторга и чувствительности присутствующих. О долге королей, о стремлении к добродетели, о коварстве страстей говорилось так красноречиво и трогательно, что Бабук прослезился. Он был уверен, что герои и героини, короли и королевы, которых он слышит, не кто иные, как проповедники этого государства; он даже вознамерился посоветовать Итуриэлю послушать их и не сомневался, что это навсегда примирит ангела с этим городом.

Когда празднество кончилось, он пожелал увидеться с главной королевой, которая проповедовала в этом великолепном дворце столь благородную и возвышенную мораль; он попросил представить его ее величеству; его повели по узкой лесенке на второй этаж, в убого обставленную комнату, где он увидел небрежно одетую женщину, которая сказала ему трогательно и благородно:

— Ремеслом этим я не могу заработать на жизнь; один из принцев, которых вы видели, наградил меня ребенком; скоро мне родить; денег у меня нет, а как же родить без денег?

Бабук дал ей сто золотых дариков, сказав:

— Если этим ограничиваются пороки города, напрасно Итуриэль так гневается.

Засим он отправился провести вечер к торговцам бесполезными предметами роскоши. Повел его туда умный человек, с которым он познакомился; он выбрал то, что ему приглянулось, и ему отменно вежливо продали вещи, взяв с него гораздо больше, чем они стоили. Друг Бабука, когда они вернулись к нему домой, объяснил ему, как ловко его обманули. Бабук записал в свою книжку имя торговца, чтобы Итуриэль опознал его, когда будут наказывать город. Пока он писал, в дверь постучались; оказалось, что это не кто иной, как сам торговец; он принес кошелек, который Бабук по оплошности оставил на прилавке.

— Как можете вы, — воскликнул Бабук, — быть столь щепетильным и великодушным после того, как вы не постыдились взять с меня за безделушки вчетверо дороже их цены?

— В городе не найдется ни одного более или менее известного коммерсанта, который не вернул бы вам кошелька, — ответил торговец. — Однако вас ввели в заблуждение, сказав, что я взял с вас за украшения вчетверо больше, чем следовало; я продал их вам в десять раз дороже, и вы убедитесь в этом, если через месяц надумаете их

продать; вы не выручите и десятой части. И все же это вполне справедливо; цену таким пустячкам придает лишь людская прихоть; за счет этой прихоти живет сотня мастеров, работающих у меня по найму; благодаря ей у меня прекрасный дом, удобный экипаж, лошади; именно она поощряет промышленность, содействует хорошему вкусу, товарообороту, изобилию. Те же побрякушки я продаю соседним народам еще дороже, чем продал вам, и тем самым приношу пользу государству.

Подумав немного, Бабук вычеркнул его из своей книжечки.

В полном недоумении, как же относиться к Персеполису, Бабук решил повидаться с магами и учеными, ибо одни изучают мудрость, а другие — религию; и он понадеялся, что заслуги этих людей искупят пороки остальных слоев народа. На следующее же утро он отправился в семинарию магов.{91} Архимандрит признался ему, что располагает рентою в сто тысяч экю за то, что дал обет смирения; затем он передал Бабука в руки послушника, который и занялся гостем.

Пока послушник знакомил Бабука с роскошью

{91} Комментарии: 2.91

...в семинарию магов... — то есть в монастырь.

этой обители покаяния, разнесся слух, будто он явился, чтобы преобразовать все подобного рода обители. Тотчас же из всех обителей к нему стали поступать докладные записки, и во всех говорилось в основном одно и то же: «Сохраните нашу обитель и распустите все остальные». Если верить их самовосхвалению, все они были крайне полезны; если верить их взаимным обвинениям, всех их надо было распустить. Бабук удивлялся, что не обнаружил ни одной записки, в которой не содержалось бы требования неограниченной власти над человечеством, дабы поучать его. Тут появился низкорослый человечек, который был полумагом;{92} он сказал Бабуку:

— Вижу, что скоро настанет светопреставление, ибо Зердюст{93} вновь снизошел на землю;

{92} Комментарии: 2.92

Полумаг. — В данном случае Вольтер имеет в виду священника, придерживающегося янсенистских взглядов, не вполне признававшихся официальной церковью.

{93} Комментарии: 2.93

Зердюст — одно из названий Зороастра, легендарного основателя древнеперсидской религии.

маленькие девочки пророчат,{94} когда их пощипывают спереди и постегивают сзади. Поэтому мы просим, чтобы вы защитили нас от великого ламы.{95}

— Как так? — удивился Бабук, — защитить от великого жреца-короля, восседающего в Тибете?

— Именно от него.

— Значит, вы воюете с ним, выставляете против него войска?

— Нет; но он говорит, что человек свободен, а мы этому не верим; мы сочиняем против него брошюры, которых он не читает: он знает о нас лишь понаслышке, он только приказал осудить нас — как хозяин приказывает подрезать сучки на деревьях в его садах.

Бабук содрогнулся от безрассудства этих присяжных мудрецов, от происков тех, что презрели свет, от гордыни и надменных притязаний тех, что проповедуют смирение и бескорыстие; он пришел к выводу, что у Итуриэля есть полное

{94} Комментарии: 2.94

…маленькие девочки пророчат… — Вольтер намекает на секту конвульсионеров (которые кое в чем примыкали к янсенистам), устраивавших свои сборища на парижском кладбище святого Медарда (недалеко от Сорбонны). Особая активность этой секты приходится на 1729 г., когда она была запрещена властями.

{95} Комментарии: 2.95

Великий лама — то есть папа римский.

основание уничтожить все это отродье.

Возвратившись домой, он послал слугу купить книжные новинки, чтобы немного утешиться, и пригласил к обеду несколько ученых для развлечения. Их пришло вдвое больше, чем ему хотелось; они слетелись, как осы на мед. Бездельники торопились поесть и наговориться; они восхваляли две категории людей — покойников и самих себя, но отнюдь не современников, если не считать хозяина дома. Когда кому-нибудь удавалось хорошо сострить, остальные потупляли взоры и покусывали себе губы от досады, что острота сказана не ими. Они были не так скрытны, как маги, потому что притязания у них были помельче. Каждый из них домогался должности лакея и хотел прослыть великим человеком; они говорили друг другу в лицо дерзости, воображая, что это очень остроумно. Они кое-что знали о миссии Бабука. Один из них шепотом попросил его разгромить некоего автора, который пять лет тому назад недостаточно расхвалил его; другой пожелал погибели какого-то гражданина оттого, что тот никогда не смеется, смотря его комедии; третий просил распустить Академию, потому что ему так и не удалось стать академиком. По окончании обеда каждый ушел в одиночку, ибо

во всей компании не нашлось и двух человек, которые выносили бы один другого и могли бы беседовать друг с другом в ином месте, кроме дома богача, к столу которого их пригласили. Бабук додумал, что не велика будет утрата, если эта нечисть погибнет во всеобщем крушении.

Отделавшись от них, он принялся читать новые книжки. Он узнавал в них дух своих недавних гостей. С особым негодованием просмотрел он эти сборники злословия, эти залежи дурного вкуса, продиктованные завистью, подлостью и голодом, эти гнусные сатиры, где оберегают ястреба и раздирают голубка, эти лишенные воображения романы, где видишь столько портретов женщин, которых автор никогда не видел.

Он бросил все эти мерзкие писания в огонь и отправился на вечернюю прогулку. Ему представили пожилого писателя, который не был у него в числе прочих блюдолизов. Этот писатель всегда чуждался толпы; хорошо зная людей, он извлекал из этого пользу и держался скромно. Бабук с грустью заговорил с ним о том, что ему довелось увидеть и прочитать.

— Вы читали вещи, достойные презрения, — сказал ему мудрый литератор, — но во все времена и во всех странах и во всех жанрах дурное

кишмя кишит, а хорошее редко. Вы принимали у себя самые отбросы ученого сословия, ибо в любой профессии все самое недостойное всегда предстает особенно нагло. Истинные мудрецы живут в своей среде, уединенно и тихо; среди нас все же есть люди и книги, достойные вашего внимания.

Пока они так рассуждали, к ним подошел еще один писатель; их беседа была столь приятна и поучительна, столь возвышалась над предрассудками и так соответствовала добродетели, что Бабук признался, что никогда не слышал ничего подобного.

— Вот люди, которых ангел Итуриэль не решится тронуть, разве что окажется совсем безжалостным, — прошептал он.

Примирившись с литераторами, он все же по-прежнему негодовал против остальной части народа.

— Вы иностранец, — сказал ему здравомыслящий человек, с которым он беседовал, — недостатки предстают перед вами толпою, а добро, зачастую потаенное и вытекающее иной раз именно из этих недостатков, ускользает от вас.

Тут он узнал, что среди писателей попадаются и независтники и что даже среди магов

встречаются люди добродетельные. Он узнал наконец, что эти крупные объединения, которые воюют друг с другом и тем самым подготовляют свою собственную гибель, по существу являются установлениями благотворными; что каждое объединение магов служит уздою для его соперников; что если эти соревнующиеся и отличаются друг от друга в некоторых вопросах, то они все же преподают одну и ту же нравственность, что они просвещают народ, что они послушны законам и подобны тем домашним воспитателям, которые руководят юношами, в то время как хозяин руководит ими самими. Он познакомился с несколькими из них и оценил их небесно-чистые души. Он даже узнал, что среди безумцев, воображающих, будто им под стать воевать с великим ламой, есть и поистине великие люди. У него под конец возникло сомнение: не так же ли обстоит в Персеполисе дело с нравами, как и со зданиями, из коих одни представились ему достойными жалости, а другие привели в восторг?

Он оказал этому писателю:

— Я признаю, что маги, которые поначалу показались мне столь опасными, в действительности весьма полезны, особенно когда разумное правительство не допускает, чтобы они стали чересчур

необходимыми; но согласитесь все же, что ваши молодые чиновники, покупающие должность судьи, едва научившись сидеть в седле, неминуемо являют в судах самое нелепое невежество и всю мерзость самоуправства; не подлежит сомнению, что лучше предоставлять эти места бесплатно старым юристам, которые всю жизнь занимались взвешиванием «за» и «против».

Писатель возразил ему:

— Перед тем как пожаловать в Персеполис, вы видели нашу армию; вы знаете, что наши молодые офицеры дерутся превосходно, хотя свои должности они и купили; может быть, вы убедитесь, что наши молодые судьи судят неплохо, хоть они и заплатили за право судить.

На другой день писатель повел его в суд, где разбиралось запутанное дело. Повод для тяжбы был всем известен. Все старые адвокаты, обсуждая казус, высказывались весьма неопределенно; они ссылались на множество законов, из коих, в сущности, ни один не был применим к данному случаю; они рассматривали дело со множества сторон, из коих ни одна не была убедительна; судьи вынесли приговор скорее, чем ожидали адвокаты. Мнение их было почти единодушно; одни судили хорошо потому, что руководствова-

лись светом разума, другие же рассуждали дурно, потому что основывались только на книгах.

Бабук сделал вывод, что в заблуждениях нередко содержится много хорошего. Он в тот же день убедился, что богатства финансистов, которые так возмущали его, могут быть весьма полезны, ибо когда императору понадобились деньги, он при содействии финансистов за час собрал такую сумму, какой не собрал бы и в полгода, если бы действовал обычными путями; Бабук понял, что эти огромные тучи, напитавшиеся земной росою, возвращают земле то, что получают от нее. К тому же и дети этих новых людей, зачастую воспитанные лучше, чем отпрыски самых древних родов, иной раз заслуживают предпочтения, ибо нет никаких помех к тому, чтобы стать справедливым судьей, храбрым воином, талантливым государственным деятелем, если отец твой был сметлив и расчетлив.

Постепенно Бабук прощал финансистам их алчность, ибо они алчны не больше других и притом полезны. Он мирился с безрассудством тех, кто разоряется, чтобы получить возможность судить и воевать, с безрассудством, порождающим великих юристов и героев. Он снисходил к зависти писателей, среди коих находились люди,

просвещающие современников; он мирился с притязаниями и происками магов, у которых оказывалось больше великих добродетелей, чем мелких пороков; но все-таки многим он был недоволен, особенно же беспокоило и пугало его легкомыслие женщин и горести, которые оно влечет за собою.

Он хотел ознакомиться с укладом жизни всех слоев населения и попросил поэтому отвести его к какому-нибудь министру; но по пути он содрогался от опасения, не была бы какая-нибудь женщина в его присутствии убита своим мужем. Прибыв к государственному деятелю, он вынужден был два часа просидеть в приемной, прежде чем о нем доложили, и еще два часа после этого. Истомившись в ожидании, он решил пожаловаться ангелу Итуриэлю и на министра, и на его наглых чиновников. Приемная была полна дамами разных сословий, магами всех толков, судьями, купцами, офицерами, учеными олухами; все были недовольны министром. Скупец и ростовщик говорили: «Этот человек, несомненно, грабит провинции»; фантазер ставил ему в упрек, что он ведет себя странно; сластолюбец говорил: «Он думает только о собственных утехах»; склочник рассчитывал, что он скоро падет вслед-

ствие какой-то интриги; женщины надеялись, что в недалеком будущем им дадут министра помоложе.

Бабук прислушивался ко всем этим толкам; он не мог не подумать: «Вот счастливый человек; все его враги собрались у него в приемной; он своей властью подавляет завидующих ему; он находит у своих ног ненавидящих его». Наконец Бабук вошел к министру, он увидел маленького старичка,{96} согбенного под гнетом лет и забот, но еще шустрого и остроумного.

Бабук понравился ему, и сам он показался Бабуку человеком, достойным уважения. Беседа завязалась интересная. Министр признался ему, что он человек крайне несчастный, что он слывет богачом, в то время как он беден; что думают, будто он всесилен, а ему постоянно противоборствуют; что среди облагодетельствованных им оказались одни только неблагодарные и что за сорок лет беспрерывного труда ему выпало лишь несколько утешительных мгновений. Бабук был очень растроган и подумал, что если этот человек и совершил ошибки и если ангел Итуриэль хочет покарать его, то не надо его уничтожать, а

{96} Комментарии: 2.96

…увидел маленького старичка… — Возможно, Вольтер нарисовал здесь портрет министра Людовика XV кардинала Флери (1653–1743).

достаточно оставить его в прежней должности.

* * *

Пока он разговаривал с министром, в кабинет стремительно вошла та дама, у которой Бабук обедал; взор ее и лицо выражали скорбь и гнев. Она разразилась упреками в адрес государственного деятеля, она залилась слезами; она горько сетовала на то, что он отказал ее мужу в должности, на которую тот мог рассчитывать, принимая во внимание его знатное происхождение и в воздаяние его заслуг и полученных ран; она выражалась столь решительно, она жаловалась столь изящно, она отвергала возражения столь ловко, она приводила доводы столь красноречиво, что добилась своего и супруг ее был облагодетельствован.

Бабук протянул ей руку и сказал:

— Возможно ли, сударыня, так стараться ради человека, которого вы не любите и от которого можете ожидать всяческих неприятностей?

— Человека, которого я не люблю? — воскликнула она. — Да будет вам известно, что муж — самый мой лучший друг на свете, что я готова пожертвовать ради него всем, кроме моего любовника, и он также сделает для меня все, только не расстанется со своей любовницей. Я позна-

комлю вас с нею; это очаровательное существо, остроумное, с прекрасным характером; сегодня вечером мы ужинаем все вместе, с мужем и моим любезным магом; приходите разделить с нами нашу радость.

Дама повезла Бабука к себе домой. Муж, вернувшийся наконец в весьма грустном настроении, встретил жену с восторгом и был полон глубочайшей признательности; он поочередно целовал жену, любовницу, любезного мага и Бабука. За ужином царили веселье, согласие, остроумие и изящество.

— Знай, — сказала Бабуку хозяйка дома, — что женщины, которых считают непорядочными, зачастую наделены качествами весьма порядочного человека, а чтобы убедиться в этом, поедемте завтра со мною к прекрасной Теоне.{97} Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они все вместе. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только о его добром имени, а ему стало бы стыдно перед нею, упусти он случай сделать добро,

---

{97} Комментарии: 2.97

Теона. — Как полагают, Вольтер изобразил под этим именем свою близкую приятельницу г-жу дю Шатле.

ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить.

Бабук принял приглашение. Он увидел дом, где царили всевозможные утехи. Сама Теона царила над всем; с каждым она находила общий язык. Ее непринужденный ум никого не стеснял; она всем нравилась, вовсе не стремясь к этому; она была столь же любезна, сколь и добра, а все эти чарующие качества подкреплялись еще и тем, что она была очень хороша собою.

Бабук, хоть и был скифом, да еще посланцем духа, подумал, что, поживи он еще немного в Персеполисе, он забудет Итуриэля ради Теоны. Он все больше привязывался к городу, население которого воспитанно, ласково и благожелательно, хоть и легкомысленно, тщеславно и злоязычно. Его тревожило, как бы Персеполис не подвергся осуждению, его тревожил даже доклад, который ему надо было представить.

Вот как он взялся за составление доклада. Он заказал лучшему в городе литейщику отлить небольшую статую из всех имеющихся металлов, всех сортов глины и из самых драгоценных и самых простых камней. Он отнес эту статую

Итуриэлю.

— Разобьете ли вы эту прелестную фигурку только потому, что в ней содержатся не одни лишь алмазы и золото?

Итуриэль понял его с полуслова; он решил даже не помышлять больше об исправлении Персеполиса и предоставить миру оставаться таким, каков он есть, «ибо, — заметил он, — если и не все в нем хорошо, то все терпимо». Итак, Персеполис оставили в целости, и Бабук отнюдь не сетовал на это, в отличие от Ионы,{98} который разгневался, что не разрушили Ниневию. Но когда просидишь трое суток во чреве китовом, настроение становится совсем не то, что у человека, побывавшего в опере, в комедии и поужинавшего в приятной компании.



{98} Комментарии: 2.98

...в отличие от Ионы... — Речь идет о библейской Книге пророка Ионы, где рассказывается, как Иона (попавший в результате кораблекрушения в брюхо кита) предрекал гибель жителям города Ниневии.

ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СКАРМЕНТАДО, НАПИСАННАЯ ИМ САМИМ

Перевод С. Брахман

Я родился в городе Кандии{99} в 1600 году. Мой отец был там правителем; и я вспоминаю, что некий посредственный поэт, но зато выдающийся тупица, по имени Иро,{100} сочинил скверные стишки в мою честь, в коих восхвалял меня как потомка Миноса по прямой линии; но когда отец мой впал в немилость, он сочинил другие стишки, в коих я назывался уже лишь потомком Пасифаи и ее любовника.{101} Дрянной человечишка был этот Иро и самый докучный мошенник на всем

{99} Комментарии: 2.99

Кандия — портовый город на острове Крит.

{100} Комментарии: 2.100

Иро — анаграмма фамилии посредственного поэта Шарля Руа (1683–1764), который в 1746 г. пытался вступить в стихотворную полемику с Вольтером.

{101} Комментарии: 2.101

…лишь потомком Пасифаи и ее любовника. — Пасифая была женой Миноса, царя Крита; любовником Пасифаи был бык; результатом этой противоестественной любви стало рождение Пасифаей чудовища Минотавра (греч. миф.).

острове.

Когда мне минуло пятнадцать лет, отец послал меня учиться в Рим. Я прибыл туда в надежде познать все истины, ибо до тех пор меня обучали прямо противоположному, по обычаю невежественного мира, протянувшегося от Китая до самых Альп. Монсиньор Профондо, коему меня препоручили, был странный человек и один из самых неистовых ученых на свете. Он хотел научить меня аристотелевым категориям{102} и готов был зачислить меня в категорию любимцев своего сердца; мне удалось благополучно избежать этой чести. Я видел торжественные шествия, видел изгнание дьявола и несколько грабежей. Говорили, хотя это было в высшей степени неверно, будто синьора Олимпия,{103} весьма осмотрительная особа, продавала многое, чего не следует продавать. Я был в таком возрасте, что все это казалось мне чрезвычайно занятным. Одна молодая дама весьма покладистого нрава,

---

{102} Комментарии: 2.102

…аристотелевым категориям… — Под категориями великий античный философ Аристотель (384–322 до н. э.) понимал основные, наиболее общие формы и отношения бытия, куда он относил: сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и страдание.

{103} Комментарии: 2.103

…синьора Олимпия… — Речь идет об Олимпии Мальдакини, родственнице и возлюбленной папы Иннокентия X (папа с 1644 по 1655 г.).

по имени синьора Фателo,{104} вознамерилась меня полюбить. За ней ухаживали преподобный отец Пуаньярдини{105} и преподобный отец Аконити,{106} молодые монахи ныне уже не существующего ордена; она примирила их между собой, одарив своей благосклонностью меня; но в то же время я подвергался опасности быть отлученным от церкви и отравленным. Я уехал из Рима, весьма довольный архитектурой собора святого Петра.

Я совершил путешествие во Францию; то было время царствования Людовика Справедливого.{107} Первым делом меня спросили, не желаю ли я получить на завтрак кусочек маршала д'Анкр,{108} которого изжарили по требованию народа и теперь продавали в розницу всем жела-

---

{104} Комментарии: 2.104

Фателo — то есть «делай это» (ит.).

{105} Комментарии: 2.105

Пуаньярдини. — Фамилия этого монаха образована от слова «пуаньяр», то есть кинжал. Вольтер итальянизировал это французское слово.

{106} Комментарии: 2.106

Аконити — эта фамилия образована Вольтером от слова «аконит», названия ядовитого травянистого растения.

{107} Комментарии: 2.107

Людовик Справедливый. — Так называли Людовика XIII.

{108} Комментарии: 2.108

…кусочек маршала д'Анкр… — Здесь рассказывается об убийстве итальянского авантюриста Кончини, который носил во Франции имя

маршала д'Анкр. Любовник Марии Медичи, матери Людовика XIII, Кончини вызвал сильное недовольство двора и народа и был убит гвардейцами короля (1617).

ющим по сходной цене.

Это государство постоянно находилось во власти гражданских войн, которые велись иногда из-за места в государственном совете, иногда из-за контроверзы на двух страницах. Уже более шести десятков лет{109} этот огонь, то угасающий, то раздуваемый с новой силой, опустошал сию прекрасную страну. Так проявлялась свобода галликанской церкви. «Увы, — подумал я. — А ведь народ этот рожден был мягкосердечным, что же могло так извратить его характер? Он шутит и устраивает Варфоломеевскую ночь. Блаженно то бремя, когда он будет только шутить!».

Я отправился в Англию; такие же распри возбуждали там такое же ожесточение. Благочестивые католики ради блага церкви решили взорвать при посредстве пороха{110} короля, королевскую фамилию и весь парламент, дабы избавить Англию от сих еретиков. Мне показали то место, где по велению блаженной памяти

{109} Комментарии: 2.109

Уже более шести десятков лет… — Вольтер имеет в виду продолжавшиеся с 1562 по 1594 г. так называемые Религиозные войны между гугенотами и католиками; последствия этих войн сказывались еще в первой половине XVII в.

{110} Комментарии: 2.110

…взорвать при посредстве пороха… — Здесь содержится намек на так называемый Пороховой заговор (1605) — безуспешную попытку католиков свергнуть Якова I и лишить власти английский парламент.

королевы Марии,{111} дочери Генриха VII, сожгли более пятисот ее подданных. Один иберийский священник заверил меня, что это было весьма доброе дело: во-первых, потому, что сожженные были англичане; во-вторых, потому, что они никогда не употребляли святой воды и не веровали в вертеп святого Патрика.{112} Он в особенности удивлялся, как это королева доныне не причислена к лику святых; но он уповал, что это сделано будет в недолгом времени, как только кардинал-племянник улучит для этого свободную минуту.

Я поехал в Голландию в надежде найти больше покоя у более флегматичных ее народов. Когда я прибыл в Гаагу, как раз отрубали голову одному почтенному старцу. То была плешивая голова первого министра Барневельдта,{113} самого заслуженного человека в Республике. Поддав-

---

{111} Комментарии: 2.111

…блаженной памяти королевы Марии… — Речь идет об английской королеве Марии Тюдор (1316–1558). Жестокое преследование ею протестантов снискало этой королеве кличку «Мария Кровавая».

{112} Комментарии: 2.112

…вертеп святого Патрика. — Вольтер имеет в виду одно из особо почитаемых мест Ирландии — пещеру, где якобы обитал святой Патрик, легендарный первосвятитель Ирландии (V в.).

{113} Комментарии: 2.113

Барневельдт Ян ван Ольден (ок. 1549–1619) — голландский государственный деятель; был казнен своими политическими противниками по состряпанному обвинению.

шись жалости, я осведомился, в чем состояло его преступление — может быть, он совершил государственную измену?

— Он совершил нечто гораздо худшее, — ответил мне проповедник в черной мантии. — Этот человек полагал, будто можно с тем же успехом спастись добрыми делами, как и верою. Вы, разумеется, понимаете, что ни одна республика не выдержит, ежели распространятся подобные суждения, к что надобны суровые законы, дабы пресечь такую мерзость и позор.

Некий глубокомысленный политик тех мест сказал мне со вздохом:

— Увы, сударь, добрые времена не будут длиться вечно; этот народ по чистой случайности проявляет ныне такое рвение; в глубине души он привержен отвратительному догмату терпимости, и когда-нибудь он к этому и придет; от такой мысли я прихожу в трепет.

И я в ожидании зловещего будущего, когда восторжествует умеренность и снисхождение, с великой поспешностью покинул страну, в коей царила суровость, не смягчаемая никакими удовольствиями, и, погрузившись на судно, отправился в Испанию.

Двор находился в Севилье, галионы уже при-

были,{114} все дышало довольством и изобилием, стояло самое прекрасное время года. В конце аллеи из апельсиновых и лимонных деревьев я увидел некое подобие огромного ристалища, окруженного ступенчатыми скамьями, кои покрыты были драгоценными тканями. Под великолепным балдахином восседали король, королева, принцы и принцессы. Напротив августейшего семейства стоял другой трон, но более высокий. Обратившись к одному из моих спутников, я сказал:

— Не вижу, зачем может быть нужен этот трон, разве что он прибережен для самого господа бога.

Эти опрометчивые слова были услышаны одним важным испанцем и дорого мне стоили. Я все еще воображал, что мы сейчас увидим какую-нибудь карусель или бой быков, как вдруг на трон взошел великий инквизитор и благословил оттуда короля и народ.

Вслед за тем явилась целая армия монахов, шествовавших попарно, черных, серых, обутых, босых, бородатых, безбородых, в остроконечных капюшонах и без капюшонов; за ними шел палач;

{114} Комментарии: 2.114

…галионы уже прибыли… — На галионах, огромных транспортных кораблях, доставлялось в Испанию золото, добывавшееся в Америке.

затем, окруженные альгвасилами и грандами, показались человек сорок, одетые в балахоны из мешковины, на коих намалеваны были черти и языки пламени. То были евреи, упорно не желавшие отречься от Моисея, христиане, которые женились на своих кумах, либо не поклонялись божьей матери Аточской,{115} либо не захотели избавиться от своих наличных денег в пользу братьев иеремиев. Сперва проникновенно пропели очень красивые молитвы, а затем сожгли на медленном огне всех преступников, что было чрезвычайно поучительно для всей королевской фамилии.

Вечером, когда я уже ложился спать, ко мне явились два сыщика инквизиции в сопровождении служителей Святой Германдады;{116} они нежно обняли меня и, не говоря ни слова, отвели в темницу, весьма прохладную, обстановка которой состояла из циновки и красивого креста. Там оставался я шесть недель, после чего преподоб-

---

{115} Комментарии: 2.115

...божьей матери Аточской... — Речь идет о деревянной скульптуре в одной из мадридских церквей. Это изображение Богоматери особо почиталось испанскими католиками.

{116} Комментарии: 2.116

Святая Германдада — специальная полиция для охраны путешественников от воров и разбойников; она возникла в Испании в конце XV в.; во времена Вольтера ее иногда ошибочно отождествляли со стражей инквизиционных трибуналов.

ный отец инквизитор послал за мною с просьбой явиться к нему для беседы; некоторое время он сжимал меня в объятиях с чисто отеческой теплотой; он сказал мне, что был искренне огорчен, узнав, что меня поместили в столь скверное жилище, но все апартаменты его дома переполнены, и он надеется, что в следующий раз меня устроят с большими удобствами. Затем он по-дружески спросил меня, не знаю ли я, по какой причине там очутился. Я отвечал преподобному отцу, что, по-видимому, по причине моих прегрешений.

— А за какое именно прегрешение, дорогое дитя мое? Доверьтесь мне безбоязненно.

Но сколько я ни ломал голову, все же никак не мог догадаться, и тогда он милостиво навел меня на верный путь.

Наконец я вспомнил свои опрометчивые слова. Я расплатился за них шестью неделями выучки и штрафом в тридцать тысяч реалов. Меня отвели на поклон к великому инквизитору; то был вежливый человек, он спросил меня, как мне понравился его маленький праздник. Я ответил, что это было восхитительно, и начал торопить моих спутников покинуть эту страну, как она ни была прекрасна. Они успели рассказать мне о всех великих деяниях, кои совершили испанцы во имя

религии. Они прочитали записки знаменитого епископа Чиапского,{117} судя по которым, десять миллионов неверных в Америке были зарезаны, сожжены либо утоплены во имя обращения их в истинную веру. Я подумал, что сей епископ преувеличивает; но даже если свести число жертв к пяти миллионам, то и это достойно восхищения.

Страсть к путешествиям по-прежнему томила меня. Я рассчитывал завершить обзор Европы Турцией; туда мы и отправились. Я решил не высказывать более своего мнения о празднествах, какие мне доведется узреть.

— Эти турки, — сказал я своим спутникам, — неверные, они не были крещены, а стало быть, окажутся еще более жестокими, нежели преподобные отцы-инквизиторы. Пока мы будем у магометан, давайте хранить молчание.

Итак, я отправился к магометанам. К великому моему удивлению, в Турции было гораздо больше христианских храмов, чем в Кандии. Я даже видел многочисленных монахов, коим дозволялось свободно молиться деве Марии и проклинать

{117} Комментарии: 2.117

…епископа Чиапского… — Речь идет об испанском писателе Бартоломе де Лас Касас (1474–1566), авторе обширного сочинения «История Индий» (то есть испанских колоний в Америке), где много рассказывалось о жестокостях испанцев при завоевании Нового Света. Чиапа — область на юго-востоке Мексики. Лас Касас был там епископом с 1543 г.

Магомета то по-гречески, то по-латыни, а иногда по-армянски.

— Что за славные люди турки! — воскликнул я.

В Константинополе греческие и латинские христиане{118} пребывали в смертельной вражде между собою; их рабы грызлись, как уличные собаки, которых хозяева разгоняют палками. В те времена великий визирь покровительствовал грекам. Греческий патриарх обвинил меня в том, что я ужинал с латинским патриархом, и государственный совет единодушно приговорил меня к сотне палочных ударов по пяткам, от коих можно было откупиться пятью сотнями цехинов. Назавтра великого визиря удушили; на послезавтра его преемник, который стоял на стороне латинской партии и был удушен месяцем позже, присудил меня к такому же штрафу за то, что я ужинал с греческим патриархом. Я очутился перед горестной необходимостью не посещать более ни греческую, ни латинскую церковь. Чтобы утешиться, я нанял на срок чрезвычайно красивую черкешенку, самую нежную особу, когда она бывала со мною наедине, и самую благочестивую, когда

{118} Комментарии: 2.118

...греческие и латинские христиане... — то есть православные и католики.

она бывала в мечети. Однажды ночью, в упоении нежной любви, она, целуя меня, воскликнула:

— Аллах, илля Аллах!

Это сакраментальные слова турков; а я думал, что это сакраментальные слова любви; и я вскричал столь же нежно:

— Аллах, илля Аллах!

— Хвала милосердному господу, вы турок, — сказала она.

Я ответил, что благословлял Аллаха за то, что он даровал мне силу, и почувствовал себя весьма счастливым. Наутро явился имам,{119} чтобы совершить надо мною обрезание, и так как я оказал некоторое сопротивление, кади{120} того квартала, человек, приверженный закону, предложил посадить меня на кол; я спас мою крайнюю плоть и мой зад при помощи тысячи цехинов и незамедлительно бежал в Персию, твердо решившись не слушать более ни греческой, ни латинской обедни в Турции и не восклицать «Аллах, илля Аллах!» во время любовных утех.

По прибытии в Исфаган меня спросили, предпочитаю ли я черного либо белого барана. Я

{119} Комментарии: 2.119
Имам — священник (духовный владыка) у мусульман.

{120} Комментарии: 2.120
Кади — судья в мусульманских странах.

отвечал, что мне это глубоко безразлично, было бы нежным его мясо. Надо знать, что еще доныне персияне разделяются на секты Черного барана и Белого барана.{121} Они подумали, будто я насмехаюсь над обеими сторонами, так что не успел я войти в городские ворота, как уже впутался в серьезное судебное дело; чтобы разделаться с баранами, мне пришлось употребить большое количество цехинов.

Я достиг пределов Китая в сопровождении толмача, который уверил меня, что это страна, где живут весело и свободно. Там хозяйничали татары,{122} предавшие всю страну огню и мечу; и преподобные отцы иезуиты, с одной стороны, так же как преподобные отцы доминиканцы — с другой, говорили, что они втайне от всех отвоевывают души для господа бога. Никогда еще не бывало столь ревностных обратителей в истинную веру, ибо они поочередно преследовали друг друга; они строчили в Рим целые

{121} Комментарии: 2.121

...секты Черного барана и Белого барана. — Вольтер имеет в виду сторонников потомков Тамерлана, вытесненных из Персии в XV в. представителями другой татаро-монгольской династии (сторонники которой именовались сектой Белого барана).

{122} Комментарии: 2.122

Там хозяйничали татары... — Речь идет о монгольском завоевании Китая, где воцарилась монгольская династия Юань (1271–1368).

фолианты, заполненные клеветой, они называли друг друга неверными и совратителями душ человеческих. Особенно ужасная распря возникла у них по вопросу о том, как следует кланяться. Иезуиты желали, чтобы китайцы приветствовали своих отцов и матерей на китайский манер, а доминиканцы хотели, чтобы они делали это по римскому обычаю. Случилось так, что иезуиты приняли меня за доминиканца. Его татарскому величеству доложили, будто я папский шпион. Высший государственный совет поручил первому мандарину, а тот приказал военному чину, который скомандовал четырем сбирам этого округа арестовать меня и связать по всем правилам церемонии. После ста сорока коленопреклонений я был представлен его величеству. Властитель велел спросить меня, правда ли, что я шпион папы, и верно ли, что этот князь церкви собирается прибыть сюда собственной персоной и свергнуть его с престола. Я отвечал, что папа — это священнослужитель семидесяти лет от роду, что живет он в сорока тысячах лье от его божественного татаро-китайского величества; что у него есть около двух тысяч солдат, которые несут караул, держа над ним балдахин; что он никого не свергает с престола и его величество может

спать спокойно. Это приключение оказалось наименее гибельным из всех мною пережитых. Меня отправили в Макао, а там я погрузился на судно, держащее курс на Европу.

У берегов Голконды{123} мое судно потребовало ремонта. Я воспользовался стоянкой, чтобы посетить двор великого Ауранг-зеба,{124} о котором рассказывали чудеса; он тогда располагался в Дели. Мне выпала утеха лицезреть его в день пышной церемонии вручения ему небесного дара от шерифа Мекки. То была метла, коей подметали каабу — святилище Аллаха. Метла эта — символ, она выметает все нечистоты из души. Ауранг-зеб, казалось, в этом не нуждался: он был самый благочестивый человек во всем Индустане. Правда, он удавил одного из своих братьев и отравил отца. Двадцать раджей и столько же эмиров умерли под пытками; но это не имело значения, и люди говорили только о его благочестии. Его приравнивали лишь к его августейшему величеству, светлейшему султану Марокко Малик-Исмаи-

{123} Комментарии: 2.123

У берегов Голконды… — То есть Индии; Голконда был легендарный индийский город на плоскогорье Декан, разрушенный при правлении монгольской династии.

{124} Комментарии: 2.124

Ауранг-зеб (1619–1707) — император монгольской династии, правившей в Индии.

лу,{125} который рубил головы каждую пятницу после молитвы.

Я не проронил ни единого слова: путешествия должным образом воспитали меня, и я чувствовал, что мне не пристало отдавать предпочтение кому-нибудь из двух августейших особ. Должен признаться, что один молодой француз, с коим вместе я стоял на квартире, не выказал почтения ни императору Индии, ни султану Марокко. Он весьма неосмотрительно осмелился сказать, будто в Европе имеются весьма благочестивые государи, которые успешно правят своими владениями и даже часто бывают в церкви, не убивая при этом своих отцов и братьев и не рубя головы своим подданным. Наш толмач перевел на хинди нечестивые речи моего молодого приятеля. Наученный прошлым опытом, я велел седлать своих верблюдов, и мы с французом уехали. Впоследствии я узнал, что той же ночью служители великого Аурангзеба явились, чтобы схватить нас, но нашли лишь толмача. Он был публично казнен, и все придворные без всякой лести признали, что то была совершенно справедливая казнь.

{125} Комментарии: 2.125

Малик-Исмаил — султан Марокко, правивший с 1672 по 1727 г.; один из самых воинственных и коварных властителей того времени.

Мне осталось повидать Африку, дабы насладиться сладостным климатом нашего континента. Я действительно ее повидал. Корабль, на котором я плыл, был захвачен негритянскими корсарами. Хозяин судна разразился жалобами и стенаниями; он спросил, почему они нарушают законы, установленные между народами. Негритянский капитан отвечал ему:

— У вас длинный нос, а у нас плоский; у вас прямые волосы, а у нас курчавые; у вас кожа цвета пепла, а у нас цвета черного дерева; стало быть, в согласии со священными законами природы, мы всегда должны быть врагами. Вы покупаете нас на торжищах на берегах Гвинеи, как вьючный скот, чтобы мы исполняли для вас столь же тяжелую, как и нелепую работу. Вы заставляете нас под ударами бичей рыться в горах и добывать какую-то желтую землю, которая сама по себе ни на что не пригодна и не стоит доброй египетской луковицы; поэтому, когда мы с вами встречаемся и сила на нашей стороне, мы обращаем вас в рабов, заставляем трудиться на наших полях или отрезаем вам носы и уши.

На столь разумную речь нечего было возразить. Я отправился работать в поле, принадлежащее одной старой негритянке, чтобы сохранить свои

уши и нос. Через год меня выкупили. Я насмотрелся на все прекрасное, доброе и достойное восхищения, что есть на земле; отныне я решил смотреть лишь на своих пенатов. Я женился в наших краях, я сделался рогоносцем и увидел, что это самое благостное положение на свете.



БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

Перевод М. Архангельской

В провинции Кандагар{126} все знают историю молодого Рустана. Он был единственным сыном местного мирзы, а мирза — это то же самое, что маркиз у нас или барон у немцев. Отец Рустана честно нажил свое состояние. Молодому Рустану была предназначена в жены дочь такого же мирзы. Обе семьи страстно желали этого брака. Рустан должен был утешить на старости лет родителей, составить счастье своей жены, а также и свое собственное.

Но, на свою беду, он увидел принцессу Кашмира{127} на ярмарке в Кабуле: эта ярмарка самая знаменитая на свете, куда более многолюдная, чем ярмарки в Бассоре{128} или Астрахани; а прие-

---

{126} Комментарии: 2.126

Кандагар — южная провинция Афганистана с одноименным главным городом, расположенным близ реки Аргандаб.

{127} Комментарии: 2.127

Кашмир — княжество в средневековой Индии.

{128} Комментарии: 2.128

Бассора — очевидно, современный город Басра, расположенный на юге Ирака на реке Тигр при его впадении в Персидский залив.

хал туда старый принц Кашмира вместе со своей дочерью вот почему.

У него пропали два самых ценных сокровища: алмаз, величиной с куриное яйцо, на котором индийские мастера выгравировали портрет его дочери (тогда они еще владели этим искусством, теперь же вовсе его утратили), и дротик, который поражал любую цель, стоило владельцу лишь того пожелать, что не вызывает удивления у нас, но было необычным в Кашмире.

Эти сокровища похитил у принца собственный его факир и отдал их принцессе.

— Берегите как зеницу ока две эти вещи, — сказал он ей, — от них зависит ваша судьба.

После чего он исчез, и никто его больше не видел. Тогда-то принц Кашмира в отчаянии решил отправиться на ярмарку в Кабул — вдруг у кого-нибудь из купцов, съехавшихся сюда со всех концов земли, окажется его алмаз или дротик. А с дочерью он никогда не расставался. Принцесса взяла алмаз с собой, зашив его в пояс, но, не найдя столь надежного тайника для дротика, она оставила его в Кашмире, спрятав в большой китайский сундук.

В Кабуле они встретились с Рустаном и полюбили друг друга со всей пылкостью юности

и нежностью жителей их страны. Принцесса в залог своей любви дала Рустану алмаз, а Рустан на прощание обещал тайно приехать к ней в Кашмир.

У молодого мирзы было два любимца, которые выполняли обязанности секретарей, конюших, дворецких и камердинеров. Одного звали Топаз, он был красив, хорошо сложен, кожа белей, чем у черкешенки, вежлив и услужлив, как армянин, мудр, как ученик Зороастра. Второй был красавец негр, еще более предупредительный и находчивый, чем Топаз, не смущавшийся никакими трудностями, и звали его Эбен. Рустан поведал им о своем намерении посетить Кашмир. Топаз постарался отговорить хозяина с осторожным усердием слуги, не желающего попасть в немилость, он напомнил Рустану, чем он рискует. Неужто он повергнет обе семьи в отчаяние? Неужто вонзит нож в сердце своих родителей? Рустан заколебался, но Эбен укрепил его в первоначальном решении и развеял все его сомнения.

Для столь долгого путешествия у молодого мирзы не было денег. Мудрый Топаз не сумел их добыть, Эбену это удалось. Он ловко выкрал алмаз у своего хозяина, заменил его поддельным, но похожим на него как две капли воды, а

настоящий отдал под залог одному армянину за несколько тысяч рупий.

Получив деньги, маркиз мог отправиться в путь. Его пожитки погрузили на слона, все сели на лошадей. Топаз обратился к своему хозяину:

— Я имел смелость предостерегать вас от этой затеи, но, коль скоро я вас предостерег, мне остается только повиноваться, я в вашем полном распоряжении, моя любовь к вам беспредельна, я последую за вами хоть на край света, но по дороге обратимся за советом к оракулу, который находится всего в двух парасангах{129} отсюда.

Рустан согласился. Оракул ответил:

— Ежели ты поедешь на восток, ты приедешь на запад.

Рустан не понял, что это должно означать. Топаз счел, что в таком ответе нет ничего хорошего. Эбен же, всегда готовый услужить, уверил Рустана, что ответ весьма благоприятный.

В Кабуле был еще один оракул, они обратились и к нему. Этот оракул ответил им следующими словами:

— Владея, ты владеть не будешь, победив, ты не победишь, ты Рустан, но перестанешь быть

{129} Комментарии: 2.129

Парасанг — персидская мера длины, равная приблизительно трем французским льё (то есть 4,5 км).

Рустаном.

Это предсказание было еще более непонятным, чем первое.

— Берегитесь, — говорил Топаз.

— Не бойтесь ничего, — говорил Эбен, и, как можно догадаться, этот советчик, поощрявший страсть и надежды своего господина, всегда оказывался прав.

Выехав из Кабула, караван вступает в бескрайний лес, они останавливаются перекусить и пускают лошадей пастись. Они собираются разгрузить слона, на которого навьючена вся снедь и посуда, как вдруг замечают, что в их маленьком караване не хватает Топаза и Эбена. Их зовут, их имена оглашают лес, слуги ищут их повсюду, надрываются в крике, но возвращаются ни с чем — никто не откликнулся на их зов.

— Мы видели только коршуна, он вступил в схватку с орлом и вырвал у него все перья, — говорят они Рустану.

Этот рассказ возбуждает любопытство Рустана, он идет к месту боя, но нет там ни коршуна, ни орла, зато он находит своего слона, так и не разгруженного, на которого набросился огромный носорог. Носорог пытается пронзить слона своим рогом, а тот отбивается хоботом. При появлении

Рустана носорог бросает свою жертву, слуги приводят слона обратно, но тем временем исчезают лошади.

— Странные дела творятся в лесу, когда путешествуешь! — восклицает Рустан.

Слуги пришли в уныние, а их господин был в полном отчаянии, ведь он потерял сразу всех лошадей, милого сердцу негра и мудрого Топаза, которого тоже любил от души, хотя тот и смел ему перечить.

Утешая себя надеждой вскоре пасть к ногам прекрасной принцессы Кашмира, Рустан продолжал свой путь, как вдруг навстречу ему попадается большой полосатый осел, которого изо всех сил колотит палкой здоровенный и страшный на вид детина. Нет более редкой, более красивой и более ходкой породы, чем эти полосатые ослы. На яростные удары осел отвечал таким могучим ляганьем, что вполне мог свалить дуб. Молодой мирза, как и следовало ожидать, встал на защиту осла, ибо тот был поистине прелестным созданием. Детина убежал, крикнув ослу:

— Ты мне еще поплатишься за это.

Осел на своем языке поблагодарил спасителя: подошел к Рустану, позволил себя приласкать и приласкался сам. Утолив голод, Рустан садится

на осла и вместе со своими слугами, которые следуют за ним, кто на слоне, кто пешком, направляется к Кашмиру.

Но, вместо того чтобы ехать по дороге в Кашмир, осел сразу же сворачивает к Кабулу. Рустан посылает осла в другую сторону, сжимает его бока, вонзает шпоры, отпускает уздечку, натягивает ее, стегает упрямца и справа и слева — все напрасно, осел бежит в Кабул.

Рустан выбивается из сил, обливается потом, впадает в отчаяние и тут встречает торговца верблюдами, который говорит ему:

— Господин, ваш осел слишком хитер, он везет вас совсем не туда, куда вы желаете, уступите его мне, а взамен я дам вам на выбор четырех моих верблюдов.

Рустан благодарит провидение, ниспославшее ему такую выгодную сделку.

— Топаз был не прав, — говорит он, — предсказывая, что мое путешествие будет неудачным.

Рустан садится на самого красивого верблюда, остальные три следуют за ним, догоняет свой караван, воображая себя на пути к счастью.

Не успел он проехать и четырех парасангов, как перед ним возник бурливый поток, широкий и глубокий, ниспадавший со скал, белых от пены.

Поток обрывался в такую пропасть, что кружилась голова и леденела кровь. Нет надежды ни переправиться через него, ни обойти стороной.

— Сдается мне, что Топаз был прав, осуждая мое путешествие, — сказал Рустан, — и я зря пустился в путь; будь он здесь, он мог бы меня предостеречь. А будь со мной Эбен, он бы меня утешил и нашел бы какой-нибудь выход, но у меня отняли все.

Уныние слуг усугубляло его отчаяние, ночь была темная, и они провели ее в горестных сетованиях. Наконец влюбленный путешественник забылся сном, сраженный усталостью и горем. Он просыпается с восходом солнца и видит прекрасный мраморный мост, перекинутый над потоком от одного берега до другого.

Сколько тут было удивленных восклицаний, радостных криков:

— Возможно ли такое? Не сон ли это? Ну и чудо! Ну и волшебство! Решимся ли мы перейти на другую сторону?

Люди то падают на колени, то вскакивают на ноги, бегут к мосту, целуют землю, обращают взоры к небесам, простирают вверх руки, дрожа ступают на мост, делают несколько шагов, возвращаются, приходят в экстаз, а Рустан говорит:

— На сей раз небеса благосклонны ко мне. Топаз сам не знал, что говорил, оракулы предсказали мне успех. Эбен был прав, но почему его нет с нами?

Едва только караван переправился на другой берег, как мост со страшным грохотом рухнул в воду.

— Тем лучше, тем лучше, — воскликнул Рустан. — Хвала богу! Благословение небесам! Бог не возжелал, чтобы я вернулся обратно, туда, где мне суждено остаться обыкновенным дворянином, он возжелал, чтобы я женился на той, кого люблю. Я стану принцем Кашмира, и таким образом, владея своей возлюбленной, я не буду владеть своим маленьким поместьем в Кандагаре. Я буду Рустаном и не буду им, коль стану принцем: стало быть, большая часть предсказания сбывается в мою пользу, остальное сбудется также; как я счастлив! Но почему со мной нет Эбена? Я жалею о нем в тысячу раз больше, чем о Топазе.

В превосходнейшем расположении духа он проехал еще несколько парасангов, а к вечеру неприступные цепи гор, круче, нежели стены крепости, и выше, чем Вавилонская башня, будь она даже достроена, преградили дорогу путеше-

ственникам, которых вновь обуял ужас.

Все закричали:

— Бог обрекает нас на погибель! Он разрушил мост, чтобы отнять у нас надежду на возвращение; он возвел горы, чтобы лишить нас возможности двигаться вперед. О Рустан! О несчастный маркиз! Никогда мы не увидим Кашмира, никогда мы не вернемся в Кандагар.

Безудержная радость и пьянящие надежды, которыми недавно была полна душа Рустана, уступили место жгучей печали и тяжкому унынию. Теперь он уже не пытался толковать прорицания оракулов в свою пользу.

— О небо! О боги моих предков! Зачем я лишился моего друга Топаза!

Так восклицал он, испуская глубокие вздохи и проливая слезы, окруженный своими несчастными слугами, как вдруг основание горы расступается и длинная сводчатая галерея, освещенная тысячью светильников, предстает перед потрясенными путешественниками; Рустан вскрикивает, люди его падают на колени, кто-то от изумления валится навзничь, все кричат:

— Чудо, чудо! Рустан — любимец Вишну, возлюбленный Брамы, он станет властелином мира.

Рустан и сам уже верит в это, он в восторге, вне

себя от счастья.

— Ах, Эбен, дорогой Эбен, где же ты? Посмотрел бы ты на эти чудеса! Где я тебя потерял? Прекрасная принцесса Кашмира, когда же я вновь буду любоваться вашей красотой?

Вместе со своими слугами, слоном и верблюдами он вступает под свод горы, и вскоре перед ними открывается усыпанный цветами луг с протекающим по нему ручьем, за лугом простираются тенистые аллеи, ведущие к реке, вдоль которой в окружении прелестных садиков расположены загородные дома. Отовсюду доносится музыка и пение, Рустан видит танцующих людей, он спешит перейти по мосту через реку и спрашивает у первого же встречного, что это за прекрасная страна.

Тот, к кому он обратился, ответил:

— Вы в провинции Кашмир, вы видите жителей в радости и веселье, мы празднуем бракосочетание нашей прекрасной принцессы, она выходит замуж за синьора Барбабу, которому отец обещал ее руку; да дарует им бог вечное счастье!

Услышав эти речи, Рустан упал без чувств, и кашмирец, решив, что он страдает падучей, перенес его к себе домой, где он долго лежал без памяти. Послали за двумя самыми искусными

лекарями провинции, они пощупали пульс у больного, который, немного оправившись, стал рыдать, закатывать глаза и выкраивать время от времени:

— Топаз, Топаз, как ты был прав!

Один из лекарей сказал кашмирцу:

— Судя по выговору, этот молодой человек из Кандагара, ему вреден воздух нашей страны, его надо отправить обратно; по глазам видно, что он лишился рассудка, доверьте его моим заботам, я отвезу его на родину и вылечу.

Второй же лекарь утверждал, что Рустан заболел от горя и его нужно отправить на свадьбу принцессы, пусть он там потанцует. Пока они совещались, к больному вернулись силы, обоих лекарей отослали, и Рустан остался наедине с хозяином дома.

— Господин, — сказал он ему, — прошу простить меня за то, что я потерял сознание в вашем присутствии, я понимаю, сколь это было невежливо с моей стороны; умоляю вас принять моего слона в благодарность за те услуги, что вы мне оказали. — Затем он поведал ему все свои приключения, умолчав лишь о цели своего путешествия. — Именем Вишну и Брамы заклинаю вас, — сказал он, — откройте мне, кто же этот

счастливый Барбабу, который женится на принцессе Кашмира, почему принц выбрал его себе в зятья и почему принцесса дала согласие стать его супругой.

— Господин, — ответствовал кашмирец, — принцесса совсем не желает выходить замуж за Барбабу, напротив, она льет горючие слезы, и пока вся провинция торжественно празднует бракосочетание, она заперлась в дворцовой башне и даже слышать не хочет ни о каких увеселениях, а ведь они устроены в ее честь.

При этих словах Рустан почувствовал, что вновь возродился к жизни, и на лице его заиграл поблекший было от всех пережитых несчастий румянец.

— Тогда ответьте мне, почему же принц Кашмира непременно хочет отдать свою дочь какому-то Барбабу, который ей не мил?

— Дело вот в чем, — ответил кашмирец. — Известно ли вам, что у нашего высочайшего принца пропали огромный алмаз и волшебный дротик, которые были ему так дороги?

— Ах, мне это прекрасно известно, — вздохнул Рустан.

— Так знайте же, — продолжал хозяин, — что, не имея известий о своих пропавших сокрови-

щах и объехав весь свет в поисках их, наш принц пообещал отдать свою дочь тому, кто доставит ему хотя бы одно из них. И вот явился Барбабу с алмазом, и завтра он женится на принцессе.

Рустан побледнел, пробормотал несколько слов благодарности, попрощался с хозяином дома и понесся на своем дромадере в столицу, где должна была состояться праздничная церемония. Он подъезжает к замку, говорит, что ему необходимо сообщить принцу важные сведения, он просит аудиенции, ему отвечают, что принц занят приготовлениями к свадьбе.

— Именно поэтому я и должен с ним поговорить, — не отступает Рустан. Он так настойчив, что его пропускают.

— Ваше высочество, — говорит он ему, — да увенчает бог ваши дни славой и богатством! Ваш зять мошенник.

— Как так мошенник? Да как вы смеете? Ведь вы говорите о зяте герцога Кашмира!

— И все же он мошенник, — повторил Рустан, — и в доказательство — вот алмаз, который я вручаю вашему высочеству.

Потрясенный герцог сравнивает алмазы, а поскольку он в них ничего не смыслит, то и не может определить, какой из них настоящий.

— Алмаза два, — говорит он, — а дочь у меня только одна, ну и в историю я попал!

Он посылает за Барбабу и спрашивает, не обманщик ли он. Барбабу клянется, что он купил этот алмаз у одного армянина, Рустан же не говорит, откуда у него алмаз, но предлагает выход из затруднительного положения: пусть его высочество соблаговолит разрешить ему сейчас же сразиться с соперником.

— Ваш зять должен не только вернуть вам алмаз, но и доказать свою храбрость, и будет справедливо, если на принцессе женится тот, кто убьет соперника, — говорит Рустан.

— Вот и хорошо, — обрадовался принц, — и к тому же двор насладится прекрасным зрелищем, скорей начинайте бой, победитель, как принято в Кашмире, получит вооружение побежденного и женится на моей дочери.

Оба жениха тут же спускаются во двор. На лестнице им встречаются сорока и ворон. Ворон кричал: «Деритесь, деритесь!», а сорока: «Не деритесь!». Это рассмешило принца, а соперники прошли мимо, не обратив внимания; они начинают бой, и придворные окружают их тесным кольцом. Принцесса по-прежнему не выходит из башни, не желая присутствовать на поединке, —

так ей отвратителен Барбабу; ей даже в голову не приходит, что ее возлюбленный в Кашмире. Бой закончился наилучшим образом, Барбабу сражен наповал, чему все рады, поскольку он был урод, а Рустан красавец, ведь именно так публика выбирает своих фаворитов.

Победитель надевает кольчугу, перевязь и шлем побежденного и, сопровождаемый всем двором, под звуки фанфар отправляется под окна своей возлюбленной. Все кричат:

— Прекрасная принцесса, взгляните на вашего красавца супруга, который убил своего гадкого соперника.

Ее служанки повторяли эти слова. На свою беду принцесса выглядывает в окно и, увидев доспехи ненавистного жениха, в отчаянии бросается к китайскому сундуку, выхватывает роковой дротик, который в тот же миг, найдя просвет в кольчуге, пронзает тело Рустана; Рустан испускает ужасный крик, и принцессе кажется, что она слышит голос своего несчастного возлюбленного.

Она сбегает вниз, растрепанная, со смертельным ужасом в глазах и остановившимся сердцем. Рустан, весь окровавленный, лежит на руках ее отца. Она узнает его: о, страшный миг! о, это зрелище! о, эта встреча! Сколько в ней боли, неж-

ности и ужаса. Она бросается к нему, лобзает его, восклицает:

— Первый и последний поцелуй тебе дарит твоя возлюбленная и убийца.

Она выдергивает клинок из раны, вонзает его в свое сердце и умирает на груди обожаемого возлюбленного. Отец, потерявший голову от ужаса, сам готовый покончить с собой, пытается вернуть ее к жизни, но тщетно — она мертва. Он проклинает роковой дротик, разламывает его пополам, швыряет прочь оба злополучных алмаза и, пока вместо свадьбы готовятся похороны его дочери, велит перенести во дворец истекающего кровью Рустана, в котором еще теплится жизнь.

Его кладут на кровать. Первое, что он видит, — это Топаз и Эбен, стоящие по обе стороны от его смертного одра. Удивление его столь велико, что к нему возвращаются силы.

— Ах, жестокие, — восклицает он, — почему вы меня покинули! Останьтесь вы с бедным Рустаном, и, может, принцесса Кашмира была бы сейчас жива!

— Я с вами не расставался ни на минуту, — говорит Топаз.

— Я все время был рядом с вами, — говорит Эбен.

— Ах, зачем вы это говорите? Можно ли надругаться над умирающим? — отвечает Рустан еле слышно.

— Я говорю сущую правду, — продолжает Топаз, — вы знали, что я никогда не одобрял этого злосчастного путешествия, ужасные последствия которого я предвидел. Это я был орлом, который бился с коршуном и потерял при этом перья, я был слоном, который унес кладь, чтобы вынудить вас вернуться на родину, я был полосатым ослом, который против вашей воли вез вас назад, к отцу, это я увел лошадей, я создал поток, который преградил вам путь, я возвел гору, которая закрыла перед вами дорогу, ведущую к гибели, я был лекарем, который прописал вам воздух родины, я был сорокой, которая кричала, чтобы вы не дрались.

— А я, — сказал Эбен, — был тем коршуном, который ощипал орла, носорогом, который напал на слона, детиной, который колотил полосатого осла, торговцем, который дал вам верблюдов, дабы вы поспешили к гибели, я построил мост, по которому вы переправились через поток, я прорыл туннель, через который вы прошли, я был врачом, который старался приободрить вас, вороном, который призывал вас драться.

— Увы! Вспомните предсказания оракулов, — сказал Топаз: — *Ежели ты поедешь на восток, ты приедешь на Запад*.

— Верно, — сказал Эбен, — здесь мертвецов хоронят лицом на запад: предсказание было совершенно ясным, почему ты не понял его? Ты владел сокровищем, но и не владел, ибо твой алмаз был фальшивым, и ты этого не знал. Ты победитель, и вот ты умираешь. Ты Рустан, и ты перестаешь им быть: все исполнилось.

Пока Эбен так говорил, за плечами Топаза выросли четыре белых крыла, а за его плечами четыре черных.

— Что я вижу? — вскричал Рустан.

Топаз и Эбен ответили хором:

— Ты видишь двух своих гениев.

— Эх, господа, — сказал им несчастный Рустан, — зачем вы вмешивались не в свое дело? Да и к чему два гения одному человеку?

— Таков закон, — ответил Топаз, — каждый человек имеет по два гения, первым сказал об этом Платон, другие это подтвердили, теперь ты видишь сам, что это совершенно справедливо, я, говорящий сейчас с тобой, я твой добрый гений, и моей обязанностью было заботиться о тебе до последнего твоего вздоха, что я и выполнял.

— Но, — возразил умирающий, — если ты был обязан мне служить, значит, я по природе превосхожу тебя, и потом, как ты смеешь говорить, что ты мой добрый гений, раз ты не помешал мне совершить все то, что я совершил, а теперь позволяешь мне и моей возлюбленной умереть жалкой смертью?

— Увы! Такова твоя судьба, — сказал Топаз.

— Если все зависит от судьбы, — возразил умирающий, — для чего же тогда нужен добрый гений? А раз у тебя, Эбен, крылья черные, стало быть, ты мой злой гений?

— Именно так, — ответил Эбен.

— Так, значит, ты был злым гением и у моей принцессы?

— Нет, у нее имелся свой собственный, а я просто неплохо ему помог.

— Ах, проклятый Эбен, но раз ты такой злой, то как ты можешь вместе с Топазом служить одному и тому же хозяину? Вы должны происходить от двух разных начал, одно из которых — добро по своей природе, а другое — зло.

— Тут нет такой зависимости, — отозвался Эбен, — все гораздо сложнее.

— Не может быть, чтобы милосердное существо создало столь ужасного гения, — вновь заговорил

умирающий.

— Возможно или невозможно, это так, — ответил Эбен.

— Ах, мой бедный друг, — сказал Топаз, — разве ты не видишь, что этот хитрец и мошенник еще пытается спорить с тобой, чтобы нарочно взволновать тебя и приблизить твой смертный час?

— Оставь меня, — промолвил опечаленный Рустан, — чем ты лучше его? Он хотя бы признается, что желал мне зла, а ты притязал меня защищать, а на самом деле ничем мне не помог.

— Мне очень жаль, — ответил добрый гений.

— Мне тоже, — сказал умирающий. — Во всем этом есть что-то такое, чего я никак не могу понять.

— И я тоже, — вздохнул несчастный добрый гений.

— Наверное, скоро все объяснится, — сказал Рустан.

— Посмотрим, — сказал Топаз.

Тут все исчезло. Рустан оказался в доме своего отца, из которого не выходил, в своей собственной постели, он спал всего час.

Он внезапно просыпается, весь в поту, растерянный, ощупывает себя, зовет, кричит, звонит. Топаз, его лакей, в ночном колпаке, зевая, явля-

ется на зов.

— Я умер или я жив? — спрашивает Рустан. — Жива ли прекрасная принцесса Кашмира?..

— Господина мучают кошмары? — спокойно спрашивает Топаз.

— Ах, — кричит Рустан, — что же сталось с этим негодяем Эбеном и его черными крылами? Это по его вине я умираю такой жестокой смертью.

— Господин, он храпит там наверху, я могу его позвать, если вам угодно.

— Негодяй, уже полгода он терзает меня, это он привез меня на злосчастную ярмарку в Кабул, это он подменил алмаз, который мне подарила принцесса, он один виноват в роковом путешествии, в смерти принцессы и в том, что, пронзенный дротиком, я умираю в самом расцвете сил.

— Успокойтесь, — ответил Топаз, — никогда вы не были в Кабуле, никакой принцессы Кашмира не существует на свете, у ее отца только двое сыновей, которые сейчас учатся в коллеже. У вас никогда не было алмаза; принцесса не могла умереть, коль она не рождалась, а вы в полном здравии.

— Как, разве не ты был со мной, когда я умирал на постели принца Кашмира? Разве не ты признался мне, что, стараясь уберечь меня от

стольких бед, ты превращался в орла, слона, полосатого осла, врача и сороку?

— Господин, вам все это приснилось. Мы не властны над нашими мыслями ни во сне, ни наяву. Быть может, господь бог послал вам эту вереницу видений, чтобы через них внушить наставление к вашей же пользе.

— Ты смеешься надо мной! — вскричал Рустан. — Как долго я спал?

— Господин, вы спали всего один час.

— Так как же ты хочешь, проклятый резонер, чтобы я за один час успел побывать на ярмарке в Кабуле шесть месяцев тому назад, вернуться оттуда, совершить путешествие в Кашмир и умереть вместе с Барбабу и принцессой?

— Господин, в этом нет ничего невероятного и необычного, на самом деле вы могли бы совершить кругосветное путешествие и пережить гораздо больше приключений и за более короткий срок. Разве вы не можете прочесть за час краткую историю персов, написанную Зороастром, хотя она охватывает восемь тысяч лет? Эти события одно за другим проходят перед вашими глазами в течение одного часа, согласитесь же, что для Рамы совершенно все равно, сжать ли их в один час или растянуть на восемь тысяч лет.

Представьте себе, что время — это вращающееся колесо, диаметр которого бесконечен. В этом огромном колесе расположены одно в другом множество более мелких колес, центральное колесо невидимо, но оно делает бесконечное множество оборотов за то время, пока огромное колесо проходит всего один. Отсюда ясно, что все события, от начала мира и до конца его, могут произойти, сохранив ту же последовательность, за гораздо меньший срок, чем стотысячная доля секунды; теперь вы можете сказать, что так оно и есть.

— Я тут ничего не понимаю, — сказал Рустан.

— У меня есть попугай, который легко вам все объяснит, — предложил Топаз. — Он родился незадолго до потопа, побывал в ковчеге, многое повидал, однако ему всего полтора года. Он расскажет вам свою историю, она очень и очень занимательна.

— Иди скорее за попугаем, — сказал Рустан, — он меня позабавит, пока я снова не засну.

— Он у моей сестры, монахини, — ответил Топаз. — Я сейчас же отправлюсь за ним, вы останетесь довольны, у него превосходная память, он рассказывает просто, без прикрас, не стараясь при каждом удобном случае щегольнуть умом.

— Тем лучше, — сказал Рустан. — Я обожаю сказки!

Ему принесли попугая, и тот начал свой рассказ так…

N.B. Мадемуазель Катрин Ваде{130} *так и не нашла историю попугая в бумагах своего покойного кузена Антуана Ваде, автора этой сказки. Это весьма досадно, если вспомнить, каких времен попугаю довелось быть свидетелем.*



{130} Комментарии: 2.130

…Катрин Ваде… — В изданных Вольтером в 1764 г. «Сказках Гийома Ваде» было помещено фиктивное предисловие некоей Екатерины Ваде, якобы издательницы сборника. Там, в частности, говорилось, что она поместила в книгу «некоторые милые рассуждения моего брата Антуана». И Екатерина Ваде, и ее брат Антуан были выдумкой Вольтера, который просто воспользовался фамилией второстепенного французского поэта Жана-Жозефа Ваде (1720–1757), автора либретто комических опер, водевилей и т. п. Повести Вольтера «Белое и черное» и «Жанно и Колен» были напечатаны в «Сказках Гийома Ваде».

ЖАННО И КОЛЕН

Перевод Е. Гунста

Многие достойные доверия люди видели Жанно и Колена в школе в овернском городе Иссуаре, славящемся на весь мир своим училищем и котельными мастерскими. Жанно был сыном известного торговца мулами, а Колен был обязан появлением на свет честному земледельцу из окрестностей, который обрабатывал свой участок с помощью четырех мулов и к концу года после уплаты подати, налогов, недоимок, подушных, пошлин и прочих поборов оказывался не так уж богат.

Жанно и Колен для овернцев были очень миловидны; они горячо любили друг друга, делились своими маленькими тайнами, доверяли один другому, о чем всегда приятно бывает вспомнить впоследствии, когда встречаешься, уже расставшись со школой.

Время их учения подходило к концу, когда к Жанно явился портной с трехцветным бархатным кафтаном и лионским камзолом отменнейшего вкуса; к этому было приложено письмо на имя

господина де Ля Жаннотьера. Колен был обворожен нарядом, но зависти не почувствовал; зато Жанно возомнил о себе, и Колен был этим огорчен. С того дня Жанно перестал учиться, все красовался перед зеркалом и стал презирать весь свет. Немного погодя в почтовой карете прибыл лакей со вторым посланием к маркизу де Ля Жаннотьеру: в нем содержалось распоряжение маркиза-отца привезти маркиза-младшего в Париж. Жанно сел в коляску и, по-барски покровительственно улыбаясь, протянул Колену руку. Колен почувствовал собственное ничтожество и прослезился. Жанно укатил в сиянии своей славы.

Любознательным читателям надо пояснить, что господин Жанно-отец в довольно короткий срок нажил в делах огромное состояние. Вы спросите, как наживаются большие деньги? Тут все дело в счастье. Господин Жанно отличался приятной внешностью, жена его тоже, притом в ней еще сохранилась некоторая свежесть. Они отправились в Париж из-за разорительного судебного процесса, а тут судьба, по прихоти своей возвышающая или принижающая людей, свела их с супругою некоего устроителя армейских госпиталей, человека великих способностей,

имевшего все основания хвалиться тем, что за год уморил больше солдат, чем их уничтожили пушки за десять лет. Жанно приглянулся даме, жена Жанно приглянулась ее супругу. Жанно вскоре вошел пайщиком в дело, вошел и в другие предприятия. Когда угодишь в стремнину, остается отдать себя во власть течения; тут без труда соберешь огромное состояние. Бедняки, наблюдающие с берега, как вы плывете на всех парусах, изумлены; им непонятно, каким образом вам удалось столь преуспеть; их снедает зависть, и они сочиняют на вас пасквили, которых вы не читаете. Именно так и случилось с Жанно-отцом, который вскоре превратился в господина де Ля Жаннотьера, а полгода спустя купил маркизат и затребовал из школы сына, маркиза-младшего, чтобы ввести его в парижский свет.

По-прежнему сердечный Колен написал своему бывшему товарищу письмо, в первых строках коего поздравил его. Маленький маркиз ему не ответил, и Колен чуть не заболел от огорчения.

Прежде всего родители наняли для юного маркиза воспитателя; воспитатель, мужчина весьма представительной внешности и совершенный невежда, не мог ничему научить своего подопечного. Отец хотел, чтобы сын изучил латынь,

мать этого не хотела. Рассудить их они просили некоего сочинителя, прославившегося к тому времени своими приятными произведениями. Пригласили его к обеду. Хозяин дома начал с того, что обратился к гостю со словами:

— Сударь, поскольку вы знаете латынь и бываете при дворе…

— Что вы, сударь, какая латынь! Да я ни звука не знаю по-латыни, — отвечал остроумец. — Как известно, на родном языке говоришь гораздо лучше, если остаешься верен ему и не обременяешь себя знанием иностранного. Взгляните на наших дам, у них ум гораздо приятнее, чем у мужчин, их письма во сто раз изящнее, и этим превосходством, сравнительно с нами, они обязаны именно тому, что не знают латыни.

— Вот видите? Говорила же я! — подхватила хозяйка. — Я хочу, чтобы мой сын стал человеком остроумным, чтобы он преуспел в свете. Теперь вам ясно, что, знай он латынь, он совсем пропал бы. Скажите на милость, разве оперы и комедии представляют на латинском языке? Разве в суде выступают на латинском языке? Разве на латинском языке объясняются в любви?

Хозяин, обезоруженный этими доводами, признал свою несостоятельность, и было решено,

что молодому маркизу не стоит тратить время на Цицерона, Горация и Вергилия. Но что же он станет изучать? Ведь надо же ему что-то знать. Не познакомить ли его чуточку с географией?

— А на что она ему? — возразил воспитатель. — Когда маркиз пожелает отправиться в свои поместья, неужели форейторы не найдут дороги? Будьте покойны, не заблудятся. Для путешествий нет нужды в буссоли, и из Парижа в Овернь люди отлично добираются, не ведая, на какой они широте.

— Вы правы, — отвечал отец. — Но я слышал об одной прекрасной науке, которая называется, если не ошибаюсь, *астрономией*.

— Какое заблуждение, — воскликнул воспитатель, — да разве в свете руководствуются небесными светилами? И неужели молодому маркизу изнурять себя, вычисляя какое-нибудь затмение, когда легко узнать о нем в календаре, где можно, кроме того, справиться обо всех подвижных праздниках, о возрасте Луны, как и о возрасте любой европейской принцессы?

Маркиза вполне соглашалась с мнением воспитателя. Маленький маркиз был вне себя от радости. Отец колебался.

— Чему же следует учить моего сына? — недо-

умевал он.

— Быть приятным, — отвечал друг, с которым они советовались, — и если он будет знать, как нравиться,{131} то тем самым он будет знать все; этому искусству он научится у своей матушки, и ни ей, ни ему это не будет стоить ни малейшего труда.

При этих словах маркиза поцеловала милого невежду, говоря:

— По всему видно, сударь, что вы человек ученейший; мой сын будет обязан вам всем своим образованием; думаю, однако, что не худо бы ему кое-что знать из истории.

— Помилуйте, сударыня, к чему это? — отвечал он. — Приятна и полезна только история нынешнего дня. Все древние летописи, как заметил один из наших блестящих умов,{132} всего лишь ходячие побасенки, а что касается истории новой — так тут такая путаница, что и не разберешься. Какое дело вашему сыну, что Карл Великий учре-

---

{131} Комментарии: 2.131

…как нравиться… — Вольтер, возможно, намекает на сочинение второстепенного литератора Франсуа-Огюстена де Монкрифа (1687–1770) «Опыты о том, как нравиться» (1738). В библиотеке Вольтера сохранился экземпляр этой книги с дарственной надписью автора.

{132} Комментарии: 2.132

…один из наших блестящих умов… — Очевидно, Вольтер имеет в виду Фонтенеля.

дил совет двенадцати пэров Франции и что его преемник был заика?{133}

— Прекрасно сказано! — воскликнул воспитатель, — под ворохом бесполезных знаний душат ум детей; но из всех наук, по-моему, самая нелепая и способная только подавить любое дарование — это геометрия. Предмет этой вздорной науки — плоскости, линии, точки, не существующие в природе. Ребенка заставляют проводить десятки тысяч кривых между окружностью и касательной прямой, хотя в действительности тут не протянешь и соломинки. Вся геометрия, по сути дела, всего лишь дурная шутка.

Супруги мало что поняли в рассуждении воспитателя, однако были с ним вполне согласны.

— Такому барину, как маркиз, ваш сын, не следует изнурять мозги в этих бесполезных занятиях. Если в один прекрасный день ему потребуется ученый геометр, чтобы размежевать его владения, он даст соответствующее распоряжение, и за деньги все будет исполнено. А пожелай он уточнить древность своего рода, теряющегося в

{133} Комментарии: 2.133

…его преемник был заика? — Прозвище Заика носил Людовик II (846–879), французский король с 877 г. Однако он был лишь правнуком Карла Великого, чьим прямым преемником был Людовик I Благочестивый (778–840), король с 814 г.

отдаленнейшем прошлом, он пригласит к себе бенедиктинца.{134} То же можно сказать и обо всех искусствах. Барчук из знатной семьи — не живописец, не музыкант, не зодчий, не ваятель, но он поощряет все искусства, и они процветают его щедротами. Что и говорить, куда лучше покровительствовать им, чем самому ими заниматься; маркизу достаточно будет иметь вкус, а дело художников — работать на него; поэтому вполне справедливо считают, что знатные люди (я имею в виду очень богатых), ничему не учась, все умеют, ибо они в конце концов прекрасно судят обо всем, что заказывают и за что платят деньги.

Тут слово взял милый невежда:

— Вы справедливо заметили, сударыня, что главная задача человека — преуспеть в обществе, — сказал он. — И в самом деле, при помощи ли наук достигается успех? Затевают ли когда-либо в благородном обществе разговор о геометрии? Спрашивают ли когда-либо у порядочного человека, какая нынче звезда восходит одновременно с Солнцем? Осведомляются ли за ужином о том,

---

{134} Комментарии: 2.134

...пригласит к себе бенедиктинца. — В монастырях бенедиктинцев в средние века обычно составлялись хроники и велась погодная запись событий.

удалось ли Хлодиону Лохматому{135} переправиться через Рейн?

— Но нет, конечно, никогда не спрашивают, — воскликнула маркиза де Ля Жаннотьер, прелести коей открыли ей несколько раз доступ в великосветские круги, — и маркизу, моему сыну, отнюдь не следует затуманивать ум изучением всех этих глупостей. Но, однако, чему же его учить? Ведь надо, чтобы молодой барин при случае блеснул в разговоре, как говорит мой муж. Помнится, я слышала когда-то, как один аббат говорил, что самая приятная наука это… забыла, как она называется, как-то на букву «г».

— На «г», сударыня? Не геологию ли вы имеете в виду?

— Нет, он говорил не о геологии; повторяю: на букву «г», а кончается на «ка».

— Ах, догадываюсь, сударыня: геральдика! Это действительно весьма глубокая наука, но она вышла из моды с тех пор, как перестали украшать гербами дверцы карет; это был обычай чрезвычайно полезный для благоустроенного государства. Однако ей нет предела: ведь нынче у всякого цирюльника есть герб, а, как изволи-

---

{135} Комментарии: 2.135

Хлодион Лохматый — вождь одного из франкских племен, совершавших набеги на Галлию.

те знать, все, что становится обыденным, мало ценится.

В конце концов, когда были рассмотрены сильные и слабые стороны всех наук, порешили: юный маркиз будет учиться танцевать.

Природа, от которой все зависит, наделила его талантом, вскоре чудесно развившимся, а именно: он стал весьма приятно петь куплеты. Очарование юности, вкупе с этим неоценимым даром, привело к тому, что он прослыл юношей, подающим великие надежды. Женщины влюблялись в него; голова его была полным-полна песенками, и он сочинял их для своих возлюбленных. У одного поэта он заимствовал Вакха и Амура, у другого — День и Ночь, Чары и Тучи — у третьего, но так как в его песенках постоянно то не хватало слога, то оказывался слог лишний, ему приходилось отдавать их на исправление и за каждую платить по двадцать луидоров. Некоторые из них были напечатаны в журнале «Литературный год» наравне с песенками Ла Фа-

ра, Шольё, Гамильтона, Сарразена и Вуатюра.{136}

Тут маркиза вообразила себя матерью выдающейся личности и стала устраивать ужины для его парижских собратьев. У юноши вскоре вскружилась голова: он овладел искусством говорить, сам не понимая, что говорит, и стал усовершенствоваться в собственной непригодности к чему-либо. Когда отец понял, сколь сын его красноречив, он горько пожалел о том, что мальчика не научили латыни, ибо тогда он купил бы ему важную должность в судебном ведомстве. Мать, женщина с более возвышенными понятиями, взялась выхлопотать для сына полк, а в ожидании полка он занялся любовью. Но любовь иной раз обходится дороже, чем полк. Он много тратил, да и родители к тому же старались жить

{136} Комментарии: 2.136

«Литературный год» — критико-библиографический журнал, издававшийся известным критиком Эли Фрероном (1719–1776), озлобленным врагом Вольтера и энциклопедистов.

Ла Фар, Шарль-Огюст (1644–1712) — французский поэт-анакреонтик, типичный представитель легкой лирики рококо.

Шольё, Гийом (1639–1720) — французский поэт, автор изящных, но легковесных стихотворений на случай, соратник Ла Фара.

Гамильтон, Антуан (1646–1720) — французский романист и поэт, мастер легких стихотворений в духе ранней лирики рококо. Вольтер мог встречаться с ним в салоне герцогини дю Мэн.

Сарразен, Жан-Франсуа (1604–1654) — французский поэт, один из типичных представителей салонной прециозной поэзии.

Вуатюр, Венсан (1598–1648) — французский поэт, наиболее крупный представитель салонной прециозной поэзии.

на самую широкую ногу.

Некая молодая вдова из благородных, их соседка, обладавшая весьма скромным достатком, решила сберечь их огромное состояние, присвоив его путем брака с юным маркизом. Она привлекла его к себе, позволила себя любить, дала ему понять, что и он ей не безразличен, все больше подогревала его, очаровывала и без труда поработила. Она то расхваливала его, то давала ему советы; она стала лучшим другом отца и матери. Старуха соседка выступила свахой; родители, ослепленные великолепием этого союза, с радостью приняли предложение; они отдавали своего единственного отпрыска лучшему другу. Юному маркизу предстояло жениться на женщине, которую он боготворил и которою был любим; друзья дома поздравляли их; принялись за составление брачного договора, не забывая в то же время о свадебных нарядах и эпиталаме.

Как-то поутру маркиз сидел у ног своей очаровательной невесты и мечтал о дне, когда любовь, уважение, дружба приведут ее в его объятия; нежно и страстно воркуя, они предвкушали близкое счастье; они готовились к блаженной жизни, как ни с того ни с сего появился растерянный лакей маркизы.

— Ошеломляющие новости! — воскликнул он. — Судебные пристава вывозят имущество из дома маркиза; по жалобе кредиторов на все наложен арест; поговаривают о тюрьме, и я думаю, как бы поскорее получить свое жалованье.

— Постойте, постойте! Что такое? — сказал маркиз. — Что все это означает?

— Конечно, — подхватила вдова, — идите скорее, проберите хорошенько этих мошенников.

Маркиз бежит, входит в дом; отец его уже в тюрьме; слуги позаботились о себе, как могли, — каждый унес, что удалось. Мать его сидела одна, беспомощная, безутешная, вся в слезах; у нее осталось только воспоминание о былом, о богатстве, красоте, прегрешениях и безумных тратах.

Сын долго плакал вместе с нею, потом сказал:

— Не будем отчаиваться; молодая вдова любит меня без памяти; она богата и бесконечно великодушна, я за нее ручаюсь; побегу к ней и приведу ее сюда.

Он возвращается к своей возлюбленной и застает ее в обществе весьма привлекательного офицера.

— Вот как? Это вы, господин де Ля Жаннотьер? Зачем вы сюда пожаловали? Как же вы могли оставить мать в таком состоянии? Ступайте к

этой несчастной женщине и скажите ей, что я по-прежнему желаю ей добра; мне требуется горничная, и я предпочту ее всякой другой.

— Ты, приятель, кажется, ловкий малый, — сказал ему офицер, — если хочешь наняться ко мне в полк, я тебя недурно устрою.

Ошеломленный маркиз вне себя от бешенства отправился к своему бывшему воспитателю, излился перед ним в своих горестях и попросил совета. Тот посоветовал ему стать, как и он сам, воспитателем детей.

— Увы, я ничего не знаю, вы меня ничему не научили, вы — главная причина моего несчастья.

И, говоря так, он разрыдался.

— Сочиняйте романы, — сказал ему некий мудрец, присутствовавший тут же, — в Париже это прекрасный источник заработка.

В полном отчаянии молодой человек поспешил к духовнику своей матери; то был весьма уважаемый театинец,{137} руководивший лишь женщинами самого высокого ранга; едва увидев маркиза, он бросился к нему:

— Боже мой! Где же ваша карета, маркиз? Как чувствует себя почтенная маркиза, ваша ма-

---

{137} Комментарии: 2.137

Театинец — член монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды католицизма и борьбы с Реформацией.

тушка?

Несчастный поведал ему о бедствии, постигшем их семью. По мере того как он говорил, лицо театинца все более и более мрачнело, выражение его становилось все безразличнее, все высокомернее:

— Сын мой, вот каким господь хотел видеть вас: богатство только развращает сердца. Значит, бог оказал вашей матушке милость и привел ее к нищете?

— Да, сударь.

— Тем лучше, теперь она может быть уверена в спасении своей души.

— А пока что, нет ли, отец мой, какой-либо возможности обрести помощь в нашем земном существовании?

— Прощайте, сын мой; одна придворная дама дожидается меня.

Маркиз был близок к обмороку. Почти так же отнеслись к нему и его приятели, и за полдня он глубже познал свет, чем за всю остальную жизнь.

Он стоял, погруженный в беспросветное отчаяние, и вдруг увидел старомодную двуколку, своего рода крытую тележку с кожаными занавесками, вслед за которой тащились четыре

огромные подводы с кладью. В двуколке восседал по-деревенски одетый молодой человек; лицо его, круглое и свежее, дышало добротой и благодушием. Рядом с ним помещалась его молоденькая смугленькая жена, не лишенная грубоватой прелести. Коляска не мчалась на всех парах, как экипаж щеголя, а поэтому путешественник вполне мог разглядеть неподвижно стоящего, погруженного в скорбь маркиза.

— Батюшки! — воскликнул он. — Да ведь это, кажется, Жанно!

При этом имени маркиз поднимает взор, двуколка останавливается.

— Да, это не кто иной, как Жанно! Это Жанно!

Маленький толстый человек выпрыгивает из экипажа и бросается обнимать своего бывшего товарища. Жанно узнал Колена; краска стыда и слезы заливают его лицо.

— Ты покинул меня, — говорит Колен, — но хоть ты и знатный барин, я всегда буду любить тебя!

Смущенный и растроганный Жанно, рыдая, поведал ему кое-что из своей истории.

— Поедем на постоялый двор, где я остановлюсь, и там доскажешь мне остальное, — сказал ему Колен, — поцелуй мою женушку, потом вме-

сте пообедаем.

Все трое отправляются пешком, кладь следует за ними.

— Что это за скарб? Он принадлежит вам?

— Да, все это мое и женино. Мы из родных мест; я ведаю большим заводом оцинкованного железа и медных изделий. Я женился на дочери богатого коммерсанта, который торгует кухонной утварью, нужной и знатным и простым людям; мы с божьей помощью много работаем; мы остались все такими же; мы всем довольны, и мы пособим нашему другу Жанно. Не будь больше маркизом; все земные почести не стоят одного верного друга. Ты вернешься со мною в родные края, я выучу тебя ремеслу, оно не такое уж мудреное; я возьму тебя в долю, и мы весело заживем в том уголке земли, где родились.

Ошеломленного Жанно раздирали скорбь и радость, умиление и стыд; он думал: «Все мои светские друзья изменили мне, а Колен, которого я презирал, один спешит мне на помощь. Какой урок!» Душевная доброта Колена согрела в сердце Жанно зерно добра, еще не совсем загубленное светом. Он почувствовал, что не может бросить отца и мать.

— Мы позаботимся о твоей матери, — сказал

Колен, — а что до твоего папеньки, сидящего в тюрьме, так я малость понаторел в делах; поняв, что с него многого уже не возьмешь, кредиторы удовлетворятся малым; я беру это на себя.

Колен действовал так ловко, что вызволил беднягу из тюрьмы. Жанно вместе с родителями вернулся в свои края, и они занялись прежним делом. Жанно женился на сестре Колена, нравом очень похожей на брата, и супруги зажили счастливо. И Жанно-отец, и Жаннета-мать и Жанно-сынок теперь убедились, что не в тщеславии счастье.



ПИСЬМА АМАБЕДА{138} И ДР., ПЕРЕВЕДЕННЫЕ АББАТОМ ТАМПОНЕ{139}

Перевод Ю. Корнеева

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ,{140} ВЕРХОВНОМУ БРАМИНУ МАДУРЫ{141}

Бенарес,{142} *2-го числа месяца мыши,*{143} *год от обновления мира 115 652-й.*[6]

Светоч души моей и родитель помыслов, ведущий людей путями Предвечного, сердечный и почтительный привет тебе, высокоученый Шастраджит!

{138} Комментарии: 2.138

Амабед. — Возможно, это имя Вольтер произвел из Амитаба, имени одного из Будд. Однако это лишь предположение, как и относительно этимологии многих других имен в этой повести, тем более что Вольтер здесь ориентируется на индуистскую, а не на буддийскую традицию.

{139} Комментарии: 2.139

Тампоне. — Этот аббат действительно существовал. В середине XVIII в. он был профессором Сорбонны и получил некоторую известность своими нападками на просветителей.

{140} Комментарии: 2.140

Шастраджит. — Это имя может быть приблизительно переведено как «Познавший мудрость».

{141} Комментарии: 2.141

Мадура — город на юге Индии.

{142} Комментарии: 2.142

Бенарес — город на реке Ганг, священный город для индусов; здесь совершаются ритуальные омовения в водах реки.

{143} Комментарии: 2.143

Месяц мыши. — Вольтер прибегает здесь не к индийскому, а к китайскому названию месяцев; месяц мыши (цзы) соответствует январю.

[6] Примечания: 1.6

Дата эта соответствует 1512 году нашего обычного летосчисления и отделена всего двухлетним промежутком от 1510-го, когда Альфонсо д'Альбукерк взял Гоа. Следует знать, что брамины насчитывают 111 100 лет со времени восстания и падения небожителей и 4552 года со дня обнародования Шастры, что и дает в сумме 115 652 года, соответствующие нашему 1512-му, эпохе правления Бабура в империи Великих Моголов, Исмаила Сафи в Персии, Селима в Турции, Максимилиана I в Германии, Людовика XII во Франции, Юлия II в Риме, Иоанны Безумной в Испании, Мануэла в Португалии. *(Прим. автора.).*{273}

{273} Комментарии: 2.273

Альбукерк, Альфонсо (1453–1515) — знаменитый португальский мореплаватель и завоеватель; благодаря его экспедициям Португалия получила обширные колониальные владения в Индии.

Гоа — португальская колония на западном побережье Индии, южнее Бомбея.

Бабур (1483–1530) — правнук Тамерлана, основатель династии Бабуридов (или Великих Моголов), правивших на территории Индии, где они путем завоевания основали свое государство.

Исмаил, Сафи (1485–1523) — персидский царь, основатель династии Сефевидов, правивших в Иране (а также в части Азербайджана, Армении и Афганистана) с 1502 по 1736 г.

Селим — имеется в виду турецкий султан Селим I, правивший в 1512–1520 гг. Он носил прозвище Жестокий.

Максимилиан I — германский император с 1493 по 1519 г.

Людовик XII — французский король с 1498 по 1515 г.

Юлий II — папа римский с 1503 по 1513 г.

Иоанна Безумная — испанская королева с 1504 по 1555 г.

Мануэл — король Португалии с 1495 по 1521 г.

Следуя твоим мудрым советам, я уже настолько постиг язык китайцев, что с пользою для себя читаю пять их Цзинов,{144} которые, на мой взгляд, не уступают в древности нашей Шастре,{145} коей ты состоишь толкователем, изречениям первого Зороастра{146} и книгам Тота{147} египетского.

В душе своей, неизменно открытой перед тобой, я полагаю, что эти писания и религии ничем не обогатили друг друга: мы — единственные, кому Брама,{148} наперсник Предвечного, поведал о восстании небожителей, о прощении, которое даровал им Предвечный, и о сотворении человека; другим народам неизвестно, по-моему, ни слова об этих возвышенных предметах.

Думаю также, что ни мы, ни китайцы ничем не обязаны египтянам. Создать цивилизованное и

{144} Комментарии: 2.144

Цзин — вообще книги; первоначально — книги, излагающие взгляды древнекитайского философа Лао Цзы.

{145} Комментарии: 2.145

Шастра — вообще книга или трактат; так что такого литературного (или религиозного) памятника не существовало.

{146} Комментарии: 2.146

Зороастр — см. прим. к стр. 228.

{147} Комментарии: 2.147

Тот — древнеегипетское божество, считавшееся изобретателем иероглифического письма, покровителем наук и ученых, автором всех древних книг.

{148} Комментарии: 2.148

Брама — одно из верховных божеств в индуизме, творец и блюститель общего порядка.

просвещенное общество они могли лишь гораздо позже нас: прежде чем возделывать поля и воздвигать города, им надо было укротить Нил.

Правда, божественной Шастре всего 4552 года, но, как доказывают наши памятники, заветы, изложенные в ней, передавались от отца к сыну еще за сто с лишним веков до появления этой священной книги.

После взятия Гоа в Бенарес прибыло несколько проповедников-европейцев. Одному из них я даю уроки индийского языка, а он, в свой черед, обучает меня наречию, имеющему хождение в Европе и называемому итальянским. Забавный язык! Почти все слова в нем оканчиваются на «а», «е», «и» или «о»; дается он мне легко, и скоро я буду иметь удовольствие читать европейские книги.

Зовется этот ученый отцом Фатутто,{149} он приятный, учтивый человек, и я представил его Отраде Очей, прекрасной Адатее,{150} которую ее и мои родители предназначают мне в жены. Она учится итальянскому вместе со мной. Спряжение глагола «любить» мы усвоили в первый же день.

{149} Комментарии: 2.149

Фатутто — то есть Делающий все *(ит.).*

{150} Комментарии: 2.150

Адатея. — Это имя героини повести, по-видимому, восходит к имени Адити, в ведийской традиции прародительницы богов.

На остальные нам потребовалось еще два. Она ближе всех смертных моему сердцу; после нее — ты. Я молю Бирму{151} и Браму продлить тебе жизнь до ста тридцати лет, по достижении коих она становится лишь обузой.

ОТВЕТ ШАСТРАДЖИТА

Я получил твое письмо, дитя души моей. Да будут вечно простерты над тобой десять рук Дурги,[7] восседающей на драконе истребительницы пороков!

Мы действительно — хотя этим отнюдь не следует тщеславиться — цивилизовались раньше других земных племен. Этого не оспаривают даже китайцы. Египтяне же просто очень юный народ, который сам выучился всему у халдеев.{152} Так не

{151} Комментарии: 2.151

Бирма — такого божества в индуистском пантеоне нет. Видимо, это выдумка Вольтера.

[7] Примечания: 1.7

Дурга — индийское слово, означающее «добродетель». Эту богиню изображают верхом на драконе и наделяют десятью руками, которыми она сражается с пороками — невоздержанностью, гневливостью, воровством, убийством, оскорблением, злоязычием, клеветой, леностью, неповиновением отцу и матери, неблагодарностью. Многие миссионеры принимают ее изваяния за статуи дьявола. *(Прим. автора.)*

{152} Комментарии: 2.152

Халдеи — семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до н. э. на берегах Персидского залива. Им приписывались многие

открытия и изобретения.

будем гордиться тем, что мы самые древние, а постараемся неизменно быть самыми праведными.

Тебе следует знать, дорогой Амабед, что с недавних пор слабый отсвет нашего знания о падении небожителей и обновлении мира замерцал наконец и людям Запада. В арабском переводе некоей сирийской книги, написанной всего веков четырнадцать тому назад, я читаю: «…Господь… и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня».[8] В доказательство автор ссылается на сочинение человека по имени Енох, одного из прародителей их племени. Отсюда ты можешь заключить, что варварские народы всегда были озарены лишь случайным, тусклым и обманчивым отблеском дарованного нам света.

Мой дорогой сын, я смертельно боюсь вторже-

---

[8] Примечания: 1.8

Отсюда следует, что Шастраджит читал Библию по-арабски и знаком с посланием святого Иуды. Цитируемые слова действительно содержатся там в ст. 6. Апокрифическое сочинение, упоминаемое святым Иудой в ст. 14, — никогда не существовавшая книга Еноха. *(Прим. автора.)*[274]

{274} Комментарии: 2.274

Цитируемые слова… — Вольтер, любивший издеваться над Писанием и приписывать ему несуществующие пассажи, на этот раз цитирует Библию точно.

…книга Еноха. — В действительности эта апокрифическая библейская книга существует; она возникла во II–I вв. до н. э. и является одним из значительных памятников древнееврейской литературы.

ния европейских дикарей в наши благодатные края. Я слишком хорошо знаю, что представляет собой этот Альбукерк, нагрянувший с берегов Запада в страну, любимую светилом дня. Это один из самых отъявленных разбойников, когда-либо опустошавших землю. Он захватил Гоа в нарушение всех договоров, утопив в их собственной крови тысячи мирных и благочестивых людей. Пришельцы с Запада — обитатели бедного края, где почти не производят шелка и вовсе не производят ни хлопка, ни сахара, ни пряностей. У них нет даже глины, из которой мы делаем фарфор. Бог отказал им в кокосовой пальме, дающей тень, кров, одежду, пищу и питье детям Брамы. Им знаком лишь один-единственный напиток, да и тот лишает их рассудка. Подлинное их божество — золото, за которым они готовы лететь хоть на край света.

Хочу надеяться, что твой проповедник — порядочный человек, но Предвечный не поставит нам в грех недоверие к этим чужеземцам. В Бенаресе они овечки, зато, по слухам, сущие тигры там, где европейцы уже утвердились.

От души желаю, чтобы ни у тебя, ни у прекрасной Адатеи никогда не было причин жаловаться на отца Фатутто! И все-таки тайное предчувствие

томит меня. Прощай, и пусть Адатея поскорей соединится с тобой священными узами, дабы вкусить небесное блаженство в твоих объятиях!

Это письмо вручит тебе один бания,{153} отбывающий отсюда не раньше полнолуния в месяце слона.{154}

ВТОРОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Родитель помыслов моих, я выучил наречие европейцев еще до того, как твой торговец-бания достиг берегов Ганга. Отец Фатутто по-прежнему выказывает мне искреннюю дружбу. Я всерьез начинаю думать, что он совершенно не похож на тех, чьи коварство и злоба внушают тебе столь обоснованные опасения. Правда, он слишком часто хвалит меня и слишком редко — Отраду Очей, но это и все, что меня настораживает; в остальном он представляется мне человеком в высшей степени добродетельным и благожелательным. Вместе с ним мы прочли книгу, показавшуюся

{153} Комментарии: 2.153

Бания — член касты жрецов-брахманов, на которого возлагались всякие коммерческие поручения.

{154} Комментарии: 2.154

Месяц слона. — Такого месяца в китайском календаре нет.

мне очень странной. Это всеобщая история,{155} в которой ни слова не сказано о нашей древней державе, обширных странах за Гангом, Китае и необъятной Татарии. Видимо, сочинители, проживающие в этой части Европы, — изрядные невежды. Я сравнил бы их с крестьянами, красноречиво разглагольствующими о своих лачугах, но не знающими, как называется наша столица, а еще лучше — с теми, кто полагает, будто мир кончается там, где кончается для них горизонт.

Больше всего меня поразило, что отсчет времени от сотворения мира у европейцев совсем иной, нежели у нас. Мой проповедник показал мне церковный календарь, согласно которому его соотечественники живут сейчас в году от сотворения мира не то 5552-м, не то 6244-м, не

{155} Комментарии: 2.155

Это всеобщая история… — Вольтер имеет в виду знаменитую в свое время книгу Боссюэ (1627–1704) «Рассуждение о всемирной истории» (1681), написанную для наставления наследника престола. Вольтер неоднократно критиковал эту работу за ее откровенно религиозный дух и, в частности, за то, что в ней была преувеличена роль еврейского народа в истории Древнего Востока (изложение событий древности Боссюэ строит исключительно на сведениях, сообщаемых Библией).

то 6940-м[9] — кому как нравится. Эта нелепость изумила меня. Я спросил его, мыслимо ли относить одно событие к трем разным датам. «Тебе не может быть, — сказал я, — тридцать, сорок и пятьдесят одновременно. Почему же ты исчисляешь возраст мира от трех противоречащих друг другу дат?» Он ответил, что эти цифры взяты из одной и той же книги и что у них на родине все обязаны принимать на веру подобные противоречивые суждения, дабы смирять этим гордыню разума.

В той же книге говорится о первом человеке Адаме, о Каине, Мафусаиле и Ное, насадившем виноград, после того как океан затопил весь земной шар, — словом, о великом множестве такого, чего я не слыхивал и о чем не читал ни в одной из наших книг. Когда отец Фатутто ушел, нас с прекрасной Адатеей долго разбирал смех: мы ведь слишком хорошо воспитаны и слишком прониклись твоими правилами, чтобы смеяться над людьми в их присутствии.

---

[9] Примечания: 1.9

Этим разнятся тексты древнееврейский, самарийский и семидесяти толковников. *(Прим. автора.)*{275}

{275} Комментарии: 2.275

...семидесяти толковников. — Речь идет о так называемой Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, выполненном в Александрии во II в. до н. э.; считалось, что работавшие одновременно семьдесят переводчиков создали совершенно одинаковый греческий текст, так как якобы были вдохновлены свыше.

Мне жаль несчастных европейцев, сотворенных, самое позднее, лишь 6940 лет тому назад, тогда как мы существуем уже 115 652 года. Еще больше мне их жаль по той причине, что они лишены перца, корицы, гвоздики, чая, кофе, хлопка, лака, ладана, благовоний — короче, всего что делает жизнь приятной. И особенно уж они жалки мне тем, что, подвергаясь таким опасностям, плывут к нам за тридевять земель лишь ради одной цели — с оружием в руках отнимать у нас съестные припасы. Говорят, из-за перца они совершили в Каликуте страшные зверства;{156} это приводит в содрогание все естество индийца, совершенно отличное от их естества: грудь и бедра у европейцев покрыты волосами, они носят длинные бороды, и желудок у них плотоядный. Они дурманят себя перебродившим соком винограда, насажденного, по их уверениям, еще Ноем. Даже учтивейший отец Фатутто зарезал двух цыплят, сварил их в котле и безжалостно съел. Этот варварский поступок навлек на него ненависть всей округи, и нам лишь с трудом удалось успокоить страсти. Да простит меня бог, но мне кажется, дай этому чужеземцу волю

{156} Комментарии: 2.156

…совершили в Каликуте страшные зверства… — Имеется в виду разграбление этого индийского города войсками Васко да Гамы в 1502 г.

— и он съест даже священных коров, дарящих нам молоко! Правда, он поклялся не предавать смерти цыплят и довольствоваться свежими яйцами, молочными кушаньями, рисом, здешними превосходными овощами, финиками, кокосовыми орехами, миндалем, печеньем, ананасами, апельсинами и прочим, что производит наша благословенная Предвечным земля.

В последние дни он стал гораздо внимательнее к Отраде Очей и даже сложил для нее два итальянских стиха, оканчивающихся на «о». Такая предупредительность доставила мне большое удовольствие: ты ведь знаешь, как я счастлив, когда люди отдают должное моей дорогой Адатее.

Прощай! Припадаю к стопам твоим, которые всегда вели тебя стезей добродетели, и целую руки, не написавшие ни слова неправды.

ОТВЕТ ШАСТРАДЖИТА

Дорогой мой сын в Бирме и Браме, мне вовсе не нравится твой Фатутто, убивающий цыплят и сочиняющий стихи в честь Адатеи. Молю Бирму, чтобы опасения мои не оправдались!

Могу поклясться, что хотя Адам и Ной жили, по его словам, совсем недавно, о них не знает ни одна душа ни в одной части света. В Греции,

куда в те дни, когда Александр подошел к нашим границам,{157} стекались басни со всего мира, — и то не слыхали этих имен. Не диво, что такие винопийцы, как жители Запада, носятся с тем, кто, по их мнению, насадил лозу; но будь уверен, что ни один древний народ из числа известных нам не знал никакого Ноя.

Правда, во времена Александра в одном из уголков Финикии{158} жило маленькое племя торгашей и ростовщиков, надолго угнанных перед тем в рабство вавилонянами. За годы пленения этот народец придумал себе историю, и только в ней можно найти упоминание о Ное. Когда впоследствии народец этот добился себе в Александрии всяческих привилегий, его история была переведена на греческий язык. Затем ее перевели на арабский, но известное представление о ней наши ученые получили лишь в последнее время и относятся к ней с не меньшим презрением, чем

{157} Комментарии: 2.157

…когда Александр подошел к нашим границам… — Это произошло в 327 г. до н. э., когда войска Александра Македонского вторглись в Пенджаб (Западная Индия).

{158} Комментарии: 2.158

Финикия — древняя страна на Ближнем Востоке, на побережье Средиземного моря. Одно время (второе тысячелетие до н. э.) находилась в подчинении у Египта. Позже, при ослаблении последнего, вела самостоятельную внешнюю политику.

к жалкой орде, измыслившей ее.[10]

В самом деле, было бы весьма забавно, если бы все народы, а они родные братья, разом утратили свои родословные записи и те отыскались вдруг у крошечной ветви человеческого рода, состоящей из ростовщиков и прокаженных. Боюсь, дорогой друг, что соотечественники твоего отца Фатутто, которые, как ты сообщаешь, усвоили подобные взгляды, могут оказаться столь же безумными и смешными, сколь они алчны, коварны и жестоки.

Женись-ка поскорее на своей очаровательной Адатее: я еще раз повторяю, что опасаюсь этих Фатутто еще больше, чем разных Ноев.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Благословен во веки веков Бирма, сотворивший мужчину для женщины! Благословен и ты, дорогой Шастраджит, столь способствовавший моему счастью! Отрада Очей — моя: мы поженились. Я не чую под собой земли — я на небесах; при совершении священного обряда недоставало только

---

[10] Примечания: 1.10

Из сказанного явствует, что Шастраджит говорит здесь как истый брамин — человек, лишенный дара веры и чуждый благодати. *(Прим. автора.)*

тебя. Проповедник Фатутто был свидетелем наших святых обетов и без всякого неудовольствия внимал нашим молитвам и песнопениям, хоть он и другой веры. На брачном пиру он также был очень весел. Я изнемогаю от блаженства. Тебе дана иная отрада — ты обладаешь мудростью; а мной обладает несравненная Адатея. Живи долго, будь счастлив и не ведай страстей, иначе, как я, утонешь в море наслаждений. Не могу больше ничего прибавить — вновь лечу в объятия Адатеи,

ЧЕТВЕРТОЕ
ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Дорогой мой друг и отец, мы с нежной Адатеей едем просить твоего благословения. Пока мы не уплатили этот долг своему сердцу, наше блаженство неполно. Но веришь ли? Мы прибудем к тебе через Гоа, куда отправляемся в обществе известного купца Курсома и его жены. Фатутто уверяет, что Гоа стал прекраснейшим из всех городов Индии и что великий Альбукерк примет нас, как принимают послов, а после даст нам трехпарусное судно, на котором мы доплывем до Мадуры. Он уговорил мою жену совершить это путешествие, а ее желания — мои желания. Фатутто твердит, что итальянское наречие распростране-

но в Гоа еще шире, нежели португальское. Отраде Очей не терпится поговорить на языке, который она только что выучила, я же разделяю любое ее желание. Говорят, бывают супруги, у которых две разные воли; у нас с Адатеей — только одна, потому что душа у нас тоже одна. Словом, завтра мы отбываем, лелея сладостную надежду не позже чем через два месяца пролить в твоих объятиях слезы любви и радости.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

Гоа, 5-го числа месяца тигра,{159} *год от обновления мира 115 652-й.*

Бирма, услышь мои стенания, воззрись на мои слезы, спаси моего дорогого супруга! Брама, сын Бирмы, повергни страх мой и боль мою к стопам своего отца! Ты оказался мудрее нас, благородный Шастраджит: ты предугадал наши несчастья. Амабед, твой ученик и мой возлюбленный супруг, больше не напишет тебе: он посажен в яму, которую эти варвары именуют тюрьмой. На другой день после нашего приезда, какие-то люди, вер-

{159} Комментарии: 2.159
Месяц тигра. — Он соответствует марту.

нее, чудовища — их называют здесь inquisitori,[11] но я не понимаю этого слова, — схватили нас с мужем и бросили в разные ямы, словно мы уже мертвецы, хотя будь это даже так, нас следовало бы по крайней мере похоронить вместе. Не знаю, что они сделали с моим милым супругом. Я кричала этим людоедам: «Где Амабед? Не убивайте его — убейте лучше меня!» Они молчали. «Где он? Зачем вы разлучили нас?» Вместо ответа меня заковали в цепи. Час назад положение мое немного облегчилось: купец Курсом нашел способ переправить мне хлопчатую бумагу, кисточку и тушь. Все это залито моими слезами, рука у меня дрожит, в глазах темно, я умираю.

ВТОРОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ ИЗ ТЮРЬМЫ ИНКВИЗИЦИИ

Божественный Шастраджит, вчера я долго была в беспамятстве и не смогла закончить письмо. Несколько придя в себя, я сложила его и спрятала на груди — ей, увы, уже не кормить детей, которых я надеялась родить Амабеду: я умру раньше, чем Бирма ниспошлет мне потомство.

Сегодня с рассветом ко мне в подземелье яви-

---

[11] Примечания: 1.11
Инквизиторы *(ит.).*

лись два изверга с алебардами в руках, с нитью каких-то зерен на шее и с четырьмя красными нашивками на груди, расположенными в форме креста. Все так же молча они подхватили меня под руки и доставили в комнату, обстановку которой составляли большой стол, пять стульев и большая картина, изображавшая нагого мужчину с раскинутыми руками и сведенными вместе пятками.

Следом за ними вошли пять человек в рубахах, надетых на черные мантии, и с двумя длинными полосами пестрой ткани поверх рубах. Я в ужасе рухнула на пол. Но каково было мое удивление, когда среди этих призраков я увидела отца Фатутто! Я взглянула на него, он покраснел, но ответил мне кротким сострадательным взглядом, на минуту подбодрившим меня. «Ах, отец Фатутто! — вскричала я. — Что с Амабедом? В какую бездну вы меня ввергли? Говорят, есть племена, питающиеся человеческой кровью. Неужели нас тоже убьют и съедят?» Вместо ответа он воздел глаза и руки к небу с таким сокрушением и нежностью, что я окончательно растерялась.

Наконец председатель этого совета немых раскрыл рот и, обращаясь ко мне, спросил: «Правда ли, что вы крещены?» Я была так изумлена и

потрясена всем случившимся, что долго не могла ничего ответить. Он страшным голосом повторил вопрос. Кровь во мне застыла, язык прилип к гортани. Председатель в третий раз повторил свои слова, и в конце концов я сказала: «Да», — ибо лгать никогда не следует. Я была крещена в водах Ганга, как все верные дети Брамы, как ты, божественный Шастраджит, или мой дорогой злополучный Амабед. Да, я крещена; это мое утешение, моя гордость, и я призналась в этом совету призраков.

Не успело слово «да», символ истины, сорваться у меня с губ, как один из черно-белых призраков воскликнул: «Apostata!»[12] — и остальные подхватили: «Apostata!» Не знаю, что означает это слово, но произнесли они его таким мрачным, угрожающим тоном, что и сейчас, когда я пишу тебе, пальцы у меня сводит судорогой.

Тут заговорил отец Фатутто и, все так же ласково поглядывая на меня, уверил, что я, в сущности, одушевлена добрыми чувствами, что он в этом ручается, что благодать низойдет на меня, а он отвечает за мое исправление; речь свою он закончил фразой, которой я так и не поняла: «Io la

---

[12] Примечания: 1.12
Отступница *(ит.).*

convertirò».[13] Насколько я могу судить, по-итальянски это значит: «Я верну ее назад».

«Как! — подумала я. — Он вернет меня назад? Что он имеет в виду? Уж не хочет ли он сказать, что вернет меня на родину?»

— Ах, отец Фатутто, — взмолилась я, — верните тогда и молодого Амабеда, моего милого супруга. Верните мне мою душу, мою жизнь!

Он потупился, отвел четверых своих собратьев в угол, пошептался с ними, и призраки удалились вместе с обоими алебардщиками. Уходя, все склонились перед картиной, изображавшей нагого человека. Я осталась наедине с отцом Фатутто.

Он проводил меня в довольно опрятную комнату и обещал, что я не буду больше брошена в яму, если доверюсь его советам.

— Я не меньше вас удручен случившимся, — сказал он. — Я возражал сколько мог, но наши святые законы связали мне руки. Теперь, благодаря небу и мне, вы свободны и получили пристойное жилище, хотя и без права покидать его. Я буду часто навещать вас, утешать и печься о вашем счастье как в этой, так и в будущей жизни.

---

[13] Примечания: 1.13
Я ее обращу *(ит.).*

— Увы, дать мне счастье способен только мой дорогой Амабед, а он в яме! — возразила я. — За что его туда бросили? Кто эти чудовища, допрашивавшие меня, купалась я в Ганге или нет? Куда вы меня привели? Может быть, вы обманули меня? И не вы ли виновник всех этих страшных жестокостей! Позовите сюда купца Курсома — он мой земляк и порядочный человек. Верните мне Дару,{160} мою служанку, наперсницу, подругу, которую разлучили со мной. Уж не в тюрьме ли и она за то, что купалась? Приведите ее, дайте мне увидеться с Амабедом, или я умру!

На мои прерываемые рыданиями слова он ответил уверениями в преданности и готовности служить мне, которые тронули меня. Он дал слово докопаться до причин этой ужасной истории, упросить, чтобы мне вернули мою бедную Дару, а затем и добиться освобождения моего мужа. Он явно жалел меня — я даже заметила, что глаза у него подернулись влагой. Наконец зазвонил колокол, и отец Фатутто вышел из комнаты, на прощание взяв мою руку и прижав ее к своему сердцу. Как тебе известно, этот жест — зримое выражение скрытого доброжелательства. Он

{160} Комментарии: 2.160

Дара (точнее — Тара). — Это имя может быть переведено как Звезда.

не обманет меня: он прижал мою руку к своему сердцу! Да и зачем ему обманывать меня? За что преследовать? Мы с мужем были так предупредительны с ним в Бенаресе. Я сделала ему столько подарков за уроки итальянского языка. Он сочинил для меня итальянские стихи. Он не может меня ненавидеть. Я буду считать его своим благодетелем, если он вернет мне моего несчастного супруга и мы с Амабедом, покинув землю, захваченную и заселенную людоедами, сумеем добраться до Мадуры, пасть к твоим ногам и получить твое святое благословение.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

Ты, без сомнения, дозволишь мне, великодушный Шастраджит, посылать тебе дневник моих неслыханных несчастий: ты любишь Амабеда, тронут моими слезами, и тебе небезразлично, что творится в истерзанной горем душе, которая поверяет тебе свои муки.

Сегодня мы плачем уже вдвоем: мне вернули верную мою подругу Дару. Эти изверги бросили в яму и ее. От Амабеда ни слуху ни духу. Мы в одном здании с ним, но между нами неизмеримое расстояние, непреодолимая пропасть. Однако вот новость, которая приведет в трепет твою

добродетель и надорвет твое праведное сердце.

От одного из двух стражников, неизменно шествующих перед пятью людоедами, моя бедная Дара узнала, что португальцев крестят, как и нас. Не знаю только, каким путем они переняли наши святые обряды. Чудовища вообразили, будто мы крещены по обряду их секты: в безмерном своем невежестве они даже не подозревают, что заимствовали крещение у нас и притом всего несколько веков тому назад. Эти дикари решили, что мы принадлежим к их секте, а затем отпали от нее. Именно таково значение слова apostata, которым они так свирепо оглушили меня. По их мнению, исповедовать не их веру, а другую — гнусное преступление, заслуживающее самой страшной казни. Словами «io la convertirò» — «я обращу ее» отец Фатутто хотел сказать, что вернет меня к вере разбойников. Тут уж я ничего не понимаю, туман застит мне зрение и разум. Может быть, отчаяние лишает меня способности рассуждать, но я не могу взять в толк, как Фатутто, прекрасно знающий меня, решился заявить, что вернет меня к религии, о которой я даже не помышляла, — в наших краях о ней знают не больше, чем знали о португальцах до того, как они с оружием в руках вторглись к нам в погоне

за перцем. Мы с моей доброй Дарой теряемся в догадках. Она подозревает, что отцом Фатутто руководит какой-то тайный умысел, но упаси меня Бирма от скороспелых заключений!

Я собиралась написать главному разбойнику Альбукерку — пусть он вступится и освободит моего мужа, но мне сказали, что он отбыл в Бомбей, который намерен захватить и разграбить. Как! Приплыть к нам из такой дали с единственной целью разорить наши жилища и перебить нас самих? А ведь эти чудовища тоже крещены! Говорят, однако, что за Альбукерком числится и несколько благородных поступков. Словом, отныне я уповаю лишь на верховное существо: оно карает преступников и защищает невинных. Однако сегодня утром я видела, как тигр сожрал двух ягнят, и трепещу при мысли, что верховное существо не настолько дорожит мной, чтобы приспеть мне на помощь.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ШАСТРАДЖИТУ

От меня только что ушел отец Фатутто. Какое свидание! Какая смесь коварства, похоти и низости! Неужели в человеческом сердце может таиться такая бездна жестокости! И каково мне писать об этом праведнику!

Он вошел ко мне в комнату, потупив глаза и дрожа всем телом. Я дрожала еще сильнее. Вскоре он овладел собой и начал:

— Я не уверен, что смогу спасти вашего мужа. Здешние судьи проявляют иногда снисходительность к молодым женщинам, но неумолимо строги к мужчинам.

— Что? Жизнь моего мужа в опасности?

Я потеряла сознание. Он заметался в поисках ароматической воды, дабы привести меня в чувство, но ничего не нашел. Тогда он послал за нею мою добрую Дару в лавку на другом конце улицы, а сам расшнуровал меня, чтобы мне было легче дышать. Придя в себя, я с изумлением ощутила на своей груди его руки, а на губах — его губы. Я отчаянно вскрикнула и с отвращением отшатнулась.

— Я лишь проявил заботу о вас, продиктованную милосердием: освободил вашу грудь и удостоверился, дышите ли вы, — сказал он.

— Ах, позаботьтесь лучше, чтобы легче дышалось моему мужу! Неужели он до сих пор в этой мерзкой яме?

— Нет, — ответил он. — Мне с большим трудом удалось добиться его перевода в более удобную темницу.

— Я снова спрашиваю вас: в чем наше с ним пре-

ступление? Чем объяснить такую неслыханную жестокость? Почему в отношении нас попраны все законы гостеприимства, общества, природы?

— Этих небольших строгостей требует от нас наша святая вера. Вы с мужем обвиняетесь в том, что отреклись от крещения.

— Что вы несете? — воскликнула я. — Нас никогда не крестили на ваш манер: мы крестились в Ганге во имя Брамы. Не вы ли гнусно оклеветали нас перед теми извергами, что допрашивали меня? Какую цель вы этим преследовали?

Он решительно отмел такое предположение, заговорил о добродетели, истине, милосердии и на минуту почти рассеял мои подозрения, уверив, что те, кого я назвала извергами, — порядочные люди, служители господа и духовные судьи, у которых повсюду, особенно при чужеземцах, наезжающих в Гоа, есть благочестивые соглядатаи. Эти соглядатаи, добавил он, поклялись его собратьям, духовным судьям, перед изображением нагого человека, что мы с Амабедом были крещены на манер португальских разбойников и, следовательно, Амабед — apostato, а я — apostata.

О добродетельный Шастраджит, то, что мне приходится здесь видеть и слышать, преисполняет меня ужасом от корней волос до ногтей на

мизинцах ног!

— Как, — спросила я отца Фатутто, — вы один из этих пяти служителей господа и духовных судей?

— Да, милая Адатея, да, Отрада Очей, я один из пяти доминиканцев,{161} которых наместник бога на земле послал сюда и облек неограниченной властью над душами и телами.

— Что такое доминиканец? Что такое наместник бога?

— Доминиканец — это духовная особа, чадо святого Доминика, инквизитор по делам веры, а наместник бога — священнослужитель, избранный господом, чтобы представлять его в этом мире, получать десять миллионов рупий в год и рассылать во все концы света доминиканцев, наместников наместника божия.

Надеюсь, великий Шастраджит, ты растолкуешь мне эту адскую галиматью, эту немыслимую смесь нелепостей и мерзостей, лицемерия и варварства.

Фатутто говорил с сокрушением и задушевностью, которые в другое время непременно

{161} Комментарии: 2.161

Доминиканец — член монашеского ордена, названного в честь его основателя святого Доминика (1170–1221), сторонника жестокой борьбы с ересями.

подействовали бы на мою простую невежественную душу. Глаза он то поднимал к небу, то устремлял на меня. В них читались возбуждение и умиленность, но такая, которая заставляла меня дрожать всем телом от ужаса и отвращения. И на языке, и на уме у меня был только Амабед. «Верните мне моего дорогого Амабеда!» — вот к чему сводились, чем начинались и кончались все мои речи.

Тут появилась моя добрая Дара — она принесла мне имбирной и коричной воды. Милое создание! Она ухитрилась передать купцу Курсому три предыдущие мои письма. Курсом уезжает сегодня в ночь и через несколько дней будет в Мадуре. Великий Шастраджит пожалеет меня, оплачет жребий моего мужа, не откажет мне в совете, и луч его мудрости озарит мрак моей гробницы.

ОТВЕТ ВЕРХОВНОГО БРАМИНА ШАСТРАДЖИТА НА ТРИ ПЕРВЫЕ ПИСЬМА АДАТЕИ

Добродетельная и злополучная Адатея, супруга моего любимого ученика Амабеда, знай, Отрада Очей, что глаза мои оросили потоками слез все три твои письма. Какой противоестественно злобный демон спустил на нас из глубины европейской ночи чудовища, добычей которых

стала Индия? Ах, нежная супруга дорогого моего ученика, неужели ты не видишь, что отец Фатутто — злодей, заманивший тебя в ловушку? Как ты не понимаешь, что он-то и упрятал твоего мужа в яму, куда засадил и тебя, чтобы ты оказалась обязана ему своим спасением? Чего только он не потребует в знак признательности! Я содрогаюсь от ужаса вместе с тобой и немедля сообщу об этом попрании международного права всем верховным служителям Брамы, всем эмирам, раджам, набобам и самому великому императору Индии, блистательному Бабуру, двоюродному брату солнца и луны, царю царей, сыну Мирзы Мухаммеда сына Байсункора сына Абу Саида сына Миран-шаха сына Тимура, дабы они соединенными усилиями положили конец разбою грабителей-европейцев. Какая бездна злодейства! Никогда жрецы Тимура, Чингисхана, Александра, Огуз-хана, Сусакима и Вакха,{162}

{162} Комментарии: 2.162

Огуз-хан — видимо, лицо вымышленное. Предполагается, что это предводитель племени огузов, союза тюрко-монгольских племен, обитавших в VI–XI вв. в бассейне реки Сырдарьи.

Сусаким (так в греческом переводе Ветхого Завета) — египетский фараон Шешонк из XII династии, правивший в IX–VIII вв. до н. э. Известен как воинственный полководец. В Библии рассказывается, как он разграбил Иерусалим (Третья книга Царств, XIV, 25–26).

Вакх. — Поздние мифы действительно рассказывают о путешествии Вакха по Востоку и о творимых им чудесах. Вольтер сопоставляет эти мифы с библейскими легендами о Моисее.

поочередно приходившие покорять нашу священную и мирную землю, не позволяли себе такого лицемерия и таких мерзостей; напротив, Александр повсюду оставил вечные памятники своего великодушия. Вакх творил лишь добро: он был избранник неба. Ночью его войско вел огненный столп, превращавшийся днем в тучу.[14] Он посуху перешел Красное море; при нужде он приказывал солнцу и луне остановиться; от его чела исходили два снопа небесных лучей; рядом с ним всегда был ангел-истребитель, но он призывал на помощь лишь ангела-утешителя. Ваш же Альбукерк привез с собой только монахов, плутов-торговцев и убийц. Праведный Курсом подтвердил твой рассказ о вашей с Амабедом беде. Как я жажду спасти вас или отомстить за вас,

---

[14] Примечания: 1.14

Можно не сомневаться, что сказания о Вакхе имели широкое хождение в Аравии и Греции задолго до того, как цивилизованные народы задались вопросом, была или нет у евреев своя история. Иосиф признается даже, что евреи прятали свои богослужебные книги от соседних племен. Вакха чтили в Египте, Аравии, Греции много раньше, чем в этих странах стало известно имя Моисея.{276} В древних орфических стихах Вакх именуется Миса или Моса. Он восходил на гору Ниса, что точно соответствует Синаю; затем бежал к Красному морю, собрал там войско и перешел это море посуху. Он останавливал солнце и луну; во всех его походах ему сопутствовал верный пес, и Халев,{277} имя одного из еврейских завоевателей, означает «собака».

Ученые много, хотя и безуспешно, спорили, кто кому предшествовал: Моисей Вакху или наоборот. Оба они великие люди, но Моисей, ударив жезлом по скале, извел лишь воду, тогда как Вакх, ударив по земле тир-

сом, извел из нее вино. Вот почему все застольные песни прославляют Вакха, а в честь Моисея не сложили даже одной-двух. *(Прим. автора.)*

{276} Комментарии: 2.276

Моисей — библейский патриарх, вождь еврейского народа. О нем рассказывается в нескольких книгах Ветхого Завета (Исход, Левит, Числа, Второзаконие).

{277} Комментарии: 2.277

Халев. — Этот персонаж упоминается в библейской Книге Чисел (XIII, 31).

прежде чем умру! Да вызволит вас вечный Бирма из рук монаха Фатутто! Сердце мое обливается кровью при мысли о ранах, нанесенных вашим сердцам.

NB. Отрада Очей получила это письмо лишь спустя долгое время после отъезда из города Гоа.

ПЯТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ ВЕРХОВНОМУ БРАМИНУ ШАСТРАДЖИТУ

Какими словами решусь я описать тебе новое мое несчастье? В силах ли стыдливость поведать о позоре? Бирма видел злодейство, и он не пресек его! Что будет со мной? Яма, куда, я была брошена, и та не столь ужасна, как нынешнее мое положение.

Сегодня утром отец Фатутто вошел ко мне в одном легком шелковом подряснике и весь благоухая. Я была еще в постели. «Победа! — объявил он. — Приказ об освобождении вашего мужа наконец подписан». При этих словах я воспламенилась восторгом и назвала Фатутто своим отцом, своим благодетелем. Он нагнулся и поцеловал меня. Я подумала было, что это просто невинная ласка, целомудренное свидетельство его доброты ко мне, но он тут же сорвал одеяло,

сбросил с себя подрясник, накинулся на меня, как коршун на голубку, придавил меня всей своей тяжестью, мускулистыми руками намертво стиснул мои слабые руки и, заглушив поцелуями стенания, рвавшиеся с моих губ, распаленный, неукротимый, безжалостный… О, какая минута! Зачем я не умерла!

Дара, почти нагая, прибежала мне на помощь, но, увы, лишь тогда, когда спасти меня от позора мог разве что удар грома. О провидение, о Бирма! Гром не грянул, и мерзкий Фатутто изверг в мое лоно жгучую росу своего злодеяния. Нет, даже десять рук божественной Дурги не обуздали бы неистовство этого Махишасуры.[15]

Моя дорогая Дара изо всех сил оттаскивала его, но представь себе воробья, который теребит перья коршуна, насевшего на голубку, — и ты воочию увидишь отца Фатутто, Дару и несчастную Адатею.

Чтобы отомстить Даре за несвоевременное за-

---

[15] Примечания: 1.15

Махишасура — один из вождей мятежных небожителей в их борьбе против Предвечного, согласно Аватарашастре,{278} древнейшей книге браминов; к ней, вероятно, восходит сказание о войне богов с титанами, равно как и другие выдумки такого рода. *(Прим. автора.)*

{278} Комментарии: 2.278

Аватарашастра. — Аватара — это воплощение божества (в индуизме). Но такого трактата о божественных превращениях в действительности не существовало.

ступничество, он схватил ее самое одной рукой, повалил и, удерживая меня другою, обошелся с бедняжкой столь же немилосердно, как со мной, после чего с гордым видом хозяина, наказавшего двух рабынь, удалился, бросив на прощанье:

— Знайте, что такая же кара ждет вас обеих всякий раз, когда будете упрямиться.

Добрых четверть часа мы с Дарой не смели ни заговорить, ни посмотреть друг на друга. Наконец она вскричала:

— Ах, дорогая моя госпожа, что за ужасный человек! Неужели все его собратья столь же безжалостны?

Я думала лишь о своем злополучном Амабеде. Мне обещали его вернуть и не возвращают. Покончить с собой значит оставить его на произвол судьбы. И я не наложила на себя руки.

Целый день я питалась лишь своей скорбью. Еду в обычный час нам не принесли. Дара удивилась и начала сетовать; мне, напротив, казалось зазорным есть после того, что с нами случилось. Тем не менее у нас отчаянно разыгрался аппетит, но никто не шел, и мы были почти без памяти от голода, как раньше от горя.

Наконец, под вечер, нам дали пирог с голубятиной, пулярку, двух куропаток, маленький хлебец

и, в довершение обид, бутылку вина без воды. Это самое оскорбительное издевательство, которому можно подвергнуть двух женщин, претерпевших столько, сколько мы, но что было делать? Я упала на колени. «О Бирма! О Вишну! О Брама! Вам ведомо: то, что входит в тело, не оскверняет душу. Вы сами наделили меня душой; простите же ей, если состояние моего тела с роковой неизбежностью мешает мне ограничиться одними овощами. Я знаю, есть цыпленка — страшный грех, но нас к нему принуждают. Пусть же все эти преступления падут на голову отца Фатутто! Да превратится он по смерти в несчастную молодую индианку, а я — в доминиканца и да отплачу я ему за все причиненное мне зло еще немилосердней, чем он поступил со мной!» Не возмущайся и прости нас, добродетельный Шастраджит; мы сели за стол. Как горестны радости, за которые потом себя коришь!

P. S. Сразу же после ужина я принялась за письмо к правителю Гоа, именуемому коррежидором.{163} Я прошу его освободить нас с Амабедом и заодно уведомляю о преступлениях отца Фатутто. Моя дорогая Дара заверяет, что переправит ему мое

{163} Комментарии: 2.163

Коррежидор — глава городского самоуправления в Португалии и ее колониях (соответствует испанскому коррехидору).

письмо через одного из стражников инквизиции, который иногда видится с ней у меня в передней и выказывает ей большое уважение. Посмотрим, что принесет нам этот рискованный шаг.

ШЕСТОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ

Поверишь ли, мудрый наставник человеков? Даже в Гоа есть справедливые люди, и коррежидор дон Жеронимо — один из них. Наше с Амабедом несчастье тронуло его, несправедливость возмутила, преступление разгневало. Он взял с собой судей и отправился в тюрьму, куда мы заключены. Как мне стало известно, этот вертеп именуется Дворцом святейшей инквизиции. Но вот что удивит тебя: коррежидора не впустили. Пять извергов встали на пороге со своими алебардщиками и ответили служителю правосудия:

— Именем господа, ты не войдешь!

— Именем короля, я войду, — ответил он. — Дело подсудно королю.

— Нет, богу, — возразили чудовища.

— Я обязан допросить Амабеда, Адатею, Дару и отца Фатутто, — настаивал справедливый дон Жеронимо.

— Допросить инквизитора? Доминиканца? —

вспылил главарь извергов. — Это святотатство! Scommunicao! Scommunicao![16]

Я слышала, что это страшные слова: тот, к кому они обращены, обычно умирает до истечения трех суток.

Противники разгорячились, еще немного — и началась бы свалка, но в конце концов стороны обратились к гоанскому bispo.[17] Bispo у этих варваров — примерно то же, что ты среди детей Брамы: духовный их правитель. Одеяние у него фиолетовое, на руках он носит фиолетовые башмаки, по торжественным дням надевает шапку, похожую на сахарную голову с вырезом посредине. Этот человек нашел, что обе стороны равно не правы и что судить отца Фатутто полномочен лишь наместник бога. К его божественности и было решено отправить виновного вместе с Амабедом, мною и моей верной Дарой.

Я не знаю, где живет этот наместник — по соседству с великим ламой или в Персии, но что мне до того! Скоро я свижусь с Амабедом и последую за ним куда угодно — на край света, на небо, в ад. Стоит мне подумать о нем, как я забываю все

---

[16] Примечания: 1.16
Анафема! Анафема! (букв.: отлучаю; *португ.)*

[17] Примечания: 1.17
Епископ *(португ.).*

— яму, тюрьму, надругательство Фатутто, его куропаток, которых имела низость съесть, его вино, которое имела низость выпить.

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО АДАТЕИ

Я свиделась с моим нежным супругом: нас вновь соединили, и я заключила его в объятия. Он стер пятно преступления, которым осквернил меня гнусный Фатутто; подобно священным водам Ганга, смывающим с души любую скверну, он дал мне новую жизнь. Обесчещенной остается одна лишь Дара, но твои молитвы и благословения вернут ей весь блеск былой чистоты.

Завтра нас отправят на корабле в Лиссабон, родину надменного Альбукерка. Там, без сомнения, и живет наместник бога, которому предстоит рассудить нас с Фатутто. Если он в самом деле наместник божий, как все здесь уверяют, Фатутто не может избегнуть кары. Утешение, конечно, невелико, но для меня важно не столько наказание отъявленного злодея, сколько счастье моего милого Амабеда.

Какой, однако, удел назначен слабым смертным, этим листьям, уносимым ветром! Мы с Амабедом родились на берегах Ганга — нас увозят в Португалию; мы рождены свободными — нас

будут судить в чужой стране. Вернемся ли мы на родину? Совершим ли задуманную нами поездку к твоей священной особе?

Но как нам с дорогой моей Дарой ехать на том же корабле, что повезет отца Фатутто? Мысль об этом приводит меня в содрогание. По счастью, со мной будет мой отважный муж: он защитит меня. А что станет с Дарой, у которой нет мужа? Словом, остается одно — уповать на провидение.

Впредь писать тебе будет мой милый Амабед. Он поведет дневник наших судеб и обрисует тебе новые земли и небеса, которые предстоит нам увидеть. Пусть Брама еще долго хранит твою бритую голову и разум, вложенный им в твой мозг!

ПЕРВОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итак, я еще в числе живых! Я вновь пишу тебе, божественный Шастраджит! Я узнал все, и ты тоже все знаешь. Отрада Очей ни в чем не виновна, да и не могла быть виновна: вместилище добродетели — сердце, а не какое-нибудь иное место. Фатутто, этот носорог в лисьей шкуре, по-прежнему нагло заявляет, что крестил нас с Адатеей в Бенаресе на европейский манер и что я apostato, а Отрада Очей — apostata. Он клянется

нагим человеком, изображенным здесь чуть ли не на каждой стене, что его облыжно обвинили в насилии над моей супругой и ее верной служанкой Дарой. Со своей стороны, Отрада Очей и кроткая Дара клятвенно утверждают, что были поруганы. Ум европейцев бессилен проникнуть в эту бездну мрака; они твердят, что разобраться тут может лишь наместник божий, поскольку он непогрешим.

Завтра коррежидор дон Жеронимо отсылает всех нас морем к этому необыкновенному существу, которое никогда не ошибается. Верховный судья варваров, он живет отнюдь не в Лиссабоне, а гораздо дальше, в величественном городе, именуемом Рум. У нас в Индии слыхом о таком не слыхивали. Какое тягостное путешествие! Чего только не претерпевают дети Брамы в здешней краткой жизни!

Попутчиками нашими будут европейские купцы, певицы, два пожилых офицера из войск португальского короля, накопившие в нашей стране много денег, жрецы наместника божия и несколько солдат.

Какое счастье, что мы выучились итальянскому, обиходному языку всех этих людей. Португальского мы бы просто не поняли. Зато

ужасно другое — плыть на одном судне с Фатутто. Сегодня нам уже велено ночевать на корабле: с восходом он выйдет в море. Мне с женой и Дарой отвели маленькую комнатку — шесть шагов в длину, четыре в ширину. Говорят, это большая привилегия. Нам пришлось запастись всякими мелочами на дорогу. Вокруг невообразимый шум и гам. Народ толпами сбегается поглазеть на нас. Отрада Очей плачет, Дара дрожит. Придется потерпеть! Прощай и вознеси за нас свои святые молитвы Предвечному, сотворившему несчастных смертных ровно 115 652 годичных оборота солнца вокруг земли (или земли вокруг солнца) тому назад.

ВТОРОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

На второй день плавания корабль подошел к Бомбею, захваченному человекоубийцей Альбукерком, которого именуют здесь Великим. Поднялся адский грохот: наше судно дало девять пушечных выстрелов, и таким же числом их ответили с городских укреплений. Отрада Очей и юная Дара уже решили, что пришел наш последний час. Нас окутал густой дым. Но поверишь ли, мудрый Шастраджит? Это была простая вежливость — так варвары приветствуют друг друга.

Шлюпка привезла из города письма, отправляемые в Португалию, и мы вышли в открытое море, оставив справа устье великой реки Джамбудвипы{164} — варвары называют ее Индом.

Вокруг нас только простор, который именуется небом у этих разбойников, недостойных настоящего неба, да беспредельное море, которое они переплыли, подгоняемые алчностью и кровожадностью.

Капитан, однако, кажется мне человеком порядочным и разумным. Он не разрешает отцу Фатутто появляться на палубе, когда мы поднимаемся подышать воздухом, а когда он наверху, мы остаемся внизу. Он и мы — словно день и ночь, никогда не возникающие на горизонте одновременно. Я непрестанно размышляю о том, как судьба играет злополучными смертными. Мы плывем по Индийскому морю с каким-то доминиканцем, чтобы судиться с ним в Руме за шесть тысяч миль от нашей родины.

На корабле есть важное духовное лицо, именуе-

{164} Комментарии: 2.164

Джамбудвипа. — Это не название реки Инд, а название Индийского субконтинента.

мое раздавателем милостыни,{165} хотя оно вовсе ее не раздает. Напротив, это ему суют деньги за чтение молитв на языке, не похожем ни на итальянский, ни на португальский и не понятном никому из экипажа, включая, кажется, самого раздавателя: он постоянно спорит с отцом Фатутто о значении произносимых им слов. Капитан сказал мне, что раздаватель — францисканец,{166} а Фатутто — доминиканец, и они по убеждению держатся противоположных взглядов на все. Их секты — заклятые враги, и, чтобы подчеркнуть различие во мнениях, они даже платье носят различное.

Францисканца зовут Фамольто.{167} Он ссужает меня итальянскими книгами, трактующими о вере наместника божия, перед которым мы должны предстать. Мы с моей милой Адатеей читаем их, а Дара слушает. Сперва она отказывалась присутствовать при чтении, чтобы не прогневить

{165} Комментарии: 2.165

Раздаватель милостыни — церковная должность в католических странах; такие раздаватели состояли при знатных сеньорах (как светских, так и духовных), при короле, папе и т. п.

{166} Комментарии: 2.166

Францисканец — член нищенствующего монашеского ордена. Разные задачи францисканцев и доминиканцев и их разный образ жизни нередко приводили к открытой вражде представителей этих орденов.

{167} Комментарии: 2.167

Фамольто — то есть Делающий много (ит.).

Браму; но чем больше мы читаем, тем больше укрепляемся в приверженности к святым догматам, которым ты учишь верующих.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

Раздаватель милостыни прочел с нами послания одного из главных святых итальянской и португальской церкви. Его звали Пюалем.{168} Ты, знающий все, знаешь, без сомнения, и Пюаля. Это великий человек: некий голос сверг его с коня, а луч света ослепил; он, как и я, насиделся в темнице, что ставит себе в заслугу; он добавляет также, что пять раз получил по 39 ударов бичом, то есть, в сумме, 195 ударов по ягодицам; кроме того, его трижды били палкой, хотя число ударов не уточнено, и один раз забросали камнями, что уже чересчур — от такого не оправишься. Он утверждает, наконец, что провел сутки на дне морском. Мне очень его жаль, но за свои страдания он все-таки вознесен на третье небо. Признаюсь, высокоученый Шастраджит, я не отказался бы от такой участи, даже если бы это обошлось мне в

{168} Комментарии: 2.168

Пюаль. — В первом издании повести здесь был назван апостол Павел; далее Вольтер пересказывает связанные с ним библейские легенды. В последующих изданиях писатель изменил это имя (переставив гласные), произведя тем самым новый его вариант от глагола «вонять».

195 хороших ударов розгой по заду.

Прекрасно смертному на небеса подняться,

Прекрасно и упасть оттоль, —

как выражается один из наших превосходных индийских поэтов,{169} достигающий иногда подлинного величия.

Наконец я узнал, что Пюаля, как и меня, препроводили в Рум на суд. Выходит, дорогой Шастраджит, Рум во все времена был судьей для смертных? Этот город наверняка чем-то превосходит остальной мир: все, кто едет на нашем корабле, клянутся только Румом, да и в Гоа все вершилось именем Рума.

Скажу больше. Бог нашего судового священника Фамольто, а он у него тот же, что у Фатутто, родился и умер в стране, зависимой от Рума, и сам платил подать заморину,{170} который правил тогда этим городом. Не находишь ли ты все это крайне странным? Мне, например, кажется,

---

{169} Комментарии: 2.169

…один из наших превосходных индийских поэтов… — В действительности Вольтер цитирует французского драматурга Филиппа Кино (1635–1688), его пьесу «Фаэтон» (действ. IV, явл. 2).

{170} Комментарии: 2.170

Заморин — старое название правителя Каликута.

что я словно во сне, равно как и те, что окружают меня.

Фамольто прочитал нам о вещах еще более невероятных. То осел говорит по-человечески, то святой проводит трое суток во чреве китовом, после чего выходит оттуда в прескверном расположении духа. Некий проповедник улетает читать проповеди на небо в огненной колеснице, влекомой четверкой огненных коней. Некий ученый переходит море посуху в сопровождении трех миллионов человек, спасающихся вместе с ним бегством. Другой останавливает солнце и луну,{171} хотя последнее меня не удивляет: ты поведал мне, что Вакх делал то же самое.

Больше же всего меня, человека, строго блюдущего чистоту и стыдливость, возмущает то,

---

{171} Комментарии: 2.171

…то осел говорит по-человечески… — Имеется в виду эпизод с Валаамовой ослицей из библейской книги Чисел (XXII, 22–30).

…то святой проводит трое суток во чреве китовом… — Речь идет об Ионе (см. прим. к стр. 234).

…проповедник улетает читать проповеди на небо в огненной колеснице… — Имеется в виду библейский пророк Илия, живший в царствование Ахава. О его вознесении на небо на огненной колеснице рассказывается в Четвертой книге Царств (II, 11–13).

Некий ученый переходит море посуху… — Речь идет о Моисее, который перевел евреев при их бегстве из Египта через Красное море, воды которого расступились перед ними (Исход, XIV, 21–22).

Другой останавливает солнце и луну… — Имеется в виду библейский персонаж (служитель Моисея) Иисус Навин (см. Кн. Иисуса Навина, X, 12–13).

что бог этих людей повелел одному из своих проповедников печь хлеб на человеческом кале, а другому спать с продажной блудницей и иметь от нее детей.{172}

Есть кое-что и похуже. Фамольто, ученый человек, остановил наше внимание на истории двух сестер — Оголы и Оголины.{173} Ты, разумеется, знаешь — ты все читал. Это повествование так смутило мою жену, что у нее покраснели даже белки глаз; бедная Дара, выслушав этот отрывок, прямо-таки запылала от стыда. Фамольто, видимо, большой шутник. Тем не менее, заметив, насколько прочитанное покоробило меня и Отраду Очей, он тут же захлопнул книгу и удалился, сказав, что должен обдумать текст.

Он оставил мне свою священную книгу, и я прочел наугад несколько страниц. О, Брама, о, правосудие небесное! Что за люди описаны в этом сочинении! Все они в старости спят со сво-

---

{172} Комментарии: 2.172

…печь хлеб на человеческом кале… — Вольтер имеет в виду эпизод из библейской Книги пророка Иезекииля (IV, 12).

…спать с продажной блудницей… — Это эпизод из библейской Книги пророка Осии (I, 2–3).

{173} Комментарии: 2.173

Огола и Оголина. — Имеются в виду библейские блудницы, символизирующие собою города Самарию и Иерусалим (Книга пророка Иезекииля, XXIII).

ими служанками. Один творит мерзость с женой отца, другой — с невесткой. Здесь целый город непременно хочет обойтись с неким бедным священником, как с красивой девушкой; там две знатные юницы спаивают родного отца, поочередно спят с ним и приживают от него детей.{174}

Но окончательно повергла меня в ужас и омерзение повесть о том, как обитатели великолепного города, к которым бог послал двух небожителей, постоянно пребывающих у подножия его престола, двух чистых духов в ореоле божественного света... Перо мое содрогается, как и душа!.. Решусь ли договорить?.. Так вот, эти горожане изо всех сил пытались осквернить посланцев господних.{175} Что гнуснее плотского греха мужчины с мужчиной? А с небожителем?

{174} Комментарии: 2.174

Все они в старости спят со своими служанками. — Вольтер имеет в виду эпизод из жизни библейских персонажей Авраама и Иакова (см. Бытие, XVI, 1-15; XXX, 3-12).

...один творит мерзость с мачехой... — Речь идет о любовной связи Рувима с Валлой, наложницей его отца Иакова (Бытие, XXXV, 22; XLIX, 4).

...другой — с *невесткой.* — Имеется в виду патриарх Иуда и его связь с Фамарью (Бытие, XXXVIII, 14–19). Правда, Фамарь обманула Иуду, прикинувшись блудницей.

...обойтись с неким бедным священником, как с красивой девушкой... — Этот случай с одним молодым левитом в городе Иевусеев описан в Книге Судей (XIX, 22–23).

...Две знатные юницы спаивают родного отца... — Имеется в виду история Лота и его дочерей (Бытие, XIX, 30–38).

{175} Комментарии: 2.175

…эти горожане изо всех сил пытались осквернить посланцев господних. — Речь идет о жителях погрязшего в пороках города Содома (Бытие, XIX, 1—11).

Мыслимо ли такое? Дорогой Шастраджит, благословим Бирму, Вишну и Браму и возблагодарим их за то, что мы никогда не знали этого непостижимо гнусного порока. Говорят, завоеватель Александр пытался когда-то укоренить этот пагубный обычай в нашей стране и прилюдно блудил со своим любимцем Гефестионом. Небо покарало их: оба они погибли во цвете лет. Приветствую тебя, повелитель души моей, разум моего разума. Адатея, скорбная Адатея вверяет себя твоим молитвам.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА ШАСТРАДЖИТУ

Мыс, именуемый мысом Доброй Надежды, 15-го числа месяца носорога.{176}

Давно уж не расстилал я лист бумаги на доске и не обмакивал кисточку в раствор черного лака, чтобы дать тебе подробный отчет. Мы оставили далеко справа Баб-эль-Мандебский пролив, ворота в Красное море, воды которого некогда расступились, всхолмившись, как горы, и дали пройти Вакху с его войском. Я очень жалею, что мы не бросили якорь у берегов счастливой

{176} Комментарии: 2.176
Месяц носорога. — Такого месяца нет в китайском календаре.

Аравии, где Александр намеревался основать столицу своего царства и средоточие мировой торговли. Мне сильно хотелось взглянуть на Аден или Эдем, священные сады которого так славились в древности; на Мокку, знаменитую своим кофе, которое поныне произрастает лишь в этих краях, и на Мекку, где великий пророк мусульман учредил столицу своего государства и куда ежегодно стекается столько народу из Азии, Африки и Европы, чтобы облобызать черную глыбу, упавшую с неба,{177} которое не слишком часто посылает смертным такие камни. Но нам не позволили удовлетворить наше любопытство: мы почти безостановочно плывем в Лиссабон, а оттуда в Рум.

Мы уже пересекли равноденственную линию и посетили королевство Мелинду,{178} где у португальцев есть крупный порт. Матросы погрузили на судно слоновую кость, серую амбру, медь, серебро и золото. Теперь мы достигли великого

{177} Комментарии: 2.177

…черную глыбу, упавшую с неба… — Этот камень действительно существует, он находится в специальной нише восточной наружной стены мечети Кааба в Мекке и является предметом особого суеверного почитания всеми мусульманами.

{178} Комментарии: 2.178

Мелинда. — Этот порт расположен при впадении в океан реки Замбези.

мыса в стране готтентотов. Племя их, по всей видимости, происходит не от детей Брамы. Природа наделила здесь женщин передником из собственной кожи, прикрывающим их сокровище, которое готтентоты боготворят, слагая в честь него мадригалы и песни. Люди эти ходят совершенно голыми. Такая мода вполне естественна, но, на мой взгляд, неприлична и неразумна. Готтентот — несчастное создание: он постоянно видит свою готтентотку и спереди, и сзади, а значит, желать ему больше нечего. Для него не существует очарования преграды, и ничто не возбуждает его любопытства. Платье наших индианок, придуманное для того, чтобы его задирать, — свидетельство более высокого развития. Я убежден, что женские наряды изобрел на радость нам тот же мудрый индиец, которому мы обязаны шахматами и триктраком.

У этого мыса, представляющего собой границу мира и, вероятно, межевой столб между Востоком и Западом, мы простояли два дня. Чем дольше я размышляю о цвете кожи здешних туземцев, о квохтании, заменяющем им членораздельную речь, об их внешности и о переднике местных женщин, тем больше убеждаюсь, что это племя иного происхождения, нежели мы.

Наш францисканец утверждает, что готтентоты, негры и португальцы восходят к одному и тому же предку. Это столь же нелепо, как если бы меня стали уверять, будто куры, деревья и травы в этой стране произошли от кур, деревьев и трав Бенареса или Пекина.

ПЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

16-го числа, вечером, на мысе, именуемом мысом Доброй Надежды.

Вот новое происшествие. Капитан отправился со мной и Отрадой Очей прогуляться по обширному плоскогорью, о подножие которого разбиваются волны Южного моря, а тем временем священник Фамольто тайком увлек нашу юную Дару в небольшое, недавно построенное заведение, называемое здесь кабаком. Бедная девушка в простоте своей решила, что раз Фамольто не доминиканец, ей нечего бояться. Вскоре мы услышали крики. Представь себе, это свидание пробудило ревность Фатутто! Он неистово ворвался в кабак, где оказались и два матроса, также воспылавшие ревностью. Какая однако, ужасная страсть! Оба матроса и оба священника изрядно угостились напитком, который, по их словам, изобретен Ноем, а по нашему мнению — Вакхом.

Пагубный дар, он мог бы приносить пользу, если б им нельзя было так легко злоупотреблять! Европейцы утверждают, что он воодушевляет их, но может ли так быть, коль скоро он лишает их рассудка?

Моряки и европейские бонзы сцепились в клубок. Один матрос насел на Фатутто, тот на Фамольто, а францисканец на второго матроса, возвращавшего ему то, что получал сам; все четверо, непрерывно меняя противников, дрались то двое на двое, то трое на одного, то все против всех; каждый бранился, каждый тянул к себе нашу злополучную служанку, испускавшую жалобные вопли. Подоспевший на шум капитан отлупил без разбора всех драчунов и ради безопасности Дары увел ее к себе в помещение, где заперся с нею часа на два. Офицеры и пассажиры, люди как на подбор весьма учтивые, столпились вокруг нас, уверяя, что монахи (так они назвали священников) будут строго наказаны наместником божиим сразу же по прибытии в Рум.

Через два часа капитан вышел и вернул нам Дару с любезностями и комплиментами, которыми моя жена осталась вполне довольна. О Брама, какие странные вещи случаются во время путешествия и насколько благоразумней оста-

ваться дома!

ШЕСТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА С ДОРОГИ

Я не писал тебе со дня происшествия с нашей маленькой Дарой. Во время плавания капитан неизменно выказывал ей особенное расположение. Я побаивался, как бы он не стал столь же любезен с моей женой, но она прикинулась, будто тяжела по четвертому месяцу. Португальцы смотрят на беременных, как на святыню, и считают, что их нельзя расстраивать. Этот по меньшей мере похвальный обычай избавляет Адатею от покушений на ее честь, которой я так дорожу. Доминиканцу запрещено даже приближаться к нам, и он подчинился.

Через несколько дней после сцены в кабаке францисканец пришел к нам просить прощения. Я отвел его в сторону и спросил, как он, принесший обет целомудрия, мог позволить себе подобные вольности. Он ответил:

— Да, я действительно принес такой обет, но, помилуйте, можно ли клятвенно обещать, что кровь перестанет течь у меня по жилам, а ногти и волосы — расти? Так все равно не будет. Надо не требовать от нас обета целомудрия, а заставить нас быть целомудренными, оскопив

всех монахов поголовно. Птица летает, пока у нее целы крылья. Отрубить оленю ноги — вот единственный способ воспретить ему бегать. Не сомневайтесь: любой священник, если он такой же крепкий мужчина, как я, и лишен женщины, поневоле будет делать вещи, от которых краснеет сама природа, и все-таки приступать потом к святым таинствам.

Я многое узнал из беседы с этим человеком. Он посвятил меня во все тайны своей веры, повергшие меня в изумление.

— Преподобный отец Фатутто, — сказал он, — плут, не верящий ни в одно слово своих поучений; что до меня, то я испытываю серьезные сомнения, но отгоняю их и закрываю на все глаза — словом, подавляю собственную мысль и наудачу бреду по избранной мною стезе. Перед каждым священником тот же выбор: либо неверие и отвращение к своему ремеслу, либо безмыслие, делающее это ремесло мало-мальски сносным.

Поверишь ли? После этих признаний он предложил мне стать христианином! Я ответил:

— Как вы можете убеждать меня принять веру, в которой сами нетверды, меня, рожденного в лоне древнейшей религии в мире, меня, исповедующего учение, которому самое малое было уже

сто пятнадцать тысяч триста лет, когда, по вашим собственным словам, на земле еще не появились францисканцы?

— Ах, дорогой мой индиец, — возразил он, — сумей я обратить в христианство вас и прекрасную Адатею, этот плут доминиканец, не верящий в непорочное зачатие Девы, лопнул бы от зависти. Вы обеспечили бы мою карьеру, помогли бы мне стать bispo,[18] а это доброе дело, и господь вознаградил бы вас.

Как видишь, божественный Шастраджит, среди европейских варваров попадаются разные люди: одни — смесь заблуждений, слабости, алчности и глупости; другие — отъявленные и закоснелые мошенники. Я передал наш разговор Отраде Очей, и она лишь сострадательно улыбнулась. Кто бы предположил, что именно на корабле, плывущем вдоль берегов Африки, мы научимся понимать людей!

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Как хороши берега Южного моря, и как мер-

---

[18] Примечания: 1.18

Bispo — португальское слово, означающее episcopus, то есть на галльском наречии «епископ». Оно не встречается ни в одном из четырех евангелий. *(Прим. автора.)*

зостны его обитатели! Это просто звери. Чем больше природа делает для нас, тем меньше мы делаем для нее. Здешние племена ничего не умеют. Когда глядишь на них, так и напрашивается вопрос — кто от кого произошел: они от обезьяны или обезьяны от них? Наши мудрецы учат, что человек — подобие божие! Хорошенькое, однако, подобие Предвечного: нос приплюснут, ума вовсе или почти никакого! Конечно, наступит пора, когда эти животные научатся возделывать землю, украсят ее зданиями и садами, постигнут движение светил, но на это нужно время. Мы, индийцы, полагаем, что нашей философии 115 652 года, но, при всем почтении к тебе, я считаю это ошибкой: на мой взгляд, чтобы достигнуть тех высот, на которые мы поднялись, нужен гораздо больший срок. Положим по меньшей мере 20 000 лет на создание приемлемого языка, еще по столько же на изобретение азбучного письма, обработки металлов, плуга и ткацкого стана, мореплавания. А сколько еще столетий уйдет на другие искусства! Халдеи насчитывают 400000 лет, но даже этого недостаточно.

На побережье, именуемом Анголой, капитан купил полдюжины негров по обычной тут цене — за шесть быков. Вероятно, страна эта населена

более густо, чем наша, иначе людей не продавали бы так дешево. Но как возможна такая плотность населения при таком невежестве?

Капитан везет с собой нескольких музыкантов; он приказал им заиграть на своих инструментах, и бедняги негры тут же начали танцевать, причем не хуже, чем наши слоны. Мыслимо ли так любить музыку и не изобрести ни скрипки, ни хотя бы волынки? Ты ответишь, великий Шастраджит, что этого не сумели даже сообразительные слоны и что надо ждать. Не могу ничего возразить.

ВОСЬМОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Не минуло и года, а мы уже в виду Лиссабона, стоящего на реке Тахо, которая издавна знаменита тем, что волны ее якобы несут с собой золотой песок. Если это правда, зачем португальцы отправляются за ним в такую даль? Любой европеец ответит, что лишнее золото никому не мешает. Лиссабон, как ты мне и рассказывал, — столица небольшого королевства. Он родина того самого Альбукерка, который причинил нам столько зла. Должен признаться, в португальцах, завоевавших часть нашей прекрасной страны, есть нечто великое. Видимо, жадность до перца пробуждает

в них предприимчивость и отвагу.

Мы с Отрадой Очей пытались побывать в городе, но нам не разрешили сойти на берег: мы пленники наместника божия, и судить нас — меня, Адатею, Дару, францисканца Фамольто и доминиканца Фатутто — можно лишь в Руме.

Нас перевезли на другой корабль, отплывающий в город наместника божия.

Капитан его, пожилой испанец, разительно отличается от португальца, который был с нами так предупредителен. Он изъясняется односложными словами, да и то редко; за поясом у него торчат нанизанные на нитку зерна, и он постоянно их перебирает: говорят, это признак добродетели.

Дара весьма сожалеет о прежнем капитане: она находит, что тот был гораздо учтивее. Испанцу передали связку бумаг — документы для разбирательства нашего дела в румском суде. Корабельный писец прочел их вслух. Он считает, что Фатутто приговорят быть гребцом на одной из галер наместника божия, а священника Фамольто выпорют. Весь экипаж согласился с ним, а капитан, не сказав ни слова, спрятал бумаги. Мы подняли якорь. Да сжалится над нами Брама, и да взыщет он тебя своими милостями! Брама справедлив, но все-таки странно: я родился на

берегах Ганга, а судить меня должны в Руме. Уверяют, однако, что такое случалось и с другими иноземцами.

ДЕВЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Ничего нового. И капитан, и команда одинаково мрачны и неразговорчивы. Ты же знаешь индийскую пословицу: «По хозяину и слуга». Мы переплыли море, которое в одном месте, между двумя горами, сужается до девяти тысяч шагов, и вошли в другое, усеянное островами. Один из них весьма примечателен: им управляют христианские монахи, носящие короткое платье{179} и шляпу и дающие обет убивать всех, кто носит длинное платье и головную повязку; они должны также отправлять богослужение. Мы встали на якорь около более крупного и очень красивого острова, называемого Сицилией. Когда-то он был еще прекрасней: по рассказам, там высились великолепные города, от которых остались теперь лишь руины. На острове жили боги, богини, великаны, герои, на нем ковали молнии. Богиня по

{179} Комментарии: 2.179

…управляют христианские монахи, носящие короткое платье… — Речь идет об острове Мальта, владении Мальтийского ордена; во времена Вольтера, да и раньше, чисто религиозные функции членов ордена уступили место функциям военным.

имени Церера покрывала его тучными нивами. Наместник божий все изменил: сейчас там везде одни процессии да грабежи.

ДЕСЯТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Вот мы и на священной земле наместника божия. В книге Фамольто я читал, что это страна золота и лазури, что стены там из смарагдов и рубинов, в ручьях течет масло, ключи бьют молоком, а поля сплошь покрыты лозами, каждая из коих дает сто тысяч бочек вина.[19] Возможно, мы увидим все это, когда подъедем к Руму.

Наш корабль с большим трудом пристал к берегу в маленьком и весьма неудобном порту, именуемом Старым городом.{180} Это точное название: здесь всюду запустение и развалины.

---

[19] Примечания: 1.19

Амабед явно говорит о святом Иерусалиме, с такой точностью описанном в Апокалипсисе, у Юстина, Тертуллиана, Иринея и других великих мужей; но, как видит читатель, бедный брамин имел самое смутное представление о предмете. *(Прим. автора.)*{279}

{180} Комментарии: 2.180

Старый город — то есть порт Чивита-Веккия.

{279} Комментарии: 2.279

Юстин — христианский писатель II в. н. э., автор «Апологии христианской религии»; погиб как мученик за веру ок. 165 г.

Тертуллиан (160–240) — раннесредневековый латинский писатель и богослов.

Ириней — один из христианских мучеников, епископ Лиона (ум. ок.

200 г.). Причислен к лику святых.

Дальше мы поехали в тележках, запряженных волами. Последних, вероятно, пригнали издалека, потому что земля по обеим сторонам дороги совершенно невозделанна: везде гнилые болота да бесплодные вересковые пустоши. По пути нам попадались исключительно люди без рубашек, прикрывавшиеся лишь полой плаща и с гордым видом просившие у нас подаяния. Как нам рассказали, вся их пища — плоские маленькие хлебцы, которые бесплатно раздаются им по утрам; жажду они утоляют одною только святой водой.

Без этой толпы нищих, готовых протащиться пять-шесть тысяч шагов, лишь бы жалобными криками выклянчить себе одну тридцатую рупии, местность была бы просто безлюдной пустыней. Нас даже предупредили, что ездить здесь по ночам смертельно опасно. Видимо, бог разгневался на своего наместника, коль скоро даровал ему не страну, а сточную канаву природы. Я узнал также, что край этот был некогда весьма красив и плодороден, а таким жалким стал лишь после того, как им завладели наместники божии.

Пишу, мудрый Шастраджит, прямо в повозке — надо же чем-нибудь заняться от скуки. Адатея изумлена увиденным. Напишу тебе снова сразу по прибытии в Рум.

ОДИННАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Наконец-то мы добрались до Рума. Мы прибыли в город вчера, сразу после полудня, 3-го числа месяца овцы{181} или, по здешнему счету, 15 марта 1513 года. Первые впечатления наши оказались прямо противоположны тому, чего мы ожидали.

Едва мы подъехали к воротам, носящим имя святого Панкратия,[20] как увидели две толпы монахов: одни были одеты, как наш судовой священник; другие — как отец Фатутто. Впереди каждой несли знамя и столб с резным изображением нагого человека в той же позе, что в Гоа. Участники обеих процессий шли попарно, распевая песню, способную вызвать зевоту у целой провинции. Когда они поравнялись с нашими тележками, одни закричали: «Вот святой Фатутто!»; другие: «Вот святой Фамольто!» Нашим монахам стали целовать одежду, народ пал на колени.

— Скольких индийцев вы обратили, преподобный отец?

{181} Комментарии: 2.181

Месяц овцы. — Этот месяц китайского календаря соответствует августу.

[20] Примечания: 1.20

Прежде они назывались Яникульскими, из чего явствует, насколько новый Рим возобладал над старым. *(Прим. автора.)*

— Пятнадцать тысяч семьсот, — ответил один.

— Одиннадцать тысяч девятьсот, — отозвался другой.

— Благословенна дева Мария!

Все взоры устремились к нам, толпа обстала нас кольцом.

— Это ваши новообращенные, преподобный отец?

— Да, мы их крестили.

— До чего же они у вас премилые! Слава в вышних богу!

Отцов Фатутто и Фамольто их собратья увели в какое-то роскошное здание, а мы отправились на постоялый двор. Народ повалил за ними, крича: «Cazzo,[21] cazzo!» — благословляя нас, целуя нам руки и на тысяч ладов расхваливая мою дорогую Адатею, Дару и меня самого. Мы не могли прийти в себя от изумления.

Не успели мы устроиться на постоялом дворе, как явился человек в фиолетовом одеянии, сопровождаемый двумя другими в черных рясах, поздравил нас с прибытием и первым делом

---

[21] Примечания: 1.21

Непристойное итальянское слово, означающее приблизительно «дурак, недотепа».

предложил нам от имени Пропаганды{182} деньги, если мы в них нуждаемся. Кто такая Пропаганда — я не знаю. Я ответил, что деньги у нас еще есть, да и бриллиантов довольно (я проявил предусмотрительность и держал как кошелек, так и коробочку с камнями в кармане исподних штанов). Человек тут же склонился передо мной чуть ли не до земли и начал величать меня превосходительством.

— Не слишком ли утомилась в дороге ее превосходительство синьора Адатея? Не угодно ли ей отдохнуть? Не смею навязываться, но я всегда к ее услугам. Синьор Амабед может располагать мною: я пришлю ему чичероне,[22] который неотлучно будет при нем; если что понадобится, синьору стоит лишь приказать. Не окажут ли, отдохнув, их превосходительства мне честь подкрепиться у меня? Почту за честь прислать за ними карету.

Надо признаться, божественный Шастраджит, этот западный народ не уступит в вежливости

{182} Комментарии: 2.182

Пропаганда — специальная конгрегация, учрежденная папой Климентом VIII в 1597 г. для повсеместной проповеди христианского учения.

[22] Примечания: 1.22

Как известно, ciceroni называют людей, чье занятие — показывать древности иностранцам. *(Прим. автора.)*

даже китайцам. Затем человек в фиолетовом удалился. Мы с прекрасной Адатеей проспали часов шесть. Когда стемнело, за нами приехала карета, и мы отправились к этому предупредительному синьору. Дом его был ярко освещен и украшен куда более приятными картинами, чем изображение нагого человека, виденное нами в Гоа. Собравшееся там многолюдное общество осыпало нас любезностями, восхищаясь тем, что мы индийцы, поздравляя нас с крещением, и предлагая нам свои услуги на все время, какое нам заблагорассудится провести в Руме.

Мы хотели было заговорить о суде над отцом Фатутто, но нам не дали даже рта раскрыть. В конце концов нас, смущенных таким приемом, растерянных и ничего не понимающих, отправили домой.

ДВЕНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Сегодня нам нанесли бесчисленное множество визитов, а княгиня Пьомбино прислала двух конюших просить нас к ней на обед. Мы отправились туда в великолепном экипаже. У нее оказался и человек в фиолетовом. Я узнал, что это один из сановников, то есть слуг наместника божия, которых именуют prelati, «предпочтен-

ные». Княгиня Пьомбино — женщина на редкость радушная и открытая. За столом она усадила меня рядом с собой. Ее страшно удивило наше отвращение к румским голубям и куропаткам. Предпочтенный сказал, что, раз мы христиане, нам следует есть дичину и пить монтепульчанское вино, как делают все наместники божии: это важная примета истинного христианина.

Прекрасная Адатея со своим обычным простодушием возразила, что она не христианка, — ее крестили в Ганге.

— Боже мой, сударыня! — ответил предпочтенный. — В Ганге, в Тибре, в купели — какая разница? Все равно вы из наших. Отец Фатутто обратил вас, и это для нас честь, которой мы не хотим лишаться. Да вы и сами видите, насколько наша вера превосходит вашу.

С этими словами он наложил нам в тарелки крылышки рябчиков. Княгиня выпила за наше здоровье и душевное спасение. Тут все принялись нас уговаривать, да так любезно, остроумно, учтиво, весело и вкрадчиво, что в конце концов мы с Адатеей (да простит нас Брама!) поддались соблазну и как нельзя лучше поели, твердо решив по приезде домой окунуться в Ганг по самые уши и смыть с себя грех. Теперь никто уж не сомне-

вался, что мы христиане.

— Этот отец Фатутто, без сомнения, великий миссионер, — сказала княгиня. — Я хочу взять его в духовники.

Мы с моей бедной женой покраснели и потупились. Время от времени синьора Адатея пыталась дать понять, что мы прибыли на суд к наместнику божию и ей не терпится увидеть последнего.

— А его сейчас не существует, — пояснила княгиня. — Он умер,{183} и в эти дни как раз выбирают нового. Как только тот будет избран, вас немедленно представят его святейшеству. Вы окажетесь очевидцами и лучшим украшением самого священного торжества, какое только может узреть человек.

Адатея сказала в ответ что-то остроумное, и княгиня прониклась к ней большим расположением.

В конце обеда нас усладили музыкой, которая, осмелюсь утверждать, гораздо лучше той, что мы слышали в Бенаресе и Мадуре.

После обеда княгиня велела заложить четыре раззолоченные колесницы и посадила нас в свою. Она показала нам прекрасные здания, статуи,

---

{183} Комментарии: 2.183

Он умер. — Речь идет о папе Юлии II, который скончался в ночь на 21 февраля 1513 г. Его преемник Лев X был избран 11 марта.

картины. Вечером были танцы. Я втайне сопоставлял этот очаровательный прием с подземной темницей, куда нас бросили в Гоа, и не понимал, как одно и то же правительство, одна и та же вера могут быть такими снисходительными и благожелательными в Руме и поощрять такие ужасы вдали от него.

ТРИНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

По случаю выборов наместника божия Рум раскололся на мелкие партии, движимые взаимной ненавистью, но относящиеся друг к другу с учтивостью, почти равной дружбе; народ взирает на отцов Фатутто и Фамольто как на избранников божества и с почтительным любопытством толпится вокруг нас; а я, дорогой Шастраджит, предаюсь глубоким раздумьям насчет образа правления в этом городе.

Я сравнил бы его с обедом, данным нам княгиней Пьомбино. Зал был чист, удобен, наряден, поставцы сверкали золотом и серебром, гости блистали весельем, остроумием, изяществом; кухню же заливали кровь и жир, повсюду, возбуждая тошноту и распространяя зловоние, валялись шкуры четвероногих, перья и потроха птиц.

Таков, на мой взгляд, и румский двор: учтивость и терпимость дома, вздорный деспотизм за рубежом. Когда мы заявляем, что ищем управы на Фатутто, в ответ нам только улыбаются и втолковывают, что мы должны быть выше таких пустяков: правительство чрезвычайно ценит нас и не допускает мысли, что мы еще помним о какой-то глупой шутке, — ведь Фатутто и Фамольто всего лишь нечто вроде обезьян, которых старательно обучают разным штукам на потребу черни. Подобные разговоры неизменно заканчиваются одним и тем же — уверениями в уважении и дружеских чувствах к нам. Как мы должны вести себя, великий Шастраджит? Мне кажется, самое разумное — смеяться вместе с другими и не отставать от них в учтивости. Я намерен изучить Рум — это стоит труда.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

От последнего моего письма до этого прошло уже немало времени. Я читал, присматривался, беседовал, думал. Клянусь тебе, на свете не было еще более зияющего противоречия, чем между румскими правителями и румской верой. Вчера я говорил об этом с одним из теологов наместника божия. Теолог при здешнем дворе — то же, что

последний слуга в доме: он делает черную работу, убирает сор, а приметив в нем какую-нибудь тряпку, на всякий случай припрятывает ее.

— Ваш бог, — сказал я ему, — родился в яслях, между волом и ослом; возрос, жил и умер в бедности; строго наказал ученикам своим блюсти нищету; предупреждал их, что не будет меж ними ни первого, ни последнего, а кто захочет повелевать другими, пусть сам служит им. У вас же, как я вижу, все идет наперекор тому, что заповедал вам бог. Ваша вера отнюдь не похожа на его веру. Вы принуждаете людей верить в то, о чем у него ни слова не сказано.

— Верно, — согласился мой собеседник. — Бог нигде прямо не велит нашим правителям обогащаться за счет народов, но это вытекает из его учения. Он родился между волом и ослом, но в хлев явились три царя и поклонились ему. Волы и ослы — это народы, которые мы наставляем; три царя — это монархи, простертые у наших ног. Его ученики жили в скудости — значит, наши правители должны утопать в роскоши: если первым наместникам божиим хватало одного экю, то нынешним позарез нужно десять миллионов. Быть бедным — значит нуждаться в самом необходимом; следовательно, наши правители,

которым тоже, по их мнению, недостает самого необходимого, поневоле блюдут обет бедности. Что же касается догматов, то бог не написал сам ни слова, а мы умеем писать; стало быть, писать догматы — тоже нам. Вот время от времени, когда в том возникает необходимость, мы и сочиняем догматы. Например, мы объявили брак зримым выражением незримых чувств; благодаря этому бракоразводные дела всей Европы поступают в наш румский суд, потому что только мы властны видеть незримое. А такой приток дел — обильный источник богатств, стекающихся в наше святейшее казначейство, дабы мы могли утолить свою жажду бедности.

Я осведомился, не располагает ли святейшее казначейство другими источниками дохода.

— Располагает, и даже многими, — ответил он. — Нам приносят его живые и мертвые. Стоит, например, кому-нибудь преставиться, мы отправляем душу его во врачебницу,{184} прописываем ей лекарства, и вы не представляете себе, какие деньги нам это дает.

— Как так, монсиньор? Мне всегда казалось, что с покойника много не возьмешь.

{184} Комментарии: 2.184

...отправляем душу его во врачебницу... — то есть в чистилище.

— Верно, синьор, но у него есть родственники, которые в состоянии извлечь его из врачебницы и поместить в более приятное место. Исцеляться целую вечность — печальный удел для души. Тут мы вступаем в сделку с живыми, они покупают умершему душевное здоровье — одни дороже, другие дешевле, смотря по средствам, и мы вручаем им записку во врачебницу. Уверяю вас, это одна из самых крупных статей нашего дохода.

— Но как же ваши записки попадают к душам умерших?

— Это уж забота родственников, — рассмеялся он и добавил: — Кроме того, повторяю: нам дана неограниченная власть над тем, что незримо.

Мне сдается, этот монсиньор — отъявленный плут, но я многому научился из бесед с ним и чувствую, что решительно изменился.

ПЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Тебе следует знать, дорогой Шастраджит, что рекомендованный мне монсиньором чичероне, о котором я бегло упомянул в одном из предыдущих писем, — весьма смышленый человек, показывающий чужеземцам достопримечательности древнего и нового Рума. Как видишь, Рум всегда повелевал миром — и в старину, и

сейчас, но былые его обитатели стяжали эту власть мечом, тогда как нынешние — пером. Военная дисциплина создала могущество кесарей, историю которых ты знаешь; монашеская дисциплина — могущество (хотя оно другого рода) наместников божиих, называемых папами. На том же месте, где встарь происходили триумфы, ныне шествуют процессии. Чичероне объясняют все это иноземцам, снабжают их книгами и девицами. При всей своей молодости я не склонен изменять прекрасной Адатее и ограничиваюсь книгами, изучая главным образом, здешнюю религию, — она меня очень забавляет.

Мы с моим чичероне прочли жизнеописание бога этой страны. Преудивительная история! Это был человек, одним своим словом иссушавший смоковницы, превращавший воду в вино и топивший свиней.{185} У него была куча врагов. Родился он, как тебе известно, в городишке, подвластном румскому императору. Когда враги его, люди весьма лукавые, спросили, следует ли платить подать императору, он ответил: «Отдавайте

{185} Комментарии: 2.185

…одним своим словом иссушавший смоковницы… — См. Ев. от Матф., XXI, 19. Здесь и далее Вольтер упоминает отдельные события, о которых рассказывается в Евангелии.

…превращавший воду в вино… — См. Ев. от Иоанна, II, 7–9.

…топивший свиней. — См. Ев. от Матф., VIII, 32.

кесарево кесарю, а божие богу».{186} Я нахожу такой ответ чрезвычайно разумным. Мы с чичероне как раз рассуждали об этом, когда явился монсиньор. Я наговорил ему много хорошего об их боге и попросил объяснить, каким образом их казначейство ухитряется следовать вышеприведенному завету, коль скоро оно забирает себе все, ничего не оставляя императору. Тебе следует знать, что, помимо наместника божия, у жителей Рума есть еще император,{187} которого они именуют также королем румским. Вот что ответил мне этот многоопытный человек:

— Да, у нас действительно есть император, но он изгнан из Рума, где у него нет даже дома; мы дозволяем ему жить на одной большой реке,{188} четыре месяца в году окованной льдом и пересекающей страну, язык которой раздирает наш слух. Подлинный император — папа: ему принадлежит столица империи. Следовательно,

---

{186} Комментарии: 2.186

…а божие богу. — См. Ев. от Матф., XXII, 21.

{187} Комментарии: 2.187

…есть император… — Речь идет о номинальном главе так называемой Священной Римской империи германской нации, конгломерата государств, которые не всегда считались с верховной властью императора.

{188} Комментарии: 2.188

…на одной большой реке… — то есть на Дунае, в Вене.

«отдавайте кесарево кесарю» значит «отдавайте папе», а «божие богу» опять-таки значит «папе» — он ведь на самом деле наместник божий, единственный властелин сердец и кошельков. Если император, живущий на большой реке, осмелится сказать ему хоть слово поперек, мы взбунтуем население ее берегов, состоящее в большинстве своем из здоровенных безмозглых мужланов, и натравим на императора других государей, которые охотно поделят с нами его наследство.

Теперь, божественный Шастраджит, ты представляешь себе, какой дух царит в Руме. Папа — это все равно что далай-лама, только в увеличенном масштабе; правда, он не бессмертен, как тот, зато всемогущ при жизни, что гораздо приятней. Иногда ему противятся, дают пощечины, низлагают, а то и убивают его в объятиях любовницы,[23] но эти неприятности никак не умаляют его божественности. Вы можете дать ему сто ударов плетью, но обязаны верить всему, что он

[23] Примечания: 1.23

Иоанн VIII убит ревнивым мужем с помощью молота; Иоанн X, любовник Теодоры, задушен в собственной постели; Стефан VIII заключен в замок, именуемый ныне Замком святого ангела; Стефан IX получил от римлян несколько ударов мечом по лицу; Иоанн XII низложен императором Оттоном I и убит в доме одной из своих любовниц; Бенедикт V изгнан императором Оттоном I; Бенедикт VIII задушен незаконным отпрыском Иоанна X; Бенедикт IX купил себе треть понтификата и перепродал ее, и т. д. и т. п. Все они были непогрешимы. *(Прим. автора.)*

ни скажет. Папа смертен, папство бессмертно. Случалось, что папский престол оспаривало несколько наместников божиих сразу. Тогда божественность делилась между ними: каждый получал свою долю и оставался непогрешим в пределах ее.

Я спросил монсиньора, какое искусство помогло его двору поставить себя выше остальных.

— Разве умным людям нужно особое искусство, чтобы управлять дураками? — ответил он.

Я полюбопытствовал, не восставал ли кто-нибудь против велений наместника божия. Монсиньор признал, что встречались безумцы, дерзавшие открыть глаза на вещи, но этих негодяев быстро ослепляли или уничтожали, а все их бунты служили до сих пор лишь к вящему утверждению непогрешимости на троне истины.

Новый наместник божий наконец избран. Звонят колокола, бьют барабаны, трубят трубы, стреляют пушки, и этому гулу вторит полтораста тысяч голосов. Я сообщу тебе обо всем, что увижу.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

23-го числа месяца крокодила{189} — или, поздешнему, 13-го числа месяца планеты Марс — на людей в красном низошло озарение, и они избрали непогрешимого, которому предстоит судить меня и Отраду Очей за вероотступничество.

Зовут этого земного бога Львом, по счету десятым. Он весьма приятный и красивый мужчина лет тридцати четырех — тридцати пяти; женщины без ума от него. Он подхватил дурную болезнь, известную покамест лишь в Европе, хотя португальцы уже начали разносить ее по Индостану. Все думали, что он умрет, почему его и выбрали папой — в этом случае святейший престол опять стал бы вакантным; однако больной выздоровел и потешается теперь над выборщиками.

Трудно себе представить коронацию великолепней! Новый папа истратил пять миллионов рупий на нужды своего бога, который был столь беден. Я не мог писать тебе из-за шумных празднеств: они следовали друг за другом с такой быстротой, мне приходилось участвовать в стольких развлечениях, что у меня не оставалось ни одной свободной минуты.

Наместник божий Лев устроил увеселения, о ко-

{189} Комментарии: 2.189

Месяц крокодила. — Такого месяца в китайском календаре нет.

торых ты даже понятия не имеешь. Одно из них, называемое комедией, понравилось мне больше всех остальных, вместе взятых. Это изображение человеческой жизни, живая картина, где говорят, действуют, защищают свои интересы, предаются страстям и волнуют всем этим зрителя.

Комедия, виденная мною третьего дня у папы, называется «Мандрагора».{190} Герой пиесы — ловкий молодой человек, возмечтавший соблазнить жену соседа. Он подкупает монаха вроде Фатутто или Фамольто, чтобы тот улестил его возлюбленную и помог ему одурачить мужа. Представление — сплошная насмешка над религией, которую исповедует вся Европа и средоточие которой Рум, а вершина — папский престол. Допускаю, что подобные забавы покажутся тебе непристойными, дорогой и благочестивый Шастраджит. Отрада Очей тоже была возмущена, и все-таки комедия так забавна, что удовольствие от нее заглушило возмущение.

Празднества, балы, пышные богослужения, плясуны-канатоходцы не успевают сменять друг друга. Особенно примечательны балы. Каждый

{190} Комментарии: 2.190

«Мандрагора» — комедия Николо Макиавелли (1469–1527), поставленная в Риме в 1520 г. Вольтеру очень нравилась эта пьеса, он как-то заметил, что она «стоит, быть может, всех пьес Аристофана».

приглашенный надевает чужое платье и картонную личину поверх собственного лица. Под этим прикрытием ведутся разговоры, от которых можно лопнуть со смеху. За едой неизменно звучит приятнейшая музыка; словом, очарование да и только!

Мне рассказали, что один из предшественников Льва, наместник божий Александр VI{191} по случаю свадьбы какой-то из незаконных своих дочерей{192} дал еще более необычное празднество: на нем плясало пятьдесят совершенно обнаженных девушек. Брамины никогда не устраивают подобных танцев. Как видишь, в каждой стране свои порядки. Почтительно обнимаю тебя и заканчиваю письмо — иду танцевать со своей прекрасной Адатеей. Да взыщет Бирма тебя своими милостями!

СЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Поверь, верховный брамин, отнюдь не все наместники божии были столь же приятны

{191} Комментарии: 2.191

Александр VI — папа римский с 1492 по 1503 г.

{192} Комментарии: 2.192

...какой-то из незаконных своих дочерей... — Речь идет о знаменитой красавице Лукреции Борджа (1480–1519), покровительнице литературы и искусства, прославившейся также своим развратом.

в обхождении, как нынешний. Жить под его властью — одно удовольствие. А вот покойный предшественник его, по имени Юлий II, был совсем иного нрава: старый неугомонный солдат, он до безумия любил войну;{193} вечно в седле, вечно в шлеме, раздавая благословения вперемежку с сабельными ударами, он нападал на соседей, осуждал на гибель их души, сокрушал, по возможности, тела и умер в припадке гнева. Этот наместник божий был сущим дьяволом. Поверишь ли? Он вбил себе в голову, что может с помощью простой бумажки отнимать у королей их владения. Он задумал низложить таким манером короля довольно красивой страны по имени Франция. Король этот был очень добрый человек. Здесь, правда, его считают дураком, но лишь потому, что ему не везло. Этот злополучный государь был однажды вынужден собрать ученейших людей своего королевства и спросить их, вправе ли он защищаться от наместника божия,

{193} Комментарии: 2.193

…он до безумия любил войну… — Папа Юлий II принимал участие в так называемых Итальянских войнах, которые вела Франция в первой половине XVI в. за господство в Северной Италии.

который уже низложил его на бумаге.[24] Надо быть слишком добрым, чтобы задавать подобный вопрос! Я выразил свое удивление фиолетовому монсиньору, который подружился со мной.

— Неужели европейцы настолько глупы? — спросил я.

— Боюсь, — ответил он, — что наместники божии чересчур злоупотребляют долготерпением людей — те в конце концов могут и поумнеть.

Вероятно, в европейской религии неизбежен решительный переворот. Ты удивишься, ученый и проницательный Шастраджит, почему он не произошел еще при наместнике божием Александре, предшественнике Юлия. Этот папа безнаказанно убивал, вешал, топил и отравлял своих владетельных соседей. Исполнителем этих

---

[24] Примечания: 1.24

В 1510 г. папа Юлий II отлучил от церкви короля французского Людовика XII, а на Францию наложил интердикт и обещал отдать ее первому, кто пожелает сесть там на трон. В 1512 г. интердикт и отлучение были повторены. Сегодня нам трудно понять, как можно дойти до такой смешной наглости. Тем не менее со времен Григория VII[280] не было почти ни одного римского епископа, который не пытался бы назначать и свергать государей по своему произволу. Правда, монархи вполне заслужили такое возмутительное обращение: они оказались настолько глупы, что сами привили своим подданным веру в непогрешимость папы и его верховенство над всеми церквами. Они сами ввергли себя в оковы, которые трудно разорвать. Суеверие привело к полному хаосу в делах правления. Свет разума засиял западным народам лишь очень поздно; он залечил часть ран, нанесенных людскому роду его врагом суеверием, но шрамы от них остались и поныне. *(Прим. автора.)*

{280} Комментарии: 2.280

…со времен Григория VII… — Папа Григорий VII (на папском престоле в 1073–1088 гг.), прославился своей борьбой с императором Генрихом IV, которого он заставил явиться с повинной в Каноссу.

бесчисленных преступлений был один из пяти его незаконных сыновей.{194} И как только народы сумели сохранить приверженность к вере, исповедуемой таким чудовищем! Он тот самый папа, у которого девушки плясали без каких бы то ни было излишних украшений. Его непотребства должны были бы вызвать всеобщее презрение, его зверства — навострить против него тысячи кинжалов, а он преспокойно жил среди своего двора и даже пользовался уважением. На мой взгляд, причина здесь в том, что от злодейств Александра священники только выигрывали, народ же ничего не терял. Но стоит раздражить его сверх меры, как он порвет свои цепи. Колосс не шелохнулся от ста ударов тарана, но рухнет от одного меткого камня — вот что говорят в Руме те, кто наиболее дальновиден.

Празднества наконец закончились, да столько их и не нужно: ничто так не утомляет, как необычное, когда оно становится обычным. Удовлетворение постоянно возрождающихся потребностей — вот единственный неиссякаемый источник наслаждения. Вверяю себя твоим

{194} Комментарии: 2.194

…один из пяти его незаконных сыновей. — Вольтер имеет здесь в виду кардинала Чезаре Борджа (1476–1507), игравшего видную роль в политической жизни своего времени.

святым молитвам.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Непогрешимый пожелал дать нам с Отрадой Очей частную аудиенцию. Наш монсиньор провел нас в папский дворец и велел нам трижды преклонить колени. Наместник божий, покатываясь со смеху, протянул нам правую ногу, чтобы мы облобызали ее. Он спросил, крестил ли нас отец Фатутто и вправду ли мы христиане. Жена моя ответила, что отец Фатутто — наглец. Папа, расхохотавшись еще громче, дважды расцеловал ее и один раз меня.

Затем он усадил нас сбоку от скамеечки, на которую становятся, целуя ему ногу, и стал расспрашивать, как занимаются любовью в Бенаресе, в каком возрасте выдают там девушек замуж и есть ли сераль у великого Брамы. Жена моя зарделась, я же ответил с почтительной скромностью. Потом он посоветовал нам принять христианство, обнял нас, потрепал в знак благоволения по заду и отпустил. Выходя, мы столкнулись с отцами Фатутто и Фамольто, облобызавшими подол наших одежд. В первую минуту, впечатления которой всегда столь властны над человеком, мы с отвращением отшатнулись, но фиолетовый

монсиньор сказал:

— Вы еще не совсем у нас освоились. Непременно и всячески обласкайте этих добрых отцов: целовать заклятого врага — первейшая обязанность жителя нашей страны. Можете отравить их при первом удобном случае, но до тех пор не уставайте выказывать им приязнь.

Короче, я расцеловал монахов, но Отрада Очей ограничилась лишь сухим приседанием, а Фатутто, склонясь перед ней до земли, успел-таки обшарить ее глазами. Очаровательно, не правда ли? Мы по целым дням не приходим в себя от изумления. Право, я начинаю сомневаться, что жить в Мадуре приятней, чем в Руме.

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Управы на Фатутто не будет. Вчера утром юная Дара заглянула из любопытства в один небольшой храм. Народ стоял на коленях, а задом к нему над столом склонился здешний брамин в роскошном облачении. Даре сказали, что он изготовляет бога. Завершив свой труд, он повернулся лицом к верующим, и Дара невольно вскрикнула.

— Вот негодяй, обесчестивший меня! — возопила она.

К счастью, растерявшись от горя и удивления,

Дара произнесла эти слова по-индийски: меня уверяют, что, если бы чернь поняла их, девушку растерзали бы как ведьму. Фатутто ответил по-итальянски:

— Дочь моя, да смилуется над вами дева Мария! Говорите тише.

Дара вне себя помчалась домой и рассказала нам о случившемся. Наши друзья посоветовали ни в коем случае не подавать жалоб. Фатутто — святой, сказали они, а о святых не говорят дурно. Пожалуй, это правильно: сделанного не воротишь. Мы терпеливо вкушаем все радости, какими нас здесь потчуют. Каждый день мы узнаем что-нибудь такое, о чем даже не подозревали. Как много дают человеку путешествия!

Ко двору Льва прибыл великий поэт, некий мессер Ариосто.{195} Он терпеть не может монахов и вот как отзывается о них:

Non sa quel che sia amor, non sa che vaglia
La caritade; e quindi avvien che i frati

{195} Комментарии: 2.195

…некий мессер Ариосто… — Вольтер цитирует далее «Сатиру на брак» итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474–1533).

Sono si ingorda e si crudel canaglia,[25] —

что значит по-индийски:

Modermen sebar eso
La te ben sofa meso.

Ты чувствуешь, насколько наш древний язык был и будет выше всех новых европейских наречий? Мы в двух-трех словах выражаем то, на что им едва хватает десятка. Я понимаю, что Ариосто вправе считать монахов сволочью, но почему он утверждает, что им чужда любовь? Увы, мы-то знаем, что это не так. Впрочем, он, наверно, хотел сказать, что они ищут не любви, а наслаждения.

ДВАДЦАТОЕ ПИСЬМО АМАБЕДА

Я не писал тебе уже несколько дней, дорогой мой верховный брамин, и виной тому внимание, коим нас окружают. Наш монсиньор дал нам великолепный обед, на котором присутствовало двое молодых людей, с ног до головы в красном. Они оба имеют сан кардинала, что можно перевести как «первая спица в колеснице». Одного зовут

---

[25] Примечания: 1.25

Любовь и состраданье чужды братье.
Вот почему монахов и могу
Жестокосердой сволочью назвать я (ит.).

Сакрипанте,{196} другого — Факинетти.{197} Они в самом деле первые на земле послы папы, отчего их и величают наместниками наместника божия. Им дано право — тоже, несомненно, от бога — быть равным государям, стоять выше принцев и, главное, обладать несметными богатствами. Они вполне этого заслуживают — от них ведь столько пользы человечеству.

За обедом два эти вельможи пригласили нас провести несколько дней в их загородных домах: мы теперь нарасхват. После презабавных споров о первенстве моя прекрасная Адатея досталась Факинетти, а мною завладел Сакрипанте с условием, что послезавтра они обменяются гостями, после чего мы снова соберемся все вчетвером. Мы взяли с собой и Дару. Не знаю даже, как поведать тебе о том, что с нами произошло, но все-таки попробую…

Здесь письма Амабеда обрываются. Недостающая часть манускрипта разыскивалась во всех

{196} Комментарии: 2.196

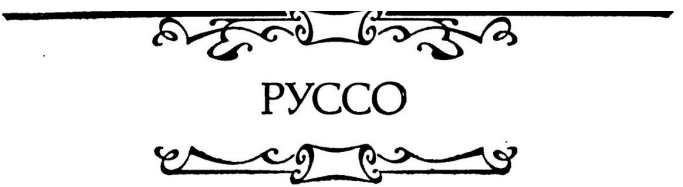
Сакрипанте. — Такого кардинала никогда не было; так зовут одного из комических персонажей поэм Маттео Боярдо (ок. 1440–1494) «Влюбленный Орландо» и Ариосто «Неистовый Орландо».

{197} Комментарии: 2.197

Факинетти. — А такой кардинал действительно существовал. Это Джованни Антонио Факинетти (1519–1591), ставший кардиналом в 1583 г., а в 1591-м избранный папой под именем Иннокентия IX.

книгохранилищах Мадуры и Бенареса, но тщетно. Можно смело считать ее утраченной.

Следовательно, в случае, если какой-нибудь бесчестный фальсификатор обнародует дальнейшие приключения двух молодых индийцев — «Новые письма Амабеда», «Новые письма Отрады Очей» или «Ответы верховного брамина Шастраджита», читатель может быть уверен, что его дурачат и что ему будет скучно, как уже неоднократно бывало в сходных обстоятельствах.



РУССО
КОРОЛЕВА ПРИЧУДНИЦА

Перевод И. Грушецкой

Жил некогда король, который любил свой народ…

— Уж не сказка ли это? — перебил Яламира друид.{198}

— Разумеется, сказка, — ответил Яламир. — Итак, жил некогда король, который любил свой народ, а благодарный народ боготворил своего монарха. Немало сил потратил король, чтобы подобрать министров, не уступавших ему в доброжелательности, но, убедившись, что из этого ничего не выйдет, сам принялся решать все дела, какие удавалось уберечь от служебного рвения сановников. Увлеченный странной идеей осчастливить своих подданных, он многое делал для них и столь неподобающим поведением совер-

---

{198} Комментарии: 2.198

…перебил Яламира друид. — Эти собеседники, один из которых рассказывает другому сказку, возможно, относится к духовенству. По крайней мере таков друид, так как в повестях-сказках того времени (например, у Вольтера) под этим именем обычно изображались католические священники.

шенно уронил себя в глазах важных особ. Народ благословлял короля, а придворные считали его чудаком. Между тем у короля было немало достоинств — недаром его звали Феникс.

Да, это был замечательный король, но не такова была его супруга: горячая, легкомысленная, своенравная; взбалмошная, но с отзывчивым сердцем; вспыльчивая, но от природы добрая — вот в немногих словах портрет королевы. Звали ее Причудница; такое необычное имя она унаследовала от бабушек и прабабушек и носила его с честью. Эта столь достойная особа была и отрадой, и мученьем своего высокого супруга, к которому она питала искреннюю привязанность — быть может, за то, что могла помыкать им, как ей заблагорассудится. Но, несмотря на любовь и согласие, долгие годы не было у них столь желанных детей. Король был этим удручен, а королева рвала и метала, причем доставалось не одному только добрейшему монарху: весь свет винила она в своем бесплодии; не было придворного, которого она не расспрашивала бы о верных средствах против своего недуга и не упрекала потом за неудачу.

Разумеется, королева не оставила в покое и врачей; она, казалось, слушалась их беспрекословно,

но прописанные и тщательно приготовленные лекарства тут же швыряла им в лицо. Потом наступила очередь дервишей: королева прибегала и к молитвам, и к обетам, и в особенности к пожертвованиям.

Горе служителям храмов, куда ее величество совершала паломничество! Ища исцеления в святых местах, она переворачивала всё вверх дном, опустошая монастырские ризницы. Королева носила амулеты и надевала на себя всевозможные монашеские уборы; белый шнур, кожаный поясок, клобук, нараменник. Не было такого одеяния, которого она не удостоила бы своим благочестивым рвением. Ее оживленное личико было прелестно в любом из этих нарядов, и, прежде чем надеть новый, она заказывала свой портрет.

Наконец богоугодные занятия и лекарства сделали свое дело: небо и земля вняли мольбам королевы. Когда все уже готовы были отчаяться — она почувствовала себя беременной. Судите сами, как рады были король и весь народ, а уж о королеве и говорить нечего: в порыве радости, как и во всех своих чувствах, она не знала меры и, ликуя, ломала и разбивала все, что попадалось под руку; обнимала и целовала всех подряд: мужчин, женщин, придворных, слуг. Она готова была

задушить в своих объятиях любого встречного. Нет большего счастья, твердила она, чем иметь ребенка, которого можно наказать розгой в минуту дурного настроения.

Каждому было лестно считать себя причастным к такому долгожданному торжеству, как беременность королевы: врачи приписывали его снадобьям, монахи — амулетам, народ — вознесенным молитвам, а король — своей любви; каждый живо интересовался еще не родившимся ребенком, словно родным детищем. Повсюду служили молебны о благополучном рождении наследного принца — всем хотелось именно принца, желания народа, вельмож и самого короля в этом совпадали. Одной королеве не нравилось, что ей словно навязывают, кого произвести на свет; она намерена родить дочь, заявила она, и весьма удивлена, как это люди смеют оспаривать ее несомненное право распоряжаться тем, что принадлежит ей одной. Тщетно пробовал Феникс образумить супругу; она решительно попросила его не вмешиваться в чужие дела, заперлась в своей опочивальне и надулась; это было любимое времяпрепровождение королевы, коему она предавалась не менее шести месяцев в году; я разумею не шесть месяцев подряд — это

был бы слишком большой отдых для ее мужа, а вразбивку, чтобы вернее ему досадить. Король, конечно, понимал, что капризы матери не влияют на пол младенца, но ему больно было видеть, как она перед всем двором выставляет напоказ свои причуды. Он отдал бы все на свете, чтобы его любовь к ней была утверждена и всеобщим к ней уважением. Но его безуспешное старание было одной из тех глупостей, какие он обычно совершал в надежде образумить супругу. В отчаянии он обратился к фее Благоразумнице, своему другу и покровительнице королевства. Волшебница посоветовала избрать путь кротости и просить у королевы прощения. «Все женские капризы, — объясняла она, — преследуют одну цель: держать мужей в послушании и посбить с них спесь. Лучшее средство излечить вашу супругу от сумасбродства — это сумасбродствовать вместе с ней; потакайте ее капризам — и всю ее блажь как рукой снимет; она образумится лишь тогда, когда вас самого превратит в безумца; добивайтесь своего лаской и уступайте ей в мелочах, чтобы настоять на своем в самом важном…» Король, вняв советам феи, отправился к королеве, отвел ее в сторону от свиты и тихо высказал свое глубокое огорчение тем, что осмеливался вступать

с ней в пререкания; затем он обещал, что впредь будет осмотрительней и постарается заслужить прощение за резкости, которые, возможно, позволил себе, невежливо споря с супругой.

Причудница, опасаясь, что кротость Феникса только оттенит нелепость ее поведения, поспешила ответить, что в этих извинениях, полных скрытой иронии, она видит еще больше высокомерия, чем в недавних резкостях, но что, разумеется, ошибки мужа не могут служить оправданием ошибкам жены и она, как всегда, готова уступить.

— Мой супруг и повелитель, — заявила она во всеуслышание, — приказывает мне родить мальчика; я знаю свой долг и не позволю себе ослушаться! Я понимаю, что его величеством, когда он удостаивает меня лаской, движет любовь не столько ко мне, сколько к народу, о чьем благе он печется ночью ничуть не меньше, чем днем. Мой долг подражать столь благородной самоотверженности. Я намерена просить Диван об издании указа, устанавливающего количество и пол детей, подобающих королевскому семейству, — назидательного указа, важного для процветания государства; и каждая королева должна будет сообразоваться с ним в своем пове-

дении ночью.

Эта прекрасная речь была выслушана всей свитой с большим вниманием, но вы, конечно, догадываетесь, что при этом раздалось немало приглушенных смешков.

— Увы! — с грустью молвил король и, пожимая плечами, вышел из зала, — как видно, мужу безумицы суждено ходить в дураках!

Фея Благоразумница, в характере которой забавно уживались благоразумие и женское лукавство, нашла эту маленькую распрю весьма потешной и решила довести шутку до конца. Сказав королю, что расположение светил, управляющих рождением принцев, предвещает мальчика, она тайком шепнула королеве, что та родит девочку.

Это обещание превратило безрассудную Причудницу в самую что ни на есть рассудительную женщину. Бесконечно ласковая и обходительная, она прилагала все усилия к тому, чтобы довести до отчаяния короля и весь двор. Она заказала нарядное детское приданое, притворяясь, будто готовит его для мальчика, но такая роскошь была бы смешной и для девочки: приходилось по нескольку раз перешивать все заново, но она не жалела хлопот; она велела ювелирам укра-

сить драгоценными каменьями великолепную орденскую повязку и потребовала, чтобы король немедленно подыскал воспитателя и наставника для юного принца.

Уверенная в том, что родится дочь, она говорила только о сыне и в приготовлениях не упустила ни одной мелочи, отвлекая внимание от самого важного. Она хохотала от души, представляя себе, какой глупый и растерянный вид будет у вельмож и советников, которым полагалось присутствовать у ее ложа во время родов.

— Я так и вижу, — говорила она волшебнице, — слева от меня наш достопочтенный канцлер сквозь большие очки рассматривает, кто родился — мальчик или девочка, а справа от меня его августейшее величество бормочет, потупив взор: «Я надеялся… Фея обещала мне… Господа, я тут ни при чем…» и тому подобные остроумные фразы, которые будут подхвачены придворными историографами и разнесены до самых далеких границ Индии…

С веселым лукавством рисовала она в своем воображении удивление и замешательство среди придворных при таком неожиданном исходе дела, волнение среди дам ее свиты, оспаривающих друг у друга права, когда наступит время

распределить почетные обязанности, — словом, весь двор в смятении из-за детского чепчика.

По требованию королевы был установлен достохвальный обычай, согласно которому сановникам надлежало приветствовать новорожденного принца торжественной речью. Феникс хотел было возразить, что эта затея только уронит достоинство высших чиновников и выставит в смешном свете весь придворный этикет, что не пристало расточать высокопарные речи перед младенцем, не способным даже понять их, не то что ответить.

— Ну что ж! Тем лучше! — с живостью возразила королева. — Тем лучше для вашего сына! Он только выиграет, если со всеми глупостями, какие ему еще предстоит выслушать, будет покончено раньше, чем он сможет их уразуметь! Уж не считаете ли вы, что речи, от которых можно только потерять рассудок, лучше выслушивать в разумном возрасте? Умоляю вас, пусть ораторы разглагольствуют, сколько им угодно, пока ребенок ничего еще не понимает и еще не способен скучать; кому-кому, а уж вам хорошо известно, что редко удается так дешево отделаться…

Пришлось королю согласиться, и вот, по особому указу его величества, сенаторы и академики

принялись сочинять, перечеркивать, заучивать наизусть речь, листая своих Воморьеров и Демосфенов{199} и приноравливаясь к разумению младенца.

Между тем наступили решающие минуты. Королевой при первых же родовых схватках овладело бурное и в подобных случаях довольно необычное ликование; она жаловалась так мило и плакала, так весело смеясь, словно рожать для нее было сущее удовольствие.

Тотчас во всем дворце поднялась невообразимая суматоха: одни побежали за королем, другие — за князьями, третьи — за министрами, некоторые поспешили в сенат; но большинство придворных — и эти особенно спешили — суетились ради самой суеты, подымая шум, подобно Диогену, гремящему пустой бочкой, а всего-то и было у них заботы, что напустить на себя озабоченный вид. Созывая во дворец такое множество самых необходимых лиц, в спешке совсем забыли об одном человеке — о придворном акушере. И когда король, от волнения потеряв голову,

---

{199} Комментарии: 2.199

…листая своих Воморьеров и Демосфенов… — Руссо ставит в один ряд знаменитейшего оратора древности Демосфена (384–322 до н. э.) и третьестепенного литератора Пьера д'Ортига де Воморьера (1610–1693), автора посредственных романов и двух наставлений по составлению всевозможных сочинений на различные темы.

пригласил к роженице простую повивальную бабку, — его оплошность вызвала громкий смех придворных дам, и благодаря их веселью и хорошему расположению духа самой королевы это были самые веселые роды на свете.

Как ни старалась Причудница сохранить в тайне предсказание феи, но ее придворные дамы все-таки о нем проведали и тоже так ревностно оберегали тайну, что понадобилось не менее трех дней, прежде чем слух о ней распространился по всему городу; один лишь король все еще ничего не знал. Каждого поэтому крайне занимало готовящееся представление. Под предлогом заботы о благе государства всем насмешникам представлялся повод позабавиться над августейшим семейством; любопытные предвкушали удовольствие наблюдать, как будет вести себя королевская чета и как напроказившая волшебница выпутается из затруднительного положения.

— Так-то, сударь, — внезапно прервал свое повествование Яламир, — согласитесь, что я, если захочу, могу помучить вас по всем правилам искусства; вы отлично понимаете, что теперь самое время прибегнуть к отступлениям, портретам, ко всяческим любопытным подробностям, которые применяет изобретательный автор в самом инте-

ресном месте, дабы занять своих читателей.

— Вот еще! — воскликнул друид. — Да неужели ты воображаешь, что найдется глупец, который станет читать все эти штуки? У читателей, будь уверен, ума хватает кое-что пропустить и, как это ни прискорбно для автора, перевернуть несколько страниц, где тот щеголяет красноречием. А ты, видно, считаешь себя умнее других и надеешься, что тебя никто не упрекнет в глупости, если сам заявишь, что по доброй воле не прибег к этим приемам. Однако твои разглагольствования доказывают обратное, а я — увы! — лишен возможности перевернуть страницы.

— Успокойтесь, — кротко ответил Яламир, — другие перевернут их за вас, если все это будет когда-нибудь напечатано. Примите, однако, во внимание, что в покоях королевы уже собрался весь двор и мне вряд ли когда-нибудь представится другой столь благоприятный случай нарисовать портреты множества именитых особ, а вам — познакомиться с ними.

— Не стоит труда! — с усмешкой молвил друид. — Я о них достаточно узнаю по их поступкам! Если они нужны тебе для рассказа, пусть что-нибудь делают, а нет — так оставь их в покое. Меня занимают поступки, а не портреты.

— Что ж, раз уж нельзя расцветить повествование рассуждениями, придется попросту раскручивать его нить… Но ведь бесхитростный рассказ — прескучное дело… Вы и не подозреваете, как много любопытного удалось бы вам узнать… Но я отвлекся в сторону, на чем бишь мы остановились?

— На родах королевы! — нетерпеливо подсказал друид. — Они тебе даются так трудно, что ты уже битый час держишь меня в напряженном ожидании.

— Ого! — воскликнул Яламир. — Вы, кажется, воображаете, что королевские дети появляются на свет так же просто, как яйца у дроздов. Сейчас сами убедитесь, стоило ли нам пускаться в отступления… Итак, королева, вволю поохав и посмеявшись, избавила окружающих от мук любопытства и вывела фею из затруднения, родив в один день и девочку, и мальчика, прекрасных, как луна и солнце, и как две капли воды похожих друг на друга, так что в детстве, забавы ради, их даже одевали одинаково. В этот столь желанный миг король, забыв о своем сане и отдавшись порыву естественных чувств, позволил себе сумасбродную выходку, от которой в другую минуту первый стал бы удерживать королеву. Радуясь,

что стал отцом, он с резвостью ребенка выбежал на балкон и крикнул что было сил:

— Радуйтесь, друзья мои! У меня родился сын, у вас — отец, а у моей жены — дочь!

Королева, виновница всего этого торжества, сперва и не заметила, какими счастливыми оказались ее роды, а волшебница, зная ее капризный нрав, из осторожности сначала ей сообщила лишь о рождении дочери, которую она ждала. И вот когда принесли младенца, королева поцеловала его, хотя и нежно, но, к удивлению окружающих, со слезами на глазах; ее веселость вдруг сменилась грустью; как я уже упоминал, королева искренне любила своего супруга. Во время родов она заметила его тревогу и сочувствие и была тронута; она стала размышлять — поистине в самое подходящее время — о том, как жестоко с ее стороны огорчать такого доброго мужа; при виде дочери ей стало жаль обманутого в своих ожиданиях короля. Чисто женское чутье и волшебный дар помогали фее Благоразумнице читать в человеческих сердцах, и она легко поняла, что творилось с королевой; видя, что дальше скрывать правду незачем, она распорядилась принести принца. Хитрая выдумка волшебницы показалась королеве до того забавной, что

она, едва придя в себя от изумления, залилась безудержным смехом, а это было весьма опасно в ее состоянии. Ей сделалось дурно. Ее с трудом привели в чувство, и, не поручись волшебница за жизнь ее величества, горе и печаль тут же сменили бы радость в сердце короля и на лицах придворных. Но самое любопытное случилось дальше: королева, жалея мужа за перенесенные волнения, прониклась более нежным чувством к принцу, чем к его сестре, а король, обожая супругу, уже отдавал предпочтение дочери — ведь королева ждала именно ее; так эти единственные в своем роде супруги выказывали нежность и приязнь друг к другу. Вскоре их чувства перешли в явные пристрастия: королева занималась только сыном, а король — дочерью.

Страх всего народа остаться без повелителя теперь рассеялся, и люди немало смеялись над этим вдвойне неожиданным поворотом событий. Остряки, шутившие над обещаниями волшебницы, попали впросак, но не сдавались, утверждая, что они не согласны, будто фее удалось с честью выйти из трудного положения, и что ее пророчество всего лишь предвосхитило ход вещей. Некоторые дошли в своей беззастенчивости до того, что, ссылаясь на пристрастное отношение родителей

к детям, утверждали, будто предсказание вовсе не сбылось, ибо роды подарили королеве сына, а королю — дочь.

Приготовления к торжественному обряду крестин были в полном разгаре, и человеческая спесь готовилась скромно покрасоваться перед алтарем богов…

— Что такое? — прервал Яламира друид. — Ты совсем сбил меня с толку. Объясни мне, пожалуйста, где мы, собственно, находимся? Вначале ты водил королеву, жаждавшую стать матерью, среди амулетов и клобуков; затем внезапно перенес нас в Индию. Сейчас заговорил о крестинах — и вдруг алтарь богов! Ума не приложу, кому мы будем поклоняться во время обряда, который ты подготавливаешь: Юпитеру, пресвятой деве или Магомету?

Не скажу, чтобы меня, друида, сильно волновало, будут ли твои близнецы подвергнуты крещению или обрезанию; но не забудь соблюсти верность обычаев, не то я, чего доброго, приму епископа за муфтия{200} или Библию за Коран…

— Велика важность! Люди и помудрее тебя ошибаются! Бог покровительствует прелатам,

---

{200} Комментарии: 2.200

Муфтий — богослов и правовед, представитель высшего духовенства в странах мусульманского Востока.

которые обзавелись целыми сералями, а латынь молитвенника для них что арабские письмена! Бог прощает почтенных ханжей, готовых по примеру пророка из Мекки учинить священную резню к вящей славе божией! Но не забывай, что мы находимся в сказочной стране, где никого не посылают в ад ради спасения его души, где вечные муки или отпущение грехов не зависят от того, совершен ли над человеком обряд обрезания или нет, в стране, где митры и зеленые тюрбаны равно венчают головы священнослужителей, означая для людей мудрых их сан, тогда как в глазах глупцов эти уборы всего-навсего простое украшение.

Мне хорошо известно, что, согласно закону, определяющему вероисповедание страны ее географическим положением, моим новорожденным надлежит стать мусульманами; но обряд обрезания совершается только над мальчиками — мне же нужно приобщить таинству обоих детей; так что извольте примириться с крещением.

— Поступай как хочешь, — ответил друид, — но честное слово жреца — хорош довод!

Королева, всегда готовая нарушить придворный этикет, на шестой день уже пожелала

подняться с постели, а на седьмой вышла на прогулку, уверяя, что уже оправилась; к тому же она сама кормила детей грудью — отвратительный пример! — и придворные дамы красноречиво расписывали все его неприятные последствия. Но Причудница, которая боялась, что у нее может пропасть грудное молоко, отвечала дамам, что со временем все земные радости для нас исчезнут и грудь некормившей женщины после смерти теряет форму так же, как и грудь кормилицы; при этом королева добавила наставительным тоном, что в глазах супруга нет груди прекраснее, чем грудь матери, кормящей своих детей. Эта ссылка на вкусы мужей в таких сугубо дамских делах всем показалась смешной; мстя королеве за хорошенькое личико, дамы стали находить, что, хоть она и капризничает, как истинная королева, но, в сущности, так же нелепа, как ее супруг, прозванный в насмешку «буржуа из Вожирара».{201}

— Вижу, куда ты клонишь, — вставил друид, — ты хочешь навязать мне роль шаха Багана{202}

{201} Комментарии: 2.201

Вожирар — во времена Руссо небольшой городок в окрестностях Парижа.

{202} Комментарии: 2.202

Шах Баган — видимо, персонаж комической оперы, исполнявшейся на одной из парижских ярмарок.

и подбиваешь спросить, нет ли в Индии своего «Вожирара», столь же обязательного, как «Мадрид» в Булонском лесу,{203} Опера в Париже или философ при дворе; продолжай-ка лучше свою побасенку и не расставляй мне ловушек; я не женат и не султан и могу позволить себе роскошь не быть глупцом.

— Но вот, — продолжал Яламир, пропустив замечание мимо ушей, — приготовления закончились; наступил день, когда новорожденным предстояло приобщиться благодати.

Волшебница с раннего утра явилась во дворец и сказала августейшим супругам, что хочет поднести каждому из детей дар, достойный их высокого происхождения и ее могущества.

— Пока святая вода не оградила еще новорожденных от моих благотворных чар, я хочу украсить их своими дарами и дать им имена более действенные, чем в святцах, — имена, нераздельные с достоинствами, какими я их обоих наделю. Вам, конечно, лучше знать, како-

---

{203} Комментарии: 2.203

…«Мадрид» в Булонском лесу… — Речь идет о замке, построенном в Булонском лесу под Парижем французским королем Франциском I в память о том времени, что он провел в Мадриде, в плену у испанского короля и германского императора Карла V (1525–1527). Строительство замка началось в 1528 г., но завершилось лишь в 60-е гг. XVI в. В 1792 г. замок был разрушен.

вы те достоинства, что вернее всего обеспечат счастье вашей семьи и народа, и право выбрать эти имена я предоставляю вам самим. Тем самым вы сразу достигнете того, что лишь изредка удается добиться двадцатилетним воспитанием, начатым с юного возраста, и чего уж никак не достигнешь в зрелые годы.

Тотчас же между супругами начались пререкания: королева хотела наделить детей характерами по своему вкусу; однако добрый король, сознавая всю важность выбора, не желал предоставить его капризу женщины, чьи причуды он обожал, отнюдь не желая потакать им. Феникс хотел, чтобы его дети были рассудительными, а королева — чтобы они были красивыми: лишь бы дети блистали в шестилетнем возрасте, а в тридцатилетнем — пускай будут хоть глупцами. Как ни старалась волшебница примирить их величества, обсуждение перешло в ссору; не приходилось уже и думать о разумном выборе, а только о том, чтобы образумить супругов.

Наконец волшебница придумала, как уладить дело, никого не обижая: пусть король распорядится по своему усмотрению мальчиком, а королева — девочкой. Король согласился, ибо таким образом наследника престола спасали от нелепого

каприза матери, а это и было самым важным; увидев детей на руках воспитательницы, король поспешно схватил принца, кинув при этом на его сестру взгляд, полный сострадания. Но Причудница, больше всего дававшая волю своим капризам именно тогда, когда это было совсем некстати, бросилась, как безумная, к принцессе и тоже взяла ее на руки.

— Все вы заодно, чтобы досадить мне, — заявила она, — но я сделаю так, что прихоть короля против воли его самого пойдет на пользу одному из его детей, — и вот вам мое пожелание: пусть девочка станет полной противоположностью принцу, каким бы характером его ни наградил король. Выбирайте же, — обратилась она к королю с победоносным видом, — вам угодно распоряжаться, так вот определите сразу судьбу обоих детей!

Тщетно король, поставленный в затруднительное положение, и волшебница умоляли ее передумать — королева и слышать ничего не хотела. Благодаря ее счастливой выдумке, твердила она, принцесса будет украшена теми достоинствами, какими король не сумеет, конечно, наградить принца.

— Вот как! — воскликнул с досадой король. —

Вы всегда питали отвращение к своей дочери, и вы это доказали в самый важный момент ее жизни; однако вам назло я сделаю ее совершенством, — добавил он, не в силах сдержать порыв гнева, — я прошу, чтобы мой мальчик стал вашим подобием!

— Тем хуже для него и для вас, — поспешно возразила королева, — а я отомщена — ваша дочь будет похожа на вас…

Едва лишь необдуманные слова были произнесены, король пришел в ужас и готов был вернуть сказанное любой ценой. Но дело было сделано, и дети на всю жизнь оказались наделены характерами по воле родителей: принц был наречен Капризом, а принцесса — Разумницей, необычным именем, которое она так прославила, что впоследствии носить его не решилась ни одна женщина.

Словом, будущий наследник престола был украшен всеми чарами хорошенькой женщины, а принцессе, его сестре, достались в удел все достоинства доброго короля и порядочного человека. Распределение нельзя сказать, чтобы удачное, но — увы! — уже непоправимое! В довершение всего взаимная любовь супругов тут же вспыхнула с особой силой, как это всегда у них случалось, и

всегда с опозданием, в самые решающие минуты их жизни. Они по-прежнему не могли поделить между детьми свое родительское чувство поровну, но каждый считал теперь, что ребенок, обещавший стать похожим на него, проиграл в сравнении с другим, и каждый был готов скорее жалеть этого ребенка, чем поздравлять. Взяв дочь на руки, король нежно прижал ее к груди и произнес:

— Увы! Не помогла бы тебе даже красота твоей матери без ее уменья блистать. Ты будешь слишком рассудительная и никому не вскружишь голову.

Причудница, не столь откровенная, по-видимому, не расположена была высказывать всю правду; мнением своим об умственных способностях будущего принца она ни с кем не поделилась. Но нетрудно было догадаться, что королева не слишком высоко ценит свой дар, — она выглядела такой печальной, лаская ребенка. Король растерянно смотрел на нее и не смог удержаться от упрека.

— Я поступил опрометчиво, — признался он, — но только из-за вас; и вот по вашей вине эти дети, которые могли бы стать лучше нас, останутся нашим подобием.

— Зато они будут крепко друг друга любить, — с живостью проговорила королева, бросаясь ему на шею.

Феникс, тронутый искренностью ее порыва, утешился мыслью — как обычно в таких случаях, — что все еще поправимо при доброте и чувствительном сердце.

— О дальнейшем догадываюсь и могу закончить сказку, — прервал Яламира друид, — твой принц Каприз вскружит всем голову и так далеко зайдет, подражая матери, что станет для нее наказанием. Стремясь преобразовать свое государство, он его развалит, заботясь о благе подданных, он доведет их до отчаяния, а расплачиваться за свои промахи заставит других; непоследовательный и легкомысленный, он будет и жалеть о своих ошибках, и без конца повторять их; благоразумие никогда не будет им руководить, и все его благие намерения только умножат содеянное зло.

Природная доброта, чувствительность и великодушие — все его достоинства обратятся ему же во вред, а за его капризы, непростительные при таком высоком положении, народ его возненавидит, причем куда сильнее, чем злого, но умного монарха. Напротив, твоя принцесса

— новая героиня волшебной сказки — станет чудом благоразумия и скромности; поклонников у нее не будет, но перед нею преклонится народ и станет мечтать о том, чтобы власть перешла в ее руки. Безупречное поведение, всегда приятное для окружающих, выгодное ей самой, будет вредить только ее брату: люди станут противопоставлять все его недостатки ее достоинствам и в предубеждении против принца ему припишут любые недостатки лишь потому, что их нет у принцессы. Пойдут разговоры об изменении закона о престолонаследии, о том, что прялку следует предпочесть побрякушке шута и что разум выше прав рождения. Ученые умы примутся рассуждать о пагубных последствиях подобных новшеств, доказывая, что народу лучше повиноваться сумасбродам, оказавшимся по воле случая повелителями, нежели самому выбирать достойных правителей; что хотя умалишенным и запрещено распоряжаться собственным имуществом, нет ничего зазорного в том, чтобы предоставить им во власть как достояние, так и самую жизнь народа; что безрассуднейший мужчина все же предпочтительнее самой разумной женщины и что если первенец мужского пола, будь он даже обезьяной или волком, то девочка,

появившаяся на свет после него, будь она само совершенство или ангел, должна повиноваться его воле, — этого-де требует политическая мудрость; пойдут споры, возражения со стороны смутьянов, и тут тебе представится случай блеснуть своим софистическим красноречием.{204} Я тебя знаю, ты рад позлословить по поводу всего, что происходит на белом свете, дать выход накопившейся желчи, и порочность людей, давая пищу для упреков, только тешит твое мрачное правдолюбие.

— Ого! Отец друид! Как вы увлеклись! — изумленно воскликнул Яламир. — Что за поток красноречия! И где, черт возьми, научились вы произносить такие пышные тирады? В священном лесу вы никогда еще не проповедовали с таким блеском, хотя и там в ваших словах правды было ничуть не больше; если я не вмешаюсь, вы вскоре превратите сказку в политический трактат, и, чего доброго, в кабинетах монархов когда-нибудь вместо Макиавелли будут красо-

{204} Комментарии: 2.204

...софистическим красноречием... — то есть таким красноречием, которое применяет заведомо ложные посылки или положения, допускающие различное толкование.

ваться «Синяя борода» или «Ослиная шкура».{205} Но не утруждайте себя, отгадывая конец сказки; за развязкой у меня дело не станет, и я вам сейчас ее придумаю — не такую, правда, ученую, как ваша, но не менее естественную и, уж во всяком случае, более неожиданную.

Так вот, как я уже упоминал, близнецы были поразительно похожи, да вдобавок и одинаково одеты. Король, полагая, что берет на руки сына, на самом деле взял дочь; а королева, введенная им в заблуждение, приняла за дочь сына; волшебница воспользовалась этой путаницей и наделила детей так, как подобало; и вот Капризница стала именем принцессы, а Разум — именем принца, ее брата. Словом, как ни чудила королева, все оказалось на месте. Наследовав престол по смерти отца, принц Разум творил добро без лишнего шума, больше заботясь о своем долге, чем о славе; он не воевал с соседями, не угнетал подданных и удостоился благословений народа,

{205} Комментарии: 2.205

...вместо Макиавелли будут красоваться «Синяя борода» или «Ослиная шкура». — Произведения итальянского мыслителя XVI в. Никколо Макиавелли, прежде всего его политический трактат «Государь», были очень популярны в эпоху Просвещения; у них были свои сторонники и противники — среди последних, например, Вольтер или прусский король Фридрих II, написавший трактат «Анти-Макиавелли» (1741). «Синяя борода» и «Ослиная шкура» — известные сказки Шарля Перро (1628–1703).

а не панегириков. Все, что задумал его отец, было осуществлено в правление сына, и подданные, вторично обласканные судьбой, даже не заметили смены государя. Принцесса Капризница, погубив и лишив рассудка многих поклонников, нежных и любезных, вышла наконец замуж за соседнего короля.

Она его предпочла другим за то, что у него были самые длинные усы и он лучше всех скакал на одной ножке. А Причудница умерла от несварения желудка, объевшись перед сном рагу из лапок куропатки, в то время как король одиноко томился в ее опочивальне, куда она после долгих капризов пригласила его провести с ней ночь.

МАРМОНТЕЛЬ

МАРМОНТЕЛЬ
МУЖ-СИЛЬФ

Перевод Ю. Стефанова

Остерегайтесь мужских козней, — твердят без конца девушкам; берегитесь женского коварства, — беспрестанно повторяют юношам. Но неужто мы следуем предначертаниям природы, заставляя один пол враждовать с другим? Неужели они созданы лишь для того, чтобы досаждать друг другу? Разве должны они друг друга избегать? И каков был бы итог всех этих наставлений, если бы обе стороны принимали их всерьез?

Когда Элиза покинула монастырь, чтобы пойти под венец с маркизом де Воланжем, она была твердо убеждена, что нет на свете существа более опасного, чем муж, если, конечно, не считать любовника. Воспитанная одной из тех затворниц, чье меланхолическое воображение рисует себе весь мир в черном свете, Элиза видела вне стен монастыря одни только соблазны, а брак представлялся ей не чем иным, как тяжкими узами. Ее нежная и стыдливая душа была с самого начала омрачена страхом, а юный возраст еще не позво-

лял рассудку возобладать над чужим мнением. Потому-то все в браке мнилось ей унизительным и тягостным. Заботы, которыми окружил Элизу муж, не только не успокоили ее, но, напротив, еще больше встревожили. «Заботясь о нас, — говорила она себе, — мужчины пытаются прикрыть цветами цепи нашего рабства. Они пускают в ход лесть, чтобы завлечь свою жертву, а потом расправиться с ней по своей прихоти. Сегодня муж потакает всем моим желаниям, чтобы впоследствии без конца препятствовать им. Он хочет заглянуть мне в душу, проникнуть во все ее тайники; если ему удастся отыскать там слабое место, он непременно воспользуется им, чтобы еще больше унизить меня. Стало быть, нужно держаться настороже, избегая расставленных им ловушек».

Нетрудно догадаться, сколько горечи и холода внесло в их совместную жизнь пагубное предубеждение Элизы. Воланж не мог не заметить, что жена питает к нему отвращение. Он постарался бы исцелить ее от этого чувства, если бы догадывался о его причине, но сознание того, что он нелюбим, привело его в отчаянье, и, утратив надежду понравиться жене, он просто-напросто потерял к этому и всякую охоту.

Его положение было тем более тягостным, что оно нисколько не соответствовало его характеру. Воланж был воплощением сердечности, любезности, даже угодливости. К браку своему он относился скорее как к веселому празднику, чем к серьезному делу. Он взял в жены особу юную и прекрасную: так выбирают божество, чтобы возвести ему алтарь. «Я выведу ее в свет, — думал он, — и она всех очарует. У меня появится множество соперников — тем лучше: я устраню их всех, окружив жену вниманием и уважением, а соединенное с нежной и робкой ревностью беспокойство не даст случая ее любовнику воспользоваться нерадивостью мужа».

Нестерпимая и оскорбительная холодность его супруги развеяла эти иллюзии. Чем более он влюблялся в Элизу, тем сильней страдал от неприязни, которую она к нему питала, так что нежная и чистая любовь, которая должна была его осчастливить, уже готова была обратиться для него в настоящую пытку. Однако невинная уловка, подсказанная ему случайностью, полностью восстановила его в своих правах.

Душа ищет возможности для проявления своих чувств и, не найдя их в действительности, обращается к предметам воображаемым. Решив, что

в мире нет ничего достойного ее привязанности, Элиза отыскала для себя источник утешения, восторга и умиления в области вымысла. Тогда были в моде россказни о сильфах. На глаза ей попалось несколько романов, в которых описываются прелести общения между этими духами и смертными; в ее глазах эти блестящие выдумки обладали всем очарованием действительности.

Итак, Элиза поверила в существование сильфов и загорелась желанием завести знакомство с одним из них. Необходимо по крайней мере представлять себе то, чего желаешь, — но легко ли представить себе духа? Посему Элизе пришлось наделить своего сильфа обличьем мужчины, но, стремясь даровать столь возвышенной душе достойное обиталище, она наградила его телом, созданным по ее собственному вкусу: стройным и гибким станом, одухотворенным, привлекательным и умным лицом, румяными и свежими щеками, достойными сильфа, под чьим началом находится утренняя звезда, прекрасными глазами, голубыми и томными, не говоря уже о какой-то необычайной воздушности во всех движениях. Ко всему этому она добавила легчайшие украшения: цветы, несколько ленточек самых нежных тонов, полупрозрачный шелко-

вый плащ, которым как бы играют зефиры, и два крыла, подобные крыльям амура, на которого был так похож этот прелестный сильф. Таков был плод фантазии Элизы, и ее сердце, соблазненное собственным воображением, не устояло перед этим призраком.

Вполне естественно, что самые сокровенные и самые яркие из наших мыслей оживают во сне: вскоре сновидения Элизы убедили ее, что этот призрак не лишен некоторой реальности.

Тем временем Воланж, уверенный в том, что жена его не любит, не переставал следить за нею ревнивым взором. Но сколько бы он ни приглядывался, видел лишь, что в кругу подруг она держится с оживлением, обходительностью, а подчас и с подлинным дружелюбием, но что ни одному из мужчин не удалось добиться от нее благосклонности, которая могла бы его встревожить. Когда она находилась в мужском обществе, у нее был суровый взгляд, презрительное выражение лица, чопорные манеры. Она мало говорила сама и почти не слушала других; видно было, что она или скучает, или едва сдерживает раздражение. Мыслимое ли дело, чтобы женщина в ее возрасте была столь бесчувственна и даже не отличалась склонностью к кокетству! Но в конце концов

Элиза сама себя выдала.

В то время, благодаря своей новизне, с блестящим успехом шла опера под названием «Зелиндор».{206} Элиза смотрела это представление, сидя в собственной ложе вместе с Жюстиной, камеристкой, к которой она питала дружеские чувства. Жюстина пользовалась ее полным доверием, — робкие души целиком привязываются к тем, кому они единожды открылись, победив свою застенчивость. Элиза была бы рада вовсе не расставаться с той, кому она под секретом поведала о своей слабости, и отдельная ложа была ей дорога прежде всего потому, что там они могли побыть вместе с глазу на глаз.

От внимания Воланжа, следившего из противоположной ложи за каждым движением Элизы, не ускользнуло, что всякий раз, когда на сцене появлялся Зелиндор, она вздрагивала и принималась о чем-то взволнованно шептаться с Жюстиной.

Его охватило смутное беспокойство, и тем же

{206} Комментарии: 2.206

«*Зелиндор*». — Середина XVIII в. во Франции была временем подлинного расцвета оперы, когда в этом жанре блистали такие композиторы, как Пуччини, Глюк, Филидор, Монсиньи, Гретри и др. Особой популярностью пользовалась комическая опера. Мармонтель написал несколько оперных либретто, в том числе для Гретри. Опера «Зелиндор» — это, вне всякого сомнения, комическая опера «Зели и Линдор» (либретто А.-Ф. Пеллетье, музыка А.-Ж. Ригада), которая шла на сцене театра «Итальянской комедии» с конца 50-х гг.

вечером он улучил минутку, чтобы поговорить с Жюстиной наедине.

— Твоя госпожа получила от оперы большое удовольствие, не правда ли? — сказал он ей.

— Ах, сударь, она от нее просто без ума. Ей так понравился этот Зелиндор! Можно подумать, что опера написана по ее заказу. Она до сих пор не может прийти в себя от изумления: ей показалось, будто на сцене разыгрывают ее собственные сны.

— Неужто твоей госпоже снятся такие сны?

— Увы, сударь, именно такие. И это ваша вина: вы довели ее до того, что она стала находить удовольствие в сонных грезах. Нечего сказать, хорошо же вы себя ведете, если такая молоденькая, такая хорошенькая женщина начинает вздыхать по сильфам!

— По сильфам?

— Да, сударь, по сильфам. Но я выболтала ее тайну.

— А ты не шутишь, Жюстина?

— Какие уж тут шутки? Ах, сударь, да мыслимо ли обходиться с женой так, как вы с ней обходитесь! Всякий раз, когда она просыпается поутру — а щечки у нее пылают, в глазах томление и губки свежи словно роза, — и со вздохом говорит, как

она была счастлива во сне, у меня от жалости к ней сердце разрывается, а вас я прямо ненавижу.

— Что поделать? Я пылал к твоей госпоже такой любовью, какую не часто встретишь, но на эту нежнейшую страсть она ответила только холодностью, доходящей до отвращения.

— Вы заблуждаетесь, вы приняли ее застенчивость за холодность; таковы все мужья, не питающие ни капли жалости к молодым женам. Но почему же и вам охладевать к ней? Почему не воспользоваться властью, которой вы над нею обладаете?

— Именно это меня и останавливает. Я ни к чему не хочу ее принуждать; я был бы куда настойчивей в своих желаниях, если бы она была вольна отвергнуть их.

— Ах, сударь, как вы наивны с этой вашей щепетильностью! Помяните мое слово, вам еще придется за нее поплатиться.

— Послушай, Жюстина, мне только что пришла на ум уловка, которая могла бы нас с нею примирить, если ты этого захочешь.

— Еще бы не захотеть!

— Раз Элиза любит сильфов, значит, я сам должен стать влюбленным сильфом.

— А как вы превратитесь в невидимку?

— Встречаясь с нею только по ночам.

— Что ж, эта хитрость мне по нраву.

— Она не нова; немало любовников уже прибегали к ней, но для Элизы она будет неожиданностью, и я надеюсь, что розыгрыш нам удастся. Трудно только начать, сделать первый шаг, но я рассчитываю на твою ловкость.

Благоприятный случай не заставил себя ждать.

— Ах, Жюстина, — сказала Элиза, проснувшись на следующее утро, — какое блаженство я только что испытала! Мне снилось, будто я сижу в беседке, увитой розами, и прекраснейший из небесных духов вздыхает у моих колен.

— Неужто, мадам, духи способны вздыхать? А каков же он был из себя, этот ваш дух?

— В силах ли я описать тебе того, кому нет подобных среди людей? Образ его изгладился после пробуждения, и теперь я сама с трудом его вспоминаю.

— А не могу ли я по крайней мере узнать, что происходило во время вашего свидания?

— Не знаю, но я была очарована. Я слышала волшебный голос, вдыхала нежнейшие ароматы, а когда проснулась, все это исчезло.

Узнав о том, что видела во сне его жена, Воланж не преминул воспользоваться ее рассказом,

чтобы в первый раз выступить перед нею в роли сильфа. Розовое масло было в те времена почти неизвестно в Париже; Воланж раздобыл флакончик этой драгоценной жидкости и, передав его Жюстине, сказал:

— Завтра, перед тем как твоя госпожа проснется, надуши ее постель этим эликсиром.

— О, небо, — воскликнула Элиза, пробудившись, — неужели я все еще сплю? Жюстина, подойди поближе, принюхайся и скажи мне, чувствуешь ли ты какой-нибудь запах?

— Ровным счетом никакого, сударыня.

— Быть того не может! Ты не чувствуешь запах роз?

— Вы сошли с ума, любезнейшая моя госпожа, вот что я вам скажу. Бог уж с ними, с вашими снами, но нельзя же бредить наяву! Не пойму я вас никак.

— Ты права, это невероятно. Оставь меня, а перед тем задерни шторы… Ах, теперь этот запах стал еще сильней!

— Не пугайте меня. Ваше здоровье внушает мне опасения.

— Послушай меня. Вчера, сколько мне помнится, я говорила тебе, какие ароматы я вдыхала во сне, и жаловалась, что мои видения так скоро

рассеялись. Так вот, дорогая моя Жюстина: он меня услышал!

— Кто это он, мадам?

— Как кто? Да неужели ты ничего не понимаешь? Не злоупотребляй моим терпением, оставь меня. Но, поскольку он здесь, он должен знать, что я горюю вовсе не о цветах. Ах, в эту ночь голос его был еще сладостней. Он проникал мне в самое сердце! А его черты, его божественные черты! Увы, все мои мольбы тщетны: я больше никогда его не увижу.

— Да как же можно его увидеть? Духи незримы.

— Ты приводишь меня в отчаянье: уверяешь, будто любишь меня, а сама завидуешь мне, хочешь развеять самую отрадную из моих иллюзий… Ведь я не ребенок, я понимаю, что это всего-навсего иллюзия… Но откуда же все-таки этот запах? Я чувствую его, он так явствен — а между тем сейчас не время цвести розам.

— Что мне вам сказать на все это, сударыня? Какое бы уважение я к вам ни питала, я все же не могу поверить, чтобы сон стал явью.

— Ну, что ж: не хочешь — не верь. Приготовь мой туалет, мне пора одеваться. Я в замешательстве, я сама не своя от волнения, мне от него не

оправиться.

— Мы одержали первую победу, сударь, — воскликнула Жюстина, увидев Воланжа. — Сильф дал о себе знать, его ждут, без него томятся. Стоит ему только появиться, и — клянусь! — он будет принят подобающим образом.

Элиза была весь день погружена в мечтательную задумчивость — казалось, что она во власти каких-то волшебных чар. Вечером ее супруг заметил, что она с нетерпением дожидается отхода ко сну. Их спальни, как и полагается, были смежными, так что Воланж, действуя в согласии со своей сообщницей, мог бесшумно пробраться к изголовью жены; однако следовало повременить, пока она сама вздохом или невольным восклицанием не даст ему повода обратиться к ней.

Я забыл сказать, что по ночам Элиза не терпела у себя в спальне никакого света; оно и понятно! картины, созданные воображением, бывают особенно яркими в полной темноте. Итак, притаившись у постели жены, Воланж подстерегал удобный момент. Он слышал, как Элиза вздыхает, торопя долгожданное забвенье.

— Приди же, — повторяла она, — приди ко мне, о сладостный сон; лишь благодаря тебе мирюсь я с жизнью.

— Я тоже призываю его, — прошептал Воланж так тихо, что Элиза едва могла расслышать, — я тоже призываю сон, ибо лишь он дарует мне счастье, ибо лишь во сне мне дано обладать вами…

Он не успел закончить. Элиза испустила пронзительный крик, Воланж поспешил исчезнуть, на зов госпожи прибежала Жюстина.

— Что случилось, сударыня? — воскликнула она.

— Ах, я умираю; я только что слышала его голос. Помоги мне, если это еще возможно, вернуться к жизни. Я любима, я счастлива. Поторопись же, мне трудно дышать.

Жюстина засуетилась, принялась распускать ленты и подвязки, дала понюхать Элизе ароматическую соль, которая привела ее в чувство, и, продолжая играть свою роль, стала корить ее за то, что она поддалась своим фантазиям, нарушающим ее покой и угрожающим ее здоровью.

— Можешь считать меня глупым ребенком, — сказала ей Элиза, — но это был не сон. Все происходило наяву; я слышала его голос так же отчетливо, как слышу тебя.

— Спокойной ночи, сударыня! Не стану вам больше докучать, а вы постарайтесь успокоиться. Не забывайте: чтобы понравиться сильфу, нужно

хорошо выглядеть, а чтобы хорошо выглядеть, нужно как следует спать.

— Неужели ты оставишь меня, Жюстина? Как ты жестокосердна! Разве ты не видишь, что я вся дрожу? Побудь со мной, пока я не засну, хотя какой уж тут сон при таких волнениях!

Наконец ее прекрасные глаза сомкнулись. Жюстина и Воланж решили, что сильф, перепуганный криком Элизы, не должен возвращаться к ней до следующей ночи. Она и в самом деле тщетно призывала его.

— Мои крики отпугнули его, — вздыхала она на следующий день, опасаясь, что он никогда больше не появится.

— Не думаю, сударыня, — утешала ее Жюстина, — чтобы ваш дух был так робок и чтобы он не предвидел, как на вас подействует его появление. Будьте покойны: он знает обо всем, что у вас на сердце, не хуже вас самих и, быть может, в этот миг притаился где-нибудь здесь и прислушивается к нашей беседе.

— Да что ты говоришь! Меня в дрожь бросает от твоих слов.

— Отчего же? Разве вам не приятно, что ваш сильф способен читать ваши сокровенные мысли?

— Разумеется, не произошло ничего такого, в чем его можно было бы упрекнуть, но в сильфах, как-никак, есть нечто от мужчин, а моя женская стыдливость…

— Помилуйте, какая уж тут стыдливость, коли речь идет о духах? Что зазорного, например, в том, если вы пригласите его вернуться сегодня вечером?

— Ах, к чему притворяться: он знает, как я этого жажду.

Желание Элизы сбылось. Когда она улеглась в постель и погасила свет, Воланж снова прокрался к ее изголовью.

— Как ты думаешь, он придет? — спросила она у Жюстины.

— Если он галантный кавалер, то должен явиться непременно.

— Ах, если бы он по крайней мере мог услышать меня!

— Он вас слышит, — тихонько отозвался Воланж, — только будьте любезны отослать вашу служанку, чье присутствие меня смущает.

— Жюстина, ты можешь идти, — произнесла Элиза дрожащим голосом.

— Что с вами, сударыня? Вы чем-то взволнованы?

— Нет, нет, нисколько. Ступай же, говорю тебе.

Жюстина повиновалась, и, едва Элиза осталась наедине с сильфом, тот спросил:

— Неужели вас пугает мой голос? Как можно бояться того, кого любишь?

— Увы, — отвечала она, — могу ли я без волнения видеть, как сбываются мои сны и как сама я непостижимым образом переношусь из царства грез в действительность? Могу ли я поверить, что один из всевышних духов снизойдет ради меня с небес, осчастливит своим обществом простую смертную?

— Если бы вы знали, — отозвался Воланж, — что все прелести сильфид ничто в сравнении с вашими чарами, вы не придавали бы особенного значения своему успеху. Не думайте, что моя к вам любовь — всего лишь суетное влечение. Эта любовь столь же чиста и возвышенна, как и все мое существо, но вместе с тем она до крайности хрупка. Мы, сильфы, наделены только духовными чувствами; вы, Элиза, обладаете ими наравне с нами, но, чтобы вкусить всю их сладость, вам нужно целиком посвятить мне свою душу. Вы можете сколько угодно тешить себя светскими удовольствиями и забавами, но оставаться выше их, подобно мне.

— Увы, — ответила она все еще дрожащим от волнения голосом, — мне так легко исполнить ваше требование: мир вовсе не привлекает меня. Если его пустые соблазны не смогли покорить мою душу в то время, когда она была еще свободна, то как они могут взять над нею власть теперь, когда она занята вами? Но поведайте, о возвышенный и чистейший дух, как мне вас удержать при себе и чем ублаготворить?

— Я открою вам, — сказал Воланж, — чем мы отличаемся от всех остальных духов вселенной, а тем паче от рода человеческого. Сильф не может быть счастлив сам по себе, его счастье в том, кого он любит. Природа не дала ему способности любить самого себя; и, поскольку он пользуется всеми удовольствиями, проистекающими из этого положения, ему приходится испытывать и все связанные с ним страдания. Судьба предоставила мне право избрать ту половину моего существа, от которой должно зависеть мое счастье, но, коль скоро этот выбор свершился, у нас остается всего одна душа на двоих, так что, лишь сделав вас счастливой, я смогу сам надеяться на счастье.

— Будьте же счастливы! — пылко воскликнула Элиза. — Одна мысль о столь сладостном союзе переполняет меня восторгом и возносит к небе-

сам. Разве можно сравнить эту идеальную связь с тою, которая превращает нас, жалких смертных, в своих рабов? Вы же знаете, что я — увы! — нахожусь во власти Гименея и мне приходится влачить его узы.

— Я знаю об этом, — сказал Воланж, — и постараюсь облегчить ваше бремя.

— Ах, — продолжала Элиза, — не ревнуйте! Мой муж принадлежит, быть может, к числу тех мужчин, в которых менее всего ощутимы присущие им всем пороки, но все они столь убеждены в своих преимуществах и столь гордятся ими, столь снисходительны к собственным недостаткам и столь нетерпимы к нашим, столь неразборчивы в средствах, которыми пользуются, чтобы сначала завлечь нас, а потом поработить, что отдаться в их руки — значит проявить не менее безрассудства, чем слабости.

— Не знаю, поверите ли вы мне, — сказал ей сильф, — но все ваши упреки по адресу мужчин можно отнести также и к сильфидам. Они обворожительны, вкрадчивы, неистощимы на всевозможные уловки — нет такой хитрости, которую бы они не пустили в ход, чтобы обрести над нами власть. Но едва они добиваются своего, как их скромность, нежность и отзывчивость

сменяются капризным своеволием и тираническим властолюбием, не терпящим никаких возражений, так что только испытав к ним любовь, начинаешь понимать, как их следовало бы ненавидеть. Этот властный характер, дарованный им природой, и роднит их с мужчинами. Но, как бы там ни было, дорогая моя Элиза, и те, и другие не будут иметь к нам ни малейшего касательства, если вы полюбите меня столь же сильно, как я вас люблю. Прощайте; мой долг и ваш покой требуют, чтобы я вас оставил. Небо доверило мне заботу о вашей звезде, отныне я буду управлять ее движением, и да будет ее влияние на вас как можно более благотворным.

— Как, вы меня уже покидаете?

— Да, чтобы увидеться с вами завтра в этот же час.

— Прощайте… Нет, постойте: еще одно слово. Могу ли я поделиться с кем-нибудь тем, что от вас услышала?

— У вас есть наперсница, вот ей вы и можете открыться. Жюстина любит вас, а я благоволю к ней.

— А как мне вас называть, говоря с нею?

— В небесах меня зовут Валоэ; на языке сильфов это имя означает «ваш всей душою».

— Ах, теперь это имя подошло бы и мне!

Тут сильф исчез. Сердце Элизы переполняла радость; все ее желания сбылись. Погрузившись в сладостные размышления, она не заметила, как ею овладел сон.

Жюстина была посвящена во все, что произошло, но ей не было нужды рассказывать об этом Воланжу. Она передала ему только, что его супруга осталась от него в восторге.

— Этого мне мало, — сказал ей Воланж. — Я хочу, чтобы в отсутствие сильфа все напоминало ей о его любви. У нее нет от тебя тайн, ты знаешь все ее вкусы — выведай какое-нибудь из ее желаний и сообщи мне: пусть она подумает, что оно было угадано сильфом.

В тот же вечер, стремясь побыть на свободе, Элиза вместе с Жюстиной отправилась прогуляться по одному из тех великолепных парков, которые составляют украшение Парижа, и, хотя все ее мысли были заняты сильфом, естественное любопытство, свойственное молодым женщинам, заставило ее залюбоваться нарядом какой-то незнакомки.

— Что за прелестное платье! — воскликнула она.

Расторопная служанка сделала вид, будто про-

пустила мимо ушей это восклицание, а сама подслушала, как зовут эту модницу, запомнила ее имя и передала его Воланжу.

Час свидания настал, Элиза улеглась в постель и, как только осталась одна, принялась вздыхать:

— Ах, милый мой Валоэ, неужели вы меня забыли? Вот я и одна, а вас все нет как нет.

— Я ждал вас, — отозвался Воланж, — ваш образ не покидал меня и на небесах; я видел только вас среди сонма воздушных духов. А вот вы, Элиза, расставшись со мной, думали не только обо мне.

— Что вы, — решительно возразила она, — никто, кроме вас, меня не интересует.

— И, однако, Элиза, я знаю, что у вас возникло желанье, не имеющее никакого отношения ко мне.

— Вы понапрасну смущаете меня, — сказала она, — сколько я ни роюсь в памяти, не могу припомнить ничего подобного.

— Вы забыли о нем, а я нет; но я не корю вас за него; напротив, мне хотелось бы, чтобы такие желания почаще приходили вам в голову. Я вам уже говорил, что сильфы ревнивы, но это вовсе не значит, что они не прилагают всех усилий, чтобы угодить предмету их любви. Не удивляйтесь, что

я вникаю в малейшие подробности вашей жизни: мне хотелось бы украсить ее розами, не оставив в ней ни единого тернового куста. Ваш супруг, например, внушает мне немало опасений. Как вам удается с ним ладить?

— Я живу с ним, — отвечала Элиза, слегка смутившись, — как и полагается женщине жить с мужчиной, то есть в вечном страхе и недоверии, — какие еще чувства может внушать этот изначально враждебный нам пол? Меня отдали ему в жены, не спросив моего согласия; я подчинилась долгу, а не сердечной склонности. Поначалу он уверял, что любит меня, хотел понравиться мне, иными словами — полностью меня поработить, но это ему не удалось, и в конце концов суетность, которую он именует утонченностью, отвратила его от этого намерения. Мы остались добрыми друзьями, или, если угодно, свободными людьми.

— Неужели он не наделен хотя бы некоторой обходительностью?

— Как раз в той мере, чтобы обольстить женщину, которая, в противоположность мне, не имеет понятия о том, как опасны мужчины.

— Вам еще повезло, ваш супруг не столь несносен, как все остальные. Пока он держится при-

стойно, но как только у вас появятся основания на него жаловаться, он будет без промедления наказан.

— Нет, нет, умоляю вас! — воскликнула Элиза, вздрогнув. — Что бы ни произошло между мною и мужем, вы не должны в это вмешиваться. Вы пользуетесь полным моим доверием, но не следует злоупотреблять им во вред моему супругу. Он и без того несчастен, ибо родился мужчиной — в этом его наказание.

— У вас поистине ангельская душа, милая Элиза; ни один смертный вас недостоин. Но послушайте меня: я еще не рассказал вам, как мы наказываем мужчин. Они привыкли к самым суровым расправам — наше наказание куда мягче. Как только ваш супруг провинится, сообщите мне об этом, и в тот же миг его душой овладеет сожаление и раскаяние; он не будет знать покоя до тех пор, пока на коленях не вымолит у вас прощения за свой проступок. Я сделаю больше: я внушу ему те самые чувства, какие вы внушаете мне. Мой дух вселится в вашего мужа, и, таким образом, мы с вами будем неразлучны.

— Только таким образом, — сказала очарованная Элиза, — вы можете внушить мне любовь к нему.

На том и окончилось их очередное свидание.

На следующий день, когда Элиза была занята своим туалетом, Жюстина бросила взгляд на стоявший в будуаре диван и вскрикнула от изумления. Элиза обернулась и увидела, что на нем разложено платье, точь-в-точь как то, которое она приметила во время прогулки.

— Вот как, оказывается, отомстил он мне за желание, которое не было с ним связано! — воскликнула она. — Жюстина, неужели ты все еще не веришь мне? Ведь это не иначе как подарок моего возлюбленного сильфа.

Элиза не могла отвести восхищенных глаз от этого нового чуда. В этот момент вошел Воланж:

— Что за прелестная обновка! — сказал он. — Вашему вкусу, мадам, остается только позавидовать. Можно подумать, — продолжал он, внимательно разглядывая ткань, — что это платье сшито руками феи.

Это выражение пришлось кстати: Элиза так покраснела, словно ее тайна выплыла наружу.

Вечером она принялась расточать похвалы предупредительности и услужливости своего милого маленького сильфа, а тот, в свою очередь, наговорил ей столько изысканных и нежных слов о том, как приятно ухаживать за любимой,

как он счастлив исполнять каждое ее желание, что она не переставала повторять:

— Нет, ни единому смертному недоступен подобный язык; лишь небесные духи способны так думать и так говорить.

— Должен, однако, предупредить вас, — сказал ей сильф, — что вскоре ваш супруг превратится в точное мое подобие. Я стремлюсь облагородить его душу, сделать ее столь нежной, отзывчивой и внимательной ко всем вашим желаниям, сколь это позволит мне природа. Вы, Элиза, без сомнения, будете довольны этими переменами, а ваше счастье для меня важнее всего; но не останусь ли тогда внакладе я сам?

— Неужели вы полагаете, — отвечала она, — что я не припишу вам ту заботу, которой он постарается меня окружить? Разве он не похож на статую, в которую вы намереваетесь вдохнуть жизнь?

— Стало быть, вы будете любить в нем меня и, зная, что он одухотворен мною, попытаетесь сделать его счастливым?

— Нет, Валоэ, это было бы обманом, а я ненавижу всяческое притворство. Я люблю вас, а вовсе не его; проявлять по отношению к нему те чувства, которые я питаю к вам, значило бы

обманывать вас обоих.

Тут Воланж, не желая продолжать этот щекотливый разговор, поспешил сменить тему и спросил у Элизы, чем она занималась днем.

— Да разве вы сами не знаете этого? — отвечала она. — Ведь от вас ничего не укроется. В свободные минуты я чертила вензель, сплетенный из начальных букв наших имен. Я недурно рисую цветы, но мне никогда не удавалось изобразить более прелестную гирлянду, чем та, которая составляет эту монограмму.

— Вы наделены еще одним редкостным, полным возвышенного очарования талантом, — напомнил ей сильф. — У вас чудный голос и отменный слух: звуки арфы, которой коснулась ваша рука, перекликаясь с переливами вашего голоса, привели бы в восторг обитателей воздушной стихии.

Элиза пообещала ему заняться игрой на арфе, и они расстались, восхищенные и очарованные друг другом.

— Я часто бываю одна, — сказала Элиза мужу на следующее утро, — музыка скрасила бы мое одиночество. Арфа теперь в моде, я хочу научиться играть на ней.

— Нет ничего легче, — ответил Воланж с участ-

ливым видом, и в тот же вечер Элиза получила арфу.

Сильф явился в обычный свой час; видно было, что он польщен той живостью, с которой Элиза уловила подсказанную им мысль и воспользовалась ею.

— Ах, — вздохнула она, — вы куда счастливее меня, вы угадываете мои желания и стараетесь их предупредить. Это поистине бесценный дар — читать в сердце у того, кого любишь, даже не давая ему времени на обдумывание желаний. Таково ваше предо мною преимущество.

— Утешьтесь, — сказал ей Воланж, — ваша любезность стоит моей предупредительности: я исполняю собственную волю, когда предугадываю вашу, а вы, дожидаясь выражения моей, находите удовлетворение в том, что вами руководит моя душа. Как ни лестно предугадывать чужие желания, удовлетворять их гораздо приятнее. Я руководствуюсь в своих поступках самолюбием, вы — любовью.

Столь изысканные речи совершенно обворожили Элизу. Она готова была без конца слушать милый голос, но, щадя ее, Воланж счел за благо удалиться, едва заметил, что она слегка взволнована; сон успокоил ее.

Проснувшись на следующее утро, она первым делом подумала о своем сильфе, а вслед за тем вспомнила об арфе, которую ей вчера доставили, — это был простой и ничем не отделанный инструмент. Она поспешила в свой рабочий кабинет и увидела, что арфа была теперь украшена росписью, изображавшей цветочную гирлянду, — цветы казались совсем живыми. Элиза была столь же удивлена, сколь и обрадована.

— Нет, — повторяла она, — нет, кисть в руке смертного вовек не создавала подобного чуда!

Впрочем, можно ли было усомниться в том, что это и впрямь подарок сильфа? Два блестящих крылышка венчали эту арфу — без сомнения, ту самую, на которой Валоэ играл среди сонма небесных духов.

В то время как Элиза мысленно осыпала его благодарностями, явился музыкант, приглашенный для того, чтобы давать ей уроки.

Г-н Тимоте, которого Воланж посвятил в свои планы, начал с восторженной похвалы арфе. Как полнозвучны, как гармоничны аккорды этого прекрасного инструмента! Что на свете сравнится с его величавым и сладостным звучанием? Арфа, по его словам, способна творить те же чудеса, которые некогда творила лира.

— Но более всего, — продолжал этот новоявленный Орфей, — арфа выигрывает тогда, когда ее аккорды сливаются со звуками мелодичного и нежного голоса. Заметьте, наконец, мадам, что ничто так не развивает прелестную руку и гибкие пальцы, как игра на арфе, а когда женщина в порыве вдохновения склоняет голову к этому дивному инструменту, вслушиваясь в исторгаемые им звуки, ее черты оживляются, взор загорается огнем — словом, она становится вдвое прекрасней.

Элиза прервала этот дифирамб, спросив у своего учителя, не состоит ли он в родстве со знаменитым Тимотеусом,{207} музыкантом Александра Великого?

— Разумеется, сударыня, — отвечал тот, — мы принадлежим к одному семейству.

Элиза приступила к первому уроку. Музыкант, судя по всему, был очарован великолепным звучанием ее арфы.

— Что за божественный инструмент! — то и дело восклицал он.

{207} Комментарии: 2.207

Тимотеус. — Речь идет о полулегендарном греческом музыканте и дифирамбическом поэте Тимотеусе из Милета (ок. 446–357 до н. э.). Только жил он и сочинял до Александра Македонского. Впрочем, с Македонией он был действительно связан: последние годы жизни он провел при дворе македонского царя Филиппа II.

— Совершенно с вами согласна, — тихонько вторила ему Элиза.

— А теперь, сударыня, попробуйте коснуться вот этих струн.

Элиза тронула их трепетной рукой, и каждый порожденный ими звук эхом отозвался в ее сердце.

— Изумительно, сударыня, просто изумительно! — восторгался г-н Тимоте. — Надеюсь, что вскоре вы научитесь петь под собственный аккомпанемент, и, таким образом, мои стихи и моя музыка обретут наконец достойную исполнительницу.

— Стало быть, вы пишете и стихи? — спросила, улыбаясь, Элиза.

— Ах, сударыня, — отвечал Тимоте, — стихотворство — одна из самых диковинных вещей на свете; я и сам с трудом представляю, что это такое. Я слышал, что у каждого поэта должен быть его собственный гений, но до последнего времени почитал такого рода россказни чистейшим вздором, и вот теперь убедился, что все это истинная правда, клянусь вам. Оказывается, такой гений есть и у меня, только прежде я об этом не знал. Поверите ли, что еще вчера вечером я даже не подозревал о его существовании.

— И как же вам удалось сделать это открытие?

— Очень просто. Минувшей ночью мой гений явился мне во сне и продиктовал вот такие стихи:

Ни славы легковесной, ни наград
Я больше не хочу; златой возок Авроры
Другие воспоют, и возвращенье Флоры
Весеннею порой другие возвестят.
Иная красота теперь мне тешит взгляд,
И пусть Авроры лик встречают птичьи хоры,
Пусть Флора ткет свои цветочные узоры —
Элиза для меня милее во сто крат.

— Мосье Тимоте, — воскликнула растроганная Элиза, — неужто вы сами их сложили?

— Мадам, — отвечал тот, — я в жизни своей не сложил ни единой строчки. Их нашептывал мне мой гений. А это стихотворение он даже положил на музыку, и сейчас вы услышите, как славно у него это получилось... Ну, сударыня, — спросил он, окончив пение, — как вам это понравилось? Не правда ли, неплохо завести знакомство с ка-

ким-нибудь гением вроде моего?

— А известно ли вам, сударь, кто такая эта Элиза, которую вы воспеваете?

— Полагаю, мадам, что это просто-напросто красивое имя наподобие Фелиды, Ириды или Клориды. Мой гений избрал его, потому что оно особенно благозвучно.

— Стало быть, вы не стараетесь уразуметь смысл собственных песен?

— Нет, сударыня, я в него не вникаю; главное — чтобы они были мелодичны и преисполнены чувства, от песни большего и не требуется.

— Я попросила бы вас, — закончила она, — чтобы об этой песне не знала ни одна живая душа, кроме меня, а если ваш гений внушит вам новые творения, мне хотелось бы быть их единственной слушательницей.

Она с нетерпением ждала своего сильфа, чтобы поблагодарить его за вдохновленные им стихи. Он попробовал отпираться, но так слабо, что она окончательно убедилась в его причастности к этому делу. В конце концов он признался, что не без основания почитают вдохновленными свыше тех людей, которым как бы сами собой приходят на ум замечательные мысли.

— Эти люди, — сказал он, — являются избран-

никами сильфов, — у каждого из них свой дух, которого они называют гением. Нет ничего удивительного в том, что и мосье Тимоте свел с одним из них знакомство. Если этот гений и впрямь диктует ему стихи, которые приходятся вам по вкусу, то этого моего сородича можно считать счастливейшим из обитателей воздушной стихии, кроме, разумеется, меня самого.

Гений г-на Тимоте с каждым днем становился все щедрее, а Элиза все более восхищалась похвалами, которые он ей воздавал. Тем временем Воланж готовил ей новый сюрприз, о котором сейчас и пойдет речь.

Читатель помнит, наверное, что она забавлялась, чертя вензель, в котором начальная буква имени Валоэ была сплетена с начальной буквой ее имени. И вот однажды, собираясь на званый обед, она решила надеть свои бриллианты, отперла шкатулку, в которой они хранились, — и что же? Оказалось, что ее браслеты, ожерелья, диадема и серьги украшены тем самым вензелем, который она придумала. Удивление и замешательство овладели ею. Что подумает Воланж? В чем он ее заподозрит? Она продолжала заниматься своим туалетом, когда в комнату вошел Воланж и, бросив взгляд на ее драгоценности,

воскликнул:

— Что за прелестная выдумка — соединить в одной монограмме наши инициалы! Льщу себя надеждой, мадам, что за этим таится хоть капля искреннего чувства.

Элиза покраснела, не в силах справиться со смущением, и тем же вечером строго отчитала своего сильфа.

— Вы подвергли меня опасности, — сказала она, — одна мысль о которой до сих пор приводит меня в дрожь. Еще немного — и мне бы пришлось либо рассказывать мужу небылицы, либо оказаться перед ним в крайне сомнительном положении. Хотя преимущества, извлекаемые мужчинами из нашей искренности, толкают нас к притворству, мне не хотелось бы воспользоваться этой уловкой, ибо она идет вразрез с моей совестью.

Валоэ принялся расхваливать ее порядочность:

— Ложь, пусть даже маленькая, всегда является злом, и я был бы огорчен, если бы послужил его причиной. Но от меня не ускользнуло сходство моего имени с именем вашего мужа; я заранее знал, что он не станет доискиваться до подлинного смысла монограммы. Я начал приучать его к сдержанности: это первейшая добродетель

каждого супруга.

Конец зимы прошел в подобных же милых сюрпризах со стороны сильфа и в непрестанных выражениях изумления и восторга со стороны Элизы.

Наконец наступила та благодатная пора, когда все на свете радуется пробудившейся природе.

У Воланжа была загородная усадьба.

— Мы отправимся туда, как только вам будет угодно, — сказал он жене, и, хотя слова эти были произнесены самым ненавязчивым и любезным тоном, Элиза почувствовала в них непреклонную мужскую волю. Она поделилась своей печалью с Валоэ.

— Я не вижу в его предложении ничего огорчительного, — сказал он ей. — Ничто не привязывает вас к городу, а деревня в эту пору — настоящий райский уголок, особенно для столь нежной и добродетельной души, как ваша. Щедрость природы представляется такой душе прообразом ее собственной щедрости — ведь природа расточает свои милости на тысячу ладов. Леса, покрытые густой листвою, цветущие сады, зреющие нивы, усеянные цветами луга, стада, только что принесшие приплод и резвящиеся под первыми лучами солнца, — все в природе отмечено этим

благодушием. Зимой она кажется мрачной и угрожающей, осенью — щедрой и тучной, но тогда она стонет от преизбытка жизненных соков, словно ей в тягость ее собственная щедрость; летом же, когда природа наделяет людей своими плодами, удручающие картины тяжкого труда неотделимы от образов ее изобилия. Лишь весной она с волшебной легкостью вершит свои чудеса и влюбленно взирает на творимые ею благодеяния.

— Природа прекрасна, я это знаю, — со вздохом отозвалась Элиза, — но будет ли она прекрасной для меня там, где я связала свою судьбу с судьбою смертного, где дала клятву принадлежать ему до конца, где меня повсюду будут преследовать унизительные воспоминания?

— Нет, дорогая моя Элиза, — возразил ей сильф, — в природе нет ничего унизительного; это мы сами унижаем ее, когда от нее отступаемся. Назначение яблонь — цвести и приносить плоды, назначение смертной женщины — быть супругой и матерью. Если бы вы посмели воспротивиться столь мудрому предначертанию, я не полюбил бы вас.

— Как? — изумилась Элиза. — Неужели чистейший дух, возвышенный гений может любить во

мне то, что делает меня недостойной его?

— Будьте такой, как вы есть, дитя мое; моя к вам любовь — любовь сильфа; ваши земные чувства не вызывают во мне ревности. Пусть только ваша душа останется прекрасной и непорочной, пусть она будет моей, большего мне не надо. Что же до ваших земных прелестей, то они подвластны законам этого бренного мира: уж если кто-то из смертных соблазнился ими, то пусть он ими и наслаждается. Это не только не огорчает, но даже радует меня: ведь ваш первейший долг — даровать счастье своему супругу.

— Ах, дайте мне по крайней мере время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. В деревне мы с мужем будем видеться чаще, и, быть может, я научусь исполнять этот долг, но только, ради бога, не покидайте меня.

— Не бойтесь, я всегда буду подле вас; покой и тишина мне по нраву.

В усадьбе той было дикое и уединенное местечко; Элиза называла его своею пустынью и любила проводить там время в одиночестве, читая или предаваясь мечтам. Тотчас же по приезде она отправилась в этот уголок. Все в нем переменилось: вместо мшистого пригорка, служившего ей сиденьем, она обнаружила настоящий трон,

покрытый зеленою муравой и причудливо усеянный фиалками. Кусты сирени склонялись над этим троном, осеняя его наподобие балдахина, а его оградой служил шиповник в цвету, чей аромат сливался с восхитительным благоуханием сирени.

Вернувшись домой, Элиза первым делом поспешила поблагодарить мужа за внимание, которое он ей оказал, украсив ее маленькую обитель.

— Это, наверное, выдумка садовника, — ответил он ей. — Я весьма ему благодарен за столь счастливую мысль.

Завидев садовника, Элиза окликнула его:

— Как я вам признательна, Илер, за то, что вы посадили в моем уголке такие прелестные кусты.

— О каких, сударыня, кустах вы толкуете? — отозвался хитроватый поселянин. — Только этой заботы мне не хватало! Да я и с огородом-то едва управляюсь. Если вам угодно, чтобы я следил и за кустами, нужно дать мне побольше помощников.

— Но ведь нашли же вы время позаботиться о моем уголке: я в восторге и от навеса из сирени, и от ограды из шиповника.

— Ах, сударыня, и сирень, и шиповник рас-

тут, благодарение богу, сами собой, без моего участия.

— Как? Неужели вы не приложили ко всему этому руку?

— Нет, сударыня, но, коли будет ваша воля, за мной дело не станет. Подожду, пока в этих кустах перебурлят соки, а потом и подрежу их.

— А разве не вы устроили там сиденье из дерна, усеянного фиалками?

— Вы уж простите меня, сударыня, но ни из дерна, ни из фиалок супа для вас не сваришь. Моя забота — огород, а все эти ваши тонкости касательства ко мне не имеют.

После этого разговора Элиза больше не сомневалась, что превращением своего дикого уголка в очаровательную беседку она обязана сильфу.

— Ах, — воскликнула она в восторге, — эта беседка станет храмом, где я буду ему поклоняться. Льщу себя надеждой, что он там появится; но неужели он так навсегда и останется невидимкой?

Он, по обыкновению своему, явился вечером.

— Валоэ, — обратилась к нему Элиза, — моя беседка восхитительна, но — как бы вам это сказать? — чтобы она сделалась поистине прекрасной, вам нужно сотворить последнее чудо

— предстать там предо мною в зримом обличье: только этого мне не хватает для полного счастья.

— Вы, Элиза, просите у меня то, что от меня не зависит. Властелин воздушных духов дарует иногда подобную милость какому-нибудь из своих приближенных, но это случается так редко. К тому же он сам решает, какое обличье должен принять счастливчик, и чаще всего, ради собственной забавы, избирает для него самую диковинную внешность.

— Ах, — сказала Элиза, — мне бы только вас увидеть, а уж в каком обличье вы явитесь — это меня мало заботит.

Сильф обещал ей, что возьмется выхлопотать эту милость.

— А теперь расскажите, — продолжал он, — как прошло ваше путешествие?

— Преотлично. Муж беседовал со мной так любезно, что любезность его казалась почти естественной; я без труда заметила плоды благотворного воздействия, которое вы на него оказываете. Однако, сколько ни скрывай врожденную мужскую властность, она все равно дает о себе знать; ее можно умерить, но невозможно искоренить, разве что посредством долгих усилий.

— Не отчаивайтесь, — успокоил ее Валоэ, — его

душа в моей власти. А что вы намерены делать завтра, милая моя Элиза?

— С утра я думаю принять ванну.

— Тогда, с вашего позволения, я загляну к вам в ванную комнату и немного побуду там с вами.

Когда Элиза проснулась, ей доложили, что ванна для нее готова. Она отправилась туда в сопровождении своей верной Жюстины, но, памятуя о том, что к ней должен наведаться сильф, распорядилась, чтобы шторы в ванной были задернуты и свет едва проникал в помещение, — ведь стыдливость и застенчивость — родные сестры.

Погрузившись в ванну, Элиза посмотрела в трюмо, стоявшее напротив, и увидела в нем какие-то смутные очертания; то был ее собственный портрет, написанный на стекле, которое Воланж распорядился вставить в раму вместо зеркала. Столь волшебный эффект достигался весьма простым способом: в оправе были проделаны пазы, по которым могли бесшумно скользить, сменяя друг друга, зеркало и портрет.

Элиза была изображена стоящей на облаке и окруженной духами воздушной стихии, которые протягивали ей цветочные гирлянды. Сначала она приняла увиденное за отражение

находившихся перед зеркалом предметов, но, вглядевшись внимательней в поразившую ее картину, поняла, что это не так, и пришла в изумление.

— Жюстина, — обратилась она к служанке, — отдерни-ка шторы. Я или грежу наяву, или вижу… О, небо! — воскликнула она, едва на картину упал луч света. — Я и впрямь вижу в этом зеркале свой собственный образ!

— А я, сударыня, вижу свой, — сказала Жюстина. — Что же здесь удивительного — взглянуть в зеркало и увидеть в нем свое отражение?

— Подойди поближе, стань вот сюда. Неужели это просто-напросто отражение?

— А что же еще?

— Что еще? Разве ты не видишь это облако, цветы, сонмы духов и меня, стоящую среди этого неземного великолепия, вознесенную до небес?

— Вы, сударыня, должно быть, еще не проснулись как следует и продолжаете досматривать свои сны.

— Нет, Жюстина, я вовсе не сплю; но теперь мне понятно, что эта картина создана не для твоих глаз. О милый мой Валоэ! Это вы ее написали! Сколь изобретательна ваша влюбленность!

Элиза целый час не сводила взгляда с картины.

Она ждала своего сильфа, но его все не было.

— Он уже побывал здесь, — решила она наконец, — и оставил волшебный след своего мимолетного пребывания. Что же, однако, скажет мой муж? Как объяснить ему это чудо?

— Ах, сударыня, — успокоила ее камеристка, — если эта картина незрима для моих глаз, то и он ее не увидит.

— Ты права, но все же я так волнуюсь…

С этими словами Элиза снова подняла взгляд на картину, но вместо нее увидела свое отражение в зеркале.

— Вот теперь я спокойна, — продолжала она, — портрет исчез. Мой любезный сильф не хочет доставлять мне даже малейших неприятностей. Как же мне не любить этого духа, который только тем и занят, что исполняет все мои желания и охраняет мой покой?

Горя желанием поскорее узнать, чем увенчались хлопоты сильфа, связанные с ее просьбой, Элиза сказала вечером мужу, что устала от прогулки и хочет тут же отойти ко сну. Сильф не заставил себя ждать.

— Не знаю, дорогая Элиза, — сказал он ей, — будете ли вы довольны тем, чего я добился. Мне дозволено предстать перед вами в зримом об-

личье.

— Ах, я только этого и желаю.

— Но случилось то, что я предвидел: властелин воздушной стихии, которому ведомы все наши помыслы, повелел мне принять обличье… как вы думаете, чье?

— Не знаю. Ах, не томите же меня так долго!

— Вашего мужа.

— Моего мужа?

— Я старался как мог, чтобы мне позволено было избрать внешность, которая больше бы вам понравилась, но тщетно. Он угрожал мне своей немилостью, если я откажусь ему подчиняться, и, поставленный перед выбором, я решил, что это лучше, чем ничего.

— И правильно сделали! А когда же я вас увижу?

— Завтра, на закате солнца, в вашей маленькой обители.

— Я буду там, ибо полностью на вас полагаюсь.

— Я не обману вашего доверия.

— И однако, вы не явились ко мне сегодня утром, как обещали. Я была тронута вашим знаком внимания, но я ждала вас.

— Я был неподалеку, но, смущенный присутствием Жюстины…

— Я допустила оплошность: мне нужно было отослать служанку. Но обещаю вам, что впредь этого не повторится, в беседку я приду одна.

Предстоящее свидание не переставало беспокоить Воланжа.

«Она готова отдаться мне, — думал он. — Следует ли воспользоваться заблуждением, в которое я ее ввел, чтобы испытать ее верность? Будь я заранее убежден, что она станет мне сопротивляться, я с легким сердцем принялся бы домогаться близости. Но если бы я был убежден в этом по-настоящему, мне незачем было бы устраивать это испытание. Вот неразрешимая задача! Поразмыслим, однако; попробуем прикинуть, какой из путей менее опасен. Должен ли я выяснить то, что хочу, или мне лучше пребывать в неведении? Прежде всего неведение оставляет место для подозрительности, а могу ли я отвечать за свои подозрения? Когда ей уже поздно будет искать себе оправдания, я могу оскорбить ее намеком на то, что ее обманутое воображение одержало верх над добродетелью. И как бы я потом ни корил себя за этот шаг, мой поступок будет непоправим. Если же, напротив, я подвергну ее испытанию и она выдержит его, я почувствую себя слишком уж счастливым. А если не выдержит?.. О, если не

выдержит, я окончательно уверюсь, что никакая женская добродетель не в силах устоять перед натиском духа. Да, но ведь дух этот наделен телом, и даже если это тело — мое, я не очень-то буду благодарен за это Элизе… Словом, я нахожусь в настоящем лабиринте, входя в который, предусмотрел все, вот только не подумал, как мне самому из него выбраться. Но довольно ломать голову; вечером я отправлюсь в беседку, а там будь, что будет».

Исподтишка наблюдая за Элизой, Воланж не упускал из виду ни единого ее шага. Он видел, что она выбрала для вечерней прогулки изящное, но скромное платье; сдержанность ее туалета несколько успокоила его. Не ускользнуло от Воланжа и то обстоятельство, что весь день ею владело блаженное и ясное настроение, говорившее о какой-то безгрешной радости.

Тем временем Элиза нетерпеливо следила за движением солнца. Наконец долгожданный миг настал; Воланж, который незадолго перед тем на глазах Элизы вышел из дому в охотничьей куртке, первым направился в беседку, переодевшись по дороге в изысканнейший наряд. Элиза поспешила туда же и, заметив его издалека, едва не лишилась чувств от волнения. Он устремился

к ней, протянул ей руку и, увидев, что она от волнения вся дрожит, усадил ее на маленький зеленый трон. Придя в себя, Элиза увидела, что сильф стоит перед нею на коленях.

— Неужели мой вид внушает вам страх? — спросил он. — Разве я не описал вам его заранее? И разве не пожелали вы сами меня увидеть? Если я вам неприятен, подайте знак, и я тотчас исчезну.

— Нет, нет, не корите меня за невольную слабость. Смятение, в которое вы меня повергли, объясняется скорее умилением и радостью, нежели страхом.

«Дело плохо, — подумал Воланж, — она уже умилена; что же будет дальше?»

— Ах, дорогая Элиза, — продолжал он вслух, — если бы я только был волен избрать себе внешность того из смертных, чьи черты были бы вам приятны! Как, должно быть, смешон любовник в обличье мужа!

— Нисколько, — ответила она, улыбаясь. — Не скрою, мне было бы отрадней узреть вас в виде какого-нибудь цветка, который я люблю, или в виде одного из тех пернатых, которые, подобно вам, населяют воздушную стихию, но уж если вы предстали предо мною в виде человека, мне столь же приятно узнать вас в обличье моего мужа, как и в

обличье любого другого мужчины. Мне кажется даже, что вы чем-то облагородили его внешность. Разумеется, я вижу в вас Воланжа, но ваша душа придает его взгляду какое-то необычайно возвышенное выражение; ваш голос, исходя из его уст, наделяет их поистине божественной прелестью, а во всех его движениях я замечаю такое изящество, каким не может обладать тело, наделенное душой простого смертного.

— Что ж, если я нравлюсь вам в том обличье, в каком вы меня видите, я могу оставаться в нем всегда.

— Вы просто очаровательны.

— А будете ли вы счастливы со мной? — спросил сильф, целуя ей руку.

Элиза покраснела и отдернула руку:

— Вы забываете, что я люблю в вас сильфа, а не мужчину; Валоэ для меня — только дух, так же как Элиза для него — только душа. Если вы не смогли облечься смертной плотью, не замутив чистоту вашего существа и вашей любви, расстаньтесь с этим унизительным обличьем и не заставляйте меня больше краснеть от опрометчивости моих желаний.

«Превосходно, — подумал Воланж, — но я приближаюсь к моменту поистине критическому».

— Элиза, — произнес он вслух, — теперь уже поздно притворяться. Я сделал то, что вы хотели, но знайте, чего мне это стоило. «Я согласен исполнить твою просьбу, — сказал мне владыка гениев. — Повинуясь желанию женщины, ты станешь человеком. Но не льсти себя надеждой, что ты будешь обладать лишь видимостью человеческих чувств. Ты будешь любить, как любят все смертные, ты должен будешь познать все сладости и все муки любви. И если любовь твоя окажется несчастной, не посмей нарушать покой воздушной стихии своими жалобами и стонами. Я изгоняю тебя из небесного царства до той поры, пока Элиза не уступит всем твоим желаниям». Я надеялся, — прибавил сильф, — что вы уступите моим мольбам, или, вернее, рассчитывал вам понравиться — ведь повеление моего владыки непреложно. Судите же теперь сами, люблю ли я вас и следует ли меня за это наказывать.

Эта речь повергла Элизу в отчаянье.

— О безрассуднейший и жесточайший из воздушных гениев! — вскричала она. — Что вы наделали, к чему вы меня толкаете!

Воланж вздрогнул, увидев, что глаза его жены наполнились слезами.

— Отчего вы не посоветовались со мною? —

продолжала она. — Разве я пожелала вас увидеть ради моего позора и ваших мук? И, каково бы ни было это желание, как вы могли подумать, что оно возобладает над моим уважением к вам и над моей собственной честью? Я люблю вас, Валоэ, повторяю это вам еще раз; если бы для искупления причиненных мною вам страданий потребовалась всего лишь моя жизнь — вам не о чем было бы беспокоиться. Но честью я дорожу больше, чем жизнью, больше, чем любовью.

Воланж снова вздрогнул от радости.

— Я не могу порицать вас, — сказал он, — за избыток порядочности. Но посмотрите, как я похож на Воланжа: можно сказать, что не я, а он сам опускается перед вами на колени, он не сводит с вас влюбленного взгляда, он просит у вас награды за самую верную, самую нежную любовь.

— Нет, как бы вы ни были похожи, вы это вы, а он это он, и лишь ему я не могу отказать в том, что вы от меня просите. Поднимайтесь же, уходите и чтобы впредь я вас больше не видела. Оставьте меня, говорю вам. Уж не безумец ли вы? Что за дерзкая радость сверкает в ваших глазах? Неужели у вас еще хватает бесстыдства на что-то надеяться?

— Да, милая моя Элиза, я надеюсь, что ты бу-

дешь жить только для меня.

— Вы забываетесь, сударь: это уже оскорбление!

— Послушай!

— Я ничего не хочу слышать.

— Одно-единственное слово обезоружит тебя.

— И это слово — «прощай навеки».

— Нет, разлучить нас может только смерть: узнай в сильфе своего мужа. Тот Воланж, которого ты ненавидела, и есть тот Валоэ, которого ты любишь.

— О, небо!.. Нет, нет, вы обманываете меня, вы пользуетесь своим сходством…

— Уверяю тебя, все это правда; Жюстина может подтвердить, что я не шучу.

— Жюстина?

— Она была моею сообщницей; она помогла мне ввести тебя в заблуждение, она поможет тебе и избавиться от него.

— Вы мой муж? Возможно ли это? Я все еще дрожу. Но скажите, кто же тогда сотворил все эти чудеса?

— Их сотворила любовь, и скоро ты узнаешь, как именно.

— Ах, если все это правда…

— Если все это правда, милая моя Элиза, то

скажи мне: есть ли на свете хоть один мужчина, достойный любви?

— Есть, и этот мужчина — мой муж.

Расспросили Жюстину; она не только призналась во всем, но и поклялась, что Валоэ — это не кто иной, как Воланж.

— Вот теперь, — воскликнула Элиза, бросаясь в объятья своего супруга, — вот теперь я чувствую, что по-настоящему очарована, и надеюсь, что только смерти под силу развеять эти чары.

АННЕТТА И ЛЮБЕН

Истинная история

Перевод Ю. Стефанова

Как ни опасно говорить детям всю правду, еще опасней все от них скрывать. Есть поступки, которые считаются предосудительными с точки зрения законов, но вовсе не являются таковыми в глазах природы; сейчас мы увидим, в какую бездну может она завлечь пребывающую в неведении невинность.

Аннетта и Любен были детьми двух сестер. Столь тесные кровные узы считаются несовместимыми с узами брака, но Аннетта и Любен и не подозревали, что в мире существуют иные законы, кроме простых установлений природы. С восьмилетнего возраста они вместе пасли овечек на веселых берегах Сены; им пошел шестнадцатый год, но юность их отличалась от детства разве что окрепшим чувством взаимной привязанности.

Непокорным смоляным кудрям Аннетты было тесно под простенькой шляпкой. Большие го-

лубые глаза сияли сквозь длинные ресницы, с невинной откровенностью говоря обо всем том, что тщетно пытаются выразить угасшие очи наших холодных кокеток. Розовые губки так и просили поцелуя. Загорелое личико оживлял румянец, придавая щекам сходство с персиками. А то, что покровы стыда таили от солнечных лучей, посрамляло белизну лилий; казалось, что видишь головку очаровательной брюнетки на плечах прелестной блондинки.

У Любена был решительный, открытый и веселый вид, свидетельствующий о независимом и бодром нраве. Во взгляде его горело желание, в переливах смеха звучала радость. Улыбаясь, он выставлял напоказ белые как слоновая кость зубы. Глядя на его пухлые и свежие щеки, так и хотелось их потрепать. Прибавьте ко всему этому вздернутый нос, ямочку на подбородке, белокурые волосы, завитые руками природы, стройный стан, непринужденные повадки и простодушие золотого возраста, которому не в чем сомневаться и нечего стыдиться. Таков был облик двоюродного брата Аннетты.

Философия приближает человека к природе; сходным образом действуют порой и естественные влечения. Немудрено, что моим пастушкам

была присуща философская жилка, хотя сами они, разумеется, и не подозревали об этом.

Поскольку им нередко случалось продавать молоко и ягоды в городе, где у них не было отбою от покупателей, они имели возможность понаблюдать, что делается на свете, и не упускали случая поделиться друг с другом своими впечатлениями. Сравнивая свой удел с судьбою самых богатых горожан, они считали себя и более счастливыми, и более мудрыми.

— Эти безумцы, — говорил Любен, — даже в самые погожие деньки не вылезают из своих каменных нор. Наш шалаш куда милее тех роскошных темниц, которые у них называются дворцами, — не правда ли, Аннетта? Когда лиственный навес, под которым мы укрываемся, вянет от зноя, мне достаточно пойти в соседнюю рощу, чтобы через каких-нибудь полчаса у нас было готово новое жилище, куда краше прежнего. Воздуха и света здесь вдоволь. Веткой меньше — и мы наслаждаемся свежестью, веющей с востока или с севера; веткой больше — и мы укрыты от жгучих лучей с юга или от дождей с запада. Не такое уж это дорогое удовольствие — правда, Аннетта?

— Разумеется, — отвечала она. — Я тоже не

понимаю, Любен, отчего это горожане хотя бы в летнюю пору не переселяются сюда, чтобы жить парочками в уютных шалашах. А видел ли ты ковры, которыми они так хвастают? Но куда им до наших постелей из листьев! Ах, как сладко в них спать и как приятно просыпаться!

— А заметила ли ты, Аннетта, сколько они прилагают стараний, чтобы придать стенам, которые их окружают, сходство с сельскими видами? Но ведь картины, которым они тщатся подражать, созданы природой для нас; для нас озаряет их солнце, для нас чередуются времена года, внося в них разнообразие.

— Ты прав, — соглашалась Аннетта. — Как-то я принесла земляники одной знатной даме — она развлекалась музыкой. Если бы ты знал, Любен, что за шум там стоял! Я и подумала: да что же ей мешает послушать когда-нибудь утром наших соловьев? Эта несчастная женщина возлежала на подушках и так зевала, что страшно было смотреть. Я спросила у прислуги, что с ней; мне ответили, что у нее недомогание. Ты не знаешь, что такое недомогание, Любен?

— Не знаю, но думаю, что это одна из тех болезней, которые можно подцепить в городе и от которых у знатных господ отнимаются ноги.

Как это печально, не правда ли, Аннетта? Если бы тебе нельзя было бегать по лужайкам, ты, я думаю, совсем приуныла бы.

— И не говори! Я так люблю бегать, особенно вместе с тобой.

Такова была, в общих чертах, философия Любена и Аннетты. Не имея понятия о зависти и честолюбии, они не видели в своем положении ничего тягостного, ничего унизительного. Теплое время года они проводили в зеленом шалаше, искусно построенном руками Любена. К вечеру пастушкам приходилось гнать стадо в деревню, но там усталость и испытанные за день наслаждения обещали им спокойный отдых. Чуть свет они снова отправлялись в поля, торопясь увидеть друг друга. Сон похищал у них лишь те часы, когда они расставались; он избавлял их от скуки. Однако столь чистое счастье недолго оставалось неомраченным: легкий стан девушки начал понемногу округляться — она не знала, отчего это происходит. Любен тоже не понимал, в чем дело.

Деревенский судья первым обратил внимание на эти перемены.

— Храни тебя господь, Аннетта! — обратился он к ней. — Ты, кажется, изрядно пополнела.

— Так оно и есть, сударь, — отвечала Аннетта,

сделав реверанс.

— Тогда расскажи мне, что же приключилось с твоей талией? Неужели ты обзавелась любовником?

— Любовником? Нет, что-то не припоминаю.

— Ах, дитя мое, в наше время никому на свете нельзя доверять, а ты, я думаю, наслушалась болтовни какого-нибудь из наших парней.

— Что правда, то правда: я люблю их послушать, но разве от этого может испортиться фигура?

— Да не от этого, а оттого, что кто-нибудь из них принялся с тобою любезничать.

— Любезничать? Что же здесь особенного? Мы с Любеном целыми днями только этим и занимаемся.

— И ты ему все позволяешь?

— О, господи, ну конечно же! Мы с ним ни в чем друг дружке не отказываем.

— Как это так — ни в чем не отказываете?

— А очень просто: откажи он мне в чем-нибудь, я бы очень огорчилась, ну, а если бы он подумал, что я ему в чем-то отказываю, я огорчилась бы еще сильней. Разве мы с ним не брат и сестра?

— Брат и сестра?

— Ну да, брат и сестра, только двоюродные.

— О, небо! — вскричал судья. — Это меняет

все дело.

— Не будь мы братом и сестрой, мы не стали бы проводить вместе целые дни, не жили бы в одном шалаше. Я слыхала, что пастухов следует побаиваться, но кто же будет бояться двоюродного брата?

Судья продолжал расспрашивать, Аннетта — отвечать, и наконец стало яснее ясного, что вскоре она должна сделаться матерью. Но как можно сделаться матерью, не будучи замужем? Этого Аннетта никак не могла уразуметь. Судья растолковал ей суть дела.

— Неужели, — продолжал он, — солнце не помрачилось, когда это несчастье произошло в первый раз? Неужели небеса не поразили вас громом и молнией?

— Нет, — отвечала Аннетта, — я помню, что в ту пору стояла прекрасная погода.

— Неужели земля не задрожала и не разверзлась?

— Увы, нет: она как была покрыта цветами, так и осталась.

— Да знаешь ли ты, какое преступление вы совершили?

— Я не знаю, что такое преступление, но клянусь вам: все, что мы делали, мы делали с

обоюдного согласия и безо всякого злого умысла. Вы полагаете, что я беременна; я сама никогда бы не догадалась об этом, но раз это так, я очень этим довольна: у меня, быть может, родится маленький Любен.

— Нет, — возразил законник, — ты родишь ребенка, который не захочет знать ни отца, ни матери, который будет стыдиться своего происхождения и вечно корить вас обоих за то, что вы произвели его на свет. Что ты наделала, несчастная, что ты наделала! Как мне тебя жаль! И как мне жаль этого невинного младенца!

При этих его словах Аннетта вздрогнула и побледнела. Вернувшись в шалаш, Любен увидел, что она вся в слезах.

— Послушай, — сказала она ему дрожащим голосом, — ты знаешь, что с нами случилось? Я беременна.

— Беременна? И от кого же?

— От тебя.

— Ты шутишь. Как это могло произойти?

— Судья только что мне объяснил.

— В чем же дело?

— По его словам, мы занимались прелюбодейством, думая, что просто-напросто любезничаем друг с дружкой.

— Забавно! — сказал Любен. — Вот как, оказывается, люди появляются на свет. Но ты плачешь, милая моя Аннетта! Неужели все это огорчило тебя?

— Судья нагнал на меня страху, сказав, что наш ребенок не захочет знать ни отца, ни матери и будет вечно корить нас за то, что мы его породили.

— Отчего же?

— Оттого что мы с тобой брат и сестра, и то, чем мы занимались, считается преступлением. Скажи мне, Любен, ты знаешь, что такое преступление?

— Да, это очень скверное дело. Например, лишить кого-нибудь жизни — преступление, а вот даровать ее — в этом ничего преступного нет. Судья сам не знает, что говорит.

— Ах, милый мой Любен, умоляю тебя: пойди к нему поскорее. Его речи посеяли в моей душе такое смятение, что теперь даже наша любовь мне вовсе не в радость.

Любен помчался к законнику.

— Да что же это происходит, господин судья? Неужто вы хотите, чтобы я не считал себя отцом своего ребенка, чтобы Аннетта не считала себя его матерью?

— Ах ты негодник! — вскричал судья. — Как ты смеешь показываться мне на глаза после того,

как погубил эту невинную девушку?

— Сами вы никуда не гожи, — возразил Любен. — Я и не думал губить Аннетту — она ждет меня в нашем шалаше. Это вы, как она мне сказала, смутили ей душу своими речами, а так обижать девушку никуда не годится.

— Нет, злодей, это ты похитил самое драгоценное из того, чем она обладала.

— Что же это?

— Ее невинность и честь.

— Я люблю ее больше жизни, — сказал пастушок, — и если она потерпела от меня какой-нибудь урон, я готов тут же его возместить. Жените нас, что вам мешает это сделать? Только об этом мы и мечтаем.

— Это невозможно!

— Невозможно? Почему же? Самое трудное, как мне кажется, позади — ведь мы уже стали отцом и матерью.

— В этом-то и состоит ваше преступление! — вскричал судья. — Вам нужно расстаться, бежать друг от друга.

— Бежать друг от друга? И как у вас, господин судья, язык поворачивается говорить мне такое? Кто же тогда позаботится об Аннетте и ее ребенке? Да я скорее умру, чем брошу ее.

— Этого требует закон, — настаивал судья.

— Не всякий прут по закону гнут, — отвечал Любен, нахлобучивая шляпу. — Без вас мы сотворили этого ребенка; без вас, если будет на то воля божья, сотворим и других; и знайте, что мы будем вечно любить друг друга.

— Ах, наглец! Да ты еще вздумал бунтовать против закона!

«Итак, этот жестокосердный злодей хочет, чтобы я бросил Аннетту, — сказал себе Любен. — Пойду-ка я лучше к нашему священнику: он человек добрый и пожалеет нас».

Но священник обошелся с ним еще круче, и Любен ушел от него немало смущенный тем, что, оказывается, он прогневил господа, сам того не ведая: «Ведь зла-то мы никому не причинили», — думал он.

— Милая моя Аннетта, — вскричал Любен, вернувшись в хижину, — все от нас отвернулись, все нас осуждают, но, как бы там ни было, я никогда тебя не покину.

— Я беременна, — отозвалась Аннетта, пряча заплаканное лицо в ладонях, — я беременна — и не могу стать твоею женой. Оставь меня, я безутешна, я уже не рада тому, что ты со мной. Меня терзает стыд, я корю себя за те мгновенья,

которые мы провели вместе.

— Ах проклятый судья, — воскликнул Любен, — без него мы были так счастливы!

С этого времени Аннетту обуяла такая печаль, что ей не мил был белый свет. Когда Любен хотел ее утешить, она заливалась слезами; когда он пробовал ее приласкать — она с отвращением отталкивала его.

— Дорогая моя Аннетт, — спрашивал он, — неужто я уже не тот самый Любен, в ком ты недавно души не чаяла?

— Увы, — отвечала она, — ты стал мне чужим.

Я вздрагиваю, как только ты ко мне подходишь; мне кажется, что младенец, которого чувствую под сердцем и которому должна была бы радоваться, уже проклинает меня за то, что его отцом стал мой двоюродный брат.

— Неужели ты возненавидишь нашего ребенка? — вопрошал Любен, не скрывая рыданий.

— Нет, нет, я возлюблю его всею душой, если только мне не запретят любить, кормить и холить мое чадо. Но это дитя возненавидит свою мать — так сказал мне судья.

— Не слушай ты этого старого черта, — молвил Любен, сжимая ее в объятьях и орошая слезами. — Твой ребенок полюбит тебя, милая моя Аннетта;

он полюбит тебя, потому что отец его — я.

К каким только уговорам, подсказанным природой и любовью, не прибегал отчаявшийся Любен, чтобы рассеять страх и скорбь Аннетты!

— Давай-ка рассудим, — говорил он, — чем могли мы прогневать господа? Мы вместе выгоняли стада пастись на лугах — в этом нет ничего дурного. Я построил шалаш, ты с удовольствием там отдыхала — и в этом нет ничего дурного. Ты спала у меня на коленях, я вслушивался в твое дыхание и, стараясь не упустить ни единого вздоха, тихонько склонялся к тебе — но и в этом ничего дурного нет. Случалось, правда, что ты, разбуженная моими ласками…

— Ах, — печально вторила ему Аннетта, — но и в этом ничего дурного не было…

Сколько ни перебирали они в памяти все, что происходило с ними в шалаше, им так и не удалось припомнить ничего, кроме самых естественных и невинных поступков, которые никого не могли задеть, за которые на них никак не мог разгневаться всевышний.

— Больше нам нечего и вспоминать, — говорил Любен. — Так в чем же наше преступление? Мы приходимся друг другу братом и сестрой, это наша беда, но если она не была помехой нашей

любви, то может ли она помешать нашему браку? Разве из-за всего этого я перестану быть отцом своего ребенка? Разве ты перестанешь быть его матерью? Вот что, Аннетта: пусть они говорят все, что им вздумается. Ты не принадлежишь никому, я сам себе хозяин; мы ни перед кем не в ответе — ведь каждый волен распоряжаться своим уделом, как ему заблагорассудится. У нас родится ребенок — что может быть лучше? Если бог даст нам девочку — она станет такой же нежной и ласковой, как ты; если мальчика — он вырастет таким же бодрым и веселым, как его отец. Дитя будет нашим сокровищем, мы будем наперебой нежить его и холить, и, что бы там ни говорили, наш ребенок узнает отца и мать по той ласке и заботе, которой мы его окружим.

Но сколько ни взывал Любен к чувствам и разуму Аннетты, она не могла успокоиться, и тревога ее с каждым днем усиливалась. Она ничего не поняла из речей судьи, но сама эта невразумительность делала его укоры и угрозы еще более зловещими.

Видя, что она чахнет от тоски, Любен сказал ей однажды утром:

— Милая моя Аннетта, ты убиваешь меня своею печалью. Умоляю тебя, образумься. Этой ночью

я придумал затею, которая может пойти нам на пользу. Священник сказал мне, что, будь мы богаты, нам не пришлось бы особенно горевать и что при помощи денег двоюродные брат и сестра могут выпутаться из такой беды. Пойдем к нашему сеньеру: он богат, но не спесив, он нам за родного отца; простой пастух для него — тоже человек; а кроме того, в деревне говорят, что он любит, когда у людей появляются дети. Мы расскажем ему о наших злоключениях и попросим, чтобы он помог нам загладить нашу вину, если только мы и впрямь виноваты.

— Неужели ты осмелишься на это? — спросила пастушка.

— Отчего бы и нет? — продолжал Любен. — Наш сеньер — воплощение доброты, и если он нам откажет, мы будем первыми из его слуг, которых он оставил без поддержки.

И вот Аннетта и Любен отправились в замок, попросили разрешения поговорить с сеньером и были к нему допущены. Аннетта, потупившись и сложив руки на округлившемся животике, сделала скромный реверанс. Любен с естественной грацией шаркнул ножкой и поклонился.

— Разрешите, сударь, — сказал он, — представить вам Аннетту; она, с позволения сказать,

беременна, и никто, кроме меня, не повинен в том, что с нею случилось. Судья сказал, что, прежде чем заводить детей, надобно жениться; вот, я и попросил его, чтобы нас женили. Он ответил, что это непозволительно, потому что мы с ней двоюродные брат и сестра. Я же считаю, что наш брак вполне возможен по двум причинам: во-первых, Аннетта уже беременна; во-вторых, быть мужем не труднее, чем быть отцом. Судья послал нас к черту, и мы решили прибегнуть к вашей милости.

Слушая речь Любена, добрый его господин едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.

— Дети мои, — сказал он, — судья был прав, но успокойтесь и расскажите все по порядку.

Тон Любена показался Аннетте недостаточно трогательным — ведь женщины от природы наделены искусством убеждать и склонять на свою сторону мужчин, так что сам Цицерон выглядел бы жалким школяром в сравнении с какой-нибудь юной просительницей, — и посему пастушка сама обратилась к сеньеру:

— Ах, сударь, нет ничего проще и ничего естественней того, что с нами приключилось. Мы с детства вместе пасли овечек, мы ластились друг к дружке еще будучи детьми, а когда видишься

каждый день, то и не замечаешь, как взрослеешь. Наши родители скончались, мы одни на целом свете. Если мы не будем любить друг друга, говорила я, кто же еще нас полюбит? Любен говорил то же самое. Досуг, любопытство и обоюдное влечение заставили нас перепробовать все доказательства взаимной любви — и вы видите, к чему это привело. Если я поступила дурно, я умру от отчаянья. Но прежде мне хотелось бы разрешиться от бремени, чтобы наше чадо служило утехой отцу, когда меня уже не будет на свете.

— Ах, сударь, — вскричал Любен, заливаясь слезами, — не дайте ей умереть! Ведь тогда и я умру вместе с нею, и это будет так прискорбно. Если бы вы только знали, как счастливо мы жили вместе! Любо-дорого было на нас смотреть до той самой поры, когда этот старый законник омрачил наши души страхом. Взгляните на Аннетту: она бледна и печальна, а ведь совсем еще недавно весенние розы не могли соперничать с ее щечками. Больше всего ее мучит угроза, что наш ребенок станет корить ее за то, что она произвела его на свет.

Слушая Любена, Аннетта не могла сдержать рыданий.

— Он будет приходить ко мне на могилу и осыпать меня укорами! — воскликнула она. — Молю

господа, чтобы мне было позволено хотя бы вскормить моего младенца; я готова расстаться с жизнью в тот миг, когда наше дитя уже не будет нуждаться в матери.

С этими словами Аннетта закрыла лицо передником, чтобы никто не видел ее слез, катившихся ручьем.

Мудрый и добродетельный сеньер, к которому они обратились за помощью, обладал столь отзывчивым сердцем, что его не могла не растрогать эта волнующая сцена.

— Ступайте с миром, дети мои, — сказал он, — ваша невинность и ваша любовь равно заслуживают уважения. Будь вы богаты, вам без труда удалось бы добиться позволения любить друг друга и вступить в брак; поистине несправедливо, чтобы злополучное родство вменялось вам в преступление.

Он не поленился написать в Рим, ходатайствуя за Аннетту и Любена, и Бенедикт XIV{208} с радостью дал согласие на то, чтобы эти любовники стали супругами.

{208} Комментарии: 2.208

Бенедикт XIV — папа римский с 1740 по 1758 г. Он покровительствовал писателям и художникам и отличался известной прогрессивностью взглядов; он не чуждался общения с философами (Вольтер посвятил ему свою трагедию «Магомет»).

БУФЛЕР

БУФЛЕР
АЛИНА, КОРОЛЕВА ГОЛКОНДЫ{209}

Перевод Е. Лопыревой

Перо мое, я отдаюсь в твою власть. Доселе тобой водил мой рассудок, нынче веди его ты и управляй своим хозяином.

Султан из «Тысячи и одной ночи» задавал вопросы Динарзаде,{210} а великан Мулино — своему барану, и так рассказывались сказки. Расскажи и ты какую-нибудь сказку, какой я не знал бы раньше. Мне все равно, начнешь ты ее с середины или с конца.

А вам, мои читатели, я заявляю наперед, что пишу для собственного удовольствия, а не для вашего. Вас окружают друзья, любовницы и обожатели — на что вам я? Вам и так весело. Но мне-то, в моем одиночестве, хочется позабавить

{209} Комментарии: 2.209
Голконда — см. прим. к стр. 240.

{210} Комментарии: 2.210
Динарзада — сестра Шахразады, также слушающая ночные рассказы. Так ее имя перевел Антуан Галлан (1646–1715), выпустивший в 1704–1713 гг. первый французский перевод сказок «Тысячи и одной ночи». В русском переводе младшая сестра Шахразады зовется Дуньязадой.

самого себя.

Арлекин в подобных случаях призывал римского императора Марка Аврелия{211} и засыпал с его помощью; я — чтобы подбодриться — призываю Алину, королеву Голконды.

Я был в том возрасте, когда нашим едва развившимся и зрению, и слуху открывается новая вселенная; когда новые отношения завязываются между нами и нас окружающими; когда разгоревшиеся чувства и жадное воображение помогают нам находить подлинные наслаждения в сладчайших мечтаниях. Словом, мне было пятнадцать лет, я сбежал от своего воспитателя и верхом на крупном английском коне несся вскачь за двумя десятками собак, летевшими вдогонку за старым кабаном, — судите сами, был ли я счастлив! К концу четвертого часа охоты собаки сбились со следу, я — тоже. Я оторвался от остальных охотников. Лошадь моя, которой пришлось так долго идти во весь опор, запыхалась; я спешился. Мы оба повалились на траву. Затем

{211} Комментарии: 2.211

Арлекин... призывал римского императора Марка Аврелия... — Речь идет об эпизоде какой-то комедии того времени, возможно, исполнявшейся в ярмарочном театре; Арлекин был его излюбленным персонажем. Под Марком Аврелием подразумевается, конечно, не сам император, правивший в 161–180 гг., а его книга «Мысли», блестящий памятник философии стоицизма.

конь стал пастись, а я решил перекусить. Я позавтракал хлебом и холодной куропаткой, усевшись тут же, на дне веселой лощинки; ее обрывы по обе стороны поросли вверху зелеными деревьями, вдали виднелась деревенька, расположенная на склоне холма, а между холмом и моей лощиной простирались пышные нивы и привлекательные с виду фруктовые сады.

Воздух был чист, и небо ясно; жемчужные капли росы еще блистали в траве; лучи солнца, едва поднявшегося на треть своего пути, жгли не слишком сильно, и жар их еще умерялся дыханьем слабого ветерка.

Где те любители природы, что умеют так наслаждаться хорошей погодой и красивым пейзажем? Я говорю для них. Что до меня, я был тогда занят окружавшей меня природой гораздо меньше, чем крестьяночкой в корсаже и белой юбке, которую приметил издалека и которая приближалась ко мне, неся на голове кувшин с молоком. С тайной радостью я увидел, что она перешла через ручей по доске, заменявшей мостик, и направилась по тропинке, которая должна была привести ее к тому самому месту, где я сидел. Вблизи она показалась мне очень свеженькой, и, сам не понимая, что со мной творится, я поднялся и пошел

ей навстречу. С каждым моим шагом она все хорошела на глазах, и вскоре я уже досадовал на те шаги, что еще мне осталось пройти: так мне хотелось поскорее разглядеть ее. Дочери Грузии и Черкесии казались образинами по сравнению с моей милой молочницей, и такое совершенное создание никогда еще не украшало вселенной. Не зная, с какой любезности начать, чтобы завязать беседу, я попросил у нее молока для утоления жажды. Потом я стал расспрашивать о ее деревне, о семье, спросил, сколько ей лет. На все вопросы она отвечала с простодушием, свойственным ее возрасту, и, так как у нее был очень красивый рот, она мне показалась весьма остроумной.

Я узнал, что она из ближней деревни и что ее зовут Алиной.

— Милая Алина, желал бы я быть вашим братом, — сказал я (и это было совсем не то, что мне хотелось сказать).

— А я желала бы быть вашей сестрой, — отвечала она.

— Ах, я люблю вас так, как если бы вы и были ею, — сказал я, обнимая ее.

Желая уклониться от моих ласк, Алина, обороняясь сделала резкое движение, кувшин упал, и молоко широкой струей хлынуло на дорожку. Она

расплакалась и, стремительно вырвавшись из моих объятий, подхватила кувшин и бросилась прочь. Но на бегу ножка ее поскользнулась на залитой молоком тропинке, и она упала навзничь. Я кинулся ей на помощь, но напрасно: некая власть сильнее моей воли воспрепятствовала мне поднять ее и увлекла наземь и меня самого… Мне было пятнадцать лет, Алине — четырнадцать; и в эти-то лета и в этом месте подстерегла нас Любовь, чтобы преподать нам свои первые уроки. Слезы Алины сначала смутили мое блаженство, но ее огорчение вскоре уступило сладострастию, которое тоже вызвало ее слезы — и какие слезы! Тогда-то я поистине и познал наслаждение и с ним наслаждение еще более сильное — делить его с тем, кого любишь.

А время, переставшее, казалось, существовать для нас, шло своим чередом для остального мира. Солнце, склоняясь к закату, уже призывало пастухов в свои хижины, а стада — в свои загоны; в воздухе разносились звуки волынок и песни тружеников, идущих на отдых.

— Мне пора идти, — сказала Алина, — не то мать прибьет меня.

В те времена я еще почитал свою мать; у меня не хватило духу мешать Алине почитать свою.

— Пропало и мое молоко, и моя честь, — добавила она, — но я прощаю вам все.

— Полно! — сказал я. — Ты сама белее этого молока, а наслаждение стоит подороже чести.

Я отдал ей все серебро, что имел при себе, и золотое кольцо со своей руки — она обещала всегда хранить его. Мы оторвались друг от друга, и лица наши были влажны от слез и поцелуев. Я вскочил в седло и, насколько мог далеко, проводил глазами милую Алину. Затем простился с местами, освященными моими первыми наслаждениями, и вернулся в отцовский замок, сетуя, зачем я не простой крестьянин той деревни, где жила Алина.

Я порешил не ездить на охоту никуда, кроме той чудесной лощинки, и ради прекрасной Алины помиловать всю дичь нашей округи. Однако все эти намерения, столь дорогие моему сердцу, сразу разлетелись как дым. По приезде в замок я узнал, что неожиданное известие вынуждает моего отца ехать в Париж. Он взял меня с собою, Со слезами обнимал я мать, но плакал я об Алине.

Время сгложет и сталь, и любовь. Я был безутешен при отъезде — я утешился по приезде. По мере того как я удалялся от Алины, Алина уходила из моей души, и радость вступления в новый

мир заставляла забывать отрады, испытанные в том мире, что я покидал. Разгульная жизнь и честолюбие вытеснили Алину из моего сердца. И вот после шести трудных кампаний, получив не одну тяжкую рану и лишь легковесное воздаяние, я вернулся в Париж, где старался на службе у красавиц вознаградить себя за все то, что претерпел на службе у государства.

Однажды, выходя из Оперы, я случайно оказался рядом с красивой дамой, поджидавшей карету. Внимательно оглядев меня, она спросила, не узнаю ли я ее. Я отвечал, что имею счастье видеть ее впервые.

— Посмотрите-ка получше, — сказала она.

— Приказ не тяжел, — ответил я. — Как не повиноваться такому личику? Но чем дольше я гляжу на вас, тем меньше сходства нахожу между всем виденным мною прежде и тем, что вижу сейчас.

— Раз черты моего лица не могут ничего напомнить вам, может быть, мои руки окажутся счастливее, — сказала дама.

И, сняв перчатку, она показала кольцо, когда-то подаренное мною милой Алине.

Изумление лишило меня дара речи. Подъехала ее карета. Она предложила мне место рядом с нею, я повиновался. Вот ее рассказ.

— Вы, наверное, помните мой молочный кувшин и все, что я потеряла вместе с ним. Вы не знали, что вы делали, а я и подавно. Но вскоре я поняла, что то был ребенок. Мать догадалась тоже и выгнала меня из дому. Я пошла побираться в соседний городок, там меня приютила одна старушка. Она заменяла мне мать, а я заменила ей племянницу. Она взяла на себя заботу наряжать меня и водить меня к людям: по ее приказу я часто повторяла то, чему вы научили меня. И так как вашим непосредственным преемником стал местный кюре, он унаследовал и вашего сына. Из него потом вышел очень красивый мальчик, и кюре определил его певчим в церковный хор. В надежде, что моя красота будет прибыльней для нее в большом городе, моя тетушка повезла меня в Париж, где, не раз переходя из рук в руки, я наконец досталась старому президенту, одному из первых вельмож в государстве по сану и одному из последних в отношении любви. Без бумажника, без парика и без сутаны он оказывался вовсе ничтожеством, но все-таки при том малом, что тогда оставалось от него, он любил меня до безумия и засыпал нас — тетушку и меня — деньгами и драгоценностями. Тетка умерла, я ей наследовала. У меня оказалось около двадца-

ти тысяч ливров годового доходу и много денег наличными. Мне наскучило ремесло, которым я до сих пор занималась, и захотелось перейти к ремеслу порядочной женщины, в чем скуки тоже довольно. За несколько червонцев некий ученый генеалогист сделал из меня девушку достаточно почтенного дома. Знакомства, завязанные с литераторами, доставили мне репутацию умной женщины, а может быть, и впрямь прибавили немного ума. Наконец некий родовитый дворянин, имеющий больше ста тысяч доходу, решил хоть в слабой степени оплатить мои достоинства, женившись на мне, и бедная Алина стала для общества маркизой де Кастельмон; но для вас маркиза де Кастельмон хочет навсегда оставаться Алиной.

— А кого вы любили больше всех из тех, кого вы знали? — задал я вопрос.

— И вы можете спрашивать? — сказала она. — Я была простушкой, когда вы встретили меня; но я уже не была ею, когда встречалась с другими. Я начала наряжаться — ведь я уже не была столь красива, мне надо было нравиться, а любить я больше не могла. Искусственность портит все: под румянами бледнеют наши щеки, а чувства, нами изображаемые, охлаждают наши сердца. Я

никого не любила, кроме вас. И хоть легко быть вернее меня, нельзя быть постоянней. Ваш образ, всегда возникающий предо мной, когда я вам изменяю, почти всегда отравляет всякое удовольствие. Признаюсь, впрочем, подчас он придает даже некоторую прелесть моим изменам.

Я поистине рад был обрести вновь мою милую Алину. Мы целовались так же пылко, как в те блаженные времена, когда наших уст еще не касались другие уста, когда в наших сердцах впервые пробудилось сладострастие. Мы прибыли к ее дому, я остался ужинать. И так как маркиз де Кастельмон отсутствовал, я пересидел всех гостей и воспользовался своими правами. Но любовь избегает золоченых альковов и роскошных постелей: она любит порхать по цветущим лугам, любит скрываться в тени зеленых лесов. И поэтому мое счастье ограничилось лишь тем, что я провел ночь в объятиях прекрасной женщины, но она не звалась и не была больше Алиной.

Влюбленные, если вы хотите любви или хотя бы сладострастия, не вздумайте идти на свидание с письмом министра в кармане, где вам приказывают отправляться в армию. Так приключилось со мною при встрече с мадам де Кастельмон, и я потерял многое. Доколе обманчивый зов славы

будет отвращать нас от мирного покоя и сладостных нег? В ту минуту я еще не предавался этим мудрым размышлениям; когда ты младший офицер, каким был я, то мечтаешь стать скорее бригадным генералом, чем философом. И, несмотря на всю строгость министров, обычно бываешь к этому ближе. И поэтому, выйдя от мадам де Кастельмон, я сел в свои носилки и радостно полетел навстречу новым тягостям войны.

Проведя пятнадцать лет вдали от родины, натерпевшись и ружейного огня в Германии, и многих несправедливостей при дворе, я в чине генерал-лейтенанта поплыл в Индию.

Предоставляю поэтам и гасконцам заботу испытывать и описывать бури. Что до меня, обычно я путешествую без всяких случайностей. По моем прибытии все в Индии было спокойно, и пребывание там походило скорее на поездку ради развлечения, чем на экспедицию с военной целью. Ничем не занятый, я просто объезжал разные княжества, составляющие эту обширную страну, и на время задержался в Голконде. Тогда это было самое процветающее государство в Азии. Народ благоденствовал под властью женщины, красота которой помогала ей править королем, а мудрость — королевством. Сундуки и подданных,

и казны были равным образом полным-полны. Крестьянин обрабатывал свою землю для себя самого, что бывает редко, а казначеи не собирали доходов государства в свою пользу, что бывает еще реже. Города, украшенные величественными зданиями, являлись средоточием всяческих утех и были переполнены счастливыми горожанами, гордыми тем, что проживают в них. Поселяне держались своих мест ради царивших там изобилия и свободы, а также благодаря тому, что земледелие было в большой чести у правительства. А вельмож при дворе очаровывали прекрасные глаза королевы, владевшей искусством награждать их преданность, не расточая государственных сокровищ; искусство верное и волшебное, которым, на мой взгляд, королевы пользуются слишком мало; король же, супруг ее, не ведал даже, что она им владеет. Я явился ко двору и был принят как нельзя любезней. Сначала король дал мне парадную аудиенцию, затем я получил ее у королевы; которая, завидев меня, опустила свое покрывало. Судя по ее славе, я полагал, что ей незачем скрывать свое лицо, и весьма удивился такому приему. Впрочем, она приняла меня вполне благосклонно, и мне приходилось лишь сетовать на то, что я не узрел ее

лица, которое мечтал увидеть и потому, что, как говорили, оно было прекрасно, и потому, что все касающееся знаменитой королевы всегда очень любопытно.

По возвращении к себе я застал чиновника, предложившего показать мне завтра сады и парки, разбитые вокруг дворца. Я выразил согласие на эту прогулку. Мы встали с солнцем. По прекрасным аллеям меня привели в какую-то густую рощу; мирты, акации и апельсиновые деревья сплетались там листвой и смешивали свой аромат. К одному дереву была привязана лошадь: мой проводник легко вскочил в седло и, протрубив звонкий сигнал в висевший на шее рожок, умчался во весь опор. Я пошел дальше по той же дороге, пораженный его поступком и весьма дивясь, что это за страна, где чужестранцев принято бросать в пути, вместо того чтобы сопровождать их на прогулке. Каково же было мое изумление, когда, выйдя на опушку леса, я оказался в местах, совершенно похожих на те, где когда-то меня впервые встретили Алина и любовь! Тот же лужок, та же лощина, те же поля вдали, та же деревушка, тот же ручеек, та же доска, та же тропинка; появилась и молочница, которую я вскоре увидел, в платье, похожем на

платье Алины, и с тем же кувшином.

— Не сон ли это? — воскликнул я. — Что за наваждение? Какой мимолетный призрак обманывает мои глаза?

— Нет, — услыхал я в ответ, — это не сон, тут нет никакого колдовства, и сейчас вы увидите, что я вовсе не призрак. Это Алина, сама Алина, узнавшая вас вчера и не пожелавшая быть узнанной вами, иначе как в том виде, в каком вы когда-то любили ее. С вами она отдохнет от тяжести короны, сменив ее на молочный кувшин, с вами быть молочницей для нее сладостней, чем быть королевой.

Я забыл королеву Голконды, я видел только Алину. Мы были наедине. А королевы тоже женщины. Ко мне возвратилась моя юность: и я обходился с Алиной, словно она сохранила свою. Ведь считается, что королевы никогда не расстаются с юностью.

Так приятно встретились мы снова. Затем Алина опять облачилась в свои королевские одежды, которые принесла появившаяся следом доверенная рабыня. Мы вернулись во дворец, где я увидел, как милостиво и с какой чарующей добротой она обращалась при дворе со всеми своими приближенными. Одних она дарила взглядом,

беседовала с другими и улыбалась всем. Короче говоря, для всех она умела быть хозяйкой и никому не казалась королевой.

Все пообедали вместе с королевой; затем я последовал за нею в особую комнату, где, посадив меня рядом с собою, она так рассказала о своих последних приключениях:

— Месяца три спустя после вашего отъезда маркиз де Кастельмон был убит на дуэли; в утешение своей заплаканной вдове он оставил сорок тысяч экю годового дохода. Часть его земель находилась в Сицилии, и, как говорили, эти земли требовали моего присутствия. Я с радостью пустилась в путешествие. Но враждебные ветры прибили мой фрегат к отдаленным берегам, и там мы были захвачены одним еще более враждебным судном. Судно это было турецким корсаром, капитан которого подвергал экипаж самому дурному обращению, а я от него видела самое лучшее, на какое способны турки. Он отвез меня в Алжир, а оттуда в Александрию, где его посадили на кол. Вместе со всеми домашними меня, как простую рабыню, продали на рынке, и я досталась купцу из Индии, который привез меня сюда. Он заставил меня выучить здешний язык, и в короткое время я сделала большие успехи. Я знавала в

жизни нищету, но не встречалась с несчастьем и не могла вынести рабства. И вот я убежала от своего хозяина куда глаза глядят. Меня повстречали евнухи и, признав меня красивой, привели к королю. Напрасно молила я пощадить мою добродетель — меня заключили в сераль. На следующее утро все окружающие стали уже почитать меня как любимую жену их владыки — звание, которым король удостоил меня в эту ночь. Вскоре страсть короля сделалась безграничной и моя власть выросла еще более. Голконда привыкла к законам, которые я диктовала в глубине сераля, и ничуть не удивилась, когда я сделалась супругой властелина, ставшего лишь так недавно моим первым подданным. В своем дворце мне часто вспоминалась деревушка, где я берегла свою невинность, и особенно та прелестная лощина, где я ее потеряла. Мне захотелось наглядно воспроизвести любопытную картину моих ранних лет и моих первых радостей. Это я велела выстроить деревню, которую вы видели в ограде моих садов. Она носит название моей родной деревни, и все жители считаются моими родственниками и друзьями. Ежегодно я выдаю замуж несколько девушек из этой деревни и часто допускаю к своему столу деревенских

стариков, как бы воскрешая образ моего старого отца и моей бедной матери, которых рада была бы окружить заботой и уважением, будь они еще живы у меня. Никто не топчет траву на лугу, кроме молодых юношей и девушек, когда они затевают там свои танцы, и, пока я жива, топор не посмеет коснуться деревьев, схожих с теми, что когда-то укрывали своей тенью наши ласки. Мое крестьянское платье я храню вместе со своими королевскими драгоценностями, и среди окружающей меня роскоши оно всегда напоминает мне о моем скромном прошлом; оно не позволяет мне презирать положение, в котором я стоила больше, чем в каком-либо другом; оно не позволяет мне презирать человечество; оно учит меня царствовать.

О, прелестная владычица Голконды! Она была сразу и хорошей женщиной, и хорошим философом; более того — она была и хорошей возлюбленной. Увы! мое счастье длилось лишь две недели, а потом меня с нею застал сам супруг, и мне пришлось покинуть ее королевство, выпрыгнув в окошко спальни. Вскоре после этого я возвратился во Францию, где достиг самых высоких должностей и меня постигли самые великие немилости, причем ни тех, ни других я

не заслужил. Затем, без всякого состояния и без всяких надежд, я скитался по разным странам; и вот встретил вас в этих пустынных местах, где рассчитываю обосноваться, ибо здесь я обрел и уединение, и общество.

Мой читатель, возможно, все время полагал, что именно для него я рассказывал всю эту историю, но так как он совсем не просил меня об этом, он сочтет справедливым, узнав, что мой рассказ обращен к некоей старушке в одежде из пальмовых листьев, давней обитательнице этой дикой местности, куда я удалился: она попросила рассказать ей самые любопытные из моих приключений. Они, пожалуй, могут наскучить тем, кто стал бы их читать, но старушка, не пропустив ни единого слова, выслушала их с необычайным вниманием и, когда я закончил, сказала мне:

— Что мне более всего нравится в вашем рассказе, это то, что здесь каждое слово — правда.

— Откуда вы знаете? — возразил я. — Быть может, здесь все ложь с начала до конца.

— Уверена в обратном, — сказала она.

— Значит, сударыня, вы немножко занимаетесь колдовством? — спросил я.

— Не совсем так. Однако у меня есть колечко, которое помогает мне судить об истине всего

рассказанного вами, — отвечала она.

— Насколько мне известно, — сказал я, — лишь перстень царя Соломона обладает такой силой.

— А колечка Алины вы не знаете? — спросила она, улыбаясь и протягивая ко мне свою руку. — Той самой Алины, которую вы возвели на трон Голконды и которую вы заставили сойти с него; которая, став беглянкой и изгнанницей, долго искала в отдаленных краях убежища и спасения от гнева своего мужа… чего вы-то избежали, выпрыгнув в окошко.

— Как? Это опять вы? — вскричал я. — Ну, знаете, и стар же я стал! Ведь если мне не изменяет память, я годом старше вас, однако, судя по вашему лицу, быть годом старше вас невозможно.

— Что нужды в наших годах и наших лицах? — строго сказала она. — Когда-то мы были молоды и красивы; будем же теперь мудры — мы станем счастливей. В годы любви мы предавались беспутству, вместо того чтобы радоваться; достигнув годов дружбы, будем же радоваться, вместо того чтобы предаваться сожалениям. Для наслаждения нам отпущен лишь один миг, а счастье может заполнить всю жизнь. Это счастье — столь желанное и столь неведомое — есть остановленное на лету наслаждение. Одно похоже на каплю воды,

другое — на алмаз. Оба сверкают одинаковым блеском. Но стоит чуть дохнуть, и блеск воды пропадает, а блеск алмаза устоит и против стали. Капля воды заимствует свой блеск у света, алмаз же заключает свет в самом себе и распространяет его во мгле. Так все может погубить наслаждение, ничто не изменит счастья.

Затем она привела меня к высокой горе, поросшей различными плодовыми деревьями. С вершины горы сбегал веселый, прозрачный ручеек; делая тысячу изгибов, он образовывал маленький водоем у входа в небольшую пещеру, выдолбленную у подножия горы.

— Смотрите, вот мое жилище, — сказала она. — Если вам этого достаточно и если вы пожелаете, оно будет и вашим. Земля здесь ждет только легкой обработки, чтобы вернуть сторицей за понесенные труды; прозрачная вода сама приглашает зачерпнуть ее. С вершины горы глаз может окинуть сразу несколько королевств; поднимитесь наверх, — там вы будете дышать более чистым и здоровым воздухом. Там вы будете дальше от земли и ближе к небесам. Оцените оттуда все, что вы потеряли, и скажите мне, хотите ли вы вернуть его.

Я упал к ногам божественной Алины, проник-

шись восхищением перед ней и презрением к самому себе. Наша взаимная любовь стала еще сильнее, друг в друге мы обрели весь мир. С этой мудрой подругой я провел здесь уже многие годы. Я оставил все свои безумные страсти и все свои предубеждения в мире, с которым расстался. Мои руки стали более деятельными, разум сделался более глубоким, сердце — более чувствительным. Алина научила меня находить отраду в легком труде, в кротких размышлениях, в нежных движениях души. И лишь под конец своих дней я начал жить.



Д’АРНО
ЛЮСИ И МЕЛАНИ

Перевод Н. Фарфель

Смерть Людовика XII{212} изменила в известной степени дух нации. Новое царствование почти всегда приносит с собой и новые нравы. Кознями, интригами ознаменовалось восшествие на престол Франциска I.{213} Государство уже давно изнывало от роковых последствий непримиримой вражды между герцогиней Ангулемской и коннетаблем Бурбоном; в такой же мере кипели ненавистью друг к другу Гизы и Монморанси.{214} Все эти распри породили недовольство. Случи-

---

{212} Комментарии: 2.212

Смерть Людовика XII… — Этот король скончался 1 января 1515 г.

{213} Комментарии: 2.213

Кознями, интригами ознаменовалось восшествие на престол Франциска I. — У Людовика XII не было прямых наследников мужского пола; с его смертью пресеклась ветвь Валуа-Орлеанов. Франциск I доводился двоюродным братом умершему королю, к тому же он был женат на дочери Людовика Клод де Франс. С воцарением Франциска на французском троне оказалась ветвь Валуа-Ангулемов. Франциск был самым законным претендентом, но для того, чтобы получить корону, ему пришлось проявить немало выдержки и упорства.

{214} Комментарии: 2.214

Герцогиня Ангулемская. — Речь идет о Луизе Савойской (1476–1531), матери Франциска I, принимавшей активное участие в политической

жизни страны.

Коннетабль Бурбон (1490–1527) — французский военный и политический деятель. Поссорившись с Франциском, он перешел на сторону испанцев и участвовал в войне против Франции.

Гизы и Монморанси — два древнейших феодальных рода (первый из них находился в родстве с королевской династией Валуа). Их представители играли большую роль в политической жизни Франции XVI в.

лось то, чего непременно следует ожидать как следствия заговоров и раздоров отдельных личностей: приверженцы той и другой стороны были принесены в жертву разноречивым интересам своих вождей.

Маркиз де Рюминьи, связанный родственными узами с самыми знатными домами королевства, чувствуя глубокое отвращение к придворной жизни, сумел предугадать назревающую там бурю. Наскучив беспрестанными переворотами, коим он сам нередко служил мишенью, отлично познав тщету и обман всего, что зовется высоким положением, почетом и прочим, устав наконец от рабства, тяжкое иго которого было бы нестерпимо даже для честолюбца, желая превыше всего наслаждаться природой, истиной, уединением, он удалился в одно из своих пикардийских поместий. Досуг свой он посвятил охоте, рыбной ловле и заботам о благополучии вассалов, которых он учил любить своего господина и свою родину, и тщился избегать всего, что могло напомнить о былой докучливой, исполненной опасностей жизни. Эта своеобразная философия, весьма удивительная для молодого еще вельможи, не мешала маркизу принимать у себя лучшее общество провинции. Он был вдов и имел двух

дочерей; жившая вместе с ними родственница заботилась о них как мать и тщательно следила за их воспитанием.

У каждой из девиц был свой нрав, свои достоинства, свои прелести. Люси была одной из тех величавых красавиц, что скорее покоряют, нежели трогают сердце; однако за горделивой и надменной внешностью скрывалась душа благородная и чувствительная. Мелани же пленяла, не прилагая к тому усилий; все поступки ее озарены были приятной кротостью, и посему она влекла к себе не столь красотой, сколь добрыми чувствами. Одним словом, старшая, казалось, требовала, чтобы ее любили, а младшую обожали, но полагали, что всего лишь почитают ее.

Сестры были связаны друг с другом нежной дружбой; они поверяли друг другу все свои тайны, вплоть до безделиц, которые отнюдь не кажутся таковыми юным душам, только и ожидающим первой возможности проявить себя. Незачем и добавлять, что обе достигли той счастливой поры, когда сердце готово вспыхнуть, и любовь несет с собой новую, вторую жизнь. Отец намеревался выдать старшую замуж, и несколько родовитых молодых людей уже домогались руки ее, когда в числе гостей маркиза де Рюминьи появился граф

д’Эстиваль.

Граф принадлежал к тем немногим счастливцам, которым не на что пожаловаться, кроме достатка. Состояние его было невелико, но природа с лихвой вознаградила его; происходил он из древнейшего рода и обладал тем, что куда ценнее самого громкого имени — достоинствами нравственными и столь приятными манерами, что их почти что можно было приравнять к сим достоинствам. Разум не затмевал в нем чувств; он не тщился блистать умом, зато умел трогать сердца; любые речи его привлекали внимание; достаточно было однажды его послушать, чтобы испытать волнение, неподвластное ходу времени; и что особо важно, он обладал великим искусством прислушиваться к мнению каждого, одновременно подчиняя его своему, и нравиться во всех кругах общества. Самая прекрасная женщина своего века, которую древние провозгласили бы первой из граций, сочетавшая красоту с высоким и благородным духом, Диана де Пуатье{215} выделила д’Эстиваля из толпы окружавших

{215} Комментарии: 2.215

…провозгласили бы первой из граций… — Первой грацией, согласно Гесиоду, считалась Евфросина, олицетворявшая радость.

Диана де Пуатье (1499–1566), герцогиня Валентинуа — фаворитка французского короля Генриха II (1519–1559; правил с 1547 г.), оказывавшая на него большое влияние.

ее придворных; это внимание принесло графу немало преимуществ и давало ему право искать благосклонности самых неприступных особ без опасения прослыть слишком дерзким.

После такого описания никому не покажется удивительным, что д'Эстиваль произвел сильнейшее впечатление на сестер. И вот обеим сияет новый день, обе взволнованы новыми желаниями. Природа отступает перед любовью. Обе втайне любят графа, и вместе с нежностью в них рождается скрытность. Уже не столь часто, как прежде, ищут Люси и Мелани общества друг друга; все меньше пустяков поверяют они одна другой; все глубже погружаются они в мечтания и все чаще держатся врозь, дабы в уединении свободнее предаваться грезам.

Мелани первой заметила перемену в Люси; то ли догадку эту породила горячая привязанность к сестре, то ли, скорее, обожгла ее искра ревности, всегда вспыхивающей одновременно с любовью. Чувство это все еще таилось в сердце Мелани; она, казалось, избегала случая заглянуть в него, но уже не могла скрыть от себя, что ей приятно общество графа д'Эстиваль, и начинала понимать, как отрадно было бы ей, если бы и он разделял чарующее смятение, охватывающее ее при одном

его виде; она искала и опасалась встречи с ним.

Несмотря на тучи, все более омрачавшие ее душу, нежная привязанность к Люси вынудила ее однажды прервать молчание.

— Сестра моя, — сказала Мелани, — я уступаю чувству, захватившему меня, справиться с которым не в моих силах. Давно уже пытаюсь я побороть его; нежность моя к вам не позволяет мне более молчать… Чем я провинилась перед вами, милая сестра? Вы глядите на меня не так, как прежде! Вы отталкиваете меня прочь! Я становлюсь вам чужой! Вы скрываете от меня свои тайны и не жаждете узнать мои, как бывало! Откройтесь мне, сестра, дорогая моя сестра, заклинаю вас нашей дружбой; со мною вам не должно скрытничать; молю вас, скажите, в чем моя вина. Ужели я могла обидеть вас, в то время как я всего более опасаюсь в чем-то не угодить вам? Если я невольно имела несчастье причинить какое-то зло дорогой моей Люси, я искренне прошу ее прощения; я искуплю свою вину…

Мелани оросила слезами руки сестры, прижимая их к устам своим и осыпая поцелуями. Люси, несмотря на страсть, давно уже охватившую ее, почувствовала, что у природы есть свои права; ее удивили речи и скорбь Мелани.

— Сестра моя, вы ничем меня не обидели… я по-прежнему люблю вас… Но бывают мгновения, когда поддаешься необъяснимой меланхолии, не отдавая себе в том отчета; поверьте, я не изменила чувств своих к вам.

— Ужель, — отозвалась Мелани, — у вас есть горести, причина коих вам неизвестна? Сестра моя, позвольте мне сказать…

— Говорите, — отвечала Люси с любопытством и смущением.

— Не рассержу ли я вас?

— Повторяю: вы вольны объясниться откровенно.

— Тогда, сестра моя, я дам вам величайшее доказательство искренности и преданности моей; не забудьте, вы сами это мне позволили. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что с тех пор как граф…

— Что вы хотите сказать? — внезапно прерывает ее Люси, смутившись, заливаясь румянцем.

— Ничего, сестра… ничего… но… граф так любезен…

— Любезен! Так что ж! — возражает Люси с досадой, выдающей ее истинные чувства. — При чем здесь д'Эстиваль? Не вообразили ли вы, сударыня, что я… люблю его?

— Да, вы его любите… — продолжает Мелани, пристально в нее вглядываясь. — И он тоже любит вас, — добавляет она, едва сдерживая слезы.

— Что ж такого, если бы он полюбил меня, а я его? — с живостью подхватывает старшая сестра.

— Ни вы, ни он в том не были бы повинны, — продолжает младшая, — сердце… Вы покидаете меня, сестра!

— Да, — отвечает Люси, — покидаю, возмущенная вашим поведением. Вообразить, будто я познала любовь, будто я люблю графа! Вот поистине весьма странный разговор!

— Она его любит! — воскликнула Мелани, едва оставшись одна. — В том уже нет более сомнений! До этого рокового мгновения я старалась бежать истины, бросавшейся в глаза. Итак, я соперница Люси, соперница возлюбленной сестры моей, к которой мне должно испытывать самые нежные чувства! Возможно ли такое? Я ли это? Ах, д'Эстиваль, зачем я встретила вас? Зачем явились вы и смутили покой двух сердец, связанных узами дружбы еще теснее, нежели узами крови? Увы! В дружбе сей мы находили счастье, она отвечала нашим желаниям; Мы вкушали невинные радости и владели величайшим благом, покоем, покоем… и я навеки его лишилась! Что за смя-

тение в душе моей! Стало быть, это любовь так ее взволновала! И… я не любима им… Нет, не любима…

Мелани наконец дала волю слезам.

— Ах, сестра моя, — заговорила она вновь, — как плохо знаете вы мое сердце! Я его подчиню себе, я укрощу его… Нет, я не стану соперницей вашей; нет, дорогая моя Люси, я сумею принести вам в жертву свою жизнь… Я достойна всяческой жалости! Увы, мне некому открыться в моих горестях! Даже самой себе я только сейчас, с трудом, призналась в своих чувствах… А разве так трудно было их понять? Они пылают чересчур ярко, чересчур ярко! Несчастная Мелани, как же любовь меняет сердца!

Д'Эстиваль несколько дней спустя застал Мелани в смятении, скрыть которое она была не в силах; он был растроган и с трепетом заговорил с ней. Волнение выдавало его.

— Осмелюсь ли я, сударыня, — спросил он робким, прерывающимся голосом, — спросить вас о причине внезапно охватившего вас горя? Позволено ли будет мне разделить его?

— Сударь, — ответила Мелани почти что сурово, — если бы у меня и были горести, я вам не стала бы поверять их.

Едва договорив, она удалилась, а граф оцепенел от изумления. Он не мог постигнуть причины такого поступка; это тем более поразило его, что страсть его к Мелани росла день ото дня. Из двух сестер Люси была первой, кому он стал оказывать внимание; отец его горячо настаивал на этом браке, с которым он, видимо, связывал судьбу своего рода; к тому же замужество старшей дочери маркиза де Рюминьи должно было непременно предшествовать браку младшей; было бы нескромным и неловким просить руки последней, хотя прелести ее с первой встречи пленили д'Эстиваля; он не мог сомневаться в отказе, и отказ сей нанес бы решительный удар по его надеждам на богатство и высокое положение. Поэтому на первых порах честолюбие преграждало путь его чувствам. Теперь же граф принял решение поделиться с отцом жестокими трудностями, вставшими перед ним; в письмах к отцу он не скрывал ни слез, ни жалоб истерзанной души своей; получал же сокрушительные ответы, со всею строгостью препятствующие свободе выбора. Что ни миг, желал он открыться в своих чувствах, подарить властительнице сердца все знаки внимания, уделенные им ранее Люси. И он бы так и поступил; когда бы Мелани

не поспешила прервать их последнее свидание, граф открыл бы ей свою любовь. «Итак, я вынужден, — говорил он себе, — пожертвовать собой ради честолюбивых замыслов моей семьи, покориться тиранической воле отца. Какой страшный удел! О отец мой! Отец мой! Чего вы требуете от меня? Люси достойна любви, но кто сравнится с Мелани? Она пробудила во мне все восторги любви, и я должен скрыть сей пыл, утаить его от той, кем я горю, запретить себе даже мысль о ней, не любить Мелани! Я повинуюсь вам, отец мой, повинуюсь; я стану супругом Люси; смерть моя не замедлит последовать за браком, заключенным под столь роковой звездой. Итак, я жил, дабы исполнить свой долг, позаботиться о семье своей, подчиниться веленью отца, дорогого сердцу моему… А умру ради единственной женщины, которую мог столь страстно полюбить».

Мелани, оставшись наедине с собой, находилась в не меньшем смятенье; она укоряла себя за то, что поведением своим нанесла урон приличиям или, скорее, любви, хоть и боялась в том признаться. Порою, подчиняясь слабости, она мечтала, чтобы д'Эстиваль снова спросил ее, в чем причина ее печали; печаль эта была столь заметной, что непременно должна была вызвать

живейшее сострадание; одного любопытства хватило бы, казалось, чтобы д'Эстиваль возжаждал узнать, где ее источник. «Но если он тебя не любит, если ты ему не мила, его ничто не тронет; граф не любит меня — возможно, он испытывает неприязнь ко мне. Сомнений нет, я не занимаю его мыслей, он ненавидит меня».

Такие речи вела про себя, втайне, Мелани. В другие минуты она строже судила себя и почитала преступным малейшее свое чувство к графу и даже его самого сочла бы виновным, если бы он осмелился хотя бы одним движением или взглядом проговориться о своей любви. Она искала и избегала его, боялась увидеть и все же на него глядела. В ней жили две противоречивые души, и то одна, то другая жестоко мучили ее. Наконец, разрываясь между возлюбленным и сестрой, терзаемая разбушевавшимися чувствами, изнемогая под бременем страсти, справиться с которой была не в силах, она занемогла, и болезнь вскоре стала угрожать ее жизни.

Люси почувствовала тогда, как вся нежность к сестре воротилась к ней; она уже не слышит ничего, кроме голоса крови; она подбегает к ложу Мелани, сжимает сестру в объятиях, орошает слезами.

— Что с тобой, милая Мелани? — говорит она голосом, исполненным искренности и сердечности. — Нынче я, в свою очередь, жажду читать в душе твоей. Вот уже много дней, как тебя угнетает сумрачная печаль! У твоей болезни есть какая-то причина, мне непонятная! Говори же со мной откровенно, мы одни; подумай, ведь ты раскроешь душу перед любящей сестрой, перед лучшей подругой.

— Ах, сестра моя, — говорит Мелани с глубоким вздохом, устремляя на Люси взор, полный нежности и скорби, — сестра моя, дайте мне умереть.

— Нет, дорогая моя Мелани, нет, ты не умрешь;, дни мои слишком тесно связаны с твоими. Говори же; твое горе пронзает мне сердце.

— Вы желаете, сестра, чтобы я исповедалась вам в своих страданиях, но вам их не исцелить!

— О, зачем отчаиваться? Отчего не положиться на мою привязанность?

— Ваша привязанность ко мне пострадает.

— Быть того не может. Еще раз прошу, милая Мелани, открой свое сердце.

— Сестра моя, неужто это сердце должно раскрыться именно перед вами?

— Но кто же может помочь тебе, утешить, любить тебя лучше, нежели сестра?

— Вы так настаиваете?

— Я тебя слезно молю!

— Хорошо же, — восклицает Мелани, пытаясь приподняться на локте, — это сердце сейчас откроется: вы сами этого хотели. Знайте же, сестра, я люблю, люблю страстно…

— Кого? — спрашивает Люси взволнованно. — Кого же?

— Д'Эстиваля, который любим вами и, без сомнения, любит вас…

— Что вы сказали?

— Я не стану, сестра моя, препятствовать вашей склонности, рассудок мой одобряет ее; я прошу только об одной милости: повторяю, дайте мне умереть, лишь бы никто на свете, кроме вас, не узнал о моей слабости, о злодействе моем, ибо разрывать вам сердце — это злодейство. Я пронзила его тысячью ударами кинжала и слишком знаю это. Особо скройте причину моих и ваших несчастий от д'Эстиваля. Прощаете ли вы меня, дорогая моя Люси? У вас есть сердце; вы чувствуете, что провинилась я невольно и достаточно в том наказана! Я испущу последний вздох на груди у сестры моей. Живите, любите графа и будьте им любимой…

— Ты любишь д'Эстиваля! — восклицает Люси,

утопая в слезах. — Сестра моя! — с тяжкой скорбью вырывается она из объятий Мелани и столь же стремительно бросается в них сызнова. — Тебе, сестра моя, тебе надо жить, — продолжает Люси, — если нужно, я принесу тебе в жертву… мою любовь… не выйду за графа…

— Нет, чересчур великодушная сестра, — говорит Мелани, протягивая к ней руки, — я не стану употреблять во зло вашу привязанность или, скорее, жалость, это было бы жестокостью, варварством. Д'Эстиваль предназначен вам, вам должно принять его руку… а мне… умереть. Боже! Что с вами? Лицо ваше бледно как смерть!

Мелани звонит; Люси уносят в ее покои — она лишилась чувств. Когда она приходит в себя, великодушие в ней берет верх; она поспешно возвращается к сестре.

— Прости мою слабость, сестра моя, силы ко мне вернулись, я могу отвечать за себя. Да, без сомнений, для меня было бы счастьем стать супругой графа… Мелани, я люблю его. И разве могла бы я это скрыть? Роковая страсть, должно быть, сказывается во всем; но разве мыслимо для меня счастье, если бы оно тебе стоило жизни! Поверь, я чувствую, что в сердце моем привязанность к тебе равносильна моей любви… Дорогая

сестра, отверни взор от моих слез, не слушай моих вздохов, не гляди на эту страшную борьбу, на раздор, царящий в душе моей, и вернись к жизни, к любящей твоей сестре, твоей подруге…

— Ах, сестра моя, чем более жертв вы мне приносите, тем сильнее должна я восстать против вашей доброты, против самой себя. Такая добродетель только способствует тому, что я еще более кажусь себе ненавистной и преступной. Да, умоляю вас, дайте мне расстаться с опостылевшей жизнью и живите, дабы сожалеть обо мне, любить меня… выйти замуж…

Мелани не может договорить, и соперница падает в слезах в ее объятия.

Люси не отходила от сестры, а та по-прежнему проявляла к ней столько же ласки и великодушия, Может ли слабое человеческое сердце сделать большее усилие, достойное всяческого восхищения, нежели отбросить прочь от себя чувство, ласкающее и заполняющее его, и пожелать счастья ближнего за счет своего собственного? Не есть ли это высший подвиг?

— Сестра моя, — сказала Люси некоторое время спустя после рокового признания, — я заглянула в свою душу, я обуздала свое сердце; думается мне, оно сможет подчиниться моему велению.

Обещать тебе большее — значит обманывать тебя и вводить в заблуждение самое себя. Дорогая Мелани, я чувствую, или хотя бы надеюсь, что ради твоего счастья я буду в силах отречься от д'Эстиваля, отказаться от брака с ним — могу ли сказать: от любви к нему? Увы! Втайне я буду страстно любить его, но видеть его в объятиях другой, видеть, что другая им любима и зовется его супругой, что моя сестра… Нет, этого зрелища я не перенесу. Хватит ли сил у Мелани принести мне эту жертву?

И Люси растроганно смотрит на сестру.

— Ужели вы сомневаетесь? — отвечает Мелани. — Да, — продолжает она с благородной уверенностью, — я хотела бы… Я хочу, чтобы вы стали его супругой, чтобы вы составили его и ваше счастье; сей торжественный договор заключила я сама с собой и заставлю сердце мое подчиниться. Пусть страдаю я одна, а сестра моя наслаждается участью, достойной ее совершенств!

Обе женщины являли собой пример самого редкого и возвышенного благородства. Мелани, тронутая речами Люси, вернулась к жизни — или, вернее, у нее хватило решимости вырваться из объятий близкой уже смерти. Еще не одержав

решающей победы, она все же, видимо, достигла своего, и этого было достаточно в глазах Люси и в ее собственных, дабы уже ни в чем не упрекать себя. Однако страсть ее, отнюдь не угаснув, напротив, день ото дня становилась сильнее; она избегала д'Эстиваля, но образ возлюбленного жил в глубине души ее и то и дело побеждал ее благородные намерения; она тщательно сторонилась любой случайности, когда бы могла оказаться наедине с ним, с человеком, страстно ею любимым, и почитала своим долгом смотреть на него равнодушным взором. Но ей все же не удалось избежать встречи с глазу на глаз, столь опасной для сердца, откровенно сознающего свою слабость. Граф воспользовался случаем, роковым для Мелани.

— Куда вы спешите, сударыня? — спросил он, заступив ей дорогу и бросившись к ее ногам. — Удостойте меня вниманием, на одно мгновение, только одно мгновение… Нет, вы не покинете меня; мне нельзя более таиться, я страстно люблю вас, люблю неистово; я живу, дышу только ради вас. Приличия ради — да нет, что там? — ради послушания отцу я связал себя обещанием с вашей сестрой; она приятна и добродетельна. Да, не спорю, она достойна и любви, и уважения; семья моя

желала бы этого союза, и он был предписан мне, как некий закон. Но, прекрасная Мелани… Я не в силах более принуждать себя; с каждым днем я вижу в вас все больше прелестей и совершенств; я стал бы обманывать Люси, ибо другая страсть владеет мною. Вы — единственный предмет сей нежности, что растет с каждым часом и будет пылать во мне до последнего моего вздоха. Говорите же, божественная Мелани, говорите; я на коленях жду решения судьбы моей.

— Она уже решена, сударь, — отвечает Мелани, сделав д'Эстивалю знак подняться с колен. — Вы предложили руку моей сестре, ваше внимание тронуло ее; сама честь велит вам любить ее. Только одной Люси должно зваться вашей супругой. Единственное же, что должна я, что я могу, это быть вам другом. Не забывайте, я друг сестре моей; и вы сами, сударь… Я все сказала. Более мы не будем говорить друг с другом. Я, со своей стороны, умолчу обо всем при условии, что все сказанное сейчас вами вы сохраните в глубочайшей тайне, и… Прощайте, сударь; отныне я буду избегать встречи с вами.

Д'Эстиваль хотел было ответить, но Мелани уже удалилась в свои покои. Здесь она вновь обернулась влюбленной девой и воскликнула:

— Наконец-то я могу свободно плакать, излить душу в слезах, целиком предаться моей слабости, любви моей, моему горю! Здесь я не оскорблю Люси, я могу принадлежать себе самой… Ужели! Граф любит меня, я люблю его страстно, и я должна вырвать его из сердца! Я должна говорить с ним о своей сестре, о ее нежных чувствах! Скрывать малейший порыв любви моей, малейшее движение души! Держаться с холодным дружелюбием, равнодушным дружелюбием! Ах, злополучная Мелани! Как тяжко мне бремя жизни! Так что же, пусть я умру в слезах, в рыданиях, но пусть знают, что женщина способна победить себя, может принести любовь в жертву природе, дружбе, великодушию, удивительному и сладостному для меня, хотя я и умираю его жертвой… Да, Люси, да, сестра моя, или, вернее сказать, моя соперница! Я твоя жертва… Ты победишь, ты испытаешь мою муку и ужас моего состояния; ты тоже познаешь любовь.

Каждое мгновение тщилась Мелани бороться с собой. Как беспощадный враг, подавляла она в глубине сердца самую слабую искорку, стоило той вспыхнуть, и делала все возможное, дабы задушить ее там. Д’Эстиваль послал ей несколько писем, но она упорно отказывалась их

принимать. Измученная его неустанным преследованием, готовая сдаться, влюбленная в графа более чем когда-либо, она собирает наконец все свои силы и покидает родительский кров. С ее исчезновением семья погружается в глубокую скорбь. Безутешная Люси предается отчаянию, и вот ей нанесен последний удар: она получает следующее письмо:

> Побег мой, сестра, не может вас удивить. Все велит мне бежать вас, скрыться от света; молю небо, чтобы я смогла оторваться от себя самой! Я приняла решение, единственно возможное. Я вас люблю, я страстно влюблена в д'Эстиваля; я не могу стать его женой, и только вам, вам одной надлежит носить это звание. Итак, я выбрала того супруга, коего мне еще дозволено любить. Я посвящу себя богу, ему будут отданы все мои чувства. Какие слова! В то время как я столькими узами привязана к земле! Сможет ли господь порвать эти узы, столь дорогие и в то же время столь ненавистные мне?
>
> Ему откроется душа моя, он сжалится над ней, он вернет ей покой; сердца

наши — его творение, он изменит мое сердце; он укротит несчастную любовь, влачимую мной к подножию алтаря, любовь, которая сейчас, когда я пишу вам, вспыхивает в слезах моих, разгорается от моего отчаяния и более чем когда-либо, мучит и терзает меня чувством вины. Быть может, господь принесет мне утешение в потере человека, более всех достойного любви! Да, нет сомнений, д'Эстиваль достоин любви более всех других; душа моя слишком исполнена этой убийственной мыслью! Но что я говорю! Будьте счастливы, дорогая сестра, и любите меня. Да станет и граф другом мне; я могу, не обижая вас, не оскорбляя ваших чувств, содействовать его счастью, оно же осчастливит и вас. Я отдаю вам обоим мое состояние; оно позволит вам занять место, коего вы достойны по своему роду и званию. Тешу себя мыслью, что отец мой не станет противиться моим намерениям. Не старайтесь узнать, где находится мое новое пристанище, вы его не найдете. Я скрыла свое имя и звание, прибегла ко всем средствам, дабы

воздвигнуть преграду, непреодолимую для ваших молений, для любви вашей и отца моего, доброту которого я вечно буду помнить, для себя самой, наконец, ибо себя я опасаюсь еще более, чем других. Я знаю, как мало сил у меня, и потому сделала все, дабы лишить себя возможности возврата, унизительного для моего достоинства; я умру хотя бы с сознанием, что выполнила свой долг и содействовала вашему счастью. Прощайте, сестра, прости, мирская жизнь, простите и вы, человеческие страсти; навеки прости… Нет, я не должна называть его имени, надо забыть его, надо; взору моему должен представляться только гроб мой — вот где скроются все мои страдания, слабости, заблуждения; вот где… Ах, сестра, сестра, я пишу вам, и заливаюсь слезами, и умираю тысячью смертей… больше вы от меня не получите ни одного письма.

Это безмерное великодушие стрелой пронзило сердце Люси; мысль о том, что она обрекла сестру на вечные страдания, сначала подавила ее дух, но вскоре она опомнилась с криком отчаяния:

— Нет, дорогая моя Мелани, я не слабее тебя! Я не свяжу себя этими узами, я должна возненавидеть и отбросить их, коль скоро в них твое несчастье. Ты не скроешься от моих поисков, я найду убежище, где ты прячешься от моих слез; я отыщу его, я вырву тебя оттуда, я верну тебя в родные места, в лоно твоей семьи; ты увидишь д'Эстиваля, ты будешь любить его. Ах! Если так суждено, стань его супругой: это мне следует умереть.

Внезапно граф предстал перед ней.

— Сударь, — сказала она, — присядьте, я должна поговорить с вами. Надеюсь, сударь, что не обольщусь, почитая, будто внушила вам какие-то чувства; быть может, вы знаете, что я отвечаю вам тем же; я же, со своей стороны, могла бы только радоваться возможности такого союза, но я оскорбила бы вас и пошла бы наперекор природе, чести, самой себе и даже вам, если бы не раскрыла вам сейчас весь ужас своего положения. Вам известно, сколь сильно люблю я сестру; она питает ко мне не менее нежное чувство; да, нет сомнений, она *любит* меня… И вот сестра моя, сударь, — продолжала Люси, залившись слезами, — навсегда погребла себя в каком-то неведомом нам монастыре; она завещала мне

свое достояние; она заботится только обо мне; она уговаривает меня соединиться с вами. Но это еще не все: знайте же, граф, Мелани любит вас. Это признание не причинит ей зла; она поступается своим счастьем ради моего; она жертвует собой, уничтожает себя ради сестры. Судите об ужасной скорби, в которой я нахожусь; сердце мое изранено, смерть проникает в него отовсюду… Я была бы счастлива стать вашей женой, способствовать вашему благополучию, д'Эстиваль… Но сестра… сестра…

— О, боже! Что за пленительные души! Что за божественные души! Мелани любит меня! — воскликнул граф. — Счастье мое приносит мне величайшую муку! Нет, я не могу купить блаженства ценой двух сердец, достойных чистейшего поклонения; я скорее умру от горя, нежели соглашусь обладать вами на таком условии… Ужели! Мелани навеки несчастна, и я виновен в ее страданиях! И ее нельзя спасти из темницы, где она погибает!

Д'Эстиваль предпринял, как и маркиз де Рюминьи, всевозможные поиски: они были тщетными. Убитый горем маркиз поведал о случившемся отцу графа; в письмах своих он настойчиво просил его приехать, дабы ускорить свадьбу Люси

с д'Эстивалем; он надеется, писал он, что замужество единственной оставшейся у него дочери несколько облегчит его горе. Хотя состояние графа и было вовсе не значительно, он представлял выгодную партию по своей родовитости и высокому положению, какое мог занять. Отец его уступает просьбам маркиза; он приезжает, находит сына, погруженного в глубокую печаль, сжигаемого страстью тем более мучительной, что долг, честь и даже жалость ему предписывают скрывать ее. И впрямь, мог ли он совершить такой неслыханно жестокий поступок, открыть всю правду достойной девушке, почитающей себя любимой? Люси не знала, как дорога Мелани сердцу д'Эстиваля; слезы, исторгаемые пылким жаром страсти, она принимала за слезы сострадания, слезы доброты. И все же граф уже готов был открыться Люси во всем, как внезапно перед ним предстал отец.

То был один из тех непреклонных вояк, что считают одинаково легким делом борьбу со страстями и борьбу с врагами государства. В нем полностью иссякла сама память о любви; либо, смутно вспоминая это чувство, он видел в нем лишь обманчивое безумие юности; кровь его вскипала только чести ради. В письме он дал

слово маркизу де Рюминьи, что сын его женится на Люси: он помнил только свое обещание и жаждал его исполнения. Тщетно д'Эстиваль раскрывает перед ним свое истерзанное сердце, бедствие, постигшее Мелани, нежность свою к несчастной деве.

— Сын мой, — твердо отвечает старик, — вы довольно показали мне свою слабость; я хорошо вижу, что Мелани полностью захватила над вами власть; да, слишком хорошо я это вижу; я сожалею о ее участи и о вашей тоже; я охотно раскрою вам объятия, чтобы вы излили слезы у меня на груди, но пусть только отец будет свидетелем этих слез; берегитесь, как бы ваше малодушие не стало известно всем. Вы обязаны жениться на Люси, выполнить обещание, данное мною, утешить маркиза — заняться, одним словом, счастьем вашей семьи, чье возвышение связано с этим браком. Ваш долг подчиниться мне; идите же к алтарю по моему велению и покажетесь мне на глаза только тогда, когда станете зятем маркиза де Рюминьи.

— Но, отец мой…

— Довольно слов.

— Любовь…

— Любовь? Что такое любовь в сравнении с че-

стью? Вы женитесь на Люси, или вы не сын мне.

— Отец мой, вам ли так мучить меня? Да, я сын ваш, я чувствую это по своему уважению и нежности к вам. Позвольте мне хотя бы подготовить сердце мое к этой ужасной жертве.

— Оттяжка! Никаких промедлений!.. Д'Эстиваль, ты хочешь моей смерти! Еще раз говорю: повинуйся… Склонись перед необходимостью выполнить мое и твое обещание, твой долг… Сын мой, ты видишь мои слезы, ужели ты хочешь убить отца?

— Ах, отец мой! Я буду вам послушен.

Мелани, запершись в своей мрачной обители, оказалась еще более во власти бури, от которой спасалась. Она мнила обрести некое подобие покоя в святом убежище, но увы! Сердце ее осталось при ней, любовь преследовала ее даже у ступеней алтаря; в неистовом порыве приникала она к этим ступеням, поливая их слезами, но видела только д'Эстиваля, только его любила, только он наполнял ее душу. Тщетно взывала она к богу, принося ему слезы свои и отчаяние: «О господь, не оставь меня, порази меня гневом своим, обрушь все свои кары на несчастную, предавшую тебя, отвергшую тебя ради преступной любви! Порою я уже готова бежать сих мест, умчаться

туда, где живет д'Эстиваль, сказать ему о любви моей… умереть у его ног. Что сталось с моей добродетелью, где помощь небес, тщетно ожидаемая мною? О боже, боже, прости меня!.. Нет, сестра, нет, я не стану мешать вашему счастью, любите же д'Эстиваля, пусть он любит вас; да соединят вас пленительные узы, а я снесу мое страшное бремя… я подчинюсь ему… О боже, боже, я бросаюсь в твои объятия, прочь от мирской жизни, прочь от себя самой! А ты, преследующий меня все более, будешь ли ты вечно стоять между небом и мною? Ах, д'Эстиваль, дай же мне хотя бы умереть в добродетели!»

Люси пребывала в не меньшем смятении; то она призывала Мелани в свое сердце и просила у нее прощения, то она гнала прочь даже память о сопернице; порой она как бы страшилась своей любви, она не могла скрыть от себя, что сестра станет жертвой этого чувства; она оплакивала ее; но как слаба природа рядом с любовью! Люси пылко любила графа и вскоре ничего так не желала, как обвенчаться с ним.

Наконец настал день свадьбы; родные жениха и невесты проводили их в церковь. Отец графа по дороге делился с ним выгодами, которые сулит этот брак, радостью, охватившей всю их семью.

— Какие выгоды! — отвечал д'Эстиваль угасшим голосом. — Вы приказали, отец! Этого довольно… Я влачусь навстречу смерти.

— Но разве Люси, сын мой, вовсе лишена прелестей, совершенств?

— Люси достойна самой горячей любви, но… она не Мелани, — добавил он с глубоким вздохом. — Нужды нет! Вы узнаете, отец, насколько я подчиняюсь вашей воле, насколько вы мне дороги! Уже не время отступать. Я повинуюсь вам, я иду к алтарю, я соединюсь там узами… Это дело ваших рук; я приношу себя в жертву вам; да будет только мне позволено подарить моей скорби недолгие дни, оставшиеся мне в удел.

Едва договорив, д'Эстиваль стал перед алтарем, ожидая мгновения, когда вечные узы соединят его с другой, а не с Мелани. Люси, охваченная таким же волнением, произносит клятву верности, будто смертный приговор; ее оставляют наедине с возлюбленным, ставшим ныне ее супругом. Потрясенная мучительной мыслью, что ее счастье будет стоить свободы, а возможно, и жизни ее сестре, она погрузилась в глубокое отчаяние: д'Эстиваль слишком разделяет ее скорбь; на какие-то мгновения ей даже хотелось бы, чтобы несчастная судьба Мелани не так сильно волно-

вала его. Но как мало могла Люси, при всей своей печали, предвидеть страшные удары, грозящие ей! Ведь ей неведомо было, что граф любит ее соперницу, и соперница эта — ее сестра!

Известие о свадьбе д'Эстиваля и Люси достигло уединенного убежища Мелани. Нет слов, могущих выразить обуявшие ее чувства; в сих ужасных обстоятельствах она могла опереться только на свою добродетель; она бежит к алтарю, бросается ниц, всецело предавшись своему горю, замирает в слезах; голос ее, прерываемый рыданиями, звучит глубоким отчаянием: «Стало быть, свершилось оно, свершилось; выпал мой несчастный жребий; граф стал супругом сестры моей, моим братом! Мне должно навеки отказаться от него… забыть его! Увы, могу ли я?! Ах, жестокий д'Эстиваль, ужели захотел ты связать себя этими узами? Бессердечная сестра моя! Ужели ты могла нанести мне такой удар? Но что я говорю, злополучная! Куда завела меня роковая страсть! Люси, д 'Эстиваль, простите меня, простите мне этот последний взрыв чувств, им придет конец вместе с несчастной Мелани. Вы узнаете, где найти мою могилу, вы придете пролить над ней слезу, прах мой почувствует это. Ужели вы мне в том откажете? Боже мой! Боже мой! Есть ли на

земле испытания, более суровые?»

Несчастную жертву злой судьбы обуревали неистовые страсти: ненависть, ярость, жажда мести, весь яд и все жгучее пламя, коими живет ревность, — все, одна за другой, пожирали ее, а любовь опять и опять возвращалась в ее смятенное сердце или, вернее, никогда не покидала его. Вот делает она несколько шагов, дабы бежать из своего убежища, потом возвращается, разразившись рыданиями; душа ее находится во власти тысячи противоречивых решений; наконец приходит она к мрачному замыслу избавиться от этой скорби жизни, выбирает самую ужасную смерть, и роковая веревка уже в ее руках. «Вот, — говорит она себе, — вот средство, единственное средство укротить злосчастную любовь, бывшую не чем иным, как слабостью, и ныне ставшую преступлением. Все на этой земле отступилось от меня, все! Само небо от меня отвратилось! Увы! Я молила его со слезами, стонами, криками, и оно не вняло мне! Я люблю, я горю любовью сильнее, чем когда-либо. Кто избавит меня от столь тяжкого гнета?

Только смерть. Смерть! Чем может это слово устрашить меня? Разве это не конец, уготованный всем живым? Смерть есть отдых от жизни.

А что же такое сама жизнь, если она обречена на подобные муки? Сестра моя! Подруга моя! — добавляет она скорбным голосом… — Она знала мое сердце, мои чувства, отчаяние мое; как могла она выйти за д'Эстиваля, когда я так страстно любила его и принесла себя в жертву! Итак, она его жена! Скорее, скорее покончить с этой жизнью, ставшей для меня несносной… Но что же это я? Отнять у себя жизнь? Но разве жизнь моя принадлежит мне? Я заперта в ужасной темнице. Имею ли я право вырваться из нее? Кто заточил меня сюда? Кто держит меня здесь, закованной в цепи? Властитель, который не отчитывается перед нами в своей воле, всевышний господь, единственный, кому дано решить мою участь. Нет сомнений, ему угодно, чтобы лились мои слезы, чтобы разрывалась грудь моя, чтобы я умирала в муках».

Она бросается на колени, горько рыдая:

— О господи, я повинуюсь твоей неисповедимой воле, я буду жить, буду жить; иссохну в слезах и отчаянии, жизнь моя станет вечной смертью; я оскорбила тебя, желая приблизить мгновение, уготованное всем людям. Увы! Жизнь довольно отомстит мне за тебя, я буду довольно наказана: сердце мое ты мне оставил!

Радости замужества не рассеяли печали Люси. Как ни сильна была любовь ее, она с невольным трепетом предавалась объятиям супруга: образ сестры преследовал ее. Граф оказывал ей бесчисленные знаки внимания, стараясь искупить ими отсутствие нежных чувств, коим не было места в его неверном сердце. Он жалел и почитал ее, но любил ее только как сестру Мелани. Когда его супруге случалось вымолвить это имя, ласки графа становились более пылкими, чувства его оживали. Как могла женщина пребывать в подобном ослеплении, в то время как обычно ревность помогает узреть истину?

Подчинившись отцу, а также долгу и чести, д'Эстиваль скрывал сердечные муки, но душа человеческая, в особенности в несчастье, всегда жаждет излиться. Слезы, пролитые на груди ближнего, теряют горечь и даже обретают сладость, приносящую известного рода отраду. У графа в Париже был близкий друг, кому он до сей поры поверял все свои тайны; намереваясь найти облегчение от принуды, взятой им на себя, он начал письмо в таких словах:

Да, друг мой, я женился; я богат; у меня есть надежды на самое блестящее поло-

жение в свете, и я самый несчастный из людей. Моя супруга наделена всеми качествами, способными внушить любовь: красою, прелестями, благородством, талантами, добродетелью… Но разве можно повелевать сердцу своему? У моей жены есть соперница…

На этом письмо обрывалось. Люси, по жестокой игре случая, который никогда не предвидишь, входит в кабинет мужа, находит забытое им письмо, читает и падает без чувств, дочитав последнюю строку. В этом ужасном виде застает ее д'Эстиваль; молния, его пронзившая, если возможно так сказать, в то же время озаряет его: письмо все еще в руке Люси. Она устремляет на мужа помертвелый взор.

— Я нелюбима! Ах, граф, я бросаюсь к ногам вашим, я орошаю их слезами. У меня есть соперница, счастливая соперница! Кто же она, сия соперница? Кто она? Говорите!

Граф, вне себя от изумления, от горя, хочет помочь жене подняться.

— Нет, я не встану, пока вы не назовете ее. Кто сия жестокая женщина, посмевшая отнять ваше сердце у меня, у меня, любящей вас безмерно?

Неблагодарный! Пусть явится она, пусть пронзит, растерзает мое сердце… Соперница! О, небо! Возможно ли такое? Умираю… Ужели мне предназначен был удел сей? Нет, я не ошиблась, я слишком уверена… Мелани… Сестра моя…

Услышав это имя, граф падает к ногам Люси, словно громом пораженный.

— Ужели вы любите сестру мою? Да, я все вижу, не скрывайте…

— Да, — отвечает он голосом, приглушенным слезами, — да, вот что я хотел утаить от вас, от вас и от самого себя. Да, такова моя страшная участь! Я понимаю, сколь ценны ваши совершенства, ваши достоинства; вы заслуживаете поклонения более других женщин, вас должно уважать и восхищаться вами… но…

— Договаривайте, жестокий, договаривайте до конца.

— Нежные чувства мои принадлежали Мелани еще до того, как вы отдали мне свою руку. Я навеки схоронил бы в глубокой тайне эту роковую страсть, но по жестокому стечению всех моих несчастий тайна сия стала вам известна; будьте милосердны ко мне; могу ли я надеяться хотя бы на жалость вашу?.. Тень смерти пала на твое чело, дорогая Люси; взгляни на супруга, умирающего

у ног твоих; он победит оскорбительное для тебя чувство, он полюбит тебя.

Люси приходит в себя, только чтобы сказать, устремив потухший взор на д'Эстиваля:

— Вы любите сестру мою! — и снова падает без чувств.

Вскоре у нее открывается горячка, грозящая прервать ее дни. Она упорно молчит о причине болезни; ей недостает сил, чтобы говорить с мужем, она только нежно пожимает ему руку и то и дело бросает на него пронзительные взгляды, исполненные горя и любви и приносящие его сердцу отчаяние и смерть.

— Ах, какое безмерное великодушие! — говорит д'Эстиваль. — О несравненная женщина! Как?! Я убийца твой, а ты еще не решаешься поведать о моем злодеянии твоему отцу и моему, и всему свету! Да станет же это известно им, да узнают они все! Пусть вся земля обвинит меня и осудит!

Маркиз де Рюминьи и отец графа входят в сопровождении врача.

— Сударь и вы, отец мой, бесполезно прибегать к помощи науки, дабы узнать, с чего началась болезнь графини: пред вами ее виновник.

— Как!..

— Да, это я пронзил ей грудь кинжалом. Знайте

же обо всех моих бедах, — продолжает он со слезами. — Да, я несчастнейший из людей! Я любил сестру ее до того еще, как мы соединились; я пытался подавить это страстное влечение; оно предстало глазам Люси, и вот она умирает по вине моей! Нет, дорогая супруга, ты не умрешь, ты будешь жить ради любящего, горячо любящего тебя мужа. Обещай, что простишь меня, обещай, что будешь меня любить!

Маркиз и отец графа плачут вместе с ним; они раскрывают Люси свои объятия; они жаждут утешить ее; они прибегают ко всем средствам, дабы смягчить черную ревность, чей всепожирающий яд грозит ее жизни.

— Сестра ее, — твердят они ей, — добровольно укрылась в своем убежище, и есть все основания полагать, что она не явится более в свет. Как же Люси не питать надежд? Ее прелести, добродетель, постоянство помогут ей взять над сердцем супруга власть, оспариваемую ранее Мелани; благородство ее поведения и время окончательно вернут ей д'Эстиваля.

— Ах, — восклицает несчастная Люси, — сколь ничтожны эти лекарства по сравнению с лезвием, пронзившим мне грудь! Вот где мой недуг (кладет она руку себе на сердце), и этот недуг не

поддается исцелению. Нет, я не могу более жить. Я проливала слезы над участью сестры! Безумная! Я не ведала, что оплакиваю счастливую соперницу!.. Незачем обольщаться: граф не станет иным; любовь нельзя укротить, я это слишком чувствую. Если бы я слушалась только рассудка, он, быть может, вернул бы меня к жизни, но любовь моя влечет меня к погибели; все уже решено.

Нельзя даже представить себе всех чувств, волновавших умирающую; она осыпала упреками Мелани, будто та находилась сейчас перед нею, молила простить ей неистовую ревность, заверяла ее в вечной дружбе и снова винила; она призывала мужа в свои объятия, отталкивала его в досаде своей, умоляла любить ее, уговаривала забыть. Все эти столь разные меж собой сцены отчаяния кончались потоками слез и обмираниями.

Внимание графа, его отца и маркиза, их мольбы, ласковости, искренняя нежность не могли исцелить Люси и вернуть ей здоровье; все усилия медицины были тщетны. Болезни души еще труднее излечить, чем недуг телесный. Графиня с твердостью встретила приближающуюся смерть; именно в эти мгновения и проявились вся ее безмерная любовь и благородство.

— Я скоро умру, — обратилась она к отцу своему, к отцу графа и к самому д'Эстивалю, стоявшим возле ее ложа и напрасно старавшимся скрыть свои слезы. — Не надо таить от меня эти знаки добрых чувств; я льщу себя надеждой, что все еще дорога вам; это будут последние слезы, пролитые вами из-за обездоленной женщины. Отец мой, любите дочь вашу, благоволите вспоминать ее изредка, дабы пожалеть; вы найдете утешение от этой потери, ведь у вас остается еще одна дочь… Пусть Мелани тоже поплачет обо мне, пусть она простит меня. Ей известно, что такое любовь: она простит меня, надежду на это я уношу с собой в могилу. Отец мой, позволите ли вы мне подарить графу ничтожный знак моей несчастной любви?

Маркиз, крепко прижав ее к сердцу своему, только и может вымолвить имя дочери, дорогой своей дочери. Она же продолжает:

— Я оставляю вам, граф, все имение, коим располагаю…

— Зачем говорите вы о достоянии, дорогая Люси? Вы печетесь о моем благе! Ужели оно возможно для меня, для несчастного супруга, если он вас лишится? Все потеряет он тогда, все…

— Нет, граф, Мелани…

— Не говори далее, достойнейшая моя супруга,

высокие твои совершенства вновь влекут меня к тебе, и ты одна царишь в моем сердце. Обожаемая моя Люси, ты будешь навек его единственной владычицей. Какая страсть не отступит пред этим законным чувством, столь чистым и горячим!

— Дорогой супруг мой, — прерывает д'Эстиваля Люси, протягивая ему руку, которую он сжимает в своих, осыпая поцелуями и обливая слезами, — вот самое сладостное мгновение моей жизни, я высоко ценю такой великодушный порыв, но… я знаю, что такое любовь, моя сестра вам всегда будет дорога.

Граф хочет заговорить, но она продолжает:

— Простите меня, я еще живу, я еще люблю вас… и жестокая ревность обуревает меня. Мне должно ее побороть. Я не только прошу вас, с согласия отца моего, принять мое состояние; постарайтесь узнать, где скрывается сестра моя, женитесь на ней, женитесь на моей сопернице… во мне больше нет ненависти к ней. Живите и будьте счастливы, почитайте меня, коль скоро я не могла заслужить любви вашей, пролейте хотя бы слезу над моим прахом, только этой награды прошу я за любовь, стоившую мне жизни. Прощайте, отец мой. — Затем она обращается к отцу графа: — Прощайте, сударь, вы были так

добры ко мне. Итак, все кончено! Все узы наши порваны. Подойдите ближе, дорогой д'Эстиваль. Вы плачете!.. Но Мелани осушит ваши слезы…

Это были последние слова, сказанные Люси. Верно говорят, что ревность кончается только с жизнью. Маркиз подтвердил дар, принесенный Люси своему супругу.

Д'Эстиваль впал в уныние неизъяснимое. Скорбь его и впрямь была очень глубока, коль скоро ему порой случалось даже забывать о Мелани. Взоры его, вся его душа были устремлены на гроб, где покоилась супруга; мрачная эта картина завладела всеми его чувствами; он обвинял себя в бесчеловечной жестокости, он во всеуслышание называл себя убийцей Люси. Сам маркиз был тронут его состоянием. Несчастный отец, оплакивая дочь, надеялся, что Мелани когда-нибудь вернется в мир и послужит ему утешением в старости и поддержкой на последнем пути к жизненному пределу. Проносится неясный слух, будто Мелани, вслед за сестрой своей, сошла в могилу. Несчастный отец, поддавшийся горю, умирает немного времени спустя на руках у графа, именуя его сыном и объявляя наследником. Д'Эстиваль, перенесший столько ударов, готов проститься с жизнью. Роковое известие о смерти

Мелани с новой силой пробудило в нем любовь; он плачет о жене своей и о возлюбленной; он сам не может разобраться в охватившем его смятении. Отец прижимает его к груди своей; и вот уже близко подступает мгновение, когда душа его, измученная столькими несчастьями, расстанется с телом.

Некая монахиня, связанная узами дружбы с Мелани, извещает ее о плачевной кончине сестры, не упустив ни одной из подробностей, придающих этой смерти особую трогательность. Короче говоря, Мелани знает, что последние вздохи Люси разделял д'Эстиваль, что эта великодушная женщина, вознесясь над всеми законами природы, уговаривала мужа жениться на ее сопернице, когда ее самой уже не станет. Это проявление высшего благородства вовсе подавило несчастную, без конца винившую себя за жестокую участь сестры.

Несколько дней пребывала она в каком-то летаргическом оцепенении; она не вымолвила ни единого слова, не пролила ни одной слезы. Наконец отчаяние ее прорывается сквозь этот подобный смерти сон: за потоком слез и взрывом рыданий следуют такие слова ее:

— Нет, бедная Люси, нет, я не уступлю вам в

великодушии; убила вас я, одна я… я же и отомщу за вас; я хочу жить, дабы вечно помнить ваши совершенства, узы дружбы, нас соединявшие и преданные мною; пусть сердце мое терзают тысячи ран, пусть его раздирает вечное раскаяние, да пребуду я вечной жертвой, принесенной вам; такое приношение заслужено вами, великодушная сестра, сведенная мной в могилу, заслужено вами. Ах, достигнут ли тебя мои слезы? Горю моему не дано вернуть тебя к жизни! Я готова была бы сто раз умереть, лишь бы вернуть тебе один день на сей земле; ты бы узнала тогда, как ты дорога мне. Я покидаю эти края, чтобы искать смерти на твоей могиле. Пусть похоронят меня рядом с тобой! Пусть сердца наши будут одно возле другого! Тебя уже нет более… А я могла бы… Не страшись ничего, дорогая Люси, я знаю сердце свое, свои слабости; я сумею доказать тебе, что сестра достойна тебя, Люси… Я не умру, я совершу нечто большее!

Она бросается на колени:

— Боже мой! Не оставь меня, я нуждаюсь в твоей помощи, в поддержке небес; о покровитель мой, один-единственный друг мой, сжалься над несчастной, ищущей прибежища в лоне твоем, молящей подарить ей твердость, обновленную

душу, дабы она могла выполнить свой долг!

Мелани произносит последнее слово с уверенностью, говорящей о непреложном решении. Смерть отца, о которой она узнает в этих тяжких обстоятельствах, наносит ей новый удар.

В первые мгновения, когда стало известно о печальной кончине Люси, все опасались, как бы Мелани не постигла та же участь: ведь целых три дня ее оплакивали, как мертвую. Видимо, эта злосчастная ошибка ввела в заблуждение родственницу Мелани и дошла до маркиза де Рюминьи.

Страдания графа были не менее жестокими. Отец его лишился былой суровости; то был теперь старик, исполненный чувствительности, волнуемый родительскими заботами, плачущий на груди умирающего сына.

Вбегает слуга.

— Сударь, она не умерла!..

— Мелани!

Одно лишь это слово может вымолвить д'Эстиваль, и он вырывается из отцовских объятий.

— Да, она жива, — продолжает слуга, — и убежище ее стало нам известно, вас туда проводят.

— Друг мой… отец мой… я увижу Мелани… Я скажу ей… Пустите меня, отец, я упаду к ногам

ее, я вернусь к жизни, дабы любить ее, поклоняться ей.

Отец пытается удержать сына, молит его помедлить хотя бы несколько дней, один день, час один. Но нетерпение графа не знает преград, его несут в экипаж в сопровождении отца.

Свершилось все: д'Эстиваль уже не видит гробницы несчастной Люси. Опьяненный обольстительной надеждой, он вернулся к жизни; он видит только алтарь, перед которым он соединится с Мелани нерасторжимыми узами; душа его летит к ногам повелительницы его жизни; сердцем он уже говорит с ней, вновь и вновь клянется ей в любви, еще укрепившейся в разлуке и горе.

Д'Эстиваль проклинает слишком медленный бег лошадей, но, если бы мчали его крылатые кони, он их так же бранил бы за медлительность. Наконец прибывают они в монастырь Мелани, просят позвать ее. Мелани велит передать графу и отцу его, что ждет их через три дня. Целая мучительная вечность для д'Эстиваля! Что думать о столь жестоком приговоре? Ужели Мелани забыла его? Ужели разлюбила, а он жаждет упасть к ее ногам, горит желанием скрепить любовь свою священной клятвой! Он все упорнее домо-

гается встречи, молит сказать, что близок его последний вздох, но ему непреклонно дают все тот же ответ.

Истекает поставленный срок, и д'Эстиваль с отцом подбегают к вратам. Мелани выходит к ним.

— О, небо! — восклицает граф. — Что значит это одеяние?

— Что я более не вольна распоряжаться судьбой своей…

— Что вы говорите?! — восклицают в один голос д'Эстиваль и отец его.

— Вчера я дала монашеский обет.

— Обет!

Граф более ничего не может вымолвить и падает на руки отца.

— Да, все кончено, — с тою же твердостью продолжает Мелани, — я навеки предалась богу, и другого супруга у меня не будет.

— Обет! — повторяет д'Эстиваль, силясь заговорить.

— От меня не скрыли печальной кончины сестры моей и отца; я исполнила свой долг и предалась церкви; родственница моя поддержала меня в этом замысле. Я наконец узнала… Ах, сударь, какими упреками я осыпала себя!.. Узнала, что сестра моя умерла ради меня… а я ради нее

навеки погребла себя в сей могиле.

— Мелани потеряна для меня навеки!

— Негоже мне, сударь, носить имя жены вашей после того, как я принесла смерть несчастной моей сестре. Я приняла решение увидеть вас только после того, как воздвигну между нами непреодолимую, вечную преграду… Д'Эстиваль, судите же о моих усилиях и моем смятении: я вас любила, признаюсь в том, не краснея, ибо сердце мое более не может принадлежать ни вам, ни мне самой! Я прошу вас только о дружеских чувствах, вернее, о сострадании. Мы оба будем плакать над судьбой бедной Люси, да почувствует она слезы наши в своей могиле! Увы! Эти слезы — наш долг перед ней. Я с радостью подтверждаю желание Люси и отца моего передать вам в дар наше достояние. Пожалейте об участи нашей, не забывайте о двух несчастных, умерших от любви к вам, ибо смерть моя вскоре последует за кончиной дорогой моей Люси и бедного отца нашего. Прощайте, сударь; прощайте, д'Эстиваль… И особо прошу не искать более встреч со мной.

— Как!.. — вскричал граф, заливаясь слезами. — Мелани велит мне не видеться более с ней!

— Не надо нам волновать чувств друг друга… Расстанемся… В вашем присутствии я чувствую

себя виновной пред самой собой, пред богом, кому единственно я принадлежу. Этим словом все сказано; он покарал меня, и я признаю его справедливый суд: да свершится он! Да, это я вонзила кинжал в грудь Люси. Я чувствую всю чудовищность моего преступления… Еще раз скажу, видеться нам не надо более… Прощайте навек!

— О жестокая, — говорит д'Эстиваль, — вы думаете только о сестре, которой лишились, а о моей смерти вам нечего сказать. Ужели вы полагаете, что я хотя бы на мгновение переживу эту роковую встречу с вами? Ужели приятно вам терзать сердце, бившееся доныне единственно ради вас? Сделайте милость, взгляните только на меня… Взгляните на свою жертву: она умирает; это вы, дорогая моя Мелани, вы сведете меня в могилу!

— Я свела туда сестру свою, я еще слышу ее голос, я вижу, как она указывает мне на свой гроб. Ее жалобы, ее укоры звучат даже здесь, в этом печальном убежище, где мне не найти покоя. Что же вы осмелились предложить мне? Чтобы я, над прахом сей несчастной… Прах этот, д'Эстиваль, еще не остыл, а я соединилась бы узами с вами! С мужем сестры моей… Стала бы вашей женой! Ступайте прочь, бегите этих мест, не разжигайте

во мне ненависть. Я ужасаюсь себя самой.

Она готовится уйти, граф удерживает ее за руку.

— Сударь, — говорит Мелани отцу графа, — я молю вас о помощи против него, против себя. Д'Эстиваль, — добавляет она, взирая на него очами, затуманенными слезой, — разве я не достаточно изменяла долгу? Долг запрещал мне видеть вас, слышать вас, думать о вас. Д'Эстиваль, если вы любите меня, если я вам еще дорога… Что я говорю, несчастная! Дайте же мне умереть, не совершая новых злодеяний. Нет, вам не знать, вам никогда не знать всех мук, что вы мне причинили, они ужасны, и только смерть может положить им конец.

— Взгляните на своего возлюбленного…

— Возлюбленного! Что я слышу! О, небо, Люси! О, боже мой! Идите, ступайте прочь, говорю вам, прочь навсегда, забудьте, забудьте меня… Ах, я и так слишком поддалась слабости! Прощайте, д'Эстиваль… Прощайте, сударь… Скоро оба вы будете оплакивать мою кончину.

И она порывистым движением бросается вон из приемной, как бы убегая от самой себя.

— Мелани, одно слово, одно только слово! Молю, выслушайте меня! Мелани, одно мгнове-

ние! — восклицает граф.

Но Мелани навсегда скрылась из глаз его. Д'Эстиваль впадает в беспамятство, и отец увлекает его к карете.

У бедной Мелани достало сил отринуть все, что было ей дорого; нетрудно понять, что изо всех обуявших ее чувств самым неистовым была любовь. Она сумела пресечь свидание к графом, но все еще следила за ним глазами из монастырского окошка, что-то говорила ему взором; не отрываясь, смотрела она на того, кто был ей всех милей, кого она могла бы любить, чьей женой могла бы стать, если бы не власть непреклонной добродетели, упорно преграждающей путь ее нежным чувствам. Но и жестокая эта добродетель, беспощадно мучившая ее, возможно, отступилась бы, если бы взоры Мелани дольше были прикованы к д'Эстивалю. И впрямь, что это было за зрелище для влюбленной девы, и была ли хоть одна из них влюбленней и несчастней, чем Мелани! Граф, умирающий, навеки разлученный с нею, обреченный, должно быть, на смерть после этого свидания, и она своими руками убивает его, влечет к могиле, в то время как могла бы одним лишь словом вернуть к жизни и сделать счастливейшим из смертных: вот какая картина

представала перед ней, разрывая ей сердце! Могла ли требовать еще большей жертвы сестра, чья тень, казалось, никогда не перестанет оглашать воздух жалобными стенаниями? Наконец, когда д'Эстиваль сел в карету, когда она отъехала, когда исчезла, когда он навсегда скрылся вдали, Мелани грянулась оземь как громом пораженная; несколько мгновений лежит она без памяти, затем поднимается, бежит к окну и снова падает, заливаясь горькими слезами:

— Итак, я более не увижу его! И я сама произнесла этот приговор! Я, я, все еще горящая любовью! О, небо, похвально ли я поступила? Люси, довольно ли я была беспощадной, довольно ли жестокой? Довольно ли подчинилось сердце мое велению, суровость коего оно предчувствовало? Я могла соединиться с графом, а теперь умираю; я угасаю, прикованная к алтарю, пред которым молю небо ниспослать мне силы, чтобы победить себя, пред которым любовь… Но нет, я не умру. Любовь, что терзает меня, любовь, что питается слезами моими, не даст мне испустить последний вздох и будет впредь разжигать мои муки! Жизнь моя так ужасна, что мне остается надеяться только на кончину, как на единственное благо. И эта столь желанная смерть все медлит… все медлит

избавить меня от несносного пребывания на земле! Тщетно я взываю к ней! Тщетно припадаю к гробу моему! Как желала бы я быть погребенной в нем навеки! Но ненавистный свет вновь бьет мне в очи и отдает меня опять во власть моих безумств и преступлений! Ах, несчастный д'Эстиваль, тщетно ли буду я повторять все то же? Честь, вера запрещают мне видеть тебя, любить тебя, помышлять единственно о тебе! Малейшая мысль о тебе преступна... Великий боже! Простишь ли ты меня? О боже, боже! Сжалься над моими страданиями, над моими слабостями, над моим раскаянием... Кто я такая, жалкое создание? Ужели без конца суждено любви возвращаться в сердце, не осмеливающееся впустить ее?

Напрасно Мелани прибегает к помощи добродетели и благочестия, дабы бороться с воспоминаниями, без конца осаждавшими ее душу и обретавшими над ней все большую власть; забыть д'Эстиваля она не может; сама рука ее, помимо воли, чертит на бумаге образ, слишком глубоко запечатленный в сердце. Мелани то берется за карандаш, то бросает его, кляня свою слабость, снова берет его, двадцать раз мечется от портрета к алтарю, а от алтаря — к изображению, порожденному страстью, вновь роняет

из рук карандаш и подбирает его еще быстрее. Наконец рисунок завершен, в жестокой битве, в стенаниях, в грозных схватках между любовью и благочестием. Чем дальше чертит карандаш, тем больше слез и мук совести.

— Да, — восклицает Мелани, — вот черты милейшего из смертных, вернейшего из влюбленных!.. Какое слово я сказала! Прости, всевышний, прости меня! Увы! Ужели оскорбляют тебя мои слезы, пролитые над ничтожным рисунком? Ужели мне будет отказано и в этом, столь слабом утешении? Ах! Могу ли я еще сомневаться, боже мой! Вся вина моя — нет, что я говорю! — все вероломство мое предстает предо мной! Я более не смею заблуждаться. Что ни мысль — то измена клятве! Осветим же это сердце беспощадным светом: оно упивается своим злодейством! Оно вбирает и лелеет все, что питает единую мысль… Я слишком понимаю!.. Мысль эта захватила, заполонила мою душу. Нет, я уберу прочь роковой портрет; я не сохраню его, не стану поддерживать преступную нежность, которую должна задушить… Надобно спрятать его, убрать подальше от глаз, уничтожить, вырвать его, если возможно, из сердца.

Она хочет выполнить это благородное намере-

ние, рука ее дрожит, она вновь обращает взор к портрету, столь опасному для нее, вздыхает, прячет его на груди, прижимает чуть ли не к самому сердцу. Каждый день обещает она всевышнему уничтожить свидетельство осужденного чувства и каждый миг смотрит опять на этот образ, орошает его слезами, поверяет ему свои жалобы и сожаления, как если бы говорила с самим д'Эстивалем.

Граф не мог оправиться от тяжкого уныния, охватившего его после новой немилости Мелани; уговоры, ласки, слезы отца не в силах были вернуть его к жизни; он все глубже погружался в печаль, упорствовал в скорби; да где нашел бы он средство для ее облегчения? Он дорожил ею, ему любо было распалять ее. Есть у любовных горестей особое очарование, знакомое только сердцам, познавшим любовь.

— Нет, — восклицал д'Эстиваль, — нет, отец мой, полно советовать мне вырвать из ран убийственное острие! Пусть эта рана станет еще глубже, пусть унесет она меня в могилу! Отец, я не могу обладать Мелани, и вы хотите, чтобы я остался жив! Я умру, умру, заполнив все свое сердце обожаемым образом! Жестокая! Она причина всех моих мук, и я все еще целую руку, убиваю-

щую меня. Но как вы думаете, отец, ужели она не смягчится, ужели вечно будет отвергать меня? Этот обет, обет, смертельный мой приговор, ужели он никогда не будет ею нарушен? Неужто это бесповоротное решение, неразрывные узы? Разве нет примеров обратного? Несчастный! Я потерял рассудок! Куда завела меня страсть? Ах! Я знаю, навеки, да-да, навеки потерял я Мелани! Отец, если бы я мог хотя бы увидеть ее! Пусть я ее увижу! Добейтесь для меня этой милости; если она откажется говорить со мной, пусть глаза мои, глаза мои пусть заглянут ей в очи! Пусть ее порадуют мои слезы! Пусть я испущу последний вздох у ног ее!

Отец д'Эстиваля устремляется в монастырь, но к Мелани он не может проникнуть. Напрасны все его настойчивые просьбы и слезы; он умоляет о едином мгновении встречи с ней, но во всем встречает отказ. Мелани, терзаясь и томясь, с плачем бросается к ногам почтенного монаха, молит дать ей сил для борьбы с собой, раскрывает ему душу, раздираемую смертной мукой, признается, что готова уступить желанию увидеть отца, графа, самого графа, взывает о помощи святой церкви. Монах, соболезнуя Мелани, льет слезы вместе с ней и мало-помалу возвращает

ее к сознанию долга, препятствует, наконец, ее желанию сдаться и встретиться хотя бы с отцом д'Эстиваля. Мелани победила, но торжество это — одна лишь видимость: слишком дорогой ценой далась ей жертва, за которой могла последовать только медленная смерть. С этой поры от нее не слышали ни единой жалобы, слезы ее иссякли; только изредка вырывались у нее глухие стенания, раскрывавшие глубину ее отчаяния. Из всех страстей любовь долее всего сохраняет свою силу, одиночество только распаляет ее. Именно в уединении и безмолвии зарождаются и крепнут могучие порывы души чувствительной, а ежели она не охвачена священным восторгом веры, то монастырская тишь только способствует ее уходу вглубь, позволяет ей испробовать и познать свою мощь, приводит ее подчас к неистовым взрывам, обуздать которые дано единственно смерти. Едва случится нам оторваться от всего, что окружает нас, тотчас же пробудится воображение наше, разгорится с сердцем наравне, и предмет, нами потерянный, станет во сто крат милее и дороже, он будет представляться нам все краше, ибо в этом ищем мы оправдания своим сожалениям; и, преувеличивая ценность утраты, испытываем своего рода наслаждение, упиваясь собственной

скорбью.

В таком примерно состоянии пребывала Мелани; горе ее не знало пределов, и это было, возможно, единственным оставшимся ей утешением.

Ей приносят шкатулку, куда вложено письмо и серебряная коробочка; она поспешно берет письмо, со страхом узнает почерк графа и читает:

> Я повиновался вам; я пожертвовал своим счастьем, жизнью своей; я более не пытался увидеть вас, а жить, вас не видя, я не в силах; осмельтесь же прочесть письмо мое: когда вы его получите, участь моя уже свершится. Перестану ли я любить вас? Сможет ли душа моя утратить это чувство, единственное чувство, поглотившее ее полностью? Неба моя любовь не оскорбит: не может быть любви более чистой и более достойной всевышнего творца, создавшего нас друг для друга. Я не смог отдать вам себя, но отдать себя не могу никому, кроме вас. Это я навлек беду на вашу семью, я повинен в смерти сестры вашей, моей жены, я свел в могилу вашего отца, я безжалостно убил обоих;

но как жестоко вы меня покарали! Иного выхода, чем смерть, у меня не было; и вот она наконец положила предел всем мукам.

Я прошу вас об одной лишь милости: сохраните единственный дар, который вам дозволено принять от меня, последний дар любви моей. Прощайте, дорогая Мелани. Покажется ли вам обидным это обращение? Подумайте, ведь я умираю, так и не назвавшись супругом вашим.

Д'Эстиваль.

Мелани, растерянная, потрясенная, убитая этим новым ударом, остается поначалу неподвижной, потом касается руками коробочки; неподвластная ей сила, какое-то влечение, побуждающее несчастного бросаться грудью на убийственное острие, торопит ее, велит немедля узнать, что же скрыто в коробочке, каков обещанный дар; она поднимает крышку, сотрясаемая мучительной дрожью, и взору ее предстает записка:

Это сердце страстно любило вас, дышало единственно вами; ужели непреклонная Мелани не прольет над ним слезу?

— Сердце д’Эстиваля! — восклицает Мелани.

И впрямь, таков был посланный им роковой дар. Она лишается речи и чувств. Ее переносят на ложе, где она и умирает немного дней спустя, вымолвив только одно:

— О, д’Эстиваль! О, боже мой…



ДИДРО
ДВА ДРУГА ИЗ БУРБОННЫ{216}

Перевод Г. Фридлендера

Жили в наших краях два человека, которых можно было бы назвать бурбоннскими Орестом и Пиладом.{217} Одного из них звали Оливье, другого — Феликс. Они родились в один и тот же день, в одном и том же доме, от двух сестер. Были вскормлены тем же самым молоком, потому что одна из матерей умерла во время родов, и другая взяла на себя заботу о детях. Росли вместе и всегда держались в стороне от других. Любили друг друга так, как другие живут или видят, — не задумываясь: они это чувствовали каждую минуту, но, может быть, даже себе никогда в этом не признались. Оливье спас однажды жизнь Феликсу, который возомнил себя искусным пловцом и едва не утонул, — ни тот, ни другой об том не вспоминали. Сотню раз Феликс выручал

{216} Комментарии: 2.216

Бурбонна — местечко недалеко от Лангра, родного города Дидро.

{217} Комментарии: 2.217

Орест и Пилад — герои троянских сказаний, двоюродные братья, которых связывала очень крепкая дружба. Она вошла в пословицу.

Оливье из положений, в которые тот попадал по причине своего пылкого нрава, — и ни разу Оливье не пришло в голову поблагодарить его — они возвращались вместе домой молча или разговаривая о чем-нибудь другом.

Во время жеребьевки при наборе рекрутов первый роковой жребий вытащил Феликс. Тогда Оливье сказал: «Второй — мой». Отслужив свой срок, они вернулись на родину. Я не решусь утверждать, что они стали теперь друг другу еще дороже, чем были прежде, ибо если взаимные услуги укрепляют сознательные привязанности, то вряд ли, братец, они могут прибавить что-нибудь к тем, которые я бы охотно сравнила с инстинктивными привязанностями животных или членов семьи. В армии в одной из стычек Оливье угрожал сабельный удар, который неминуемо раскроил бы ему череп; но Феликс, не задумываясь, бросился навстречу удару и сохранил навсегда глубокий шрам на лице. Некоторые утверждали, что он гордился этой раной, но что касается меня, то я этому не верю. При Хастенбеке{218} Оливье вытащил Феликса из груды трупов,

{218} Комментарии: 2.218

Хастенбек — местечко в немецкой провинции Ганновер, где во время Семилетней войны французские войска одержали победу над англичанами (26 июля 1757 г.).

среди которых тот остался лежать. Когда их расспрашивали об этом, то каждый говорил иногда о помощи, которую оказал ему другой, но никогда не упоминал о той помощи, которую оказал другому он сам. Оливье рассказывал о Феликсе, Феликс говорил об Оливье, но никогда они не восхваляли самих себя. Некоторое время спустя после возвращения на родину оба они полюбили; и случаю угодно было, чтобы они влюбились в одну и ту же девушку. Между ними не могло быть и мысли о соперничестве. Первый, догадавшийся о страсти друга, пожертвовал собой: то был Феликс. Оливье женился, а Феликс, потерявший вкус к жизни, хотя он и не понимал, отчего это произошло, занялся разного рода опасными делами и в конце концов стал контрабандистом.

Вы знаете, братец, что во Франции есть четыре трибунала — в Кане, в Реймсе, в Валансе и в Тулузе, — которые судят контрабандистов. Самый суровый из них — это реймский трибунал, где председательствует некий Коло, едва ли не самая жестокая душа из всех, какие природа производила на свет. Феликс был пойман с оружием в руках; он предстал перед грозным Коло и был приговорен к смерти, так же как до него пять сотен других. Оливье узнал о судьбе Феликса.

Ночью он покинул супружеское ложе и, ни слова не сказав жене, отправился в Реймс. Там он идет к судье Коло, бросается к его ногам и молит о милости — разрешить ему повидаться с Феликсом и обнять его. Коло молча смотрит на него минутку, затем знаком приглашает его сесть. Оливье садится. Через полчаса Коло вынимает часы и говорит Оливье: «Если ты хочешь увидеть и обнять своего друга живым, то поспеши, так как его уже везут на казнь. Если мои часы идут правильно, не пройдет и десяти минут, как он будет повешен». Тогда Оливье, охваченный яростью, поднимается с места и наносит судье Коло палкой ужасный удар по голове, от которого тот падает замертво. Затем он бежит на площадь, с криком бросается на палача и стражу, поднимает против них народ, возмущенный этими казнями. Летят камни. Освобожденный Феликс бежит. Оливье тоже думает о спасении; но один из жандармов, не замеченный им, пронзил ему грудь штыком. Оливье добрался до городских ворот, но не мог идти дальше. Сострадательные возчики взяли его в свою повозку и доставили до дверей его дома за минуту до того, как он испустил дух. У него осталось время, только чтобы успеть сказать жене: «Подойди ко мне, чтобы я мог тебя поцеловать. Я

умираю, но Феликс спасен».

Однажды вечером, когда мы, по обыкновению, отправились на прогулку, мы увидели стоявшую перед одной из хижин высокую женщину с четырьмя маленькими детьми около нее. Печальный и строгий вид ее привлек наше внимание, которое от нее не укрылось. Помолчав немного, она сказала: «Вот четверо маленьких детей, я их мать, и у меня нет больше мужа». Величественность, с которой она просила о сострадании, не могла нас не тронуть. Мы предложили ей нашу милостыню, которую она приняла с достоинством; при этом мы узнали историю ее мужа Оливье и его друга Феликса. Мы рассказали о ней нашим знакомым, и я надеюсь, что наши просьбы помочь ей не будут безрезультатны. Вы видите, братец, что величие души и высокие моральные качества присущи одинаково всем общественным положениям и всем странам: нередко человек не оставляет после себя памяти лишь потому, что у него не было другого, более широкого поприща, на котором он мог бы их проявить, и что вовсе не нужно отправляться к

ирокезам, чтобы отыскать двух друзей.{219}

В то время как разбойник Тесталунга опустошал со своей шайкой Сицилию, его друг и наперсник Романо был схвачен полицией. Он был ближайшим помощником Тесталунги и его правой рукой. Отец этого Романо был арестован и заключен в тюрьму за преступления. Романо-сыну обещали помиловать и освободить его отца, если он изменит своему атаману и выдаст его властям. Борьба между сыновним чувством и верностью клятве дружбы была тяжелой. Но Романо-отец убедил сына отдать предпочтение дружбе, считая для себя постыдным получить жизнь ценой предательства. Сын послушался отца. Романо-отец был казнен, а Романо-сына самые жестокие пытки не смогли заставить выдать его товарищей.

Вы хотели, братец, узнать о дальнейшей судьбе Феликса? Это любопытство столь естественно, и причина его столь достойна похвалы, что мы сами слегка упрекнули себя в том, что не испытали его раньше. Желая исправить свою ошибку, мы

{219} Комментарии: 2.219

…не нужно отправляться к ирокезам, чтобы отыскать двух друзей. — Дидро намекает на повесть Жана-Франсуа Сен-Ламбера (1716–1803) «Два друга, ирокезская сказка» (1770), явившуюся одним из поводов создания «Двух друзей из Бурбонны».

прежде всего подумали о г-не Папене, докторе богословия и священнике прихода св. Марии в Бурбонне; но матушка передумала, и мы отдали предпочтение его помощнику г-ну Оберу, весьма доброму и честному человеку, приславшему нам следующий рассказ, на правдивость которого вы можете положиться:

Человек, именуемый Феликсом, еще жив. Вырвавшись из рук правосудия, он бросился в леса своего округа, все пути и выходы из которых он успел изучить в то время, когда был контрабандистом. Он стремился постепенно приблизиться к жилищу Оливье, об участи которого ничего не знал.

В чаще леса, который вы иногда посещали во время прогулок, жил угольщик, хижина которого служила убежищем для контрабандистов; она была также складом их товаров и их оружия. Туда-то и направился Феликс, ускользнув от жандармов, которые гнались за ним по следу. Кто-то из его товарищей успел принести сюда известие о том, что в Реймсе его посадили в тюрьму. Поэтому угольщик и его жена уже считали, что Феликс казнен, когда он неожиданно предстал перед ними.

Я расскажу вам всю историю так, как слышал

ее из уст жены угольщика, которая недавно скончалась здесь.

Ее дети, бегавшие вокруг хижины, увидели его первые. В то время как он остановился, чтобы приласкать самого младшего, который был его крестником, остальные вбежали в хижину с криком: «Феликс! Феликс!» Отец и мать вышли ему навстречу, повторяя тот же радостный крик; но несчастный так ослабел от усталости и голода, что у него не было сил ответить. В полном изнеможении он упал в их объятия.

Эти добрые люди помогли ему чем могли, дали ему хлеба, вина, овощей; он поел и заснул.

После пробуждения его первое слово было: «Оливье! Дети, вы ничего не знаете об Оливье?» — «Нет», — отвечали они. Он рассказал им все, что произошло в Реймсе. Ночь и следующий день он провел с ними. Он часто вздыхал, произнося при этом имя Оливье. Думая, что тот находится в реймской тюрьме, он хотел идти туда, чтобы умереть вместе с ним. Угольщику и его жене стоило большого труда отговорить его от этого намерения.

В середине второй ночи он схватил ружье, взял под мышку саблю и тихим голосом позвал угольщика.

«Феликс!» — откликнулся тот. «Бери свой топор и пойдем». — «Куда?»— «Хорош вопрос! К Оливье».

Они пошли, но при выходе из леса были окружены отрядом конных жандармов.

Я повторяю то, что мне рассказывала жена угольщика, хотя и трудно поверить, чтобы двое пеших могли бороться с двадцатью всадниками; должно быть, последние действовали разрозненно или хотели захватить добычу живьем. Как бы то ни было, произошла жаркая схватка; пять лошадей были искалечены, семь всадников зарублены топором или саблей. Бедный угольщик остался на месте, убитый наповал чьим-то выстрелом. Феликс же снова добрался до леса; наделенный невероятным проворством, он перебегал с одного места на другое; на бегу заряжал свое ружье, стрелял и время от времени свистел. Эти свистки и выстрелы, раздававшиеся время от времени с разных сторон, внушили жандармам опасения, что в лесу прячется целая шайка контрабандистов, и потому они поспешно отступили.

Когда Феликс увидел, что всадники удалились, он вернулся на поле битвы. Взвалив на плечи труп угольщика, он двинулся обратно к хижине,

где жена убитого и ее дети мирно спали. Он останавливается перед дверью, кладет труп на землю и садится, прислонившись к стволу дерева и обратив лицо ко входу в хижину. Таково было зрелище, ожидавшее вдову угольщика утром, когда она должна была выйти из лачуги.

Но вот она просыпается и не находит мужа подле себя, ищет глазами Феликса — напрасно! Она поднимается, выходит, видит труп, вскрикивает, падает в обморок. Прибегают ее дети и, увидев труп, тоже начинают рыдать. Они бросаются к отцу, затем кидаются к матери… Жена угольщика, пришедшая в себя от шума и криков детей, рвет на себе волосы, раздирает лицо ногтями. Тогда Феликс, который продолжал сидеть неподвижно у подножия своего дерева, отвернувшись и с закрытыми глазами, произнес дрожащим голосом: «Убей меня!» Наступила минута молчания, затем скорбь и вопли семьи возобновились, Феликс же повторял снова и снова: «Убейте меня, дети, убейте меня, молю вас!»

Так провели они три дня и три ночи, предаваясь отчаянию; на четвертую Феликс сказал женщине: «Возьми свою котомку, положи в нее немного хлеба и ступай за мной». После долгого обходного пути по здешним горам и лесам они

достигли дома Оливье, расположенного, как вы знаете, на окраине города, в том месте, где дорога разделяется на две, одна из которых ведет во Франш-Конте, а другая — в Лотарингию.

Здесь-то Феликс услышал о смерти Оливье, оказавшись в обществе двух вдов, мужья которых были убиты из-за него. Войдя, он тотчас спросил у жены Оливье: «Где Оливье?» По молчанию женщины, по ее одежде и рыданиям он понял, что Оливье нет больше в живых. Ему стало дурно; он упал и при этом разбил себе голову о квашню, в которой замешивали хлеб. Обе вдовы подняли Феликса; они были залиты его кровью, и, в то время как они хлопотали вокруг него, пытаясь своими передниками остановить кровь, он сказал им: «Вы были их женами, и вы заботитесь обо мне!» Несколько раз он снова лишался чувств; когда же сознание возвращалось к нему, он говорил, вздыхая: «Почему он не оставил меня? Зачем нужно было ему идти в Реймс? Как позволили вы ему туда пойти?..» После этого у него в голове мешалось, он приходил в ярость, катался по земле и рвал на себе одежду. Во время одного из таких припадков он выхватил саблю, намереваясь пронзить себя, но обе женщины бросились к нему, призывая на помощь. Прибежали соседи, его связали верев-

ками и пустили ему семь или восемь раз кровь. Вместе с падением его сил начала утихать и его ярость. В продолжение трех или четырех дней он оставался неподвижным, как мертвец; только после этого к нему вернулось сознание. В первый момент он несколько раз обвел глазами все окружающее, как человек, который пробудился от глубокого сна, затем сказал: «Где я? Женщины, кто вы?» Жена угольщика ответила ему: «Я угольщица». Он повторил: «Ах, да, угольщица… А ты?» Жена Оливье молчала. Тогда он зарыдал, потом повернулся лицом к стене и проговорил сквозь рыдания: «Я у Оливье… Это кровать Оливье… И женщина, которая стоит здесь, была его женой! О!»

Обе женщины так ухаживали за ним, они внушали ему такую жалость, они столь настойчиво умоляли его остаться жить и столь трогательно повторяли ему снова и снова, что он их единственная опора, что в конце концов их мольбы убедили его.

В течение всего того времени, которое он провел в их доме, он больше не ложился спать. По ночам он уходил и скитался по полям; он бросался на землю и призывал Оливье; одна из женщин следовала за ним и приводила его обратно на

рассвете.

Многие знали, что он находится в доме Оливье, и среди соседей легко могли найтись доносчики. Вдовы предупредили Феликса об опасности, которая ему грозила. Это было однажды после полудня, в то время когда он сидел на скамье, положив саблю на колени, опершись локтями о стол и закрыв глаза кулаками. В первую минуту он ничего не ответил. У жены Оливье был сын, которому шел восемнадцатый год, а у жены угольщика — пятнадцатилетняя дочь. Внезапно он сказал, обращаясь к угольщице: «Иди, найди свою дочь и приведи ее сюда». У него было поблизости несколько клочков луговой земли — он их продал. Угольщица вернулась со своей дочерью, и сын Оливье женился на ней. Феликс отдал им деньги, которые выручил от продажи, обнял их, попросил у них со слезами прощения; они устроились в хижине, где живут и сейчас и где они стали отцом и матерью для остальных детей. Обе вдовы поселились вместе; таким образом, дети Оливье получили одного отца и двух матерей.

Скоро уже почти год, как угольщица умерла; жена Оливье до сих пор каждый день оплакивает ее.

Однажды вечером женщины, наблюдавшие

тайно за Феликсом (ибо одна из них никогда не выпускала его из виду), увидели, что он залился слезами. После этого он молча простер руки к двери, которая отделяла его от них, и принялся укладывать свой дорожный мешок. Они ничего не сказали ему, так как хорошо понимали, насколько необходимо было, чтобы он удалился. Они поужинали все трое в полном молчании. Ночью он поднялся с кровати — женщины не спали; он подошел к двери, неслышно ступая на носках. Здесь он остановился, посмотрел в ту сторону, где стояла кровать обеих женщин, осушил свои глаза руками и удалился. Женщины сжали друг друга в объятиях и провели остаток ночи в слезах. Никто не знал, где он укрылся; но не проходило недели, чтобы он не прислал им какого-нибудь вспомоществования.

Лес, в котором живут дочь угольщицы с сыном Оливье, принадлежит некоему г-ну Леклерку де Рансоньеру, человеку весьма состоятельному и сеньеру другой деревни этого округа, которая носит название Курсель. Однажды, когда г-н Рансоньер или Курсель, как вам больше нравится, охотился в своем лесу, он очутился возле хижины сына Оливье. Войдя в нее, он начал играть с детьми, которые прелестны; он задал им несколь-

ко вопросов; лицо жены, которая недурна собой, ему понравилось, а твердость ответов ее мужа, унаследовавшего многое от отца, заинтересовала его. Он выслушал повесть о судьбе их родителей и обещал выхлопотать Феликсу прощение. Он принялся за дело и добился своего.

Феликс поступил на службу к г-ну де Рансоньеру, который дал ему место лесничего.

Прошло уже около двух лет, как он жил в замке де Рансоньер, отсылая вдовам значительную часть своего жалованья, когда преданность своему господину и пылкость характера вовлекли его в одно дело, ничтожное по началу, но имевшее самые дурные последствия.

У г-на де Рансоньера был в Курселе сосед по имени г-н Фурмон, советник президентского суда в Шомоне. Оба дома были разделены лишь межевым столбом, этот столб мешал открывать ворота г-на де Рансоньера и затруднял въезд в них экипажей. Г-н де Рансоньер приказал отодвинуть его на несколько футов в сторону г-на Фурмона, последний же передвинул столб обратно на такое же расстояние в направлении к г-ну де Рансоньеру — и вот начало ненависти, взаимных оскорблений, тяжбы между двумя соседями. Процесс из-за межевого столба породил

два или три других, более важных. Так обстояли дела, когда однажды вечером г-н де Рансоньер, возвращаясь после охоты в сопровождении своего лесничего Феликса, повстречался на проезжей дороге с г-ном советником Фурмоном и его братом, военным. Последний сказал своему брату: «А что, брат, как вы думаете, не раскроить ли нам рожу этому старому подлецу?» Вопрос этот не был расслышан г-ном де Рансоньером, но, к несчастью, его услышал Феликс, который, обратившись смело к молодому человеку, ответил ему: «Будете ли вы, господин офицер, настолько смелы, чтобы привести в исполнение то, о чем сейчас говорили?» И в ту же секунду он положил ружье на землю и схватился рукой за рукоятку сабли, без которой никогда не выходил из дому. Молодой военный обнажает шпагу и бросается на Феликса. Подбежавший г-н де Рансоньер вмешивается, стараясь удержать своего лесничего. Тем временем военный завладевает ружьем, лежавшим на земле, и стреляет в Феликса, но неудачно; последний отбивает саблей его удары, выбивает из его рук шпагу и отсекает своему противнику кисть руки. И вот — уголовное дело в придачу к трем или четырем гражданским; Феликс — в тюрьме; ужасный судебный процесс; и послед-

ствия этого процесса: советник лишен своего звания и с трудом сохранил свою честь, военный исключен из своего сословия, г-н де Рансоньер умирает с горя, а Феликс продолжает сидеть под арестом, оказавшись всецело во власти Фурмонов. Конец его был бы самым плачевным, если бы его не спасла любовь: дочь тюремщика почувствовала к нему склонность и помогла ему бежать: может быть, это и неправда, но таково по крайней мере общее мнение. Он отправился в Пруссию, где служит сейчас в гвардейском полку. Рассказывают, что он пользуется любовью своих товарищей и известен даже королю. В полку его прозвали Печальный. Вдова Оливье говорила мне, что он продолжает ей помогать.

Вот, сударыня, все сведения, какие я мог собрать о судьбе Феликса. К моему рассказу я присоединяю письмо г-на Папена, нашего священника. Я незнаком с его содержанием, но весьма опасаюсь, что наш бедный священник, который обладает довольно узким умом и черствым сердцем, не может писать вам об Оливье и Феликсе без предубеждений. Умоляю вас, сударыня, довериться только фактам, на истинность которых вы можете положиться, и доброте вашего сердца. Оно подаст вам лучший совет, чем первый из

казуистов Сорбонны, до которого г-ну Папену далеко.

ПИСЬМО Г-НА ПАПЕНА, ДОКТОРА БОГОСЛОВИЯ И СВЯЩЕННИКА ПРИХОДА СВЯТОЙ МАРИИ В БУРБОННЕ

Не знаю, сударыня, что мой помощник мог вам рассказать об Оливье и Феликсе и какого рода участие можете вы испытывать к двум разбойникам, каждый шаг которых в здешнем мире был обагрен кровью. Провидение, покаравшее одного из них, предоставило другому некоторую отсрочку, однако я весьма опасаюсь, что он не сумеет извлечь для себя из нее никакой пользы. Но да свершится воля божия! Я знаю, что здесь имеются лица (и не буду удивлен, если мой помощник окажется в их числе), которые говорят об этих людях как об образце редкой дружбы; но что значит в глазах бога даже самая возвышенная из добродетелей при отсутствии благочестия, должного почтения к церкви и ее слугам и повиновения властям? Оливье умер у дверей своего дома, не сподобившись причаститься. Когда

я был приглашен для исповеди к Феликсу в хижину двух вдов, я не мог добиться от него ничего, кроме имени Оливье, — ни единого свидетельства благочестия, ни единого признака раскаяния. Я не помню, чтобы он когда-нибудь был на исповеди. Жена Оливье — гордячка, не раз мне отказывавшая в должном почтении. Так как она умеет читать и писать, она считает, что в состоянии сама воспитывать своих детей, и я никогда не вижу их ни в приходской школе, ни в церкви. Судите же сами, сударыня, после всего этого, заслуживают ли люди подобного рода ваших благодеяний! Евангелие беспрестанно призывает нас оказывать милосердие беднякам; но цена нашей милостыни удвоится, если мы всегда будем выбирать для нее лишь бедняков достойных; и никто не знает лучше, кто действительно нуждается, чем общий пастырь и бедных, и богатых. Если вы, сударыня, окажете мне честь и удостоите меня своим доверием, я сумею, быть может, найти для выражения вашего сострадания такое применение, которое будет одновремен-

но и более полезно беднякам, и сделает вам больше чести.

Остаюсь с глубоким почтением, и т. д.

Г-жа де*** поблагодарила помощника священника г-на Обера за его добрые намерения и отослала свою милостыню г-ну Папену со следующей запиской:

Я весьма обязана вам, сударь, за ваши мудрые наставления. Должна признаться, что история этих двух людей меня тронула; вы должны согласиться, что пример такой редкой дружбы мог легко увлечь чистую и чувствительную душу. Но вы просветили меня, и я поняла, что более достойно оказать помощь христианским добродетелям, находящимся в нужде, чем добродетелям естественным и языческим. Я прошу вас принять скромную сумму, которую я посылаю, и распорядиться ею в соответствии с более просвещенным милосердием, чем мое.

Имею честь оставаться, и т. д.

Читателю будет нетрудно догадаться, что вдова Оливье и Феликс ничего не получили из мило-

стыни г-жи де***. После смерти Феликса бедной женщине пришлось бы умереть с голода вместе с ее детьми, если бы она не нашла пристанища в лесу у своего старшего сына, где, несмотря на свой преклонный возраст, она трудится и кормится сама, как может, подле своих детей и внуков.

Скажу в заключение: есть три рода повестей. Вы возразите мне, что их гораздо больше? Пусть так. Но я прежде всего различаю повесть в манере Гомера, Вергилия или Тассо, которую я назвал бы чудесной повестью. Природа здесь преувеличена, истина гипотетична; но если рассказчик всюду соблюдает масштаб, который он изобрел, если все соответствует этому масштабу и в действиях, и в речах героев, значит, он достиг той степени совершенства, которая свойственна избранному им роду, и вы не можете ничего больше от него требовать. Приступая к его рассказу, вы ступаете ногой на неведомую землю, где ничто не происходит так, как на той земле, на которой вы живете, но где все вещи в увеличенном виде совершаются так же, как они совершаются вокруг нас в меньшем масштабе. Существует также занятная повесть — в манере Лафонтена, Вержье, Ариосто,

Гамильтона,{220} где рассказчик не стремится ни к подражанию природе, ни к истине, ни к иллюзии; он устремляется в область воображаемого. Скажите ему: «Будь весел, изобретателен, разнообразен, оригинален, даже экстравагантен, я готов согласиться и на это, но увлеки меня подробностями; пусть очарование формы все время скрывает от меня невероятность сюжета», — и если он выполнит то, что вы от него потребовали, он сделает все, что было в его силах. Наконец, есть повесть историческая, образцы которой нам дают новеллы Скаррона, Сервантеса, Мармонтеля...{221}

— К черту историческую повесть и ее автора, это грубый и холодный лжец!

— Да, если он не знает своего ремесла. Задача

{220} Комментарии: 2.220

...в манере Лафонтена... — Дидро имеет в виду фривольные стихотворные «Сказки» Лафонтена и его повесть «Любовь Психеи и Купидона» (1669).

Вержье, Жак (1657–1720) — второстепенный французский поэт, автор произведений в духе «Сказок» Лафонтена.

...в манере... Ариосто... — Имеется в виду, конечно, шутливая поэма Ариосто «Неистовый Орландо».

Гамильтон, Антуан (ок. 1646–1720) — французский поэт и прозаик, автор довольно фривольных «Сказок» и образцов легкой поэзии. Написал также прекрасный роман «Мемуары графа де Грамона».

{221} Комментарии: 2.221

...новеллы Скаррона... — Речь идет о сборнике «Трагикомические новеллы» французского писателя Поля Скаррона (1610–1660).

...новеллы... Сервантеса... — Дидро имеет в виду его «Назидательные

новеллы» (1613).
…новеллы… Мармонтеля… — то есть его «Нравоучительные повести».

автора исторической повести — обмануть вас; он сидит у вашего очага; его предмет — одна нагая истина; он хочет, чтобы ему верили, он стремится заинтересовать вас, тронуть, увлечь, захватить, заставить, чтобы у вас мороз подирал по коже или катились слезы, — действие, которое нельзя произвести без красноречия и поэзии. Но ведь красноречие — ложь своего рода, и ничто не кажется на первый взгляд так противоположным иллюзиям, как поэзия. Обе они, преувеличивая, восхваляя свыше меры, дополняя, внушают к себе недоверие: как же должен воспользоваться ими повествователь в этом роде, чтобы вас обмануть? Вот как: он усеет рассказ незначительными подробностями, так близко связанными с сюжетом, такими простыми, естественными и всегда легко доступными для воображения штрихами, что вы будете вынуждены сказать себе: «Клянусь, это правда: этих вещей нельзя выдумать». Таким образом он спасет преувеличения красноречия и поэзии, заставив истину природы поддержать достоинство искусства, и удовлетворит обоим условиям, которые кажутся взаимно исключающими друг друга, — останется в одно и то же время историком и поэтом, человеком правдивым и лжецом.

Пример, взятый из другого рода искусства, сделает, быть может, более понятным то, что я хочу сказать. Живописец рисует на холсте голову. Все ее формы сильны, значительны и правильны, это наиболее совершенное и редкое соединение форм. Рассматривая ее, я испытываю почтение, восхищение, трепет. Я ищу в природе ее образец и не нахожу его; по сравнению с нею все выглядит слабым, мелким и ничтожным; это идеальная голова — я это чувствую и говорю себе. Но пусть художник изобразит у нее на лбу маленькую царапинку, на одном из ее висков небольшой прыщик, на нижней губе едва заметную трещинку — и тотчас же голова из идеала, каким она раньше была, превратится в портрет. Одна крошечная оспинка около уголка глаза или около носа — и это женское лицо уже не лицо Венеры, оно стало портретом одной из моих соседок. Я мог бы сказать нашим историческим повествователям: если хотите, ваши образы прекрасны, но им не хватает прыщика на виске, трещинки на губе, оспинки около носа, которые сделали бы их правдивыми. Как сказал однажды мой друг Кайо,{222} «немножко пыли на моих башмаках

{222} Комментарии: 2.222

Кайо, Жозеф (1732–1816) — французский актер, выступавший на сцене театра «Итальянской комедии», близкий знакомый Дидро.

— и я уже не выхожу из моей уборной, а возвращаюсь из деревни».

Atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet,
Primo ne medium, medio ne discrepet imum.

Horat. De art. poet., v. 151.[26]

Напоследок немножко морали после небольшой дозы поэтики: одно так хорошо идет к другому! Феликс был бедняком, который ничего не имел; Оливье — другим бедняком, который тоже ничего не имел. То же самое вы можете сказать об угольщике, его жене и остальных персонажах этой повести. И вам останется лишь сделать заключение, что тесную и прочную дружбу можно вообще найти только среди людей, у которых ничего нет. Тогда человек становится единственным достоянием для своего друга, а его друг — единственным его достоянием. Это подтверждает истинность наблюдения, что несчастье делает узы более прочными, и, может быть, даст материал еще для одного дополни-

---

[26] Примечания: 1.26

Истину с басней смешает он пусть, сочетавши искусно,
Так, чтоб началу средина, средине конец отвечали.

Гораций. Наука поэзии, ст. 151

тельного параграфа нового издания книги «Об уме».{223}



{223} Комментарии: 2.223

«*Об уме*». — Речь идет о книге философа-просветителя Адриенна Гельвеция (1715–1771), вышедшей в 1758 г. и осужденной парижским парламентом. В пору написания повести Дидро готовилось новое издание книги Гельвеция, осуществленное в Лондоне в 1771 г.

ЭТО НЕ СКАЗКА

Перевод В. Гаккель-Аренс

Сказку рассказывают непременно тому, кто ее слушает, и если она чересчур длинна, то слушатель нередко прерывает рассказчика. Вот почему в этот рассказ, который не сказка или, если вы хотите, дурная сказка, я ввел лицо, заменяющее читателя; затем я начинаю:

— И вы из этого заключаете?..

— Что такая интересная тема должна была бы нас всех взволновать, в продолжение целого месяца занимать все парижские салоны; ее там обсуждали бы и пересуживали на все лады; она подала бы повод к тысяче споров, о ней написали бы по крайней мере двадцать брошюр и несколько сотен стихотворений за и против; и если, несмотря на все остроумие, все знания, весь ум автора, его произведение не наделало шума, значит, оно посредственно, более чем посредственно.

— Но мне кажется, что мы все-таки обязаны ему довольно приятным вечером и что это чтение вызвало…

— Что? Вереницу скучных, затасканных анекдотов, в которых повторялась давным-давно известная истина, что мужчина и женщина — два весьма зловредных существа.

— Однако эпидемия захватила и вас, и вы заплатили ей дань, как и все другие.

— Дело в том, что волей или неволей подчиняешься принятому тону; попадая в общество, обычно еще в дверях комнаты мы стараемся придать своему лицу то выражение, которое видим у других; представляемся веселыми, когда мы печальны, печальными, когда нам хочется быть веселыми; стараемся принять участие во всем, о чем идет речь: писатель говорит о политике, политик — о метафизике, метафизик морализирует, моралист говорит о финансах, финансист — о литературе или геометрии; вместо того чтобы слушать или молчать, каждый болтает о том, чего не знает, и все скучают из-за глупого тщеславия или вежливости.

— Вы не в духе.

— Как обычно.

— И я думаю, что мне лучше отложить свой рассказ до более благоприятного момента.

— То есть вы ждете моего ухода?

— Вовсе нет.

— Или вы боитесь, что я буду менее снисходителен к вам с глазу на глаз, чем к первому встречному в обществе?.. Будьте же так любезны, расскажите мне вашу историю.

— Но мой рассказ столь же не нов, как и те, которые вызвали у вас такое раздражение.

— А все-таки расскажите.

— Нет, нет; с вас достаточно и тех.

— Знаете ли вы, что из всех способов выводить человека из себя нет худшего, чем ваш?

— Да какой же это способ?

— Заставлять просить вас сделать то, что вам самому до смерти хочется сделать. Ну, хорошо, мой друг, я вас прошу, я вас умоляю доставить себе это удовольствие.

— Мне — это удовольствие?

— Начинайте, ради бога, начинайте.

— Постараюсь быть кратким.

— Это будет не так уж плохо.

И тогда, шутки ради, я откашлялся, сплюнул, медленно стал разворачивать носовой платок, высморкался, открыл табакерку, взял понюшку табаку — меж тем как мой собеседник бормотал сквозь зубы: «Если рассказ и короток, то вступление слишком длинно...»

Мне захотелось позвать слугу под предлогом

дать ему какое-нибудь поручение, но я этого не сделал и начал так:

— Надо сознаться, что есть мужчины очень хорошие и женщины очень плохие.

— Это можно наблюдать ежедневно, иногда даже и не выходя из дому. Что же дальше?

— Дальше? Я знал одну красавицу эльзаску, такую красавицу, что старики за ней бегали, а молодые люди останавливались как вкопанные.

— Я тоже ее знал; ее звали госпожа Реймер.

— Верно. Один человек, только что прибывший из Нанси, по имени Танье, влюбился в нее без памяти. Он был беден и принадлежал к числу тех обездоленных детей, которых жестокие родители, обремененные большой семьей, выгоняют из дому; эти юноши бросаются в жизнь, не зная, что с ними будет, послушные инстинкту, говорящему им, что участь их окажется не хуже той, от которой они бегут. Танье, влюбленный в госпожу Реймер, охваченный пламенной страстью, которая поддерживала его мужество и облагораживала в его глазах все, что ему приходилось делать, брался без отвращения за самые трудные и низменные занятия, чтобы только избавить от бедности свою подругу. Днем он ходил работать в порт, в сумерки просил милостыню на улицах.

— Это было великолепно, но ведь долго это не могло тянуться.

— И вот Танье, изнемогая в борьбе с нуждой или, вернее, страшась держать в бедности очаровательную женщину, осаждаемую богатыми мужчинами, которые убеждали ее прогнать этого нищего Танье…

— Что она и сама бы сделала через две недели или через месяц.

— …и принять их богатство, решил покинуть ее и попытать счастья в далеких странах. Он хлопочет и получает право проезда на королевском корабле. Наступила минута разлуки. Он прощается с госпожой Реймер.

«Друг мой, — говорит он ей, — я не хочу более злоупотреблять вашей любовью. Я решился, я уезжаю». — «Вы уезжаете?» — «Да». — «Куда же вы едете?» — «На Антильские острова… Вы достойны лучшей участи, и я не хочу больше быть вам помехой».

— Добряк Танье!

«А что же будет со мной?» — «Ах, предательница!»— «Вы окружены людьми, которые жаждут вам понравиться. Я возвращаю вам ваши обеты и клятвы. Выберите из ваших поклонников того, кто вам больше по нраву, примите его предложе-

ние, я сам молю вас об этом...» — «Ах, Танье, вы сами мне предлагаете!..»

— Избавляю вас от описания сцены, которую разыграла госпожа Реймер. Я ее вижу, я ее представляю...

«Перед отъездом я требую от вас только одной милости. Не делайте ничего такого, что могло бы разлучить нас навеки. Поклянитесь мне, мой прекрасный друг. Где бы я ни находился, мне должно очень уж не повезти, чтобы я не дал вам в течение целого года доказательств моей нежной привязанности. Не плачьте...»

— Они все плачут, когда захотят.

«...и не противьтесь решению, подсказанному мне упреками моего сердца, которое никогда не дало бы мне покоя».

И вот Танье уехал в Сан-Доминго.{224}

— И уехал как раз вовремя для госпожи Реймер и для себя самого.

— Как, вы и об этом знаете?

— Кто-кто, а я-то уж знаю, что когда Танье посоветовал ей сделать выбор, он был уже сделан.

— Как!

— Продолжайте ваш рассказ.

{224} Комментарии: 2.224

Сан-Доминго — главный город на острове Гаити, в XVIII в. бывшем французской колонией.

— Танье был очень умен и отличался большими способностями в делах. Он вскоре приобрел известность и сделался членом государственного совета в Сан-Доминго. Там он отличился своими знаниями и неподкупностью. Он вовсе не гнался за огромным богатством, он только хотел быстро и честно добиться благосостояния. Каждый год он посылал часть своих доходов госпоже Реймер. Он возвратился лет через девять-десять (не думаю, чтобы его отсутствие длилось дольше), чтобы поднести своей подруге маленький бумажник, содержавший в себе плоды его талантов и трудов… И к счастью для Танье, это было как раз, когда она только что рассталась с последним из его преемников.

— Последним?

— Да.

— Разве у него их было несколько?

— Разумеется.

— Продолжайте, продолжайте…

— Но я ничего не могу сообщить вам такого, чего бы вы не знали лучше меня.

— Не беда, все-таки продолжайте.

— Госпожа Реймер и Танье занимали прекрасное помещение на улице святой Маргариты, неподалеку от меня. Я был очень расположен к

Танье и посещал его дом, который не был богатым, но вполне зажиточным.

— Хоть я и не считал вместе с Реймер, могу вас уверить, что у нее было больше пятнадцати тысяч ливров ренты до возвращения Танье.

— От которого она скрывала свое состояние?

— Да.

— А почему?

— Потому что она была скупа и жадна.

— Допускаю, что жадна. Но скупа!.. Скупая куртизанка!.. Несколько лет любовники прожили в полном согласии.

— Благодаря чрезвычайной хитрости одной и безграничному доверию другого.

— О! По правде сказать, и тень подозрения не могла проникнуть в такую чистую душу, как у Танье. Иногда лишь я замечал, что госпожа Реймер вскоре забыла свою прежнюю бедность, что ее томила любовь к роскоши и богатству и унижало то, что такая красавица должна ходить пешком…

— Почему же она не ездила в карете?

— …и что блеск порока скрывал от нее его низость… Вы смеетесь?.. В ту пору господин де

Морепа{225} задумал проект создания торгового дома на севере. Для успеха этого предприятия был необходим деятельный и умный человек. Он обратил внимание на Танье, ибо поручал ему ведение нескольких важных дел еще во время пребывания его на Гаити, и Танье всегда доводил их до конца к полному удовольствию министра.

Танье был в отчаянии от этого чрезмерного внимания. Он был так доволен, так счастлив возле своей прекрасной подруги! Он любил; он был любим или считал себя любимым.

— Хорошо сказано.

— Что могли прибавить деньги к его счастью? Ничего. Между тем министр настаивал. Надо было решиться, надо было переговорить с госпожой Реймер. Я пришел как раз к концу этой прискорбной сцены. Бедный Танье заливался слезами.

«Что это с вами, мой друг?» — спросил я. Он ответил мне, рыдая: «Эта женщина!»

Госпожа Реймер спокойно сидела за пяльцами. Танье порывисто встал и вышел. Я остался один с его подругой, которая рассказала мне о том, что

{225} Комментарии: 2.225

Морепа, Жан-Фредерик-Филиппо, граф (1701–1781) — французский государственный деятель, министр при Людовике XV и Людовике XVI; содействовал развитию французской морской торговли и развитию мореплавания — в частности, в приарктических морях.

она называла безрассудством Танье. Она постаралась преувеличить передо мной скромность своих средств и вложила в свою защитительную речь все искусство, которым бойкий ум умеет маскировать софизмы тщеславия:

«Подумаешь, какая важность: он уезжает на два, самое большее на три года». — «Это немало для мужчины, которого вы любите и который любит вас, как самого себя». — «Он меня любит? Если бы он меня любил, разве бы он колебался исполнить мое желание?»

«Но, сударыня, почему вы не последуете за ним?» — «Я? Я туда не поеду! Несмотря на все его безрассудство, он даже не осмелился мне предложить это. Разве он мне не доверяет?» — «Я вовсе этого не думаю». — «После того как я прождала его двенадцать лет, он в течение двух-трех лет вполне может положиться на мое слово! Сударь, ведь это один из тех редких случаев, которые представляются лишь раз в жизни, и я не хочу, чтобы он потом раскаивался и упрекал себя в том, что, может быть, упустил этот случай из-за меня». — «Танье ни о чем не будет жалеть, пока он имеет счастье быть любимым вами...» — «Все это прекрасно, но уверяю вас, что он будет очень рад богатству, когда я состарюсь. Женщины гре-

шат тем, что никогда не думают о будущем; я не такая».

Министр был в Париже. Его особняк находился совсем рядом. От улицы святой Маргариты до него было очень близко. Танье пошел к министру и дал свое согласие. Он вернулся с сухими глазами, но со стесненным сердцем.

«Сударыня, — сказал он ей, — я видел господина Морепа и дал ему слово. Я уеду, уеду, и вы будете довольны». — «Ах, мой друг!..»

Госпожа Реймер отодвигает пяльцы, бросается на шею к Танье, осыпает его ласками и нежными словами: «Ах, теперь я вижу, что я вам дорога».

Танье холодно ей ответил: «Вы хотите стать богатой...»

— Негодяйка, она была в десять раз богаче, чем того заслуживала!..

«...вы будете богаты. Раз вы любите золото, я поеду искать для вас золото».

Это было во вторник, а министр назначил его отъезд на пятницу, без всякой отмены. Я пришел к ним проститься, когда он боролся с самим собой и старался вырвать из своего сердца образ красивой, недостойной и жестокой Реймер. Это было такое смятение мыслей, такое отчаяние, такая скорбь, каких я никогда больше не видел. Он не

жаловался, у него исходила болью душа. Госпожа Реймер лежала еще в постели. Он держал ее за руку, беспрестанно повторяя:

«Жестокая женщина! Какая жестокая! Что тебе еще нужно, кроме достатка, который у тебя есть, друга, любовника — такого, как я? Я ездил добывать для нее богатство в палящие страны Америки; теперь она хочет, чтобы я отправился за ним на ледяной север. Друг мой, я чувствую, что эта женщина безумна, что я глупец, но мне легче умереть, чем ее огорчить! Ты хочешь, чтобы я тебя оставил, я тебя оставлю».

Он стоял на коленях у ее кровати, припав губами к ее руке и зарыв лицо в одеяло, и его заглушенный голос становился от этого еще печальнее и страшнее. Дверь комнаты отворилась, он быстро поднял голову и увидел входившего почтаря, который сообщил, что лошади уже поданы. Танье вскрикнул и снова спрятал лицо в одеяло. После минутного молчания он встал и сказал своей подруге:

«Поцелуйте меня, сударыня. Поцелуй меня еще раз, потому что ты меня больше не увидишь!»

Его предчувствие в точности оправдалось. Он

уехал. Прибыв в Петербург,{226} он через три дня заболел лихорадкой, от которой и умер на четвертый день.

— Я знал это.

— Быть может, вы были один из преемников Танье?

— Вы угадали, и из-за этой ужасной красавицы я расстроил свои дела.

— Бедный Танье!

— Найдутся люди, которые назовут его глупцом.

— Я не стану его защищать, но пожелаю от всего сердца, чтобы злой рок столкнул их с женщиной такой же красивой и такой же коварной, как госпожа Реймер.

— Вы жестоки в своем мщении.

— И потом: если есть злые женщины и очень добрые мужчины, то точно так же есть женщины очень добрые и мужчины очень злые; и то, что я собираюсь вам рассказать еще, не более сказка, чем все предыдущее.

— Я в этом убежден.

{226} Комментарии: 2.226
Петербург. — Имеется в виду город Питерборо в Канаде.

— Господин д'Эрувиль...{227}

— Тот, который еще жив? Генерал-лейтенант королевской армии? Тот, который женился на этой прелестной Лолотте?

— Он самый.

— Что же, он светский человек, друг наук.

— И ученых. Он долго занимался историей войн всех веков и всех народов.

— Обширный замысел!

— Чтобы его выполнить, он собрал вокруг себя нескольких выдающихся молодых людей, как, например, господин де Монтюкла, автор «Истории математики».{228}

— Черт возьми! Много ли было у него людей с такими способностями?

— Но тот, кого звали Гардейль,{229} герой при-

{227} Комментарии: 2.227

Д'Эрувиль, Антуан де Рикуар, граф (1713–1782) — французский военный историк, автор работы «Трактат о легионах» (1757). Людовик XV собирался назначить его министром, но «неравный» в глазах светского общества брак помешал этому назначению.

{228} Комментарии: 2.228

Монтюкла, Жан-Этьен (1725–1799) — французский историк науки, сотрудник «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. Его «История математики» вышла в 1758 г.

{229} Комментарии: 2.229

Гардейль. — Этот персонаж также не выдуман Дидро; человек этот родился около 1726 г. и умер в 1808 г.; он был врачом в Монпелье и опубликовал там в 1801 г. перевод медицинских сочинений Гиппократа.

ключения, о котором я вам собираюсь рассказать, ничуть не уступал ему в своей области. Общая страсть к изучению греческого языка положила начало сближению между мной и Гардейлем, а время, общность интересов, любовь к уединению и в особенности возможность часто видеться привели нас к довольно тесной дружбе.

— Вы жили тогда на Эстрападе.{230}

— Он жил на улице святого Гиацинта, а его подруга, мадемуазель де Ла-Шо, на площади святого Михаила. Я называю ее настоящим именем потому, что бедняжки уже нет в живых, а жизнь ее может внушить к ней только уважение всех почтенных людей и вызвать сочувствие и слезы тех, кого природа наградила — или наказала? — лишь небольшой долей ее чувствительности.

— Но ваш голос прерывается, и мне кажется, что вы плачете.

— Мне все еще представляется, что я вижу ее большие черные глаза, блестящие и нежные, и что трогательный ее голос раздается у меня в ушах и волнует мое сердце. Очаровательное

{230} Комментарии: 2.230

Эстрапада — улица в Латинском квартале, рядом с Пантеоном и, следовательно, довольно близко от площади Святого Михаила. Улица *Святого Гиацинта* находится на другом берегу Сены, за садом Тюильри, недалеко от церкви святого Роха.

создание! Уже более двадцати лет прошло с тех пор, как тебя нет, а мое сердце все еще сжимается при воспоминании о тебе!

— Вы ее любили?

— Нет. О Ла-Шо! О Гардейль! Вы оба были изумительны. Вы — идеал женской нежности, вы — мужской неблагодарности.

Мадемуазель де Ла-Шо происходила из хорошей семьи. Она покинула своих родителей, чтобы броситься в объятия Гардейля. У Гардейля не было ничего, мадемуазель де Ла-Шо обладала небольшим состоянием; и это состояние было принесено в жертву нуждам и прихотям Гардейля. Она не сожалела ни о своем утраченном богатстве, ни о своей поруганной чести. Ее возлюбленный заменял ей все.

— Этот Гардейль был, значит, очень обольстителен, очень любезен?

— Ничуть не бывало. Маленький, ворчливый, мрачный, язвительный; сухое смуглое лицо, очень невзрачное; некрасив, насколько это возможно для мужчины с умным лицом.

— И такой человек вскружил голову прелестной девушке?

— Вас это удивляет?

— Разумеется.

— Вас?

— Меня.

— Но разве вы не помните свою историю с Дешан и то глубокое отчаяние, в которое вы впали, когда эта тварь выгнала вас?

— Оставим это; продолжайте…

— Я говорил вам: «Она, значит, очень красива?» Вы мне грустно отвечали: «Нет». — «Значит, очень умна?» — «Она просто дура». — «Значит, вас привлекают ее таланты?» — «У нее только один». — «А в чем же заключается этот редкий, удивительный, необыкновенный талант?» — «Заставлять меня испытывать в ее объятиях такое счастье, какого я не знал ни с одной женщиной!» Мадемуазель де Ла-Шо, честная, чувствительная, надеялась втайне, невольно и безотчетно, на счастье, испытанное вами, то счастье, которое заставляло вас говорить о Дешан: «Если эта негодяйка, эта злодейка, будет по-прежнему гнать меня от себя, я возьму пистолет и пущу себе пулю в лоб в ее передней». Говорили вы это или нет?

— Я это говорил — даже сейчас не знаю, почему этого не сделал.

— Согласитесь же…

— Соглашаюсь со всем, что вам угодно…

— Друг мой, даже самый мудрый из нас должен

быть очень счастлив, если не встретил на своем пути женщину — красивую или безобразную, умную или глупую, — которая лишила бы его разума и довела до Петит-Мезон.{231} Будем же горячо сожалеть мужчин, будем умеренно их порицать, будем смотреть на прожитые нами годы, как на время, в которое нам удалось избежать преследования злого рока, и пусть вечно внушают нам содрогание обольщения природы, столь опасные для горячих сердец и пламенного воображения. Искра, падающая случайно на бочку с порохом, не производит более губительного действия. Рука, готовая уронить на вас или на меня эту искру, может быть уже занесена.

Господин д'Эрувиль, желая скорей окончить свой труд, доводил до изнеможения своих помощников. Здоровье Гардейля пострадало от этого. Чтобы облегчить его работу, мадемуазель де Ла-Шо изучила еврейский язык. И в то время, когда ее друг отдыхал, она проводила часть ночи за переводом и перепиской отрывков из еврейских авторов. Настало время делать выписки из греческих авторов. Мадемуазель де Ла-Шо поспешила усовершенствоваться в этом языке, в котором у

{231} Комментарии: 2.231
Петит-Мезон — сумасшедший дом в Париже.

нее были некоторые познания; и, пока Гардейль спал, она занималась переводами и перепиской отрывков из Ксенофонта и Фукидида.{232} Кроме греческого и еврейского языков, она знала также итальянский и английский. Английским она владела настолько хорошо, что перевела на французский первые метафизические опыты Юма{233} — произведение, в котором трудность предмета усугубляется трудностью языка. Когда научные занятия утомляли ее, она принималась за переписку нот. Чтобы ее любовник не соскучился с ней, она пела для него. Я ничего не преувеличиваю, могу сослаться на господина Ле-Камю,{234} доктора медицины, который утешал ее в горестях и помогал в бедности, оказывал ей множество услуг, навещал на чердаке, куда ее загнала нужда, и закрыл ей глаза, когда она умерла. Но я не упомянул еще об одном из первых ее несчастий — о преследовании, которому ее

{232} Комментарии: 2.232

Ксенофонт и *Фукидид* — знаменитые древнегреческие историки V–IV вв. до н. э.

{233} Комментарии: 2.233

...метафизические опыты Юма... — Видимо, речь идет о книге английского философа Дэвида Юма (1711–1776) «Опыты нравственные и политические» (1741–1742).

{234} Комментарии: 2.234

Ле-Камю, Антуан (1722–1773) — известный врач и автор ряда практических руководств по медицине; знакомый Дидро.

подвергла семья, возмущенная этой открытой и скандальной связью. Была пущена в ход правда и неправда, чтобы бессовестным образом лишить ее свободы. Родные и священники преследовали ее из квартала в квартал, из дома в дом и довели до того, что она многие годы прожила в одиночестве и скрываясь от всех. Целыми днями она работала для Гардейля. Мы являлись к ней поздно вечером, и присутствие любовника рассеивало все ее огорчения и тревоги.

— Как! Робкая, чувствительная молодая девушка среди стольких невзгод могла быть счастлива?

— Счастлива? Она была исключительно счастлива до той минуты, когда Гардейль проявил всю свою неблагодарность.

— Не может быть, чтобы неблагодарность оказалась наградой за такие редкие качества, за такие знаки привязанности, за столь великие жертвы!

— Вы ошибаетесь, Гардейль оказался неблагодарным. Наступил день, когда девица де Ла-Шо очутилась одна на этом свете, лишенная чести, состояния, поддержки. Я выразился не совсем точно. Некоторое время с ней оставался я. Доктор Ле-Камю остался с ней на всю жизнь.

— О, мужчины, мужчины!

— О ком вы говорите?

— О Гардейле.

— Вы видите дурного человека, а не замечаете рядом хорошего. В этот день скорби и отчаяния она прибежала ко мне. Это случилось утром. Она была бледна как смерть.

О своей участи она узнала лишь накануне, но казалось, что она страдает уже давно. Сейчас она не плакала, но видно было, что много плакала раньше. Она упала в кресло и не говорила, не могла говорить. Только протягивала ко мне руки и стонала.

«Что случилось? — спросил я ее. — Разве он умер?» — «Нет, хуже, он больше меня не любит, он бросил меня…»

— Продолжайте…

— Я не могу; я ее вижу, слышу, глаза мои наполняются слезами.

«Он не любит вас больше?» — «Нет!» — «Он вас бросил?» — «Увы, да! После всего, что я для него сделала! Сударь, мысли мои путаются; сжальтесь надо мной, не покидайте меня… Только не покидайте меня!»

Произнося эти слова, она уцепилась за меня и не отпускала, словно кто-то хотел схватить ее

и увести.

«Не бойтесь...» — «Я боюсь только самой себя!» — «Что можно для вас сделать?» — «Прежде всего спасти меня от самой себя. Он больше не любит меня... Я ему опротивела, надоела! Ему скучно со мной. Он меня ненавидит, он меня бросил... Он меня бросил... бросил!..»

Дважды повторив эти слова, она умолкла, а затем послышался конвульсивный смех, в тысячу раз более страшный, чем крики отчаяния или хрипы агонии. За смехом последовали вопли, плач, нечленораздельные слова; взоры ее были обращены к небу, губы дрожали. Нужно было дать вылиться этому взрыву горя, что я и сделал; я обратился к ее рассудку только тогда, когда увидел, что она совсем разбита и оцепенела. Я заговорил:

«Он вас ненавидит, он вас покидает. Но кто же вам это сказал?» — «Он сам». — «Все-таки надейтесь и мужайтесь. Ведь он не чудовище!..» — «Вы его не знали раньше, но теперь узнаете. Это чудовище, каких больше нет, каких не бывало еще никогда». — «Не могу этому поверить». — «Вы в этом убедитесь». — «Он любит другую?» — «Нет». — «Не возбудили ли вы в нем какие-нибудь подозрения, какое-нибудь неудовольствие?»

— «Нет, нет». — «В чем же дело?» — «В моей бесполезности. У меня ничего больше нет. Я больше ни на что не пригодна. В тщеславии! Он всегда был тщеславен. Потеря мною здоровья, потеря мною красоты. Я столько страдала и так утомилась; скука, отвращение…» — «Перестав быть любовниками, люди все же остаются друзьями». — «Я стала для него невыносимым существом; мое присутствие его тяготит, мой вид его огорчает и оскорбляет. Если бы вы знали, что он мне сказал! Да, сударь, он мне сказал, что если бы его приговорили к тому, чтобы провести со мной сутки, он бы бросился из окна». — «Но ведь это отвращение не могло родиться в одну минуту». — «Почем я знаю? Он от природы такой надменный, равнодушный, такой холодный. Так трудно читать в глубине подобной души! И так тяжело читать свой смертный приговор! Он объявил его мне, и с какой жестокостью!» — «Я ничего больше не понимаю». — «Я пришла просить вас об одной милости. Можете ли вы мне оказать ее?» — «Да, в чем бы она ни заключалась». — «Послушайте, он вас уважает. Вы знаете все, чем он мне обязан. Быть может, он постыдится показаться вам таким, каков он есть. Нет, я не думаю, чтобы у него хватило дерзости и мужества… Я ведь только

женщина, а вы мужчина. Человек с сердцем, честный и справедливый, может оказать большое влияние. Вы окажете на него влияние. Возьмите меня под руку и проводите к нему. Я хочу поговорить с ним при вас. Кто знает, как подействует на него мое горе и ваше присутствие? Вы проводите меня?» — «Охотно». — «Пойдемте».

— Боюсь, что ее горе и ваше присутствие оказались бессильными. Отвращение! Это ужасная вещь — отвращение в любви, отвращение к женщине!..

— Я послал за портшезом, потому что она не в состоянии была идти. Подходим к дому Гардейля, большому новому зданию, единственному по правой руке на улице святого Гиацинта со стороны площади святого Михаила. Носильщики останавливаются, открывают дверцу. Я жду. Она не выходит. Подхожу и вижу, что она вся дрожит; зубы ее стучат, как в лихорадке; колени стукаются друг о друга.

«Минутку, сударь, простите, не могу… Что я буду там делать? Я напрасно отняла у вас время, мне очень неприятно; прошу меня извинить!»

Я протянул ей руку. Она оперлась на нее, попробовала встать, но не могла.

«Еще минутку, сударь, — сказала она мне. —

Вам меня жаль; вы страдаете, глядя на мое состояние».

Наконец она немного успокоилась и, выходя из портшеза, прибавила еле слышно:

«Надо войти, надо его увидеть. Кто знает? Может быть, я там умру…»

Мы перешли двор и оказались у дверей его квартиры; мы уже в кабинете Гардейля. Он сидел за своим письменный столом, в халате и ночном колпаке. Он приветствовал меня движением руки и продолжал свою работу. Затем подошел ко мне и сказал:

«Согласитесь, сударь, что женщины очень докучливы. Приношу вам тысячу извинений за сумасбродство этой особы».

Потом обратился к несчастной, которая была ни жива ни мертва:

«Сударыня, что вам еще нужно от меня? Мне кажется, что после моих ясных и точных слов между нами все должно быть кончено. Я вам сказал, что больше вас не люблю, сказал это с глазу на глаз. Но вы, наверно, желаете, чтобы я повторил это при свидетеле. Ну что ж, сударыня, я вас больше не люблю. Любовь к вам угасла в моем сердце; могу добавить, если это вас утешит, что она угасла во мне и ко всякой другой жен-

щине». — «Но объясните мне, почему вы меня больше не любите?» — «Не знаю; знаю только, что начал вас любить неведомо почему и перестал тоже неведомо почему; я чувствую, что эта страсть не может вернуться. Это точно болезнь, и я верю и радуюсь, что совершенно от нее избавился». — «В чем же я провинилась?» — «Решительно ни в чем». — «Может быть, вы тайно недовольны моим поведением?» — «Нисколько. Вы были женщиной самой постоянной, самой честной, самой нежной, какую только мог пожелать человек». — «Может быть, я должна была что-нибудь сделать для вас?» — «Ничего». — «Не пожертвовала ли я вам моими родителями?» — «Это правда». — «Моим состоянием?» — «Это приводит меня в отчаяние». — «Моим здоровьем?» — «Возможно». — «Моей честью, незапятнанным именем, покоем?» — «Всем на свете». — «И я тебе противна?» — «Это тяжело говорить, тяжело слышать, но раз это так, то приходится в этом сознаться». — «Я ему противна! Я это чувствую, я себя презираю!.. Противна! О, боги!..»

При этих словах смертельная бледность покрыла ее лицо; губы посинели, капли холодного пота выступили на ее лице и смешались со слезами, струившимися из глаз; веки были закрыты,

голова запрокинулась на спинку кресла, зубы стиснулись, она вся дрожала; за этим последовал обморок, который я принял за осуществление надежды, высказанной у порога этого дома. Длительность этого состояния испугала меня, я снял с нее накидку и расстегнул платье, ослабил шнуровку юбок и слегка сбрызнул холодной водой лицо. Глаза ее полуоткрылись, в горле послышалось глухое клокотание; она хотела сказать: «Я ему противна!», но смогла произнести только последний слог; затем она громко вскрикнула, веки ее опустились, и обморок возобновился. Гардейль с бесстрастным видом сидел в кресле, облокотившись на стол и опершись головой на руку; он смотрел на мадемуазель де Ла-Шо безучастно, предоставив мне ухаживать за ней. Я несколько раз повторил ему:

«Сударь, она умирает… Надо позвать кого-нибудь…»

Он отвечал мне, улыбаясь и пожимая плечами:

«Женщины живучи; они не умирают от таких пустяков. Это ничего, пройдет. Вы их не знаете, они делают со своим телом все, что им вздумается…» — «Она умирает, говорю вам!»

Действительно, тело ее казалось бессильным

и безжизненным; она падала с кресла и свалилась бы с него на пол, если бы я не поддержал ее. Гардейль внезапно вскочил и, расхаживая взад и вперед по комнате, сказал нетерпеливо и раздраженно:

«Я бы вполне мог обойтись без этой досадной сцены. Но надеюсь, что она последняя. Черт возьми, чего хочет эта особа? Я любил ее, но теперь, как бы ни старался, уж ничего нельзя поделать. Я ее больше не люблю. Либо она это поняла, либо никогда не поймет. Все кончено». — «Нет, сударь, не все. Как вы полагаете, может порядочный человек лишить женщину всего, а потом бросить ее?» — «Что же я, по-вашему, должен сделать? Я такой же нищий, как и она». — «Что вы должны сделать? Соединить вашу бедность с той бедностью, до которой вы ее довели». — «Вам хорошо так говорить. Ей от этого не стало бы лучше, а мне стало бы гораздо хуже». — «Разве вы поступили бы так с другом, который бы всем для вас пожертвовал?» — «С другом, с другом! Не очень-то я верю в друзей, а этот опыт научил меня не доверять и любви». — «Весьма сожалею, что не понял этого раньше. Значит, так и надо, чтобы эта несчастная стала жертвой заблуждения вашего сердца?» — «А кто вам сказал, что месяцем или днем позже

я не стал бы такой же жертвой заблуждения ее сердца? Кто мне в этом поручится?» — «Все, что она для вас сделала, и то состояние, в котором вы ее видите». — «Все, что она для меня сделала! Черт возьми, это окупилось потерей моего времени». — «Ах, господин Гардейль, как можно сравнивать ваше время с тем неоценимым, чего вы ее лишили!» — «Я еще ничего не достиг. Я ничто, хотя мне уже тридцать лет. Пора наконец подумать о себе и узнать настоящую цену всех этих глупостей!»

Тем временем бедная девушка немного пришла в себя. На последние слова Гардейля она горячо возразила:

«Что он сказал о потере своего времени? Я изучила четыре языка, чтобы помочь ему; прочла тысячи томов; писала, переводила, переписывала дни и ночи, истощила свои силы, испортила свое зрение, иссушила свою кровь, заболела мучительною болезнью, от которой, быть может, никогда не излечусь. Он не смеет сознаться в причине своего отвращения, но вы ее узнаете!»

Тут она сбрасывает с себя косынку, высвобождает руку из платья, обнажает плечо и показывает мне рожистое пятно.

«Вот причина его перемены ко мне, вот она,

вот следствие моих бессонных ночей! Утром он приходил ко мне с пергаментными свитками. „Господин д'Эрувиль, — говорил он мне, — очень торопится ознакомиться с ними; надо, чтобы эта работа была сделана к завтрашнему дню", — и она бывала сделана».

В эту минуту мы услышали чьи-то шаги, приближающиеся к двери; то был слуга, явившийся известить о приходе господина д'Эрувиля. Гардейль побледнел при этом. Я предложил мадемуазель де Ла-Шо оправить платье и удалиться.

«Нет, — сказала она, — нет, я останусь. Я хочу разоблачить этого недостойного человека. Я подожду господина д'Эрувиля, я с ним поговорю». — «Разве это к чему-нибудь приведет?» — «Ни к чему, — ответила она, — вы правы». — «Завтра вы сами об этом пожалеете. Пусть вина падет на него: вот месть, достойная вас». — «Но достойна ли она его? Разве вы не видите, что это за человек?.. Пойдемте, сударь, пойдемте скорее, потому что я не отвечаю за то, что могла бы сделать или сказать».

В одно мгновение она привела в порядок свой туалет, пострадавший от предыдущей сцены, и вылетела как стрела из кабинета Гардейля. Я последовал за ней и слышал, как дверь громко

захлопнулась за нами. Впоследствии я узнал, что привратнику были сообщены ее приметы.

Я отвел ее домой, где застал доктора Ле-Камю, поджидавшего нас. Страсть, которую он питал к этой девушке, мало чем отличалась от той, какую она испытывала к Гардейлю. Я рассказал доктору о нашем посещении, и, несмотря на все признаки его гнева, его скорби и негодования…

— Не так трудно было угадать по его лицу, что ваша неудача не слишком его огорчила…

— Это правда.

— Таков человек. Лучше он быть не может.

— За этим разрывом последовала ее тяжелая болезнь, во время которой добрый, честный и деликатный доктор ухаживал за ней так, как он не стал бы ухаживать за самой знатной дамой Франции. Он заходил по три, четыре раза в день. Пока не миновала опасность, он спал в ее комнате на походной кровати. Болезнь — это счастье при великом горе.

— Приближая нас к самим себе, она отстраняет от нас память о других. И потом она дает нам право горевать откровенно и без стеснения.

— Эту мысль, хотя и верную, нельзя было применить к мадемуазель де Ла-Шо. Во время ее выздоровления мы старались придумать для

нее занятия. Она обладала умом, воображением, вкусом и знаниями в большей степени, чем требовалось бы для того, чтобы быть принятой в Академию надписей.{235} Она столько раз слышала наши споры по вопросам метафизики, что самые отвлеченные темы стали для нее привычными, и ее первой литературной работой был перевод юмовского «Опыта о человеческом разуме».{236} Я его просмотрел, и, по правде сказать, мне пришлось сделать очень немного поправок. Этот перевод был напечатан в Голландии и хорошо принят читателями.

Мое «Письмо о глухонемых»{237} появилось почти одновременно. Несколько весьма тонких замечаний, сделанных ею, дали мне повод написать «Добавление»,{238} посвященное ей. Это

{235} Комментарии: 2.235

Академия надписей — одна из пяти академий, входящих в Институт; основана в 1663 г. для проведения исторических и археологических разысканий.

{236} Комментарии: 2.236

«Опыт о человеческом разуме» — работа Юма, вышедшая в 1748 г. и являющаяся сокращенным вариантом первой части его труда «Опыты нравственные и политические».

{237} Комментарии: 2.237

«Письмо о глухонемых» — работа Дидро, появившаяся в 1751 г.

{238} Комментарии: 2.238

«*Добавление*». — Эта работа Дидро была написана и опубликована как «Письмо к мадемуазель».

«Добавление» — отнюдь не худшее из всего, что я написал.

Веселость отчасти вернулась к мадемуазель де Ла-Шо. Доктор иногда угощал нас, и его обеды были далеко не скучны. После исчезновения Гардейля любовь Ле-Камю стала еще сильнее. Однажды за столом во время десерта, когда он объяснился ей в своих чувствах со всею честностью, чувствительностью и доверчивостью ребенка, со всей утонченностью умного человека, она ответила ему с откровенностью, которая очень понравилась мне, но, быть может, не понравится другим:

«Доктор, мое уважение к вам так велико, что едва ли бы могло еще увеличиться. Я окружена вашими заботами и была бы столь же черна, как чудовище с улицы святого Гиацинта, если бы не прониклась к вам горячей признательностью. Ум ваш мне нравится как нельзя более. Вы говорите мне о своей любви так деликатно и так изящно, что, мне кажется, я огорчилась бы, если бы вы перестали говорить о ней. Одной мысли о том, чтобы лишиться вашего общества или потерять вашу дружбу, было бы достаточно, чтобы сделать меня несчастной. Вы хороший человек, каких мало. В вас столько доброты и

несравненной мягкости характера. Не думаю, чтобы можно было поместить сердце в лучшие руки. Я с утра до вечера склоняю свое сердце в вашу пользу, но бесполезно уговаривать того, кто не желает слушать добрые советы. У меня ничего не получается. Между тем вы страдаете, и мне это очень тяжело. Я не знаю никого, кто был бы более достоин того счастья, о котором вы у меня просите, и не представляю себе, на что бы только не пошла, чтобы сделать вас счастливым. Я пошла бы на все, без исключения. Слышите, доктор, я готова, да, готова даже принадлежать вам. Хотите, я буду вам принадлежать? Вам стоит только сказать одно слово. Вот все, что я могу сделать для вас. Но вы хотите быть любимым, а этого-то я и не могу».

Доктор слушал ее, брал ее за руки, целовал, обливая слезами; я же не знал, плакать мне или смеяться. Мадемуазель де Ла-Шо хорошо знала доктора, и на следующий день, когда я ей сказал: «А что, если бы доктор поймал вас на слове?» — она ответила мне: «Я бы сдержала его. Но этого не могло случиться; мое предложение было не такого рода, чтобы подобный человек мог принять его». — «Почему же нет? Мне кажется, что на месте доктора я бы понадеялся, что остальное

придет потом». — «Да, но будь вы на месте доктора, я бы не сделала вам такого предложения».

Перевод Юма не принес ей больших денег. Голландцы печатают сколько угодно, но платить не любят.

— Это наше счастье, потому что, если бы при тех препонах, которые ставят у нас свободной мысли, голландцы еще платили авторам, они захватили бы в свои руки всю книжную торговлю.

— Мы посоветовали ей написать литературное произведение, которое доставило бы ей меньше чести, но больше выгоды. Она трудилась над ним четыре или пять месяцев, после чего принесла мне маленький исторический роман под названием «Три фаворитки». Он был изящен по стилю, остроумен и занимателен; но невольно — ибо ей совершенно чуждо было коварство — она наполнила свой роман множеством черточек, вполне применимых к любовнице короля, маркизе де Помпадур. Я не скрыл от мадемуазель де Ла-Шо, что, на какие бы жертвы она ни пошла, пытаясь смягчить или удалить эти места, все же книга не могла появиться в свет, не скомпрометировав автора, и, таким образом, она испортила бы хорошие места и все же навлекла бы на себя неприятности.

Она почувствовала справедливость моих слов и очень этим опечалилась. Добрый доктор предупреждал все ее желания, но она весьма сдержанно пользовалась его помощью, ибо чувствовала, что не может отблагодарить его так, как он мог бы надеяться. К тому же доктор Ле-Камю не был тогда богат и не имел особенных данных для того, чтобы разбогатеть. Время от времени мадемуазель де Ла-Шо брала свою рукопись из папки и с грустью говорила мне: «Ну что же! Раз ничего нельзя с ней сделать, пусть полежит тут». Я дал ей неожиданный совет — послать ее роман в том виде, в каком он был, ничего не смягчив и не изменив, самой маркизе де Помпадур с небольшим письмом, объясняющим причину этой посылки. Эта мысль ей понравилась. Она написала письмо, прелестное во всех отношениях, особенно подкупающее своей искренностью, против которой невозможно было устоять. Прошло два или три месяца без всякого отклика, и она уже считала свою попытку неудавшейся, когда к ней явился кавалер ордена святого Людовика с ответом от маркизы. Роман в этом письме получил одобрение, как он того заслуживал; автора благодарили за неподкупность, соглашались с намеками и ничуть не были ими оскорблены, приглашали

приехать в Версаль, где мадемуазель де Ла-Шо должна была найти женщину, признательную и расположенную оказать ей все зависящие от нее услуги. Уходя от мадемуазель де Ла-Шо, посланный незаметно положил на камин сверток с пятьюдесятью луидорами.

Мы с доктором уговаривали мадемуазель де Ла-Шо воспользоваться расположением маркизы де Помпадур, но мы имели дело с девушкой, чья скромность и застенчивость равнялись ее заслугам. Как ей представиться в бедной одежде? Доктор сейчас же отвел это возражение.

Вслед за одеждой последовали другие предлоги, затем еще другие. Поездка в Версаль откладывалась со дня на день до тех пор, пока не стало уже неудобно ее совершить. Прошло некоторое время, и мы перестали об этом говорить, когда прибыл тот же посланец со вторым письмом, полным самых любезных упреков, и с тою же деликатностью снова оставил денежное награждение, равное первому. Об этом великодушном поступке маркизы де Помпадур никому не было известно. Я рассказал о нем господину Коллену,{239} дове-

{239} Комментарии: 2.239

Коллен, Шарль-Жак — управляющий делами г-жи де Помпадур, возлюбленной Людовика XV. Дидро его хорошо знал и в письмах друзьям высоко о нем отзывался.

ренному лицу маркизы, раздававшему ее тайные милости. Он ничего об этом не знал, и мне хочется думать, что поступок этот был не единственным, который ушел с ней в могилу.

Таким-то образом мадемуазель де Ла-Шо дважды упустила случай выбраться из нищеты.

После этого она переехала на окраину города, и я совсем потерял ее из виду. Я знаю только, что остаток ее жизни был сплошь одни печали, болезни и нищета. Двери родительского дома были наглухо для нее закрыты. Она напрасно пыталась прибегнуть к посредничеству святош, которые преследовали ее с таким усердием.

— Это в порядке вещей.

— Доктор не покидал ее. Она умерла в нищете на чердаке, между тем как маленький тигр с улицы святого Гиацинта, единственный ее любовник, занимался медициной в Монпелье или в Тулузе и, живя в полном благополучии, пользовался заслуженной репутацией ловкого человека и незаслуженной — человека порядочного.

— И это тоже в порядке вещей. Если существует добрый и честный Танье, то провидение посылает ему такую особу, как Реймер; если встречается добрая и честная де Ла-Шо, то на долю ей выпадает Гардейль, для того чтобы все было к лучшему

в этом мире.

— Но, быть может, мне возразят, что неосмотрительно судить о человеке по одному поступку; что, если следовать такому строгому методу, число порядочных людей на земле оказалось бы меньше, чем, по евангельскому учению, число праведников на небесах; что можно быть непостоянным в любви и даже хвастаться бессовестностью в отношении женщин и в то же время не быть лишенным ни благородства, ни честности; что нельзя погасить загоревшуюся страсть или разжечь угасшую; что и так уже достаточно людей в домах и на улицах, справедливо заслуживающих название негодяев, чтобы еще выдумывать несуществующие преступления, которые увеличили бы число этих негодяев до бесконечности. Меня спросят, не изменил ли я когда-нибудь, не обманывал ли, не бросал ли женщину без причины. Если б я вздумал ответить на эти вопросы, мой ответ не остался бы без возражений, и завязался бы спор, который мог бы продолжиться до второго пришествия. Но, положа руку на сердце, скажите-ка мне, господин защитник обманщиков и изменников, сделали бы вы тулузского доктора своим другом?.. Вы колеблетесь? Этим все сказано; а я после этого

молю бога взять под свою святую охрану каждую женщину, на которую вам вздумается обратить ваше благосклонное внимание.



ГОСПОЖА ДЕ ЛА КАРЛИЕР

Перевод С. Ломидзе

— Вернемся?

— Еще рано.

— Видите, какие тучи?

— Не бойтесь, они исчезнут сами, без малейшего дуновения ветерка.

— Вы думаете?

— Я часто наблюдал за ними летом, в жаркую погоду. Нижняя часть атмосферы, освободившись от дождевой влаги, вновь вбирает в себя часть густых испарений, которые образуют темную пелену, скрывающую небо от ваших глаз. Масса этих испарений более или менее равномерно распределяется в массе воздуха, и благодаря этому распространению или соединению — назовите его, как вам угодно, — атмосфера становится прозрачной и ясной. Над нашими головами некий лабораторный процесс совершается в естественных условиях. Через несколько часов лазурные брызги начнут пробиваться сквозь разреженные облака. Облака станут рассеиваться все больше и больше. Лазурные клочки будут увеличиваться и

расширяться. Скоро вы обнаружите, что черный креп, который так испугал вас, исчез неведомо куда. И вас удивит и обрадует прозрачность воздуха, чистота неба и красота дня.

— Так оно и есть. Пока вы говорили, я следил за тем, что происходило в небе. Казалось, что все совершается по вашему приказанию.

— Этот феномен представляет собой всего лишь рассеивание воды воздухом.

— Подобно тому, как запотевшая поверхность стакана, наполненного ледяной водой, это лишь выпадение осадков.

— А эти огромные шары, плавающие или подвешенные в атмосфере, есть не что иное, как избыток воды, которую насыщенный влагой воздух не в силах рассеять.

— Они словно куски сахара на дне кофейной чашки, которые уже не могут раствориться.

— Прекрасно.

— И вы обещаете мне, что к нашему возвращению…

— Вы увидите такой звездный свод, какого не видели еще никогда.

— Раз мы продолжаем нашу прогулку, не могли бы вы сказать мне — ведь вы знаете всех, кто здесь бывает, — кто этот высокий, сухощавый, пе-

чальный господин, который сидел, не проронив ни слова, и которого оставили одного в гостиной, в то время как остальное общество разбрелось кто куда?

— Это человек, чье горе я глубоко уважаю.

— А зовут его как?

— Шевалье Дерош.

— Это тот Дерош, который после смерти отца-скряги стал обладателем огромного состояния и прославился своим мотовством, любовными похождениями и тем, что постоянно менял род своих занятий?

— Он самый.

— Это тот безумец, с которым произошло множество превращений? Это его видели поочередно то в сутане, то в судейском платье, то в военном мундире?

— Да, это он.

— Как он переменился!

— Его жизнь — цепь невероятных событий. Это одна из несчастнейших жертв капризов судьбы и опрометчивости людских суждений. Когда он отказался от духовного сана ради судебного ведомства, его родня яростно возражала, и вся толпа глупцов, которые никогда не преминут принять сторону отцов против детей, принялась

дружно злословить.

— А какой поднялся крик, когда он оставил судейство и поступил на военную службу!

— А между тем, что он сделал? Он только проявил силу характера, которой мы обычно кичимся друг перед другом, ему же она снискала славу сумасброда. А вы еще удивляетесь, что безудержная болтовня этих людей докучает мне, раздражает, оскорбляет!

— Признаюсь вам, что и я судил Дероша, как все остальные.

— Вот так, из уст в уста передаются нелепые слухи, которые человека порядочного превращают в подлеца, умного — в глупца, честного делают плутом, а мужественного — безрассудным, и наоборот. О, эти наглые сплетники не стоят того, чтобы с их одобрением или порицанием считались. Слушайте, черт возьми, и умрите со стыда.

Совсем молодым Дерош становится советником парламента.{240} Благоприятные обстоятельства быстро помогают ему попасть в Большую палату. Советники по очереди заседали и в Ла Турнель,

---

{240} Комментарии: 2.240

Парламент — орган парижского судопроизводства и самоуправления; он состоял в то время из так называемых Большой палаты, Следственной палаты, Кассационной палаты и Палаты Ла Турнель, занимавшейся разбирательством уголовных дел.

и как-то Дерошу случилось докладывать одно уголовное дело. По его заключению злоумышленник был приговорен к смертной казни. В день совершения приговора, по обыкновению, те, кто вынес его, отправляются в ратушу, дабы выслушать последние распоряжения несчастного, ежели он пожелает сделать их, как это и случилось на сей раз. Дело было зимой. Дерош и его коллега сидели у огня, когда им объявили о прибытии осужденного. Сломленного пыткой человека внесли распростертым на тюфяке. Едва оказавшись в комнате, он приподнимается, обращает взор к небу и восклицает: «Великий Боже! Суд твой праведный!» И вот на своем тюфяке он у ног Дероша. «Это вы, сударь, осудили меня! — обращаясь к нему, говорит он резким, громким голосом. — Я виновен в преступлении, в котором меня обвиняют, да, я преступник, признаюсь. Но вы этого не можете знать». И вернувшись к судебному разбирательству, он доказывает — и это становится ясным как день, — что не было ни солидных доказательств в деле, ни справедливости в приговоре. Дерош с ног до головы охвачен дрожью, он встает, разрывает на себе судейскую мантию и навсегда отказывается от губительной обязанности распоряжаться жизнью людей. И его

называют безумцем! Человека, который знает себя и боится осквернить церковное одеяние дурным поведением или однажды запятнать себя кровью невинного.

— Но об этих подробностях ничего не известно.

— Вот и надо молчать, раз неизвестно.

— Но чтобы молчать, пришлось бы проявить недоверчивость.

— Что же в том неудобного?

— Приходится отказывать в доверии двадцати знакомым, которых уважаешь, и поверить человеку, вовсе не знакомому.

— О, сударь, я не требую от вас стольких поручителей, когда речь идет о том, чтобы восторжествовало добро.

— А зло?

— Оставим это, вы отвлекаете меня от моего рассказа и раздражаете меня. Однако же, надо было ему заняться чем-нибудь. Он становится военным.

— Иными словами, он отказался осуждать себе подобных с тем, чтобы убивать их без всякого суда.

— Не понимаю, как можно шутить в подобных случаях.

— Что вы хотите? Вы печальны, а я весел.

— Надо узнать продолжение его истории, чтобы оценить, чего стоят светские пересуды.

— Я узнаю, если вы пожелаете.

— Рассказ мой будет длинным.

— Тем лучше.

— Дерош участвует в кампании 1745 года{241} и выказывает себя с лучшей стороны. Избегнув превратностей войны, опасности сотни раз быть убитым, он ломает ногу, упав с пугливой лошади, в десяти лье от деревенского дома, где он намеревался стать на зимнюю квартиру. Одному богу известно, как преподнесли это событие наши милые сплетники.

— Дело в том, что есть люди, над которыми принято смеяться и которые никогда не вызывают жалости.

— Человек с перебитой ногой — зрелище куда как забавное! Что же, господа, дерзкие насмешники, смейтесь! Но знайте, что лучше было бы Дерошу погибнуть от пушечного ядра или чтобы на поле битвы его проткнули штыком. Несчастный случай произошел с ним в дрянной

{241} Комментарии: 2.241

Кампания 1745 года — война Франции против Англии в Австрии; во время битвы при Фонтенуа (11 мая 1745 г.) французская армия одержала решительную победу над противником.

деревушке, где не было приличного убежища, кроме дома священника или замка. Его перенесли в замок, принадлежавший молодой вдове по имени госпожа де Ла Карлиер, хозяйке этих мест.

— Кто же не слышал о г-же де Ла Карлиер? Кто не слышал о ее безграничной снисходительности к ревнивому старому мужу, которому жадность родителей принесла ее в жертву в возрасте четырнадцати лет?

— В возрасте, когда вас заставляют взять самое серьезное обязательство в жизни, потому что у вас румянец на щеках и прелестные локоны, г-жа де Ла Карлиер повела себя как самая достойная и безупречная супруга.

— Раз это говорите вы, я вам верю.

— Она приняла шевалье Дероша и оказывала ему всяческие знаки внимания. Дела призывали ее в город. Несмотря на это и на противные осенние дожди, от которых воды Марны, протекавшей по соседству, вздулись так, что г-жа де Ла Карлиер могла бы передвигаться лишь на лодке, она продлила пребывание в своем поместье до полного выздоровления шевалье. И вот он поправился, вот он рядом с г-жой де Ла Карлиер, в коляске, увозящей их в Париж. И Дероша привязывает к его молодой, богатой и прекрасной

сиделке не только признательность, но и чувство более нежное.

— Действительно, это было небесное создание. Когда она появлялась в театре, от нее нельзя было оторвать взора.

— Там-то вы ее и видели?

— Да.

— Их нежная дружба длилась несколько лет, и за это время влюбленный шевалье, к которому г-жа де Ла Карлиер была неравнодушна, не раз предлагал ей выйти за него замуж. Но свежие воспоминания о страданиях, вынесенных ею от тирана-мужа, а более того репутация человека легкомысленного, которой шевалье был обязан своими многочисленными любовными похождениями, пугали г-жу де Ла Карлиер, которая не верила в то, что мужчина подобного склада может исправиться. В то время у нее был судебный процесс с наследниками мужа.

— Не было ли толков и по поводу этого процесса?

— Еще бы, да к тому же всех мастей. Представляю вам самому догадаться, отстаивал ли Дерош, сохранивший в магистратуре немало друзей, интересы г-жи де Ла Карлиер.

— Надо полагать, она была ему за это призна-

тельна!

— Он без конца обивал судейские пороги.

— Самое забавное было в том, что, совершенно оправившись от своего перелома, он всегда являлся в суд в специальном ботинке со шнуровкой. Он уверял, что его просьбы, подкрепленные таким образом, трогали сильнее. Правда, он надевал его то на одну, то на другую ногу, и порой на это обращали внимание.

— Чтобы отличить его от родственника, носящего то же имя, его стали звать Дерош-Башмак. Тем временем на законном основании и с помощью трогательного башмака шевалье г-жа де Ла Карлиер выиграла процесс.

— И стала законной супругой Дероша.

— Как вы торопитесь! Вы не любите обыденных подробностей, и я вас от них избавлю. Оба были согласны, союз их вот-вот должен был быть заключен, когда г-жа де Ла Карлиер после парадного обеда среди многочисленных гостей, в числе которых были члены обеих семей и некоторые друзья, приняв величественный вид, обратилась к шевалье и торжественно заявила: «Господин Дерош, выслушайте меня. Сегодня мы оба свободны, завтра все будет иначе. Я стану владычицей вашего счастья или горя, вы — моего. Я хорошо

все обдумала. Соблаговолите и вы поразмыслить серьезно. Если вы чувствуете ту же склонность к непостоянству, что владела вами до сих пор, если я не в состоянии удовлетворить всю полноту ваших чувств, не связывайте себя обещанием, заклинаю вас нами обоими! Подумайте, чем менее я считаю себя заслуживающей небрежения, тем сильнее отзовется во мне оскорбление. Я тщеславна, и очень. Я не умею ненавидеть, но никто не умеет презирать сильнее, чем я, и презрение мое не проходит. Завтра у алтаря вы поклянетесь принадлежать мне и только мне одной. Проверьте себя, спросите ваше сердце, пока еще не поздно. Подумайте, что речь идет о моей жизни. Сударь, ранить меня легко, и рана души моей не затянется, она будет постоянно кровоточить. Я не стану жаловаться, ибо жалобы сперва докучают, а потом озлобляют. К тому же жалость — это чувство, унижающее того, кто его внушает. Я замкнусь в своем страдании и погибну от него. Шевалье, я вручу вам мою судьбу и мое состояние, со смирением откажусь от своих желаний и прихотей, вы будете для меня всем на свете. Но и я должна быть всем для вас, меньшим я не удовлетворюсь. Сейчас я для вас одна-единственная, и для меня нет никого, кроме вас. Но

очень может быть, что мы встретим, вы — особу, более привлекательную, я — кого-то, кто мне покажется таким. Если бы превосходство в достоинствах, реальное или мнимое, оправдывало бы непостоянство, нравственности бы не существовало. Я же придерживаюсь строгих моральных правил, я хочу, чтобы так же поступали и вы. Я готова на любые жертвы, лишь бы вы целиком принадлежали мне. Вот мои требования, вот мои права, я не отступлю от них ни на шаг. Если вы их нарушите, я сделаю все, чтобы вас признали не просто непостоянным, но чтобы в глазах людей здравомыслящих, в ваших собственных глазах вы были бы последним из неблагодарных. Я приму те же упреки, если окажусь недостойной ваших забот, вашего внимания, вашей нежности, если обману ваши ожидания. Я узнала, на что я способна, живя с мужем, рядом с которым обязанности супруги не были ни легкими, ни приятными. Теперь вы знаете, чего вы можете ждать от меня. Подумайте же, должны ли вы опасаться себя. Скажите мне, шевалье, скажите мне откровенно. Или я стану вашей супругой, или останусь вашим другом, выбор не столь жесток. Друг мой, мой нежный друг, заклинаю вас, не заставляйте меня возненавидеть, бежать отца

моих детей и, быть может, в приступе отчаяния отвергнуть их невинные ласки. Дай мне бог, всю мою жизнь каждый раз с восторгом находить в них ваши черты и радоваться тому, что я их мать. Дайте мне самое большое свидетельство доверия, которое честная женщина когда-либо требовала от порядочного мужчины, откажитесь от меня, если вы считаете, что я назначаю себе слишком высокую цену. Нисколько не оскорбясь, я обовью руки вокруг вашей шеи, и любовь всех тех, кого вы пленили, и все пошлые комплименты, которые вы им расточали, никогда бы не подарили вам столь искренний, столь нежный поцелуй, который принесла бы вам ваша откровенность и моя признательность!»

— Мне кажется, что я где-то слышал комическую пародию на эту речь.

— От какой-нибудь доброй приятельницы г-жи де Ла Карлиер?

— Признаться, я припоминаю, кто это был. Вы угадали.

— Разве этого недостаточно, чтобы человеку захотелось бежать в глушь лесов, подальше от этого благопристойного сброда, для которого нет ничего святого? Право, я отправлюсь туда, этим все кончится. Будьте уверены, я туда от-

правлюсь. Присутствовавшие, которые поначалу улыбались, в конце концов прослезились. Дерош бросился к ногам г-жи де Ла Карлиер, рассыпаясь в учтивых и нежных возражениях. Он не упустил ничего из того, что могло бы отягчить или, напротив, извинить его былое поведение. Он сравнил г-жу де Ла Карлиер с женщинами, которых он знал и покинул. Из этого верного и лестного для нее сравнения он извлек основания, чтобы успокоить ее, увериться самому, что он избавился от прежних склонностей, от безумств молодости, что упадок нравов свойствен, скорее, обществу в целом, нежели именно ему. Он сказал все, что думал и что обещал выполнить. Г-жа де Ла Карлиер смотрела на него, слушала, пытаясь проникнуть в скрытый смысл его речей, в его движения, и все истолковывала к его пользе.

— Почему бы и нет, если он был искренен?

— Она протянула ему руку, которую он покрывал поцелуями, прижимал к сердцу, вновь целовал и орошал слезами. Все разделяли их нежность, все женщины испытывали те же чувства, что и г-жа де Ла Карлиер, все мужчины — что и шевалье.

— Вот так поведение человека честного, порядочного воздействует на толпу, оно объединяет

людей в едином порыве души и мысли. Как все уважают, как любят друг друга в эти минуты! Как прекрасен тогда человек! Как жаль, что расставание наступает столь быстро! Люди бывают так добры, так счастливы, когда проявление честности и порядочности вызывает их одобрение, восхищение, объединяет их!

— Мы наслаждались этим сплотившим нас счастьем, когда г-жа де Ла Карлиер, повинуясь порыву своей пылкой души, встала и сказала Дерошу: «Шевалье, пока я еще не верю вам, но скоро поверю».

— Маленькая графиня прелестно изображала это воодушевление своей красавицы кузины.

— Она, скорее, способна разыграть его, нежели испытать. «Клятвы, произнесенные у подножия алтаря…» Вы смеетесь?

— Право же, я прошу у вас прощения, но я как сейчас вижу, как маленькая графиня приподнялась на цыпочки, я так и слышу ее напыщенный тон.

— Помилуйте, вы такой же негодяй, такое же испорченное существо, как все эти люди, и я умолкаю.

— Обещаю вам больше не смеяться.

— Смотрите же.

— Итак, клятвы, произнесенные у подножия алтаря…

— «Столь часто оказывались затем ложными, что я не принимаю в расчет торжественное обещание, которое вы дадите мне завтра. Присутствие бога для нас менее страшно, чем суд ближнего. Господин Дерош, подойдите. Вот вам моя рука, дайте мне вашу и поклянитесь мне в верности и вечной нежности. Пусть свидетелями тому будут присутствующие здесь. Позвольте мне, если вы дадите мне законные основания для жалоб, призвать вас на их суд, предать вас их осуждению. Согласитесь на то, чтобы они присоединили свой голос к моему, чтобы они назвали вас изменником, неблагодарным, коварным, человеком лживым и злым. Это мои и ваши друзья. Согласитесь с тем, что в ту минуту, как я потеряю вас, у вас не останется ни одного друга. А вы, друзья мои, поклянитесь мне, что откажетесь от него».

Немедленно в гостиной раздались крики: обещаю! обещаю! согласен! клянемся! Посреди этого сладостного возбуждения шевалье, обняв г-жу де Ла Карлиер, целовал ее в лоб, глаза, щеки. «Шевалье, однако!»

— «Но, сударыня, обряд совершен, я ваш супруг,

вы — моя жена».

— «В глубине лесов, несомненно, но пока не хватает обычно принятых формальностей. В ожидании лучшего, вот вам мой портрет. Поступайте с ним, как вам заблагорассудится. Заказали ли вы ваш? Если он есть у вас, дайте его мне».

Дерош поднес свой портрет г-же де Ла Карлиер, которая бережно взяла его и весь остаток дня называла себя г-жою Дерош.

— Мне не терпится узнать, что же было дальше.

— Минуту терпения. Я обещал вам, что рассказ мой будет долгим, я должен сдержать слово. Ах, да… верно… ведь это произошло во время вашей длительной поездки, и вас тогда не было во Франции.

Два года, целых два года, Дерош и его жена жили в полном согласии и счастье. Казалось, что Дерош в самом деле исправился, так оно и было. Его друзья по распутной жизни, которые слышали рассказы об описанной выше сцене и шутили по этому поводу, говорили, что воистину именно священник приносит несчастье и что г-жа де Ла Карлиер две тысячи лет спустя открыла секрет, как избежать проклятия церковного обряда. Дерош имел ребенка от г-жи де Ла Карли-

ер, которую я буду звать г-жой Дерош до тех пор, пока не сочту уместным употребить другое имя. Она во что бы то ни стало захотела кормить ребенка сама. Для молодого человека, обладающего страстным темпераментом и не привыкшего к подобному образу жизни, это было долгое и опасное испытание. В то время как г-жа Де-рош была поглощена своими материнскими обязанностями, ее муж бывал в свете. И вот однажды он имел несчастье встретить на своем пути одну из тех коварных соблазнительниц, которых втайне раздражает согласие, царящее в других семьях и им недоступное. Кажется, что их утешением служит возможность обречь других на то жалкое состояние, в каком они пребывают сами.

— Это уже ваша история, а не его.

— Дерош, который знал себя, знал свою жену, которую он уважал и которой побаивался…

— Это почти одно и то же…

— Проводил свои дни подле нее. Он был без ума от ребенка, которого держал на руках так же часто, как и мать. Вместе с несколькими друзьями он пекся о том, чтобы облегчить ее почтенные, но утомительные заботы и развлечь ее всевозможными домашними забавами.

— Как это прекрасно.

— Разумеется. Один из друзей Дероша вложил свои капиталы в одну из финансовых операций правительства. Министерство было должно ему значительную сумму, представляющую почти все его состояние, и он безуспешно пытался ее востребовать. Он открылся Дерошу. Тот вспомнил, что был когда-то хорош с одной весьма могущественной дамой, которая благодаря своим связям могла бы кончить это дело. Он промолчал. Но на следующий же день увиделся с этой женщиной и поговорил с ней. Она была рада вновь встретиться с шевалье и оказать услугу тому, кого некогда нежно любила и кем пожертвовала ради честолюбивых целей. За первым свиданием последовали и другие. Эта женщина была очаровательна. Она признавалась в своих проступках, не допуская при этом ни малейшей двусмысленности. Дерош некоторое время колебался, не зная, как ему поступить.

— Право же, я не понимаю почему.

— Но потом отчасти по склонности, праздности и слабости, отчасти из-за боязни, что жалкие угрызения совести…

— По поводу забавы, весьма безразличной его жене…

— Умерят живость защитницы его друга и

помешают успеху ее переговоров, он забыл на мгновение о г-же Дерош и втянулся в интригу, которую его сообщница была крайне заинтересована держать в секрете. Меж ними завязалась неизбежная и продолжительная переписка. Они виделись редко, но часто писали друг другу. Сотни раз говорил я любовникам: не пишите писем, они вас погубят; рано или поздно по случайности письмо не дойдет до своего адресата. Случай может привести к самым невероятным стечениям обстоятельств, ему нужно только время, чтобы дело кончилось роковым исходом.

— И вам никто не верил?

— И все погубили себя. То же случилось и с Дерошем, подобно сотням тысяч до него и сотням тысяч после. Он хранил свои письма в небольшой шкатулке, стянутой сверху и с боков металлическими обручами. И в городе, и в деревне шкатулка хранилась в запертом на ключ секретере. Во время путешествий она помещалась в одном из дорожных сундуков Дероша, находившемся на передке экипажа. Так было и на сей раз. Прибыв на место и выйдя из коляски, Дерош дал шкатулку слуге, дабы тот отнес ее в его апартаменты, попасть в которые можно было, только пройдя через комнаты его жены. И тут обруч лопается,

шкатулка падает, разваливается, и множество писем рассыпается у ног г-жи Дерош. Она поднимает некоторые из них и убеждается в измене своего супруга. Впоследствии она не могла без содрогания вспоминать об этой минуте. Она говорила мне, что вся покрылась холодным потом, и ей казалось, что железные когти сжимают ей сердце и раздирают внутренности. Что с ней будет? Что ей делать? Она собралась с духом и призвала на помощь остатки разума и сил. Из всех писем она отобрала несколько, самых многозначительных, поправила дно шкатулки и приказала слуге отнести ее в комнаты господина, запретив ему говорить о случившемся под страхом немедленного увольнения. Она пообещала Дерошу, что он никогда не услышит от нее ни звука жалобы, она сдержала слово. Однако грусть овладела ею. Порой она плакала. Ей хотелось уединения и во время прогулок, и у себя в комнатах. Она велела, чтобы ей накрывали отдельно, она постоянно хранила молчание. Только порой у нее вырывались невольные вздохи. Дерош огорчался, но был спокоен, ибо приписывал ее состояние определенному недомоганию, хотя кормящие матери ему не подвержены. За весьма краткое время здоровье его жены настолько ослабло, что

пришлось покинуть деревню и вернуться в город. Она добилась от мужа того, что весь путь они проделали в разных экипажах. По возвращении она повела себя столь сдержанно и умело, что Дерош, который не заметил похищения писем, в легком пренебрежении со стороны жены, ее равнодушии, вырывавшихся у нее вздохах, в едва сдерживаемых слезах, в склонности к одиночеству усматривал только обычные признаки свойственного ей, как он думал, нездоровья. Порой он советовал ей прервать кормление ребенка. Но для нее это был как раз единственный способ оттянуть, насколько возможно, выяснение отношений с мужем. Итак, Дерош продолжал жить рядом с женою, находясь в полном неведении относительно тайных мотивов ее поведения, когда однажды утром она предстала перед ним величественная, благородная, исполненная достоинства. На ней было то же платье и те же украшения, что и в день домашней церемонии накануне их свадьбы. Она несколько утратила свою свежесть и приятную полноту, снедавшая ее тайная печаль уменьшила ее очарование, но эти потери с избытком возмещались благородством ее осанки. Когда жена вошла, Дерош писал своей возлюбленной. Смущение охватило

обоих, но оно оказалось мимолетным, ибо оба искусно скрыли его. «О жена моя! — воскликнул Дерош, увидя ее и скомкав, как бы по рассеянности, исписанный им листок бумаги, — как вы прекрасны! Каковы ваши планы на сегодняшний день? — Я предполагаю, сударь, собрать обе наши семьи. Приглашены наши друзья, наши родные, и я рассчитываю на вас. — Разумеется. К какому часу желаете вы, чтобы я был готов? — К какому часу я желаю? да... в обычное время. — В руках у вас веер и перчатки, вы куда-то собрались? — С вашего позволения. — Разрешите узнать, куда вы направляетесь? — Навестить мою мать. — Прошу вас передать ей уверения в моем почтении. — Вашем почтении? — Конечно».

Г-жа Дерош вернулась только к моменту, когда надо было садиться за стол. Гости уже собрались. Ждали только ее. Едва она появилась, у всех вырвалось то же восклицание, что и у ее мужа. Мужчины и женщины окружили ее, говоря наперебой: «Посмотрите же, как она прекрасна!» Женщины поправляли свои прически. Мужчины глядели на нее издали и, замерев от восхищения, говорили между собой: «Нет, ни бог, ни природа не создали, не могли создать ничего более величественного, более прекрасного, бо-

лее благородного, более совершенного». «Жена моя, — сказал ей Дерош, — вас как будто не трогает, какое впечатление вы произвели на нас. Бога ради, не улыбайтесь. Улыбка в сочетании с таким очарованием способна лишить нас рассудка». Г-жа Дерош ответила легким движением, выражавшим негодование, отвернулась и поднесла платок к увлажнившимся глазам. Женщины, которые все замечают, спрашивали шепотом: «Что с нею? Можно подумать, что ей хочется плакать». Дерош, угадав, о чем они говорили, поднес руку ко лбу, сделав им знак, что жена его немного не в себе.

— В самом деле, когда я был вдали отсюда, мне написали, что распространился невнятный слух, будто красавица г-жа Дерош, бывшая г-жа де Ла Карлиер, сошла с ума.

— Обед был подан. Веселье выражалось на лицах всех присутствующих, кроме г-жи де Ла Карлиер. Дерош слегка подшучивал над ее неприступным видом. Он не придавал значения ни ее серьезности, ни веселости ее друзей. Происходящее не задевало его. «Жена моя, соблаговолите улыбнуться». Г-жа де Ла Карлиер притворилась, что не слышит, и сохраняла свой строгий вид. Женщины говорили, что ей идет любое выра-

жение лица, так что она могла выбирать его по своему усмотрению. Трапеза была окончена. Гости перешли в гостиную. Составился круг. Г-жа де Ла Карлиер…

— Вы хотите сказать г-жа Дерош?

— Нет, мне более не угодно называть ее так. Г-жа де Ла Карлиер звонит, она подает знак. Ей приносят ребенка. Вся дрожа, она берет его на руки. Она обнажает грудь, дает ее ребенку, затем, поглядев на него с грустью, поцеловав и уронив на его личико слезу, передает его няньке и говорит, утерев глаза: «Эта слеза не последняя». Но слова эти были произнесены так тихо, что их едва расслышали. Зрелище это умилило всех присутствующих, и в гостиной воцарилось глубокое молчание. Тогда г-жа де Ла Карлиер поднялась и, обращаясь к гостям, сказала следующее или нечто похожее:

«Родные мои, друзья мои, вы были здесь в тот день, когда я дала слово г-ну Дерошу, а он дал слово мне. Вы, несомненно, помните, на каких условиях я приняла его предложение и отдала ему мою руку. Скажите, г-н Дерош, разве я не сдержала свое обещание? — Мне не в чем упрекнуть вас. — А вы, сударь, вы обманули меня, вы меня предали… — Я, сударыня! — Вы, сударь. — Кто

те несчастные, те недостойные… — Здесь нет несчастных, кроме меня, и недостойных, кроме вас… — Сударыня, жена моя… — Я больше не жена вам… — Сударыня! — Сударь, не добавляйте лжи и наглости к коварству. Чем больше вы станете защищаться, тем сильнее запутаетесь. Пощадите же себя…»

Произнеся эти слова, она вынула из кармана письма, одни протянула Дерошу, другие — раздала присутствующим. Те взяли их, но читать не стали. «Господа, — сказала г-жа де Ла Карлиер, — прочтите их и рассудите нас. Вы не уйдете отсюда, пока не выскажете своего мнения». Потом она обратилась к Дерошу: «Вам, сударь, почерк должен быть знаком». Гости еще колебались, но после настоятельных просьб г-жи де Ла Карлиер письма были прочитаны. В это время Дерош стоял дрожа, недвижно, прижавшись лбом к стеклу, повернувшись к присутствующим спиной и не решаясь взглянуть на них. Один из друзей сжалился над ним, взял его за руку и увел из гостиной.

— Мне подробно описывали эту сцену и говорили, что он выглядел весьма жалко, а жена его была просто смешна.

— После ухода Дероша неловкость исчезла. Все сошлись на том, что он виновен, и одобрили

поведение г-жи де Ла Карлиер, лишь бы она не заходила в своем злопамятстве слишком далеко. Все столпились вокруг нее, ее уговаривали, умоляли, заклинали. Друг, который увел Дероша, то входил, то выходил, уведомляя его о происходящем. Г-жа де Ла Карлиер осталась непреклонна в своем решении, о котором она пока еще не объявила. На все, что ей говорили, она отвечала односложно. Женщинам она говорила: «Сударыни, я не осуждаю вашу снисходительность». Мужчинам отвечала: «Господа, это невозможно, моя вера в него потеряна, вернуть ее нельзя». Привели мужа. Он был ни жив ни мертв. Он, скорее, упал, чем бросился к ногам жены, не в силах вымолвить ни слова. Г-жа де Ла Карлиер сказала ему: «Сударь, встаньте». Он поднялся, и она прибавила: «Вы дурной супруг. Я хочу знать, порядочный ли вы человек. Я не могу ни любить, ни уважать вас. Заявляю вам, что мы не созданы для того, чтобы жить вместе. Я оставляю вам мое состояние. Я требую только малую часть, достаточную для моего пропитания и содержания моего ребенка. Моя мать предупреждена. У нее для меня приготовлено жилье. Позвольте мне отправиться туда немедленно. Единственная милость, которой я прошу и на которую имею

право, — избавьте меня от скандала, который не изменит моих намерений, а единственным его следствием будет то, что он лишь усугубит жестокий приговор, который вы мне вынесли. Позвольте мне забрать с собой ребенка и жить в ожидании того, что моя мать закроет мне глаза или я похороню ее. Если вас это огорчает, не печальтесь, мое горе и почтенный возраст моей матери быстро положат всему конец».

Кругом все проливали слезы, женщины держали ее за руки, мужчины падали ниц к ее ногам. В тот момент, когда г-жа де Ла Карлиер направилась к двери, держа ребенка на руках, раздались рыдания и крики. Муж кричал: «Жена моя! Жена моя! Выслушайте меня, вы ничего не знаете». Кричали мужчины, кричали женщины: «Госпожа Дерош! Сударыня!» Муж кричал: «Друзья мои, неужто вы позволите ей уйти? Остановите ее, пусть она выслушает меня, позволит мне говорить с ней». Его убеждали броситься перед ней на колени. «Нет, — говорил он, — я не смогу, я не осмелюсь, мне — задержать ее? Коснуться ее? Я этого недостоин!»

Г-жа де Ла Карлиер покинула дом. Я был у ее матери, когда она приехала туда, измученная пережитым. Трое слуг высадили ее из коляски

и несли ее, держа за голову и ноги. За ними следовала нянька, бледная как смерть, с ребенком, уснувшим на ее груди. Несчастную женщину положили на постель, где она долго оставалась без движения, под присмотром своей старой, почтенной матери, которая беззвучно открывала рот, суетилась вокруг дочери, желая помочь ей, но ничего не могла поделать. Наконец сознание вернулось к бедняжке, она открыла глаза, и первые слова ее были: «Стало быть, я не умерла! Смерть так сладостна! Матушка, придите ко мне и давайте умрем вместе. Но если мы умрем, кто позаботится о несчастном младенце?»

Она взяла иссохшие, дрожащие руки матери в свою руку, другой рукой обняла ребенка и залилась слезами. Она рыдала, она хотела было посетовать на свою судьбу, но ее жалобы и рыдания прервала неудержимая икота. Когда она смогла выговорить несколько слов, то сказала: «Возможно ли, чтобы он страдал так же, как я!» В это время друзья утешали Дероша и убеждали его, что долго сердиться на столь легкую провинность, как его, невозможно. Однако следует дать время успокоиться уязвленной гордости благородной, чувствительной, оскорбленной женщины. К тому же торжественность свершен-

ного обряда была такова, что столь неистовый поступок, вызванный изменой Дероша, стал для его жены почти делом чести. «Это в какой-то мере наша вина», — говорили мужчины… «Да, действительно, — подтверждали женщины, — если бы мы сумели разгадать ее искусное притворство и расценить его, как это сделали свет и графиня, то, что приводит нас нынче в отчаяние, не случилось бы… Дело в том, что определенная манера поведения внушает нам уважение и заставляет млеть от глупого восторга, в то время, как надо бы только пожать плечами и рассмеяться… Вы увидите, увидите, какой шум произведет эта последняя сцена, какому осуждению общества мы все подвергнемся».

— Между нами говоря, к тому был повод.

— С этого дня г-жа де Ла Карлиер снова взяла имя, которое она носила во вдовстве, и не терпела, когда ее называли г-жой Дерош. Двери ее дома были надолго закрыть для всех, и навсегда — для ее мужа. Он писал ей, она сжигала его письма не вскрывая. Г-жа де Ла Карлиер объявила родным и друзьям, что прервет отношения со всяким, кто станет просить за него. Вмешательство священников не принесло пользы. Посредничество вельмож она отвергла с таким высокомерием

и твердостью, что больше они не докучали ей своими попытками.

— Они, несомненно, сказали, что она дерзка и притворно добродетельна.

— А вслед за ними это повторяли и все остальные. Она меж тем была погружена в меланхолию. Здоровье ее таяло с непостижимой быстротой. Столь многие были посвящены в историю разрыва г-жи де Ла Карлиер с шевалье и знали его мотивы, что вскоре она сделалась предметом всеобщего обсуждения. Здесь-то я и попрошу вас, если возможно, отвести глаза от г-жи де Ла Карлиер и обратить ваше внимание на свет, на эту толпу глупцов, которая нас судит, выносит приговоры нашей чести, превозносит нас до небес или поливает грязью. И чем больше в нас силы и добродетели, тем больше мы считаемся с ее мнением. Рабы общественного мнения, вы могли бы быть приемными детьми тирана, но никогда вам не увидеть мартовских Ид!..{242} О поведении г-жи де Ла Карлиер бытовало только одно мнение: «Она совершенно безумна… Хорош пример для подражания!.. Если последовать ему, то придется разлучить три четверти мужей с их

{242} Комментарии: 2.242

Мартовские Иды. — Имеется в виду день убийства Юлия Цезаря (15 марта 44 г. до н. э.).

женами… Три четверти, говорите вы? Если на то пошло, найдется ли двое из ста, которые были бы верны?.. Г-жа де Ла Карлиер очень мила — ничего не скажешь, она поставила свои условия — прекрасно, она — сама красота, добродетель и честность. Добавим к этому, что шевалье всем ей обязан. Но требовать, чтобы она была для мужа единственной и неповторимой, — подобное притязание чрезмерно и смешно». И далее говорили: «Если Дерош так страстно влюблен в нее, почему не прибегнет он к помощи закона, не образумит эту женщину?» Посудите сами, что бы они стали говорить, если б шевалье или его друг могли бы объясниться, но все заставляло их молчать. Советами применить силу Дерошу понапрасну прожужжали все уши. Он готов был пустить в ход все, чтобы вернуть свою жену, все, кроме насилия. Г-жа де Ла Карлиер была, однако, особой высокочтимой, и среди хора порицавших ее голосов порою раздавались один-два, дерзавшие вступиться за нее. Но то были голоса робкие, слабые, осторожные, звучавшие, скорее, из порядочности, нежели по убеждению.

— В обстоятельствах двусмысленных партия людей порядочных постоянно пополняется перебежчиками.

— Это всегда производит хорошее впечатление.

— Длительное несчастье примиряет страдальца с другими людьми, а когда красивая женщина теряет свою прелесть, это примиряет с нею всех соперниц.

— Более того. Действительно, когда очаровательная г-жа де Ла Карлиер превратилась в живые мощи, к осуждению стало примешиваться сострадание. «Угаснуть во цвете лет, обречь себя на гибель из-за измены человека, которого она обо всем предупредила, который должен был знать ее и у которого был только единственный способ отплатить ей за все, что она для него сделала… Ибо, между нами говоря, когда Дерош женился на ней, он был всего лишь младшим офицером из Бретани, и у него ничего не было, кроме его дворянства. Бедняжка г-жа де Ла Карлиер! Как это, однако, грустно… Но почему бы ей не вернуться к нему?.. Ах! почему? Потому что у каждого есть свой характер, и следовало бы, быть может, пожелать, чтобы он отличался большей заурядностью. Нашим повелителям и господам надо бы хорошенько над этим задуматься».

В то время как дамы развлекались, взвешивая «за» и «против» за плетением или вышивкой, в

то время как чаша весов мало-помалу склонялась в пользу г-жи де Ла Карлиер, Дерош впал в самое жалкое душевное и физическое состояние, но его никто не видел. Он удалился в деревню, где в тоске и страдании ждал пробуждения чувства жалости, которое он безуспешно пытался вызвать в своей жене, безропотно покоряясь своей судьбе. Со своей стороны, дойдя до крайней степени истощения и слабости, г-жа де Ла Карлиер была вынуждена поручить кормилице вскармливание своего ребенка. Несчастье, которого она опасалась в связи с переменой молока, произошло. День ото дня ребенок чах и, наконец, умер. Именно тогда и сказали: «Вы знаете? Эта бедняжка г-жа де Ла Карлиер потеряла своего ребенка… Она, должно быть, безутешна… Что вы называете „безутешна“? Это горе, которое и представить себе нельзя. Я видела ее… Она внушает такую жалость! Это невыносимо… Дерош? Не говорите мне о мужчинах, это жестокие, бессердечные существа. Если б эта женщина была ему хоть немного дорога, разве сидел бы он в деревне? Разве не поспешил бы он к ней? Разве не преследовал бы ее повсюду: на улице, в церкви, у ее дома? Если у человека есть желание, перед ним открываются любые двери, для этого надо быть

настойчивым, не отходить от ее порога, умереть там...» На самом деле Дерош перепробовал все средства, но об этом никто не знал. Но главное — не знать, главное — говорить, и разговоры шли... «Ребенок умер... Кто знает, случилось бы это, не будь его отец таким чудовищем... Теперь его мать умирает... А что в это время делает ее муж? Что за вопрос! Днем в сопровождении своры собак он рыщет по лесу, а ночи проводит с негодяями того же пошиба, что и он сам... Чудесно».

Произошло еще одно событие. Когда Дерош женился, он добился почестей, соответствовавших его положению в обществе. Г-жа де Ла Карлиер потребовала, чтобы он покинул военную службу и уступил свой полк младшему брату.

— Разве у Дероша был младший брат?

— Не у него, а у г-жи де Ла Карлиер.

— Так что же?

— Так вот, молодой человек был убит в первом же бою, и со всех сторон стали восклицать: «Несчастье вошло в эту семью вместе с Дерошем!» Послушать их, так можно было подумать, что молодой офицер пал от руки Дероша. Это был совершенно непостижимый разгул всеобщего безумия. По мере того, как несчастья г-жи де Ла Карлиер следовали одно за другим, характер

Дероша рисовался во все более мрачных красках, измена его представала в преувеличенном виде, и хотя вина его была прежней, облик его день ото дня становился все гнуснее. Вы думаете, это все? Нет, нет. Матери г-жи де Ла Карлиер минуло 76 лет. Я понимаю, что смерти внука и зрелища постоянных страданий дочери было довольно, чтобы сократить ее дни. Но и без того она была дряхла, была немощна. Но какое это имело значение, о ее старости и недугах забыли, и виновником ее смерти вновь оказался Дерош. На сей раз приговор был вынесен: шевалье был объявлен негодяем, к которому г-жа де Ла Карлиер не могла приблизиться, не потеряв всякий стыд. Это был убийца ее матери, брата, сына!

— Но следуя этой замечательной логике, если бы г-жа де Ла Карлиер умерла, к тому же после долгой и мучительной болезни, которая позволила бы несправедливости и ненависти со стороны света проявиться во всей полноте, на него должны были бы глядеть как на отвратительного убийцу целой семьи.

— Так оно и случилось, именно так с Дерошем и поступили.

— Вот как!

— Если вы мне не верите, обратитесь к кому-

нибудь из присутствующих сегодня здесь и вы увидите, каковы будут их объяснения. Ведь Дерош остался в гостиной один потому, что в тот миг, когда он вошел туда, все от него отвернулись.

— Отчего же? Даже когда известно, что человек мерзавец, это не мешает принимать его.

— События еще слишком свежи в памяти, а все эти люди — либо родственники, либо друзья покойной. Г-жа де Ла Карлиер скончалась во второй день прошлой троицы, и знаете где? В церкви Святого Евстахия,{243} во время приходской службы, среди многочисленных прихожан.

— Какое безумие! Умирать следует в своей постели. Разве кому-нибудь когда-либо приходило в голову умереть в церкви? Эта женщина решила быть странной до самого конца.

— Да, странной, верно сказано. Ей стало несколько лучше. Накануне она исповедалась. Она почувствовала в себе достаточно сил, чтобы причаститься в церкви, а не вызывать священника домой. Ее отнесли туда в портшезе. Она выдерживает службу без жалоб и видимых страданий. Наступает момент причастия. Женщины

{243} Комментарии: 2.243

Церковь Святого Евстахия — одна из знаменитых парижских церквей, недалеко от самого популярного и большого парижского рынка. Дидро хорошо знал эти места.

берут ее под руки и подводят к алтарю. Священник причащает ее, она склоняется, словно для того, чтобы собраться с мыслями, и испускает дух.

— Испускает дух!..

— Да, она умирает странно, как вы изволили сказать.

— Одному богу известно, какая при этом поднялась суматоха!

— Оставим это, можно представить, что произошло, продолжим наш рассказ.

— Дело в том, что теперь эта женщина стала в сотни раз интереснее и привлекательнее, а ее муж — в сотни раз отвратительнее.

— Само собой разумеется.

— И это еще не все?

— Нет, случаю было угодно, чтобы Дерош встретил на своем пути тело г-жи де Ла Карлиер, когда ее переносили из церкви домой.

— Кажется, все было против этого бедняги.

— Он подходит и узнает свою жену. Из его груди вырывается крик. Вокруг спрашивают, кто этот мужчина. Из середины толпы раздается весьма некстати чей-то голос (то был приходский священник), который говорит: «Перед вами убийца этой женщины». Дерош ломает руки, рвет на себе

волосы и восклицает: «Да-да, это я». Тут же вокруг собирается толпа. Его осыпают проклятиями, в ход едва не пошли камни, и его убили бы на месте, если бы несколько честных граждан не спасли его от гнева разъяренной черни.

— А каково было его поведение во время болезни его жены?

— Настолько хорошее, насколько это было возможно. Он был обманут, как и мы все, г-жой де Ла Карлиер, которая скрывала ото всех, а может быть, и от самой себя свой близкий конец…

— Понимаю, тем не менее его ославили как бесчеловечного варвара.

— Его называли кровожадным зверем, который постепенно вонзал кинжал в грудь божественной женщины, своей супруги и благодетельницы, которую он оставил погибать в одиночестве, не проявив ни малейшего интереса к ее судьбе, выказав полную к ней бесчувственность.

— И это за то, что он не знал того, что от него скрывали.

— И что было неведомо даже тем, кто жил рядом с ней.

— И кто мог видеть ее каждый день.

— Именно так. Вот что такое суждение общества о наших частных поступках, вот как легкая

провинность…

— О! Весьма легкая.

— Усугубляется на наших глазах целой вереницей событий, предвидеть которые или помешать которым было совершенно невозможно.

— К ним прибавляются события, вовсе не имеющие никакого отношения к завязке драмы, вроде смерти брата г-жи де Ла Карлиер после передачи ему полка Дерошем.

— Дело в том, что наши светские сплетники, идет ли речь о добре или зле, то поют нелепые панегирики, то выступают со вздорной критикой. Событие всегда есть мера их хвалы или порицания. Друг мой, слушайте их, если они вам не наскучили, но не верьте им и никогда не повторяйте их, не то вы будете дерзки вдвойне. О чем вы задумались? Вы грезите?

— Я хочу изменить течение нашего разговора, предположив, что г-жа де Ла Карлиер повела себя более обычным способом. Она находит письма, она дуется. Через несколько дней перемена в ее настроении приводит их к объяснению, а постель — к примирению, как это водится. Несмотря на извинения, оправдания и вновь принесенные клятвы, по легкомыслию своего характера Дерош вновь совершает проступок. Новые обиды, новые

объяснения, новые примирения, новые клятвы, новые вероломства и так далее — в течение тридцати лет, как это принято. Тем не менее Дерош как порядочный человек стремится искупить свою не столь уж тяжкую вину многочисленными знаками внимания, безупречной услужливостью.

— Что далеко не всегда принято.

— Не происходит ни разрыва, ни ссоры. Они живут вместе, как и мы все. И если б умерли теща, жена, ее брат и ребенок, никто бы не проронил ни слова.

— А если б и заговорили об этом, то лишь для того, чтобы пожалеть несчастного, преследуемого судьбой и сломленного невзгодами.

— Верно.

— Из этого я заключаю, что вы не далеки от того, чтобы отнестись к этой гнусной стоглавой и стоязыкой гидре со всем презрением, которого она заслуживает. Но рано или поздно здравый смысл возвращается к ней, и ее рассуждения в будущем отчасти искупают болтовню в настоящем.

— Значит, вы верите, что придет время, когда вся эта история получит истинную оценку, и г-жа де Ла Карлиер будет осуждена, а Дерош оправдан?

— Я думаю даже, что это мгновение не так уж

далеко. Во-первых, потому что отсутствующие всегда виноваты, а тут с покойником никто не сравнится. Во-вторых, об этом говорят, об этом спорят. Когда же всем известные истории всплывают в разговоре вновь, о них судят с меньшим пристрастием. Так что, быть может, еще лет десять бедняга Дерош будет влачить жалкое существование и будет встречать в разных домах такой прием, как сегодня. Но в конце концов с ним примирятся, расспросят его, выслушают, у него не будет больше никакой причины молчать, узнают, какова была суть дела, и поймут, что его провинность ничтожна.

— Ее оценят, как подобает.

— А мы оба достаточно молоды и еще услышим, как красавицу, достойную и добродетельную г-жу де Ла Карлиер назовут непреклонной и высокомерной ханжой, ибо каждый желает высказать свое мнение. А поскольку суждения света не подчиняются никаким правилам, никакой меры в их выражении также не существует.

— Но если бы у вас была дочь на выданье, отдали бы вы ее за Дероша?

— Не задумываясь, ибо случай втянул его в такую скверную историю, из которой ни вы, ни я, никто не мог бы выпутаться наверняка. Ибо

дружба, порядочность, доброжелательность, все мыслимые обстоятельства подготовили как его неверность, так и его оправдание. Ибо поведение его с того момента, как он добровольно расстался с женой, было безупречно. Не защищая неверных мужей, я не могу вместе с тем одобрить тех женщин, которые придают супружеской верности, этому редкому качеству, столь большое значение. И потом у меня есть свое представление, быть может, верное, и уж, определенно, непривычное, об иных наших поступках, которые видятся мне не как пороки человеческие, а, скорее, как последствия наших нелепых законов, являющихся источником столь же нелепых нравов и испорченности, которую я бы охотно назвал искусственной. Все это не слишком ясно, но, возможно, то, что я говорю, прояснится позже, пока же вернемся домой. Я слышу отсюда хриплые крики наших старых картежниц, которые зовут вас. Не говоря уж о том, что вечереет и приближается ночь с ее многочисленной звездной свитой, которую я вам обещал.

— Вы правы.



КАЗОТ



КАЗОТ
КРАСАВИЦА ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ

Волшебная сказка

Перевод А. Андрес

Скончался однажды в Астракане{244} некий король, оставив наследником малолетнего принца под опекой его матери. Королева эта до того любила сына, что ни на шаг его от себя не отпускала, и даже спать ему стелили рядом с ее ложем.

Будучи подвержена бессоннице, она собирала вкруг себя много женщин, промышляющих тем, что наводят сон посредством легкого потирания тех частей тела, что особо располагают наш мозг к дремоте, рассказывая при этом всякого рода небылицы, особенно же волшебные сказки. Маленький принц, притаившись в своей постельке, усердно их слушал и так пристрастился к этим историям, что, если случалось ему заснуть на середине, он днем заставлял досказывать себе

{244} Комментарии: 2.244

Астракан. — Это, видимо, Астрахань, но география в повести Казота весьма неточная, поэтому имеется в виду вообще крупный город на Востоке.

то, что не успел дослушать ночью. Без устали требовал он от этих женщин все новых сказок, и приходилось разыскивать по всем базарам Азии других сказочниц с новым запасом небылиц. Королева, обеспокоенная такой склонностью сына и понимая, что ему надобны познания совсем иного рода, пыталась обуздать сию все более разгоравшуюся страсть, ею же самой, можно сказать, и порожденную, и, дабы перестать давать ей пищу, удалила из дворца всех сказочниц. Однако их вскоре заменили придворные дамы. Воспитатель принца и тот, опасаясь уронить себя в глазах ученика, тоже принялся рассказывать ему сказки. Таким образом, решительно все поддерживало в мальчике это пагубное пристрастие, и вскоре вся природа превратилась для него в некий волшебный мир. В самой обыкновенной мыши он видел сказочную мышку-норушку, попугай и даже простой дятел представлялись ему синей птицей, змея, в зависимости от ее цвета, то драконом, то волшебницей Манто.{245} Любая невзрачная старушонка или заскорузлый от

{245} Комментарии: 2.245

Манто — легендарная волшебница, известная уже античной литературе как предсказательница будущего.

грязи дервиш были зачарованной Ургандой{246} или волшебником Пендрагоном.{247} А когда он впервые увидел, как бьет фонтан, поставленный для украшения в одном из его парков, он самым серьезным образом стал убеждать воспитателя, что это — пляшущая вода.

Сперва эти недоразумения лишь забавляли королеву, но упорство, с которым принц продолжал держаться своих ложных понятий, начало не на шутку ее тревожить — они принимали все более настойчивый характер; а вскоре ей пришлось убедиться, что излечить сей недуг — дело безнадежное.

Королева собралась своего сына женить. Заручившись согласием государственного совета, она затеяла переговоры о весьма выгодном брачном союзе. Речь шла о Беллазире, единственной доче-

---

{246} Комментарии: 2.246

Урганда — фея, покровительница странствующих рыцарей, которым она обычно являлась, приняв облик отвратительной старушонки в лохмотьях. Часто упоминается в романах позднего средневековья.

{247} Комментарии: 2.247

Пендрагон — легендарный персонаж средневековых бретонских сказаний и рыцарских романов, совершавший чудесные подвиги; в некоторых легендах — отец короля Артура.

ри кандахарского{248} короля и единственной его наследнице. Природа щедро одарила принцессу всеми возможными добродетелями: была она и умна, и добра, да еще в придачу хороша собой. Оба семейства были связаны узами родства, оба государства граничили друг с другом — словом, решительно все благоприятствовало, казалось, задуманному браку. Каково же было изумление королевы, когда сын самым решительным образом отказался взять в жены свою прелестную кузину. Он испытывает к ней самые дружеские чувства, заявил он, однако она обладает весьма большим, на его взгляд, недостатком: она не фея. Между тем он дал себе обет, что женится только на фее. «Сын мой, — ответила на это королева, — я отнюдь не сомневаюсь в существовании фей, но все же убеждена, что в сказках, кои вам о них рассказывали, нет ни слова правды. Поверьте, никогда ни один из живших на земле государей не возводил какую-либо фею на свое брачное ложе. Род наш, согласно родословным книгам, восходит к глубочайшей древности, и решительно все ваши предки женаты были на женщинах.

{248} Комментарии: 2.248

Кандахар — город на юге Афганистана. Самостоятельным княжеством он был недолго (с 1709 г.), с 1747 г. стал временной столицей Афганского государства.

Откажитесь же от нелепых своих мечтаний; успокойте свой народ, дабы не смущали его вопросы престолонаследия и судьбы вашего рода, и смотрите, как бы не нажить вам себе недругов, идя наперекор желаниям кандахарского короля. Предупреждаю, у вас опасные соперники».

Принц потупил глаза, а королева, оставив его предаваться своим размышлениям, призвала к себе воспитателя и велела незамедлительно отправляться к своему ученику, дабы убедить его принять руку той, которую готовы были ему доверить. Воспитатель добросовестно принялся расписывать принцу все преимущества, которые сей брачный союз представит с точки зрения политики, однако тот быстро прервал его речи. «Мне, сударь, — сказал он, — надобно не увеличивать свои владения, а заставить процветать те, коими я уже владею. Случись вдруг в какой-нибудь части моих владений недород, обращая в бегство тамошних жителей, достаточно будет мановения волшебной палочки, чтобы положить сему бедствию конец, — источники тотчас же забьют средь высохших полей, великолепные дубравы покроют бесплодные горы, один вид которых ныне печалит взор. Повсюду, где только не вздумается мне расположить свои резиденции,

станут вырастать волшебные замки, нисколько не истощая при этом моей казны. Коли понадобится мне защищать мои владения от врага, стальные стены в мгновение ока поднимутся на границах — впрочем, кто осмелится напасть на меня, зная, что в любую минуту я властен наслать на него чудовищ и развязать против него разом все стихии».

— Но, — отвечал воспитатель, — если бы даже и в самом деле вы могли бы жениться на фее, не преувеличиваете ли вы их всемогущества? История и та приукрашивает события, донося их до нас, а сказки ведь еще меньше заслуживают доверия.

— Ни в том, что феи всемогущи, ни в том, что на одной из них я женюсь, не может быть никакого сомнения, сударь, ибо таково мое желание, а раз я чего хочу, я это делаю. Но я уже излагал вам свои намерения на сей счет и вы сами же нашли их в ту пору замечательными и достойными одобрения. Словом, решение мое твердо, пусть прекрасная моя кузина с этим примирится. Я буду здесь, в этом дворце, дожидаться появления той, с кем мне суждено разделить трон; а коли станут донимать меня уговорами, я сей же час покину пределы Астракана и отправлюсь искать ее по бе-

лу свету. Признаться, меня удивляет, как можете вы высказываться против моих намерений после того, как сами же им так сочувствовали.

У воспитателя в самом деле рыльце было в пушку, и сей мягкий упрек заставил его уразуметь, что ремесло льстеца чревато большими неудобствами. Видя, что дальнейшие увещевания бесполезны, весьма сим пристыженный, он возвратился к королеве и объявил ей о намерениях принца. Как горько каялась она теперь, что доселе потворствовала нелепому его воспитанию. Но было уже поздно. Обвиняя во всем лишь одну себя, она впала в горькую тоску и горевала так безутешно, что это сократило ее дни. Сын весьма был огорчен ее кончиною, однако от намерений своих не отступился. Вскоре он принял бразды правления и стал царствовать под именем Халилбад-хана.

О своем восшествии на престол новый государь известил союзников и соседей, и прежде всего отца Беллазиры. Однако ни словом не обмолвился он в своем послании к кандахарскому королю и любезной его дочери о ранее предполагавшемся брачном союзе. Правда, это могло объясняться глубокой печалью, коей оно было проникнуто. Однако шли дни, а Халилбад не только не продол-

жал начатых переговоров, но, уже не опасаясь отныне ничьих укоризн, пуще прежнего предался мыслям о фантастической своей женитьбе. Но, чтобы жениться на фее, надобно сначала ее найти. И это первое же препятствие не так-то легко было преодолеть.

Он принялся шататься по лесам, нарочно стараясь заблудиться во время охоты, но этим лишь доводил себя до полного изнеможения. В глубине пещер порой встречались ему дикие звери и ядовитые гады, и эти приключения приучали его терпеливо сносить всяческие испытания, закалять свою волю и проверять свое мужество. Наконец он устал безуспешно скитаться окрест в поисках фей, подвергаясь постоянным опасностям. Услышав однажды, будто сии создания — охотницы до всякого рода ароматов, он устроил в одном из отдаленных покоев своего дворца роскошный алтарь из цветов, принялся жечь на нем благовонные зелья, что привозятся из Индии и Аравии, и в сем причудливом уединении стал проводить все свое время. Однако поднимающиеся ввысь курящиеся во славу фей благовония лишь мутили его рассудок, нимало не оправдывая его ожиданий. Но однажды под окнами сей волшебной лаборатории разыгралась

сцена, которая привлекла его внимание и вновь возродила его надежды. Окна эти выходили в переулок, как раз напротив них находился навес, и под ним укрылись от дождя две покрытые лохмотьями старухи, которые, сидя друг против дружки на двух больших камнях, лущили бобы. Старухи узнали стоявшего у окна Халилбад-хана и заметили, что он внимательно смотрит на них. Как и весь народ, они были наслышаны о том, что их властитель помешался на феях.

— Глянь-ка, — молвила Конкрелада Мофетузе (таковы были имена старух), — видишь, как смотрит на нас король? А что, если он вдруг принял бы нас за фей, вот была бы потеха! Знаешь что, давай-ка устроим ему сейчас здесь чудодейство — не один день будет потом себе голову ломать!

Согни два последних пальца левой руки и подсунь под большой палец, а два других вытяни и поднеси к губам.

Закрой глаза.

Правую руку поверни ладонью вверх и протяни ко мне.

Как только я подниму палец, ты сразу вскочи, остановись передо мной, а руки опусти. Потом встану я, а ты присядь передо мной на корточки, руки сложи и протяни ко мне. Я выдерну из на-

шей корзины прутик и будто свяжу их.

Дунь на него три раза, я незаметно прутик развяжу, он упадет наземь.

Выйди на середину переулка и кинь наземь три пригоршни бобовой шелухи — одну вперед, вторую вправо, третью влево. Я сделаю то же — кину три пригоршни бобов.

Покружись сначала справа налево, потом слева направо. Я сделаю то же.

Потом мы с тобой поцелуемся, возьмем с двух сторон корзину за ручки и пойдем с ней прочь.

Только делать все это надобно быстро, ловко и не глядя в сторону окна. Ежели нашему властителю угодно будет в это время наблюдать за нами, кто знает, может, нам будет от этого какая выгода?

Старухи разыграли всю сцену в точности как было задумано, со всеми повадками взаправдашних колдуний. Затаив дыхание, следил Халилбад за каждым их движением. Проказливые лицедейки давно уже исчезли, а он все стоял у окна, не сводя глаз с того места, где только что их видел, предаваясь размышлениям и теряясь в догадках.

«Ты счастливец, Халил, — говорил он себе, — наконец-то феи удостоили тебя чести и явились тебе. Не смотри, что они так безобразны, так

скверно одеты, — все это обманчиво. То, что они только что проделали на твоих глазах в этом своем уродливом обличье, исполнено глубокого смысла. Зачем не приказал ты пойти за ними и выследить их? Но нет, они бы тогда сразу исчезли и ты, не желая этого, сделал бы явным то, чему надлежит оставаться тайной между ними и тобой. Надобно вести себя сдержанно и скромно, чтобы заслужить их доверие. Может, они появятся здесь снова. Они подавали друг другу какие-то знаки. Что бы они могли означать? Не хотели ли феи дать тебе понять, как вести себя впредь? Не заключено ли в них обещание сладостных надежд, кои тебе позволено будет отныне питать?

Постой, давай-ка подумаем… два пальца, прижатые к губам, означают, как видно: „Сохраняй тайну“.

Рука, протянутая вперед, — „Будь осторожен“… Прутик, которым перевязывали руки, — некрепкие узы. Если трижды дунуть на них — узы разорвутся. Здесь есть глубокий смысл. Одна вставала, другая опускалась… ну, это-то просто: надобно друг другу уступать, каждый по очереди. Но что означают эти бобы и бобовая шелуха? Погоди, кажется, понимаю: „Предоставь мне своих врагов, я предоставлю тебе своих, не станем их

щадить“. Конечно, им следовало прибегнуть к эмблеме поблагороднее! Об этом надо бы еще подумать на досуге. Они кружились слева направо, потом справа налево, разошлись, сошлись, поцеловались. Кажется, догадываюсь: „У нас, у фей, есть свои заботы, у тебя свои, каждый пусть живет своей жизнью, нечего все время докучать друг другу. Расставшись на время, радостнее встретиться вновь“. Однако корзину они тащили вдвоем, держа ее с двух сторон, — это образ идеального сообщества, в коем бремя правления одинаково ложится на обоих. Да, если я правильно растолковал эти знаки, значит, тайна в моих руках!»

Целых три дня предавался Халилбад-хан своим размышлениям, нетерпеливо ожидая новых событий. На четвертый старухи появляются вновь, на этот раз в еще более отвратительных лохмотьях.

Одна из них (то была Конкрелада) опирается на раздвоенную сверху палку, другая идет рядом, приплясывая и щелкая у самых ее ушей кастаньетами; они садятся на те же самые камни. Конкрелада с силой всаживает палку в землю раздвоенным концом вниз, Мофетуза хочет вытащить ее оттуда, но Конкрелада вынимает из

кармана свисток, три раза пронзительно свистит, и палка остается в земле; так повторяется трижды. Вслед за этим, вероятно, последовали бы еще и другие цыганские штучки, ибо наши дамы явно принадлежали к сему почтенному племени, но тут Халилбад не выдерживает — он вне себя, эти загадочные поступки приводят его в отчаяние. Должен же он наконец понять, что все это значит. Поспешно покинув кабинет благоуханий, он зовет пажа и велит ему тотчас же спуститься в переулок и привести старух. Паж повинуется, меж тем как Халил возвращается к себе, чтобы возжечь новые благовония и привести в порядок цветы, украшающие алтарь.

Паж застает старух на том самом месте, которое указал ему Халилбад, и те без колебаний следуют за ним; их препровождают в тайный кабинет и захлопывают за ними дверь.

— Я знаю, кто вы, сударыни, — говорит Халилбад, почтительно склонившись перед ними, — несмотря на причудливый ваш маскарад, я вас узнал. Но зачем так упорно скрываете вы небесную свою красоту и вечную молодость под уродливой личиной старости? Взгляните на сей алтарь: каждый день возлагаю я на него свежие цветы в знак моего почтения к вам, в знак того,

что в жертву вам вместе со своим преданным сердцем я приношу могущество и богатство, коими судьбе угодно было наделить меня; и ежели не сочтете вы слишком дерзкими мои желания, если они не оскорбят вас, соблаговолите изъявить мне вашу волю прямо, не прибегая более к разным таинственным знакам; откройте же счастливому Халилу, что надобно ему делать, чтобы стать супругом вашим и обрести блаженство, коего он жаждет.

Тут заговорила Конкрелада.

— Ваше величество, — сказала она, — кабинет ваш очень красив, и пахнет здесь куда как хорошо. Мы видим, намерения у вас честные, и нам это по душе. Мы бы и не прочь явиться вам в истинном нашем обличье, это всем было бы только на руку, но нам не позволено общаться с людьми, не прибегая к некоторым мерам предосторожности. Прежде чем обрести право насладиться совершенствами, средоточие которых мы собою являем, человеку необходимо научиться преодолевать отвращение к той безобразной личине, под коей судьбе угодно было сокрыть от него истинное наше лицо. Представьте себе розу, чьим ароматом нельзя упиться, прежде чем не вырвешь с опасностью для жизни один за

другим все шипы, что ее защищают. Слушайте внимательно и запомните, что я скажу. Доселе мы оскорбляли собою лишь ваше зрение, наименее чувствительное из всех пяти чувств наших; а что, если бы мы возмутили все остальные? Вам еще повезло, что мы не явились в образе гремучих змей, драконов или гидр, — этим обязаны вы и своему усердию, и нашей доброте, и благосклонности нашей к вам. Но если вы жаждете блаженств, коими ни одному смертному не дано было еще насытиться до конца, — знайте, путь к ним лежит через самые страшные испытания, кои только можно вообразить и в коих надобно превозмогать отвращение.

— Ах, сударыня, — вскричал Халилбад, который пришел в совершенный восторг, слыша речи, столь соответствующие во всех отношениях понятиям, которым он дал забить себе голову, — наконец-то рассеивается туман таинственности, коим вам угодно было окружить себя! Мне уже смутно видятся ослепительно-прекрасные ваши черты, чье очарование сравнимо лишь с очарованием вашего ума, подсказавшего вам исполненные мудрости речи, кои я только что услышал от вас. Не сомневайтесь во мне, вера моя в вас столь велика, что никакое отвращение

не властно будет противостоять ей — вера преодолеет все.

— Должна признаться вам, государь, — отвечала Конкрелада, — что ежели мы, феи, бежим мужчин, то причина тому — их непостоянство и отсутствие мужества. Малейшее чувство отвращения уже оказывается для них непреодолимой преградой. А встречаются и такие чудаки, которые могут отказаться от удачно начатого предприятия из-за отсутствия помех. Ваши же чувства и склонности внушают нам доверие. Однако не скрою, подвергая вас подобному испытанию, мы и сами подвергаемся немалой опасности. Если не хватит у вас решимости и вы остановитесь на полпути, вам придется отказаться от всякой надежды. Вы навлечете на себя строжайшую кару, мы же навеки станем посмешищем Джинистана. Если только откроется, что мы имели дерзость предаться вам, нам запретят когда-либо приближаться к мужчинам, а вы сами понимаете, что значит для особ нашего пола подобный запрет. И тем не менее, государь, мы готовы отважиться на это — нас призывают к сему расположение звезд и, быть может, сердечная склонность. Через три дня с наступлением темноты мы явимся сюда вновь. Паж, что давеча приходил за нами, найдет

нас у дверей вашего дворца, выходящих в переулок, где мы явились вам впервые. Приготовьте здесь, в этом кабинете, брачное ложе. Никакого пышного убранства — роскошь мы презираем. Ничто не может быть нам милее, чем этот алтарь, украшенный свежими цветами, да курящиеся благовония. Прибавьте еще цветов и благовоний, не бойтесь, что их будет слишком много, — мы, феи, рождены средь ароматов. В самом низу вашей двери просверлите отверстие величиной с лесной орех. Мы обе по очереди просунем сквозь него свои мизинцы. Внимательно осмотрите каждый из них, выбирайте любой, вы тотчас же получите сердце и руку той, чей пальчик предпочтете. Приготовьте обручальное кольцо. Вложите в ларчик из черного дерева драгоценности и всякого рода безделушки, предназначенные в подарок вашей супруге, туда же вложите корону; она должна быть маленькой и вся усыпана бриллиантами. Других нам носить не положено. Свеча должна гореть лишь то время, какое понадобится вам на то, чтобы сделать свой выбор. А как только выберете, дуньте на пламя трижды, дабы оно вернее погасло. Ибо чародеи — народ хитрый, завистливый, и во избежание опасности необходима полнейшая темнота.

Король Астракана обещает выполнить все в точности. Цыганки уходят. Зажмурив глаза, втянув голову в плечи и заткнув себе нос, паж провожает их до выхода из дворца, дивясь в душе почтительному тону, которым его повелитель только что говорил с ними.

— Ну и наплела же ты ему чудес! — сказала Мофетуза Конкреладе, как только они отошли на такое расстояние, чтобы можно было говорить, не будучи услышанными.

— Ох, подружка! Ведь он поверил решительно всему, и я бы ему еще и не такого наплела, но главное ведь было половчее ввернуть насчет этого самого ларчика из черного дерева. Однако нам надо теперь действовать с оглядкой. Правда, меня обнадеживает то, что у нашего властителя, видимо, куда менее чувствительный нос, чем у его пажа. Да и то сказать, он до того начинен всякими благовониями, что никаких других запахов уже не чует. Но так как мы с тобой, как говорят на нашем подворье, отнюдь не пахнем розами, придется все же кое-что предпринять. В этом зловонии, на которое все так жалуются, более всего виновата наша одежда. А мы с тобой явимся в кабинет хорошенько вымытыми мылом и голышом, в одной рубашке, которую я выстираю

в можжевеловой воде, чтобы она была не только чистой, но еще и хорошо пахла.

— А откуда мы возьмем рубашку? — спросила Мофетуза. — У нас с тобой их всего две, и те рваные.

— Замолчи, — сказала Конкрелада, — у тебя нет ни капли соображения. Из двух рваных можно сшить одну целую, это-то проще простого. Скажи лучше, где взять такой палец, чтобы можно было просунуть его сквозь дырку? Твой, что ли? Так он весь покрыт коростой, да еще шелушится вдобавок, как и вся твоя рука. А глянь-ка на мой; я его берегу, потому что им щиплю струны гитары. Сейчас отгрызу ноготь и сделаю более субтильным — капельку белил, капельку румян, и получится такой пальчик, что впору будет соблазнить им самого императора. Как взглянет Халил на этот очаровательный мизинчик, он ни на какой другой и смотреть не захочет. Ну, а на худой конец можно будет быстренько слизать с него немного краски и просунуть второй раз. Ты только мне не завидуй, дело ведь это рискованное. А вот коли удастся мне заполучить этот ларчик, мы все с тобой поделим; и корону тоже разделим пополам.

Мофетуза согласилась уступить первую роль

подруге, отдавая должное ее таланту, и цыганки дружно взялись за приготовления.

Прошли три дня, которые королю Астракана показались за три года. И вот наступает долгожданный час. Халилбад возлагает на алтарь вдвое больше цветов против прежнего, сжигает вдвое больше благовонных зелий. Спускается ночь, и паж докладывает, что явились те женщины, которым король назначил прийти — должно быть, для того, чтобы предсказать ему счастье.

— Предсказать?! — восклицает Халилбад. — Ты ошибаешься, Янко, они пришли дать мне его! Веди их скорее сюда, к этой двери, а сам уходи, ты ничего не должен видеть. Ступай и помни, от твоего повиновения зависит твоя судьба, да и сама жизнь.

Паж беспрекословно отправляется исполнять приказ.

И вот старухи приведены к дверям кабинета и троекратно тихо стучат в знак того, что они здесь. На их стук Халилбад отвечает тоже тремя негромкими четкими ударами.

— Здесь ли вы, государь? — медленно и тихо вопрошает чей-то голос.

— Да, да, я здесь, прекрасные феи, — отзывается Халилбад с радостным волнением.

— Теперь смотрите внимательно, — говорит голос за дверью, — сейчас мизинец просунется в дырочку. «А ну-ка, полезай, полезай, мой мизинчик!»

И палец в три приема проскальзывает в отверстие. Король Астракана бросается наземь ничком, чтобы как следует рассмотреть то, что виднеется в дыре, проделанной внизу двери, и с восхищением видит белоснежный пальчик с розовым ноготком, до того искусно набеленный и отлакированный, что кажется ожившим фарфором. Очарованный, обмирая от восторга, готовый просто проглотить это маленькое чудо, он хочет покрыть его поцелуями, но пальчик расположен так низко, что ему едва удается дотронуться до него носом.

— Ну как, довольны вы? — нежно спрашивает его голос по ту сторону двери.

— О, я счастлив! — отзывается голос изнутри.

— Ну что ж, государь, если вы жаждете вкусить блаженства, надобно теперь умертвить, умертвить, поскорее умертвить светильник.

— Умри, умри, умри, светильник! — послушно закричал Халилбад, задувая свечу, изо всех сил стараясь показать в этой первой же своей беседе с феями, что он способен объясняться на их языке.

— Открой же дверь, Халил, — слышит он голос, полный страсти. —

Дрогодан на охоте,
Уступите плоти —
И обретете…

Халилбад распахивает дверь, наталкивается в темноте на женщину в одной рубашке, словно пушинку — настолько она ничего не весит — поднимает ее на руки, и старуха, оказавшись в воздухе, так и не успевает закончить последней рифмы.

Чрезмерное любовное усердие до поры до времени способно затуманить разум: в юности легко поддаешься всякого рода обманам чувств; однако рано или поздно неизбежно наступает отрезвление. Халил вскоре вновь обретает способность рассуждать, и ему невольно приходят пренеприятные мысли. Какой же руке может принадлежать тот очаровательный пальчик, один вид которого был причиной столь сладостных восторгов? Он хватает одну из них, ту самую, которая в эту минуту шарит по подушке, стараясь нащупать ларчик.

— Что вы это делаете?

— Я, — отвечает смущенный голос, — хотела

проверить, выполнено ли наше условие.

— А вот уж это, — пробормотал Халил сквозь зубы, — мне совсем не нравится, да и не только это.

Заметим, что вокруг старухи, которая начала опасаться неприятной развязки, постепенно стала распространяться такая вонь, что никакой можжевельник не мог уже ее заглушить.

— О, небо! Что за мерзкое зловоние! — вскричал Халил. — Нет, это становится нестерпимым! Уж не подшутили ли надо мною феи? Или старые ведьмы вздумали дурачить меня? Или я обманулся? Нет, я должен посмотреть!

С этими словами он соскакивает со своего брачного ложа. Обещав принять свою даму в полной темноте, он слово свое сдержал, но все же, хоть и не собирался предаваться любовным утехам при ярком свете, на всякий случай припас и запрятал под большой китайской вазой зажженную лампу о трех фитилях. И вот он приподнимает вазу, и взору его представляется наимерзейшее зрелище, какое только можно себе вообразить. Он видит застывшую, совсем сомлевшую от страха старуху и вцепившуюся в ларчик тощую ее руку с набеленным, налакированным мизинцем. Между тем вонь вокруг сего смердящего, почти

бесчувственного тела все сгущается.

— О гнусное чудовище! — восклицает Халил. — Вовсе ты не фея, а подтирка Дагжиаля! — И он кидается к окну, распахивает его, словно перышко подхватывает с постели старуху и выбрасывает ее за окно. Та только и успела два раза слабо пискнуть.

Избавясь от сей омерзительной ноши, Халил выходит из своего кабинета, содрогаясь от вони, от отвращения, от воспоминаний о своем любовном приключении, и ложится на оттоманку в соседней комнате, чтобы попытаться отдохнуть. На его счастье, ему так мало пришлось спать все предыдущие ночи, занятые странными приготовлениями, которые он никому не мог бы доверить, что усталость тут же взяла верх над досадой и погрузила его в глубокий сон.

Поделом была бы вору и мука. Старухе предстояло шлепнуться с высоты тридцати футов на весьма каменистую почву. Но судьба, как видно, находит особое удовольствие в том, что удерживает в воздухе подобные создания и не дает им окончательно свернуть себе шею. Ей оставалось всего шестнадцать футов до земли, о которую ей неминуемо предстояло разбиться, как вдруг ветка дерева, за которую зацепилась ее рубашка,

остановила ее полет вниз. И вот она повисает на оной ветке, сохраняя при этом некое равновесие таким образом, что со стороны кажется, будто она парит в воздухе. Дул как раз сильный, порывистый ветер, заставляя дерево то и дело сотрясаться, и жалостный сей скелет, послушный всем порывам ветра, являл собой самое страшное пугало, которое только может придумать человек для защиты огорода от птиц.

Иной раз в треволнениях природы таится некая целесообразность, недоступная нашему разуму. Тот самый порывистый ветер, что раскачивал нашу старуху на ветке, в это самое время со всей поспешностью нес на своих крыльях из глубин Персии в сторону Астракана двух фей, которые только что похитили единственного сына некоего грузинского и имеретинского царя, спасая ребенка от меча убийц, перед этим злодейски уложивших и отца его, и всю его родню. Дитя отправилось в путь, не успев позавтракать, а у фей не было с собой даже коробочки конфет.

Старшая из фей, по имени Шеридана, и говорит своей сестре:

— Давай-ка остановимся в этой стране. В саду, что примыкает к дворцу астраканского властителя, есть, помнится, грушевое дерево, на котором

растут великолепные груши. Они, должно быть, уже созрели, и мы сможем подкрепить ими нашего мальчика.

И по ее повелению несшее их облако опускается и останавливается у самой ограды сада. Феи обладают превосходным зрением — и днем, и ночью видят они издалека и не нуждаются в зрительной трубе.

— Что там такое виднеется? — говорит Шеридана. — Вижу какой-то призрак, который бродит вокруг грушевого дерева. Не то он собирается сломать его, не то похитить с него все плоды. Впрочем, нет, он вовсе не бродит вокруг. Он то подходит, то отходит и при этом не поднимается вверх и не опускается вниз. Что-то здесь нечисто. Остановимся и заглянем в нашу книгу.

Дамы открывают свою книгу и узнают из нее всю историю с королем Астракана. Уже давно доходили до них слухи о предмете его помешательства, и сие вызывало у них сострадание.

— Нужно, — решают они, — убить разом трех зайцев. Халилбад-хан, не будь у него этого недостатка, мог бы составить счастье своего народа. Надо преподать ему урок, пусть поймет, что не годится так слепо верить всему, что говорится в сказках. Ради того, чтобы жениться на одной из

нас, которой он был бы без всякой надобности, он отвергает руку прелестной принцессы. Давай прежде всего женим его на ней, а затем отдадим новоиспеченным супругам нашего маленького грузинского царевича, тем самым обеспечив ему надежную защиту и добрых наставников. А пока позабавимся немного — сыграем веселую шутку над Халилбадом, а главное — над старухой. Придется нам ради этого совершить путешествие еще и в Кандахар, но это не так уж трудно.

Приняв сие решение, наши дамы тут же берутся за дело и проводят в хлопотах всю ночь.

Наступил рассвет. Первые лучи солнца заскользили по лицу спящего Халилбада, он проснулся, и сразу же в памяти его всплывает отвратительная сцена с мерзкой старухой. От этого воспоминания кровь бросается ему в голову и тошнота подступает к горлу. Но тут ему приходит на ум, что он совершил убийство, у него нет никаких сомнений в том, что старуха разбилась насмерть; и если ему и невозможно избежать чувства невольного раскаяния за этот недостойный его поступок, необходимо по крайней мере скорее уничтожить его следы, дабы столь позорно окончившееся любовное приключение не стало достоянием молвы. Весь дрожа, он подходит к окошку, через которое

давеча выбросил старуху вон, и смотрит вниз. Можете судить о его изумлении, когда вместо трупа, который он ожидал там увидеть, глазам его предстает раскинувшийся меж ветвей грушевого дерева роскошный шатер из белого бархата. Страусовые перья украшают его верхушку, тяжелые золотые кисти свисают на перевитых золотыми нитями крученых шелковых шнурах над его входом, нити из этого благородного металла сверкают на наружных стенах сего волшебного сооружения. Он устремляется в сад и, откинув занавеси шатра, внутреннее убранство которого оказывается еще великолепнее внешнего, видит перед собой спящую красавицу, прелестью своей превосходящую всех, кого доводилось ему доселе видеть. Не помня себя, бросается он к ногам дивного создания. И тут только вспоминает слова, сказанные ему старухой, когда она предостерегала его от неизбежного обмана чувств.

— О несчастнейший Халил! — восклицает он. — Тебе уготовано было счастье, а ты оказался недостойным его. Ты не сумел побороть минуты отвращения. Если и было оно нестерпимым, то ведь оно недолго бы длилось. Она оставила на ложе твоем остатки тленной своей оболочки, дабы тут же возродиться богиней, а

ты в слепоте своей, в безумии ярости выбросил в окно прекраснейшее из творений небес, коим тебе предстояло наслаждаться. Откройте глаза, оскорбленная мною красавица, — взывает он, обращаясь к спящей, — услышьте мои рыдания, внемлите отчаянной мольбе несчастного Халила, он кровью своей готов искупить нанесенное вам оскорбление.

На вопли Халилбада со всех концов сада начинают сбегаться работавшие в разных его концах садовники. Они не могут уразуметь, для какой цели и каким образом удалось их властителю в течение одной ночи воздвигнуть такой роскошный шатер, почему испускает он столь горестные стенания и откуда взялась прекрасная дама, к которой обращает он свои пени. Но ничего не может сравниться с тем изумлением, в котором пребывает только что проснувшаяся Конкрелада, ибо это ее обнесли феи роскошным шатром и наделили самым ослепительно-прекрасным обличьем, когда-либо выходившим из сокровищницы богини Красоты и из вод источника молодости.

В изумлении разглядывала старуха свои руки, ощупывала груди, по коим спускались белокурые кудри, блеском своим соперничающие с блес-

ком алмазов. Обозревая себя таким образом, она вдруг замечает висящее на ее поясе зеркальце в оправе из сапфировых камней, смотрится в него и видит в нем дивную красавицу. Она хочет обернуться, думая позади себя увидеть ту, кого отражает зеркало, но вдруг замечает, что прекрасная незнакомка в точности повторяет те самые движения ртом и глазами, которые делает она сама. Потеряв от неожиданности всякое соображение, став настолько же глупой, насколько она стала красивой, Конкрелада не в состоянии еще обратить себе на пользу мольбы и клятвы, кои изливает у ног ее Халилбад.

Меж тем дворец наполнился толпой подданных, прослышавших о свершившемся чуде. Паж успел рассказать всем, кто только соглашался его слушать, удивительную историю о двух старухах, из коих одна, отвратительная до тошноты, проникла во дворец и проснулась утром прекраснее самой богини любви в белом бархатном шатре, расшитом золотом.

Мофетуза всю ночь пробродила вокруг дворца, со страхом ожидая, что подругу ее еще до зари вытолкают оттуда взашей, и готовая в случае неприятности сразу же пуститься наутек.

— Ишь ты, — говорила себе цыганка, — коли

дьявол сумел обделать все это для Конкрелады, почему бы ему не потрудиться и для меня? Чем я хуже ее? Конечно, у меня никогда и в мыслях не было стать приличной дамой, но зачем же отказываться от того, что само в руки плывет? Посмотрим, хватит ли у нее смекалки воспользоваться этим, и не позабудет ли она про ларчик, занявшись прикрасами да нарядами.

Бормоча все это себе под нос, она подходит к дворцовому саду.

Конкрелада тем временем, хотя по-прежнему ровно ничего не понимает в своем чудесном превращении, понемногу начинает осваиваться и, решив наконец извлечь в этих обстоятельствах пользу для себя, протягивает руку Халилбаду, который умоляюще предлагает ей свою, дабы вести ее в трапезную, где уже накрыты праздничные столы, и оттуда им предстоит проследовать в тронный зал. Каждое ее движение исполнено теперь грации, которой она никогда прежде за собой не замечала, почти все кругом, в том числе и она сама, кажется ей странным и чуждым, и тут она вдруг замечает Мофетузу, которая изо всех сил расталкивает толпу, показывая знаками, что должна поговорить с ней. Паж тоже заметил старуху и громко закричал:

— Посторонитесь, дайте пройти, дорогу, дайте дорогу! Смотрите, это они — вот одна, а вон там другая!

Тут все посторонились, уступая ей дорогу, но не ради послушания, а из чувства почтения, которое иной раз действует вернее, чем приказ. А в то утро и королевский двор, и весь город взирал на эти грязные отрепья более почтительно, чем если бы то была королевская мантия. Заметив пробирающуюся к ней Мофетузу, Конкрелада невольно остановилась. Ей сразу же пришла в голову одна мысль. Дело в том, что Мофетуза — может быть, без всяких на то оснований — слыла колдуньей. Конкрелада никогда не отваживалась спросить об этом подругу прямо, боясь вызвать ее гнев, а тем самым стать жертвой каких-либо злых чар. А что, если это Мофетуза, вдруг раздобрившись, сотворила с ней чудо? Если так, опасно, пожалуй, избегать ее, лучше уж объясниться начистоту. Надо посмотреть что и как, ну, а ежели окажется, что Мофетуза здесь ни при чем, и, значит, она у нее не в долгу, всегда найдется способ отделаться от нее.

Придя к такому решению, омоложенная старуха оставляет короля и, взяв за руку старую цыганку, говорит ему:

— Государь, мне надобно ненадолго вернуться в шатер, чтобы сказать своей подруге два слова наедине.

— И подруга ваша, и вы сами, сударыня, полноправные хозяйки в моем дворце, — молвит в ответ Халилбад; говоря так, он схватывает обвислый клок рубища, в которое была одета Мофетуза, прижимается к нему губами и удаляется.

— Да неужто это в самом деле ты? — вскричала Мофетуза, как только они остались одни. — До чего же ты стала красивая!

— Да ладно тебе, — ответила та, — разве не ты этого захотела? А ну-ка скажи!

— Что мне тебе сказать! Раз уж сам дьявол захотел, с чего бы мне быть против? Скажи-ка мне лучше, как все это получилось?

— Как получилось? — отвечала хитроумная Конкрелада. — Ты, выходит, и знать ничего не знала? А я полагала, что одна-то часть моего приключения тебе известна. Ну ладно, расскажу.

Вошла я, значит, к государю, вначале он был полон страсти, и все сошло как нельзя лучше. Потом я стала впотьмах шарить по подушке, чтобы взять ларчик, да и убраться восвояси: береженого бог бережет — долго там гостить я не собиралась. А он и схвати меня за руку, да как

вдруг осерчает. Я напугалась, а ты ведь знаешь, стоит мне напугаться, как со мной сразу же случается конфуз. Государь тут выскочил из постели, поднял светильник, который был у него запрятан под каким-то большим горшком, и увидел меня в этаком зазорном виде; он пришел в бешенство, схватил меня и, словно мячик, выбросил в окошко. На свое счастье, я упала в сад, на большую кучу навоза, приготовленного для грядок. Была я почти голая, ночью холодно — я и залезла в навоз по самое горло, да еще сверху прикрылась толстым слоем, и начала кликать Балабакра.

— Это что еще за Балабакр такой? — спросила Мофетуза.

— А это, — ответила Конкрелада, — один добрый колдунчик, которого моя мать советовала вызывать, если мне солоно придется. Ну вот, кличу я, значит, Балабакра. Тот является и спрашивает: «Чего ты хочешь?» А я в ответ: «Красоты, молодости, богатства». — «Только и всего? — говорит он. — Черт побери, ведь все это в конце концов превращается в то самое, в чем ты сейчас сидишь. Но так и быть, ты их получишь. Только сиди тихонько в своем навозе, не высовывайся. Ты у меня там прорастешь, зазеленеешь, расцветешь, что твой розовый куст». — «Ладно, посижу,

это проще простого», — ответила я, сжалась в комочек и постаралась поглубже погрузиться в навозную жижу. А Балабакр ходил вокруг меня и что-то приговаривал на своей тарабарщине. «Терпенье, терпенье! — кричал он мне иногда. —

То, что смердит,
Счастье сулит».

А чтобы наградить меня за мое долготерпение, он возводил этот вот красивый шатер, и это еще самое малое его благодеяние. Время от времени он приходил поглядеть, насколько я еще помолодела, и всякий раз наваливал на меня сверху новый слой навоза, но тем, кто спит с государями, в голову лезет всякая блажь. Вот и мне вдруг страсть как захотелось запаха цветов и благовонных зелий, который я вдыхала ночью. И стало мне невтерпеж, я возьми и выскочи из навоза. Прибегает Балабакр вне себя от гнева. «Дура ты дура! — кричит мне. — Ты же могла досидеть там до двенадцатилетней. А теперь из-за своего нетерпения у тебя пропало целых шесть лет. Уж лучше бы ты у меня там задохнулась. Постарайся теперь хоть выгадать на остальном. До чего вы, женщины, нетерпеливые!» И он берет меня за руку и приводит к оттоманке, той самой, на

которой мы сейчас сидим. «Засни, засни, голубка, — говорит он мне, — спи, покуда не проснулся еще твой суженый…»

— Постой, так тебе, выходит, только восемнадцать лет? — сказала Мофетуза. — А куда же подевались остальные шестьдесят?

— А их Балабакр забрал себе, — ответила Конкрелада, — он продаст их тем, кто торопится жить.

— Как же, найдет он дурака покупать подобный товар, — сказала Мофетуза. — Но ведь это просто чудо, то, что ты рассказала. И для этого ничего не потребовалось, кроме навоза? А ведь в нашем подворье есть прекрасная навозная куча.

— Увы, — сказала Конкрелада, — надо было мне оказаться выброшенной из окошка, чтобы уразуметь великое значение навоза. Наши глаза и носы, дорогая моя, в сущности, вводят нас в заблуждение. Да, не будь навоза, земля давно стала бы бесплодной старухой, какой еще вчера была я. Но каждый, что ни день, наваливает на нее все новые и новые кучи, и в этом-то, поверь мне, и кроется тайна бесконечного обновления листьев, цветов и плодов. Так что ступай-ка ты, любезная моя Мофетуза, ступай на наше подворье и залезай поглубже в навозную жижу, только

помни — вытащить оттуда сможет тебя один только Балабакр.

— Но, — отвечала Мофетуза, — я же не знаю этого твоего Балабакра!

— Вот тебе мой волос, — сказала Конкрелада, — сплети себе из него ожерелье. Волосы я получила от него, так что стоит только его позвать, он уже будет тут как тут. Когда от запаха навоза все помутится у тебя в голове или ты почувствуешь, что тебя сейчас вырвет, ты крикни погромче: «Ба-ла-бакр!» Повторяй это три раза через равные промежутки времени. Если он не появится, ты подожди четверть часа и снова зови; и так три раза. Тут уж явится непременно. А как явится, так сразу спросит: «Чего ты хочешь?» Ты отвечай ему, как я: «Молодости, красоты, богатства». На это он тебе скажет: «А мне что за это будет?» Тут ты скорей сорви с мизинца своей правой ноги кусочек ногтя и дай ему. Он в восторге будет от этого подарка и не медля возьмется за дело. Только не давай ему разгуляться, а не то он превратит тебя в младенца и станет носить на руках. Смотри веди себя разумно, постарайся выпрыгнуть этак тринадцатилетней или четырнадцатилетней. Тогда я возьму тебя в племянницы и выдам замуж за татарского хана. Но торопись, нынче

меня коронуют, и я завтра же хочу представить ко двору мою племянницу Эльмазину. Надо, чтоб у этих людей времени не было разобраться в наших хитростях. Не будем же терять ни минуты. Так что торопись, дорогая моя Мофетуза, беги и смело погружайся в навозную жижу по самую макушку. Незачем откладывать на ночь то, что можно сделать еще днем.

Убежденная этими доводами, старуха бегом пускается к своему подворью.

— Беги себе, беги, — бормотала Конкрелада, провожая ее глазами, — да знай я только, что ты такая дура, я бы не испугалась, а сделала вид, будто сроду тебя и не видела, и обошлась бы с тобой, как ты того стоишь. Ну, да сделанного не воротишь. Беги себе и вместе с собой утопи в навозной жиже ту правду, какую ты про меня знаешь и тайну нашего с тобой былого союза.

Спровадив Мофетузу, Конкрелада, почувствовав себя увереннее (теперь ей уже нечего было опасаться того, что та проболтается, будь то по неосторожности, по нескромности или из зависти), вышла из шатра, величественно подала руку Халилбад-хану, и они направились в пиршественный зал.

Впереди них шли королевские музыканты,

позади — многочисленная свита, что придавало сему шествию особую торжественность, которую временами нарушали лишь возгласы сбежавшейся толпы любопытных, коих с трудом удавалось сдерживать.

Пока торжественный кортеж медленно следует через дворы и дворцовые покои, уделим немного внимания старухе, которая в эти минуты спешит со всех ног к своему подворью, думая найти там источник молодости.

Нетерпеливое желание поскорее вступить в сношение с Балабакром придает ей крылья. Немало любопытного услышал бы тот, кто вздумал бы незаметно пойти за ней; она говорит сама с собой громко, странными, отрывистыми фразами: «Уж эта мне Конкрелада… хитра как бес… весь род у нее таков… колдуньи… Столько лет прожить рядом, ни словом ведь не обмолвилась, а тут вдруг на тебе — Балабакр… А не навоняй она, так и осталась бы старухой! Подумать только, откуда счастье привалило — ее выбрасывают в окошко, она падает в навоз, и вот вдруг — Балабакр! Балабакр! Не забыть бы это имя! Балабакр, душечка, добрый мой колдунчик, только ты не испугай меня! Ты дашь мне красоту, молодость, богатство, а если тебе нужны огрызки ногтей,

получишь их столько, сколько душеньке твоей будет угодно, я ведь отродясь их не обрезала. А коли тебе надобны мои годы, бери их хоть все, сбывай кому хочешь, обратно не возьму, даже минуты одной не возьму. Вылезу, как из чрева матери… Ну давай, Мофетуза, поторапливайся, это же просто чудо что такое — увидеть себя молоденькой да красивой. Скорей же, скорей, в навозную кучу, к Балабакру!..»

Тем временем королевское шествие достигло наконец пиршественного зала, где накрыты уже были столы. Конкрелада и король уже приготовились взойти на предназначенное для них возвышение под роскошным балдахином, но тут дворцовые слуги объявили о прибытии неожиданных гостей, и Халилбад поспешил им навстречу.

Появляются три дамы, с покрытыми лицами… Две из них, в великолепных нарядах, ведут за руку третью; та одета более скромно, вся в белом. Голову ее обвивает гирлянда цветов, ниспадавшая ей на плечи и грудь. Одна из дам держит за руку ребенка лет шести, с открытым личиком, прелестного, словно амур. Дворцовые пииты немедленно провозглашают, что это-де грации и бог любви, явившиеся украсить собой королев-

ское празднество. Король ничуть не удивился их появлению, объясняя его на свой лад и видя в нем счастливое предзнаменование. Конкрелада же, сама не зная почему, посматривала на них косо.

— Давайте же скорей садиться за стол, государь, я помираю с голоду. А эти дамы между тем поведают вам, что их сюда привело.

— Нет, сударыня, — отвечает Халилбад, — я выказал бы себя невежей перед вами и вашими сестрами-феями, прибывшими, как видно, на мое свадебное торжество, если бы не оказал им достойного их приема. И вкушать пищу они будут рядом с нами, под балдахином.

Сказав так, он приближается к вновь прибывшим и произносит им хвалебное слово, хоть и очень нескладное, но самое справедливое из всех, кои ему когда-либо в жизни случалось произносить, ибо никто не заслужил его до такой степени, как те, к кому было оно обращено.

— Государь, — молвила старшая из трех дам, — мы и в самом деле явились сюда, чтобы присутствовать на торжестве, которое доставит нам большое удовольствие, но не раньше, чем изменится его повод; когда позволено нам будет открыть вам, кто мы такие, вы поблагодарите нас за то, что мы вовремя явились.

— Но кто же может не позволить вам этого, сударыня? Разве не уверены вы заранее, что победите все сердца? Или сомневаетесь в том, что вам будут оказаны все те почести, коих вы достойны?

— Мы, государь, — отвечала дама, — не охотницы участвовать в игре с неравным партнером. Мы откроем вам, кто мы, но лишь после того, как присутствующая здесь особа, которая тщится выдать себя за ту, кем она не является, скинет свою маску. Ничего другого ей не остается.

Все присутствующие начали искать глазами упомянутую ею маску, но никто не увидел ее. Одна лишь Конкрелада, видимо, смутно что-то почувствовав, невольно сделала движение, словно намереваясь уйти.

— Не уходите же, сударыня, — сказала ей дама под покрывалом, только что державшая речь, — ваше присутствие здесь крайне необходимо; ведь никто не знает вас в этом дворце, где вы собрались играть главную роль. Откройте же нам, кто вы такая, без всяких уверток и уловок, а если в том, что произошло с вами, есть нечто вам непонятное, мы сможем вам это объяснить. Только не увиливайте, говорите правду.

Изворотливость ума и даже хитрость не мо-

гут в сложных обстоятельствах заменить собой благоразумие, которое одно только способно подсказывать верные поступки. Природные свойства Конкрелады усугублялись еще ее образом жизни, безрассудство и неистовство составляли ее характер. И тут-то он вырвался наружу. Глаза ее засверкали, щеки побагровели, рот искривился, прекрасные ее кудри вдруг встали дыбом и зашевелились, напоминая шипящих змей на голове какой-нибудь фурии.

— Не знаю, — сказала она даме под покрывалом, — о какой маске вы здесь толкуете. Кроме вас самих, никого в масках здесь нет; и, поскольку я хозяйка здесь, приказываю вам немедленно убираться вон, не то я велю выставить вас силой.

— Не слишком ли самоуверенный тон для никем еще не признанной королевы? Не слишком ли грубые, неучтивые речи в устах особы, на вид столь молодой и прекрасной? — отозвалась дама под покрывалом. — Сядьте, — прибавила она, — сядьте, вы, королева на полчаса, увидим сейчас, кто вы такая.

При этих словах Конкрелада, словно вдруг оцепенев и повинуясь некоей невидимой силе, послушно опускается на скамью.

Дама под покрывалом вытаскивает из своего

рукава палочку и, трижды ударив ею об пол, громко говорит:

Раз, два, три, раз, два, три, поприбавьте прыти,

Самого злющего пред меня явите.

И в то же мгновение красно-белый узор, находившийся в самом центре турецкого ковра, которым был устлан пиршественный зал, с грохотом отскакивает, подобно отпускной дверце люка, и из образовавшегося отверстия выходит отвратительный гном — маленький, рогатый, с гноящимися глазками, весь заросший волосами и совсем голый, с одной грязной тряпицей, перепоясывающей его чресла.

— А, это ты, Рудугун? Откуда явился? Отвечай!

— Из озера, где все черно,

Где утру мраком быть дано.

— Где твой хозяин?

— Схватил хозяина недуг.

Сломал у туфли он каблук.

— Каким живешь ты ремеслом?

— Добра не зная, только злом,

И все пускаю я на слом.

— В таком случае будешь сегодня служить мне! А ну-ка живее, раздень-ка да снова одень эту принцессу — и пусть отправляется спать в другое место!

Рудугун стаскивает с себя грязную тряпицу, расстилает ее на полу и опрометью бросается на окаменевшую Конкреладу:

— Слезай-ка, грушенька, с высот —
Другая там, в навозе, ждет.

В мгновение ока, на глазах у всех, он принимается одной рукой срывать, а другой кидать в кучу на тряпицу волосы, зубы, груди, бедра — все вперемешку. Кожа сдирается под его ногтями, как сдирается рыбья кожа под ножом голландца, и тут же сворачивается в трубочку, словно ее поджаривают.

Через несколько минут разоблаченная таким образом и вновь облаченная в старое тряпье Конкрелада являет собой зрелище столь же отталкивающее, сколь притягательным было то, что представляла она собой в шатре. И тогда невидимая сила, сковывавшая доселе ее члены, внезапно отпускает ее, и она, стремительно вскочив, бросается вон, стремглав проносится через покои и дворы, выбегает из дворца, сопровож-

даемая презрительными возгласами, и мчится по улицам; за ней с лаем несутся собаки, словно спущенные с цепи каким-нибудь злым духом. Вот какой кортеж провожает ее до самой навозной кучи, где почтенная ее подруга уже совсем готова испустить дух от невыносимого зловония.

Заслышав торопливый бег Конкрелады, Мофетуза, обманутая шумом, решает, что это наконец-то спешит ей на помощь долгожданный и столь долго призываемый ею колдун, и, высунув голову из-под нечистот, кричит:

— Скорей! Скорей сюда, Балабакр! Я задыхаюсь!

Оставим обеих старух объясняться друг с другом посреди навоза. Они здесь в родной стихии. Более привлекательные герои, нежели жалкие, лживые эти создания, призывают нас ко двору астраканского короля.

Взвалив себе на спину узел, Рудугун исчезает через то самое отверстие, откуда появился. Узор захлопывается, ковер принимает прежний свой вид, и уже невозможно обнаружить на нем ни единого шва. Тогда дама под покрывалом обращается к Халилбаду, который стоит словно вкопанный, пораженный до глубины души сценой, свидетелем которой пришлось ему стать.

— Теперь вы видите, государь, с какой омерзительной тварью чуть было не связали вы судьбу вашу. Однако не хочу скрывать от вас: не она виновна в этом последнем обмане чувств, жертвой коего вы едва не стали.

И тут она открывает ему тайну чудесного преображения, которое они затеяли, дабы показать ему, к чему может привести столь непомерная жажда чудес, и тем самым умерить приверженность его к оным.

— Ведь легко могло статься, государь, — продолжала она, — что воспользоваться вашим повсеместно известным желанием жениться только на фее пришло бы в голову особе менее невежественной и куда более коварной, нежели Конкрелада, и ей удалось бы поймать вас в сети столь же притягательные, но более искусно сплетенные. Обезопасьте себя от подобной беды — женитесь. Этого требуют как собственные ваши интересы, так и интересы государства вашего. Но жениться надобно на равной; довольно стремиться к несбыточному. Я фея и только что доказала вам это. В том, что мы существуем, нет никаких сомнений. Но во всем том, что о нас пишут и говорят, нет ни слова правды, а потому вы не могли составить себе верное представле-

ние о нашей природе. Если бы даже — допустим невозможное — какая-нибудь из нас решилась отдать вам свою руку, что стали бы вы делать с супругой, которая могла бы быть ею лишь по видимости, чьи склонности ни в чем не совпадали бы с вашими, которая пренебрегла бы тем, что является самым прельстительным предметом ваших вожделений? К тому же, почитая ее всемогущей, вы стали бы ожидать от нее действий, не предписанных законами, коим подвластно свершение чудес. Все между собою связано здесь незыблемым порядком, который постоянно поддерживается одолением видимых противоречий. Мы можем содействовать этому порядку, но не можем идти ему наперекор. И не судите о нашем всемогуществе по тем необычайным событиям, свидетелем коих вы только что были. Волшебство — далеко еще не чудо. В чуде все истинно: истоки его не здесь. В волшебстве все лишь одна видимость. Старая Конкрелада вовсе не была превращена в молодую, роскошный шатер, в котором вы увидели эту мнимую красавицу, рассеялся как дым вместе со всеми средствами обольщения, кои были ей приданы извне. Все это было лишь иллюзией, и иллюзией, имеющей предел: она не могла длиться больше, чем длится сновидение,

чей образ она и являет собой. Зодчий, возведший сие обманчивое здание, столь же малого стоит, как тот, который разрушил его. Можно было обойтись без этого пышного представления — я могла развеять иллюзию, просто дунув на сей цветной туман, но я хотела дать вам понятие о тех, кто промышляет опасным искусством волшебства, дабы впредь вы остерегались их, и воочию показать вам, что может приключиться с тем, кто поддается их чарам. Словом, государь, никто ничего не построил и никто ничего не разрушил, мы просто напустили чары и на вас, и на ваших подданных. Обычно мы не обременяем себя делами столь низменного свойства. Более высокие цели, источник коих вы когда-нибудь узнаете, влекут нас к занятиям более высоким — мы помогаем, мы приносим утешение бедным смертным, коим сострадаем, независимо от их звания на земле. Мы очень жалеем их, ибо они достойны жалости. Мы горько оплакивали кончину вашей почтенной матушки. Упорство, с которым вы преследовали несбыточную свою мечту, ускорило сие горестное событие. О, если бы тогда вы протянули руку прелестной, добродетельнейшей принцессе кандахарской!

— Ах, сударыня, — вскричал Халилбад, облива-

ясь слезами, — сей горестный упрек пронзает мне сердце! Он напоминает мне о том, сколь жесток я был к своей матери и сколь несправедлив к наипрекраснейшей принцессе на свете.

— Хотели ли бы вы исправить сию несправедливость, государь?

— Хотел ли бы я? О, скорее отведите меня к ней, чтобы я мог пасть к ее ногам, и вы увидите, как безмерно буду я счастлив, если ваше всемогущество, моя любовь и сожаления помогут мне вымолить у нее прощения.

— Вам не придется далеко отправляться для этого, — молвила фея и вместе со своей сестрой откинула покрывало с лица юной принцессы кандахарской.

Весь королевский двор был поражен при виде прелестей Беллазиры. Выражение столь же пылкого, сколь и глубокого чувства, мягкости и простодушия придавало ее прелестному личику живость, яркость и выразительность, которые делали ее трогательной, отнюдь не умаляя при этом женской ее притягательности. Халилбад падает к ее ногам и поднимается с колен лишь для того, чтобы произнести ей обет верности и услышать от нее ответный обет. Исполненный благодарности к тем, кто явился орудием его счастья, он

настойчиво просит их, сняв свои покрывала, хотя бы ему одному дать взглянуть на их черты.

— Напрасно вы просите об этом, — молвила ему Шеридана, — мы показались бы вам вовсе не столь прекрасными, какими мысленно видимся вам. Наша красота строга, она слишком схожа с истиной, проводниками коей мы иногда выступаем. Вы еще слишком молоды для того, чтобы мы могли явить вам наши лица. Но мы не зарекаемся, когда-нибудь вы их увидите. Дабы вы не сомневались в наших намерениях относительно вас, мы оставляем здесь залог своего доверия к вам — это законный царь Грузии и Имерета,{249} история его известна вашей супруге. Станьте для него образцом, пусть на вашем примере научится он достойно властвовать над себе подобными; и после того как вы явите нам сей маленький шедевр, мы откроем вам свои лица. Но, прежде чем вас покинуть, хочу открыть вам один секрет, дабы вы не огорчались, что не все еще постигли. Нет на свете ничего прекраснее красивой женщины, одушевленной благородной любовью.

{249} Комментарии: 2.249

…царь Имерета… — Имеретинское царство (в Западной Грузии) в XVI–XVIII вв. было самостоятельным государством со столицей в Кутаиси. Ему приходилось вести постоянную борьбу с Османской империей, стремившейся подчинить себе Имеретию.

Мы оставляем вам это чудо, только оно должно занимать вас отныне.



РЕТИФ ДЕ ЛА БРЕТОН
МОНАХИНЯ ПОНЕВОЛЕ

Перевод Э. Линецкой

Читатель помнит, что в двадцать второй новелле{250} шла речь о матери семейства, чей муж, воротившись из Америки столь же бедным, сколь все полагали его богатым, ухитрился найти выгодные партии для шестерых своих дочерей и единственного сына. Ее старшая сестра отличалась не меньшей красотой, чем она, и еще большим любострастием. У их отца, прославленного адвоката, состоял на службе молодой писарь по имени Деброн, очень красивый собою. Вот в него-то без ума и влюбилась Эвстаки Грассе. Нечего было думать, что родители согласятся на ее брак с ним, поэтому влюбленная Эвстаки прибегла к способу, которым в таких случаях всегда пользуются девицы, равно лишенные щепетильности и почтительных чувств, когда хотят выйти за своих избранников наперекор воле тех, кому

{250} Комментарии: 2.250

Читатель помнит, что *в двадцать второй новелле...* — Печатаемая нами новелла — шестьдесят пятая из цикла «Современницы».

обязаны жизнью. Это было тяжким ударом для столь богобоязненных и степенных людей. Но беда уже случилась, и, чтобы хоть немного ее исправить, оставался единственный путь — выдать дочку замуж. И они обвенчали ее с Деброном.

На свет явилась девочка — несчастный плод этого первого порыва страсти. Все, что ее матери пришлось перечувствовать — раскаянье, стыд, сожаление, даже, быть может, угрызения совести из-за горя, причиненного родителям, — все это превратилось в ненависть к ни в чем не повинной Элеоноре. Она отлучила дитя от груди и до пяти лет продержала в деревне у кормилицы. Сделала это г-жа Деброн для того, чтобы никто из родных, особенно же ее муж, не привязался к малышке. Она забрала девочку домой, когда той уже сравнялось пять лет, не озаботившись хотя бы раз повидать ее до этого, в твердой уверенности, что сельское воспитание отвратит всех от ребенка, а также что мать вправе запереть свою дочь в монастырь. Но как жестокая просчиталась! Элеонора была чудом прелести, сельское простодушие лишь оттеняло ее невинность и чистоту; стоило ей появиться, и она полюбилась всем — отцу, деду, бабке, тетушке, тогда еще совсем молодой. Г-жа Деброн рвала и метала,

но в ту пору ей пришлось смириться. Элеонора выросла в доме деда — он взял ее к себе, видя, что она не мила матери, приписывая, однако, эту несправедливость стыду и раскаянию и поэтому прощая. Прошло несколько лет, и Элеонора восхитительно расцвела; природа сочетала в ней все самое трогательное с самым прекрасным.

Через год после Элеоноры у г-жи Деброн родился сын. Уже говорилось, что в семье, к которой принадлежала и она, и г-жа Линар, дети всегда шли в мать и наследовали редкостную красоту; добавьте к этому, что муж старшей тоже был красивый мужчина, поэтому их сын блистал среди мальчиков, как Элеонора — среди девочек. Юный Деброн стал кумиром матери, и такова была злосчастная судьба этих первин любви и брака, что г-жа Деброн потеряла обоих: дочь — вследствие своей жестокости, сына — вследствие попустительства, еще, может быть, более преступного. Брат Элеоноры с детских лет испытывал к ней… скажу ли — нежность? Нет, никогда нежные чувства не пускали ростков в этом растленном сердце, которое впитало порок как бы с первым глотком воздуха, проникшим в младенческие легкие; он любил сестру подобно одержимому, и эта роковая приверженность еще более омрачила

судьбу кроткого и пленительного создания.

Дед и бабка задались целью пораньше выдать Элеонору замуж и таким путем избавить от власти ненавидящей матери, хотя даже отдаленно не представляли себе, как яростна эта ненависть. Они собирались обеспечить внучку порядочным состоянием, чтобы та сделала выгодную партию. К несчастью, дед Элеоноры скоропостижно умер от тяжкой болезни, за ним последовала и его вдова. Она оставила завещание, но распорядилась в нем состоянием мужа как будто со своим собственным, так что воля ее при первом же рассмотрении была признана недействительной. И на Элеонору обрушились все беды, от которых ее хотели оградить почтенные старики.

Когда она переселилась к матери, г-жа Деброн, не в силах обуздать ненависть, в первый же вечер заявила мужу, что не может жить под одной крышей с дочерью. Тут следует сказать, что к этому времени у нее, кроме Элеоноры, было еще трое детей, трое мальчиков. Г-н Деброн питал горячую любовь к единственной своей дочери, но кто устоит против фурии в обличье жены? Пришлось уступить, пришлось отдать девочку в монастырь. Ценою такой жертвы он надеялся обрести спокойствие. Но, заперев дочь в четырех стенах

обители, г-жа Деброн немедленно принялась уговаривать монахинь пустить в ход все средства, только бы заставить ее принять постриг. Надо сказать, что Элеонора к этому времени была уже весьма разумна; приученная бабушкой именовать своим муженьком юного сына одного из адвокатов, сотоварищей деда — этих детей хотели соединить впоследствии браком, — она от пострига отказалась. И тогда г-жа Деброн приступила к мужу с требованиями, чтобы он своей отцовской властью принудил дочь принять монашество. Сперва Деброн противился с твердостью истинного мужчины и хорошего отца, но года через два сдался: жизнь его пропиталась желчью, недовольство, ссоры полнили каждый день… А наши законы, наши варварские законы не ставят никаких препон этому преступлению, которое вершат женщины, — напротив, если муж в подобном случае отпустит одну-единственную пощечину, несправедливые законы карают его разделом имущества и запрещением управлять состоянием жены! О римляне, о греки, вы были в тысячу раз мудрее, чем мы, когда дали мужьям право над жизнью и смертью их жен! Женщина, обвиненная в том, что оскорбляла и тиранила супруга, должна была предстать перед членами

обоих семейств, и, если ни у кого не находилось доводов в ее защиту, муж выносил ей приговор. Я взываю к тебе, благодетельный закон, положи и у нас предел обманам, преступлениям, мерзостям, злобным и коварным делам француженок, развращенных нашими умниками, этими низменными мужчинами, которые непрестанно внушают им, что и они, женщины, тоже мужчины!.. Но к чему я это говорю? Увы! Никто не прислушается ко мне, не поймет моих доводов, а некий А. или бесстыжий автор «Журналь де Нанси»{251} меня же и оклевещет. Так что ограничимся бесплодными пожеланиями.

Деброн отдал дочь на заклание и этим купил мир в доме. Жена продиктовала ему письмо к настоятельнице монастыря, он его подписал. После этого он зажил спокойно, но его несчастная дочка оказалась во власти монастырских фурий. Стоит ли описывать преследования, уловки, хитрости, обманы, интриги, с помощью которых пытались заставить Элеонору принять постриг? Увы, это невозможно, и я ограничусь тем, что приведу здесь слова, обращенные однажды к Элеоноре

{251} Комментарии: 2.251

«Журналь де Нанси». — Это издание выходило недолго, в 1779–1781 гг. Трудно сказать, почему Ретиф ссылается здесь именно на это издание (оно еще плохо изучено, и круг его сотрудников неизвестен).

монахиней, на которую ей всегда указывали как на самую здравую и счастливую в обители.

«Дорогая сестра, — сказала она (ибо те, у кого нет ни отца, ни матери, ни детей, ни братьев, ни сестер, всех называют братьями и сестрами и всех принуждают именовать себя „отец мой“, „мать моя“, хотя Евангелие это запрещает), — в миру вы обречены на погибель, и тем она вернее, чем больше вы взысканы земными и плотскими преимуществами. И потому, чем вы красивее, тем угоднее будете господу, если принесете ему в жертву всю себя. Вам ведомо, скольким опасностям подвергается в миру спасение нашей души; особливо же трудно, почти невозможно, спастись тем, кто вступил в брачный союз. Женщина выходит замуж — и какие надругательства над чистотой претерпевает она, не смея оградить себя от них! Наш божественный Спаситель завещал нам блюсти целомудрие — и, значит, мы избрали благую часть, он сам сказал это Марте, ставя ей в пример Магдалину,{252} которая, сидя у его ног, внимала ему, презрев мирскую суету. Так что,

---

{252} Комментарии: 2.252

…он сам сказал это Марте, ставя ей в пример Магдалину… — Имеется в виду известный евангельский эпизод (Ев. от Луки, X, 38–42): Марфа хлопотала по хозяйству, тогда как ее сестра сидела у ног Христа и слушала его. Церковная традиция отождествляет эту сестру с Марией-Магдалиной, хотя в евангельском тексте она названа просто Марией.

дорогая сестра, достойные ваши родители пекутся единственно о вашей пользе; их любовь куда надежнее и благотворнее для вас, нежели любовь ваших дедушки и бабушки, которая лишена была духовности и, быть может, послужила бы причиной вечной вашей погибели. Ободритесь же душой, дражайшая сестра, господь ждет от вас не такой уж тяжкой жертвы, он лишь хочет, чтобы вы соблаговолили обрести счастье у подножия святых его алтарей, как обрели это счастье все мы… Стоит вам произнести обет и бесповоротно связать себя со Спасителем, и мирская жизнь начнет внушать вам не меньший ужас, нежели пучина моря или пасть дикого зверя человеку, которому удалось из них вырваться. Мирская жизнь враждебна господу, враждебна испокон веков; если хотите иметь истинное представление о ней, возьмите у меня на время эту книжечку и прочитайте ее: она написана блаженным Хуаном де Палафоксом,{253} епископом Осмийским, и называется „Духовный пастырь“. Эта полезная

{253} Комментарии: 2.253

Хуан де Палафокс-и-Мендоса (1600–1659) — испанский богослов и церковный деятель. Он получил назначение в Мексику, где стал епископом и повел борьбу со злоупотреблениями и жестокостями, чинимыми иезуитами. Этот могущественный орден добился в 1653 г. перевода Палафокса в глухую провинцию Старой Кастилии (Испания). Он же воспротивился в 1694 г. канонизации Палафокса.

книга развеет последние ваши сомнения.[27] Не отвращайте, дражайшая сестра, глаз от светоча истины — вам с рождения назначен счастливый удел, недаром небо, словно за руку, привело вас в эту святую обитель, отняв тех, кто мог бы удержать в миру, и свершив перемену в сердце вашего отца, который, питая к вам слишком земную привязанность, сперва противился святому вашему предназначению. Увы, как он был слеп!.. Будьте ж признательны, дражайшая сестра, за свою судьбу: вы уподобитесь святой гостии, которую мы, свершая благочестивый обряд, ежедневно приносим в жертву господу, и на ваше семейство снидет вышнее милосердие. У вас есть братья — сколько проступков свершат они в миру, а вы, дорогая сестра, вы с помощью жарких молитв станете орудием и причиной вечного их спасения; всевышний не отринет вашей мольбы, вы будете перед ним их предстательницей — о, какое это славное поприще!. Вы собственными своими силами вырвете их из пасти дьявола, и придет день, когда, торжествуя, приведете их всех, — отца, мать, братьев — к подножию трона, где восседает предвечный, и скажете: „Господи, вот они, те, за

[27] Примечания: 1.27

Когда же наконец будет покончено с этими нелепыми, жалкими бреднями сумасбродных голов! *(Прим. автора.)*

кого я так часто и так слезно молилась“. И тогда всевышний, и пресвятая богородица, и святой предтеча, и апостолы, и все святые улыбнутся и, вняв вашей молитве, примут их всех вслед за вами в лоно вечного блаженства».

Окончив эту речь, сестра Доротея залилась горючими слезами; Элеонора была ими растрогана, но, обладая на редкость здравым смыслом, сдаться на такие доводы не могла.

Настоятельница потому научила этой речи Доротею, что ни у одной из монахинь не было голоса нежнее, тона проникновеннее, души чувствительнее; теперь она подслушивала у дверей, и Доротея, зная об этом, закрыла рот Элеоноре, когда та, ничего не подозревая, хотела ей ответить. Настоятельнице так понравилась составленная ею речь, что она вложила копию с нее в письмо к г-же Деброн, добавив в конце, что «уже испробовала ее действие на нескольких юных особах и переломила их». Г-жа Деброн позабыла убрать письмо со стола, его увидел старший ее сын, о котором уже было кое-что сказано вначале, прочитал и пришел в бешенство. Схватив письмо, он бросился к матери, которая была в это время у себя и совершенно одна.

— Итак, сударыня, вы замыслили постричь

мою сестру в монахини? — гневно приступил он к ней.

— Я не собираюсь отчитываться перед вами, сударь.

— А придется: я ваш старший сын, вы должны дать мне отчет, живет ли в вашей душе доброта, живут ли в ней истинно материнские чувства. И если вы бесчеловечная мать, я больше не признаю вас, гнушаюсь вами.

— Мой сын!.. Неблагодарный, я слишком сильно его любила!

— Любите меньше и выделите сестре ее часть.

— Господин Деброн, вы забываетесь, вы обязаны питать ко мне уважение.

— Мне не нужна нежность, отнятая у сестры, я не желаю делить с вами несправедливость, не то стану таким же преступным и бесчеловечным, как вы.

— Сын мой, вы настоящее чудовище.

— Что ж, значит, я пошел в вас. Вы тоже чудовище, если приведете в исполнение ваш мерзкий замысел. Итак, с помощью подобных благоглупостей, подобного пустословия собираются оскорбить природу, запереть в монастырь, приговорить к безбрачию превосходно сформированную девушку, созданную, чтобы любить,

наслаждаться, давать жизнь мальчикам, таким же красивым, как я, и девочкам, таким же очаровательным, как она!.. Сударыня, скажу вам только одно: или моей сестре вернут свободу, или я подожгу монастырь и… (Конец угрозы этого сына, вполне достойного своей матери, надлежит обойти молчанием.)

Г-жа Деброн задыхалась от гнева, но так велика была ее слабость к этому избалованному, боготворимому чаду, что, когда он ушел от нее, она, лишь за него беспокоясь, ни слова не сказала мужу о разыгравшейся сцене. Меж тем Деброн унес письмо настоятельницы, дал своим приятелям снять с него копии и распространил так широко, словно это было печатное издание. Письмо вызвало негодование у всех порядочных людей, на г-жу Деброн посыпались упреки, но та, что не уступила своему избалованному отпрыску, сумела бы противустоять целому миру.

Меня спросят, как это возможно, чтобы сын разговаривал с матерью подобно Деброну? Ответить на такой вопрос лучше всего рассказом о поведении этой матери со своим распущенным сынком. К тому времени, когда ему исполнилось восемнадцать лет, а его сестре — девятнадцать, он уже года два как подвергал снисходитель-

ность г-жи Деброн жесточайшим испытаниям. Не будем останавливаться на чертах, отличающих всякую мать, слепо преданную сорванцу, который ловко этим пользуется; г-жа Деброн, безжалостная к дочери, лишь смеялась над непослушанием сына, над его дерзкими выходками, над нестерпимыми обидами, которые порою он ей наносил. Например, однажды, в многолюдном обществе он попрекнул ее тем, что дочь свою она ненавидит из-за… Все вознегодовали, но мать стала его оправдывать необузданностью нрава, вспыльчивостью, горячей кровью, которую он не в силах охладить, объясняя эти свойства припадками раздражительности, одолевавшими ее в пору беременности.

— Раз он унаследовал мои недостатки, — добавила она, — я должна их терпеть: он и без того несчастен, получив от меня такой подарочек.

Но вот какому испытанию подверг он снисходительность г-жи Деброн, когда ему едва сравнялось шестнадцать лет; узнав об этом происшествии, вы поймете, что подобный господин способен на все.

У Дебронов с самого дня их свадьбы жила в услужении кухарка. Другой прислуги у них не было, так что работать ей приходилось сверх меры. На-

конец она попросила позволения у хозяйки взять себе в помощь племянницу. Г-жа Деброн охотно согласилась, довольная, что у этой превосходной служанки будет под началом девушка, которой она вправе командовать. (Такая добрая хозяйка и такая дурная мать! Человеческое сердце неисповедимо.) Племянница была очень миловидна от природы, а когда прожила несколько месяцев в городе и тетка приодела ее, да и у нее самой развился вкус, она стала по-настоящему соблазнительна. Тут вернулся молодой Деброн — он все эти месяцы провел с отцом за городом. Жаннетта необыкновенно ему понравилась, и он вбил себе в голову, что либо соблазнит ее, либо овладеет силой — ему это, в общем, было безразлично. Красивый собой, он, однако, в соблазнители не годился — слишком уж был надменный и наглый в обхождении. Так что успеха он у Жаннетты не имел.

Сопротивление разожгло в нем животную похоть. Он прикинулся, будто охладел, будто и внимания не обращает на служанку, и стал выжидать удобного случая. Случай представился, когда в какой-то праздничный день все ушли из дому. Считалось, что ушел и Деброн, иначе тетка ни за что не оставила бы племянницу без

присмотра. Не испытывая и тени беспокойства, Жаннетта решила на досуге заняться туалетом; она мурлыкала песенку, даже не прикрыв дверей своей комнаты. Когда она почти донага разделась, Деброн, подглядывавший за ней, бросился на девушку, как тигр на добычу. Его лицо, жесты, нрав, хорошо всем известный, привели Жаннетту в такой ужас, что, обеспамятев, она упала. Но и это не остановило неистового Деброна, он обесчестил ее… Опомнившись, Жаннетта пришла в отчаянье. Она разрыдалась и, видя, что злодей не только смеется над ее слезами, но бросает взгляды, предвещающие новые покушения, обняла его колени, умоляя сжалиться. Но скорбь, но рыдания были для Деброна лишь острой приправой к блюду; он потребовал, чтобы на этот раз она уступила его желанию добровольно, обещая оставить затем ее в покое. И он не скупился на такие страшные угрозы, что, испугавшись за жизнь, Жаннетта смирилась и претерпела все унижения, какие только способен изобрести вконец развращенный молодой негодяй. Тем временем все воротились домой. Первая пришла г-жа Деброн и сразу кликнула для каких-то услуг Жаннетту. Та не отозвалась, хозяйка заглянула к ней в комнату и обнаружила ее там — растрепанную,

еле живую, с окровавленным лицом, — Деброн закатил ей несколько таких пощечин, что у нее кровь хлынула носом; на расспросы Жаннетта отвечала лишь всхлипываниями. Понятия не имея, что сын ее никуда не отлучался, перепуганная г-жа Деброн решила, что в доме побывали грабители, но у Жаннетты хватило сил назвать имя ее отпрыска. Надо признать, что, глядя на девушку, такую еще молоденькую, она сама заплакала, потом побежала в спальню к сыну; тот в это время, напевая какой-то куплет, тщательно заклеивал английским пластырем царапины на щеках. Впервые в жизни она заговорила с ним жестким тоном, но наглец захохотал в лицо своей слабодушной матери и даже посмел заявить с издевкой, что женщины в таких случаях только прикидываются, будто недовольны.

— Взять, к примеру, хотя бы вас, — добавил он с неслыханным бесстыдством.

Г-жа Деброн занесла было руку для пощечины, но тут в комнату ворвалась как фурия тетка Жаннетты, узнавшая от племянницы, что произошло и кто виновник насилия. Внезапно набросившись на Деброна, она повалила его на пол и, не обращая внимания на вопли и заступничество матери — вполне достойной своего сына, — при-

вела его в состояние, немногим лучшее, нежели состояние Жаннетты. Мерзавец выл как дикий зверь, но тетушка была неумолима, отталкивала хозяйку и твердила, что должна его убить. Шум стоял оглушительный, и в этот момент появился г-н Деброн. Не добившись объяснений, он оттащил кухарку от сына, однако, уверенный, что правота на ее стороне, запер того у себя в спальне, а уже потом занялся женой, почти лишившейся чувств. Едва придя в себя, г-жа Деброн, стремясь опередить мужа, пошла к тетке Жаннетты, разыскала ее в комнате несчастной племянницы и под страхом самой жестокой кары воспретила открыть правду г-ну Деброну, посулив одновременно всевозможные блага, обещав даже наказать сына и простить кухарке заданную ему трепку… Но можете ли вы представить себе, чем все это кончилось? Да тем, чего и следовало ожидать от преступного попустительства матери, способной в то же время бесчеловечной своей ненавистью сгубить родную дочь. Негодующая природа мстит ей, вселяя презренную слабость к другому ее чаду. Деброн сделал вид, будто он в отчаянье, будто сходит с ума, наподобие юного

Антиоха, влюбленного в Стратонику,{254} будто умирает от любви (отлично себя при этом чувствуя), и его мать, его слабодушная мать так низко пала в своем попустительстве, что стала упрашивать кухарку согласиться на тайную связь племянницы с Дебороном; она пустила в ход подарки, мольбы, слезы и в конце концов добилась своего… Не будем долее задерживаться на этой гнусности, вдвойне преступной, ибо несчастная Жаннетта утратила всякую благопристойность и, сперва удивив столицу роскошным своим существованием, ныне томится в исправительном заведении, куда тайно была заключена неким епископом, дядей ее последнего любовника.

Теперь, когда вы познакомились с Дебороном, вас не удивит, если он и впрямь исполнит свою угрозу, если с десятком дружков впрямь подожжет монастырь, похитит свою сестру и даже обойдется, как с Жаннеттой, с любой не слишком уродливой черницей.

А Элеонору после таких угроз ее брата начали еще больше донимать монахини требованиями принести обет, стать послушницей. После разго-

---

{254} Комментарии: 2.254

…наподобие юного Антиоха, влюбленного в Стратонику… — Ретиф имеет в виду героев трагедии «Стратоника» (1660) французского драматурга Филиппа Кино (1635–1688).

вора с сестрой Доротеей она ни разу не оставалась наедине с ней. Но однажды, по непредвиденному стечению обстоятельств, они оказались лицом к лицу в обширном монастырском саду. Сестра Доротея тяжко болела; никто не думал, что она решится выйти на прогулку, только поэтому и произошла встреча, которой с полным основанием опасались монастырские власти. Завидя молодую монахиню и полагая, что та снова начнет читать ей наставления, Элеонора попыталась свернуть в сторону.

— Не убегайте от меня, Элеонора, — слабым голосом позвала Доротея, — дни мои сочтены, и я всюду ищу вас: я не хочу, расставаясь с жизнью, мучиться из-за того, что способствовала вашему несчастью речью, которую подслушивала настоятельница; она сама сочинила эту речь. Я, как вы, жертва неправедной матери и приговорена к жесточайшей пытке — к довременному истлеванию. Меня, одаренную всем, что потребно для поприща жены и матери, избранницу юноши, который и мне был по сердцу, меня вырвали из отчего дома и бросили в этот гнусный вертеп, где под предлогом служения богу оскорбляют божество, принуждая нас отказаться от естественного предназначения. Чем вы красивее, говорят нам,

чем чувствительнее ваша натура, тем достойнее вы господа! Какое страшное кощунство! Неужели эти презренные не разумеют, что они превращают бога в тирана, подобного им самим! Праведного бога, который только и хочет, чтобы мы не оставляли втуне дарованные нам способности и не в бездействии и бесплодии видит совершенство, потому что он есть Деяние и создал человека по своему образу и подобию! О времена невежества, как исказили вы все человеческие представления! Почему, почему просвещенная философия, ознаменовавшая наш век, не воцарилась семь столетий назад![28] Мы с вами не по доброй воле будем принесены в жертву. Пусть бы жестокосердные люди, которых ничуть не тревожит подобный жребий, пусть бы они хотя день побыли на нашем месте, вот тогда бы они забили тревогу из-за неисчислимого множества несчастных женщин во Франции, в Испании, в Италии, во всех католических странах!.. Нет, дорогая Элеонора, не свои убеждения высказала я вам в прошлый раз; я-то считаю насильственный постриг ужасающим преступлением наших

[28] Примечания: 1.28

Возможно ли исчислить блага, даруемые философией? О Вольтер, о великий человек, которого оскорбляют пигмеи, тебе обязан этот век своей просвещенностью! Deus nobis hoes otia fecit. *(Прим. автора.)*

родителей; более того, даже когда мы сами его избираем, все равно я не вижу в нем добродетели. Разве что недужные имеют право сбросить с себя бремя долга, того долга, который предписан нам не деспотом, а Природой, нашей возлюбленной матерью, уснастившей его исполнение радостями, блаженством, наслаждениями. Вспомните, как смотрят на нас женщины, даже те самые, что принуждают заживо лечь в могилу, будто мы негодный хлам, как по-разному относятся они к нам и к достойным матерям семейств! Вспомните, какое высокое положение занимают эти матери в обществе, как все уважают их, как почитают! А мы, увы, по людским законам мы мертвы с того самого дня, как даем монашеский обет; мы жалко прозябаем, лишь обременяя землю, и, когда к нам действительно приходит смерть, первые радуются ей все они же, те, что обрекли нас столько лет заживо истлевать! Взгляните, дорогая сестра, взгляните на меня, обездоленную! Явившись на свет по случайному совпадению обстоятельств, я в необъятном океане вечности лишь пылинка, которой отпущен лишь миг, но и он показался слишком долгим тигрице, давшей мне жизнь, она отнимает его у меня, не позволяя мне продлить себя в детях, делает все, что в ее

силах, только бы приговорить к бесследному исчезновению, и дивный, бесценный дар жизни превращен для меня в ничто! В каком я отчаяньи, милая сестра! Мне уже не сбросить цепей, не вырваться из этих стен. Почему, почему я не вырвалась из них, когда была здорова и сильна, не бежала на волю хотя бы с самым нищим из поденщиков! Я стала бы его подругой, трудилась бы наравне с ним, терпела бы холод и зной, была бы окружена нашими детьми, исполнила бы предназначенное природой. Может быть, кто-нибудь из этих бедных детей пробил бы себе дорогу в жизни… Но что я говорю! Нет, я не желаю этого — ведь, как знать, моей дочери был бы сужден вот такой же удел… Вы видите мое отчаянье, дорогая Элеонора, пусть оно послужит вам уроком: лучше, гораздо лучше принять любые мучения, нежели связать себя этими путами. Ни за что не соглашайтесь на постриг. Ваша мать, эта фурия, может статься, умрет… Но если бы сегодня умирала моя мать, она, бесчеловечная, радовалась бы в тайниках своего жестокого, свирепого сердца и твердила: «Та, кого я ненавижу, не переживет меня, она уже мертва… Все ее желания останутся втуне…»

Жестокосердные матери — какие это отврати-

тельные чудовища! Прости меня, святой творец природы! Ты повелеваешь любить отца своего и свою мать, но нет у тебя заповеди, повелевающей любить своего палача. Когда же придет конец этому пагубному заблуждению, которое меня обращает в тлен? Когда же люди уразумеют, что обряды, свершаемые над нами, порождены кровавыми жертвоприношениями Молоху? Как, как могут терпеть подобное просвещенные служители церкви? О, я понимаю суетную причину их долготерпения — они жаждут умножить число своих подданных, а власть их над нами особенно велика. Их стремление повелевать, короче говоря, гордыня — вот источник наших бедствий.

С этими словами она, обессилев, упала на руки к Элеоноре; та, перепугавшись, стала звать на помощь. Сбежались монахини, Доротею перенесли в келью. Придя в сознание и чувствуя, что умирает, она собрала последние силы, сорвала наметку, разодрала куколь, отбросила все знаки монашеского сана, до которых смогла дотянуться, и произнесла:

— Да не предстану пред тобою, господи, с клеймом моей отверженности!

Слова эти, к великому неудовольствию настоятельницы и старейших монахинь, слышали все

послушницы, все пансионерки. Минуту спустя Доротея умерла. Пустили слух, будто перед смертью она потеряла рассудок, но Элеонора, своими ушами слышавшая ее здравую, разумную, глубоко прочувствованную речь, была в ужасе от столь безмерного отчаянья.

Смерть Доротеи наделала шуму и побудила молодого Деброна ускорить исполнение своего дерзкого замысла. На следующий же вечер, часов в одиннадцать, он и несколько его приятелей, надев маски, подошли к монастырю, перелезли через садовую ограду, проникли в здание, вломились в первую попавшуюся келью и, приставив кинжал к горлу монахине, потребовали, чтобы она проводила их туда, где спали пансионерки. Четверых самых хорошеньких, отданных в обитель против воли, они увезли с собой. Так задумал Деброн, чтобы, во-первых, не остаться в долгу перед сообщниками и, во-вторых, боясь, как бы не стало слишком очевидным, что цель всей затеи — его сестра. Четыре почтовых кареты стояли наготове, и молодчики умчались, не причинив больше никакого вреда монастырю. Назавтра разразился страшнейший скандал. Здравомыслящие люди содрогнулись, дураки завопили о профанации, о святотатстве, родите-

ли девушек, истребовав ордера на задержание, бросились в погоню за похитителями. В том, кто они такие, ни у кого сомнений не было. Но, ко всеобщему удивлению, заподозренные юнцы вечером появились в городе — они вернулись с пирушки, устроенной в сельском доме совсем неподалеку. И с легкостью доказали, что не лгут, — их было не меньше двух десятков, так что отсутствия тех четверых, которые умчали юных пансионерок на уединенную ферму, никто не заметил, и свидетельство жителей местечка, где происходила пирушка, обелило всех без изъятия. Что касается девушек, то за стенами монастыря их сразу обрядили в мужское платье — каждый из похитителей прихватил с собой изрядный его запас. В этой одежде девушки прибыли на ферму, и фермер с домочадцами если упоминали о постояльцах, то лишь в мужском роде.

После первого взрыва негодования семьи похищенных пансионерок словно воды в рот набрали, и молодые распутники почувствовали себя в безопасности. Надо сказать, что всем хотелось считать их ни в чем не повинными, а матери четырех девушек были даже довольны происшествием — оно давало им право обойтись с дочерьми со всей жестокостью, на какую были

способны их злобные сердца. Следовало бы здесь поименно назвать этих гнусных матерей, дабы общественное мнение предало их позору, но наш развращенный век так щепетилен, что не желает изгонять порок из его последнего укрытия; посторонняя рука все равно вычеркнет эти имена, а если и воздержится, издатель навлечет на себя хулу и осуждение за поступок не столько смелый, сколько справедливый.

В этой истории может удивить то обстоятельство, что из двадцати юнцов, знавших о тайне, ни один не проболтался, но вспомните, все двадцать были порочны и все, как один, притязали на четверых пансионерок. Так что, едва явилась возможность незаметно отлучиться, десять из двадцати под водительством Деброна отправились на ферму и препроводили свою добычу в другое убежище, расположенное в лесу. Оставшиеся десять, узнав об этом, решили, что юные особы отнюдь не корчили из себя святош, поэтому четверо молодчиков помчались в новое обиталище, и там, заперев двери на ключ, дерзнули приступить к пансионеркам с предложением того, что было целью их путешествия. Получив решительный отпор, они пустили в ход силу, но с тем же успехом. Вовремя осведомленные о замыс-

ле своих сообщников, те десять, что перевезли девушек, бросились на помощь похищенным, но что называли они помощью! Хозяева дома, не посмевшие вступиться за новых своих жильцов, ибо считали их мужчинами, коротко рассказали Деброну и тем, кто был с ним, о диком шуме, который вот уже более трех часов доносится из комнаты, где четверо приезжих заперлись с постояльцами. Деброн с девятью товарищами взломали двери и, увидев, в каком беспорядке одежда девушек, набросились на четверых своих сообщников и чуть было не убили тех. Удержали их сами девушки, втолковавшие разъяренным беспутникам, каковы будут следствия такого преступления. Тогда Деброн придумал месть иного рода: пусть красотки охотою позволят им то, чего другие добивались силой… Подумать только, что пришлось испытать этим девушкам, добродетельным по натуре, но глубоко несчастным! Сестра Деброна пыталась урезонить его, но он ответил, что ее-то никто не тронет. У него были другие виды на Элеонору, еще более преступные, о которых пристойнее умолчать. Своего юнцы не добились. Девушки сопротивлялись, а когда стемнело, сделали попытку убежать, но Деброн с тремя приятелями перехватили их и увезли на

ферму, еще более уединенную; там они заперли пленниц и уехали — им пора было показаться в городе. Все четырнадцать — избитые, равно как избивавшие — вместе пустились в путь и, помирившись дорогой, дали друг другу слово держать язык за зубами.

Меж тем Элеонора и три ее товарки с ужасом думали об участи, уготованной им двумя десятками неистовых юнцов, которые, чтобы утолить похоть, не остановились бы даже перед насилием, а потом превратили бы девушек в презреннейшие из существ. Утешаясь единственно мыслью, что сами они неповинны в похищении, пансионерки одобрили предложение Элеоноры написать о случившемся родителям одной из них и всем под этим посланием подписаться. Составить его поручили той же Элеоноре, и она, обратившись к своему отцу, поведала о том, что с ними произошло, и какая им грозит теперь опасность, и как необходима безотлагательная помощь. Письмо они передали через зарешеченное окно конюху, и тот, не теряя времени, вскочил на коня и еще до рассвета доставил его г-ну Деброну.

— Несчастные! — воскликнул г-н Деброн, читая письмо. — Какой бы жребий вы ни предпочли, любой прискорбен.

Поколебавшись, он все же почел долгом предупредить отцов остальных пленниц и посоветовал, ничего не говоря женам, сразу тронуться в путь, чтобы тайком перевезти дочерей в другой монастырь. Они согласились, но в последнюю минуту один из них имел слабость шепнуть жене о цели своей поездки. Вчетвером отцы явились на ферму и застали там Деброна и прочих, занятых теми же гнусными попытками, что и накануне. Увидев, кто приехал, юные негодяи похолодели от страха; так, по преданию, мидяне{255} ударами хлыстов некогда усмирили взбунтовавшихся рабов. Все молодчики удрали; последним исчез Деброн, то и дело кидавший на отца яростные взгляды, но немедленно потуплявший глаза, стоило тому гневно посмотреть на него. Усадив девушек на крупы лошадей, отцы собирались было исполнить свой замысел, но в полулье от города дорогу им преградили четыре всадницы, четыре вакханки. Спешившись и стащив наземь дочерей, они принялись их избивать и, наверное, задушили бы, не помешай им мужья. Тогда, глухие к увещеваниям супругов, к их рассказам

{255} Комментарии: 2.255

Мидяне — жители Мидии, древнего рабовладельческого государства, существовавшего в VII–VI вв. до н. э. на территории Северо-Западного Ирана.

о письме Элеоноры, вакханки вскочили в седла, заставили девушек сесть впереди и провезли по всему городу, дабы выставить их на позор и посмеяние. Кого же считать виновнее? Матерей-злодеек, или слабодушных отцов, не способных укротить жен и проявить тем самым мужское свое достоинство, или беспутных юнцов? Первые все же самые низменные. После непристойной прогулки по городу они заключили дочерей в тот же монастырь… Времена варварства, вы не ведали таких мегер, а уж таких жалких мужчин — и подавно![29]

Элеонора, обреченная прежней своей судьбе, поняла теперь, что любовь порочного брата лишь умножит ее несчастья. Не прошло и недели, как беглянок принудили произнести обет: сопро-

---

[29] Примечания: 1.29

Увы, увы, ведали! Несчастную Базину, дочь Хильперика и Одоверы, с ведома короля изнасиловали слуги Фредегоны, ее мачехи. А когда эти твари насытились ею, Базину, наголо обрив, заточили в монастырь в Пуатье. *(Прим. автора.)*{281}

{281} Комментарии: 2.281

…Базину, дочь *Хильперика и Одоверы*, с *ведома короля изнасиловали слуги Фредегоны, ее мачехи.* — Все описанное Ретифом, видимо, действительно имело место во второй половине VI в. во франкском королевском доме. Хильперик царствовал в 561–584 гг. К этому можно добавить, что Фредегона первоначально была служанкой Одоверы; после смерти королевы Фредегона приказала своим сообщникам задушить вторую жену Хильперика и сама заняла ее место. В дальнейшем она устроила убийство собственного мужа и правила от имени своего малолетнего сына Лотаря II.

тивляться было бесполезно, у них отняли всю одежду и дали взамен постылое облачение, от которого они так упорно отказывались. Одна из них легла в постель и уморила себя голодом. Трое оставшихся в живых сдались, с особенной легкостью — Элеонора; она и протестовала только для виду, показывая этим, что уступает принуждению. Такие сцены разыгрываются в монастырях чуть ли не каждый день, но родители отнюдь не стремятся предать их гласности, что уж говорить о монахинях. Доказательства тому дают хотя бы окружные послания визитадинок,{256} которые они печатают всякий раз, когда умирает одна из тех, что отданы им под власть.

По внешности как будто смирившись, Элеонора была в глубочайшем отчаянье. Ее возлюбленному, тому самому, которого дед и бабка прочили ей в мужья, удалось передать Элеоноре письмо. Он просил поведать ему, не претерпело ли ее целомудрие непоправимого ущерба, и, если, к его счастию, этого не произошло, заверял, что по-прежнему намерен жениться на ней, пусть Элеонора на это рассчитывает. В ответ она напи-

{256} Комментарии: 2.256

Визитадинки — члены женского монашеского ордена, основанного в 1610 г. Франциском Сальским (1567–1622), видным религиозным деятелем того времени.

сала следующее:

«Я утратила все на свете — подчините этому сознанию ваши чувства. Я больше недостойна вас и хочу одного — смерти».

Благородная девушка написала это для того, чтобы возлюбленному легче было ее позабыть. Как их мало, людей, приносящих себя в жертву спокойствию другого!

Деброн за попытку похитить сестру был изгнан из отчего дома, изгнан собственной своей матерью. Отправленный в Париж, он предался самому грязному разврату — и как жестоко за это поплатился! Узнав, что он живет с уличной женщиной, г-жа Деброн примчалась к нему, чтобы вышвырнуть вон эту особу. Она застала их в постели, и Деброн, застигнутый врасплох, окруженный слугами матери, в ответ на ее восклицание: «Как! Вы, мой сын, живете с этой дрянью, подобранной в грязи!» — произнес слова, по сей день знаменитые в его родном городе:

— С тех пор как я взял ее к себе, она мне верна, во всем покорна, родила мне дочь и нежно любит ее; *она порядочнее вас, сударыня*.

Так эта недостойная мать была наказана любимым сыном. Справедливое наказание, хотя сам он от этого не менее виновен.

Любовницу Деброна заточили в исправительный дом, невзирая на его яростные протесты: он как раз потому и привязался к этой женщине, что не видел в ней ни единого из тех свойств, без которых нельзя прослыть порядочной женщиной. Но по какому праву распорядилась г-жа Деброн жизнью этой обездоленной?

Элеонора меж тем с ужасом думала, что срок послушничества подходит к концу. После того как г-жа Деброн предала широкой огласке ее вторичное водворение в монастырь, а вся четверка дурных матерей твердила, будто их дочери добровольно отдались двадцати юнцам (хотя сами юнцы это отрицали), надеяться ей было не на что, оставалось только скорбно повторять:

— Я все утратила, на земле нет больше места для меня, могила моя разверзлась.

Но от этих слов отчаянье Элеоноры лишь усугублялось.

И вот страшная минута настала. Тупо следила Элеонора за приготовлениями к церемонии, безропотно позволила обрядить себя, как велит нелепый, варварский обычай. К аналою ее подвели последней; она оглянулась на двух своих рыдающих навзрыд подруг, потом посмотрела туда, где стояли их семьи, и увидела всех четы-

рех матерей, ибо мать умершей девушки тоже пришла полюбоваться жертвоприношением, на которое обрекла бы дочь, останься та в живых.

Элеонора впилась в них глазами и, казалось, говорила: «Итак, свою роль фурий вы сыграли, чем же займетесь завтра?» Тут она заметила своего возлюбленного — он притаился в темном углу и не спускал с нее увлажненного взора. Она кивнула ему с чуть заметной улыбкой — от этой улыбки содрогнулась даже ее мать, ее бесчеловечная мать. Подруги Элеоноры уже приняли постриг, пришел ее черед; священник прочитал установленные слова и спросил, добровольно ли она посвящает себя богу.

— Да, и жертва моя еще полнее, чем вы все полагаете, — последовал ответ.

Обряд подходил к концу, с нее сняли украшения и уже собирались облачить в одежду, позорящую человеческий разум.

— Погодите, — сказала Элеонора, — погодите минутку… — И, повернувшись к товаркам, еле живым от отчаянья, проговорила: — Следуйте моему примеру. К чему эти ребяческие слезы? Наши матери бесчеловечны, они дали нам только жизнь, так не будем же обязаны им и жизнью.

С этими словами она подняла руку, которую

все время крепко сжимала, и, ударив себя в грудь, пронзила сердце стилетом. Потом вздохнула. Это был последний вздох Элеоноры.

У ее подруг не хватило мужества совершить то, что совершила она, хотя времени на это хватило бы — так велико было всеобщее замешательство и ужас. Они стояли, забрызганные кровью Элеоноры… Г-жа Деброн сделала вид, будто ей дурно. Ее муж яростно вскрикнул и, вместо того чтобы приводить ее в чувство, занес было руку для удара, но не ударил…

Так окончила жизнь эта девушка, такая пленительная, такая кроткая и достойная. Ее красота, лишь на миг озарившая край, где она родилась, до сих пор не забыта, и все, у кого не совсем очерствела душа, горько оплакивали Элеонору. После смерти прелестной дочери и после мерзостных деяний распутного сына их мать влачит существование, отравленное раскаяньем и стыдом. Хотя она всем внушает отвращение, матери семейств из простонародья не смеют поносить ее вслух — ведь она богата и, значит, власть имуща, — но своей ненавистью к ней заражают детские души. Сколько раз трех- и четырехлетние малыши, завидя г-жу Деброн, кричали: «Злодейка! Злодейка! Гляньте-ка на злодейку своей

дочки!» Кара справедливая, но слишком мягкая.

Что касается ее сына, он через несколько лет отчасти исправил беспутное свое поведение, ему нашли должность, женили… Опустим занавес над омерзительной картиной существования юной его супруги, прежде очаровательной, а ныне влачащей мучительную жизнь; предмет всеобщей жалости, эта женщина изъедена язвами, дети ее умирают в младенчестве, сперва сделавшись убийцами своих кормилиц. А сам Деброн в тридцать два года ходит на костылях — у этого неистового человека не хватило терпения до конца излечить свой недуг. И вы, преступная Эвстаки, вы свидетельница всех этих несчастий, и они довершают ваши мучения.

ФЛОРИАН

ФЛОРИАН
КЛОДИНА

Савойская новелла

Перевод М. Архангельской

В июле 1788 года я посетил замок Ферней, который после смерти Вольтера стал похож на все другие опустевшие, покинутые гением замки; заодно я решил повидать знаменитые савойские ледники. Один из моих женевских друзей любезно согласился меня сопровождать. Не стану описывать наше путешествие: чтобы заинтересовать читателя, мне пришлось бы изъясняться тем восторженным высокопарным стилем, непонятным профанам, без которого ныне путешественнику, преодолевшему хотя бы два лье и наделенному чувствительной душой, просто невозможно обойтись; мне пришлось бы что ни слово изумляться, испытывать трепет и предаваться восторгам, а я, признаюсь, до сих пор так этому и не научился. Скажу просто: я видел Монблан, ледяное море и арверонский источник. Я долго в молчании смотрел на страшные скалы,

пронзающие облака, на широкую реку, которую называют морем, видел, как она внезапно прерывает свой бег, а неподвижные волны ее, кажется, все еще бурлят от ярости, смотрел на огромный свод из вековых снегов, откуда низвергается пенный поток, пронося глыбы льда мимо обломков скал. Все это повергло меня в страх и уныние: природа предстала передо мной в ужасном своем образе, отлученная от солнца, во власти бога бурь. Созерцая эти леденящие душу красоты, я возблагодарил Всемогущее существо, сделавшее их такой редкостью, и поспешил в обратный путь, который лежал через долину, прелестную долину Маглан. Мне хотелось дать отдохновение моим уставшим глазам, в свое удовольствие путешествуя по этим местам, где сама природа улыбается тебе, и любуясь берегами Арвы с раскинувшимися на них богатыми коврами зелени, тихими дубравами, пестрыми лугами с редкими хижинами, где мне виделся старец в окружении семьи, мать, кормящая грудью сына, молодые влюбленные у алтаря. Вот такое зрелище радует взор, трогает сердце, навевает приятные воспоминания, пробуждает невинные желания.

О, милый мой друг Гесснер,{257} вы, конечно, согласны со мной, ибо хоть вы и родились в самой многоцветной и живописной стране на свете, описывать которую можно поистине бесконечно, вы, в отличие от многих других, никогда этими описаниями не злоупотребляли, полагая, что картина, сколь бы яркими красками она ни была написана, скудна без человека. Вы воспевали тенистые рощи, зеленеющие луга, прозрачные ручейки, но пастушки и пастухи являли в них примеры любви, благочестия и милосердия. Когда читаешь ваши поэмы, взор услаждают прелестные картины природы, душа же услаждена разумными мыслями и нежными чувствами.

Вот какие мысли занимали меня в Шамуни, пока я спускался по перевалу Монтанвер, возвращаясь с ледяного моря. Закончив утомительный двухчасовой переход, я вновь очутился у источника, возле которого останавливался утром. И мне снова захотелось побыть здесь немного: я недолюбливаю бурные реки, но к источникам пи-

{257} Комментарии: 2.257

Гесснер, Саломон (1730–1788) — швейцарский поэт и художник. Писал на немецком языке. Особенно прославился своим прозаическим сборником «Идиллии» (1756), в котором изображен условный мир пастухов и пастушек, противостоящий испорченности современных писателю нравов. В пору господства сентиментализма произведения Гесснера пользовались общеевропейской славой.

таю слабость. К тому же неожиданно для самого себя я совершенно выбился из сил. Я пригласил моего проводника, достойного Франсуа Паккара, присесть рядом со мной, и у нас завязалась оживленная беседа о жителях Шамуни, об их характере, привычках, образе жизни. Паккар развлекал меня рассказом о простоте здешних нравов, а об этом всегда приятно поговорить, хотя бы поминая их добрым словом. Вдруг ко мне подбежала хорошенькая девочка и предложила купить корзинку вишен. Я охотно согласился. Как только девочка удалилась, Паккар сказал мне, смеясь:

— Десять лет тому назад на этом самом месте одна наша крестьянка вот так же предложила путешественнику фрукты, и как же дорого ей это обошлось!

Я стал уговаривать Паккара поведать мне эту историю.

— О, это длинная история, — отвечал он мне, — она известна мне во всех подробностях от саланшского кюре, который сам сыграл в ней не последнюю роль.

Я попросил Паккара пересказать мне все, что он узнал от салашского кюре, и когда мы устроились под елями и вместе принялись за вишни, Паккар

приступил к своему рассказу:

— Да будет вам известно, сударь мой, что десять лет тому назад долина Шамуни вовсе не была так знаменита, как сейчас. В то время путешественники с золотыми луидорами не приезжали любоваться нашими ледниками и собирать камни в наших горах. Мы были бедны, не ведали зла, и наши женщины и девушки, знавшие лишь домашние заботы, были еще простодушнее нас. Я заранее говорю вам об этом, чтобы хоть как-то оправдать проступок Клодины. Бедное дитя, ее ничего не стоило обмануть!

Клодина была дочерью Симона, хлебопашца из Приере. Этот Симон — я хорошо его знал — умер всего два года назад, он был старшиной нашего прихода. Все почитали его за честность. От природы человек суровый, он ничего не прощал себе и мало что прощал другим: его уважали, но боялись. Если кто из наших жителей поссорился с женой или немного перебрал в воскресенье, он потом целую неделю боялся показаться Симону на глаза. Ребятишки затихали при его появлении, быстро сдергивали свои шапчонки и, только когда шаги Симона затихали в отдалении, вновь принимались за свои игры.

Симон рано овдовел, жена его Мадлена умерла,

оставив ему двух дочерей. Старшая, Нанетта, выросла миловидной девушкой, ну а младшая, Клодина, сияла просто ангельской красотой. Представьте себе прелестное кругленькое личико, вдумчивые карие глаза, широкие брови, маленький ротик, похожий на вишенку, — все парни в нашей деревне сходили по ней с ума, и когда она приходила по воскресеньям на танцы в пышной синей юбке с корсажем, стянутым на тонкой талии, и в соломенной шляпке, украшенной ленточками, у нее отбоя не было от кавалеров.

Клодине было всего четырнадцать, ее сестре Нанетте — девятнадцать, она все еще жила в родительском доме и вела хозяйство. Клодина, как самая младшая, пасла стадо на Монтанвере, она уходила туда на весь день, захватив с собой обед и пряжу, работала, пела или болтала с другими пастушками, к вечеру возвращалась домой, после ужина Симон читал дочерям Библию, благословлял их, и все укладывались спать.

Но вот к нам зачастили иностранцы. Молодой англичанин по имени Бельтон, оказавшись в Швейцарии проездом на пути в Италию, решил побывать у нас в Шамуни и посмотреть на ледяное море; он остановился переночевать у

мадам Кутеран[30] и на следующий день в четыре утра отправился в путь в сопровождении моего брата Мишеля, который теперь стал старшиной проводников. Он спустился вниз около полудня и присел отдохнуть, как и мы, у этого самого источника, и вот тут Клодина, которая пасла неподалеку своих овечек, заметив, сколь разгорячила его ходьба по горным дорогам, подошла к нему и предложила фруктов и молока из своего обеденного припаса. Англичанин, поблагодарив, так и впился в нее глазами, засыпал вопросами и хотел было заплатить пять или шесть гиней, от чего Клодина отказалась, зато бедняжка не отказалась показать Бельтону своих овечек, которые паслись среди высоких елей. Бельтон ушел с Клодиной один, попросив проводника подождать. Я не могу пересказать вам, о чем беседовали они с Клодиной: этого никто не слышал. Знаю только, что Бельтон уехал в тот же вечер, а Клодина, вернувшись в отцовский дом, была задумчива, рассеянна, и на пальце у нее блестело кольцо с великолепным бриллиантом. Сестра заметила кольцо и спросила, откуда оно. Клодина отвечала, что нашла. Симон с недовольным видом отобрал

---

[30] Примечания: 1.30
Содержательница известной в тех краях гостиницы *(Прим. автора).*

у Клодины кольцо и сам отнес к мадам Кутеран, чтобы при случае вернуть владельцу. Но ни один путешественник не заявил о пропаже. Бельтон был уже далеко, Клодина же, которой вернули кольцо обратно, день ото дня становилась все печальней.

Прошло пять или шесть месяцев. Клодина каждый вечер возвращалась домой с заплаканными глазами и наконец решилась открыться своей сестре Нанетте. Она призналась ей, что встретила на Монтанвере молодого англичанина и в тот же день он сказал, что любит ее, жить без нее не может, хочет жениться на ней и поселиться вместе с ней в Шамуни.

— Он так горячо клялся мне в любви, что я поверила, — продолжала Клодина, — ему надо было съездить по делам в Женеву, но он обещал вернуться не позднее чем через две недели, купить здесь дом и сразу же сыграть свадьбу. Он усадил меня рядом, поцеловал, называя своей женой, и подарил мне взамен обручального бриллиантовое кольцо. Больше я ничего не могу рассказать вам, сестра моя, но я в страшной тревоге, скверно себя чувствую, плачу дни напролет и все гляжу на женевскую дорогу — но Бельтон не возвращается.

Нанетта, которая сама только что вышла замуж, засыпала рыдающую Клодину вопросами и в конце концов поняла, что англичанин подло обманул несчастную простодушную девушку и что Клодина беременна.

Как быть? Как сказать о несчастье грозному Симону? А ведь скрыть от него невозможно. Нанетта не стала усугублять отчаяние сестры бессмысленными попреками, наоборот, она попыталась утешить ее, вселить в нее надежду на прощение, хотя прекрасно понимала, что надежде этой никогда не сбыться. После долгих раздумий Нанетта отправилась с согласия сестры к нашему кюре, посвятила его в тайну и умоляла самому поговорить с Симоном, объявить ему о несчастье, постараться смягчить его гнев, объяснив, что дочь его всего лишь жертва негодяя англичанина, и главное, принять все меры к тому, чтобы спасти, пусть не честь, хотя бы жизнь несчастной девушки. Наш кюре очень горевал, выслушав Нанетту, но все же согласился выполнить просьбу девушки и, выбрав время, когда Клодина находилась на Монтанвере, отправился к Симону.

Симон, как обычно, был занят чтением Ветхого Завета. Кюре, сев рядом с ним, заговорил о пре-

красных историях из этой божественной книги и с особым восторгом отозвался об истории Иосифа, простившего своих братьев, истории великого царя Давида, простившего своего сына Аввесалома, и других подобных, неизвестных мне, но известных кюре. Симон во всем с ним соглашался. Кюре заметил, что бог для того явил нам столькие примеры милосердия, чтобы и мы были снисходительны и милосердны к братьям нашим, как Иосиф, а к детям нашим, как Давид, и лишь тогда сами сможем рассчитывать на снисхождение к нам общего отца нашего. Кюре употребил все свое красноречие, которое мне передать не под силу, чтобы постепенно подготовить старика к страшному удару. Он долго оттягивал его, но в конце концов вынужден был нанести, и Симон вскочил на ноги, как ужаленный, побледнел, задрожал от гнева и, схватив ружье, с которым ходил на охоту, бросился к двери, собираясь застрелить свою дочь. Кюре остановил его, отобрал ружье, он то настойчиво взывал к его христианскому милосердию, то говорил слова утешения и прижимал к своей груди, и в конце концов старый Симон, который до сих пор не проронил ни слезинки и стоял, дрожа всем телом, сжав белые как мел губы, вдруг рухнул в свое кресло,

схватился руками за голову и разрыдался.

Кюре молча дал ему выплакаться, а потом заговорил о том, какие меры, по его мнению, следует предпринять, чтобы спасти честь Клодины. Но Симон прервал его:

— Господин кюре, нельзя спасти то, что потеряно безвозвратно. Что бы мы с вами ни предприняли, нам все равно придется лгать, и мы сами станем сообщниками преступления. Этой несчастной нужно бежать отсюда без промедления, здесь она станет притчей во языцех и мукой для отца. Пусть уходит, господин кюре, пусть уходит сегодня же и пусть живет, как знает, если может жить в бесчестье, но я хочу умереть вдали от нее, и потому пусть она больше никогда не оскорбляет своим присутствием мои седины!

Кюре пытался смягчить Симона, но тщетно. Симон был непреклонен: Клодина должна уйти из дома. Наш кюре вышел от Симона глубоко опечаленный, но старик тут же догнал его, попросил вернуться в дом, притворил дверь и отдал ему старый кожаный кошелек, в котором было около пятидесяти экю.

— Господин кюре, — сказал он ему, — эта несчастная окажется совсем без средств, передайте ей эти пятьдесят экю, но только не от меня,

прошу вас, а как милостыню от себя лично, скажите, что из сострадания вы отдаете преступнице то, что предназначалось нищим. Меня же не поминайте… И вот еще что: если бы вы могли написать о ней кому-нибудь, попросить за нее, замолвить словечко… Я очень рассчитываю на ваше милосердие… Но о ней я не хочу слышать больше ни слова.

Кюре в ответ пожал ему руку и поспешил к Нанетте, которая ждала его на улице ни жива, ни мертва.

— Бегите в комнату сестры, — сказал он ей, — и собирайте ее вещи, возьмите все необходимое, а потом приходите с вещами ко мне, там мы сможем поговорить спокойно.

Нанетта, плача, последовала его указаниям, она все поняла. В узелок Клодины она положила кое-что и из своих собственных вещей, и те немногие сбережения, что у нее были. Потом она поспешила к кюре, который рассказал ей о своем разговоре с Симоном и дал длинное письмо к саланшскому кюре.

— Дитя мое, — сказал он ей, — вы должны отвести вашу сестру в Саланш. Расскажите ей сами о том, что произошло, мне нет необходимости встречаться с ней: мой сан обязывает меня об-

ратиться к ней с упреками, а в такой момент это было бы слишком жестоко. Передайте ей этот кошелек, я положу в него еще немного из моих сбережений, отдайте также письмо моему собрату в Саланше, проводите сестру до его дома, сами можете туда не заходить, и скорее возвращайтесь к отцу, который нуждается в вас, именно в вас, дитя мое, ибо вы столь умны и доброжелательны, что сумеете утешить его в том горе, которое причинила ему сестра. Отправляйтесь в путь немедленно, мы увидимся с вами завтра.

Нанетта, вздохнув, взяла узелок, кошелек, письмо и пошла на Монтанвер. Она нашла Клодину лежащей на земле в слезах и отчаянии. Нанетта постаралась как можно осторожнее сообщить ей о решении отца, но когда Клодина узнала о своем изгнании, она испустила отчаянный вопль, стала рвать на себе волосы и терзать лицо.

— Меня гонят, — твердила она, — отец меня проклял, убейте меня, сестра, убейте, или я брошусь в эту пропасть!

Нанетта удерживала ее в своих объятиях. Несколько часов ей пришлось утешать Клодину, она пыталась вселить в нее надежду на прощение, обещала не оставить ее, часто навещать. Наконец она уговорила Клодину идти в Саланш, и позд-

ним вечером они отправились в путь, обойдя стороной нашу деревню: Клодина боялась, что, несмотря на темноту, любой встречный по ее лицу узнает о ее позоре.

Нетрудно вообразить, каким грустным было их путешествие, на рассвете они пришли в Саланш. Нанетта не решилась предстать с сестрой перед саланшским кюре. Она попрощалась с Клодиной у первых домов, долго прижимала ее к своей груди, передала ей все, что принесла для нее, и, расставаясь с ней, была почти в таком же отчаянии, как и ее злополучная сестра.

Как только Клодина осталась одна, она совсем упала духом. Вместо того, чтобы идти в город, она спряталась в горах и провела там весь день без маковой росинки во рту, решившись умереть. Однако, когда наступила ночь, ей стало страшно, и она пошла в город. Едва слышным голосом она спросила у прохожего, где живет господин кюре. Ей указали его дом. Она тихонько постучала, дверь открыла старая служанка.

Клодина сказала, что пришла из Приере, от кюре. Служанка провела ее к хозяину, который в это время в одиночестве вкушал свой ужин у очага. Клодина, не осмеливаясь ни взглянуть на него, ни вымолвить хоть слово, вся дрожа, передала

ему письмо, и пока кюре, подойдя ближе к огню, читал его, бедная девушка закрыла лицо руками и встала на колени у двери.

Саланшский кюре — человек благородный и великодушный, весь приход уважает и любит его, как родного отца. Когда он закончил читать письмо и, повернув голову, увидел, что девушка, вся в слезах, стоит на коленях, он сам прослезился и сейчас же поднял ее, похвалил за искреннее раскаяние, обнадежил, что грех ее, из-за которого она так страдает, будет ей прощен, усадил за стол, несмотря на все ее протесты, и, позвав служанку, велел подать Клодине ужин и приготовить для нее постель. Клодина, потрясенная тем, что нашелся человек, который не питает к ней презрения, молча целовала руки ему и служанке, подававшей ей ужин. Кюре, сев рядом, дружелюбно беседовал с ней, стараясь ничем не напомнить о ее несчастье, расспрашивал о своем собрате, кюре из Приере, рассказывал о добрых делах этого достойного пастыря и неоднократно повторял, что их первейшая и наиболее приятная обязанность — утешать несчастных и возвращать на путь истинный заблудшие души. Клодина едва прикоснулась к еде — она глядела на кюре глазами, полными слез, и слушала с

почтением и благодарностью; ей казалось, что перед ней ангел небесный, которого господь бог послал к ней, чтобы извлечь ее из бездны. После ужина служанка отвела ее в приготовленную для нее комнату. Клодина, немного успокоившись, легла в постель; заснуть она не смогла, но все же отдохнула. Следующим утром кюре занялся поисками пристанища для Клодины, где она могла бы разрешиться от бремени. Одна пожилая одинокая женщина, мадам Феликс, согласилась приютить Клодину и обещала держать дело в тайне. К ночи Клодина перебралась к ней. Кюре сам заплатил мадам Феликс за три месяца вперед, и они решили выдать Клодину за одну из замужних племянниц мадам Феликс из Шамбери. Все устроилось. И как раз вовремя, потому что от усталости, волнений и тревог у Клодины в тот же вечер начались схватки. Она родила семимесячного мальчика, прехорошенького, мадам Феликс приняла его от купели и нарекла Бенжаменом.

Кюре хотел сейчас же отправить ребенка к кормилице, но Клодина пролила столько слез, умоляя не разлучать ее с маленьким Бенжаменом, что кюре решил оставить ей ребенка, по крайней мере на первые дни. Когда же эти первые дни миновали, мать прониклась к своему

дитяти еще большей нежностью. Кюре взывал к ее благоразумию, объяснял, что она лишает себя последней надежды вернуться в Шамуни и помириться с отцом. Клодина слушала, опустив голову, и вместо ответа еще крепче прижимала к груди Бенжамена.

Шло время. Мальчика можно было уже отнимать от груди. Клодина по-прежнему жила у мадам Феликс, которая всем сердцем полюбила ее. У Клодины оставались кое-какие деньги из тех, что дал ей отец и добавила Нанетта. Нанетта не осмеливалась прийти в Саланш повидаться с сестрой, но все, что ей удавалось сэкономить, она приносила нашему кюре, который переправлял их своему собрату. И потому Клодина ни в чем не нуждалась, да ей так мало было нужно! Из дома она выходила только по воскресеньям — в церковь, на первую мессу. А все время проводила с сыном и мадам Феликс, в прошлом школьной учительницей в Бонн-Вилле, теперь старушка занялась образованием Клодины и обучила ее грамоте. Маленький Бенжамен был прелестен, и Клодина чувствовала себя почти счастливой, но вечно так продолжаться не могло.

Прошло полтора года, Бенжамен давно уже бегал во всю прыть, Клодина так хорошо усвоила

уроки доброй мадам Феликс, что со временем могла сама заняться обучением собственного сына. А сын ее хорошел день ото дня. Клодина не уставала восхищаться им, заботы о нем, любовь к нему поглощали ее целиком. Но вот в одно прекрасное утро ее навестил саланшский кюре.

— Дорогая моя дочь, — сказал он ей, — когда я принял вас к себе и покрыл ваш грех покровом милосердия, я намеревался поручить вашего ребенка кормилице, вырастить его в деревне и затем помочь ему устроиться в жизни. Я надеялся, что тем временем мне удастся смягчить гнев вашего отца, уговорить его принять вас обратно, и, возможно, видя ваше раскаяние, скромность, благоразумие и трудолюбие, он и сумел бы забыть о тех огорчениях, которые вы ему причинили. Только так и никак иначе вы могли бы вернуть привязанность отца и уважение друзей. Но вы сами же себе вредите: вы так страстно привязаны к сыну и так решительно не хотите с ним расставаться, что можете навсегда лишиться родительского дома. Понимаете ли вы, что Симон никогда не согласится встретиться с вашим ребенком? Да и кто он для него, для всех жителей вашей деревни, как не вечное свидетельство стыда и горя? Так будьте же бла-

горазумны и постарайтесь посмотреть правде в глаза: либо вам придется отказаться от вашего ребенка, либо от отца, семьи, родной деревни. Я читаю в ваших глазах, что свой выбор вы уже сделали, но я вынужден вас предупредить: вы не можете оставаться навсегда у бедной доброй женщины, которая, я знаю, питает к вам нежную привязанность, ведь она бедна и не может давать вам приют бесплатно. До сих пор я и сам немножко поддерживал вас, но я отдавал вам деньги, предназначенные для всех страждущих, и теперь, когда я полностью выполнил свой долг по отношению к вам, я не вправе отнимать их у других несчастных, потакая вашей любви, сколь бы понятной и даже трогательной она мне ни казалась. Вы ответите мне, что можете прожить и на деньги сестры. Но деньги эти она отрывает от себя, от своей семьи, от своего мужа. Нанетта трудится в поте лица, пока вы ласкаете Бенжамена, Нанетта тяжким трудом зарабатывает для вас деньги, а ведь не она повинна в грехе. Я взываю к вашему сердцу, дочь моя, неужели вы и впредь будете принимать ее благодеяния? Какой у вас выход: наняться в служанки в Женеве или Шамбери? Скорее всего вы попадете там в дурное окружение, а при вашей молодости, с

вашей внешностью это очень опасно. Впрочем, я вообще сомневаюсь, сумеете ли вы найти работу с ребенком на руках, а ведь вы не захотите с ним расстаться. Подумайте обо всем этом, взвесьте все, как следует, даю вам на это два дня. Потом вы сообщите мне свое решение, со своей стороны обещаю сделать для вас все, что будет в моих силах.

Кюре ушел, оставив Клодину в большой растерянности и в еще большей печали. Конечно, она понимала, что мудрый кюре совершенно прав, но она понимала еще лучше, что не может жить без Бенжамена. Весь день и всю ночь она мучительно искала выход: как ей перестать быть обузой для сестры и не расстаться с сыном. Наконец она приняла решение, довольно рискованное, но которое могло все разрешить, и, укрепившись в нем, она встала на заре и принялась за письмо к кюре:

> Бесценный благодетель!
>
> Мне больно при мысли, что я не могу отплатить вам за все, что вы для меня сделали, послушанием, которое было бы равно моей благодарности. Видит Бог, что я была бы рада и счастлива отдать мою жизнь, если бы это могло избавить вас от

тревог. Но для меня расстаться с Бенжаменом страшнее, чем расстаться с жизнью. Я не могу этого сделать, господин кюре, не могу, это выше моих сил, не презирайте меня! Я больше не хочу быть обузой ни для моей бедной сестры, ни для доброй мадам Феликс, ни для вас, сделавшего для меня так много. Когда вы получите это письмо, я буду уже далеко от Саланша и больше сюда не вернусь. Я придумала, как устроить свою жизнь, я не пойду в служанки и не отступлю от добродетели, которую, благодаря вам, научилась любить. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны, дорогой благодетель. Я ухожу без ведома доброй мадам Феликс, боюсь, она станет удерживать меня, и у меня не хватит духу отказаться. Я оставляю в ящичке орехового столика сорок пять ливров, которые задолжала ей за комнату. Прошу вас передать их ей и сказать от меня, что я всегда буду помнить ее и благословлять. Вас же, дорогой мой благодетель, благословит господь бог, ибо вы являетесь его подобием на земле и после него именно вас я больше

всего почитаю, уважаю и люблю.

Клодина.

Запечатав письмо, Клодина оставила его на столе, собрала свои вещи в узелок, завернула оставшиеся у нее двадцать экю в носовой платок и, взяв Бенжамена на руки, покинула Саланш.

Она пошла по дороге на Женеву, в Бонн-Вилле ей пришлось заночевать, потому что идти быстро с Бенжаменом она не могла. На следующий день она пришла в Женеву. Прежде всего она продала все, что у нее было из одежды и белья, и купила на вырученные деньги три мужские рубашки, грубые башмаки, панталоны, жилет, курточку из коричневого сукна, шелковый платочек и красный берет. Она отрезала свои красивые черные волосы и продала их цирюльнику, купила котомку из телячьей кожи и сложила в нее все свои пожитки. Сняв с пальца прекрасное бриллиантовое кольцо, с которым никогда не расставалась, она повесила его на шею и спрятала под рубашку. И вот, переодевшись савояром, взяв в руки толстую палку, закинув котомку за спину и усадив на нее Бенжамена, который своими маленькими ручками обхватил ее за шею, Клодина спросила дорогу на Турин и вышла из Женевы.

Двенадцать дней она шла через горы без всяких приключений; напротив, на постоялых дворах, где она обедала или останавливалась на ночлег, все сразу обращали внимание на хорошенького савояра, такого юного и милого, который нес на спине маленького братца. Юные путники повсюду встречали радушный прием, а когда Клодина утром расплачивалась за еду и ночлег, с нее брали половину того, что полагалось, а случалось, вместо денег просили спеть известную у нее на родине песенку доброй утешительницы. И Клодина, не заставляя себя упрашивать, нежным, проникновенным голоском пела эту песенку, немножко меняя в ней слова:

Молчит Жанетта,
Та-ри-ра-ра!
Напрасно жду ответа:
О чем грустишь, сестра?
— Ах, как мне одиноко
Без милого дружка!
С тех пор, как он далеко,
Берет меня тоска.
Печалишься, Жанетта,
Та-ри-ра-ра!

А счастье рядом где-то
Влюбиться вновь пора!
— Другого я не встречу,
Я прежнего люблю,
Отказом я отвечу
И королю.[31]

За время своего путешествия Клодина почти ничего не потратила. И потому, придя в Турин, она смогла снять комнатку под самой крышей, купила кое-что из мебели, а еще ящичек, щетки и бутылочку масла и, назвавшись Клодом, устроилась на площади Пале-Руаяль чистить прохожим сапоги.

В первые дни выручка ее была невелика; не привычная к работе чистильщика, она трудилась в поте лица, зарабатывая гроши, но вскоре набила руку и дело пошло лучше. Сметливый, проворный, веселый Клод частенько бегал по всему кварталу, выполняя поручения. Пока Клод отсутствовал, Бенжамен садился на ящичек и стерег его. А Клод был прямо нарасхват: кому отнесет письмо, пакет, кому занесет в дом вещи, кому спустит бутылки в подвал. Клод стал своим

---

[31] Примечания: 1.31
Перевод Р. Дубровкина.

человеком и для прислуги, и для швейцаров, и для ленивых кухарок и потому по вечерам никогда не возвращался домой с пустыми руками. На жизнь им с Бенжаменом хватало, а тот рос прямо на глазах, с каждым днем становился все милее и был всеобщим любимцем.

Так, горя не зная, Клодина прожила два года. Но вот однажды, когда они с Бенжаменом устраивали свой ящичек на привычном месте, на него опустилась чья-то нога. Клодина в ту же секунду хватает щетку и, не взглянув на владельца башмака, поспешно принимается за работу. Когда осталось только навести блеск, она поднимает голову… Щетка падает у нее из рук, Клодина застывает как изваяние: она узнала Бельтона! Маленький Бенжамен, который никого узнать не мог и в тот момент не был занят игрой, поднимает щетку и своей еще слабенькой ручонкой пытается закончить работу Клодины, пока она, оцепенев, во все глаза смотрит на молодого англичанина. Удивленный Бельтон спрашивает Клодину, почему она прервала работу, и смеется над стараниями миловидного мальчугана. Наконец Клодина приходит в себя, извиняется перед Бельтоном таким нежным голоском и в таких учтивых выражениях, что англичанин, еще бо-

лее заинтригованный, начинает расспрашивать чистильщика, кто он и откуда. Клодина спокойно отвечает, что они с братом сироты и чисткой сапог зарабатывают себе на жизнь, и что родом они из Шамуни. Это название произвело на Бельтона большое впечатление, он стал еще пристальней вглядываться в Клодину, и ему показалось, что он узнает знакомые черты.

— Как зовут вас? — спросил он.

— Клод, — ответила она.

— И вы из Шамуни?

— Да, сударь, из деревни Приере.

— А у вас нет еще одного брата?

— Нет, сударь, один Бенжамен.

— А сестры?

— Сестры? Да, сестра у меня есть.

— Как зовут вашу сестру?

— Клодина.

— Клодина?

— Да, Клодина.

— Где она?

— Увы, про это мне ничего не известно.

— Как это может быть?

— По многим причинам, сударь, которые для вас не представляют никакого интереса, а мне стоили многих слез.

У Клодины и впрямь на глазах выступили слезы. Бельтон замолчал, продолжая внимательно ее рассматривать. Клодина объявила ему, что работу свою окончила. Однако Бельтон не торопился уходить, он вынимает из кармана гинею и протягивает ей с ласковым видом.

— У меня нет сдачи, — говорит ему Клодина.

— И не надо, — отвечает англичанин. — Скажите, если бы вам предложили место слуги на хороших условиях, вы бы согласились?

— Для меня это невозможно, сударь.

— Почему же?

— Я ни за что на свете не соглашусь расстаться с братом.

— А если он останется с вами?

— Тогда другое дело.

— Ну что ж, Клод, тогда я беру вас к себе слугой, вы будете жить у меня вместе с братом, соглашайтесь, вам не придется об этом жалеть.

— Сударь, если вы соблаговолите дать мне ваш адрес, — отвечала Бельтону Клодина, не помня себя от волнения, — завтра утром я зайду к вам, и мы обо всем договоримся.

Бельтон оторвал клочок бумаги от конверта, чтобы записать адрес, заручился обещанием Клодины, что она его не обманет, и, уходя, не один

раз обернулся.

Клодина не могла дождаться, когда же окончится этот разговор — ее душили слезы. Она поспешно вернулась к себе в комнату и заперлась там, чтобы спокойно обдумать, как ей теперь поступить. Она понимала, что служба у молодого англичанина чревата многими опасностями, но сердце ее уже дало согласие, а надежда вернуть Бенжамену отца довершила дело. И все же решиться ей было нелегко: ведь Бельтон так коварно обманул ее, помнила она и обещание, которое дала саланшскому кюре и себе самой — бежать всего, что грозило бы ее добродетели. Но забота о Бенжамене победила все опасения. После долгих раздумий Клодина решила согласиться на предложение Бельтона с тем, чтобы ревностно служить ему и постараться, чтобы он полюбил сына, но тщательно скрывать от него, что она и есть та самая Клодина, которую он чуть было не узнал. Она пожалела, что слишком много сказала ему, и дала себе слово, что впредь ничем себя не выдаст.

Приняв такое решение, она на следующее утро отправилась к Бельтону, который радостно ее встретил. Он назначил ей хорошее жалованье, поселил ее у себя вместе с Бенжаменом и сейчас

же заказал для них новую одежду. Покончив с делами, Бельтон вернулся к вчерашнему разговору и приступил к своему новому слуге с расспросами о его сестре. Но Клодина прервала его.

— Сударь, — сказала она, — моей сестры, наверно, уже нет на свете, она скорее всего умерла от нищеты, горя и отчаяния, мы всей семьей оплакивали ее несчастье, и люди посторонние вряд ли имеют право напоминать нам столь печальную историю.

Бельтон, в полном изумлении от того, с каким достоинством и умом отвечал ему слуга, сейчас же прекратил расспросы, но проникся уважением и симпатией к столь редкостному юноше.

Клод в короткое время сделался любимцем своего хозяина. Бельтона невольно влекло к маленькому Бенжамену, он засыпал его подарками и позволял весь день крутиться у себя в комнате. Прелестный мальчуган, словно чувствуя, что именно Бельтону он обязан своим рождением, полюбил его почти так же, как Клодину, и так мило выражал свою любовь, так простодушно ласкался к нему, что англичанин души в нем не чаял. Клодина плакала от радости, но слезы свои скрывала и еще тщательней охраняла свою тайну. Сердце ее разрывалось из-за легкомыслия

Бельтона, из-за его бесконечных романов и любовных увлечений, и она все больше опасалась, что ей так никогда и не придется ему открыться.

И в самом деле, Бельтон, который в девятнадцать лет, после смерти родителей, стал владельцем огромного состояния, тратил его лишь на то, чтобы колесить по Италии в поисках красоток, которые его обманывали и разоряли. В то время его любовницей была одна туринская дама, маркиза, не первой молодости, но еще довольно привлекательная. Женщина темпераментная и вспыльчивая, она бешено ревновала его и требовала, чтобы он ужинал у нее каждый вечер и каждое утро посылал ей письмо. Англичанин не осмеливался ей перечить, и все же ссорились они беспрестанно, и маркиза по любому поводу предавалась отчаянию, грозилась покончить с собой, хватала нож, рыдала и рвала на себе волосы. Бельтону эти сцены давно опостылели. Для Клода ничто в этой истории не было секретом, потому что по вечерам именно он сопровождал своего хозяина и прислуживал за столом, а по утрам относил маркизе письма. Его бедное сердце страдало невыносимо, но он ничем себя не выдавал и преданно служил Бельтону, а тот день ото дня проникался к нему все большим доверием и

частенько жаловался ему на свою безрадостную и суетную жизнь. Тогда Клод полушутя, полувсерьез давал ему несколько осторожных советов, хозяин одобрительно выслушивал их, обещая последовать им завтра же, но наступало завтра, и Бельтон возвращался к своей любовнице, скорее по привычке, чем по любви, а Клод, тайком проливая слезы, через силу улыбался, сопровождая хозяина.

Прошло еще несколько месяцев, наконец Бельтон с маркизой рассорились не на шутку, он твердо решил никогда к ней не возвращаться и, чтобы утвердить себя в этом намерении, завел роман с другой туринской дамой, которая мало чем отличалась от предыдущей. Эти перемены стали для Клодины лишь новым поводом для огорчений. Все ее усилия пропадали впустую. Надо было начинать все сначала, она безропотно смирилась с этим, продолжала преданно служить своему хозяину, и, всегда послушная, всегда ласковая, выслушивала его новые признания.

Однако маркиза была совсем не расположена уступать кому бы то ни было сердце своего англичанина. Она установила за ним слежку, очень скоро обнаружила соперницу и твердо решила не останавливаться ни перед чем, чтобы вернуть

Бельтона или по крайней мере ему отомстить. Уловки и хитрости не дали результатов. Письма остались без ответа, Бельтон решительно отказался встретиться с ней и посмеялся над ее угрозами. Маркиза в отчаянии вынашивала планы мести.

Однажды, когда Бельтон как обычно в два часа пополуночи в сопровождении Клодины возвращался домой от своей любовницы и, уже успев в ней разочароваться, жаловался своему верному Клоду, что сбежит от нее в Лондон, четверо злодеев с кинжалами кинулись на него из-за угла. Бельтон успел только отпрянуть к стене дома и выхватить шпагу. Клодина при виде убийц бросилась вперед, заслоняя хозяина, и удар кинжала, предназначенный Бельтону, поразил ее в грудь: она рухнула на землю. Бельтон, вскрикнув как безумный, кидается на убийцу Клодины и закалывает его на месте, а потом так яростно атакует остальных, что они обращаются в бегство. Бельтон и не думает преследовать их, он возвращается к своему слуге, приподнимает его, целует, плачет, зовет, но Клодина не отвечает ему, Клодина лишилась чувств. Бельтон берет ее на руки, несет домой — а дом его в двух шагах, — укладывает на свою кровать, и пока вся

прислуга, исполняя его приказ, мечется по городу в поисках лекаря, Бельтон, которому не терпится убедиться, насколько серьезна рана, расстегивает куртку Клодины, отгибает рубашку, пропитанную кровью, и застывает в изумлении, увидав женскую грудь.

В это самое мгновение появляется лекарь. Он осматривает рану: она не смертельна, кинжал скользнул по кости. Но Клодина все еще без сознания, ее перевязывают, дают понюхать спирт. Бельтон, который все это время поддерживает ее голову, замечает тесемку у нее на шее и, потянув за нее, достает кольцо… Он узнает свое кольцо, то самое, что подарил на Монтанвере хорошенькой пастушке, с которой поступил так жестоко. Тайны больше нет, все открылось, но Бельтон решает пока молчать. Он вызывает сиделку, та раздевает Клодину, переносит на ее постель, и тут бедная девушка наконец-то приходит в себя и с удивлением разглядывает собравшихся вокруг нее сиделку, лекаря, своего хозяина и Бенжамена, который, проснувшись от всего этого шума, вскочил с постели, полуголый прибежал к брату и теперь, плача, целует его.

Прежде всего Клодина поспешила успокоить Бенжамена. Потом, смутно припоминая, что с

ней приключилось, видя себя в постели и вдруг поняв, что ее раздевали, она протянула руку к тесемке с кольцом; Бельтон, который внимательно наблюдал за ней, увидел по ее глазам, как она обрадовалась, найдя его на месте. И тут только он попросил всех выйти из комнаты, опустился на колени подле кровати и взял Клодину за руку.

— Успокойтесь, успокойтесь, дорогая, — сказал он ей, — мне все известно, к счастью и для вас и для меня. Вы — Клодина, а я поступил с вами как негодяй. У меня есть одна возможность искупить свою вину, и все теперь зависит только от вас. Я уже обязан вам жизнью и хочу быть обязанным еще и честью, да, именно честью, потому что не вы ее потеряли, а я. Ваша рана не опасна, вы поправитесь очень скоро. И как только вы сможете выходить, я попрошу вас пойти со мной к алтарю, чтобы стать моей женой и простить мне ужасное преступление, которое я сам вряд ли себе когда-нибудь прощу. Я прошу, я на коленях умоляю вас согласиться и тем вернуть мне уважение порядочных людей. Я давно оставил, Клодина, заботы о добродетели, но впредь я полюблю ее вновь, если именно благодаря вам моя душа вновь ее обретет.

Можете себе представить удивление, радость,

восторг Клодины. Она хотела говорить, слезы помешали ей. Тут она заметила в приоткрытую дверь хорошенькое личико маленького Бенжамена: его выставили вместе с остальные ми, но он, тревожась за брата, решил посмотреть, что происходит в комнате.

— Вот ваш сын, он вам ответит лучше, чем я, — промолвила Клодина, указывая Бельтону на Бенжамена.

Бельтон бросается к Бенжамену, хватает его на руки, покрывает поцелуями, подносит к матери и проводит остаток ночи с женой и сыном, испытывая доселе неведомое ему блаженство.

Спустя две недели Клодина была здорова. Она рассказала Бельтону обо всем, что с ней произошло. После ее рассказа она стала ему еще дороже, теперь он был влюблен в нее даже сильнее, чем когда увидел впервые. Как только Клодина окончательно оправилась, она, одетая в очень скромное платье, вместе с Бельтоном и Бенжаменом отправилась в карете Бельтона, прямо в Саланш, к кюре, как у них было теперь задумано. Добрый священник не узнал Клодину. Англичанин немножко посмеялся над его растерянностью. Но вот Клодина обняла кюре, напомнила ему о всех его благодеяниях и объявила

о цели их путешествия. Добрый кюре благословил небеса и побежал за старой мадам Феликс, которая пребывала в добром здравии и чуть не умерла от радости, увидав Клодину и Бенжамена. На следующий день они все вместе поехали в Шамуни: Бельтон хотел торжественно отпраздновать их бракосочетание в приходе Приере.

Сразу же по приезде Бельтон уговорил саланшского кюре отправиться к грозному Симону, чтобы просить у него руку его дочери. Старик встретил кюре сурово, выслушал, ничем не выдавая своих чувств, и дал согласие, обойдясь десятком слов. Клодина поспешила к отцу и бросилась к его ногам, старик встретил ее с каменным лицом, не спешил поднять ее, едва коснулся губами лба, не прижал к груди и холодно поздоровался с Бельтоном. С Нанеттой Клодина встретилась сразу же по приезде, та плакала и смеялась, не в силах остановиться. Все направились в церковь; Нанетта несла на одной руке Бенжамена, а другой держалась за сестру; впереди молодых шли оба кюре, позади — старая мадам Феликс с Симоном, которого она бранила, не переставая, шествие замыкали деревенские ребятишки, распевавшие песни.

Так они дошли до церкви, где кюре из Шаму-

ни уступил место саланшскому кюре. Свадьба была роскошной, вся деревня танцевала неделю напролет. Бельтон велел накрыть столы на лугу, на берегу Арвы, и пригласил всех, кто пожелает. Он купил в подарок старому Симону прекрасные земли, но тот отказался их принять и даже рассердился на нашего кюре, который упрекал его за отказ. Нанетта не была столь строга, она приняла и землю, и хорошенький домик, который приобрел для нее Бельтон, теперь она у нас в деревне самая богатая и живет очень счастливо. Через месяц супруги Бельтоны уехали в Лондон, увозя с собой благословения всего нашего села, там они и обосновались, и у маленького Бенжамена родилось уже пять или шесть братьев и сестер.

Вот эта история, я не мог сократить ее, потому что старался рассказать так, как рассказывает наш кюре, от которого я не раз ее слышал. Извините меня, если вам она показалась скучной.

Я горячо поблагодарил Франсуа Паккара, заверяя его, что рассказ очень тронул меня. Пока я спускался с Монтанвера, мысли мои были заняты одной Клодиной, и, вернувшись в Женеву, я записал ее историю так, как рассказал ее мне Паккар, не исправив ошибки против вкуса и стиля, которые, возможно, подметят в ней истинные

ценители искусства.



БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР
ИНДИЙСКАЯ ХИЖИНА

Перевод Н. Эфрос

Около тридцати лет назад возникло в Лондоне общество английских ученых, которое задалось целью искать в различных частях света сведения по всем отраслям знания, дабы просветить людей и сделать их счастливее. Средства доставляла ему группа подписчиков той же нации, состоящая из негоциантов, лордов, епископов, университетов и королевской семьи Англии, к которой примкнуло несколько государей Северной Европы. Этих ученых было двадцать, и Лондонское королевское общество{258} вручило каждому из них по тому, содержащему список вопросов, на которые надлежало привезти ответ. Число этих вопросов достигало трех тысяч пятисот. Хотя они были различны для каждого из этих ученых и соответствовали той стране, по которой ему следовало совершить путешествие, все же они

{258} Комментарии: 2.258

Лондонское королевское общество — научное учреждение, соответствующее академии наук.

были объединены между собой, так что свет, пролитый на один из них, непременно должен был осветить и все остальные. Председатель Королевского общества, который составил их с помощью своих собратьев, прекрасно понимал, что устранение одного затруднения часто зависит от разрешения другого, последнее — от разрешения предыдущего, а все это заводит в поисках истины гораздо дальше, нежели думают. Словом, пользуясь подлинными выражениями, употребленными председателем в инструкциях этим ученым, то был великолепнейший энциклопедический памятник, подобного которому не воздвигала прогрессу человеческих знаний еще ни одна нация, а это прекрасно доказывает, добавлял он, необходимость академических обществ для объединения истин, рассеянных по всей земле.

Каждому из этих путешествующих ученых, кроме обязанности разрешить том своих вопросов, было дано еще поручение покупать попутно древнейшие экземпляры Библии и всякого рода редчайшие рукописи, а в крайнем случае — не скупиться на приобретение хороших копий с них. С этой целью Общество снабдило всех ученых рекомендательными письмами к тем консулам,

министрам и посланникам Великобритании, которые должны были встретиться на их пути, и, что гораздо ценнее, добротными векселями, подписанными знаменитейшими банкирами Лондона.

Самый просвещенный из этих ученых, который знал еврейский, арабский и индийский языки, был послан сухим путем в Восточную Индию — колыбель всех искусств и наук. Он направился сначала в Голландию и посетил поочередно Амстердамскую синагогу и Дортрехтский синод,{259} во Франции — Сорбонну и Парижскую академию наук, в Италии — множество академий,{260} музеев и библиотек, в том числе Флорентийский музей, библиотеку святого Марка в Венеции и Византийскую библиотеку в Риме. Находясь в Риме, он колебался, не съездить ли, прежде чем держать путь на Восток, в Испанию и не обратиться ли за советом в знаменитый Саламанкский университет, но, опасаясь инквизиции, пред-

---

{259} Комментарии: 2.259

Дортрехтский синод. — В 1619 г. в голландском городе Дортрехте был созван большой церковный синод и были приняты основные положения, которыми руководствуется протестантская церковь Голландии.

{260} Комментарии: 2.260

...в Италии — множество академий... — В Италии начиная с XV столетия в разных городах стали организовывать научные и литературные общества, называвшие себя академиями.

почел отправиться в Турцию. Итак, он прибыл в Константинополь, где один эфенди дал ему за деньги возможность перелистать все книги мечети святой Софии.{261} Далее он побывал в Египте, у коптов; потом — у маронитов{262} горы Ливонской, у монахов горы Кармельской;{263} затем в Сане, в Аравии; потом в Исфагани, в Кандагаре, в Дели, в Агре. Наконец, после трех лет пути, он прибыл на берег Ганга, в Бенарес — эти Афины Индии, — где вел беседы с браминами. Его коллекция древних изданий, первопечатных книг, редких рукописей, копий, извлечений и всякого рода заметок стала самой значительной из всех, какие когда-либо собирались частным лицом. Достаточно сказать, что она составляла девяносто тюков весом в девять тысяч пятьсот сорок фунтов. Он собрался было уже в обратный

{261} Комментарии: 2.261

Мечеть святой Софии — знаменитый христианский храм в Константинополе, построенный в 532–537 гг.; после 1453 г. перестроен турками в мечеть.

{262} Комментарии: 2.262

Марониты — последователи одного из течений христианства, создавшие в Сирии и Ливане самостоятельную автокефальную церковь. По догматике близки к католикам.

{263} Комментарии: 2.263

…у монахов горы Кармельской… — То есть у кармелитов, членов одного из нищенствующих монашеских орденов; этот орден возник в XII в. на Ближнем Востоке и назван по горе в Сирии.

путь в Лондон со всем этим богатым научным багажом, очень довольный, что превзошел ожидания Королевского общества, как вдруг самая простая мысль преисполнила его печали.

Ему пришло на ум, что после бесед с еврейскими раввинами, протестантскими священниками, настоятелями лютеранских церквей, католическими учеными, академиками Парижа, Крускі,{264} Аркадии{265} и двадцати четырех других знаменитейших академий Италии, с греческими патриархами, турецкими муллами, армянскими начетчиками, персидскими сеидами и арабскими шейхами, древними парсами,{266} индийскими мудрецами ему не только не удалось пролить свет хотя бы на единый из трех тысяч пятисот вопросов Королевского общества, но что он только способствовал росту сомнений; а поскольку все эти вопросы были связаны между собой, отсюда следовало — в противовес мнению именитого председателя, — что неясность одного решения

{264} Комментарии: 2.264

Круска — флорентийская академия, созданная в 1582 г.

{265} Комментарии: 2.265

Аркадия — литературная академия, основанная в 1690 г. в Риме.

{266} Комментарии: 2.266

Парсы — то есть сторонники религии древних персов зороастризма (или парсизма).

затемняла очевидность другого, что истины наиболее явные становились вконец сомнительными и что вообще невозможно было установить ни одной истины в этом громадном лабиринте противоречивых ответов и утверждений.

Ученый убедился в этом с помощью простого перечня. В числе вопросов нужно было разрешить двести — о еврейской теологии, четыреста восемьдесят — о различиях в обрядах причащения церкви греческой и римской, триста двенадцать — о древней религии браминов, пятьсот восемь — о санскритском, или священном, языке, три — о современном положении индийского народа, двести одиннадцать — о торговле Англии в Индии, семьсот двадцать девять — о древних памятниках островов Элефанты и Сальсетты, находящихся по соседству с островом Бомбеем, пять — о древности мира, шестьсот семьдесят три — о происхождении серой амбры и о свойствах различных пород безоара,{267} один — о не исследованных еще причинах течений в Индийском океане, которые шесть месяцев движутся на восток, а шесть — на запад, триста шестьдесят восемь — об истоках и периодических разливах

{267} Комментарии: 2.267

Безоар — камневидные образования в желудках некоторых животных.

Ганга. А заодно ученому предлагалось собирать, находясь в пути, по возможности все касающееся истоков и разливов Нила, что занимало европейских ученых в течение стольких веков. Но он счел этот вопрос уже достаточно выясненным и к тому же чуждым своей задаче. Таким-то образом на каждый вопрос, предложенный Королевским обществом, он вез пять последовательных различных решений, которые на три тысячи пятьсот вопросов давали семнадцать тысяч пятьсот ответов; а, принимая во внимание, что каждый из девятнадцати его собратьев должен был также вернуться со столькими же ответами, Королевскому обществу предстояло, следовательно, преодолеть триста пятьдесят тысяч затруднений, прежде нежели утвердить какую-нибудь истину на прочном основании. Поэтому все собранное ими не только не свяжет воедино все гипотезы, как того требовали указания инструкции, но лишь разъединит их настолько, что уже нельзя будет их сблизить. Другая мысль еще сильнее удручала ученого, а именно: хотя он и соблюдал при своих кропотливых исследованиях все хладнокровие своей страны и свойственную ему самому вежливость, он все же нажил себе непримиримых врагов в большинстве ученых, которым

приводил свои доводы. «Что станет, — говорил он себе, — с покоем моих соотечественников, когда я привезу им в моих девяноста тюках вместо истины новые поводы к сомнениям и спорам?»

Он был уже совсем готов отплыть в Англию, полный раздумья и тоски, когда брамины Бенареса сообщили ему, что верховный брамин знаменитой пагоды Джагернаута, или Джагренаута, расположенной на берегу Ориссы, у моря, в одном из устьев Ганга, может единолично разрешить все вопросы Лондонского королевского общества. И действительно, это был самый знаменитый пандит, или ученый, о котором когда-либо слыхивали; к нему за советом стекались со всех концов Индии и иных государств Азии.

Английский ученый тотчас отбыл в Калькутту и обратился к директору Английской компании в Индии, который ради достоинства своей нации и во славу науки дал ему для поездки в Джагернаут носилки с алыми шелковыми занавесами и золотыми кистями, две смены сильных кули, или носильщиков, по четыре человека в каждой, двух грузчиков, одного водоноса, одного кули для переноски прохладительных напитков, одного — для трубки, одного — для зонтика, чтобы закрывать его от дневного солнца, одного масоляха,

или факельщика, на ночь, одного дровосека, двух поваров, двух верблюдов с погонщиками, чтобы везти его провиант и багаж, двух пеонов, или скороходов, чтобы оповещать о его прибытии, четырех сипаев, или всадников, верхами на персидских конях, в качестве эскорта, и одного знаменосца со знаменем, украшенным гербами Англии. Можно было принять ученого, столь богато снаряженного, за приказчика Индийской компании,{268} с той лишь разницей, что ученый, вместо того чтобы ехать за подношениями, сам намеревался делать их. Так как в Индии не являются с пустыми руками к сановным лицам, директор дал ему — в счет английской нации — хороший телескоп и персидский ковер для главы браминов, великолепные шитты для его жены и три куска китайской тафты красной, белой и желтой, на повязки его ученикам. Навьючив подарками верблюдов, ученый отправился в путь на своих носилках, взяв с собой книгу Королевского общества.

Дорогой он размышлял, какой вопрос первым задать главе джагернаутских браминов, а

{268} Комментарии: 2.268

Индийская компания — созданная в Англии организация, целью которой были завоевание и дальнейшая эксплуатация Индии и соседних с ней стран.

именно: не начать ли ему с одного из трехсот шестидесяти восьми вопросов, касающихся истоков и наводнений Ганга, или с вопроса, рассматривающего полугодовые чередования течений Индийского океана, что было бы полезно при исследовании периодических движений океана на всем земном шаре. Но хотя этот вопрос интересовал физику несравненно больше, чем все те, которые в течение стольких веков ставились по поводу истоков и разливов Нила, он не привлек еще внимания ученых Европы. Он счел поэтому за лучшее спросить брамина о том, был ли потоп всемирным, что возбуждало столько споров, или, воспаряя мыслями, правда ли, что солнце несколько раз меняло свое направление, восходя на западе и заходя на востоке, как утверждает учение египетских священников, переданное Геродотом; или даже — о времени сотворения земли, древность которой индийцы исчисляют в несколько миллионов лет. Он находил также, что было бы полезно расспросить его о наилучшем образе правления для нации и даже о правах человека, свода которых нет нигде; но этих последних вопросов не было в его книге.

«Впрочем, — говорил ученый, — прежде всего, кажется, нужно будет спросить индийского пан-

дита о том, как найти истину: если с помощью разума, как я до сих пор пытался это сделать, то ведь разум различен у всех людей; я должен также спросить его, где нужно искать истину: если в книгах, то ведь они противоречат друг другу; и, наконец, о том, нужно ли говорить людям истину, так как стоит лишь им ее высказать, как они становятся тебе врагами. Вот три предварительных вопроса, о которых не подумал наш почтенный председатель. Если джагернаутский брамин разрешит их, у меня будет ключ ко всем наукам и, что еще ценнее, я буду жить в мире с целым светом».

Так рассуждал с самим собой ученый. После десяти дней пути он достиг берегов Бенгальского залива; по дороге ему встретилось множество людей, возвращавшихся из Джагернаута, восхищенных ученостью главы пандитов, к которому ездили за советом. На одиннадцатый день, на рассвете, он увидел знаменитую Джагернаутскую пагоду, выстроенную на берегу моря, над которым, казалось, она господствовала своими высокими красными стенами, галереями, куполами и башнями из белого мрамора. Она высилась в центре девяти аллей вечнозеленых деревьев, которые расходились по направлению

к стольким же государствам. Каждая из этих аллей состояла из деревьев различных пород — капустных пальм, индийских дубов, кокосовых пальм, латаний, манговых, камфарных, бамбуковых, банановых и сандаловых деревьев — и шла по направлению к Цейлону, Голконде, Аравии, Персии, Тибету, Китаю, государству Ава, Сиаму и островам Индийского океана. Ученый прибыл к пагоде, проехав по бамбуковой аллее, которая шла вдоль берега Ганга и восхитительных островов, лежащих в его устье. Эта пагода, хотя и стояла в долине, была так высока, что увидел он ее ранним утром, а добрался до нее только к вечеру. Он был поистине поражен, когда разглядел вблизи ее великолепие и величие. Ее бронзовые двери блестели в лучах заходящего солнца, и орлы парили над ее шпилем, терявшимся в облаках. Она была окружена большими бассейнами из белого мрамора, которые отражали в глубине своих прозрачных вод ее купола, галереи и двери; вокруг тянулись просторные дворы и сады, замыкавшиеся высокими постройками, где жили брамины.

Скороходы ученого побежали доложить о нем. И тотчас же толпа молодых баядерок вышла из одного из садов и пошла к нему навстречу

с пением и плясками под звуки бубна. Вместо ожерелий на них были венки из цветов, а вместо поясов — гирлянды. Ученый, овеянный ароматами их благовоний, сопровождаемый их плясками и музыкой, подошел к дверям пагоды, в глубине которой при свете нескольких золотых и серебряных лампад он увидел изображение Джагернаута, седьмое воплощение Брамы, в виде пирамиды, без ног и без рук, которые он потерял, желая унести мир, дабы спасти его. У подножия его лежали, распростершись ничком, кающиеся: одни громко произносили обеты дать в день его праздника привязать себя за плечи к его колеснице, другие — задавить себя ее колесами. Хотя вид этих фанатиков, которые испускали глубокие стоны, произнося свои ужасные клятвы, внушал некоторый страх, ученый был уже готов войти в пагоду. Но тут старый брамин, охранявший двери, остановил его и спросил, что привело его сюда. Получив ответ, он сказал ученому, что в качестве франги, то есть нечистого, он не может предстать ни перед Джагернаутом, ни перед его верховным жрецом, прежде чем не будет трижды омыт в одной из купелей храма и пока на нем будет какое-либо изделие из шкуры животных, особенно же — из кожи коровы, ибо корова чтит-

ся браминами как священная, или же из кожи свиньи, ибо свинья считается ими мерзостной. «Как же мне быть? — спросил ученый. — Я привез в подарок главе браминов персидский ковер, шерсть ангорской козы и китайские шелковые ткани». — «Все вещи, — возразил брамин, — принесенные в дар храму Джагернаута или его верховному жрецу, очищаются самой жертвой, но это не относится к вашим вещам». Ученому пришлось снять с себя сюртук из английской шерсти, башмаки из козлиной кожи и касторовую шляпу. Затем старый брамин, трижды омыв его, одел в бумажные ткани цвета сандалового дерева и подвел ко входу в помещение главы браминов. Ученый хотел уже войти туда, держа под мышкой книгу Королевского общества, когда проводник спросил, во что переплетена его книга. «Она переплетена в телячью кожу», — ответил ученый. «Как! — воскликнул брамин, вне себя от возмущения. — Разве я не предупредил вас, что корова чтится браминами? Вы же осмеливаетесь предстать перед их главой с книгой, переплетенной в телячью кожу». Ученому пришлось бы пойти очиститься в Ганге, если бы он не устранил всех помех, дав несколько пагодэ, или золотых монет, своему проводнику. Книгу же с вопросами

он оставил в носилках. Впрочем, он утешился, сказав себе: «В конце концов, я должен задать всего лишь три вопроса этому индийскому ученому. Я буду счастлив, если он научит меня, как искать истину, где можно найти ее и нужно ли сообщать ее людям».

Итак, старый брамин ввел английского ученого, одетого в бумажные ткани, с непокрытой головой и босыми ногами, к верховному жрецу Джагернаута, в обширный зал, поддерживаемый колоннами из сандалового дерева. Стены зала, обмазанные глиной, смешанной с коровьим пометом, были зеленого цвета и такие блестящие и гладкие, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Пол был покрыт очень тонкими циновками шести шагов в длину, и стольких же — в ширину. В глубине зала находилось возвышение, окруженное балюстрадой из черного дерева; на этом возвышении сквозь решетку из индийского тростника, выкрашенного в красный цвет, можно было разглядеть почтенного главу пандитов, с длинной седой бородой и тремя лентами из бумажной материи, переброшенными через плечо, по обычаю браминов. Скрестив ноги, он сидел на желтом ковре в такой совершенной неподвижности, что даже не поводил глазами. Одни из

его учеников отгоняли от него мух опахалами из павлиньих хвостов, другие жгли в серебряных курильницах благовонное алоэ, а третьи очень мягко ударяли в тимпаны. Большинство остальных, среди которых были факиры, йоги и санты,{269} выстроилось в несколько рядов по обеим сторонам зала в глубоком молчании, устремив глаза в землю и скрестив на груди руки.

Ученый хотел было подойти поближе, чтобы приветствовать главу пандитов, но проводник удержал его на расстоянии девяти циновок, сказав, что омры, или знатные вельможи Индии, не подходят ближе; что раджи, или государи Индии, приближаются только на шесть циновок; принцы — сыновья Могола — на три, и лишь одному Моголу{270} разрешается приблизиться к почтенному главе настолько, чтобы поцеловать у него ноги.

Тем временем несколько браминов поднесли к самому подножию возвышения телескоп, шелковые ткани и ковры, которые слуги ученого

{269} Комментарии: 2.269

Санты — видимо, члены одной из религиозных сект, распространенной в Индии.

{270} Комментарии: 2.270

Могол. — Так назывались императоры Индии, принадлежавшие к монгольской династии.

разложили у входа в зал; а как только старый брамин бросил на них взгляд, не высказав ни малейшего признака одобрения, их унесли во внутренние покои.

Английский ученый уже собирался начать превосходную речь на индийском языке, но проводник предупредил его, что он должен ждать, пока верховный жрец задаст ему вопрос. Он заставил его, следуя обычаю страны, сесть на пятки, скрестив ноги, как портной. Ученый в глубине души роптал на все эти формальности. Но чего не сделаешь, чтобы найти истину, приехав за ней в Индию!

Как только ученый сел, музыка смолкла, и после нескольких минут глубокого молчания глава пандитов велел его спросить, зачем прибыл он в Джагернаут.

Хотя верховный жрец Джагернаута говорил на индийском языке достаточно явственно, чтобы быть услышанным участниками собрания, слова его были пересказаны одним цз факиров другому, который повторил их еще одному, а этот — третьему, который и передал их ученому. Последний ответил на том же языке, что он прибыл в Джагернаут спросить у главы браминов, по причине его великой известности, совета и узнать у него,

как можно познать истину. Ответ ученого был передан главе пандитов теми же посредниками, через которых был задан вопрос. Таким же путем велась и вся остальная беседа.

Старый глава пандитов, собравшись несколько с мыслями, ответил: «Истина может быть познана лишь с помощью браминов». При этом все собрание склонилось, восхищаясь ответом своего главы.

«Где нужно искать истину?» — с живостью продолжал английский ученый. «Истина, — ответил старый индийский ученый, — вся полностью заключена в четырех бэтах, написанных сто двадцать тысяч лет тому назад на санскритском языке, понимание которого доступно лишь браминам».

При этих словах зал огласился рукоплесканиями.

Ученый, к которому вернулось его обычное хладнокровие, сказал верховному жрецу Джагернаута: «Ежели бог заключил истину в книги, понимание которых доступно только браминам, — следовательно, бог отказал в знании ее большинству людей, не подозревающих даже о существовании браминов. Однако, если бы это было так, бог не был бы справедливым».

«Брама так пожелал, — возразил верховный жрец. — Нельзя ни в чем противоречить желанию Брамы». Рукоплескания собрания усилились. Как только они стихли, англичанин предложил свой третий вопрос: «Нужно ли сообщать людям истину?»

«Часто, — сказал старый пандит, — осторожность требует скрывать ее от всех; но ее должно говорить браминам».

«Как! — воскликнул разгневанный английский ученый. — Нужно говорить истину браминам, которые не говорят ее никому? Поистине брамины очень несправедливы».

При этих словах в собрании поднялся невообразимый шум. Оно безропотно выслушало, как обвиняли бога в несправедливости, но совсем иначе повело себя, услыхав упрек себе. Пандиты, факиры, санты, йоги, брамины и их ученики — все сразу хотели оспаривать английского ученого. Однако верховный жрец Джагернаута прекратил шум, ударив в ладоши и четким голосом заявив: «Брамины не уподобляются ученым Европы, они не спорят!» Потом, встав, он удалился под одобрительные возгласы всего собрания, которое открыто выражало ученому свое недовольство и, быть может, расправилось бы с ним, если бы не

страх перед англичанами, чье влияние всемогуще на берегах Ганга. Когда ученый вышел из зала, его проводник сказал: «Наш высокочтимый отец подарил бы вам, согласно обычаю, шербет, бетель и благовония, но вы разгневали его». — «Сердиться надобно мне, а не ему, — возразил ученый, — я потратил напрасно столько сил. На что может пожаловаться ваш глава?» — «Как! — возразил провожатый. — Ведь вы собирались вступить с ним в спор. Разве вы не знаете, что он оракул Индии и что каждое его слово — луч мудрости?» — «Я никогда не сомневался в этом», — ответил ученый, надевая сюртук, башмаки и шляпу.

В воздухе чувствовалась гроза, а приближалась ночь. Ученый попросил разрешения провести ее в одном из помещений пагоды, но ему отказали там в ночлеге по той причине, что он был франги. Так как происшедшее сильно его взволновало, он попросил пить. Ему принесли воду в кувшине, но, как только он выпил, кувшин разбили, потому что, будучи франги, он осквернил его тем, что из него пил. Крайне обиженный, ученый тотчас созвал своих слуг, благоговейно распростертых на ступенях пагоды, и, забравшись в свои носилки, пустился в обратный путь по бамбуковой аллее, тянувшейся вдоль моря. Ночь уже надвигалась,

и небо было покрыто тучами. Дорогой он говорил себе: «Индийская пословица совершенно справедлива: каждый европеец, приезжающий в Индию, научается терпению, если его не имеет, и теряет, если имеет. Что до меня, я потерял терпение. Неужели я так и не знаю, как найти истину, где найти ее, и нужно ли сообщать ее людям? Итак, повсюду на земле человек обречен на заблуждения и споры. Стоило же приезжать в Индию спрашивать советов у брамина!»

Пока ученый размышлял так, сидя в своих носилках, налетел один из тех ураганов, которые в Индии называют тайфунами. Ветер дул с моря и, вздымая воды Ганга, превращал их в пену, разбивая об островки в его устье. Он подымал с берегов столбы песка, и с лесов — тучи листьев и, смешав все, нес вдоль реки и селений, кидая высоко в воздух. Порой он врывался в бамбуковую аллею, и, хотя этот индийский тростник достигает вышины самых больших деревьев, он качал его, как степную траву. Сквозь столбы пыли и листьев был виден весь длинный волнующийся ряд этого тростника, то гнувшегося вправо и влево до самой земли, то со стоном поднимавшегося. Слуги ученого, опасаясь быть раздавленными тростником или затопленными

водами Ганга, уже вышедшего из берегов, пошли напрямик, через поля, держа путь к соседним возвышенностям. Между тем наступила ночь. Они шли уже три часа в полной темноте, не зная куда, как вдруг молния, рассекая тучи и озаряя весь горизонт, осветила далеко вправо Джагернаутскую пагоду, острова Ганга, волнующееся море и совсем близко долину и лесок меж двух холмов. Они побежали, чтобы укрыться там, и уже раздались мрачные раскаты грома, когда они достигли входа в долину. Она была окаймлена скалами и заросла старыми деревьями сказочной величины. Хотя буря гнула их кроны с ужасным воем, их чудовищные стволы оставались неподвижны, как окружающие скалы. Эта часть девственного леса казалась мирным приютом. Однако проникнуть туда было трудно. Индийский тростник, колыхавшийся у опушки, покрывал подножия этих деревьев, а лианы, перебрасывавшиеся от ствола к стволу, образовывали сплошную лиственную ограду, в зеленой гуще которой кое-где виднелись просветы, но куда не было входа. Телохранители ученого шашками прорубили проход, и все путники прошли им и пронесли носилки. Едва они сочли себя в безопасности, как хлынул ливень и тысячи потоков обрушились на них. Это

привело их в большое замешательство, но тут они увидели сквозь деревья, в самом узком месте долины, свет и хижину. Факельщик побежал туда, чтобы зажечь факел, но вскоре возвратился, еле переводя дыхание и крича: «Не приближайтесь: здесь парий!» Тотчас же вся свита в испуге закричала: «Парий! Парий!» Ученый, полагая, что это какое-нибудь дикое животное, схватился за пистолет. «Что такое парий?» — спросил он у факельщика. «Это, — ответил тот, — человек вне веры и закона». — «Это, — прибавил начальник телохранителей, — индиец, принадлежащий к такой презренной касте, что разрешается убить его, если он только коснется тебя. Если мы войдем к нему, нам нельзя будет в течение девяти лун шагу ступить ни в одну пагоду, и нам придется для очищения девять раз искупаться в Ганге и столько же раз с ног до головы быть омытыми браминами коровьей мочой». Все индийцы закричали: «Мы не войдем к парию!» — «Как узнали вы, — спросил ученый факельщика, — что ваш соотечественник парий, то есть вне веры и закона?»— «Когда я заглянул в хижину, — ответил факельщик, — я увидел, что он с собакой лежит на одной циновке с женой и подает ей пить из коровьего рога». Все люди из свиты ученого повто-

рили: «Мы не войдем к парию!» — «Оставайтесь здесь, если хотите, — сказал им англичанин, — а для меня все касты Индии безразличны, когда дело идет о том, чтобы найти убежище от дождя».

С этими словами он спрыгнул с носилок и, взяв под мышку книгу вопросов и дорожный мешок, а в руки — пистолет и трубку, один направился к дверям хижины. Лишь только он постучался, человек с кротким лицом открыл ему дверь и тотчас же попятился, сказав: «Сударь, я лишь бедный парий, недостойный принять вас. Но если вам угодно будет найти у меня убежище, вы окажете мне большую честь». — «Брат мой, — ответил англичанин, — я охотно воспользуюсь вашим гостеприимством».

Затем парий вышел с факелом в одной руке, корзинкой, полной кокосов и бананов, в другой и связкой сухих дров за спиной. Он подошел к людям ученого и сказал: «Так как вы хотите оказать мне честь и войти ко мне, то вот фрукты, они в кожуре, так что вы можете есть их, не оскверняясь, и вот огонь, который высушит вас и оградит вас от тигров. Да хранит вас бог!» Потом, не задерживаясь, он вернулся в хижину и сказал ученому: «Сударь, повторяю: я лишь бедный парий. Но поскольку, судя по вашей белой коже

и вашей одежде, вы не индиец, я надеюсь, что вы не побрезгуете пищей, которую предложит вам ваш покорный слуга». С этими словами он разложил на полу, на циновке, манго, иньями, жареные бананы, пататы, испеченные в золе, и поставил горшок с рисом, приправленным сахаром и кокосовым молоком. Затем он снова сел на циновку подле своей жены и ребенка, спавшего рядом с ней в колыбели.

«Добродетельный человек, — сказал ему англичанин, — вы гораздо достойнее меня, потому что вы делаете добро тем, кто презирает вас. Если вы не окажете мне чести и не сядете на эту циновку подле меня, я стану думать, что вы считаете меня злым человеком, и немедленно уйду из вашей хижины, пусть меня затопит дождь или растерзают тигры».

Парий сел на циновку подле своего гостя, и оба принялись за трапезу. А ученый наслаждался, чувствуя себя в безопасности среди бури. Хижина была чрезвычайно прочной. Она не только стояла в самом узком месте долины, но была построена под фиговым деревом, ветви которого, с пучками побегов, образуют множество сводов, поддерживающих главный ствол. Листва этого дерева была так густа, что не пропускала ни капли дождя, и,

несмотря на страшный рев бушевавшего урагана и врывавшиеся в него раскаты грома, дым от очага, выходящий прямо через крышу, и огонь в лампе даже не колебались. Ученый любовался спокойствием индийца и его жены, еще более глубоким, нежели спокойствие самой природы. Их ребенок, темный, блестящий, как черное дерево, спал в колыбели; мать качала ее ногой, а сама забавлялась, нанизывая для него ожерелье из красных и черных горошин. Отец бросал на обоих взгляды, исполненные нежности. Даже собака разделяла общее счастье: лежа вместе с кошкой возле огня, она время от времени полуоткрывала глаза и вздыхала, глядя на хозяина.

Как только англичанин закончил трапезу, парий предложил ему горящий уголек, чтобы зажечь трубку, и, в свою очередь закурив, сделал знак жене, которая поставила на циновку две чашки кокосового молока и большую тыквенную бутылку, наполненную пуншем, приготовленным ею во время ужина из воды, рисовой водки, лимонного сока и сока сахарного тростника.

Когда они так курили и пили, ученый сказал индийцу: «Я считаю вас одним из самых счастливых людей, которых мне случалось встречать, а следовательно — одним из умнейших. Разрешите

мне задать вам несколько вопросов. Что позволяет вам быть таким спокойным в такую ужасную бурю? Ведь вы укрыты лишь деревом, а деревья притягивают молнию». — «Никогда еще, — ответил парий, — молния не падала на фиговое дерево». — «Это очень любопытно, — продолжал ученый. — Причиной этому, конечно, то, что данное дерево, как и лавр, имеет отрицательное электричество». — «Не понимаю вас, — сказал парий, — но моя жена думает, что происходит это потому, что бог Брама однажды укрылся под его листвой; а я полагаю, что бог дал в этом грозовом климате фиговым деревьям густую листву и своды, чтобы люди могли найти убежище под ними от грозы, и не позволяет грому касаться их». — «Ваш ответ говорит о большой набожности, — сказал ученый. — Видимо, вера в бога приносит вам покой. Вера дает больше спокойствия, нежели знание. Скажите мне, пожалуйста, к какой секте принадлежите вы, ибо вас нельзя причислить ни к одной из индийских сект, поскольку ни один индиец не хочет иметь с вами общения. В списке ученых каст, которые я должен был исследовать на своем пути, я не нашел касты париев. В какой области Индии находится ваша пагода?» — «Повсюду, — ответил

парий. — Моя пагода — природа; я поклоняюсь создателю ее при восходе солнца и благословляю его, когда оно заходит. Обученный несчастьем, я никогда не отказываю в помощи более несчастным, чем сам. Я стараюсь сделать счастливой мою жену, ребенка и даже кошку и собаку. Я жду смерти в конце моей жизни, как сладкого сна в конце дня». — «В каких книгах почерпнули вы эти взгляды?» — спросил ученый. «В природе, — ответил индиец, — я не знаю другой». — «Ах, это великая книга! — сказал англичанин. — Но кто научил вас читать ее?» — «Несчастие, — ответил парий. — Принадлежа к презренной касте моей страны, лишенный права быть индийцем, я завоевал себе право быть человеком». — «Но в вашем одиночестве у вас есть по крайней мере какие-нибудь книги?» — «Ни одной, — сказал парий, — я не умею ни читать, ни писать». — «Вы избегли многих сомнений, — сказал ученый, потирая лоб. — Что до меня, то я был послан Англией, моей родиной, искать истину у ученых многих народов, дабы просветить людей и сделать их счастливее. Однако после бесплодных поисков и жестоких споров я убедился, что искание истины — безумие, ибо, найдя ее, не будешь знать, кому ее передать, если не хочешь нажить себе множе-

ство врагов. Скажите мне откровенно: согласны ли вы со мной?» — «Пусть я только невежда, — ответил парий, — но ежели вы уж позволяете мне высказать свое мнение, то я думаю, что каждый человек должен искать истину ради собственного счастья, иначе он станет скупым, тщеславным, подозрительным, злым, даже людоедом, согласно предрассудкам или интересам тех, кто поможет ему повыше подняться».

Ученый, который не переставал думать о трех вопросах, предложенных им главе пандитов, был восхищен ответом пария. «Поскольку вы полагаете, — сказал он, — что каждый человек должен искать истину, то скажите мне прежде всего, какими средствами нужно пользоваться, дабы найти ее, ибо наши чувства обманывают нас, а наш разум вводит в еще большие заблуждения. Разум различен почти у всех людей; он, полагаю я, в сущности отражает личные интересы каждого. Вот почему он так различен повсюду на земле. Нет двух верований, двух народов, двух племен, двух семей — да что я говорю! — нет двух людей, которые думали бы одинаково. Какими же из наших чувств надо искать истину, если разум здесь непригоден?» — «Я думаю, — ответил парий, — надо искать ее простым сердцем. Чувства

и ум могут обмануть нас, но простое сердце, хотя оно и доступно обману, никогда не обманет».

«Ваш ответ глубок, — сказал ученый. — Нужно прежде всего искать истину собственным сердцем, а не умом. Все люди чувствуют одинаково, а рассуждают по-разному, потому что основы истины — в природе, а выводы из них они делают в корыстных целях. Итак, нужно простым сердцем искать истину, ибо простое сердце никогда не станет притворяться, что слышит то, чего не слышит, и верит в то, во что не верит. Ему не для чего ни обманываться, ни обманывать других. Следовательно, простое сердце далеко не такое слабое, как сердца большинства людей, движимых корыстью, оно крепко и именно таково, каким должно быть, чтобы искать и хранить истину». — «Вы развили мою мысль гораздо лучше, чем это мог бы сделать я сам, — ответил парий. — Истина подобна небесной росе: чтобы сохранить ее чистой, нужно вливать ее в чистый сосуд».

«Это очень хорошо сказано. Вы искренний человек, — продолжал англичанин. — Но остается найти еще самое трудное. Где искать истину? Простое сердце зависит от нас — а истина зависит от других людей. Где же найти ее, если те, кто окружает нас, большей частью заражены пред-

рассудками или развращены своекорыстьем. Я побывал у многих народов, я рылся в их библиотеках, я совещался с их учеными, но повсюду нашел лишь противоречия, колебания и суждения, в тысячу раз более различные, нежели их языки. Если нельзя отыскать истину в знаменитейших хранилищах человеческих знаний, где же ее искать? К чему иметь простое сердце, живя среди людей, у которых ум лжив, а сердце порочно?» — «Я сомневался бы в правдивости такой истины, которую узнал бы только от людей. Совсем не среди них надо искать ее, а в природе. Природа — источник всего сущего. Язык ее не столь темен и различен, как язык людей и книг. Люди творят книги, а природа — вещи. Основывать истину на книгах — то же, что основывать ее на картине или статуе, что привлекает интерес только одной страны, который время к тому же меняет с каждым днем. Всякая книга — искусство людей, природа же — искусство бога».

«Вы совершенно правы, — сказал ученый, — природа — источник природных истин. Но где, если не в книгах, например, источник истин исторических? Как удостовериться сегодня в истинности события, случившегося две тысячи лет тому назад? Были ли те, кто рассказал нам

о нем, лишены предрассудков, были ли они беспристрастны, было ли у них простое сердце? А сами книги, которые передают нам это событие, разве они не нуждаются в переписчиках, в издателях, в комментаторах, в переводчиках, а все эти люди не искажают ли в большей или меньшей степени истину? Как вы справедливо заметили, книга — только дело рук человека. Значит, надо отказаться от всякой исторической истины, ибо ее можно установить лишь с помощью людей, которым свойственно заблуждаться». — «Имеет ли значение для нашего счастья, — сказал парий, — история минувших дней? История настоящего есть история того, что было, и того, что будет».

«Очень хорошо, — сказал англичанин. — Но вы не станете возражать, что нравственные истины необходимы для счастья человеческого рода. Как же найти их в природе? Ведь и животные враждуют, убивают и пожирают друг друга; даже стихии борются со стихиями. Неужели люди будут так же поступать друг с другом?» — «О нет! — возразил добрый парий. — Каждый человек найдет правила своего поведения в собственном сердце, если у него простое сердце. Природа вложила в него закон: не делайте другим того, чего не хотите, чтобы другие делали вам». — «Это верно, — от-

ветил ученый. — Природа согласовала интересы человеческого рода с нашими. Но религиозные истины — как обнаружить их среди стольких традиций и культов, которые разделяют народы?» — «В той же природе, — ответил парий. — Если мы будем глядеть на нее простым сердцем, мы увидим бога в его могуществе, мудрости и доброте. А то, что мы слабы, невежественны и презренны, этого достаточно, чтобы обязать нас чтить и любить его всю нашу жизнь, не пререкословя».

«Превосходно! — воскликнул англичанин. — Но теперь скажите мне: нужно ли, открыв истину, сообщать ее другим людям? Если вы ее обнародуете, вас будет преследовать бесчисленное множество людей, которые живут в заблуждении, уверяя, что оно и есть истина, а всё, чем пытаются это опровергнуть, само является заблуждением». — «Нужно, — сказал парий, — говорить правду людям, которые ищут ее, но не злым, которые отбрасывают ее. Истина — драгоценная жемчужина, а злой человек — крокодил, который не может вдеть ее в уши, потому что их у него нет. Если вы бросите жемчужину крокодилу, то, вместо того чтобы украсить себя ею, он захочет ее сожрать, сломает себе зубы и в ярости бросится

на вас».

«Мне остается сделать вам только еще одно возражение, — заметил англичанин, — а именно: из сказанного вами следует, что люди осуждены на ошибки и, хотя истина им необходима, они преследуют тех, от кого ее узнают: кто же из ученых осмелится просветить их?» — «Тот, — ответил парий, — кто сам преследует людей, чтобы они узнали ее: несчастие». — «О, на этот раз, — возразил англичанин, — я думаю, что вы, человек природы, ошибаетесь. Несчастие делает людей суеверными. Оно подавляет сердце и ум. Чем несчастнее люди, тем они более подлы, более легковерны и приниженны». — «Это значит, что они недостаточно несчастны, — возразил парий. — Несчастье подобно Черной горе Бембера, на границе знойного царства Лахор. Пока вы всходите на нее, вы видите перед собой лишь голые скалы, но когда вы дошли до вершины, вы видите небо над своей головой, а у ног — Кашмирское царство».

«Прелестное и верное сравнение! — сказал ученый. — У каждого человека действительно в жизни есть своя гора, на которую он должен взойти. Ваша гора, добродетельный отшельник, была, должно быть, очень крутой, ибо вы под-

нялись выше всех людей, которых я знаю. Вы, разумеется, были очень несчастны. Но объясните мне, почему вашу касту так презирают в Индии, а касту браминов так чтят? Я возвращаюсь от главы браминов Джагернаутской пагоды, который мыслит не больше, чем его идол, но заставляет чтить себя, как бога». — «Это оттого, — ответил парий, — что брамины утверждают, будто при сотворении они вышли из головы Брамы, а парии — из его ног. Они говорят еще, что Брама, странствуя, однажды попросил поесть у одного пария, и тот предложил ему человеческого мяса. С тех пор их каста почитается, а наша проклята по всей Индии. Нам не дозволено приближаться к городам, и каждый наир или рейспут может убить нас, если мы только приблизимся к нему на расстояние дыхания». — «Клянусь святым Георгием, — воскликнул англичанин, — это очень бессмысленно и очень несправедливо! Как могли брамины убедить в подобной глупости индийцев?» — «Внушая с детства, — сказал парий, — и беспрестанно повторяя им ее: люди обучаются как попугай». — «Несчастный, — сказал англичанин, — как удалось вам выбраться из пропасти бесчестия, в которую вас ввергли брамины при рождении? Я не знаю ничего более

ужасного для человека, как сделать его подлым в его собственных глазах; это значит отнять у него самое первое из утешений, ибо вернейшее из всех — это углубиться в самого себя».

«Я спросил себя сперва, — ответил парий, — верна ли история бога Брамы. Только брамины, заинтересованные в том, чтобы приписать себе божественное происхождение, рассказывают ее. Они, конечно, выдумали, будто какой-то парий хотел сделать Браму людоедом, дабы отомстить париям, которые отказываются верить в их святость. Затем я сказал себе: предположим, что случай этот истинен; но ведь бог справедлив — он не может признать виновным всю касту за преступление одного из ее членов, если каста не совершала его. Но, даже предположив, что вся каста париев принимала участие в том преступлении, все же потомки тех париев не причастны к нему; бог не наказывает детей за грехи предков, которых они никогда не видели, как не наказывает предков за грехи правнуков, которые еще не родились. Предположим все же, что я несу теперь наказание за пария, изменившего своему богу много тысячелетий назад, хотя я и не принимал участия в его преступлении. Разве может существовать что-либо ненавистное богу, чего

бы господь тотчас же не уничтожил? Если бы я был проклят богом, ни одно из моих насаждений не выросло бы. Наконец я сказал себе: предположим, что меня ненавидит бог, делающий добро мне. Я постараюсь стать ему угодным, делая, по его примеру, добро тем, кого я должен был бы ненавидеть».

«Однако, — спросил его англичанин, — как же вы все-таки жили, будучи отвергнутым всеми?» — «Прежде всего, — ответил индиец, — я сказал себе: если все враги тебе — будь сам себе другом. Твое несчастье не превышает сил человека. Как бы ни был силен дождь, на маленькую птичку не упадет сразу больше одной капли. Я бродил по лесам и вдоль рек в поисках пищи, но чаще всего я находил лишь дикие плоды и должен был опасаться хищных зверей. Так я узнал, что природа почти ничего не уготовила для одинокого человека и что она связала мое существование с тем самым обществом, которое выбросило меня из своей среды. Я стал ходить тогда на заброшенные поля, которых очень много в Индии, и всегда находил там съедобные растения, пережившие разорение того, кто взрастил их. Так странствовал я из края в край, зная, что повсюду найду пропитание на одичавших землях. Найдя

семена каких-либо полезных растений, я снова засевал их, говоря: если это не для меня, то для других. Я чувствовал себя менее несчастным, видя, что могу сделать хоть немного добра. Мне очень хотелось одного: побывать в каких-нибудь городах. Я любовался издали их стенами и башнями, необычайным скоплением лодок на реках, караванами, нагруженными товарами, на дорогах и тянущимися сюда со всех концов земли, воинскими отрядами, прибывающими из отдаленных провинций для смены караула, шествиями послов с их многочисленной свитой, приезжающих из чужеземных государств, дабы оповестить о радостном событии либо заключить союз. Я приближался, насколько мне было дозволено, к их предместьям, вглядываясь с удивлением в столбы пыли, поднятые таким множеством путешественников, и я дрожал от желания войти в город, слыша тот глухой шум, который исходит от больших городов и на соседних полях кажется рокотом волн, разбивающихся о морской берег. Я говорил себе: соединение людей столь различных сословий, которые делают общим достоянием свою промышленность, свое богатство и свои источники радости, должно превратить город в обитель наслаждения. Но если

мне не дозволено приблизиться к нему днем, то кто помешает мне войти в него ночью? Слабая мышь, у которой столько врагов, под прикрытием темноты бежит то туда, то сюда, куда ей вздумается. Она переходит из хижины бедняка во дворец царей. Чтобы наслаждаться жизнью, ей достаточно света звезд. Для чего же мне свет солнца? Таким размышлениям предавался я в окрестностях Дели. Это придало мне такую смелость, что с наступлением ночи я вошел в город. Я проник в него через Лахорские ворота. Сперва я миновал длинную пустынную улицу, вдоль которой слева и справа шли дома, окаймленные террасами и опирающиеся на своды, под которыми находились лавки торговцев. Тут и там мне встречались большие караван-сараи, крепко запертые, и большие базары и рынки, где царил глубочайший покой. Приближаясь к центру города, я пересек восхитительный квартал омров, застроенный дворцами и засаженный садами вдоль Гемны. Здесь все оглашалось звуками музыкальных инструментов и песнями баядерок, плясавших на берегу реки при свете факелов. Я приблизился к воротам одного из садов, чтобы насладиться столь сладостным зрелищем, но меня оттолкнули рабы, прогонявшие оттуда бедняков

ударами палок. Удаляясь от квартала знати, я прошел мимо нескольких пагод моих единоверцев, где множество несчастных, распростершись на земле, проливали слезы. Я поспешил убежать при виде этих твердынь суеверия и страха. Далее пронзительные голоса мулл, возвещавших с высоты небес ночные часы, дали мне понять, что я нахожусь у подножия минарета какой-то мечети. Поблизости были фактории и шатры европейцев, и сторожа беспрестанно кричали: „Кабердар!“ — „Берегись!“ Затем я прошел мимо большого здания, в котором по доносившимся оттуда звону цепей и стонам я узнал тюрьму. Вскоре я услышал крики боли у большой больницы, откуда вывозили повозки, нагруженные трупами. По дороге мне встретились воры, бежавшие вдоль улиц, сторожевые патрули, гнавшиеся за ними, толпы нищих, которые, презрев удары бамбуковых палок, выпрашивали, стоя у дверей дворцов, остатки пиршеств, и повсюду женщины, открыто торговавшие собой, зарабатывая этим на жизнь. Наконец, после долгого пути, я вышел той же улицей на громадную площадь, окружавшую крепость, где живет Великий Могол. На ней были разбиты палатки раджей или набобов его стражи и их конников, отличавшихся друг от друга

факелами, знаменами и длинными палками с хвостами тибетских коров на концах. Широкий ров, наполненный водой и уставленный орудиями, опоясывал и площадь, и крепость. Я рассматривал при свете сторожевых огней башни замка, подымавшиеся до облаков, и длинные стены, терявшиеся за горизонтом. Мне очень хотелось проникнуть туда, но большие кари, или бичи, развешанные на столбах, отняли у меня желание даже вступить на площадь. Я оставался на одном из ее концов, возле негров-рабов, позволивших мне отдохнуть подле огня, вокруг которого они сидели. Отсюда я с восхищением рассматривал императорский дворец и говорил себе: вот где живет счастливейший из людей! Повиноваться ему призывает столько религий! Ради его славы приезжает столько послов! Ради его сокровищниц истощается столько провинций! Ради удовлетворения его страстей странствует столько караванов, и ради его безопасности столько вооруженных людей бодрствует в безмолвии!

Меж тем как я рассуждал так, громкие крики радости разнеслись по всей площади, и я увидел, как прошло восемь верблюдов, украшенных флагами. Я узнал, что они несли головы мятеж-

ников, которые генералы Могола посылали ему из провинции Декан, где один из его сыновей, назначенный им губернатором, в течение трех лет вел против него войну. Немного погодя прискакал во весь опор курьер верхом на дромадере. Он прибыл, чтобы оповестить о потере одного пограничного индийского города вследствие измены кого-то из градоправителей, сдавшего его персидскому царю. Не успел этот курьер удалиться, как другой, посланный губернатором Бенгалии, принес известие, что европейцы, которым император ради процветания промышленности даровал фактории в устьях Ганга, выстроили там крепость и завладели судоходством по реке. Спустя несколько минут после прибытия этих двух курьеров из дворца вышел офицер во главе гвардейского отряда. Могол приказал ему отправиться в квартал омров и привести оттуда, заковав их в цепи, трех вельмож, обвинявшихся в единомыслии с врагами государства. По его приказанию был арестован накануне мулла, который в своих проповедях восхвалял персидского царя и открыто называл индийского императора неверным, потому что, нарушая закон Магомета, он пьет вино. Уверяли, что он приказал задушить и бросить в Гемну одну из своих жен и двух капи-

танов своей гвардии, уличенных в том, что они участвовали в восстании, поднятом его сыном. Пока я размышлял об этих печальных событиях, высокий огненный столб поднялся внезапно над кухнями гарема; столбы дыма смешались с облаками, и красный свет осветил башни крепости, ее рвы, площадь, минареты мечетей — все вплоть до самого горизонта. Тотчас же большие медные литавры и карны, или гобои, гвардейцев с ужасающим шумом забили тревогу. Эскадроны кавалерии рассыпались по городу, выбивая двери в соседних с дворцами домах и сильными ударами бичей принуждая людей бежать на пожар. Тут я на себе испытал, сколь соседство сильных мира сего опасно для людей маленьких. Великие мира сего подобны огню, который пожирает даже тех, кто его разжигает, если они слишком близко к нему подходят. Я хотел скрыться, но все улицы, ведущие от площади, были загромождены. Было бы невозможно выбраться, если бы милостью божьей та часть, где находился я, не оказалась занятой гаремом. Евнухи увозили оттуда жен на слонах, и это облегчило мне бегство, ибо, если повсюду стража ударами бичей принуждала людей спешить на помощь ко дворцу, слоны ударами хоботов отгоняли их оттуда. Так, преследуемый то

одними, то другими, я выбрался из этого ужасного хаоса и при свете пожара достиг противоположного края города — предместья, где под кровлями лачуг, вдали от вельмож, простой народ мирно отдыхал от трудов своих. Там я впервые вздохнул свободно. Я сказал себе: вот я видел город, я видел обитель властителей народа. О, скольких властители, сами они лишь рабы! Даже в часы отдыха они остаются во власти страстей, тщеславия, суеверия и алчности. Им и во сне надо остерегаться подлых и презренных людишек, толпами которых они окружены: воров, нищих, куртизанок, поджигателей — вплоть до своих солдат, вельмож и священников. Каков же город днем, если он так тревожен ночью! Несчастия людей зреют на почве наслаждений. Какой же жалости заслуживает император, над которым тяготеет все это! Он должен опасаться внутренних и внешних войн, страшиться даже тех, кто является его утешением и защитой, — своих генералов, своей гвардии, своих мулл, своих жен и детей. Рвы его крепости не смогут рассеять призраков суеверия, и слоны его, столь хорошо обученные, не смогут отогнать от него черные заботы. А я — я ничего этого не боюсь! Ни один тиран не властен ни над моим телом, ни над моей душой. Я могу служить

богу, как мне велит совесть, и мне нечего бояться никого из людей, разве только себя самого. Поистине парий менее несчастен, чем император! Тут слезы выступили у меня на глазах, и, упав на колени, я возблагодарил небо, которое, дабы научить меня переносить несчастия, показало мне горести еще более нестерпимые, нежели мои.

С тех пор я стал посещать лишь предместья Дели. Я наблюдал оттуда, как звезды освещали жилища людей и смешивались с их огнями, словно небо и город составляли единое владение. Когда луна освещала эту картину, мне виделись иные краски, нежели днем. Я любовался башнями, домами, деревьями, одновременно и посеребренными, и темными, которые отражались далеко в водах Гемны. Я бродил спокойно по большим, уединенным и молчаливым кварталам, и мне казалось тогда, что весь город принадлежит мне. А между тем люди отказали бы мне в горсти риса: таким ненавистным делала меня религия! И вот, лишенный возможности найти пищу у живых, я стал искать ее у мертвых. Я уходил на кладбище и питался на могилах яствами, принесенными благочестивыми родственниками. В этих местах я любил размышлять. Я говорил себе: здесь город покоя, здесь исчезли могущество и гордость,

невинность и добродетель здесь в безопасности. Здесь умирают все страхи жизни и самый страх смерти. Здесь постоялый двор, где возница навек распряг коней, где отдохнет и парий. Эти размышления сделали для меня смерть желанною, и я стал презирать все земное. Я наблюдал, как на востоке поминутно занимались вереницы звезд, и хотя судьбы их были мне неизвестны, я чувствовал, что они неразрывны с людскими. И если многое, что подчинено им в природе, им невидимо, она по крайней мере съединила с ними тех, кого они видят. Так, вместе со светилами, поднималась моя душа на небосклон и, когда утренняя заря придавала их вечному и нежному мерцанию свою розовую окраску, я чувствовал себя у врат неба. Но едва лучи ее золотили верхушки пагод, я исчезал, как тень. Я уходил подальше от людей отдыхать в поля, где у подножия дерева засыпал под пение птиц».

«Чувствительный и несчастный человек, — сказал англичанин, — ваш рассказ очень трогателен. Поверьте мне: большинство городов заслуживает, чтобы их видели только ночью. В сущности, есть в природе ночные красоты, которые отнюдь не менее трогательны; один

знаменитый поэт моей родины{271} только их и воспевал. Но скажите мне, как же достигли вы того, что стали счастливы при свете дня?»

«Это уже много — быть счастливым ночью, — ответил индиец. — Природа похожа на красивую женщину, которая днем являет черни лишь красоту своего лица, а ночью открывает тайные прелести свои возлюбленному. Но если у уединения есть свои утехи, то есть и изъяны. Оно представляется несчастному тихой пристанью, откуда он спокойно наблюдает, как бурлят страсти других людей. Но, меж тем как он радуется своей незыблемости, время увлекает его самого. Поток лет нельзя остановить, он равно уносит и того, кто борется с ним, и того, кто ему отдается, мудрого и глупого, и оба приходят к концу дней своих, один — пресытившись, другой — не насладившись ими. Я не хотел быть умнее природы, не хотел искать счастия вне законов, кои она предписала людям. Особенно жаждал я друга, которому мог бы поведать свои радости и печали. Я долго искал его среди своих ближних. Но встречал лишь завистников. Все же мне удалось

{271} Комментарии: 2.271

…один знаменитый поэт моей родины… — Речь идет об английском поэте Эдуарде Юнге (1683–1765), авторе стихотворного цикла «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745).

найти друга чувствительного, преданного, благородного и чуждого предрассудков. По правде сказать, я нашел его не среди людей, а среди животных. То была собака, которую вы видите тут. Ее бросили безжалостно на углу улицы, где она чуть было не издохла с голоду. Она возбудила во мне сострадание. Я приучил ее, она привязалась ко мне, и в ней обрел я неразлучного товарища. Но этого было недостаточно: мне нужен был друг более несчастный, чем собака, который изведал бы все зло человеческого общества и помог бы мне сносить его, который желал бы лишь благ природы и с которым я мог бы наслаждаться ими. Только переплетаясь, два слабых деревца противостоят буре. Провидение исполнило мое желание, даровав мне добрую жену. У источника своих несчастий нашел я источник своего счастья. Однажды ночью, когда я находился на браминском кладбище, я увидел при свете луны молодую браминку, наполовину скрытую желтым покрывалом. При виде женщины, в которой текла кровь моих мучителей, охваченный страхом, я хотел отойти, но, разглядев, чем она занята, подошел к ней. Она клала пищу на холм, покрывавший пепел ее матери, незадолго перед тем заживо сожженной вместе с телом ее отца,

по обычаю их касты; она возжигала фимиам, чтобы вызвать ее тень. Слезы выступили у меня на глазах при виде существа еще более несчастного, нежели я сам. Я сказал себе: увы, узы бесчестия связали меня, тебя же — узы почета. Но я по крайней мере живу спокойно на дне моей пропасти, а ты — в вечном трепете на краю своей. Та же судьба, которая отняла у тебя мать, грозит похитить однажды и тебя. Тебе дана всего одна жизнь, а ты должна умереть дважды. Если собственная твоя смерть не сведет тебя в могилу, то смерть твоего супруга сведет тебя туда в расцвете сил. Я плакал; плакала и она. Наши глаза, орошенные слезами, встретились и заговорили друг с другом, как глаза двух обездоленных. Она отвернулась, закуталась в свое покрывало и удалилась. На следующую ночь я пришел к тому же месту. На этот раз она положила больше пищи на могилу матери. Она решила, что я нуждаюсь в ней. И так как брамины часто отравляют погребальные яства, чтобы помешать париям съедать их, она принесла только фрукты, дабы успокоить меня. Я был растроган таким выражением человеколюбия, и, чтобы засвидетельствовать свое уважение к ее дочерним приношениям, я не тронул ее фруктов, а присоединил к ним цветы. То были маки,

выражавшие участие, которое я принимал в ее скорби. На следующую ночь я с радостью увидел, что она приняла мои знаки почтения. Маки были политы, и она положила новую корзину с фруктами на некотором расстоянии от могилы. Жалость и благодарность сделали меня смелым. Не смея говорить с ней как парий из страха навлечь на нее позор, я решил как мужчина открыть ей все те чувства, которые она вызвала в моей душе. По обычаю индийцев, чтобы быть понятым, я избрал язык цветов. Я прибавил к макам ноготки. На другую ночь я нашел мои маки и ноготки окропленными водой. На следующую ночь я стал более смелым и присоединил к макам и ноготкам цветок фульсапата, который служит сапожникам для окраски кожи в черный цвет, в знак смиренной и несчастной любви. На другой день, лишь только рассвело, я поспешил к могиле, но увидел, что фульсапат засох, потому что он не был полит. На следующую ночь я с трепетом положил тюльпан, красные лепестки и черная сердцевина которого олицетворяли сжигавший меня огонь. На другой день я нашел тюльпан в том же состоянии, что и фульсапат. Я был подавлен и глубоко опечален. Однако через день я принес туда бутон розы с шипами как сим-

вол моих надежд, смешанных с опасениями. Но каково же было мое отчаяние, когда при первых же утренних лучах я увидел свой розовый бутон на далеком расстоянии от могилы! Я думал, что лишусь рассудка. Будь что будет, теперь я решил заговорить с ней. На следующую ночь, лишь только она появилась, я бросился к ее ногам, но, не нарушая запретной черты, протянул ей свою розу. Она заговорила и сказала мне: „Несчастный, ты говоришь мне о любви, а меня скоро не будет! По примеру моей матери я должна следовать на костер за моим мужем, который скончался. Он был стар, я вышла за него замуж ребенком. Прощай, удались и забудь меня. Через три дня я буду лишь горсточкой пепла“. Произнеся эти слова, она вздохнула, а я, удрученный горем, сказал ей: „Бедная браминка, природа расторгла узы, наложенные на вас обществом. Попробуйте же порвать узы суеверия. Вы сможете сделать это, взяв меня в мужья“. — „Что? — воскликнула она плача. — Мне избегнуть смерти, чтобы жить с тобой в позоре? Ах, если ты меня любишь, дай мне умереть!“ — „Не дай мне бог, — вскричал я, — избавить вас от ваших несчастий для того, чтобы навлечь на вас мои! Дорогая браминка, бежим вместе в леса! Лучше довериться тиграм, нежели

людям. Небо, на которое я возлагаю надежду, не оставит нас. Бежим: любовь, ночь, твое несчастье, твоя невинность — все благоприятствует нам. Спешим же, несчастная вдова: уже готовится костер тебе, и мертвый твой супруг зовет тебя. Бедная загубленная лиана, обопрись на меня, я буду твоей пальмой!“ Тогда она бросила, глубоко вздохнув, взгляд на могилу матери, потом на небо и, вложив одну руку в мою, приняла другой от меня розу. Я тотчас же взял ее под руку, и мы тронулись в путь. Я кинул ее покрывало в Ганг, дабы ее родные думали, что она утопилась. Мы шли в течение нескольких ночей вдоль реки, прячась днем на рисовых плантациях. Наконец мы достигли этой области, которую некогда обезлюдила война. Я проник в глубину леса, где выстроил эту хижину и насадил маленький сад. Мы живем здесь очень счастливо. Я чту свою жену как солнце и люблю ее как луну. В нашем уединении мы заменяем друг другу все; свет презирал нас, но взаимное уважение, похвалы, которые я расточаю ей, а она мне, нам куда приятнее одобрений толпы людей». При этих словах он поглядел на своего ребенка в колыбели и на жену, которая проливала слезы радости.

Ученый, в свою очередь утирая слезы, сказал

хозяину: «Поистине то, что в почете у людей, заслуживает часто презрения, а то, что презирается ими, часто достойно почитания. Но бог справедлив. Вы в тысячу раз счастливее в вашей безвестности, чем глава джагернаутских браминов во всей своей славе. Он так же, как и его каста, подвержен всем превратностям судьбы. На браминов обрушиваются по большей части бедствия внутренних и внешних войн, которые разоряют вашу прекрасную страну в течение стольких веков. Именно к ним обращаются зачастую, чтобы принудить страну к контрибуции, ибо известно влияние их на общественное мнение. Но самым худшим для них является то, что они становятся первыми жертвами своей бессердечной религии. Стремясь возбудить страх, они сами проникаются им до потери чувства правды, справедливости, человеколюбия, милосердия. Они связаны цепями суеверия, в которых хотят держать своих соотечественников. Они поминутно вынуждены мыться, очищаться, и им надобно воздерживаться от многих невинных наслаждений. Наконец, о чем нельзя говорить без содрогания, вследствие их варварского учения у них на глазах заживо сжигают их родственниц, матерей, сестер и дочерей. Так карает их природа, законы которой

они нарушили. А вы — вы можете быть искренним, добрым, справедливым, гостеприимным, верующим, избегая, благодаря своему унижению, ударов судьбы и дурных толков».

По окончании беседы парий простился с гостем, чтобы дать ему отдохнуть, и удалился вместе с женой и колыбелью ребенка в соседнюю комнату.

На следующий день, на рассвете, ученый был разбужен пением птиц, свивших себе гнезда в ветвях индийского фигового дерева, и голосами пария и его жены, которые совместно творили утреннюю молитву. Он встал и был очень огорчен, увидев, когда парий и его жена открыли дверь, чтобы пожелать ему доброго утра, что в хижине не было другой постели, кроме супружеской, и что они бодрствовали всю ночь, уступив ему ее. Сказав ему «салям», они поспешили приготовить для него завтрак. В ожидании ученый прошелся по саду. Оказалось, что сад, как и хижина, был окружен сводами индийских фиговых деревьев, которые так переплелись, что образовали изгородь, непроницаемую даже для глаз. Он разглядел лишь над ее листвой красные склоны уступов, подымавшихся кругом по равнине; оттуда бежал родник, который орошал этот беспорядочно насаженный сад. В нем вперемежку

росли апельсины, кокосы, бананы, манговые и другие плодовые деревья, отягощенные цветами и плодами вплоть до самых стволов. Хотя большинство деревьев было еще в тени, первые лучи утренней зари уже освещали их макушки. Там порхали колибри, блистая, как рубины и топазы, меж тем как бенгальские воробьи-многоголоски, спрятавшись под влажной листвой, оглашали из гнезд воздух своим нежным пением.

Ученый гулял под этой восхитительной тенистой листвой, забыв о науке и честолюбивых замыслах. Вскоре парий пришел просить его к завтраку. «Ваш сад восхитителен, — сказал англичанин. — Я не нахожу в нем других недостатков, кроме того, что он слишком мал. На вашем месте я разбил бы рядом лужайку и протянул его дальше к лесу». — «Сударь, — ответил парий, — чем меньше занимаешь места, тем лучше ты скрыт. Одного листа достаточно для гнезда птицы-мушки». С этими словами они вошли в хижину, где застали жену пария, которая, сидя в углу, кормила ребенка грудью. Она прислуживала им за завтраком. После молчаливой трапезы ученый стал готовиться к отъезду. «Гость мой, — сказал ему индиец, — поля еще затоплены ночным дождем, дороги непроходимы; проведите этот день

с нами». — «Я не могу, — ответил ученый, — со мной слишком много людей». — «Я вижу, — возразил парий, — вы спешите покинуть страну браминов, чтобы вернуться в страну христиан, религия которых побуждает людей жить по-братски». Ученый со вздохом поднялся. Тогда парий сделал знак жене, и она, опустив глаза, безмолвно подала ученому корзину с цветами и фруктами. А парий, взяв слово вместо жены, сказал англичанину: «Сударь, простите нашу бедность, у нас нет ни амбры, ни алоэ, чтобы воскурить благовоние перед гостем, по индийскому обычаю. У нас есть лишь цветы и фрукты. Но я надеюсь, что вы не захотите пренебречь этой маленькой корзинкой, наполненной руками моей жены. В ней нет ни маков, ни ноготков, но есть жасмины и бергамоты, выбранные за устойчивость запаха, — символ нашей преданности, которую мы сохраним даже тогда, когда больше не будем вас видеть». Ученый взял корзину и сказал: «Я не могу достаточно отблагодарить вас за гостеприимство и выразить все уважение, которое к вам питаю. Примите эти золотые часы, они от Грэхема,{272} знаменитейше-

{272} Комментарии: 2.272

Грэхем, Джордж (1675–1751) — английский изобретатель, предложивший в 1722 г. важное техническое усовершенствование, улучшавшее ход часов.

го лондонского часовщика. Их заводят лишь один раз в год». Парий ответил ему: «Сударь, нам нет надобности в часах, у нас есть часы, которые идут, не останавливаясь, и никогда не портятся: это солнце». — «Мои часы отбивают время». — «Для нас это делают птицы», — возразил парий. — «По крайней мере, — сказал ученый, — примите эту нить кораллов, чтобы сделать красные ожерелья для вашей жены и ребенка». — «У моей жены и ребенка, — ответил индиец, — не будет недостатка в красных ожерельях, покуда в нашем саду не переведется ангольский горох». — «Примите тогда эти пистолеты, — сказал ученый, — чтобы защищаться от воров в вашем уединении». — «Бедность, — сказал парий, — вот крепость, защищающая нас от воров. Серебра, которым украшено ваше оружие, было бы достаточно, чтобы привлечь их. Ради господа бога нашего, который хранит нас и на воздаяние которого мы уповаем, не отнимайте у нас награды за наше гостеприимство». — «Все же, — возразил английский ученый, — мне хочется, чтобы у вас сохранилось что-нибудь на память обо мне». — «Хорошо, гость мой, — ответил парий, — раз вы этого желаете, то я осмелюсь предложить вам обмен: дайте мне вашу трубку и примите мою.

Когда я буду курить из вашей, я буду вспоминать, что европейский пандит не презрел гостеприимства бедного пария». Тотчас же англичанин протянул ему свою трубку из английской кожи и с мундштуком из желтого янтаря и получил в обмен бамбуковую трубку пария с глиняным чубуком.

Затем он позвал своих людей, за ночь сильно продрогших и не выспавшихся, и, обняв пария, сел в носилки. Жена пария плакала у дверей хижины, держа на руках ребенка, а муж проводил ученого до опушки леса, напутствуя его благословениями: «Да вознаградит вас господь за вашу доброту к несчастным! Пусть буду я пред ним жертвой за вас, пусть он благополучно доставит вас в Англию, в эту страну ученых и друзей, которые ищут правду по всему свету, для того чтобы сделать людей счастливее!» — «Я объездил половину земного шара, — ответил ему ученый, — и видел повсюду лишь заблуждение и раздор. Истину и счастие я нашел лишь в вашей хижине». С этими словами они расстались, проливая слезы. Ученый был уже далеко, но все еще видел у подножия дерева доброго пария, который махал ему на прощание рукой.

Возвратившись в Калькутту, ученый отпра-

вился дальше в Шандернагор, откуда отплыл в Англию. Прибыв в Лондон, он передал девяносто тюков своих манускриптов председателю Королевского общества, который поместил их в Британский музей, где ученые и литераторы по сей день еще переводят их, извлекают из них нужное для похвальных слов, диатриб, критических статей и памфлетов. Что же касается ученого, то он сохранил для себя лишь три ответа пария об истине. Он часто курил свою трубку, и, когда его спрашивали, что наиболее полезного узнал он в своих странствованиях, он отвечал: «Истину нужно искать простым сердцем. Ее находишь лишь в природе. Надо сообщать ее только честным людям». К этому он добавлял еще: «Счастие находишь лишь с доброй женой».

КОММЕНТАРИИ

ФЕНЕЛОН

(1651–1715)

Франсуа Салиньяк де Ла Мот-Фенелон принадлежал к старинной французской аристократической семье и появился на свет в родовом замке в провинции Перигор. Среди предков будущего писателя было немало видных государственных деятелей — военачальников, наместников провинций, прелатов; один из них, некий Юг де Салиньяк, в конце XI в. принимал участие в Первом крестовом походе. Тем не менее семья была бедной, к тому же многодетной, и Фенелон до двенадцати лет воспитывался дома. Затем он провел два года в иезуитском коллеже в Кагоре, чтобы, перебравшись в 1665 г. в Париж, поступить в коллеж Плесси, где он учился еще пять лет. Эти годы стали решающими в его жизни: был не просто сделан выбор в пользу духовной карьеры (такая карьера в семье была традиционной); под влиянием своих наставников Фенелон проникся глубокой религиозностью, с сильным мистиче-

ским оттенком, что много лет спустя привело писателя к конфликту с официальной церковью.

Первые произведения Фенелона были трактатами по теологии. Написанные ясным языком, отличающимся большой внутренней логикой, они призывали к мистическому созерцанию божества и объективно отрицали посредничество церкви между человеком и богом. Эта проповедь душевного покоя, отсутствия желаний, пассивного отношения к действительности первоначально заинтересовала ряд представителей придворной аристократии, в том числе г-жу де Ментенон, фаворитку Людовика XIV. Фенелон был назначен (в 1689 г.) воспитателем наследника престола герцога Бургундского, внука короля.

Это назначение заставило Фенелона обратиться к собственно художественному творчеству. Для своего малолетнего ученика (тот родился в 1682 г.) писатель сочинил цикл басен в прозе, нравоучительные «Диалоги мертвых», философский роман «Приключения Телемака», перевел «Одиссею» и т. д. «Приключения Телемака», напечатанные в 1699 г. без ведома автора, вызвали недовольство властей: в книге в иносказательной форме отстаивались идеалы просвещенной монархии, осуждались крайности абсолютизма

(бесправие подданных, влияние фавориток, произвол министров и т. д.). Отразился в романе и комплекс моральных идеалов Фенелона — призывы к сдерживанию страстей, к созерцательной жизни, проповедь умеренности, стремление к «естественному» состоянию человека.

Эти же воззрения писателя нашли отзвук и в его небольшой повести «Приключения Аристоноя», созданной, видимо, одновременно с романом. Повесть была напечатана в 1699 г. в Гааге и затем неоднократно переиздавалась как отдельно, так и вместе с «Приключениями Телемака». В России повесть впервые увидела свет в 1766 г. и затем много раз переиздавалась в разных переводах (1768, 1779, 1782, 1788, 1797 и др.).

Антиабсолютистские взгляды писателя, вызвавшие недовольство правительства и церковных властей, привели к осуждению религиозной доктрины Фенелона; писатель был лишен звания воспитателя наследника престола и сослан в Камбре (архиепископом которого он состоял с 1695 г.). Последние годы своей жизни Фенелон провел в этом городе на севере Франции.

ЛЕСАЖ

(1668–1747)

Выходец из среды провинциальной буржуазии (отец будущего писателя был нотариусом в одном из небольших бретонских городов), Ален-Рене Лесаж рано потерял родителей и вынужден был сам пробиваться в жизни. Его опекун-дядя не только не помог юноше, но и растратил то немногое, что тот унаследовал от отца. О молодых годах Лесажа известно мало. Он, видимо, окончил иезуитский коллеж в Ванне (Бретань), затем изучал право в Париже, желая продолжить семейную традицию. Однако дальше клерка в конторе какого-то нотариуса он не пошел.

Трудная молодость заставила Лесажа столкнуться с разными общественными слоями и лучше узнать жизнь. Все это затем отразилось в его книгах. Растущая семья (его жена родила ему трех сыновей и дочь) принудила этого юриста-неудачника искать иные источники дохода. Лесаж становится профессиональным литератором.

Хорошо зная испанский язык, он перерабатывает для французского театра пьесы испанских

драматургов (в основном Франсиско де Рохаса и Лопе де Веги). И если эти переработки Лесажа довольно редко ставили, то их охотно издавали. От переделок пьес он вскоре переходит к вольному переводу испанских романов. Степень зависимости от первоисточника была в этих «переводах» порой столь невелика, что из-под пера Лесажа выходили вполне оригинальные книги. Таков был его «Хромой бес» (1707) — свободная переработка одноименного романа Гевары. И хотя писатель создавал и вполне самостоятельные произведения — например, замечательную комедию «Тюркаре» (1709), повествующую о французской действительности, — до конца своих дней он оставался верен испанской тематике. Испанская жизнь и нравы изображены и в бесспорно лучшем его произведении — обширном романе «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» (1715–1735), и в романе «Бакалавр из Саламанки» (1736). Впрочем, в этих книгах не было стремления с этнографической точностью изобразить испанскую действительность; герои этих книг Лесажа, их характеры подсказаны писателю не столько чтением испанских романистов, сколько изучением французской повседневности, различных слоев французского общества.

Свободные вариации на испанские темы соседствовали в творчестве Лесажа с более строгими обработками испанских источников. Так, в 1732 г. появился лесажевский перевод знаменитого романа Алемана «Гусман из Альфараче», а в 1734 г. — «Эстебанильо Гонсалес», у которого было несколько источников. Всю жизнь Лесаж читал испанские книги, делал из них переводы, которые затем использовал при создании своих романов. Видимо, подобных своеобразных заготовок у писателя было значительно больше, чем он смог использовать в перечисленных выше обработках; он воспользовался ими в конце жизни, когда выпустил несколько книг, представляющих собой сборники разнообразных материалов, слабо скрепленных друг с другом. Такова и книга Лесажа «Найденный чемодан» (1740), где в бегло намеченное обрамление вставлено чтение всевозможных писем и иных рукописей, якобы обнаруженных в забытом кем-то чемодане. Повесть «Мщение, не осуществленное из-за любви» заимствована Лесажем у плодовитого испанского писателя Алонса де Кастильо-и-Солорсано (1584 — ок. 1648), автора нескольких сборников новелл и повестей и четырех плутовских романов.

В год выхода этой книги Лесаж вынужден был

покинуть Париж. Потеряв старшего сына, известного актера Монмениля, писатель перебрался ко второму сыну, бывшему каноником в Булонь-сюр-мер. Там Лесаж и скончался.

МАРИВО

(1688–1763)

Пьер Карле де Шамблен де Мариво родился в Париже. Со столицей была связана и вся его жизнь, за исключением годов отрочества, которые он провел в провинциальной глуши, в маленьком городке Риом, где его отец заведовал монетным двором. В юности Пьер Карле (фамилию Мариво, по одному из маленьких родовых поместий, он присоединил к своему имени позже) изучал в Париже право, но, видимо, курса не окончил, увлекся театром, попробовал свои силы в драматургии, затем в художественной прозе и бурлескной поэзии. Далеко не все написанное в молодые годы Мариво решился опубликовать. Его творчество десятых годов отмечено печатью поисков — и громоздкий роман со вставными новеллами «Фарзамон» (опубликован лишь в 1737 г.), и повесть «Карета, застрявшая в грязи» (1713), и ирои-комическая поэма «Илиада на-

изнанку» (1716), и пародийный роман «Телемак наизнанку» (напечатан в 1736 г.).

Подлинная зрелость приходит к писателю в 20-е годы. На их пороге стоит произведение, в котором можно почувствовать своеобразную заявку на будущие книги — и на длинную череду блестящих комедий, и на романы «Жизнь Марианны» (1731–1741) и «Удачливый крестьянин» (1734–1735) с их интересом к причудливым движениям человеческого сердца и критикой фальши и лицемерия светской морали. Это была повесть в пяти письмах «Письма, повествующие о некоем похождении». Она печаталась в популярном парижском журнале того времени «Меркурий», в номерах за ноябрь и декабрь 1719 г., за февраль, март и апрель 1720 г.

Жанр короткой повести, или новеллы, представлен в творческом наследии Мариво слабо. Впрочем, вставные рассказы и повести, так или иначе связанные с основным сюжетом, мы находим в его ранних книгах («Фарзамон», «Телемак наизнанку», «Карета, застрявшая в грязи»), в его «журналах» «Французский зритель» (1721–1724), «Неимущий философ» (1727), «Кабинет философа» (1734). Занятый напряженной работой для театра и созданием своих двух главных романов,

Мариво больше не обращался к жанру повести (в его романах «Жизнь Марианны» и «Удачливый крестьянин» вставных историй уже не было). К тому же после избрания писателя во Французскую академию (1743) его творческая активность заметно упала. Он прочел ряд докладов на академических заседаниях и мирно доживал свои дни в Париже, на улице Ришелье, в непосредственной близости от Комеди Франсеэ. На этой улице он и скончался через неделю после своего семидесятипятилетия.

КРЕБИЙОН-СЫН

(1707–1777)

Клод-Проспер Жолио де Кребийон родился в Париже в семье известного драматурга Проспера Жолио де Кребийона (1674–1762), автора целой серии трагедий, герои которых бывали обычно обуреваемы сильными, подчас противоестественными страстями, что не могло не приводить к самым кровавым развязкам. Кребийон-сын не пошел по стопам отца: он совсем не занимался драматургией и в литературе выбрал иной путь.

Тонкий психолог и изобретательный рассказчик, восхищавший Вольтера; завзятый острослов

светских салонов; романист, у которого учился Стендаль, — и человек неудавшейся, если не трагической, личной жизни, испытавший и утрату близких, и равнодушие друзей; автор произведений, пользовавшихся сомнительной славой, не раз осуждавшихся, сжигавшихся рукой палача, выходивших анонимно и печатавшихся за пределами Франции, — таков противоречивый и не вполне нам ясный облик этого писателя, исключительно популярного в свое время, но скоро, чуть ли не при жизни, приобретшего славу автора несерьезного, фривольного, весьма типичного для своей эпохи, но безусловно второстепенного. Лишь в нашем веке он получил должную оценку.

Воспитанник иезуитов, молодой Кребийон отказался избрать духовную карьеру и начал вести рассеянную светскую жизнь. Одним из первых его литературных опытов стала изящная и остроумная новелла-диалог «Сильф» (1730). За ней последовала длинная череда романов, в которых иной раз в маскарадных восточных костюмах либо непосредственно изображалось светское общество эпохи с его наигранными страстями и показным аморализмом. Таковы книги Кребийона «Письма маркизы де М *** к графу де Р***»

(1732), «Танзая и Неадарне, японская история» (1734), «Заблуждения сердца и ума» (1736–1738), «Софа» (1742), «Любовные утехи Зеокинизюля, короля Кофиранов» (1746), «Письма герцогини де *** к герцогу де ***» (1768), «Афинские письма» (1771) и др.

В этих книгах было немало горечи и сарказма, но встречались и прямые намеки на сильных мира сего, в том числе на Людовика XV. Рискованность некоторых пассажей и сцен романов писателя цензоры того времени охотно прощали, за прямые же намеки и прозрачные иносказания Кребийона сажали в Венсеннский замок или высылали из столицы.

Кребийон неизменно туда возвращался. Он был истинным парижанином, постоянным посетителем литературных кафе и салонов. Книгами своими состояния он, конечно, не составил. Умер он почти всеми забытый. Могила его затерялась.

ПРЕВО

(1697–1763)

Антуан-Франсуа Прево д'Экзиль родился в Эдене в семье королевского нотариуса. Первоначально он выбрал духовную карьеру: окончив в

1713 г. иезуитский коллеж, он принял сан аббата. Непоседливый характер и тяга к приключениям заставили его сбросить рясу и перепробовать немало профессий — журналиста и проповедника, домашнего учителя и солдата. Но подлинным призванием Прево стала литература. Он составлял исторические компиляции, переводил с английского, издавал журнал «За и против» (1733–1740). Главное в творческом наследии писателя — это большие, многоплановые романы, рисующие широкую картину действительности, изображающие персонажей, обуреваемых сильными, не всегда подвластными их воле страстями. Таковы книги Прево «Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света» (1728–1731), «Английский философ, или История Кливленда» (1731–1739), «Киллеринский настоятель» (1735–1740) и др. Рядом с подобными многотомными повествованиями, в которых сложно переплетались несколько сюжетных линий, Прево создавал и произведения более компактные, в сюжетном отношении более концентрированные и единые. Таков его роман «История одной гречанки» (1740), такова повесть «Записки благородного человека» (1745), такова, наконец, знаменитая «Манон Леско»,

седьмая, самостоятельная часть «Записок и приключений знатного человека». В своем журнале «За и против» Прево помещал заметки самого разнообразного содержания — исторические, философские, научные, литературно-критические и т. д., помещал и короткие остроавантюрные повести, после смерти автора изданные в одном томе. «История донны Марии» печаталась в журнале Прево частями, с сентября 1733 по декабрь 1734 г. «Приключение прекрасной мусульманки» (под названием «Записки турчанки, или История Вердиница и Пломби») было помещено в журнале «За и против» в марте 1737 г.

На русском языке было издано много произведений Прево, особенно в XVIII в. Из публикуемых нами повестей первая также была переведена на русский язык; она была напечатана в 1783 г. в издаваемом Н. Новиковым журнале «Городская и деревенская библиотека»; авторство Прево указано не было.

КЕЙЛЮС

(1692–1765)

Граф Клод-Филипп де Кейлюс родился в Париже и был воспитан матерью, известной красавицей,

долго блиставшей при дворе Людовика XIV и оставившей об этом дворе язвительнейшие мемуары. Почти подростком будущий писатель и ученый проявил дерзкую храбрость, участвуя в войнах, которые вела тогда Франция. То во главе горстки смельчаков он совершал неожиданный кавалерийский налет на аванпосты противника, то вел свою роту на отчаянный приступ и первым врывался на вражеское укрепление. В мирные годы с не меньшей увлеченностью и непоседливостью Кейлюс пускается в путешествия. Сокровища искусства становятся его новой страстью. Он объезжает Испанию, Италию, Ближний Восток, затем посещает Голландию и Англию. Он изучает и описывает геммы и камеи королевского собрания в Лувре, берет уроки живописи и рисунка у Ватто, пробует силы в гравюре, занимается памятниками средневековой французской литературы.

Как писатель он сочиняет небольшие повести в духе Кребийона-сына, не перегружая их, однако, галантными иносказаниями и гривуазными намеками. Его привлекала жизнь парижской улицы, на ней он и находил своих персонажей. Он описывал народные увеселения, карнавалы, ярмарки; подобные зарисовки не могли не повлиять на «Картины Парижа» Мерсье. В 1737 г.

Кейлюс выпустил цикл маленьких повестей, объединенных фигурой их рассказчика кучера Гийома. Из этого цикла и взята наша «история».

МОНТЕСКЬЕ

(1689–1755)

Шарль-Луи Секонда, барон де Ла Бред, принявший затем имя своего дяди-опекуна — Монтескье, принадлежал к одной из самых древних аристократических семей Франции. Родился он в замке Ла-Бред, близ Бордо. В католическом коллеже он основательно изучил классическую литературу, а по окончании коллежа (1705) принялся изучать право (юридическая карьера была в семье традиционной). В 1713 г. Монтескье занял место советника в бордоском парламенте (орган городского самоуправления в тогдашней Франции). В эти годы он пишет ряд научных, исторических и юридических сочинений.

В 1721 г. появляются знаменитые «Персидские письма» Монтескье, принесшие их автору широкую известность. Вскоре писатель напечатал галантно-эротическую стилизацию — поэму в прозе «Книдский храм» (1725). Последующие десятилетия Монтескье работал над своими

основными философскими и историческими сочинениями — «Рассуждением о причинах величия и упадка римлян» (1734) и «О духе законов» (1748).

Таким образом, в творческом наследии писателя жанр повести не занимает большого места. «Книдский храм» вообще вряд ли можно считать повестью. Философская повесть «Арзас и Исмения» написана, видимо, в 40-е гг. Издана она была уже после смерти автора, в 1783 г. На русский язык впервые переведена Н. Страховым в 1787 г.

ВУАЗЕНОН

(1708–1775)

Клод-Анри Вуазенон был заметной фигурой в литературных кругах своего времени. Отпрыск аристократического рода, он появился на свет в замке, которым уже давно владела его семья. Болезненный и слабый от рождения, Вуазенон посвящал свои досуги не шумным мальчишеским играм, а чтению. В двенадцать лет он послал свои стихи Вольтеру и удостоился его одобрения. С той поры они поддерживали постоянные дружеские отношения. В двадцатилетнем возрасте Вуаэенон уже писал комедии, блистал в салонах, чему не

мешал его сан аббата. Стихи на случай Вуазенона, остроумные, но поверхностные, теперь справедливо забыты, и писатель занял в истории литературы полагающееся ему место мастера короткой сатирической повести рококо, в меру гривуазной и полной намеков на события светской жизни эпохи. Наиболее скандальной славой пользовалась повесть Вуазенона «Султан Мизапуф и принцесса Гриземина» (1746; переведена на русский язык в 1779 г.). За год до этой повести появилось другое произведение писателя — повесть «Зюльми и Зельмаида», также разрабатывающая псевдовосточный сказочный сюжет. Озорной дух его прозы и колкость его эпиграмм не помешали Вуазенону быть избранным во Французскую академию (1772) и быть принятым при дворе.

ВОЛЬТЕР

(1694–1778)

Творческое наследие Франсуа-Мари Аруэ, прославившегося под именем Вольтера, необычайно велико и многообразно. Он был автором сочинений естественнонаучных, философских, исторических, он написал немалое число политических памфлетов и публицистических

произведений, он создал несколько поэм, большое число всевозможных стихотворений, в том числе эпиграмм, много трагедий и комедий, наконец, философских повестей и романов.

Вольтер прожил жизнь беспокойную и насыщенную событиями. Ему пришлось побывать в тюрьме, бежать из столицы, немало кочевать и менять случайные пристанища, покровителей, государей. Он родился в Париже, где прошли его юные годы. Он был принят в свете, где нравились его колкие и веселые эпиграммы. Острый ум и живой характер создали ему в свете и немало врагов. Спасаясь от преследований властей, Вольтер отправился в 1726 г. в Англию, где провел несколько лет, знакомясь с передовым по тем временам общественным строем, философией и наукой этой страны. Результатом поездки стали «Философские письма», после появления которых на писателя вновь обрушились гонения. В 1733 г. Вольтер сближается с передовой для своей эпохи женщиной г-жой дю Шатле (1704–1749) и вскоре поселяется в ее имении Сире. Там он живет почти безвыездно до 1749 г. (то есть до внезапной смерти его приятельницы). В Сире написаны многие значительные произведения Вольтера: ряд трагедий, «Век Людовика XIV»,

«Орлеанская девственница» и др. В конце 40-х гг. писатель обращается и к жанру повести: в 1747 г. он пишет «Задига», «Кривого крючника», «Мир, каков он есть».

В 1750 г. Вольтер принимает приглашение прусского короля Фридриха II и поселяется в Берлине. Там он пробыл сравнительно недолго (до марта 1753 г.). Поссорившись с королем, он некоторое время путешествует по Европе, а с февраля 1754 г. обосновывается в Швейцарии, сначала в именин Делис, затем в замке Ферне (лишь в 1778 г. он совершил поездку в Париж, где и скончался). Здесь написаны его многие знаменитые произведения, такие, как «История России в царствование Петра Великого», «Опыт о нравах», «Философский словарь» и др., здесь же созданы и самые известные философские повести и романы — «История путешествий Скарментадо» (1756), «Кандид» (1759), «Белое и черное» (1764), «Жанно и Колен» (1764), «Простодушный» (1767), «Царевна Вавилонская» (1768), «Человек с сорока экю» (1768), «Письма Амабеда» (1769), «Белый бык» (1773), «История Дженни» (1775), «Уши графа Честерфилда» (1775) и др.

Многие из этих произведений Вольтера подвергались преследованиям, запрещались цензурой,

приговаривались к сожжению (в том числе, например, «Кандид» или «Человек с сорока экю»); «Письма Амабеда» были специально осуждены папской цензурой. Однако все эти осуждения и запреты не мешали популярности вольтеровских повестей. На русский язык они стали переводиться довольно рано. Так, помещаемые в этом томе повести Вольтера были изданы по-русски: «Мир, каков он есть» (под названием «Видение Бабука») — в 1765 г. (перевод был переиздан в 1788 и 1795 гг.), «История путешествий Скарментадо» — в 1773 г. (в 1778 и 1784 гг. появились два новых перевода), «Белое и черное» и «Жанно и Колен» — в 1771 г., «Письма Амабеда» — в 1787 г. В XIX и XX вв. эти повести Вольтера были много раз переизданы на русском языке, как в старых, так и в новых переводах.

РУССО

(1712–1778)

Жан-Жак Руссо, который наряду с Вольтером и Дидро был величайшим писателем и мыслителем французского Просвещения, происходил из семьи швейцарского ремесленника. В молодости Руссо перепробовал немало профессий, но инте-

рес к литературе, удовлетворявшийся на первых порах лишь чтением, пробудился у него очень рано. В 1741 г. он отправился в Париж, где вскоре сблизился с Дидро и Д'Аламбером и стал писать (о музыке) для готовившейся тогда «Энциклопедии». В 40-е и в начале 50-х гг. Руссо продолжал писать стихи и поэмы (первые опыты в этой области были сделаны им еще задолго до приезда в Париж), создал несколько пьес и либретто опер и написал свои знаменитые политические трактаты «Рассуждение о науках и искусствах» (1750), «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми» (1755), «Письмо о театральных зрелищах» (1758), сделавшие его вождем левого, наиболее радикального крыла просветительского движения.

В 60-е годы Руссо написал свои самые прославленные произведения — трактат «Об общественном договоре» (1762), романы «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль, или О воспитании» (1762) — и работал над автобиографической книгой «Исповедь». Трактат и роман «Эмиль» были осуждены парижским парламентом, что заставило Руссо бежать в Швейцарию. Но и в Женеве эти книги подвергались запрещению. Между тем эти произведения Руссо (как и позже опублико-

ванная «Исповедь») оказали мощное воздействие на общественную мысль и на литературу своего времени.

Жанр философской повести-сказки представлен в творческом наследии Руссо лишь одним произведением. Это «Королева Причудница», написанная, видимо, в 1755-м или 1756 г. В 1758 г. повесть была напечатана без ведома автора, затем обычно включалась в собрания его сочинений.

МАРМОНТЕЛЬ

(1723–1799)

Жан-Франсуа Мармонтель был сыном провинциального портного. Он окончил иезуитский коллеж и собирался принять духовный сан. Но успех его юношеских стихотворений и приглашение Вольтера решили дело в пользу литературы. В 1745 г. Мармонтель приехал в Париж и окунулся в литературную жизнь столицы. Он активно сотрудничал в журналах, сочинял трагедии, подражая в этом Вольтеру, писал для «Энциклопедии», был в близких отношениях с «партией философов». Но его взгляды отличались умеренно-либеральным характером, что,

например, сказалось в его философских романах «Велизарий» (1767) и «Инки» (1777), вызвавших оживленные споры, в которых живейшее участие принял Вольтер.

В 1763 г. Мармонтель был избран во Французскую академию.

С 1755 г. писатель обращается к жанру нравоучительной повести, печатая отдельные произведения в журнале «Меркурий». В 1758 г. он выпустил их первое отдельное издание, которое затем не раз повторял с включением новых повестей. Из этих произведений Мармонтеля особенным успехом пользовалась повесть «Аннетта и Любен», которая была переделана Вуазеноном и Ш.-С. Фаваром в 1762 г. в комическую оперу (она шла и в России в 1791–1800 гг.).

Первый русский перевод повестей Мармонтеля появился в 1764 г. в двух томах. В это издание была включена и повесть «Аннетта и Любен». В 1787–1788 гг. появилось новое русское издание повестей, куда вошел и «Муж-сильф». Оба эти издания подготовил П. И. Фонвизин, брат драматурга.

БУФЛЕР

(1738–1815)

Маркиз Станислас-Жан де Буфлер, отпрыск аристократического рода, первоначально готовил себя к духовной карьере и даже принял сан аббата. Но эта его карьера продолжалась недолго. Склонный к рискованным авантюрам, он скинул рясу и вскоре надел костюм мальтийского рыцаря. Буфлер принял участие во многих военных кампаниях, где выказал подлинную храбрость и тактическую смекалку. В 1784 г. он оставил военное поприще и через год уже был губернатором Сенегала; но там этот светский человек не смог усидеть долго: в 1788 г. он был снова в Париже. Там Буфлер был избран во Французскую академию, а в 1789 г. стал депутатом Генеральных штатов. Революцию, особенно якобинскую диктатуру, он встретил враждебно и вынужден был эмигрировать. В 1800 г. он вернулся во Францию и доживал свои дни в Париже, где и умер.

Творческое наследие Буфлера невелико: в свое время он был довольно модным поэтом, автором малых форм (эпиграммы, мадригалы и т. п.). Его стихи ценил Вольтер. Как прозаик Буфлер

прославился своей ранней повестью «Алина, королева Голконды» (1761). Ее популярности способствовало появление в 1766 г. одноименной оперы Пьера-Александра Монсиньи (1729–1817), прошедшей с большим успехом. Другие повести и рассказы Буфлера («Тамара, индийская новелла», «Ах, если бы… немецкая новелла» и др.) такой известностью не пользовались.

На русский язык повесть «Алина, королева Голконды» была переведена уже в XVIII в., причем дважды: в 1780 г. вышел перевод Ивана Рахманинова (перепечатан в 1788 г. в сборнике «Колесо щастия»), в 1792 г. — анонимный перевод. Отметим также московское издание 1914 г. (перевод М. П. Келлер),

Д’АРНО

(1718–1805)

Франсуа-Тома-Мари де Бакюлар д’Арно был по происхождению парижанином; в столице и прошла большая часть его жизни. Воспитанник иезуитского коллежа, д’Арно рано проявил литературные способности: в пятнадцать лет он написал трагедию «Дидона». Его стихи понравились Вольтеру, и в 1739 г. д’Арно посетил

философа в Сире.

Но д'Арно, видимо, обладал трудным характером. Его дружба с Вольтером вскоре превратилась во вражду. Поссорился он и с Фридрихом II, который пригласил начинающего писателя в Берлин. Д'Арно оказался втянутым в тяжбу Бомарше с Гёзманом, и автор «Севильского цирюльника» зло высмеял его в своих «Мемуарах». Жизнь Бакюлара д'Арно была занята литературным трудом — очевидно, его единственным средством к существованию. Печатали его много и охотно. Дожил писатель до времен Империи, но тогда он был уже порядком забыт. Умер он, как и родился, в Париже.

Продуктивность д'Арно была очень велика: он писал исторические повести и романы, трагедии, поэмы. Некоторые из его книг (особенно ранних) носили откровенно непристойный характер — например. «Послание к заднице Манон» (1748), и писатель не раз попадал за их публикацию в Бастилию. Известность ему принес роман «Несчастные супруги» (1745), за которым последовала длинная череда книг.

Повесть «Люси и Мелани» была впервые напечатана отдельной книгой в 1767 г. в Париже, затем не раз переиздавалась в различных сбор-

никах автора.

Произведения Бакюлара д'Арно были очень популярны в XVIII в. в России. Так, повесть «Люси и Мелани» была выпущена в русском переводе в 1782 г. отдельным изданием («Люция и Мелания, или Две великодушные сестры; краткая повесть на сочинении г. Арнода»), в том же году включена в периодическое издание «Городская и деревенская библиотека», а в 1789 г. вошла во второй том сочинений д'Арно («Успокоение чувствительного человека, или Собрание сочинений г. Арнода, прославившегося писанием трогающих и удовольствие приносящих повестей в аглинском вкусе»). Все эти издания были осуществлены Н. Новиковым.

ДИДРО

(1713–1784)

Дени Дидро родился в провинциальном городе Лангр на юго-востоке Франции в семье ремесленника-ножовщика. Учился в местном иезуитском коллеже. Первоначально юноша готовил себя к духовной карьере и надеялся, что со временем к нему перейдет место его дяди каноника Виньерона. Когда же эта вакансия действительно

освободилась, Дидро неожиданно принял иное решение и уехал в Париж, что рассорило его с семьей и лишило материальной поддержки отца. Юноша продолжал свое образование в Париже, учась на скудные гроши. В 1732 г. он получил в Сорбонне звание магистра искусств. Долгие годы он жил случайными заработками, в частности переводами. Из подобных заказов на перевод родилась и знаменитая «Энциклопедия»: первоначально Дидро подрядился перевести один английский энциклопедический словарь, затем решил его несколько доработать и наконец пришел к выводу, что следует создать совершенно новое издание.

Первый том «Энциклопедии» вышел в июне 1751 г. К этому времени Дидро был уже широко известен; он поддерживал связи с передовыми мыслителями и писателями своего времени — с Вольтером, Гольбахом, Руссо, Гельвецием, Д'Аламбером, Рейналем и др.; он уже выпустил ряд значительных философских сочинений, в том числе «Письмо о слепых в назидание зрячим» (1749), напечатал фривольный сатирический роман «Нескромные сокровища» (1748) и повесть «Белая птица» (1749).

Хотя в 50-е годы все силы Дидро были направ-

лены на издание «Энциклопедии» (каждый том которой вызывал официальные запреты и осуждения), писатель находил время и для художественного творчества. В это время Дидро много работает для театра, разрабатывая новый тип драмы («Побочный сын», 1757; «Отец семейства», 1758). Пишет он и по вопросам эстетики. Обратившись к жанру романа, Дидро создает произведение, глубоко новаторское по своей форме и очень острое по содержанию. Это была «Монахиня», работа над которой продолжалась до 1760 г. (первоначально роман был помещен в рукописном журнале Грима и Мейстера «Литературная корреспонденция» в 1780–1784 гг., напечатан в 1796 г.). В 1770 г. Дидро написал повесть «Два друга из Бурбонны»; к концу 1772 г. закончены и две другие повести — «Это не сказка» и «Г-жа де Ла Карлиер» (первая из них появилась в 1773 г. в «Литературной корреспонденции» Гримма, затем обе были напечатаны в 1798 г. Что касается повести «Два друга из Бурбонны», то она вместе с «Разговором отца с детьми» Дидро была напечатана в 1773 г. в Цюрихе в книжке «Нравоучительные повести и Новые идиллии гг. Д. и Гесснера»). Если при работе над «Двумя друзьями из Бурбонны» Дидро вспоминал недавнюю поездку в родные

края и, возможно, включил в повесть какие-то рассказы местных жителей, то «Это не сказка» имеет еще большую документальную основу. Мадемуазель де Ла-Шо действительно существовала, была хорошо знакома с Дидро, Кондильяком и другими просветителями, выполняла переводы Юма, о чем говорится в повести. Умерла она, по всей вероятности, в 1755 г. В 70-е же годы был, по-видимому, написан и роман «Жак-фаталист», опубликованный лишь в 1796 г.

Дидро состоял в переписке с Екатериной II и рядом деятелей русской литературы, он посетил Петербург (с 8 октября 1773 г. по 5 марта 1774 г.), написал для императрицы ряд политических трактатов, однако произведения этого философа-материалиста с большим трудом проникали в русскую печать. В XVIII в. по нескольку раз издавались пьесы Дидро «Побочный сын» и «Отец семейства», в 1796 г. под названием «Удивительное мщение одной женщины» была напечатана вставная повесть о г-же де Ла Поммере из «Жака-фаталиста»; повесть «Два друга из Бурбонны» была помещена в 1782 г. в первом выпуске периодического издания Н. Новикова «Городская и деревенская библиотека». В 1872 г. было предпринято издание романов и повестей Дидро в

двух томах в переводе В. Зайцева. Сохранились считанные экземпляры лишь второго тома (куда вошли «Жак-фаталист» и все четыре повести писателя), так как издание было уничтожено по постановлению Комитета министров. После этого повести Дидро издавались на русском языке неоднократно.

КАЗОТ

(1719–1792)

Выходец из буржуазной среды, Жак Казот, как и большинство его современников, учился в иезуитском коллеже. По окончании университета, где он изучал право, Казот выбрал чиновничью карьеру. Долгие годы он прослужил в морском министерстве, которое направило его на остров Мартинику, тогдашнюю французскую колонию. Там он провел почти двенадцать лет (с 1747 по 1759 г.). Выйдя в отставку в 1764 г., он жил в небольшом городке Эперне, часто наезжая в Париж.

Литературную деятельность Казот начал в молодые годы, сочиняя стихи и гривуазные «сказочки» в манере Кребийона-сына («Кошачья лапка», 1741; «Тысяча и одна нелепица», 1742,

и др.). По возвращении во Францию он вновь берется за перо и пишет романтическую поэму в прозе на средневековый сюжет «Оливье» (1762). Небольшой роман «Лорд экспромтом» (1767) написан под сильным воздействием идей и художественных исканий Руссо, но успеха не имел.

Сблизившись с мартинистами, Казот начинает увлекаться оккультными науками и приобщается к мистическим идеям. Это наложило отпечаток на его позднее творчество — на ставший очень популярным роман «Влюбленный дьявол» (1772) и на созданные следом за ним повести («Рахиль, или Прекрасная иудейка», «Красавица по воле случая», «Потерянная и восстановленная честь» и др.). Эти повести печатались Казотом начиная с 1776 г. в сборниках его стихов и прозы. В это же время писатель занимался обработкой восточных сказок, откуда черпал и имена второстепенных персонажей своих повестей.

Если члены тайного общества, к которому принадлежал Казот, в основном приветствовали революцию, сам писатель отнесся к ней враждебно и даже пытался содействовать побегу Людовика XVI за границу. Об этом стало известно революционному трибуналу, отправившему Казота на эшафот.

Это обстоятельство, а также близость к тайным обществам и интерес к оккультизму окружили имя Казота в пору романтизма увлекательной легендой, приписавшей ему «пророчество» о грядущих революционных потрясениях и якобинском терроре.

В России произведения Казота были известны плохо; в 1789 г. Н. Новиков издал его роман «Лорд экспромтом» (под названием «Скороспелый лорд»); в издававшейся им же «Библиотеке немецких романов» (1780, ч. 3) начал печататься перевод «Влюбленного дьявола», но не был закончен. Этот популярнейший роман Казота появился полностью на русском языке позднее.

РЕТИФ ДЕ ЛА БРЕТОН

(1734–1806)

Никола-Эдм Ретиф де Ла Бретон был одной из самых примечательных и своеобразных фигур своего времени. Родившись в простой крестьянской семье, он учился в приходской школе, затем обучался ремеслу в Осерре, потом ушел на заработки в столицу. В 1755 г. он был уже подмастерьем в типографии Лувра. Работал он и у других печатников. Там он и пристрастился к ли-

тературе, сам набирая свои сочинения. Не имея достаточной литературной культуры, Ретиф обладал несомненным писательским талантом. Он смело ввел в литературу новые темы, описывая жизнь низов общества — крестьян, городской бедноты. Восприняв идеи Руссо о пагубном воздействии цивилизации на характер «естественного» человека, Ретиф изображал в своих многочисленных романах превратности судьбы человека из народа, столкнувшегося с жизнью и нравами большого города. Так появился роман Ретифа «Ножка Фаншетты» (1769), принесший ему известность, романы «Совращенный поселянин» (1775), «Совращенная поселянка» (1784), «Жизнь отца моего» (1778) и др. Своеобразную автобиографию-исповедь Ретиф выпустил под названием «Господин Никола, или Разоблаченное человеческое сердце» (1795–1797), где события его жизни, порой весьма интимные, описаны на широком социальном фоне.

Человек необузданного творческого темперамента, Ретиф де Ла Бретон с невероятной быстротой создавал свои многотомные романы. Иногда он сочинял их непосредственно в процессе набора. Но та картина общества, что нарисована в них, казалась писателю недоста-

точной. Параллельно с романами он выпускал обширнейшие циклы новелл, нередко сюжетно связанных между собой (как и в «Человеческой комедии», в этих новеллах часто действуют одни и те же герои). Самый большой цикл новелл Ретифа вышел в сорока двух небольших томиках в 1780–1785 гг. Он назывался «Современницы, или Приключения самых хорошеньких женщин нашего времени». За этим циклом последовали новые — «Француженки» (4 тома, 1786), «Парижанки» (4 тома, 1787), «Парижские ночи» (7 томов, 1788–1789) и т. д.

Интересовался Ретиф и идеями утопического социализма, что отразилось в ряде его новелл и в романе «Южное открытие» (1781).

На русский язык были переведены лишь четыре романа писателя; повести и новеллы Ретифа, очевидно, никогда не переводились (за исключением ряда новелл, описывающих Париж в дни революции).

ФЛОРИАН

(1755–1794)

Жан-Пьер Кларис де Флориан происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи. Он

был в дальнем родстве с Вольтером, поэтому бывал в Ферне, и автор «Кандида» давал ему литературные советы и следил за его воспитанием. С тринадцати лет Флориан попадает ко двору, став пажом герцога де Понтьевра. В шестнадцать юноша поступает в артиллерийскую школу, затем получает чин лейтенанта. Он начинает вести жизнь типичного придворного — рассеянную и полную удовольствий. Этому положили конец революционные события 1789–1793 гг. Флориана арестовывают, высылают из столицы. Для натуры впечатлительной и импульсивной такие жизненные потрясения оказались чрезмерными: Флориан скоропостижно скончался тридцати девяти лет от роду.

Светская жизнь не помешала Флориану быть писателем, обладающим пером легким и плодовитым. Его литературное наследие велико. Он сочинял комедии-арлекинады, пытаясь соединить традиции театра Мариво и так называемой «слезной драмы». Он много переводил Сервантеса, и не одно поколение французских читателей первой половины XIX в. знакомилось с «Дон Кихотом» по его увлекательному пересказу. В 1783 г. Флориан выпустил вольную переработку сервантесовской «Галатеи», в 1786 г. появился

его исторический роман «Нума Помпилий», в 1791 г. — роман на испанскую тему «Гонсалес Кордовский».

Лучшим в творчестве Флориана были его стихотворные «Басни» (1792) и циклы небольших повестей, в которых он отдал щедрую дань самым разным художественным стилям и жанровым формам — от плутовской новеллы в испанском духе до бытовых очерков и сентиментальных повествований. Сборники повестей Флориана выходили в 1784 и 1792 гг. «Клодина» относится ко второму циклу.

Флориан стал популярен в России уже на исходе XVIII столетия; его охотно переводили и в первой трети XIX в., позже интерес к нему охладел.

БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР

(1737–1814)

Жизнь Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера на первых порах сложилась так, что он был далек от литературы. Он родился в семье почтового чиновника в портовом городе Гавре, и его работа была долгие годы связана с морем. По образованию инженер, Бернарден де Сен-Пьер много путешествовал, побывал на многих морях и во многих

странах, в том числе и в России (1762–1766). Обилие впечатлений от этих путешествий и дружба с Руссо заставили его взяться за перо, чтобы описать те экзотические уголки земли, в которых он побывал, их природу, простые нравы их жителей. Так сложилась книжка «Путешествие на Иль-де-Франс» (1773), описывающая его посещение острова Маврикия (тогда Иль-де-Франс) в Индийском океане, восточнее Мадагаскара. Затем писатель задумал многотомные философские «Этюды природы» (1784–1787), четвертый том которых составил прославленный роман «Павел и Вергиния». Развивая свои идеи о благотворном воздействии природы на душу человека, Бернарден де Сен-Пьер написал как приложение к книге «Путешествие до Иль-де-Франс» цикл рассказов и повестей, в том числе «Индийскую хижину» (1791). Эта повесть первоначально была опубликована с большим теоретическим предисловием автора.

В России произведения Бернардена де Сен-Пьера были переведены вскоре же после их публикации во Франции и затем пользовались большой популярностью. Так, «Павел и Вергиния» были переведены в 1793 г.; «Индийская хижина», в переводе Е. Свиньиной, увидела свет

в 1794 г., сначала в московском журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (март — июнь), а затем и в виде отдельной книжки. Нынешний перевод, впервые опубликованный в 1913 г., был перепечатан с исправлениями в 1937 г., а для издания 1981 г. заново отредактирован.

А. Михайлов